

Амон Фейхтвангер

Амон
ФЕЙХТВАНГЕР

3.

3.

ЛИОН
ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Редколлегия:

А. С. ДМИТРИЕВ

Д. В. ЗАТОНСКИЙ

Н. С. ЛИТВИНЕЦ

Н. С. ПАВЛОВА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1989

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ**

**БЕЗОБРАЗНАЯ ГЕРЦОГИНЯ
МАРГАРИТА МАУЛЬТАШ**

Роман

ЕВРЕЙ ЗЮСС

Роман

Перевод с немецкого



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84.4Г

Ф36

LION FEUCHTWANGER

1884—1958

Комментарии

Е. МАРКОВИЧ

Ф $\frac{4703010100-049}{028(01)-89}$ подписное

ISBN 5—280—00811—7 (Т. 3)
ISBN 5—280—00307—7

© Оформление. Издательство
«Художественная литература», 1989 г.

БЕЗОБРАЗНАЯ ГЕРЦОГИНЯ МАРГАРИТА МАУЛЬТАШ

Роман

Перевод
В. СТАНЕВИЧ

DIE HABLICHE HERZOGIN
MARGARETE MAULTASCH

Roman

1923

Книга первая

Между городом Инсбруком и монастырем Вильтенем, на широком ровном поле, стояли палатки и флагштоки, были построены трибуны, отгорожены ипподромы для турниров и иных спортивных забав дворянства. Многим тысячам людей приготовили здесь место и простор для развлечений. Уже второй год стояли эти шатры на Вильтенском поле в ожидании пышной торжественной свадьбы, которую собирался справить Генрих, герцог Каринтский, граф Тирольский, король Богемский. Монастырская братия следила за тем, чтобы ветер не сорвал палатки, чтобы арена не заросла травой, трибуны не подгнили. Однако празднество все откладывалось, второй проект женитьбы, видимо, рухнул так же, как и первый. Инсбрукские жители и вильтенские монахи ухмылялись, горы равнодушно смотрели вниз. Жены инсбрукцев гуляли среди дорогих расшитых полотен, дети ловили друг друга, бегая по трибунам, парочки находили в палатках желанное убежище.

Стареющий король Генрих — вся Европа добродушно и без насмешки оставила за ним королевский титул, хотя он давно уже лишился своего королевства Богемия и ныне владел только графством Тироль и герцогством Каринтия, — недовольный ехал верхом между палатками. Он откушал в аббатстве Вильтен; легкий завтрак состоял из форелей с имбирной подливкой, кур в миндальном молоке, десерта и конфет. Но они там, в Вильтене, ничего не смыслят в подлинно изысканной кухне: тонкости нет. Аббат — разумный добрый настоятель и неплохой дипломат, а в кулинарных нюансах ничего не смыслит. Во всяком случае, ему, королю, завтрак показался невкусным, и если после еды его настроение обычно повышалось, сейчас он еще больше впал в уныние. До Инсбрука было недалеко, и он ехал без доспехов. Узкая модная одежда стесняла его; что говорить, он толстеет с каждым месяцем. Но он человек светский, великолепно сидит на своем породистом разубранном коне, и не в меру длинные широкие рукава нисколько ему не мешают.

Повеял легкий ветер, погнал хлопья снега, вздул полотняные стенки шатров, забил, захлопал ими. Небольшая свита отстала, король ехал один, лениво. Он сердито оглядел широко раскинувшееся поле с возведенными для праздника сооружениями. Его чисто выбритые щеки висели, дряблые и жирные, рот был выпячен, большой, безобразный, с толстой нижней губой. Светлые водянистые глаза рассерженно скользили по полотняному городку, по трибунам, по ограде арены. Он, конечно, человек сговорчивый. Но и его долготерпение имеет границы. Иоганн Люксембуржец опять надул его: во второй раз посулил невесту, обо всем торжественно договорился и снова оставил ни с чем.

Король сопел, тяжело дыша коротким плоским носом, дыхание густыми облачками пара повисало в холодном и мглистом снежном воздухе. Говоря по правде, он на Иоганна, на Люксембуржца, не сердится; Генрих вообще не умеет сердиться. Иоганн с позором выгнал его из Богемии, так что от его королевства остался один только титул; но потом Генрих легко помирился с этим элегантным любезным человеком, когда тот предложил ему денежную компенсацию и руку своей пригожей молодой сестры Марии. И даже тогда, когда Люксембуржец обещания не выполнил и не склонил сестру на брак. Генрих не стал ломаться и изъявил готовность удовольствоваться другой невестой, тоже предложенной ему Люксембуржцем, его двоюродной сестрой, Беатрисой Брабантской. Но вот и та не едет, это уже слишком. День святого Варфоломея, в который она должна была прибыть, давно прошел, а любезная брабантская кузина Иоганна не приехала, красивые шатры на Вильтенском поле ждали напрасно. Люксембуржец, наверно, опять как-нибудь ловко вывернется. Но на этот раз король Генрих уж не даст столь легко уговорить себя. Даже долготерпению многострадального христианского короля есть мера и предел.

Он сердито взмахнул хлыстом, изукрашенным драгоценными камнями. Он помнил очень хорошо свое последнее свидание с Иоганном в мае, они тогда обо всем договорились. Люксембуржец, надо отдать ему должное, явился тогда в сказочно изысканной одежде. На нем, как и на всех господах его свиты, было платье особого покроя, который только что входил в моду в Каталонии и Бургундии и оставался еще неизвестным в Германии: платье это, донельзя узкое, прилегающее вплотную — двое слуг с трудом могли натянуть его на Иоганна, — было сшито из многоцветной ткани, с отделкой в шахматную клетку и широченными рукавами, почти до колен. Сам он, король Генрих, придавал особое значение модной одежде;

однако Люксембуржец, спору нет, перешеголял его. Богемско-люксембургские господа и причесаны-то уже по новой моде: борода и волосы длинные — и когда только они успели отрастить их — вместо бритого лица и коротко стриженных волос, как было в обычае при дворе с тех пор, как он себя помнит. Ему импонировали и казались прямо удивительными та легкость и уверенность, с какой Люксембуржец, чуть ли не в одну ночь, освоился с новой модой. Поэтому Генрих, полный тайного восхищения, беседовал с Иоганном только о модах да еще о женщинах, лошадях, спорте, а политику и неотложные деловые вопросы, связанные с его браком, предоставил своим советникам. Члены его свиты — осмотрительный, преданный аббат Вильтенский, начитанный, речистый аббат Иоанн Виктрингский, осанистый бургграф Фолькмар, любезные и умные господа фон Вилландерс, фон Шенна — действительно разбираются в этих нудных и неприятных денежных делах гораздо лучше, чем он, и гораздо надежнее передать разработку предварительного проекта в их верные искусные руки. Поэтому он и ограничился светским разговором, и, когда король Иоганн принялся восхвалять преимущества парижских и бургундских дам, с которыми охотно пускался в похождения, Генрих противопоставил им дебелые прелести тиролек, очень, очень хорошо ему известные, причем круг его наблюдений все расширялся. В конце концов его любезный секретарь аббат Иоанн Виктрингский положил перед ним готовый проект договора, процитировал латинский стих «Дело бы так обрело свое окончанье благое», заверил, что все теперь улажено и в порядке; король наверняка получит в день святого Варфоломея невесту и тридцать тысяч марок веронским серебром. И что же, вместо этого — разъезжай вот по полю, предназначенному для празднества. Тут и палатки, и флагштоки, и площадь для турниров, однако нет ни невесты, ни денег.

У самой дороги король заметил мальчугана. Тот не слышал топота приближавшейся лошади; он деловито присел на корточки в углу одной из палаток, приподнял платье и, тужась, справлял нужду. Король, увидев такое осквернение своей свадебной территории, хлестнул мальчика. Но как только тот заревел, Генрих пожалел его, бросил ему монету.

Нет, так продолжаться не может. Эти палатки, которые стоят и ждут, унижены для его величества. Пора покончить с Люксембуржцем и его ненадежными планами. В Инсбруке он встретится с Австрийцем, с герцогом, с хромым Альбрехтом. С ним заключит он соглашение — пусть Австриец раздобудет ему невесту. Разве на Люксембуржце свет клином сошелся? Подумаешь! То, чего не

может или не хочет сделать Люксембуржец, сделает Габсбург.

Генрих не привык слишком долго предаваться досаде. Едва он принял решение, как разрядил свой гнев в холодный, бодрый божий воздух. Совсем иными, веселыми глазами посматривал он вокруг себя на праздничные сооружения. Смейтесь на здоровье! Все это скоро пригодится. Он выпрямился, стал насвистывать задорную песенку, прищипорил коня, так что господам из свиты пришлось догонять его.

Проезжая верхом через обширный полотняный городок, пятеро господ, составляющих ближайшую свиту Генриха, обменивались шутливыми намеками насчет задержавшейся свадьбы короля. Все пятеро были гораздо смышленнее своего господина, они по мере сил доили его — особенно свирепый бургграф Фолькмар, — выжимали из него все новые лены и откупа. При всем том они по-своему любили этого полнокровного, покладистого государя: щедрый, набожный, охотник до пиров и спорта, веселый собутыльник, любитель женщин, преданный новшествам моды и всяческим удовольствиям, он не был лишен фантазии, легко увлекался любой затеей, хотя обычно очень скоро остывал. В эпоху, когда политика зависела целиком от личности государя, такой человек не мог надеяться на особенно блестящие перспективы, а со времени богемского эпизода он был из большой европейской политики навсегда исключен. И если сам об этом не догадывался, то тем более твердо знали это господа приближенные. Они знали: не он хитрит в политике, а с ним хитрят политики.

С этой точки зрения они оценивали и его брачные планы, и эти пустовавшие палатки имели для них совсем иной, чем для доброго короля, глубоко иронический смысл.

Кормило Римской империи держали в своих руках три государя: удалой, блестящий, изменчивый Иоганн Люксембургский и Богемский; неуверенный, нерешительный тяжелодум Людвиг Виттельсбах; цепкий, дальновидный Альбрехт Габсбургский, в котором паралич развил особую жесткость, так что он стал руководителем своих братьев, деливших с ним власть. Все три государя были равны по могуществу, все трое тянулись к власти над империей и всем христианским миром, все трое были начеку, подстерегали друг друга; зарились на страну в горах, на Каринтию и Тироль, где сидел Генрих, стареющий вдовец, без наследников мужского пола. Вот она, возможность, и притом единственная, значительно расширить свою власть и владения. Эта горная страна, богатая, плодородная, прославленная, простиралась от бургундских границ до

Адрии, от баварского плоскогорья до Ломбардии, служила мостом между австрийскими и швабскими владениями Габсбургов, между Германией и Италией: это был ключ к Римской империи. Добиться расположения его господина, этого добродушного стареющего прожигателя жизни, стать его наследником казалось каждому из трех государей вполне достижимым. Его тоска по настоящему законному наследнику после многочисленных внебрачных сыновей и двух законных дочерей играла немалую роль в их расчетах, и они завлекали его соблазнительными брачными планами.

Пятеро приближенных — три рыцаря в доспехах и оба аббата в дорожной одежде весьма светского покроя — про себя улыбались при мысли о том, как старается король Генрих скрыть от самого себя истинную подоплеку всех этих проектов. Он делал вид, будто и Люксембург, и Виттельсбах, и Габсбург лишь из княжеской любви и верности и просто по дружбе хлопочут о подыскании ему невесты. Наиболее откровенно повел себя Люксембуржец: обещал Генриху свою красавицу сестру, юную Марию, и двадцать тысяч марок веронским серебром, взамен требуя брака одной из дочерей Генриха с одним из мелких люксембургских князьков. Он раззадорил сластолюбивого старого вдовца портретами Марии, а сам этой блистательной утонченной принцессе даже словечком не обмолвился. Вполне понятно, что юная и прелестная люксембургская принцесса, дочь императора, всеми силами противилась браку со старым потасканным кутилой. Она якобы дала обет вечной девственности — мужчины ухмылялись, намекая на этот обет, — что, однако, не помешало ей спустя несколько месяцев выйти за короля Франции.

Вероятней всего Иоганн знал заранее, что никогда ему не уговорить сестру стать женой Генриха, и он просто водил за нос старого короля, который заранее наивно радовался будущему статному наследнику. И уж не оставалось никаких сомнений в том, что при втором сватовстве, к Беатрисе Брабантской, Иоганн вел в отношении старого короля бесчестную игру. Обещанием еще гораздо более богатого приданого он ловко выманил у Генриха договор, по которому малолетняя дочь Генриха, Маргарита, должна была стать женой одного из младших сыновей Иоганна, и в случае, если Генрих скончается без мужского потомства, унаследовать его земли. Таким образом, он получал возможность после смерти старого государя и при отсутствии наследника-сына наложить руку на Каринтию, Герц и Тироль. Тщательно проверив многочисленные любовные похождения Генриха, он установил, что быстро отцветший король за последние четыре-пять лет больше не имел детей ни от одной из своих

возлюбленных. Однако даже врач, даже самый опытный прожигатель жизни не мог тут предсказать ничего наверняка. Чем дольше Люксембуржец оттягивал женитьбу короля, тем проблематичнее становились расчеты на мужское потомство и тем более крепла его собственная надежда заполучить через своего маленького сына страну в горах, а тем самым и Римскую империю.

Господа приближенные видели насквозь все эти хитрости, они отлично понимали, что в них-то и сокрыта главная причина, почему так унылы и пусты праздничные шатры. И если любезная брабантская кузина Люксембуржца, дочь сира Лувенского и Гэсбекского, племянница покойного императора Генриха Седьмого, колебалась, на том будто бы основании, что она-де единственная опора родителей и что ей вовсе не улыбается менять свою прекрасную Фландрию на чужую, загадочную страну в горах,—то Люксембуржец, видно, и не настаивал.

В глубине души господа приближенные относились к самому плану женитьбы, представлявшему собой основу всей политики альпийских стран, неприязненно и предубежденно. Правда, бургграф Фолькмар, выглядевший особенно грузным и свирепым в своих грозных доспехах, заявил скрипучим голосом, что пусть Люксембург, пусть Габсбург—все едино, только бы уж невеста поскорее очутилась в постели короля; из-за этого супружества, которое все оттягивается, его величество, а через него и его советники и вельможи становятся всеобщим посмешищем от Сицилии до северных границ. Все же это заявление прозвучало несколько натянуто и неискренне, так что и хитрый молчаливый Тэген фон Вилландерс и Якоб фон Шенна, младший из советников короля, изысканный, худощавый, к усталой скептической физиономии которого не шли рыцарские латы,—оба выразили на лице сомнение. Король Генрих так приятно ничего не смыслил в финансах, он целиком предоставил управление страной своим советникам, а когда те, при сдаче отчетов, жаловались на непосильные труды и накладные расходы, он рассыпался в благодарностях и, несмотря на всегда пустую кассу, не скупился на раздачу ленов, привилегий и откупов. При нем жилось легко и удобно, жирели и уголья и сундуки. Если теперь—вздыхали эти господа—в их уютное болото заберется чужак, то наживаться, как ни вертись, будет уж не так легко.

Искренне довольны были оба прелата, хитрый тощий аббат Вильтенский и речистый, обходительный Иоанн Виктрингский. «Благо для всех и урок—созерцать деянья великих!»—процитировал последний античного классика, и оба про себя с чисто спортивным интересом наслаждались дипломатическими ходами Люксембуржца. Их дело

маленькое: Генрих, Люксембург или Габсбург—они из каждого сумеют выжать то, что им нужно для любезных их сердцу гостеприимных и жирных аббатств. Поэтому они ожидали с почти бесстрастным любопытством исхода борьбы между Альбрехтом Австрийским и Иоганном Богемским и снисходительно посматривали на толстую, благочестивую, жизнерадостную пешку, какой являлся в игре этих трех могущественных немцев король Генрих.

Господа приближенные догнали короля, который теперь сидел выпрямившись, увидели, что лицо его посветлело, угадали его решение во что бы то ни стало раздобыть себе невесту через Габсбурга. Конечно, так или иначе, а этой истории должен же когда-нибудь прийти конец. Ладно, будем ориентироваться на Габсбурга.

И когда шатры два-три месяца спустя наполнились свадебными гостями, невестой действительно оказалась совсем другая Беатриса, та, которую предложил Альбрехт Австрийский,—Беатриса Савойская; однако и тут не обошлось без Иоганна Люксембургца. Иоганн Люксембургский сватал, он же подписал и гарантировал брачный договор, Иоганн Люксембургский выплачивал приданое—обещал по крайней мере выплатить,—а его младший сын Иоганн был объявлен женихом Маргариты Каринтской и наследником страны в горах.

Двенадцатилетняя Маргарита, принцесса Каринтии и Тироля, отбыла из своего родового замка под Мераном в Инсбрук, чтобы сочетаться браком с десятилетним принцем Иоганном Богемским. Ее отец, король Генрих, предложил ей ехать ближайшей дорогой через Яуфенский перевал. Но она предпочла сделать огромный крюк, избрав путь на Боцен и Бриксен, так как хотела насладиться приветствиями многочисленных поселков, расположенных на этой дороге.

Она путешествовала с большой свитой. Мужчины медленно следовали верхом; разукрашенные фургоны дам скрипели, подпрыгивали по горным дорогам вверх-вниз, в них жестоко трясло. Многие дамы предпочитали мулов, хотя это было, собственно, не принято, или же ненадолго пересаживались на седла к мужчинам.

Маленькая принцесса ехала в запряженных лошадьми носилках с гофмейстериней, некой фрау фон Лодрон, и камер-фрейлиной Гильдегардой фон Ротенбург, сухопарым, невзрачным, чрезмерно услужливым созданием. Обе дамы то и дело вздыхали и жаловались на пыль, на скверную дорогу, на вонь от лошадей, на непрерывную тряску; но принцесса переносила все тяготы пути без малейшей жалобы.

Молча и серьезно сидела она, разряженная, торжественная. Ее стан был так затянут, что она задыхалась; рукава из тяжелого зеленого атласа, преувеличенно модные, свисали до полу. Нарочный привез ей из Фландрии драгоценную сетку для волос новейшего фасона, их только что начинали носить. В вырезе лифа сверкало тяжелое ожерелье, на пальцах — крупные перстни. Так сидела она, с серьезным лицом, потев под грузом пышных украшений, между кислыми, ноющими женщинами.

Она казалась старше своих двенадцати лет. На коренастом теле с короткими конечностями сидела большая уродливая голова. Правда, лоб был ясный, чистый и глаза — умные, живые, испытующие, пронизательные; но под маленьким приплюснутым носом рот по-обезьяньи выдавался вперед, с огромными челюстями и словно вздутой нижней губой. Волосы медного цвета были жесткие, прямые, без блеска, кожа — известково-серая, тусклая, дряблая.

Так ехала девочка из Каринтии по стране под сияющим сентябрьским небом. Всюду, куда она приезжала, ее приветствовали рожки и трубы, звонили колокола, развевались флаги. В Бриксене епископ и его капитул присоединились к свите наследницы их сюзерена. Именистые аристократы-феодалы встречали ее на границах своих ленных владений. У городской черты ее ожидали с праздничным приветствием местные власти.

На звучной латыни, твердо и совсем по-взрослому отвечала Маргарита приветствовавшим ее верноподданным. Почтительно глазел на нее народ, склонялся перед ней, как перед святыней, поднимал детей, чтобы они видели свою будущую государыню.

Но когда она отъезжала, люди переглядывались, ухмылялись. «Рот-то вывернутый! Чисто у обезьяны!» — издевались те женщины, которые сами были тощи и невзрачны; красивые жалели ее: «Бедняжка! До чего она безобразна!»

Так ехала девочка по стране, известково-серая, коренастая, серьезная, обвешанная украшениями, точно идол.

В большом шатре полотняного городка перед Вильте-ном пестрели красками роскошные гобелены и ковры, торжественно шуршали знамена, важно высились гербы Люксембурга, Каринтии, Крайны, Герца, Тироля. Десятилетний принц Йоганн стоя ожидал свою невесту, с которой должен был сочетаться браком; худой, не по летам высокий мальчик; его узкое удлинненное лицо было довольно красиво, но глубоко сидевшие глазки словно притаились, злые, маленькие. Смущенно ерзал он в стеснявшем его узком модном платье, под тяжестью мучительно сдавливавших грудь декоративных лат, на-

детых им впервые ради торжества. Потее, странно неуверенный, прятался он среди пятнадцати богемских и люксембургских рыцарей, составлявших его свиту.

Трубы, склоняющиеся знамена. Принцесса появилась. Архиепископ Ольмюцкий выступил вперед, в звучной искусной речи приветствовал ее от имени принца. И вот дети стали друг перед другом, нарядный мальчик в декоративных латах и обвешанная украшениями девочка. Испытующе разглядывали они друг друга. Неприязненно шуря злые глазки, застенчиво и злобно поглядывал Иоганн на свою безобразную невесту; холодно, почти презрительно смотрела Маргарита на длинного как жердь, неуверенного жениха. Затем церемонно, нерешительно они протянули друг другу руки.

Явились отцы. Восхищенно смотрела Маргарита на громадного лучезарного короля Иоганна. Какой мужчина! И тут Люксембуржец, который был весьма искусным дипломатом, превозмог себя. Не отпрянул. Высоко поднимая он сильными руками безобразную девочку, приносившую его сыну в приданое Каринтию, Крайну, Тироля, Герц, и на глазах у всех поцеловал ее, дрожащую, изнемогающую от счастья, в толстые, по-обезьяньи выпяченные губы. Старейший король Генрих был обрадован и растроган, его светлые глаза казались еще водянистее, чем обычно. Мясистой, слегка дрожащей рукой кутилы пожал он покрытую холодным потом бессильную, костлявую руку своего маленького зятя, заговорил с ним как со взрослым. И вот зазвенели рога, загремели литавры, пир начался. Пурпуром и золотом сверкал шатер, в котором дети вкушали праздничную трапезу. Три стола гнулись под тяжестью обильных свадебных блюд. Епископства Триент и Бриксен одолжили свое чудесное столовое белье, города Боцен, Меран, Штерцин, Инсбрук, Галль — роскошную посуду. Тяжело и пышно висели над головой жениха и невесты штандарты с неуклюжими геральдическими зверями. На своих высоких и тяжелых, разубранных боевых конях, предшествуемые музыкантами, знатнейшие вельможи Богемии, Каринтии, Тироля подвозили яства для княжеской четы детей. После каждой смены рыцари подавали воду, полотенца, наливали вино, нарезали кушанья. Торжественно, под золотом и пурпуром, со старческими лицами восседали дети за столом.

Добрый король Генрих таял от счастья. Он проследовал к молодой своей супруге, робкой, худосочной, вечно зябнувшей Беатрисе Савойской, председательствовавшей за столом придворных дам, ласково похлопал ее по руке, выпил за ее здоровье. Снова не спеша подошел к Люксембуржцу, первому рыцарю, галантнейшему кавалеру всего христианского мира. Хорошо сидеть с ним рядом,

чувствовать себя на равной ноге. Люксембуржец — не то что всегда рассудительный, пресный Баварец, король Людвиг, у которого только и разговору, что о политике да о войне. А этот — свой брат, он такой же, как и сам Генрих. Ведь он, Генрих, немало блуждал и блудил по своим замкам Ценоберг, Гриз, Триент, а также по замкам своих вассалов, и их дамам бывало лестно и приятно доказывать государю свою преданность. И во время путешествий не уклонялся он ни от каких походов, любил, чтобы городской магистрат торжественно пригласил его посетить местный веселый дом. Но этот Иоганн — ей-богу, клянусь чертом девятихвостым — превзошел даже его. Не оставалось ни одного города от испанской границы до глубин Венгрии, от Сицилии до Швеции, где бы тот не показал себя. По улицам, ночью, крался он, переодетый, похотливый, как кот, заводил интрижки с женами горожан, дрался с оскорбленными любовниками. Вся Европа говорила о его необыкновенных, дерзких, блестящих, упоительных похождениях. В блаженном настроении захмелевший Генрих придвинулся к Люксембуржцу; он был искренне ему предан, без всякой зависти. Разумеется, Генрих постарше, позрелее, но, в общем, он узнавал в этом Иоганне свое отражение, видел как бы своего младшего брата. В беспечном неведении он считал, что и мир видит Иоганна таким, каким тот представляется ему самому.

Он выпил залпом вино, с затуманенными глазами, похрюкивая, фамильярно толкнул в бок Люксембуржца, забормотал ему на ухо непристойности. Умный, блистательный Иоганн ласково выслушивал простодушную старческую болтовню короля, не давая заметить ни одним движением, что считает его старым болваном. Оба короля шептались, обняв друг друга за плечи, рассказывали флиртности, фыркали.

Остальные мужчины тоже оживились, их лица покраснели. Богемцы, люксембуржцы, тирольцы плохо или же вовсе не понимали друг друга. Это служило поводом для множества шуток. Громче всего раздавался дребезжащий смех обоих побочных братьев короля, Генриха фон Эшенло и Альбрехта фон Каминана.

Девочка Маргарита поглядывала удивленными умными глазами на своих веселых дядей. Ее статс-дамы, фрау фон Лодрон, фрейлейн фон Ротенбург, жеманно просили мужчин не рассказывать так громко столь рискованные анекдоты при детях. Обе увядающие придворные дамы выпили сладкого вина, на их щеках выступили пятна, они улыбались кисло-сладко, возбужденно.

За дамским столом сидела и младшая сестра Маргариты, болезненная калека Адельгейда. Нелюдима девочка

гораздо охотнее осталась бы у монахинь в монастыре Фрауенхимзее. Но Маргарита настояла, чтобы сестра присутствовала на свадьбе. И вот она сидела среди праздничного гула, хохочущих рыцарей, среди знамен и парадных блюд, внучка мощных завоевателей страны, дряблая, горбатая, больная, очень похожая на придворных шутов и карликов, которые кривлялись перед нею, отпуская унылые, грубые шутки. Кроткая Беатриса Савойская, ее мачеха, улыбалась ей, гладила ее руку.

Мрачный, неподвижный, стесненный парадной одеждой, сидел маленький принц Иоганн, жених, на почетном месте. Дети едва успели обменяться несколькими словами. Он искоса посматривал на сидевшую рядом с ним невесту, такую уверенную в себе, без тени робости. Чтобы как-нибудь преодолеть свое смущение, он ел много и торопливо, без разбору, пил пряное вино. В конце концов его затошнило; он насупился, старался удержаться, но потом не вытерпел. Архиепископу Ольмюцкому пришлось его вывести. Гости кругом посмеивались, добродушно, весело шутили. Маргарита смотрела прямо перед собой, холодно, презрительно.

Когда принц вернулся, он был уже без доспехов, ему стало легче. С хмурым и упрямым лицом принялся он за фисташки, фиги, пряники, лекарственные леденцы, конфеты. Это путешествие, эта безобразная гордая девчонка—его невеста, пир, отец и этот старый толстяк, который стал его тестем,—все было ему глубоко противно. Хотелось очутиться в грязной богемской деревушке, возле замка его матери, хотелось гонять с деревенскими мальчишками, всякими Вячеславами, Богуславами, Прокопами. Он был рослый, сильный и трусливый. Он безжалостно тузил и кусал товарищей своих игр. Когда они защищались, он еще кое-как мирился с этим. Но если ему грозило поражение, он вдруг становился королевским сыном, негодовал, жаловался, требовал суровых наказаний. Он воспитывался у матери, Елизаветы Богемской, которая принесла Люксембуржцу королевство. Это была истеричная дама, неистово влюбленная в своего лучезарного супруга, отчаянно ревновавшая его к бесчисленным любовницам. Особенно яростно ненавидела она вдову покойного короля Рудольфа, королеву из Граца, непристойная связь которой с Иоганном вызвала гражданскую войну и обнищание. В атмосфере этих внезапно сменяющихся чувств, то восторженной преданности своему супругу, то бурной ненависти и проклятий, воспитала она и маленького Иоганна. Они с отцом едва понимали друг друга: отец не говорил по-чешски, а сын—по-французски, приходилось изъясняться по-немецки, а этим языком оба владели плохо. Да мальчик и редко виделся с отцом—

лишь на недолгий срок шумных празднеств в периоды бурных возвратов короля в это королевство, которого он терпеть не мог, из которого лишь выжимал деньги, предпочитая ему свой Люксембург, свои живописные прирейнские земли. Тогда мать, по капризу, заставляла мальчика изображать то ненависть, то любовь к отцу. Отсюда в ребенке рано развились скрытность, мстительность, упрямство, застенчивость.

Солнечная нагорная страна Тироль, где все было омыто таким ясным, ярким светом, не нравилась ему. Он тосковал по своей облачной, туманной Богемии. Он жмурился, он чувствовал, что сыт. Вино возбудило его, хотелось действовать, приказывать, терзать.

Юный паж, стоявший за его стулом, полил ему на руки из золотого кувшина. Иоганн прикрикнул на него, пусть будет поосторожнее, он обливает ему рукава. Паж вспыхнул, его пухлые губы дрогнули, он хотел возразить, пересилил себя, промолчал.

Маргарита повернула голову, скользнула взглядом быстрых глаз по лицу пажа. Мальчик был года на три-четыре старше Иоганна, стройный, открытое загорелое лицо с крупным носом и маленьким пухлым ртом, длинные волнистые каштановые волосы.

— Как зовут пажа, ваша милость? — сказала она своим теплым звучным голосом.

Иоганн подозрительно покосился на нее.

— Крэтиен де Лаферт, — отозвался он ворчливо.

Крэтиен был вот уже год как приставлен к нему отцом в качестве старшего товарища игр, он должен был оказывать принцу придворные услуги и обучать его французским и бургундским аристократическим манерам.

— Дайте мне вон тех конфет, Крэтиен! — медленно, спокойно сказала Маргарита и посмотрела на него.

Крэтиен услужливо подал ей вазу со сладостями. Взяв конфету, она, словно так и надо, разломилась на три части, оставила одну себе, другую протянула Иоганну, третью смущенному Крэтиену.

Мужчины за своим столом отметили этот эпизод и принялись подшучивать над стремлением детей подражать галантности взрослых. Постепенно шутки становились злыми. Издевались над исключительным безобразием невесты. «Бедный мальчик! — сказал один из богемцев. — Дорого ему обойдутся его страны». — «По мне, уж лучше завоевывать мечом, чем так», — сказал другой. «Чтобы такое рыло показалось заманчивым, — заметил третий, — оно должно быть густо смазано». Тирольские бароны сначала сдерживались, но в конце концов нехотя присо-

единились к насмешкам. Девочка Маргарита посмотрела в их сторону. Слышать их она никак не могла, все же ее большие серьезные глаза казались такими всезнающими, что мужчины, смущенные, умолкли.

Среди них сидел и Якоб фон Шенна, самый младший из советников и доверенных короля Генриха. Он не раз гостил в замках короля. Девочка Маргарита часто видалась с ним. Он был единственный, кого она любила, кому доверяла. Он не говорил с ней тем тоном дурацкой снисходительности и напускной ребячливости, каким обычно говорили взрослые, глубоко возмущая ее. Он обращался с ней, словно она большая.

Он видел, как она, разряженная, торжественно сидит за столом, видел маленького грубого богемского принца, с которым у нее не могло быть ничего общего, видел, как она пыталась завязать знакомство с пажом Крэтиеном. Он слышал тупоумные издевательства над ее бедным телом. Тогда он встал, поплелся к ее столу, остановился перед ней сутулясь, в присущей ему небрежной позе, вежливо глядя на нее серыми, благожелательными, очень старыми глазами, завел с ней непринужденную серьезную беседу. О том, как блестяще выглядит ее свекор, богемский король, о том, что все его труды не оставили на нем никакого следа, что предполагаемое пребывание короля в Южном Тироле ей, Маргарите, очевидно, тоже причинит немало хлопот, ибо король, вероятно, займет своей свитой и войском все ее замки. И о том, каких денег будет стоить возможный ломбардский поход. Маленький Иоганн косился на них, пораженный разумными ответами Маргариты.

Вскоре после этого трапеза кончилась. Маргарита, перед тем как удалиться, имела еще небольшую куртуазную беседу со своим будущим супругом. Она спросила его, нравится ли ему Тироль, двор ее отца, рад ли он предстоящему турниру; пожелала ему поскорее освоиться. Мальчик отвечал неумело, глупо, с выражением какой-то упрямой тупости на почти красивом лице. Когда она уходила, паж Крэтиен встретил ее у выхода, откинул перед ней полы шатра. Она поблагодарила спокойно, холодно, далекая, царственная.

Затем она приказала отнести себя в свой шатер; она все же ужасно устала. Ее фрейлины раздели ее, усердно болтая, хихикая, пересуживая отдельные эпизоды, отдельных участников пира. Она уже лежала в постели, а женщины все трещали. Наконец они удалились. Ее тело было освобождено от тесной парадной одежды, и она с облегчением вытянулась. Теперь она крепко заснет. Она это заслужила. С собой она была довольна. Держалась хорошо, совершенно как взрослая, очень царственно, ничем перед люксембургскими и богемскими господами

себя не осрамила. Этот Иоганн, конечно, не бог вещь какая находка.

— Ну, ваш принц не бог вещь какая находка,— хихикая, заметила за стеной, с трудом сдерживая грубый голос, прибиравшая после пира служанка.

— Сравнить с вашей принцессой,— насмешливо огрызнулся слуга-богомец, который помогал служанке и за ней приударял,— так он сущий ангелок. А уж она-то! Рыло! Зубы! У нас такую сейчас же после рождения утопили бы, как кошчонку.

А король Генрих тем временем расплачивался за свадьбу. Свадьба вышла на славу. Понятно, что она и обошлась недешево, но он не скупердяй. С щедрой готовностью предложили ему приближенные эти огромные суммы, с щедрой готовностью отблагодарил он их за любезность широкой раздачей в залог деревень, поместий, пошлин, налогов и других доходных статей. Почему бы не предоставить милейшему бургграфу Фолькмару Визиаун и Мэлтерн? Он дал ему в придачу еще и Раттенберг. И аббат Вильтенский, которому приходилось столь долго оберегать праздничный полотняный городок, вполне заслуженно получил озеро между Иглсом и Виллем. А уж раз так, то пришлось подарить чем-нибудь и монастырь Викtring; награди он одних только вильтенцев, его добрый секретарь Иоанн имел бы полное право обидеться. Поэтому хутора и повинности получил и Викtring. «Большого счастья нет, чем радовать друга подарком»,— процитировал древнего классика речистый аббат.

Люксембуржец присутствовал при том, как король Генрих беззаботно, бесшабашно, милостиво и весело, сильно под хмельком, подмахивал эти дарственные и откупные грамоты. Он и сам человек щедрый, но на такое нахальство его бароны не решились бы. Не мешает наложить узду на старого весельчака. А то раздарит всю страну, да еще спасибо скажет, что взяли, а мальчик в конце концов останется при одной невесте, только и радости. Бледная кроткая Беатриса, молодая жена короля Генриха, тоже смотрела с испугом на то, как ее повелитель швыряется богатыми поместьями. Дома ее приучили хозяйничать скаречно, с оглядкой; а этак, пожалуй, скоро сорочки служанок позаложить придется. И она решила прибрать финансы к рукам; в ее бледном, робком лице вдруг появилась какая-то ожесточенность.

На ближайшие дни был объявлен турнир. По этому случаю многим молодым дворянам предстояло посвящение в рыцари. Маргарита не преминула ходатайствовать перед мальчиком-супругом, чтобы он посвятил в рыцари и своего лажа—Крэтиена де Лаферт. Глаза Иоганна стали еще меньше, упрямее: он что-то проворчал. Маргарита

настойчиво повторила свое пожелание. Принц Иоганн злобно буркнул, что и не подумает. Изю всех сил ткнул он пажа в бок костлявым кулачком.

— Вот ему посвящение! — насмешливо бросил он, иронически скривив длинное лицо.

— Бесконечно благодарен вашему высочеству за милость, — сказал Крэтиен принцессе, весь побагровев, — но раз он не желает...

— Я, я желаю! — пылко сказала Маргарита своим звучным низким голосом. Она побежала к отцу, к королю Иоганну. Смеясь, они дали согласие. Крэтиен поблагодарил принцессу, охваченный самыми противоречивыми чувствами. Уж и так товарищи отпускали грубые шутки насчет его зазнобушки.

В назначенный день состоялся блестящий турнир, которого Тироль ждал много лет. Праздник вышел на славу. Четырех рыцарей закололи, семерых смертельно ранили. Все находили, что давно уж не было так весело.

Король Иоганн тоже принял участие в побоище. Но так как до его сведения дошло, что из страха победить его, короля, противники частенько бились с ним только для виду, он выехал с гербом некоего Шильтгарта фон Рехберга. Между жителями альпийских стран и чужеземцами уже не раз вспыхивала ревнивая вражда; к тому же тиролевские, каринтские господа опасались, как бы влияние люксембуржцев на доброго короля Генриха не стало угрожать их благоденствию. Таким образом, за веселой игрой таилась весьма серьезная, ожесточенная ревность, и если тот или другой противник разбивался, зрители испытывали удовольствие. И вот случайно или потому, что кто-то выдал Иоганна, скрывавшегося под чужим гербом, — но он скоро оказался вовлеченным в поединок с самым грузным и лютым из всех тиролевских рыцарей, со свирепым бургграфом Фолькмаром. С беспощадной яростью схватились они, и в конце концов король, проведенный перед тем бурную ночь, был сбит с коня, извальный в грязи, едва не затоптан, и, когда его извлекли из свалки, оказалось, что он сильно помят и исцарапан. Ему пришлось выкупить у бургграфа своего коня за шестьдесят марок веронским серебром. Но король затаил злобу на то, что его победил именно этот неуклюжий, жадный, противный человек, он шутливо и с достоинством, невзирая на хромоту и досаду, любезно и красноречиво, как знаток, восхвалял подготовку и высокое искусство участников тиролевских спортивных забав.

Вечером король Генрих сидел усталый в своей палатке. Радость от веселого праздника была уже омрачена, посыпались счета за счетами. Мясники из Боцена требовали денег, очень много следовало уплатить инсбрукским

горожанам; добрый и ученый аббат Мариенбергский не знал, куда деться от кредиторов, которых мог бы без труда удовлетворить, верни ему король хоть часть своего долга. Генрих был бы рад платить да платить, но кассы опустели. Правда, король Иоганн остался ему должен сорок тысяч марок—сумму обещанного приданого; этой огромной суммы хватило бы на то, чтобы покрыть с лихвой все обязательства. Однако неудобно же напоминать королю! А тем более сегодня. Он чувствовал по себе, как эти вещи способны испортить праздник.

Так пребывал он в великом затруднении. Тогда его придворные привели к нему трех людей, тщедушных, подобных теням. Они были очень молчаливы, очень смиренны, очень невзрачны. У них были юркие глаза, которые умели, однако, выражать величайшую преданность. Эти трое были очень похожи друг на друга. Королю казалось, что где-то он видел их, но не мог вспомнить, где и как. Что вполне естественно: они ведь такие маленькие, такие ничтожные. Они усердно кланялись, говорили тихими голосами. Это были: мессере Артезе из Флоренции,—у него на откуп было право чеканить монету в Мерапе,—и его два брата. Эти господа и на сей раз готовы были услужить столь милостивому христианскому королю своим ничтожным капиталцем. При одном только маленьком условии: пусть его величество предоставит им доходы с соляных копей в Галле. С этих славных маленьких копей.

Король Генрих отшатнулся. Соляные копи в Галле! Главный источник государственных доходов! Дорого же станет ему свадьба дочери! Даже его беззаботные советники и те, услышав о таком условии, призадумались. В конце концов отправили для переговоров его молодую жену, которая добилась того, что копи были сданы только на два года. Флорентинцы усиленно кланялись. Отсчитали деньги, взяли документы. Ускользнули—серые, подобные теням, невзрачные, очень похожие друг на друга.

Господину фон Шенна Маргарита сказала:

— Вы верите, что Крэтиен де Лаферт мог дурно говорить обо мне? Скажите честно, господин фон Шенна, верите вы, что и он смеется вместе с другими над моим безобразием?

Якоб фон Шенна собственными ушами слышал, как юноша Крэтиен, над которым товарищи издевались, называя его рыцарем самой безобразной дамы всего христианского мира, сначала отмалчивался, затем не выдержал и превзошел товарищей в глумлениях над Маргаритой. Якоб фон Шенна увидел большие выразительные глаза девочки, устремленные на него с настойчивым вопросом.

— Не знаю, принцесса Маргарита,—ответил он.—Я

недостаточно знаю молодого Крэтиена. Но считаю маловероятным, чтобы он дурно говорил о вас.—И он положил свою большую тонкую бессильную руку ей на голову, словно ребенку, и она охотно допустила на сей раз, чтобы он обходился с ней как с ребенком.

В замке Ценоберг король Иоганн торговался с тирольскими баронами. Как опекун своего малолетнего сына, он уже сейчас требовал присяги на случай смерти Генриха. В принципе эти господа были согласны, но желали получить взамен подтверждение своих привилегий, гарантию, что Люксембуржец не посадит на ответственные места иностранцев. Помимо того, каждый завуалированно или прямо хотел получить деньги, земельные угодья, торговые монополии, пошлины.

На обещания и гарантии Иоганн не скупился. Он готов был ставить свою подпись и печать на чем угодно. В Богемии он набрался опыта: знал, что в конечном счете все это вопрос власти. Добудет он денег и солдат, так посадит на шею этим наглым горцам наместниками французов, бургундцев, прирейнцев. Не добудет ни капитала, ни армии, что ж, придется, с помощью божьей, сдержать обещание. А пока что его нотариусы писали до мозолей на пальцах: «Мы, Иоганн, божьей милостью король Богемский и Польский, маркграф Моравский, граф Люксембургский, сим заявляем и доводим до всеобщего сведения и письменно подтверждаем за надлежащей печатью...» С деньгами Иоганн был поосторожнее. Он хоть давал понять этим жадным, ненасытно торгующимся господам, что видит их насквозь. А в конце концов по-рыцарски щедро и презрительно швырял им требуемое. Деньги чистоганом — нет, их у него не водилось, но долгосрочные векселя — да! Пришлось и доброму королю Генриху с грустью убедиться в том, что не скоро он получит свои сорок тысяч марок веронским серебром. Добродушно, фамильярно, удалым жестом обнял его Люксембуржец за плечи, уступил ему, не задумываясь, судебные доходы Куфштейна и Китцбюгеля, — их он получил от своего зятя, герцога Нижней Баварии, которому заложил взамен что-то другое, — надавал обещаний на весну, похвалил его длинные, модные башмаки, а также красивую, ядреную особу, с которой танцевал Генрих. Ну, разве после этого заговоришь о финансах!

Вечером король Иоганн играл в кости с каринтскими и тирольскими баронами. Он ставил чудовищные суммы. В конце концов никто уже не мог противостоять ему, кроме бургграфа Фолькмара, с его бычьей шеей. Люксембуржец ненавидел этого грузного, грубого человека, посрамивше-

го его во время турнира. Он так повысил ставку, что даже король Генрих затаил дыхание. Проиграл. Заявил небрежно, через плечо, что проигрыш за ним. Бургграф что-то прорычал, стал угрожать. Иоганн отпарировал, сверкнув гибкой ядовитой остротой.

Как ни странно, но, хотя в Богемии и начались волнения, Иоганн туда не вернулся. Страна облегченно вздохнула. Она содрогалась, когда он приезжал. Его пребывание всегда было кратким, и стремился он к одному: выжимать деньги. Хорошо, что он не едет.

Да, он остался в Тироле. Направился во владения епископа Триентского. Праздно сидел там светлый государь, первый среди рыцарей христианского мира, что-то подстерегая, словно поблескивая сквозь загадочный туман; ни один человек не знал, что у него на уме.

Епископу Генриху Триентскому гость этот был весьма в тягость. До какой степени можно потворствовать ему, не рискуя раздражить папу или императора? И всегда вокруг этого богемского короля какой-то смутительный полумрак. Куда ни приедет—начинается бешеная сумятица. Курьеры всех европейских дворов гоняются за ним и не находят, ибо король редко остается подолгу на одном месте: так и носит его по свету, точно текучую воду. И неизвестно, куда, как, зачем. Ах, ну что бы ему, проклятому, вернуться в свою страну! Так нет, пусть она пропадает! Ее вот он не любит, эту хмурую, туманную страну. И уж конечно, предпочитает ей более солнечный Запад, Рейн, свое графство Люксембург, Париж.

Епископ, крупный, плотный человек с резко очерченным смуглым итальянским лицом, сидел, озабоченный, в своем замке Бонконсиль, изливался другу, аббату Виктрингскому, ласковому, рассудительному. Оба духовных отца изрядно бранили Иоганна. Язычник он! Иероваам! Безжалостно облагает поборами свои церкви и монастыри! Не остановился даже перед могилой Альберта Святого, приказал обшарить и ее в поисках сокровищ! Осквернитель церквей! Ирод! «Время придет — и восстанет из праха нашего мститель!» — процитировал ученый аббат древнего классика.

Да, это за много лет самый опасный, самый обременительный гость. Помазанник божий, но — епископ заявил напрямик — негодяй и преступник. Если бы не корона, его бы уже сто раз повесили. Нечисто играет. Аббат подтвердил: он только что опять сплутовал в Инсбруке. Самый неисправный должник и отчаянный мот нашего века. А тут еще эта предосудительная близость с обеими богемскими королевами. Правильно сделали два года назад в

Праге. Он затеял тогда большой турнир, начались грандиозные приготовления, дома на рыночной площади были снесены, чтобы очистить место для палаток и трибун, а затем вместо двух тысяч приглашенных, вместо императора, короля, князей, вельмож явились только семь паршивых подозрительных рыцарей и один генуэзский банкир.

К сожалению, в данное время с ним так не поступишь. Вот в чем беда. Его слава и репутация изменчивы как луна. Еще совсем недавно его чурались, точно прокаженного, а нынче уж превозносят как героя, как светоч христианского мира, и даже его нищей, ограбленной Богемией овладело ослепление, когда он возвратился после своих блистательных побед.

Настойчиво предостерегал аббат епископа, чтобы тот ни в коем случае не связывался с Люксембуржцем. Вся его политика в конечном счете бесцельная потеха.

Волны, блистая, мерца, усталого путника манят;
Бросься доверчиво в них,—тут же затянут на дно,—

процитировал он. Благодушно, с присущим поклоннику литературы пристрастием к анализу, разбирал он Люксембуржца и его поведение: Иоганн, при всей своей утонченной рыцарственности, не довольствуется тем, чтобы отыскивать в лесной чаще великанов и закованных в броню людей. Он предпочитает гораздо более пестрые приключения в мире политики. Не успех влечет его, влечет опасная жажда беспорядка, хаоса. Где бы в оголтелой Европе ни начиналась ссора—вражда ли между императором и папой или между королем и претендентом на корону, между Францией и Англией, между ломбардскими городами, между маврами и кастильцами,—нигде без Люксембуржца не обойдется. Затеять союзы, соглашения, сватать, устанавливая связи и разрывая их, вести войну и заключать мир, быть всегда в гуще свалки, наживать врагов, друзей, захватывать солдат, страны, отдавать их...

— Только не деньги,—вздыхнул епископ.

Аббат закончил, любясь изяществом своего красноречия: от этого гениального прожектера не укроется ни одна отдаленнейшая возможность, он покушается на весь Запад, ко всему протягивает руки, захватывает, роняет. В то время как его Богемия хиреет, он заглатывает все новые привилегии, страны, города, разбросанные за всеми рубежами, чудовищно раздувается. Степенный ласковый аббат выпрямился, заговорил, словно с церковной кафедры:

— Но как бы этот господин Иоганн ни носился по свету, смеющийся, расфранченный, всегда без денег, всюду нарушая клятвы, всюду чаруя пылкой победоносной любезностью,—все же и ему положен предел. Его деяния не принесут плодов, они безумны, в них нет бога.

Иногда Богемец представляется мне куклой, призраком. «Мера присуща всему, и всему существует граница», — процитировал он древнего писателя.

Епископ тоже так думал. Но до тех пор может пройти еще немало времени. Пока, во всяком случае, бог не положил предела Богемцу, и он, бедный епископ, заполучил его на свою шею. Речистый аббат не знал, что еще прибавить, и оба прелата молча стали смотреть в окно на рыжую тучную землю, на смелые очертания коричневато-фиолетовых гор, отягощенных плодами, созревавшими в садах и виноградниках.

Нет, пока Богемцу не был положен предел. Напротив: Иоганн сидел в солнечном Триенте весело и крепко, развываясь, потягиваясь. Предоставлял мягким ветрам южной осени играть его длинными волосами и красивой пышной бородой. Любезничал с тирольскими дамами — немками и итальянками. По всей Ломбардии разносилась весть, по богатым, могущественным городам, по замкам непомерно гордых баронов: Иоганн Богемский здесь, король Иоганн, сын Генриха Седьмого, римского императора, Иоганн, рыцарь из рыцарей Запада, звезда гибеллинов. Бургундские, богемские, рейнские рыцари и военачальники в эту чудесную благословенную осень перевалили со своими отрядами через Бреннер. Из Мюнхена недоверчиво косился на все это император Людвиг. В Авиньоне забеспокоился папа Иоанн XXII. И снова весь Запад взирал на лучезарного, непостижимого причудника.

Главарь партий и дворяне из долины По наперебой старались привлечь его на свою сторону, засылали к нему послов, подарки. От Мастино делла Скала и его брата, властителей Вероны, пришли две великолепные арабские лошади. Но Брешия предложила ему через своего викария Фредерико дель Кастельбарко не только коней, она предложила ему себя в пожизненное владение. Альдригетто из Лицианы приказал выдать четыре тысячи марок веронским серебром казначею Иоганна, просил короля, под защитой которого находились Тоскана и Ломбардия, отдать ему в ленное владение брешианское побережье озера Гарда. Очутился здесь вдруг и мессере Артезе из Флоренции, банкир, серый, невзрачный, подобный тени, с двумя братьями, очень на него похожими, и с очень большими деньгами.

И тогда, без особых предупреждений, втихомолку, Иоганн тронулся в путь. Его сопровождали лишь несколько тысяч всадников. Но все — великолепно вооруженные, отборные воины. Сверкая, прошумела светлая рать по сытой, зрелой горной стране. Стояла сладостная, сочная,

солнечная осень. Огромные грозди, тугие плоды. С фиолетовых смугловатых гор серебристый стальной поток изливался на Ломбардскую равнину. словно невеста стлалась она под ноги пришельцам. Бергамо, Павия, Кремона отделились ему без единого взмаха меча. Знамена, колокола; представители власти на коленях подносят ключи от городов. Славные бароны смиренно умоляют о подтверждении их ленных прав. Новара, Верчелли, Модена, Реджо заняты его рыцарями. Торжественный въезд. С балконов пестрых домов разряженные женщины смотрят во все глаза на победителя, который не в трудах, поту и пыли завоевывает эту огромную обильную страну, но празднично, словно танцуя. Император, крайне встревоженный, отправляет особых послов, сначала бурграфу Нюрнбергского, затем графа Нейфенского выяснить, чего, собственно, ищет Богемец в Италии. Иоганн невинно отвечает: он-де не замышляет никакого зла против Людвига, то, что он берет, он берет для империи; он желал бы только посетить могилы своих родителей — римского императора Генриха Седьмого, чья могила в Пизе, и матери, чья могила в Генуе, и, если возможно, перевезти их останки на родину. В то время как на рождество все колокола в Мюнхене молчали под папским интердиктом, а император Людвиг в дворцовой часовне, воздев обнаженный меч, как защитник всего христианского мира, перед небольшой свитой читал рождественские евангелия, состоялся блистательный въезд Иоганна в Брешию. Прибыл ли он ради императора? Или папы? Или же только ради самого себя? Никто этого не знает. Знает ли он сам? Он называет себя наследником императора, миротворцем. Гонзаги в Мантуе, Висконти в Милане склоняются перед ним. Все Ломбардское королевство само падает ему в руки, как плод, сорванный с ветки.

Его резиденция — на обоих берегах реки По; ни один римский император не держал столь пышного двора. Он заставляет присягать себе все страны — от Адриатики до Лигурии, улыбается непроницаемо, сыто, загадочно. Был ли у него твердый план, когда он спускался на равнину? Ныне он могущественнейший властитель христианского мира. Владеет землями вверх и вниз по Рейну, и в большей части самой Франции ему принадлежат и земля и власть. Владеет Богемией, Моравией, Силезией, забрался в глубь Польши. Владеет Нижней Баварией через дочь, Каринтией, Крайной и Тиролем — через сына. Охватил, словно тисками, Виттельсбаха, окружил кольцом Габсбурга. Владеет теперь богатым, пленительным королевством Северной Италии. Потягивается. Дышит полной грудью. Устраивает празднества. Привлекает к своему двору красивейших женщин. Временами — невзрачный, подобный тени —

появляется вместе с братьями и флорентинец мессере Артезе, ждет на почтительном расстоянии, скромно, усердно кланяется.

Девочка Маргарита росла в замках Ценоберг, Гриз, Тироля. Училась охотно и много. Расспрашивала рассудительного, речистого и ласкового аббата Иоанна Виктрингского обо всем, что видела и слышала: почему, как. У аббатис Штамсского и Зонненбергского монастырей училась теологии. Пышность, торжественная стройность литургии вызывали в ней восхищение. Она бегло говорила и писала по-латыни и по-итальянски. Пламенно интересовалась вопросами политики и экономики. Внимательно слушала лекции ученого аббата по истории, и в то время как другие, скучая, посмеивались над его отвлеченными политическими теориями, она, бывало, не наслушается его. Обстоятельно знакомилась через многочисленных иноземных гостей отца с жизнью других стран и дворов. Узнав, что Людвиг фон Виттельсбах, Баварец, избранный римским императором — четвертый носящий это имя, — не говорит по-латыни, она насмешливо фыркнула.

Она много путешествовала по стране. В экипаже и в носилках, запряженных лошадьми. Вверх и вниз по горным ущельям, по уступам, мимо плодовых садов. Проезжала, глядя вокруг внимательными, умными глазами, через красочные города Меран, Боцен. Разглядывала горожан, их каменные дома, ратушу, рынок, стены, позорный столб, постоянные дворы, бани, трупы казненных перед городскими воротами. Внезапно, властно вошла в крестьянские хижины, в шалаши виноградарей.

Добродушный король Генрих мало интересовался ею. Пусть делает что ей вздумается. Иногда с нежностью осведомлялся, достаточно ли у нее платьев, не нужны ли ей еще украшения, лошади, слуги. Самое большее, спрашивал ее мнение о новом фландрском поваре или о том, идет ли ему только что сшитый генуэзский плащ. Он был поглощен вопросами моды, пожертвованиями в монастыри, пирами, приемами, турнирами, женщинами. Правда, когда она беседовала с его секретарем, рассудительным аббатом Виктрингским, он посматривал на нее растроганно, говорил Беатрисе, ее мачехе, говорил своим гостям: — Милая девочка! Что за умница!

От монахинь Маргарита научилась петь, и было удивительно, как из-под этого приплюснутого широкого носа, из этого по-обезьяньи выпяченного рта может литься такой красивый, теплый, выразительный голос. Принцесса Маргарита обычно не стеснялась выказать свои познания и говорила не робея, но она почти никогда не пела при посторонних. Вечерами, под плодовыми деревьями, пела

она свои песни, замысловатые — из Италии, из Прованса, и простые — немецкие, как их пел вокруг нее народ. И даже когда она бывала одна, она вдруг обрывала пенье. Ведь ее могли услышать гномы. Гномы жили во всех пещерах. Они пили и ели, играли и танцевали с людьми. Но незримо. Только владетельный государь может их увидеть, если он по праву господствует над страной, где они в данное время пребывают. Ее отец видел гномов, а также бриксенский епископ, в чьи владения они иногда заходили. Якоб фон Шенна рассказывал ей подробно о гномах. Они пишут письма, у них есть государство, законы и правитель, они исповедуют католическую веру, тайно проникают в жилища человека, благосклонны к нему. Они носят при себе драгоценные камни, с помощью которых могут становиться невидимыми. Она спросила господина фон Шенна, зачем они делают себя невидимыми. Господин фон Шенна уклонился от ответа. Случайно, от служанки, узнала она причину. Оттого, что они стыдятся своего безобразия. Ее бледное лицо стало мертвенно-белым. Она судорожно глотнула.

Тщательно и заботливо холила она свое тело. Каждый день принимала паровую ванну, мылась настоящим изотру-бей, французским мылом. Она завертывала зубной порошок в баранью шерсть перед тем, как чистить свои большие, косо торчащие вперед зубы. Она втирала в кожу масло из винного камня, пользовалась румянами из сандалового дерева и белилами из растертых в порошок почек цикламена. На ночь надевала восковую маску, чтобы улучшить нечистый цвет кожи. Педантично, не щадя себя, подчинялась всем новейшим прихотям моды.

Но когда она замечала, что любую ядреную чумающую крестьянку мужчины провожают взглядом, а ее — никогда, она сразу переставала думать обо всем этом, набрасывалась с лихорадочным усердием на ученье и политику. В сотый раз взвешивала и сравнивала власть, возможности, сферу влияния Габсбургов, Виттельсбахов, Люксембургов, ибо Габсбурги, Люксембурги, Виттельсбахи не были для нее отвлеченными политическими понятиями. Люди, носившие эти имена, их знамена, их страны, геральдические звери на их гербах, их горы, реки, церкви слагались для нее в цельные и многозначительные образы. Альбрехт Габсбургский был, например, чертовски умен, энергичен, озлоблен, но он хромал. С ним хромали и его земли, Дунай, город Вена, лапа его геральдического льва. Король Иоганн, Люксембуржец, не только галантный, выдававший виды, светский человек: Тоскана и Ломбардия — это его ноги, Рейн и Эльба — его артерии, солнечный Люксембург — его сердце. А Баварию она не могла себе представить без длинного задумчивого носа императора

Людвига и без его громадных, странно мертвенных голубых глаз. Когда эти три государя, выслеживая, подкрадывались друг к другу, договаривались, воевали, в их лице воевал и насмеялся над собой весь мир, а в облаках геральдические звери их знамен вели между собой жестокую мистическую борьбу.

Своего супруга—принца Иоганна—она видала не очень часто. Рослый и долговязый, он казался все же не по летам отсталым. Его худое, почти красивое лицо становилось все грубее, тупее, а из-за маленьких, глубоко сидящих глазок—все злей. Он ненавидел книги, едва умел писать. Любил физические упражнения. Дрался с мальчиками, с сыновьями слуг, предпочитал их своим товарищам из дворян, охотился, ездил верхом. Ставил силки на птиц, был искусен в соколиной охоте, ловил дичь капканами. Мучил животных. Над крестьянами шутил злые шутки. Один крестьянский парень, не знавший принца в лицо, поколотил его. Был пойман, посажен в колодки, бит плетью. Принц жадно смотрел на это, подзадоривал палачей.

Маргариту он высмеивал за ее нелепую поповскую ученость, при случае вырывал у нее ее рукописи, трепал прическу. Она терпела. Необходимо ведь, чтобы ее мужем был Люксембуржец. С его неотесанностью приходилось мириться. Но в ее сердце безмолвно росли гнев и презрение. И Кретиен де Лаферт, адъютант и паж принца, желал своему молодому господину провалиться на самое дно преисподней. Маргарита видела стройного юношу крайне редко. Мало обращала на него внимания. Ласковый, речистый скептик аббат Виктрингский, который все пересуживал, иной раз дразнил ее этим юношей. Она, против обыкновения, резко парировала его намеки.

Охотнее всего бывала она в обществе Якоба фон Шенна. Этот еще молодой худощавый сутулый человек с тонким старообразным лицом неизменно бывал рад встрече с ней. Девочке минуло четырнадцать лет, ему было около тридцати. Но между ним и ею существовала какая-то радовавшая обоих связь. То, что он делал и говорил, казалось, выношено ею. Его внутренний мир был ей родным. Между нею и другими людьми царил холод. Они смеялись над ней, смотрели на нее с отвращением, в лучшем случае—с жалостью, так как она была безобразна. Но она была принцессой, и они делали это тайком. Однако она отлично видела и впотьмах: о, у нее были зоркие глаза, и она знала, как люди к ней относятся. От фон Шенна к ней шло душевное тепло и дружелюбие, его большие мягкие руки, его умные благожелательные серые глаза, все его существо выражало уважение к ней, сердечность, чувство товарищества.

Якоб фон Шенна был богаче и могущественнее своих братьев Эстлейна и Петермана. Ему принадлежало семь крепких замков, обширные виноградники, доходы с десяти судебных округов, привилегии, пошлыны и деньги. Обычно он говорил о своих владениях пренебрежительно и с некоторой иронией. Но был привязан к ним, ласково гладил листву своих лоз и озаренные солнцем камни своих замков. Ведь это были его лозы, его замки. Пусть собственность и вес в обществе сами по себе презренны; но, увы, люди, как правило, отравляют жизнь тому, кто этих двух вещей не имеет. Частенько говорил он девочке о том, что тирольские и каринтские дворяне бессовестно грабят доброго короля Генриха. К сожалению, ему тоже приходится в этом участвовать, иначе его долю просто захватит другой, менее достойный. Поэтому грабил и он, скептически, с хладнокровной жалостью, сердечно сочувствуя ошипанному королевскому величеству.

В этой нагорной стране его замки были красивее и содержались лучше прочих. Замки остальных дворян строились только с расчетом на прочность и безопасность; внутри же были неуютны, комнаты — тесные, сырые, темные, душные, всюду воняло конюшней. Его же замки, и прежде всего любимые резиденции — Шенна и Рункельштейн, — были светлы и полны солнца. Их строили итальянские архитекторы: покои были полны красивых вещей, ковров, пышной утвари. В то время как в замках других баронов стены были кое-как выбелены и, самое большее, в часовнях — украшены изображениями святых, его залы немецкие и итальянские мастера расписали фресками. Даже наружные стены замков фон Шенна покрывала живопись. Яркий и светлый шагал там Рыцарь со львом, Тристан плыл на своем корабле, разворачивались приключения Гареля из Цветущей долины.

Господин фон Шенна весьма любил стихи, в которых повествовалось об этих приключениях. Маргарите они были чужды. Она понимала красоту латинских стихов, которые речистый аббат Виктрингский любил цитировать, понимала Горация, «Энеиду». Там был смысл, закон, благородство, строгая связь. Эти же немецкие стихи казались ей дичью, не лучше дурацких выдумок ее придворных карликов и шутов. Разве достойно серьезного человека рассказывать в витиеватых выражениях о том, чего никогда не было и не будет? Господин фон Шенна пытался объяснить ей, что эти люди, Тристан, Парцифаль и Кримгильда, оживали и становились действительностью для каждого, кто о них читал и проникался их судьбой. Но Маргарита не хотела их признать. Эти истории продолжали оставаться для нее причудливыми, отталкивающими измышлениями; она не могла постичь, как умный,

серьезный человек может восхищаться подобным враньем и вздором.

Императора крайне тревожили быстрые успехи Иоганна в Италии. Да и старший Габсбург, хромой, умный, озлобленный Альбрехт, тоже смотрел со все растущей, скрежещущей злобой на то, как возникало из небытия сияющее Ломбардское королевство Иоганна. Что это? Неужели легкомысленный ветрогон Люксембуржец дерзким ходом оттеснит от власти их, серьезных, уравновешенных государей, возвысится над ними? И они перемигивались, медлительный тяжелодум Баварец и цепкий, озлобленный Габсбург. Они всегда ненавидели друг друга. Но коль скоро третий вознамерился их обогнать, они объединились против него. Украдкой встретились они — Людвиг, высокий, длинноволосый, с массивной шеей и выкаченными голубыми глазами, и Альбрехт, хромой, с поджатым ртом. Обнюхали друг друга, кивнули, сговорились.

Порешили, что южное королевство должно быть у Люксембуржца отнято. В случае смерти короля Генриха Каринтия отойдет к Габсбургам, Тироль — к Виттельсбахам. Император Людвиг с той же торжественностью, с какой год назад закрепил право наследовать Каринтию за Люксембургами, теперь обещал ее Габсбургам. Что касается Ломбардии, то они условились совместно напасть на Люксембуржца. Император предложил своим пфальцским кузенам потревожить Иоганна в его рейнских владениях, призвал к тому же своего зятя из Мейссена и своих сыновей — Людвига Бранденбуржца и Стефана. Герцог австрийский с королями венгерским и польским должны были напасть на Моравию.

Тем временем Люксембуржец царственно правил Тосканой в разгар ее весны. Он пригласил к себе сыновей: старшего — Карла, младшего — Иоганна. Иоганну не захотелось ехать. Маргарита вызвалась заменить его. Она ехала с небольшой свитой, предводителем которой был Крэтиен де Лаферт, навстречу ломбардскому марту. По берегам насыщенных блеском озер, по склонам, серебрившимся оливками, мимо тенистых апельсиновых и лимонных рощ. Всюду поля нарциссов. Легкое розовое цветенье миндаля. Пестрые, шумные города, дворцы, быстрые голосистые люди. Поблизости от города, служившего резиденцией епископу Аквилейскому, почетным фогтом которого был ее отец, открылось море — покачивались отважные корабли, манила даль, бесконечная, сулящая необычное...

Лучезарный триумф Иоганна. Его празднества под открытым небом, радостные, сказочные. Нарядные, цветущие, недоступно гордые женщины. Она чувствовала,

что очень одинока и убога, держалась в стороне от молодых женщин, показывалась лишь в обществе старух, лишенных привлекательности. Но и эти, видимо, ее презирали, в лучшем случае — жалели. Правда, теперь они увяли и иссохли, но некогда цвели и они. Она же в пору своего расцвета — обделена, лишена всякой прелести. Под этим небом еще меньшую цену имело то, что она благороднейшей крови, умна и учена. Под этим небом было видно только одно, только это: что она безобразна.

Но она не была малодушна, не пряталась, глотала всю горечь подобных открытий. Появлялась за столом, в ложе на турнирах, на танцах. Замечала, как при виде прекрасного Крэтиена, следовавшего за ней, губы женщин приоткрываются, взгляд становится ярким, зовущим; как этот взгляд затем пренебрежительно, насмешливо скользит по ней самой, по обезьяньему выпяченному рту, по дряблой противной коже. Но она не отвращала свое лицо от подобной насмешки. В ее взоре, встречавшем иронические взгляды, был холод и такое всезнание, что нередко люди смущенно, почти пристыженные, опускали глаза.

В Брешии Маргарита впервые встретилась с принцем Карлом, старшим сыном Иоганна. Шестнадцатилетний юноша казался совсем взрослым. В Богемии он уже не раз самостоятельно решал вопросы управления; он владел собой, хорошо держался. Пусть блеск отца не ослепляет его, внушала ему мать. Спокойными карими глазами Карл посмотрел на Маргариту, увидел, что она безобразна и умна. С ней можно было говорить. И вот, в то время как Иоганн во дворце сеньории танцевал в первой паре с красавицей Джудиттой дель Кастельбарко и горели праздничные свечи — столь огромные, что их едва могли поднять три человека, — среди музыки, знамен, серебряных рыцарей, подбострастных подданных, оба подростка, сын короля и невестка короля, беседовали трезво и деловито о влиянии ломбардских событий на суверенитет епископа Тринтского, о трудностях финансового положения.

До июня продолжалась праздничная власть Иоганна над Италией. Невзирая на все свое критическое отношение к нему, Маргарита не могла не поддаться действию театральности и блеска этого сплошного триумфального шествия. Затем вести из Германии и Богемии стали настолько угрожающими, что Иоганн, оставив заместителем своего сына Карла, вдруг отбыл, бросился в Богемию. А за его спиной немедленно рухнула и его бутафорская власть над Италией. Широко раскрыв испуганные глаза, смотрела Маргарита на то, как ломбардские рыцари, едва король уехал, словно очнулись от хмеля, объединились, стакнулись с Робертом Апулийским и, несмотря

на храброе и искусное сопротивление принца Карла, в две-три недели выгнали Люксембургов из страны. Разбитые, опозоренные, унылые, потные, бежали серебряные рыцари из Ломбардии, в которой кипело знойное лето. Иоганн уже во время катастрофы, наспех и отчаянно торгуясь, ухитрился еще заложить некоторым немецким дворянам итальянские города, которых он давно лишился. Но этого хватило, чтобы покрыть лишь малую часть тех чудовищных сумм, которых ему стоил тосканский поход. И еще много лет спустя в Париже, в Праге, в Трире, где ему приходилось жить, появлялся, подобно тени, невзрачный мессере Артезе со своими двумя братьями и, усердно кланясь, предъявлял закладные и векселя, эти единственные остатки Ломбардского королевства.

Как ни странно, но итальянская авантюра Иоганна именно из-за своей неудачи приобрела в глазах Маргариты особую яркость и значение. Теперь эта авантюра кончена и завершена, теперь она стала былью, стала историей. Даже стихи господина фон Шенна, его неправдоподобные легенды казались Маргарите уже более реальными, живыми. Деяния короля Иоганна в Ломбардии напоминали эти небылицы. И все же это было действительностью. Маргарита видела все собственными глазами.

Главное — сохранить ясность мысли. Если смотреть на дело спокойно и трезво, то Иоганн потерпел крушение из-за недостатка денег. Деньги, правда, не все; тем не менее сила их огромна. Жаль, что ее отец понимает это столь же мало, как и ее свекор. Она часто беседовала об этом с Иоанном Виктрингским. Вот папа — совсем другое дело. Иоанн XXII, этот древний старец в обличии гнома, сидел в своем дворце в Авиньоне и копил деньги. Копил монеты, слитки, серебро, золото, векселя, закладные. Ох, и следил же он, не спуская глаз, чтобы каждый аккуратно вносил десятину и сборы. Едва какой-нибудь епископ опоздает, как папа сейчас же грозит ему отлучением. Бедный епископ Генрих Триентский! Что дала ему ревностная борьба в защиту законного папы! Он не смог уплатить те шестьсот сорок дукатов, которые с него требовал Авиньон, и папа метнул в него молнию отлучения! А как искусно папа умел распределять высшие церковные должности! Каждый новый епископ обязан был внести в курию все свои доходы за целый год. Если же какой-нибудь епископ умирал, то папа не сажал на его место нового прелата, нет, он назначал кого-нибудь из уже имевших епископство, так что со смертью каждого епископа освобождался ряд папских ленов. Поэтому среди высших иерархов происходило постоянное перемещение:

они приходили и уходили, точно на постоялом дворе. А святой престол собирал жирные аннаты. «Оборот! Оборот! Оборот!» — твердил папа и его кассиры. Да, папа Иоанн знал в этом толк. Немудрено, ведь он был родом из Кагора, города банкиров и биржевиков. Большая часть западноевропейского золота текла в его кассы. Папа был влюблен в деньги; он не в силах был заставить себя опять пустить их в дело. А мог бы с их помощью снова завоевать Рим и Италию. Однако он был слишком привержен к деньгам, не способен с ними расстаться. Он сидел в своем Авиньоне, этот древний старец, точно гном над сокровищами, разглаживал векселя и закладные, перебирал золото, и оно струилось между его высохшими гномьими пальцами.

Но если умному, энергичному папе вредила в политике его жадность, то дипломатия императора, а также Люксембургца и Каринтийца страдала от их финансового легкомыслия. Внимательно слушала Маргарита, когда аббат объяснял ей, сколь крепко построил ее дед, Мейнгард, свое денежное хозяйство. Горестно, нахмутив лоб, следила она за тем, как у ее добродушного отца доходы растекались между пальцев и он, чтобы спасти от гибели один заклад, всегда жертвовал более крупными и ценными.

Ее мачеха, бледная робкая Беатриса Савойская, тоже страдала при виде безрассудной и расточительной финансовой политики короля Генриха. Практичные родители приучили ее к бережливому ведению хозяйства, и хотя она робко и скромно держалась в тени, но в конце концов не стерпела и стала пилить его за мотовство. Она была болезненна. С унылой и слезливой покорностью король Генрих убеждался, что ему и от нее нечего ждать наследника. Она же не теряла надежды. Экономила, копила, заставляла мужа дарить ей право сбора налогов и пошлин, ценой упорной борьбы добилась даже того, что, после выплаты долга мессере Артезе из Флоренции, доход с соляных копей в Галле был передан ей. Постепенно стала черствой, жадной, скупой, и все для сына, которого больше никто уже не ждал, кроме нее.

Она нередко советовалась с Маргаритой, как поправить то тут, то там расстроенные финансы. Хотя Маргарита и сочувствовала таким попыткам, но мачеха вызывала в ней отвращение. Какая она бесцветная, какая нецарственная, пропыленная и высохшая, несмотря на свою молодость! Маргарита не хотела сознаться самой себе, что не в этом главная причина ее неприязни к мачехе. Та относилась к ней кротко и ласково, чувствовала родственность их судеб. У нее нет сына, а падчерица, бедняжка, так безобразна! Обоих, в их женской сущности, бог обидел и

обделил. Но Маргарита не хотела сблизиться с ней, не отвечала на пожатие ласковой руки. Ведь Беатриса стояла между нею и властью. А что оставалось ей, уроду, кроме надежды на власть? Если Беатриса все же родит сына, исчезнет и последнее.

Король Генрих принимал опеку жены с улыбкой и добродушной воркотней. Только в одном он не терпел никакого вмешательства, да Беатриса на это никогда и не отважилась бы: его щедрость по отношению к многочисленным нравившимся ему женщинам и к их детям не имела границ.

Так же как он лелеял своих незаконных братьев Альбрехта фон Камияна и Генриха фон Эшенло, окружал их почетом и щедро одаривал титулами и землями, так же растил он по своим замкам и поместьям собственных внебрачных детей. Он был слишком добродушен, чтобы упрекать Беатрису. Все же приятно было сознавать, не его вина, что у него нет наследника; просто невезенье, несчастная звезда. И старый прожигатель жизни с гордостью и удовлетворением проходил через белокурую и темноволосую стайку своих ребят. Он растроганно ласкал их: «У этой мои глаза! А у того мой нос!» О большом мальчике: «У него точь-в-точь моя походка! Он будет братъ призы на турнирах!» Крошечного малыша, который еще и на человека-то не был похож, он подбрасывал, восклицая: «Ну вылитый я!» И он баловал детей, дарил им игрушки, сласти, а также луга, леса, замки.

Маргарита относилась дружелюбно к своим побочным братьям и сестрам. Больше всего любила она почти взрослого Альберта; король Генрих посвятил его в рыцари и отдал в лен суд в Андрионе. Этот белокурый юноша унаследовал добродушие отца, к тому же в его манере держаться была какая-то крепкая, жизнерадостная уверенность, мягкая, ровная веселость. И никогда ни тени насмешки над Маргаритой. Сам он не чувствовал никакого влечения к книгам и теориям, но искренне восхищался ее разумностью и ученостью. Она была благодарна ему за то, что он уважал ее, невзирая на безобразие.

Женщин, с которыми она встречалась,— все новые, где бы отец ни находился,— Маргарита рассматривала очень внимательно. Это были женщины всех сословий, всех темпераментов, немки и итальянки; одни, легко шурша, будто проскальзывали по коридорам, другие проходили, ступая тяжело и лениво; словно звонкие колокольчики смеялись одни, другие говорили низкими, тягучими голосами; но все, встретившись с принцессой, робели, смущались, точно замыкаясь в какой-то черствой неприязненной жалости. Ах если б иметь право жить, как они, так же легко и небрежно! Ей это не было позволено, она

безобразна и она — принцесса. Она должна быть строга к себе. Она не имеет права прошуршать, словно ящерица, она должна идти своей крутой и трудной дорогой, прямо и не останавливаясь, словно разубранное вьючное животное, тяжело нагруженное драгоценностями и сокровищами, предназначенными какому-то могущественному властелину.

Она много размышляла над этим. Говорила с аббатом Виктрингским. Или ее безобразие — кара божья? Чего хочет бог от нее? Аббат процитировал Ансельма: «Вечно меняются вещи быстрее мимолетного часа: тщетно к земной красоте, преходящей и тленной, стремиться». Увидев, что подобное утешение не действует, он спросил ее: предпочла бы она родиться в ничтожестве, дочерью крестьянина, но нравиться мужчинам? «Нет, — поспешила она ответить, — нет! Нет! Не это!» Но, оставшись одна, она воскликнула: «Да, да, да! Лучше целый день навоз возить и быть красивой, чем жить в замке, но с таким ртом, с такими зубами, с такой кожей!»

Она говорила с настоятельницей монастыря Фрауенхимзее. Маргарита приехала туда навестить свою болезненную младшую сестру, калеку Адельгейду. И вот Маргарита сидела с утонченной, увядшей, кроткой аббатисой на крошечном островке.

— Моя мать не была красавицей, — сказала девочка, — но она не была и безобразной.

Старуха положила маленькую легкую руку на ее медно-рыжие жесткие волосы.

— Я не стану говорить о боге и о потустороннем мире, — сказала она, улыбаясь, — где не наружность имеет цену. Но как быстро и здесь, на земле, покрывается морщинами самое гладкое лицо! Еще пятнадцать, ну еще двадцать лет ты сохранила бы его! Я теперь очень довольна, — закончила она, — что никогда не была красива.

Обе женщины смотрели в белесую даль широкого озера, неярко светило солнце, кричали чайки.

В следующем году вдруг слегла ее мачеха Беатриса и не встала. Она никогда не была крепкой, а теперь разочарование оттого, что у нее нет детей, еще больше подорвало ее силы. Уже причастившись, она все-таки успела сказать мужу, чтобы он непременно высек своего придворного портного и выгнал его в шею. Тот обычно утаивает слишком большую часть дорогих тканей, предназначенных для гардероба короля. Да, и еще пусть Генрих закажет себе новый кожаный чехол для парадных доспехов. Затем она предала душу богу, умерла.

Иоганн и Маргарита стали теперь бесспорными наследниками страны в горах, ибо никто не подозревал о тайном соглашении между Габсбургами и Виттельсбахами. Даже

мальчик Иоганн воодушевился, узнав, что он наследный принц. Он перечислял свои будущие титулы: герцог Каринтии, Герца, Крайны, граф Тирольский, фогт епископств Хур, Бриксен, Триент, Гурк, Аквилея. Рисовал себе удивительные старинные церемонии восшествия на престол в Каринтии, они очень привлекали его. Как государь в крестьянской одежде приходит и сгоняет свободного крестьянина с камня, на котором тот сидит. Как он, стоя на камне, размахивает мечом во всех направлениях. Как пьет из крестьянской шляпы свежую воду. И мальчик Иоганн казался себе очень важной особой.

Маргарита, взволнованная смертью мачехи и чувствуя, что от сердца у нее отлегло, так как она теперь бесспорная наследница, как-то встретила Крэтиена де Лаферта. Она заговорила с ним сердечнее, теплее, чем обычно. Она хотела бы—о, как сильно!—услышать от него хоть одно ласковое человеческое слово. Он же церемонно склонялся перед ней, отвечал почтительно, как своей государыне.

После смерти супруги добрый король Генрих стал еще набожнее. Правда, он пил и ел еще обильнее, держал еще больше женщин. Но зато и молился больше, чем раньше, часто исповедовался, всегда казался угнетенным и еще щедрее жертвовал на монастыри и церкви.

В Хурском епископстве находились земли некоего Петера фон Флавона, вассала епископа Хурского. Господин фон Флавон пал еще в молодые годы во время одного из итальянских походов короля Генриха. После него осталась вдова лет тридцати и три дочери. Вопрос о том, должны ли оставленные им поместья наследоваться только по мужской линии или также по женской, оказался спорным. Епископ Иоанн Хурский и его капитул вознамерились отобрать поместья. Госпожа фон Флавон со своими несовершеннолетними детьми пришла искать защиты у короля Генриха. Опустилась перед ним на колени, плакала. Ее добрый молодой храбрый муж! Ведь и погиб-то он, служа горюлю Генриху! А теперь этот насильник епископ Хурский намерен отнять у нее ее вдовье достояние, ввергнуть в нужду и нищету бедных сирот! Три хорошенькие дочки в черных платьях, розовощекие и аппетитные, стояли на коленях рядом с ней, всхлипывали. Добрый король Генрих был очень растроган.

Написал епископу Хурскому. Горячо защищал права госпожи фон Флавон. Епископ написал короткий и обиженный ответ. Не отступил ни на пядь от своих притязаний. Вдова же, которую тем временем гостеприимно приютили в замке Ценоберг, нравилась королю со дня на

день все больше. А с епископом дело дошло до резких споров, даже до вражды и насильственных действий. В конце концов король добился для госпожи фон Флавон только очень невыгодного соглашения.

Тем временем дама стала официальной подругой короля. Было бы неудобно ограничиться убогими подачками. Неужели эти бедняжки, чей отец отдал свою жизнь за него, должны расти, точно мелкопоместные барышни? Нет, король Генрих не такой скупердй. Он предоставил им владения Тауферс и Вельтурнс. Правда, из-за этого пришлось поторговаться с епископом Бриксенским, который объявил свои притязания на эти освободившиеся лены. Но король Генрих уперся. В конце концов выплатил епископу деньгами; даме оставили оба поместья.

Она и ее дочери держались крайне вызывающе. Под защитой короля дама чувствовала себя в безопасности. Это была красивая женщина с очень белой кожей, очень белокурая, крепкая и кругленькая. Она любила посмеяться и неизменно бывала на танцах и турнирах. В ее замках не умолкал праздничный гомон. Она вечно суетилась, во все вмешивалась, с важным видом болтала самый бессмысленный вздор, всюду вносила путаницу. Вдруг ей взбрело в голову перевезти тело супруга в часовню замка Тауферс. Из года в год настойчиво добивалась она своей цели, в конце концов поехала в Ломбардию. Похороненного там на скорую руку покойника отрыли, бросили тело, как было принято, в кипящую воду, чтобы мясо отошло от костей, отправили кости в Тауферс и там торжественно, под громкий плач и причитания дам фон Флавон, похоронили. Не было, однако, уверенности, что это подлинные останки господина фон Флавона.

Три девочки росли, почти не получая воспитания, своевольные и очень избалованные. Они то и дело дрались, из-за каждого пустяка между ними вспыхивали ссоры, иногда презлые. Всякий раз, когда приезжал добрый король, ему приходилось успокаивать их, мирить. Они не слушались матери и, объединившись, нередко бунтовали против нее. Мать жаловалась королю на дочерей, а те — на мать. Потом они так же ни с того ни с сего мирились, шумливо хвастались своей дружной семьей. Девочки носились по своим огромным поместьям, мешали служащим, мучили крестьян, изводили людей и животных.

Все три были очень хорошенькие, белые, гладкие, розовые, пышные. Но самой красивой была средняя, Агнесса фон Флавон: выше ростом, чем сестры, волосы темнее и более блестящие, лицо удлиненное, не такое круглое, нос не такой кукольный, маленький, и очертание губ смелее. Все три сестры отличались крайним тщеславием. Агнесса при всей своей молодости — она была лишь

года на два старше принцессы Маргариты,—считалась бесспорно самой красивой дамой между Эчем и Инном. На всех турнирах рыцари сражались в ее честь; она раздавала призы. Если кто-нибудь принимался славить красоту итальянских дам, немецкие рыцари единодушно восклицали: «Агнесса фон Флавон!» И итальянцы вынуждены были умолкнуть. Мать, прибывшая в Триент по каким-то делам, взяла ее с собой во дворец епископа, и вот толпа, ожидавшая перед дворцом, закричала с воодушевлением: «Ангел сошел на землю! Благослови нас, прекрасный ангел!»

Агнесса знала о своей красоте. Ей казалось вполне естественным, что король, рыцари, народ исполняют каждую ее прихоть. Она считала себя госпожой Тироля.

Король Генрих из добродушного такта старался не допускать встреч между красивыми сестрами и его дочерью Маргаритой. Правда, иной раз этого не удавалось избежать. Агнесса, хоть и соблюдала все требования учтивости, относилась к Маргарите с каким-то насмешливым снисхождением, нестерпимо раздражавшим принцессу. Однажды, когда обе девушки были одни, а при них только Крэтиен де Лаферт, и обе уже в течение получаса обменивались колкостями, Агнесса вдруг сказала, прощаясь:

— Проводите меня, господин Крэтиен!

— Господин Крэтиен останется здесь!—сказала Маргарита необычно сухо и жестко. Но когда Агнесса, пожав плечами, с насмешливой и злой улыбкой вышла, поспешила добавить:—Идите, Крэтиен, идите!—Растерянный, смущенный, последовал молодой человек за девицей фон Флавон. Принцесса же, оставшись одна, изменилась в лице, она тяжело дышала, фыркала.

Маргарита сидела однажды с господином фон Шенна над украшенной рисунками рукописью стихов. Бланшфлер была похожа на Агнессу, господин фон Шенна и принцесса рассматривали яркую миниатюру.

— Да,—сказал господин фон Шенна спустя мгновение,—она похожа на Агнессу.

— Она удивительно красива,—сказала Маргарита сдавленным, словно угасшим голосом.

— Но у фрейлейн фон Флавон глаза гораздо глупее,—заметил господин фон Шенна.

— Давайте читать дальше!—сказала Маргарита, и ее голос зазвучал, как прежде, низко, выразительно и тепло.

Король Генрих начал стареть очень рано, дряхлел на глазах. Его руки дрожали, он часто терял дар речи, лепетал. Тоскливый страх перед наказанием на том свете

охватывал его. Сколько раз видел он на церковных порталах, на картинах изображение Страшного суда, разверстой преисподней, гнусных чертей, усмехавшихся среди серных паров. Все это теперь придвинулось, пугало своей близостью. Он удвоил благочестивые пожертвования, богато одарил Мариенберг, Штамс, Ротенбух, Бенедиктенбайерн. Но это могло так же мало успокоить его, как утешительные заверения аббата Виктрингского. Для умерщвления плоти он приказал поставить в часовню Ценоберга погребальные носилки и пролежал на них целую долгую зимнюю ночь. Но тут ему явились люди, которых он ограбил, замучил, убил; хоть он и был человеком добродушным, их все же оказалось слишком много. Затем женщины, с которыми он блудил; их лица улыбались, но, когда они отвергивались, видно было, что их спины до самых внутренностей изъедены гнойными червями. Вся часовня наполнилась мерзкими бесами, тянувшими к нему когти. Он стал кричать. Но сам же отдал приказ накрепко запереть часовню и запретил кому-либо находиться поблизости, чтобы остаться до утра наедине со своими грехами и своим раскаянием. Наконец ему стало невтерпёж. Он полез—страх придал ему ловкости—вверх по стене, выпрыгнул в окно. Заполз, стуча зубами, покрытый холодным потом, в свою постель.

С этого дня он начал хиреть. Часто разговаривал с самим собой, кашлял глухо и беспомощно. Маргарита много бывала с ним, но относилась к отцу довольно безучастно. Итак, он умрет. Жаловаться ему не на что, он взял от жизни все, что было можно. Он охотно окружал себя своими детьми, особенно самыми маленькими. Бродил среди этого крошечного народца, среди лепечущих, семенящих на кривых ножках, падающих малышей, там утирал сопливый носишко, тут успокаивал задыхающегося от отчаянного рева розового карапуза. Он брал детей на руки, садился рядом с ними на пол, вздыхая, рассказывал им о своих денежных затруднениях, о церковном покаянии, о высокой политике, а они сосредоточенно и бессмысленно слушали.

Наступил апрель. Небо было лазоревое, воздух полон пыльцы с цветущих миндальных и персиковых деревьев. И тут король почувствовал, что близок его конец. Он приказал отнести себя в часовню святого Панкратия. Кроткая голубая дева Мария ободряюще улыбалась ему. Пестрое цветное окно часовни приветливо светило в ярком солнце. Возле него, тараша глазенки, стояли маленькие дети и кроткий ласковый аббат Виктрингский. Здесь настигло его последнее кровоизлияние и задушило.

Тело выпотрошили, набальзамировали. Сердце и внутренности надлежало похоронить в замке Тироль — остальное же, позднее, с большими почестями, в княжеском склепе монастыря святого Иоанна, в Штамсе.

Епископ Бриксенский, получив весть о кончине короля Генриха, тотчас отбыл в замок Тироль и, путешествуя даже ночью, услышал на дороге топот многих ног. Он спросил своих людей, не видят ли они чего-нибудь. Они тоже слышали шум, однако ничего не обнаружили. Когда же епископ попристальнее всмотрелся в ночной мрак, он увидел, что это гномы, которые густой толпой поспешно уходили на север. Но так как на пальцах у них были надеты их драгоценные камни, видеть гномов мог только он. Епископ остановил одного и спросил. Тот ответил, что так как добрый король Генрих умер, то они больше не чувствуют себя в безопасности и вынуждены покинуть страну.

В тот же день выехали нарочные, чтобы нести весть о кончине короля во все концы страны. Один — через горы на итальянскую равнину и в Верону. Обрадовались братья делла Скала. Теперь начнется смута в горах! Можно будет опять протянуть руку к северу, отхватить себе кусок. Другой поскакал в Вену. Там вечно зябнувший хромым герцог Альбрехт сидел у камина, небритый, тощий, хворый. Он насторожился, послал за братом, вызвал секретарей, стал диктовать им, забывал поесть, погруженный в планы и работу. Третий поскакал в Мюнхен, к императору Людвигу. Тот посмотрел на курьера большими простодушными глазами, голубевшими над длинным носом, и тут же не замедлил в обстоятельной и достойной речи излить свою скорбь по поводу кончины горячо любимого дяди, а сам, тяжело ворочая мыслями, обдумывал, под каким бы предлогом всего легче отнять у своей маленькой кузины ее земли.

Маргарита рассматривала себя в зеркало. На обрамлявшей стекло оправе из слоновой кости был вырезан рельеф, изображавший взятие замка богини любви. Ну да, на богиню любви она, Маргарита, ни лицом, ни телом не похожа. Но зато она — герцогиня Каринтская и графиня Тирольская. Так вот, значит, какие бывают герцогини. Она разглядывала себя с горькой усмешкой. Ну-ка, посмотрим! Глаза и лоб еще куда ни шло. Самое худшее — рот, вывернутые обезьяньи губы. Что ж, зато у нее Каринтия. Вялые свисающие щеки — куда это годится! Но разве за них не вознаграждает графство Тироль? А серое с пятнами лицо? Положите на весы Триент, Бриксен, Хур, Фриуль. Разве оно тогда не станет ровным и чистым? Иоганн, ее супруг, ужасно заважничал. Теперь он государь и властитель. Он в столь приподнятом настроении,

что стал почти любезен. Маргарита разглядывала его. В сущности, красивый мальчик. Удлиненное, властное лицо, прекрасные волосы. И глаза его казались ей теперь выразительней, смелее. Он же думал: «Она не красавица, но прекрасны страны, которые она принесла мне». Он сказал ей: «Что, Гретль?» И сердечно поцеловал в безобразные губы. Больше того, он заявил, что ей следует как-нибудь выехать с ним на соколиную охоту.

Затем дети уселись рядом и принялись очень серьезно обсуждать свои первые государственные мероприятия. Положение складывалось нелегкое. Ладить с баронами будет трудновато, те, наверно, попытаются использовать осложнения, связанные с переменой правителя. Мальчик Иоганн напустил на себя важность. Он приберет их к рукам. Он укрощал самых диких коней. Прежде всего необходимо вызвать отца, короля Иоганна; он, вероятно, еще в Париже, на турнире, у своего шурина, французского короля. Затем надо отправить послов к императору, к герцогам австрийским. Дети вызвали к себе аббата Викtringского, возложили на него эту миссию, торжественно и все же с притворной небрежностью поставили свои имена под верительной грамотой: Иоганн, божьей милостью граф Тирольский, и Маргарита, *Dei gratia Carinthiae dux, Tyrolis et Goritiae comes et ecclesiarum Aquilensis Tridentinae et Brixensis advocata*¹.

Но когда аббат Викtringский вручил грамоту по назначению, большинство этих стран было его доверителями уже утеряно. В Линце император с хромым Габсбургом обсуждал меры к осуществлению договора, по которому страну в горах надлежало поделить между Габсбургом и Виттельсбахом. Неуклюжий, грузный Баварец старался все забрать себе, не желал выпустить из цепких пальцев ни одной, самой маленькой деревушки. Неотступно, упорно торговался хромым герцог, не скупился на резкости, не уступал. Они сидели, поглощенные картами и списками, смотрели на вздувшийся Дунай, шел дождь, оба навалились на жирный кусок, каждый тащил его к себе. После яростной торговли они наконец столковались: Каринтия, Крайна, Южный Тироль — Австрийцу, Северный Тироль — Баварцу. В это время прибыл аббат Викtringский с письмами и поручениями от обоих детей. Очень вежливо приняли его оба государя. Внимательно прочли письма. С неуловимой иронией заговорил Австриец относительно того, как, мол, смерть его дяди, достойного и высокородного государя, старшего в семье и их общего отца, мучительно ранит его сердце. Как он сочувствует

¹ Божией милостью герцог Каринтии, граф Тироля и Гориции, и защитница церквей Аквилейской, Триентской и Бриксенской (лат.).

своей маленькой кузине и юному ее супругу. Но Крайна теперь его собственность. Каринтию же даровала ему щедрость императора, войска уже выступили, чтобы занять ее. Если он чем-нибудь иным может помочь или оказать услугу своей маленькой кузине, он охотно это сделает. В том же роде высказался и сам император, прямодушно глядя на аббата большими голубыми глазами. Только речь его была более звучна и торжественна, оттого что он был императором. К сожалению, дети со своими просьбами опоздали: он все решил со своими любезными австрийскими дядями. Однако он еще милостиво подумает.

Дети в замке Тироле, увидев, как плохи их дела, гнали гонца за гонцом в Париж к отцу и опекуну, королю Иоганну. Но тот был тяжело ранен на турнире. Он лежал разбитый, почти ослепший, обвязанный и забинтованный и смог послать в Тироль только бессильное утешение, советуя детям не отчаиваться; как только здоровье позволит ему, он приедет сам и защитит их и их земли. Видно, это злой рок, что вот он вынужден беспомощно лежать в постели, а между тем император и Габсбург делят между собой те богатые страны, которые он закрепил за своим домом, идя долгим путем искусной дипломатии. Но Иоганн был по натуре игроком и фаталистом, и его не сразило даже это несчастье. Он привык к внезапным переменам и, несмотря на свое немощное и жалкое состояние, все же легкомысленно острил насчет женщин и стран, теперь от него ускользнувших, и ждал с хладнокровием игрока счастливого поворота судьбы.

Тем временем Каринтия и Крайна были без боя заняты Габсбургами. Города воздавали им почести, ленная грамота императора повсюду торжественно прочитывалась. Владетельные бароны и чиновники признали совершившийся факт, принесли присягу новым властителям. Знатнейшие дворяне, во главе с величественным Конрадом фон Ауффенштейном, наместником покойного короля, наградившего его и богатейшим состоянием, и всяческим доверием, играли при этом весьма двусмысленную роль. Население примирилось с изменой детям, после того как герцог Отто Австрийский, представлявший своего брата, неукоснительно выполнил патриархальный церемониал, принятый в Каринтии при восшествии на престол государя, тот самый церемониал, которому так радовался наперед маленький Иоганн: он надел крестьянское платье, приказал нарочно посаженному для этого крестьянину встать с камня, выпил воду из крестьянской шляпы и проделал еще ряд подобных же старинных церемоний.

Впрочем, герцог Отто, щеголеватый, утонченный молодой человек, казался себе в крестьянском платье очень смешным, он и его приближенные еще долго потом острили. Но населению эта верность старинным обычаям чрезвычайно понравилась, оно было растрогано и решительно стало на сторону нового государя.

Маргарита никогда не была натурой патетической. Она вовсе не ждала, что Каринтия, из верности законному царственному дому, вдруг пылко поднимется на ее защиту. Все же та оскорбительная легкость, с какой люди, словно так и надо, отрекались от права и переходили на сторону силы, попутно стараясь урвать кое-что и для себя, наполняла ее сердце отвращением и гневом. Поэтому она не возражала, когда герцог Иоганн, яростно топая ногами, срывающимся голосом приказал разрушить Ауффенштейн возле Матреи, родовой замок изменника, каринтского наместника. Рассудительный господин фон Шенна находил, правда, что благоразумнее было бы просто отобрать его.

Но если Каринтия была потеряна, то события в Тироле складывались для детей весьма благоприятно. Тирольские бароны имели от Люксембуржца решительные гарантии того, что на высокие посты в стране не будут посажены чужеземцы; во всяком случае, с детьми легче столкнуться, чем с Виттельсбахом, который был в денежных делах чрезвычайно прижимист. Итак, тирольские рыцари перемигнулись, поняли друг друга, решили соблести традиционную тирольскую верность, стоять за свою законную государыню; они готовили вооруженное сопротивление, поддерживали в стране благомыслие.

Таким образом, старший брат герцога Иоганна, маркграф Карл, которого король Иоганн пока послал в Тироль вместо себя, нашел графство готовым к обороне, и после короткой, чрезвычайно решительной, суровой и беспощадной войны трем подросткам удалось удержать страну в горах. Маленький герцог Иоганн обнаружил в этой войне упорную, отчаянную храбрость, которая произвела на Маргариту известное впечатление.

Тем временем встал с одра болезни и король Иоганн. Правда, его зрение уже нельзя было спасти. Вместо внешнего мира он видел теперь только слабое мерцание и знал, что скоро не будет видеть и его. От этого в нем появилась какая-то усталость, склонность к философии и миролюбию. Устал от борьбы и Габсбург, хромой Альбрехт. Он видел, что, кроме Каринтии, ему пока ничего не добыть, что, продолжая войну, он в конце концов сражается за интересы императора, а тот, чуть дошло до платы, в этот раз, как и всегда без всяких объяснений, высокомерно и подло прикрыл свою скаредность императорским

титолом. Поэтому Альбрехт скоро столкнулся с Иоганном, признал Люксембургов законными властителями Тироля, в ответ на что Иоганн признал власть Габсбургов в Каринтии, но, разумеется, он потребовал также материальной компенсации: десять тысяч марок веронским серебром.

Увлеченный договорами, он предложил сделку и императору: Бранденбург в обмен на Тироль. Людвиг, у которого была особая страсть ко всяким сделкам, тотчас согласился, и оба государя принялись весьма горячо обсуждать детали этого проекта. Но тут верность тирольцев своей государыне вспыхнула ярким пламенем — при господстве Виттельсбахов бароны были бы материально весьма ущемлены; дело дошло до резких заявлений, и народ так заволновался, что король Иоганн был вынужден торжественно заявить, будто никогда и не помышлял об обмене. Его сын и наместник, маркграф Карл, счел положение настолько сложным, что потребовал от отца священной клятвы не выменивать и не продавать Тироль. И тот, пожимая плечами, с любезной улыбкой обещал.

Впрочем, молодые супруги отнюдь не собирались выполнять обязательства, данные Иоганном касательно Каринтии. Маргарита в самых резких выражениях высказала свое негодование по поводу того, как подло опекун продал ее интересы; она и ее молодой муж продолжали полностью поддерживать свои притязания на Каринтию и Крайну. Юный герцог Иоганн воспользовался этим для совершения патетической, пышной церемонии. Он собрал тирольских дворян и потребовал, чтобы они, став живописной группой, с обнаженными мечами, поклялись на кресте, что до тех пор не будут знать ни отдыха, ни срока, пока Каринтия не окажется снова в его и Маргаритиных руках.

Слепой король Иоганн нашел, что его сын — маленький осел. Ибо единственным результатом этой пылкой декларации было то, что Австрия не уплатила ему десяти тысяч марок веронским серебром. Каринтия фактически осталась у австрийцев, напыщенные тирольские бароны, несмотря на клятву, вложили меч в ножны, а в покоях короля Иоганна снова появился, усердно кланяясь, невзрачный, подобный тени, мессере Артезе из Флоренции.

Герцог Иоганн вырос, возмужал. Лицо его оставалось скрытным, злым, но тело утратило свою деревянность, оно уже не было таким тощим и долговязым, оно приобрело крепость, статность, не слишком ловкое, но уверенное. Он был хорошим охотником, мастером соколиной охоты, показал личную храбрость в бою. Он нравился Маргарите. Можно было найти мужчин красивее, умнее,

обаятельнее. Но во время трудной борьбы за Тироль он вел себя не плохо, он уже не мальчик, он очень рано стал мужчиной, и он был ее мужем. Он избегал ее. Что ж, верно, Иоганн робок от природы; разговорчив, доверчив он бывал только со своими охотниками; приходилось его завоевывать. Она старалась постоянно попадаться ему на глаза. Тщетно: пренебрежительно проходил он мимо.

Она заполняла свой день сотней разнообразнейших дел, нарядами, представительством, политикой, наукой. Но ее мысли все вновь и вновь возвращались к нему. Отчего ей не удастся подойти к нему? Ее ночи были полны им. Почти навязчиво искала она его общества. Находила всевозможные предлоги, как только он бывал у себя, проникать к нему. А он вечно спешил, ворчливо уклонялся от всякой сердечности. Она никогда не объясняла это нежеланием, ни минуты не сердилась на него. Вина только себя, свою неловкость.

Ей необходимо было кому-нибудь открыться, попросить совета. Но у кого? Ее придворные дамы черствы и глупы, добродушный аббат Викtringский начнет сыпать сентенциями и назидательными цитатами. После бессонной ночи она обратилась к фон Шенна.

Он сидел перед ней сутулый, долговязый, закинув ногу за ногу, опершись слегка увядшим лицом на крупную руку. Между легкими колоннами лоджии открывался вид на далекие горы, на яркоцветную, обильную, залитую солнцем страну. Вдоль стен лоджии шагал очень пестрый, слишком тонкий Тристан, стояла Изольда, выпрямившись, подняв отстраняющим движением руку. У ног Маргариты распластал перья ручной павлин. На Маргарите было сиреневое платье, волосы отливали медью в ярком свете дня, хотя этот же свет особенно грубо и беспощадно подчеркивал ее безобразие,—она говорила запинаясь, недомолвками. Заранее обдумала она все, что хотела спросить; и все-таки обычное красноречие изменило ей, она ограничилась намеками. В конце концов Иоганн все же ее муж. Кто-нибудь должен ему об этом напомнить. А самой ей неудобно.

Она посмотрела на господина фон Шенна. Но тот сидел молча, шурился от солнечного света, не отвечал. Еще неувереннее она продолжала. Ведь бывало же раньше, что княжеская чета, повенчанная в детстве, позднее еще раз торжественно справляла свое вступление в брак. Иоганн так любит церемонии. Считает ли господин фон Шенна уместным, чтобы она предложила Иоганну такое празднество.

Господин фон Шенна немного повременил с ответом. В солнечной тишине кричал павлин, снизу, из виноградников, очень издалека доносились крики играющих детей.

Господин фон Шенна знал, что молодой герцог с другими женщинами вовсе не робок и не глуп. Наконец он заговорил медленно, с особой бережностью. Поскольку он знает своеволие молодого герцога, он думает, что тот едва ли будет склонен поступать по чужой указке. Может быть, представится случай навести его на эту мысль так незаметно, что он примет ее за собственную. Но надо быть очень, очень осторожным. И выжидать.

Затем, обрадовавшись, что можно переменить тему, указал на всадника, медленно подъезжавшего к замку под палящим солнцем: «А вот и Берхтольд!»

Поклонившись герцогине с глубокой почтительностью, Берхтольд фон Гуфидаун приблизился. Этот статный рыцарь — смугловатое смелое лицо, голубые глаза при темных волосах — был лучшим другом Якоба фон Шенна. Господин фон Шенна говаривал: «Хоть он и вдвое глупее меня, но в десять раз порядочнее». Маргарита очень благоволила к этому решительному, прямому, глубоко преданному ей человеку.

Господин фон Шенна приказал подать вино и фрукты. День клонился к вечеру, мирно текла беседа. Вдруг, во время паузы, Маргарита спросила:

— Скажите, господин Гуфидаун, ведь вы имеете дело со столькими людьми: каково мнение народа обо мне?

Честный Гуфидаун, застигнутый врасплох, смущенно пробормотал, что народ любит и чтит ее, как подобает. Но покрылся испариной под ясным, серьезным взглядом девушки. Шенна поспешил на выручку. Всем известен ее ум и находчивость и то, что она спасла страну от Габсбурга и Виттельсбаха.

Маргарита отлично чувствовала, что осторожность, которую ей рекомендовал Шенна, очень уместна, — больше, чем он мог при его воспитанности сказать. Но она не желала в этом сознаться. Она просто была не в силах бездействовать и дальше смотреть, как Иоганн пренебрегает ею. Хорошо, пусть ее лицо безобразно, в фигуре нет ни благородства, ни прелести. Но она здорова, славного рода, она хочет, она способна и имеет право зачинать и рожать княжеских детей. Мужчины дураки, они ждут, чтобы их подтолкнули; наверно, так оно и есть. Мальчик сам не догадается, его надо натолкнуть.

Она спросила, с трудом сдерживая волнение и словно мимоходом, когда и где Иоганн считал бы наиболее желательным отпраздновать их вступление в брак. Монастырь Вильтен, город Инсбрук ждут этого. Он осмотрел ее с головы до ног, яростной насмешкой исказилось его лицо, глаза стали крошечными. Еще и праздновать? Он же на ней женился! Напраздновались. Он и не подумает вторично справлять свадьбу. Пусть потрудится подо-

ждать, оставит его в покое. Он кричал. Голос срывался. Он иронически хмыкнул, стал хохотать. С ее жестких медных волос его взгляд скользнул вдоль ее короткого, неуклюжего тела вниз до самых ног. Он напоминал коварную обезьянку. Маргарита судорожно глотнула. Она отвернулась, ушла.

Оставшись одна, она предалась неистовой ярости. Сам-то он кто? И похож на злую безобразную дворняжку. Не будь он герцогом, кто бы на него позарился? А герцогом она его сделала. И вот теперь—кто поможет ей?—она должна сносить это столь дерзкое издевательство. Для того ли она герцогиня? Когда еще женщину так постыдно отвергали и оскорбляли? Она исцарапала себе грудь, бедное безобразное лицо. Металась, визжала, выла, стонала так, что прибежали перепуганные фрейлины.

На другой день Маргарита словно оделась корой льда. Бросилась в политику. Маркграф Карл, старший брат Иоганна, уехал на Рейн. Истинным регентом был умно руководивший герцогом Иоганном епископ Николай Триентский, бывший канцлер маркграфа в Брюнне, человек энергичный, сметливый, искренне преданный Люксембургам. Теперь Маргарита стала вмешиваться во все мелочи, вежливо, но с непоколебимой настойчивостью заставляла епископа посвящать ее во все подробности управления государством.

С герцогом Иоганном она избрала тон ледяной официальности, называла его «господин герцог» и положенными титулами. Она привлекала его к решению всех политических вопросов, но, сохраняя изысканную вежливость, вновь и вновь выставляла перед тирольскими баронами глупым, вздорным мальчишкой. Испрашивая его согласия, она ловко умела свести это к простой формальности, причем он, невзирая на свой гнев и раздражение, ни в чем не мог обвинить ее, когда она спокойно удивлялась и недоумевала.

Финансы страны были в лучшем состоянии, чем при короле Генрихе, но еще отнюдь не в порядке. Приходилось осторожно лавировать, изворачиваться. Герцог Иоганн, наскучив этой кропотливой возней, призвал всемогущего мессере Артезе из Флоренции, он знал его еще по делам отца. Могущественный банкир, невзрачный, подобный тени, бесконечно услужливый, вдруг появился в замке Тироль. Разумеется, он с огромным удовольствием выручит. Взамен он потребовал совсем ничтожной услуги: отдать ему в виде залога только что открытые серебряные рудники.

Герцог Иоганн был готов дать немедленное согласие. Маргарита с расчетливой дальновидностью возражала

лишь вскользь, не уговаривала, предоставила ему окончательно запутаться. Лишь когда план был разработан до мельчайших подробностей, она решительнейшим образом запротестовала. Иоганн вскипел, его жилы вздулись, точно змеи.

— Итальянец получит рудники! — завизжал он.

Маргарита, трепеща от торжества:

— Он их не получит!

Герцог в ярости. Что? Он обещал банкиру право на серебро и не сможет выполнить обещания? И только потому, что эта ведьма, эта отвратительная уродина, потаскуха не желает? Он получит их! Он получит их — и он бросился на нее, дал ей пощечину, вцепился в нее зубами.

Она, счастливая тем, что удар попал так метко, ликовала, и ее звучный голос влетался в его визг:

— Он их не получит! Никогда не получит! Никогда!

Задыхаясь, обессилив от пожирающей его злобы, он выпустил ее.

Маргарита отправила нарочных к маркграфу. Оторвавшись от важных дел, рассерженный, вернулся он в Тироль, чтобы рассудить дело. Ясно, Маргарита права: конечно же нельзя отдать флорентинцу серебряные рудники. Маргарита тактично вмешалась, избавила супруга от явного поражения. Но когда они остались одни, старший брат так разнес герцога, что у того кровь закипела от ярости.

Трезвый, практичный маркграф не мог не оценить государственную мудрость своей невестки. Из Богемии и Люксембурга слухи о ее дипломатическом искусстве распространились и по европейским дворам. Правда, официальные переговоры велись с герцогом Иоганном: но во всех государственных канцеляриях было известно, что на самом деле нагорной страной правит единолично безобразная молодая герцогиня.

Вскоре после кончины короля Генриха умерла как-то вдруг и госпожа фон Флавон, владелица Тауферса и Вельтурнса. Гуляя однажды в обществе младшей дочери и собирая с радостными возгласами альпийские цветы, красивая полнотелая дама сорвалась с откоса и убилась насмерть. Дочери, среди всеобщего соболезнования, пышно похоронили ее рядом с сомнительными останками Петера фон Флавона, привезенными ею из Италии. Три хорошенькие барышни оказались в весьма затруднительном положении. Теперь, после смерти их покровителя короля Генриха, епископ Хурский возобновил свои былые притязания на их западные владения, а епископ Бриксен-

ский требовал, и не без оснований, возврата замков и поместий Тауферс и Вельтурнс.

Три молодые дамы, белокурые, прелестные и беспомощные, долго вели переговоры с финансовыми советниками епископа. Многие пытались за них вступиться. Но против законных требований могущественных епископств бороться было трудно. В конце концов дело перешло в последнюю инстанцию — к герцогу.

Агнесса фон Флавон явилась в замок Тироль, преклонила колена перед молодым герцогом. С мальчишеской важностью стоял он перед коленопреклоненной, на его удлиннном узком лице губы были серьезно сжаты. Его властолюбию льстило, что это хрупкое создание в своей черной одежде, прекрасное и скорбящее, покорно распростерто перед ним, взирает на него снизу вверх манящими темно-голубыми глазами. Так и должно быть.

Так повелел сам бог. Пусть та, другая, безобразная, лает на него. А эта вот, нежная, прелестная, красивейшая женщина страны, склонилась перед ним, смотрит на него смиренным, преданным, полным доверия взглядом. Он обошелся с ней весьма милостиво.

Агнесса засвидетельствовала свое почтение и герцогине. Маргарита мужественно устояла перед искушением унизить красавицу. Была с ней очень милостива. Тепло выразила свое соболезнование по поводу смерти госпожи фон Флавон. Ведь ее отец, король Генрих, относился всегда особенно благожелательно к их семейству, добавила она с непроницаемым лицом. Да, очень жаль, что, как она слышала, юридическая сторона дела складывается не в пользу барышень. Она лично готова, конечно, в любую минуту оказать им поддержку из своих собственных средств.

Агнесса заранее решила не раздражать Маргариту. Но при этой загадочной, вдвойне оскорбительной насмешке она не выдержала. Как? Девушка с таким лицом и такой пастью осмеливается подпускать ей шпильки? Да будь та хоть римской императрицей, а Агнесса — холодкой, она возмутилась бы. Она посмотрела на Маргариту долгим, пренебрежительным взглядом. Сказала затем, что обстоятельства складываются, по ее мнению, вовсе не так уж плохо. По крайней мере, господин герцог был к ней очень милостив и утешил ее. Маргарита довольно сухо закончила:

— Ну да, будет заслушано мнение сведущих лиц, и все, что говорит в пользу сестер, будет милостиво принято во внимание.

Перед тем как покинуть замок, Агнесса встретила Крэттена де Лаферта, который выразил ей в надлежащих словах свое соболезнование. Агнесса выслушала его серьез-

но и поблагодарила с достоинством. Он просил разрешения сопровождать ее на обратном пути домой. Она и тут соблюдала приличествующий ее положению меланхолический тон, хотя время от времени, невзирая на пристойную скорбность, позволяла себе лукавую, кокетливую шутку и чрезвычайно смутила молодого человека столь внезапной сменой настроений.

Положение Крэтиена при тирольском дворе стало нелегким. Пока принц Иоганн был мальчиком, обязанности Крэтиена не вызывали сомнений. В качестве услужливого товарища ему надлежало незаметно исправлять и сглаживать многочисленные нарушения придворных манер и обычаев, допускаемые своевольным маленьким принцем. Король Иоганн был убежден, что более тактичного адъютанта для его невоспитанного сына, чем этот красивый, выдержанный, скромный юноша, трудно найти. Однако сам принц Иоганн никогда не испытывал особого влечения к красивому прямодушному товарищу. Он то и дело обижал его, дразнил, унижал, подстерегая своими маленькими волчьими глазками: не возмутится ли этот юноша и не подаст ли повод прогнать его.

Крэтиен, младший отпрыск обедневшей дворянской французской семьи, вынужден был искать счастья при дворе. Но сидеть лучшие годы своей жизни в Тироле, без всяких надежд, не имело никакого смысла. В походах короля Иоганна Крэтиен сражался доблестно и храбро. Однако случая особенно отличиться ему не представилось. Что ему делать у злобного молодого герцога, который постоянно его унижал, во всяком случае — не благоволил к нему? Он лелеял мысль вернуться ко двору короля Иоганна, или уехать во Францию, или, еще лучше, к королю Кастильскому. В битвах с маврами можно добыть и деньги и славу.

Маргарита в течение долгого времени не выказывала особого благоволения к молодому рыцарю. Лишь когда она убедилась, что все пути к герцогу Иоганну для нее закрыты, начала она опять завлекать Крэтиена. Возлагала на него небольшие, но деликатные дипломатические поручения, задавала ему невинные вопросы, подчеркивая их значительность особой интонацией. Он был очень сдержан, полон сомнений, не хотел понимать. Большая удача — заслужить благосклонность столь высокопоставленной особы; но счастье это было обоюдоострым. Ведь немислимо же ломать копья за столь безобразную женщину. Правда, никто не осмелится, как прежде, смеяться над ним в лицо. Однако все в нем возмущалось при мысли о насмешливых улыбках и грязных намеках за его спиной. Вместе с тем до него доходили слухи о том, с каким уважением отзываются при всех дворах о дальновидности

и разумности герцогини. Ему льстило, что дама, пользующаяся подобной репутацией, избрала именно его. Она импонировала ему, он был ей благодарен, уже не избегал ее. Он стал отвечать ей в том же тоне, его глаза затуманивались при виде ее, его голос, когда он говорил с ней, звучал глухо.

Однажды, только что вернувшись после довольно продолжительного отсутствия, он просил доложить о себе герцогине. Ее не оказалось в покоях, сухопарая фрейлина фон Ротенбург повела его в отдаленную часть вечеряющего сада. Из-за купы деревьев доносилось пение. Фрейлина приложила палец к губам, сделала ему знак остановиться, молчать. Теплый звучный голос пел простую песенку, ликуя парил над землей, рыдая нисходил в пропасти, скорбел, благодарил, постигал все заблужденья. Молодым человеком овладело такое же чувство, как в церкви в большой праздник. Он снял шапку. «Герцогиня?» — прошептал он, не веря. Но она уже шла к ним по аллее. Она прочла на его выразительном лице глубокое взволнованное изумление. Медленно протянула ему руку. Он склонился над ней.

Тем временем разбор вопроса о наследстве госпожи фон Флавон дошел до той стадии, когда откладывать решение стало уже невозможно. Все юридические и политические основания были за то, чтобы отдать освободившиеся лены епископам, оказавшим немалые услуги дому Люксембургов. Однако советники отыскиали множество сомнительных оснований в пользу дам фон Флавон. Дело в том, что Агнесса побывала у каждого из них, пустила в ход хитрость, печаль, очарование молодости, беспомощность и до тех пор уговаривала их, пока совсем не опутала. Иоганн самовольно решил — оставить поместья барышням. Но Маргарита возражала — упорно, веско, так что спорить было трудно. В конце концов порешили на следующем: замок и поместье Вельтурнс оставить сестрам, западные владения вернуть Хуру, Тауферс — Бриксену, однако с условием, чтобы епископ Бриксенский мог передавать его в ленное владение только лицу, предложенному замком Тироль.

Сестрам, уже поделившим было между собой огромные владения, пришлось удовольствоваться одним Вельтурнсом. Они были крикливы, упрямы, несговорчивы. В замке Вельтурнс не смолкали злобные распри. Как ни странно, приятные голоса дам становились во время ссор необыкновенно визгливыми и резкими, как у павлинов. Впрочем, в обществе сестры всегда прикидывались очень дружными, ходили обнявшись, прелестные, улыбающиеся, подобные цветам.

Кандидатом на освободившийся Тауферс Маргарита предложила Крэтиена де Лаферта. Герцог возмущенно запротестовал. Как? Посадить в это тучное поместье голодранца, лицемера, который как будто и воды не замутит, а сам, дорвавшись до власти, нападет на тебя из-за угла? Однако Маргарита настаивала. Герцог Каринтский и граф Тирольский не может позволить себе быть скупым. Не может так долго пользоваться услугами человека, а потом поступить как скряга и выжига. Если Крэтиен без награды и благодарности уйдет теперь к другому двору, она сама будет опозорена столь низкой скаредностью! Когда же Йоганн продолжал упираться, она пригрозила ему призвать для окончательного решения маркграфа Карла, и герцог, ворча, наконец согласился.

Маргарита лично сообщила Крэтиену об этом решении:

— Епископ Бриксенский отдает вам в лен замок и округ Тауферс. Покажите себя на деле, господин фон Тауферс! Ваш успех будет мне гордостью, а ваша неудача — позором.

Худое загорелое лицо Крэтиена покраснело до корней непокорных волос. Медленно опустился он на одно колено. Он уже не видел ни по-обезьяньи выпяченного рта, ни серой отвисшей кожи.

— Герцогиня! — пролепетал он. — Всемиловитейшая, дорогая герцогиня! — И он вложил необычную горячность в общепринятую формулу: «Pour toi mon âme, pour toi ma vie!»¹

В угрюмом прадедовском замке тирольского ландесгауптмана Фолькмара фон Бургшталья с десятков наиболее влиятельных баронов сидели за вином. Редко звал к себе гостей этот грузный человек, а если и звал, то так грубо, что это звучало как приказ. Зал, в котором они сидели, был душный и низкий, стены голы, пол едва прикрыт сукном. Консервативный хозяин презирал такие новшества, как оконные стекла. Молодой жизнерадостный Альберт фон Андрион, незаконный брат Маргариты, смеялся над тем, что сейчас, в холодное время года, оконные отверстия просто-напросто забиты досками. Точно сидишь в погребе. Все закоптело от камина, свечей и смолистых факелов. Да такой зал и не натопишь! Бароны недовольно ерзали на скамьях: с одного бока поджариваешься, с другого мерзнешь. Нервный господин фон Шенна покашливал, сопел, у него разболелась голова в этой неприятной душной пещере, где так противно воняло остывшим

¹ Тебе моя душа, тебе моя жизнь! (фр.)

навозом конюшен. Но кушанья—дичь и рыба—были приготовлены отменно и подавались целыми грудами, и вино, спору нет, было превосходное. Присутствующие знали хозяина, им было ясно, что он позвал их не из гостеприимства. Но он был груб и скуп на слова: не рекомендовалось спрашивать его, пока он сам не заговорит. Итак, гости пили, болтали о пустяках, ждали.

Наконец несколькими сварливыми, отрывистыми замечаниями Фолькмар навел разговор на политику. Угрюмо вытянул из собеседников то, что хотел. Да, Люксембургами недовольны. Первый, заявивший об этом совершенно открыто, был граф фон Ротенбург. Маленький кряжистый человек—грубое, красное лицо, черная щетинистая борода—пришел в азарт, стучал кулаком по столу, выкрикивал угрозы. Разве за то, что он отказался уплатить некоторые подати, они не разрушили его замок Лаймбург? Отличный замок под Кальтерном, который строили его отец, дед, прадед. А пожелал этого молодой герцог, коварный волчонок. Приказ же отдал епископ Триентский, этот мрачный богемец, заладивший одно: «Авторитет! Покорность!» Пусть взяли бы в залог часть его пашен, виноградников, ну деревню. Но—только чтобы разозлить его—разрушить целый замок, хорошо укрепленный, из мощных камней, в своей, не во вражеской стране,—это же дурость, прямо язычники какие-то. А госпожа Маргарита не одобрила этого, маленькая герцогиня. А все потому, что она—законная государыня и чувствует заодно со своей страной. Но эти чужаки—богемцы, Люксембурги, что они могут чувствовать? Деньги хотят они выжать из Тироля, и больше ничего, так же как Люксембуржец выжимает их из Богемии. И он, Генрих фон Ротенбург, утверждает, что в тот раз король Иоганн, сколько он теперь ни клянись в обратном, все-таки собирался отдать Тироль в обмен на Бранденбург.

Молча внимали остальные опасным речам. Взвешивая каждое слово, начал тогда холеный осторожный Тэген фон Вилландерс. Формально Люксембурги все-таки блюдут договор и чужеземцев на важнейшие посты в стране не сажают. Ведь нельзя же отрицать, что ландесгауптман—господин фон Фолькмар, а ландсгофмейстер—господин фон Ротенбург. Разве нет? Выхоленный, бритый, несколько старомодный барон посмотрел на обоих так серьезно, что они не поняли: издевается он, что ли, и чего он, собственно, хочет?

Маленького Ротенбурга взорвало. Уважаемый барон, верно, считает его дураком? Ландсгофмейстер! Ландесгауптман! Нынче самый глупый крестьянин уже давно раскусил, что все это только титулы, а кто управляет на самом

деле? Плосконосый епископ Николай Триентский, богемец, не говорящий ни слова по-тирольски.

Честный Берхтольд фон Гуфидан смотрел на все это, обливаясь потом, высоко и смущенно поднимая брови. Его мужественные голубые глаза неодобрительно поглядывали на строптивых, непокорных баронов. Не подобает вести такие речи против помазанных богом государей. Молодому Альберту фон Андриону тоже стало неловко. Правда, Люксембурги устроили и ему неприятность, весьма чувствительно урезав доходы, назначенные королем Генрихом своим многочисленным внебрачным детям. Однако юный Альберт был малый бесхитростный и добродушный, к бунтарским идеям отнюдь не склонный, он глубоко почитал свою сестричку, герцогиню. Но ведь никакого подстрекательства и не было: речи господина фон Бургштала не содержали в себе ничего конкретного, а речи умного господина Вилландерса — и того менее; неуместные угрозы выкрикивал, в сущности, только маленький Ротенбург, но он был сильно пьян. И все же эта история как-то неуловимо пахла бунтом.

Осторожный Тэген фон Вилландерс снова вытянул щупальца. Да, у них у всех верное чувство: законная династия, выросшая на родной земле и в родном воздухе, предназначена самим богом властвовать над Тиролем. Тут он замолчал. Маленький пылкий буйнобородый Ротенбург подхватил его мысль. Пусть Люксембурги правят там, куда их посадил бог или черт: в Люксембурге; а если богемцы позволяют, так и в Богемии. А что они сидят и правят в Тироле — это дело рук человеческих, не божьих, и это — ошибка. От них самих, от дворян, зависело после смерти Генриха впустить в страну Габсбурга, Виттельсбаха, Люксембурга. Ясно, что Тиролем может править только тот, кого захотят сами тирольцы. Бог так расположил в этой стране горы, доли и ущелья, что чужак не может овладеть ею силой. Они верны, они за Маргариту. Но с Люксембургом они связаны не соизволением божьим, а лишь договором. Герцог Иоганн и другие богемцы плохо выполняли свою часть договора. Поэтому он как бы расторгнут, потерял силу.

Бароны смотрели на его губы, тяжело дышали. Ясно. Бунт. Никаких сомнений.

Как же это сделать, стал нащупывать почву господин фон Вилландерс, как отделить Маргариту и священный долг верноподданства от Люксембургов?

Шенна, глядя перед собой, намеками выразил свою мысль: особенно счастливой герцогиню назвать нельзя, насколько он знает. Наследника ни ей, ни стране от герцога Иоганна ждать не приходится, насколько ему известно. И нужно думать, дело не в ней. При этом он,

улыбаясь, кивнул головой на живое подтверждение плодовитости ее отца, короля Генриха, на Альберта фон Андриона, который сидел среди них румяный, свежий, смеющийся, польщенный.

Господин фон Вилландерс подытожил: ничего не сказано, не решено. Можно себе представить и лучшее, более национальное правительство, чем иноземцы Люксембурги. Все остаются непоколебимо верны богом данной герцогине Маргарите. Может быть, уместно спросить о ее мнении и желаниях. Он полагает, что самый подходящий человек для этого — господин Альберт фон Андрион.

Все шумно согласились. Молчал только честный Берхтольд фон Гуфидаун, терзаемый сомнениями. Юноша Альберт, сначала колебавшийся, но сильно охмелевший и польщенный уговорами остальных, в конце концов согласился довести до сведения сестры мнение этих господ и осведомиться о ее отношении.

Маргарита теперь любила бывать одна. Часто улыбалась тихой, сытой, непонятной для ее придворных дам улыбкой. На узком цоколе ее скудной любви фантазия воздвигла чудесную грезу — маленького, невоспитанного, скрытного мальчишка, каким был в действительности ее супруг, она превратила в мощного тирана, который ее не понимал и из темных глубин своей властолюбивой души терзал ее. Молодого Кретиена она украсила всеми добродетелями тела и души. Он был и Эриком, и Парцифалем, и Тристаном, и Ланцелотом, и Рыцарем со львом. Все светлые подвиги, когда-либо совершенные героями в истории и в поэзии, — это он совершил их или мог совершить.

Счастье и милость, что небо обошлось с ней так строго и отказало в банальной прелести лица и тела. У женщин, женщин повседневности, окружавших ее, были мужья, возлюбленные, они удовлетворяли с ними глухое звериное сладострастие в душных спальнях или за кустами. Ее любовь чиста и возвышенна, грязное, земное ей с первой же минуты заказано, для нее закрыто. Ее любовь, светлая, иная, парила над мелкими, убогими, душными желаньями и отвратительным телесным блудом других. Сладостно быть такой строгой и чистой перед собой и людьми. Сладостно не участвовать в скотских, грязных сплетениях людской плоти.

Она стала болезненно чувствительна ко всему шумному, громоздкому, телесному, к грязи. Ей претило чужое прикосновение, запахи людей доставляли страдание.

Стоял март. Из Италии мягкими теплыми порывами дул ветер, будивший тоску в крови. Вершины гор стояли в

снегу, но подножья склонов уже покрылись нежными хлопьями распускающихся миндальных и персиковых деревьев. Она смотрела из лоджии замка фон Шенна на холмистый яркоцветный пейзаж. Над нею шагали пестрые, слишком тонкие Ланцелот и Джиневра, ехал по морю Тристан, Дидона бросалась в пламя. Теперь Маргарита была подобна им. Стихи, так долго казавшиеся ей пустыми, лишенными смысла, словно раскрылись, и ей было дано вкусить от их темной, блаженной полноты.

Приветствую тебя, высокий строгий рок! Приветствую тебя, безобразие! Приветствую, княжеский венец и скипетр!

Почти благодарна была она своему суровому тирану — супругу, ибо через его суровость обрела любимого. Сладостный друг! Он постигал ее сущность. Он знал, что эта серая, дряблая, пористая кожа, этот ужасный рот, эти мертвые волосы — только внешняя оболочка, а что под ней она нежна и полна прелести.

Маргарита редко видела его, почти никогда с ним не говорила, никогда между ними не было произнесено таких слов, которые нельзя было бы сказать во всеуслышание.

Все же она ни на миг не сомневалась в том, что он ее любит. Маргарита не забыла его преданный горячий взгляд, когда она пела и затем вышла к нему из обвитой виноградом беседки, и его голос, и как он млел перед ней, когда она сообщила, что дает ему в лен поместье Тауферс. Правда, это была иная любовь, чем та, пошлая, которую она видела вокруг себя, с поцелуями, слащавыми будничными словами и всякими ужимками. Через этот взгляд, через его томность он принадлежал ей, Маргарите, совсем иначе, гораздо полнее, чем обычно кавалер принадлежит своей даме, как бы он ни был влюблен. Пусть остальные телесно владеют своими любовниками. Это дешево стоит и обыденно, как еда и питье. Ей, герцогине, подобает иная любовь, более высокая и суровая. Вероятно, легко все вновь пробуждать и подогревать низменную любовь через внешнюю прелесть, через наслаждения звериной темной похоти. Ей же приходилось все вновь бороться со своей внешностью, все вновь отвоевывать любовь своего друга у его отвращения к ее безобразию.

Блаженна горечь такой борьбы! Она благодарила бога и деву Марию за столь сложную, суровую, поистине царственную любовь.

Она не уставала наделять образ Крэтиена все новым сиянием и блеском. Крэтиен не был честолюбцем. Она была честолюбива за него. Его блеск оттого не открывается другим, что она удерживает Крэтиена в Тироле, а здесь не представляется случая. Она, Маргарита, виновата

в том, что в глазах света он остается ничтожным, не имеет случая возвыситься. Она его должница, ее долг представить ему этот случай.

Тем временем Кретиен вступил во владение поместьем Тауферс. Теперь ему принадлежали деревни Луттах, Занд, Кематен, Невесталь, Рейнталь. Все это при дамах Флавон пришло в некоторый упадок. Он радовался возможности поднять благосостояние своих владений.

Ему доставляло огромную безудержную радость, после долгих лет при дворе, чувствовать, что он снова сам себе господин. Бессодержательно, пестро и несносно было время, проведенное у герцога Иоганна. Обязательные церемонии, постоянные щелчки по самолюбию, необходимость молчать в ответ на обиды, глубокие поклоны, коленопреклонения, сменяющиеся наглым зубоскальством исподтишка, гнусный торг на турнирах, блестящая и все же нищенская жизнь, вечный страх перед кредиторами. Он поднимал худое загорелое лицо с крупным носом и волнистыми длинными волосами, дышал этим воздухом, его воздухом. Он разъезжал по деревням, крестьяне благожелательно, полные почтения, смотрели на своего стройного, ловкого, уверенного господина. Женщины и девушки таращились на него благоговейно, точно в церкви.

При тирольском дворе он дольше не выдержал бы. Он охотно и с легкой душой уехал бы на своем коне искать приключений. Теперь все вышло по-другому, и он чувствовал себя отлично. Жажда деятельности вполне удовлетворялась перспективой поднять хозяйство в своем имении. Конечно, он будет ездить и ко двору, участвовать в военных походах, появляться на турнирах. Но тащиться в Африку, воевать с маврами или рубиться с турками и сарацинами из-за гроба господня,—нет уж, спасибо! Пока он не чувствует к этому ни малейшей охоты. Мужественный и довольный, разъезжал он по своей земле и наслаждался своей молодой властью.

Однажды его посетила герцогиня. Он был глубоко и смиренно ей предан. У него и в мыслях не было смешивать свои мимолетные и очень реальные отношения к той или иной женщине со своими чувствами к ней. Маргарита была для него образом, в создании которого немалую роль играли представления, полученные им от певцов и шпильманов. Эти отношения были для него чем-то поэтическим и воздушным, правда, они принесли чрезвычайно удачный и осязаемый плод—дарованный ему Тауферский лен,—но в остальном с действительностью никак, даже отдаленнейшим образом, не соприкаса-

лись. Юноша и не подозревал, как он дорог Маргарите, какую роль играет в ее жизни.

Он принял герцогиню радостно, с преданной сердечностью. В его голосе было то многозначительное томное смущение, которое вызывало в ней трепет. Правда, его речи были банальны и трезвы. Он рассказывал ей об изменениях, которые задумал произвести в своих поместьях, о более рациональных методах земледелия, о том, чтобы не давать спуска крестьянам. Она вдруг прервала его и, указывая на глетчеры, одинокие, ясные и надменно-далекие, врезавшиеся зубцами в светло-синее небо, спросила:

— Вам никогда не хочется, Крэтиен, очутиться на одном из этих глетчеров?

Крэтиен посмотрел на нее растерянно и глуповато. Он сказал, и теперь его голос звучал очень ясно, в нем уже не было никакой тайны:

— Нет, для чего же? — И заговорил опять о том, как хороши и плодородны подножья этих гор.

Через несколько дней явилась Агнесса фон Флавон. Она бывала уже не раз у Крэтиена в замке Тауферс. То и дело находились какие-то мелочи, о которых еще надо было договариваться; Крэтиен тоже довольно искусно находил все новые вопросы, требовавшие разъяснений и личных переговоров. Агнесса была белокура, трогательна, беспомощна и всякий раз сызнова прощалась с замком и горами, окидывая их печальным взглядом.

Тем временем старшая сестра, Мария фон Флавон, вышла замуж за какого-то баварского рыцаря и предоставила замок Вельтурнс обеим младшим сестрам. Но баварцу надо было выплатить немалое приданое: на поместье Вельтурнс и так было много долгов. Агнесса, невинно глядя на Крэтиена большими голубыми глазами, попросила совета. Крэтиен приехал в Вельтурнс, увидел, с какой небрежной, элегантной расточительностью хозяйничают сестры, порекомендовал кое в чем сократить расходы; это было очень практично, но превращало барское поместье просто в доходную крестьянскую усадьбу. Агнесса завидовала сестре. Ей-то хорошо, она теперь выбралась из нищеты. Правда, баварец груб, неотесан, да и нелегко менять яркоцветный Тироль на тусклую баварскую равнину. Но в конце концов и ей самой, вероятно, ничего другого не останется. Ее лицо, нежное и смелое, с выразительными глазами, было повернуто к стройному загорелому Крэтиену, а он стоял перед ней глуповато и смущенно.

Заговор против Люксембургов созрел. Фолькмар фон Бургшталь, Тэген фон Вилландерс, Якоб фон Шенна, посеяв семена недовольства, не приметно отступили в тень.

На переднем плане оказался теперь маленький пылкий Генрих фон Ротенбург и, наполовину против воли, веселый, добродушный Альберт фон Андрион, брат Маргариты. Сама Маргарита с лихорадочным и страстным рвением сплетала нити заговора. Наконец-то она увидела возможность поставить Крэтиена туда, где ему надлежало быть, дать ему возможность совершать великие дела, выполнить по отношению к нему свой долг.

Бароны колебались посвятить Крэтиена в заговор и тем более предоставить ему ответственное место. Он был нездешний, чужак, довереннейший паж герцога Иоганна. Маргарита вынуждена была сослаться на то, как низко желчный Иоганн всегда обращался с ним и как Крэтиену больше всех приходилось страдать от издевательских выходов ее супруга-тирана.

Сам Крэтиен был немало изумлен, когда Маргарита заговорила с ним об этом плане. Разумеется, он был настолько рыцарь, чтобы сейчас же принять участие в освобождении дамы из рук ее притеснителей—тем более что он столь глубоко ее чтит и был стольким ей обязан. Но особенного воодушевления он не выказал. Он был занят трудами по имению, лучше, если бы все это произошло попозже. Помимо обязательного, но в данный момент несколько обременительного исполнения рыцарского долга, он видел в этом одну выгоду, и то довольно скудную. Этим способом он мог упрочить свое положение среди местного дворянства: господин фон Тауферс-Лаферт, принявший участие в тирольском, чисто местном заговоре, едва ли мог по-прежнему считаться чужаком.

Маргарита, пылая нетерпением, мучила, подстрекала, подливала масла в огонь, высматривала и оценивала своими умными, живыми глазами все благоприятные возможности. Сумела устроить так, что вместе с Альбертом фон Андрионом и Генрихом фон Ротенбургом во главе заговора оказался и Крэтиен.

Тем временем в замок Вельтурнс приехал некий Джулио из Падуи—невзрачный, неповоротливый, неразговорчивый, вечно улыбающийся господин, казавшийся полудиотом. Однако дядей его был капитан Падуи, а ему самому принадлежали богатейшие земли на побережье озера Комо. Агнессе он был по-собачьи предан, и Крэтиен вдруг испугался, что она решится последовать за ним в Ломбардию, как последовала за баварцем год назад ее сестра. Когда он думал об этом, его замок Тауферс, его деревни и долины казались ему вдруг потерявшими цену, померкшими.

Но с Агнессой, вероятно, нельзя вести себя, как с другими женщинами. Ее нельзя просто взять. Она такая хрупкая. В объятиях она может умереть от страха.

Бережно заговорил он с ней. Если ей неприятно жить в обремененном долгами Вельтурнсе, то не хочет ли она поселиться с ним в Тауферсе.

О, как она умела прикидываться удивленной! Она приказала своим глазам затуманиться, губам застенчиво улыбнуться, сделала рукой движение, отстраняющее и в то же время смущенно зовущее, пролепетала отрывочные слова, в которых был и испуг и обещание.

Он красивый юноша, спору нет, не то что эти неотесанные тирольские бароны. Смелое, худое лицо с крупным носом, небольшой полный рот. Должно быть, приятно перебирать его волнистые длинные каштановые волосы. Да и Тауферс—богатое поместье. Но в конце концов ее волосы, глаза, ее драгоценная хрупкость и прелесть стоят—гром и молния!—десяти таких имений. Когда она вспоминала, как итальянцы пожирали взглядом ее белокурую красоту, как бледнели при одном лишь взгляде на нее, то говорила себе, что могла бы найти в Ломбардии и не такого еще рыцаря, побогаче. Царить на положении супруги какого-нибудь Висконти или какого-нибудь Скала в Милане, в Вероне, среди шумного восхищения этих блистательных городов, явилось бы триумфом гораздо более славным, чем состоять при тирольском дворе на ролях супруги господина Тауферс-Лаферта.

Крэтиен видел, что она колеблется, медлит с ответом. Он почуствовал, что должен придать себе больше веса, значительности. И он посвятил ее в план заговора против Люксембургов.

Агнесса слушала с загадочной, глупой, странно довольной улыбкой. Она вдруг поняла, что гораздо большее торжество стать супругой Крэтиена, чем Мастино делла Скала или Висконти в Милане. Победа ли—вырвать этого человека из рук безобразной герцогини, мордастой, вискокожей? Да, да! Победа! Она вдруг поняла, что давно ждет этой победы, всеми способами приманивает ее. Единый поток увлекает ее и Безобразную, они качаются на одних качелях. Правда, та уродина, но на ее безобразных волосах покоится герцогская корона, глаза на ее безобразном лице горят дьявольским умом и жгучей энергией. Победить ее, герцогиню, гораздо труднее, чем иную красавицу. Ненависть между Агнессой и той была чем-то очень живым, главным стимулом и в ее жизни, и в жизни той. Как та боролась за любимого человека! Она ограбила ее, Агнессу, и ограбленное отдала ему, искусно нагромождала события, чтобы поставить его на их вершину и возвеличить. А вот ей, Агнесе, которая была нищей, чье единственное достояние—красота, оказалось достаточно поманить его пальцем, и он тотчас спрыгнул с высокого пьедестала, возведенного той с таким трудом, и

упал к ее, Агнессы, ногам. Она испила до дна блаженство этого сознания, она преисполнилась им, она плавала в нем. Нет, она останется в Тироле, померится силами с герцогиней, которую ненавидит, отнимет у нее больше, чем этого человека. Как упоительно взмыться на качелях в столь блаженную высоту и увидеть соперницу далеко внизу, уничтоженную.

Крэтиен вступил в опасную борьбу с Люксембургами так, словно это был турнир. Он был счастлив, что заручился взаимностью Агнессы. Ни на миг не пришло ему в голову, что, связавшись с ней, он оскорбит герцогиню. Маргарита — это одно, Агнесса — другое, его отношения с той, его чувство к этой совсем разного порядка. Он спешил со свадьбой, так как события назревали. Агнесса поддерживала его в этом; ей доставляла острое наслаждение мысль, что именно ее мужу Маргарита будет обязана своим освобождением.

Герцог Иоганн и маркграф Карл во главе большей части бегемо-люксембургских войск собирались в конце недели покинуть страну на несколько месяцев, чтобы помочь отцу в польской войне. Агнесса спросила Крэтиена, когда и как сообщат они герцогине об их женитьбе. Крэтиен собирался было пригласить Маргариту на свадьбу. Под настойчивым, невинно-насмешливым взглядом темно-голубых глаз барышни фон Флавон он вдруг заколебался. Сначала решил известить Маргариту, ушедшую с головой в подготовку мятежа, после свадьбы, затем — подождать до последнего совещания с нею. Но когда они вместе обсуждали последние детали заговора, ему показалось, что следует сообщить ей о своей женитьбе лишь после того, как люксембургские управители, сборщики податей и войска будут изгнаны и она окажется единственной госпожой своей страны. Впрочем, когда он прощался с нею, чтобы снова увидеться уже после благополучно завершившегося государственного переворота, в его голосе была та же томная многозначительность, которая давала ей столько счастья в высшие минуты ее привязанности.

Вскоре после ухода Крэтиена перед Маргаритой предстал в полном вооружении герцог Иоганн, чтобы, в свою очередь, проститься с герцогиней. Маркграф Карл выступил уже раньше с основной массой люксембургской гвардии. Холодно, презрительно слушала Маргарита язвительные речи Иоганна. В заключение он сказал со злобой:

— Воображаю, что здесь начнется, когда вы будете править без меня. На примере Тауферса видно, каковы результаты, когда действуют вразрез с моими распоряжениями.

— Тауферса? — не удержалась она от вопроса.

— Ну да, Агнесса хоть так, да вернула себе замок. Можно было ей просто оставить его.

Маргарита дальше не спрашивала. Она вдруг все поняла. Пока герцог был здесь, она держала себя в руках. Она не упала в обморок, голос не изменил ей, ее взгляд спокойно и насмешливо выдержал взгляд его маленьких, злых, подстерегающих глаз.

Когда она осталась одна, взрыв ее гнева был ужасен. Кто еще бывал так обманут, как она! Томным голосом говорил он с ней, выразительным, бесконечно преданным взглядом смотрел на нее, каждым жестом выказывал глубокое понимание. Он внушил ей уверенность, что сквозь безобразную оболочку прозревает строгую, суровую красоту ее внутреннего мира. Притворялся, что вместе с ней отрекается ее отречением, вместе с ней одерживает мучительные победы, вместе с ней уходит из уютных долин будничных радостей на холодные, одинокие, исступленно-строгие высоты. И тут же предал ее ради красивой пустой личины. Кто знает, может быть, они сейчас вместе смеются над ней?

Хитро он все подстроил, ничего не скажешь! Заставил дьявольски дорого заплатить себе за комедианство, за восторженные гримасы, за притворную преданность. Такой ценой, как поместье Тауферс, можно было купить шутов, певцов, скоморохов, шпильманов всего государства. А теперь он еще милостиво разрешил ей поставить его во главе заговора против Люксембургов. Вероятно, надеялся, что станет бургграфом, ландесгауптманом, фактическим регентом Тироля. И потому до сих пор скрывал от нее свой брак с Агнессой. Удался бы переворот, и власть бы очутилась в его руках. Тогда бы ему уже незачем было страшиться ее гнева. Мог бы хозяйничать в стране как избавитель от иноземцев, даже против ее воли.

Как он и та женщина, вероятно, издевались над ней, глупой, безобразной герцогиней, над дурой, поверившей, что подарками да утонченными переживаниями можно заставить забыть о своем безобразии! Как будто для мужчины самая лучезарная душа может значить больше, чем выпяченный рот и отвислые щеки. Она неистовствовала. Она кипела яростью на самое себя. В один миг рухнуло столь искусно возведенное здание мечты, в котором она спасалась. О, как лживы были все эти фантазии относительно ее суровой высокой миссии, эти благословения, какими она награждала свое безобразие! Смешна была она, просто смешна, разряженная в модные платья и выпренные чувства, она, которую бог отверг, наделив ее отталкивающей наружностью, и над которой вдвойне насмеялся, дав ей при этом столь высокий сан.

И она еще смотрела сверху вниз со своей кристально чистой высоты на Агнессу, на эту маленькую, яркую, глупую бабочку! А теперь сама лежала в дерьме, где ей и место, отвратительное насекомое, а Агнесса улыбалась с голубой высоты узкими, алыми, ах, столь изящно изогнутыми губами.

Ненавидит она Агнессу? Нет, ненависти она к ней не чувствует. Ведь иной та и быть не может. Хорошо красоте улыбаться—почему бы и нет,—высокомерно взирая на безобразие. Но он, Крэтиен! Какая ложь! Как он смотрел на нее, обратив к ней смелое, смуглое, открытое лицо, с молитвенной собачьей преданностью в глазах! Как трепетал его голос теплом и волнением! И как мог человек с таким открытым, честным лицом так лгать! И господь допустил это, и земля не развезлась! Пес! Обманщик! Гнусный лжец!

В своей ярости она выкрикивала все проклятья, все ругательства, самые непотребные, какие знала, бессмысленные, случайно услышанные, громоздила их друг на друга. Долго бушевала Маргарита, пока без сил не упала на ковер. И вот лежала, раскинув неуклюжие набеленные руки, неспособная шевельнуться, охрипшая, среди рассыпавшихся прядями жестких медных волос.

Когда она наконец поднялась, она была другая. Принялась за дела, словно замороженная, с холодной неукротимой энергией, ясно сознавая, чего она хочет. Диктовала, сама писала письма, слала курьеров. Писала еще, еще подписывала, еще слала курьеров. Так продолжалось два дня. Потом она погрузилась в бездействие, столь же глубокое, сколь перед тем была напряжена ее деятельность. Никого не принимала. Волоча ноги, бродила по своим покоям. Часами смотрела в окно, и ее губы приоткрывались странно-похотливой, грозной улыбкой. Ждала. Не ела. Не говорила. Ждала.

Не успел маркграф Карл и герцог Иоганн доехать до границы, как их нагнал нарочный с письмом от епископа Николая Триентского, который был слепо предан Люксембургам. Епископ извещал, что получил-де из самых различных мест анонимные предостережения. В стране беспокойно. По слухам, во главе заговора стоят Крэтиен фон Тауферс, Генрих фон Ротенбург, Альберт фон Андрион. Он настойчиво советует герцогу и его брату немедленно идти с войсками обратно.

Люксембурги вернулись ускоренным маршем. Поймали Альберта фон Андриона и Крэтиена фон Тауферса в потаенном месте, где те скрывались. Восстание потерпело неудачу, еще не успев начаться. Мятежные бароны уползли обратно в свои замки; никто из них будто бы ничего не знал и не ведал о недовольстве правлением

Люксембургов, а тем более о предполагавшемся вооруженном восстании. Подлинные зачинщики — Бургшталь, Вилландерс, Шенна — вели себя с самого начала достаточно разумно и остались в тени. Точно весенний снег исчезли бунтовщики перед люксембургскими войсками. Генриху фон Ротенбургу удалось было скрыться, но добрые друзья, стараясь обелить себя, его выдали.

После того как восстание было подавлено так скоро и легко, маркграф Карл решил, что ему незачем дольше задерживаться в Тироле. Он порекомендовал своему брату и епископу Триентскому рядовых участников не преследовать, но зато беспощадно покарать вожakov. Оставил усиленную охрану в замке Тироль и в важнейших крепостях, с остатком войск двинулся на помощь отцу в Польшу.

В замке Зонненбург под Инсбруком сидел епископ Николай Триентский, угрюмо, сосредоточенно слушал протокол, который читал секретарь герцога Иоганна. Сам Иоганн стоял опершись о стол, смотрел со злой, торжествующей полуулыбкой на сидевшего перед ним насупленного прелата.

Да, теперь ясно, что епископ был прав. Он считал это политически неправильным, а если ничего не выйдет, так и просто вредным. Но он, Иоганн, настоял, смело пренебрег всеми этими соображениями. Ну и пусть это брат герцогини! Ну и пусть в нем кровь законно правящей династии! Он государственный изменник, бунтовщик, нарушивший присягу! И он приказал пытаться Альберта фон Андриона.

Ему этот белокурый красивый весельчак всегда был противен. Ах, значит, и тот всегда ненавидел герцога, вместе с Маргаритой строил козни против него. Только раньше он оставался неуловимым. Теперь можно, благодарение богу, его изобличить, обезвредить.

Герцог сам присутствовал при допросе с пристрастием. Первые пытки Альберт перенес, упорствуя, молча. Привязав к его ногам свинцовые гири, они подтягивали его за связанные на спине руки. Вверх, вниз, опять вверх. Его бело-розовая кожа покраснела, покрылась испариной. Но он молчал. Вынес он также и завинчивание в тиски больших пальцев. Он заскрипел зубами, брызнула кровь, он изверг рвоту. Но своих тайн он не изверг. Только когда его тело стали щипать раскаленными щипцами и щекотать под мышками горящими головнями, он наконец соблаговолил стать разговорчивее.

И вот показания. Хорошие, ценные показания. Правда,

епископ считал, что Ротенбург отъявленный болван, а Крэтиен и Альберт — просто глупые мальчишки, за всем этим должны крыться более умные головы, но до них пока, несмотря на показания, добраться не удалось. Во всяком случае, теперь значитесь черным по белому: бунтовщики «поставили» Маргариту в известность о своих планах, герцогиня — участница заговора.

Нахмуренный епископ язвительно спросил, разве Иоганн когда-нибудь в этом сомневался. Тот ответил: нет, но он рад, что теперь есть доказательства — он этим протоколом отхлещет Маргариту по роже. Епископ спросил, уверен ли он, что таким способом род Люксембургов укрепит свою власть?

Перед отъездом в замок Тироль Иоганн вынес приговор главарям восстания. Альберт, изуеченный пыткой, угасающий, был лишен своих ленов; после того как вильтенские монахи его немного подлечат, он будет отправлен в пожизненное заключение в Богемию. Приземистого Генриха фон Ротенбурга Иоганн велел привести к себе в лохмотьях, стал таскать его, связанного, с кляпом во рту, за бороду, бил по щекам, заявил задыхающемуся, выкатившему глаза барону, что и два других его замка будут разрушены, сожжены, сровнены с землей. Самого Ротенбурга доставили в Люксембург, в темницу. Крэтиена он увез с собой в замок Тироль.

Герцог нашел Маргариту вовсе не в таком отчаянии и унынии, как он ожидал. Охваченная странной, смертельной усталостью, притаилась она в углу. Иоганну казалось, словно это змея, которая нажралась, и вот недвижима, и не ведает больше ни надежды, ни страха в своей оцепеневшей апатичной сытости. Бегая взад и вперед, он бряцал оружием перед нею, по-мальчишески важничая в своих доспехах, выкрикивал угрозы, непристойную брань. Пусть не воображает, что ей удастся бежать, все выходы охраняются тройным караулом — рвы, ворота, стены. Она не выйдет из своей комнаты многие месяцы: он еще подумает, кому может быть разрешен доступ к ней. Однако все его громкие слова не возымели должного действия. Маргарита слушала с ленивым, тупым любопытством, никак ее не заденешь за живое; бить ее, плевать на нее, как он сначала рисовал себе — и это не приведет ни к чему. Он сверкал на нее маленькими волчьими глазками. Но замечал, что вся его ярость и крики кажутся ненатуральными, не достигают цели. Обманутый в своих надеждах, он в конце концов удалился.

Она долго лежала одна. Какой опустошенной чувствовала она себя, словно все из нее вынули. Был пасмурный, сырой день. Ее знобило. Хотела приказать, чтобы затопили. Позвонила. Никто не явился. Она добралась до двери.

Двое вооруженных людей выступили ей навстречу, молча выставили копыя.

Надвигались блеклые сумерки. В комнату проскользнул человек, поставил на стол большую горящую свечу, странно беззвучно положил рядом со свечой что-то завернутое и свиток и так же безмолвно исчез.

Маргариту зазнобило сильнее, сощурясь, смотрела она на миганье свечи. С трудом дотащиась до нее, попыталась отогреть застывшие руки у маленького огонька. Свиток содержал несколько глав из Священного писания. От завернутого предмета исходил приторный запах тления. Странно привлеченная к нему, почти против воли потянула она уголок прикрывавшего его платка. Платок съехал. Нити, каштановые нити. Нет, это человеческие волосы. Длинные, каштановые. Под ними лоб. Отрубленная голова. В ужасе отпрянула она. Голова Кретиена уставилась на нее остекленевшими глазами. Голова лежала перед нею, крупный нос торчал из-под платка, рот и подбородок были еще прикрыты.

Горло у нее пересохло. Порывисто дыша, вся в холодной испарине, забилась она в угол, захрипела. Вперилась в эту голову, которую мигание свечи искажало трепетно, прихотливо, уродливо. Закрыла глаза. Красно-тая, плясала перед нею ночь.

Что-то принудило ее снова впериться в голову. Хорошо, если бы умерла эта свеча и ее сумасшедшее трепетанье. Надо потушить. Но у нее не хватило сил. Разве она боится? Нет, она не боится. Ведь она герцогиня. А что, если за ней следят в дверную щель? Она встает: держа голову прямо и неподвижно, вся одеревенев, словно на ходулях идет к столу, опрокидывает свечу. Падает на пол.

Долго лежит неподвижно. Ощущает почти с радостью только холод, больше ничего. Затем ночь вновь начинает плясать и дергаться. И отрубленная голова тоже дергается. Становится бесконечно длинной и узкой. Худые щеки поблескивают ядовитыми желтовато-синими отсветами, и каждый из грязных черноватых волосков на подбородке хочет уколоть ее. Мертвые глаза во мраке открываются и закрываются. Они совсем лишены выражения, словно у мертвого животного. О, если бы настал день! Лучше было не убивать свечи. Ночь лежит на Маргарите словно тяжелое, душное одеяло. В этой ночи лежишь точно в гробу, а мертвый Кретиен открывает и закрывает безжизненные глаза.

Он безобразен. Самое безобразное, но живое не так безобразно, как мертвое.

Нет, то, что он хотел обмануть ее, не пошло ему впрок. Красивая теперь тоже не много от него получит. Мужем без головы не похвастаешься.

В своей гибели он увлек и других. Бедный Альберт! Милый, добродушный, ласковый брат. Он был такой безобидный, такой хороший товарищ. Наверно, он и участвовал, только чтобы не нарушать компании. Теперь он нищ и наг, искалечен и в темнице. Резвый, веселый юноша.

Но Крэтиен был все-таки иной. Смелое, худое, смуглое лицо. Она больше не будет бояться мертвой головы. Она долго, пристально станет рассматривать ее, и Крэтиен будет принадлежать ей, не красавице. День, когда же наступит день, чтобы она могла видеть мертвого друга! В своих глупых стихах господин фон Шенна постоянно воспекает волшебство ночи, ведь ночь принадлежит любви, и проклиняет день—пусть никогда не приходит. Вздор. Ее время—это день. Вставай, день! Подари мне мертвого друга, который мне принадлежит, день!

Все же, когда в комнату заполз день и вокруг мертвой головы забрезжил первый серый свет, она лежала, трясясь от озноба, с закрытыми глазами, в бреду.

После двух месяцев строгого надзора ей разрешили поехать на несколько дней в монастырь Фрауенхимзее к большой сестре Адельгейде. Калека была так же нелюдима и замкнута, как всегда.

Все силы Маргариты, казалось, истощились. Она ела, пила, ходила. Как и монахини, преклоняла колена в монастырской церкви, здороваясь в ответ на поклонны, говорила в ответ на обращенные к ней слова. Она была молода и стара, как мир. Она была гораздо старше и многоопытнее увядшей кроткой аббатисы, знала гораздо тверже, что все—суета сует и томление духа.

Приехал проведать ее и ласковый аббат Виктрингский. Он никогда особенно не был сторонником Люксембургов, короля Иоганна считал вольнодумцем и безбожником—оттого-то бог и наказал его слепотой,—и он был рад, что Маргарита против них восстала. По своему обыкновению, он говорил много, сыпал цитатами; но она продолжала быть молчаливой.

Долгие часы просиживала она с аббатисой на берегу крошечного островка, смотрела в даль белесого светлого озера. Вода лениво хлюпала в камышах, светило тихое, блеклое солнце, далеко-далеко лежал рыбак в неуклюжей старинной лодке. Аббатиса внимательно смотрела на Маргариту, гладила ее толстые, теперь уже не набеленные руки.

— Молодая герцогиня!—сказала она однажды увядшим, кротким, умудренным голосом.—Молодая герцогиня!

— Молодая? — спросила Маргарита так устало, что в ответе не прозвучало даже горечи. — Молодая? Вы в десять раз моложе меня, предостойная госпожа.

Аббатиса сказала:

— Дерево ведь не умирает, даже когда стоит зимой без листьев. — И сказала еще: — Нет ничего мучительнее, но и ничего блаженнее, чем после оцепенения возвратиться к жизни. — И она сказала также: — Вы бы спели с монахинями, молодая герцогиня.

Когда Маргарита возвращалась в замок Тироля, Людвиг Баварский послал отряд пышной императорской охраны проводить ее до границ ее страны. Во главе великолепного поезда ехали знатнейшие придворные, впереди них развевалось знамя с виттельсбахским львом. Бароны и представители власти торжественно выстраивались по пути ее следования.

Герцогиня машинально благодарила их, без обычной величественной уверенности. Поникшая, равнодушная, она была слишком утомлена, чтобы задуматься над тем, чем вызваны со стороны императора такие почести.

Да, у Виттельсбаха были, конечно, для этого основания. Ему только что в пренебрежительной форме напомнили о том, как неудобно для него господство Люксембургов в Тироле. Его план покончить с ломбардскими недоразумениями путем военного похода был расстроен епископом Триентским, который хладнокровно и напрямик запретил его войскам проход через свои владения. Это недовольство императора было ловко использовано тирольскими баронами. Все эти Бургштали, Вилландерсы, Шенна, которые во время первого заговора против Люксембургов ловко оставались в тени, отнюдь не отказались от своих намерений. Неудавшийся переворот научил их тому, что необходимо заручиться поддержкой какой-нибудь сильной державы. Чего же естественнее, как не обратиться к врагу Люксембургов, к Виттельсбаху? При подготовке предыдущего переворота участие Маргариты отнюдь не содействовало успеху. Было не вполне ясно, какова конкретная причина, из-за которой сорвалось восстание. Но достоверно одно: странный каприз, заставивший герцогиню поставить во главе Кретиена де Лаферта, спутал и порвал столь хитро сплетенные нити. Во всяком случае, благоразумнее на этот раз действовать через голову Маргариты и привлечь ее только в последнюю минуту. Отделаться от герцога Иоганна при всех условиях будет для нее избавлением.

Итак, в строжайшей тайне императору было послано письмо. В нем бароны рассказывали о том, что озлобление против Люксембургов растет и что все крайне сожалеют о несостоявшемся итальянском походе импера-

тора, который сорвался из-за упрямого сопротивления епископа Триентского. Императора запрашивали, пока условно, не согласится ли он женить своего сына, маркграфа Бранденбургского, на герцогине Тирольской. Жадный до земель Виттельсбах, прельщенный перспективой приобрести Тироль, ответил тоже условно, что обсудит это со своим сыном, маркграфом: пока Люксембурги сидят в стране, все эти планы — пустая мечта.

Этот ответ вполне удовлетворил тирольских баронов. Они понимали, что осторожный Виттельсбах не мог сказать большего. Хотя его ответ и был замаскирован, но, по сути дела, содержал явственное «да». Пышный конвой, предоставленный теперь герцогине, уже сам по себе являлся достаточным ответом. Разрушение Ротенбургских замков, пытка, которой подвергли Альберта, сына доброго короля Генриха, казнь Крэтиена фон Тауферса — все это лишило Люксембургов последних симпатий.

Бароны продолжали подливать масла в огонь, подстрекать, все еще ничего не сообщая Маргарите.

Агнесса фон Флавон окаменела, узнав о провале восстания. Она сейчас же поняла связь между событиями. Так, значит, вот каким разящим, грозным ударом ответила на удар Безобразная. Агнесса, оцепенев от ужаса, в зверином страхе за свою жизнь, затаилась в себе, обдумывала побег.

Когда она увидела, что против нее лично ничего не предпринимается, она постепенно очнулась от испуга, стала поглядывать по сторонам. Увидев, какие строгие меры приняты против Маргариты, смутилась. Неужели та была настолько неловка, что в конце концов все обратилось против нее же? Не может быть. Для этого она слишком умна. Вероятно, так случилось по ее воле. Агнесса перестала понимать врага. Ее ненависть росла вместе со страхом. Та наверняка замышляет еще более жестокий удар, чтобы насладиться полным уничтожением Агнессы.

Однако ничего не произошло. Никто ею не интересовался. Понятно, что ее, жены позорно казненного, все сторонятся. Почему же не конфискуют ее владения? Она не могла вынести этой тишины и равнодушия вокруг. А тут еще страх, что все это — только подготовка к ее полной гибели. Она решила поехать в замок Тироль.

На городских воротах Мерана она увидела посаженную на кол голову своего мужа, Крэтиена фон Тауферса. Он уставился на нее, желто-синий. Теплый ветерок беззаботно трепал длинные свалывшиеся пряди его волнистых каштановых волос, на лице сидели мухи. Она отпрянула.

Потом ее запряженные лошадьми носилки, закачавшись, проплыли под головой казненного в город Меран. Что это, дурное предзнаменование? Ей некогда было предаваться сентиментальности. Она должна была подготовиться к встрече с герцогом Иоганном. Нелегкая задача на этот раз. Однажды она ведь уже лежала у его ног в траурном платье. Повторения приедаются. Да и обстоятельства сейчас против нее.

Иоганн действительно принял ее насмешливо, раздраженно. Ядовито спросил, нет ли при ней оружия. Ему теперь не мешает быть осторожным. Большими, печальными, полными упрека глазами смотрела она на него. Горько заплакала оттого, что великодушный молодой герцог, который столь милостиво обошелся с ней, теперь имеет основания сомневаться в ней. Заверила его, что и не подозревала о коварных планах мужа, о его государственной измене. Хорошо, что он умер; ибо тот, кто может так подло предать своего государя, не задумается предать и свою жену. С невинным коварством призналась, что никогда Крэтиена не любила, а вышла за него, только чтобы сохранить Тауферс и остаться вблизи от герцога. Иоганн слушал с недоверием, польщенный. Она подошла к нему, чтобы он услышал аромат ее плоти. Он прорычал, что не верит ни одному ее слову. Но он не сражается с женщинами, она может пока оставить себе Тауферс. Затем презрительно грубо и похотливо похлопал ее, терпеливо и выжидающе склоненную, по шее, бесцеремонно отвернувшись, бросил ей, что на днях придет в Тауферс посмотреть, не затевают ли они там снова бунт; но придет один — он ведь не боится. При этом он громко и недвусмысленно расхохотался, неучтиво покинул ее, ускакал на охоту.

Тем временем заговор дворян созрел. Предполагалось в отсутствие Иоганна занять замок Тироль. Скрывать все это дольше от Маргариты было уже нельзя. Следовало также получить ее согласие на брак с Виттельсбахом. Господин фон Шенна взялся переговорить с герцогиней.

Он сидел перед ней, худощавый, небрежный, сутулясь, говорил вялым, ломким голосом обо всяких пустяках. Скользил по ней взглядом старых умных глаз. Он был единственный, кто догадывался о скрытом смысле происшедшего. Проронил осторожно, как бы мимоходом, что пусть она не пугается, если в ближайшие дни замок будет занят новым гарнизоном, усиленным. Если даже она услышит крики, шум, звон оружия, пусть только не выходит из своей комнаты. Ей лично ничто не угрожает. Он замолчал, выжидая. Она словно не слышала. Тогда он

снова заговорил, стараясь выведать, неужели она так и не спросит, что все это значит. Нет, она не спросила.

Он переменял тему. Заговорил об Агнессе. От каждого несчастья ее внешность только выигрывает. Вот и сейчас, когда она опять явилась в замок, каждый мог убедиться, что черное ей больше всего к лицу. Маргарита насторожилась, умный Шенна понял: вот сейчас ее безразличие уже только маска. Он перешел на другое, затем опять вернулся к тому же. Да, теперь Агнесса, верно, надолго придет сюда гостить; в этом отношении герцог Иоганн похож на доброго короля Генриха. Маргарита стремительно выпрямилась. Ведь до сих пор Шенна всегда вел себя как друг. Это правда? Она — в роли пленницы, а та в роли госпожи? Здесь, дышать одним воздухом с ней, в тех же стенах... Это невозможно. Пусть, ради Христа, скажет ей всю правду.

Шенна ответил просто: да, Иоганн пригласил Агнессу фон Флафон; и поскольку он, Шенна, эту даму знает, она, вероятно, примет приглашение. Так как Маргарита закрыла глаза и ее лицо исказилось, он стал утешать ее: ведь не все средства исчерпаны, и тут же рассказал об их планах. Она покачала головой, не захотела слушать.

Спешно вызвала к себе герцога Иоганна. Это правда? Он действительно собирается это сделать? Она вся пылала. Он позволит себе устроить в ее замке непотребный дом? Он: да, собирается. Да, позволит себе. Он видел, что наконец нашел способ ранить ее, уколоть, нарушить ее оцепенение, извести, измучить. Оглядел ее маленькими, горящими ненавистью, волчьими глазками, заорал на нее. Каково нахальство! Уже не собирается ли она запретить ему эту женщину? Она! С таким рылом! Маргарита судорожно глотнула, но ответила спокойно. Она просит его подумать, что будут говорить в народе, что скажут при других дворах, если он здесь, в замке ее отца, который она ему принесла в приданое, будет держать ее как пленницу, а ту — как госпожу. Она хочет лишь напомнить ему, что ведь именно муж его любовницы возглавил заговор, та была с ним заодно, может быть, даже находилась в числе зачинщиков: не могла же она так скоро забыть позорную смерть своего мужа! Пусть он остерегается! Иоганн злобно засмеялся: нечего лезть к нему с такими штучками. Она просто ревнивая дура. Хвастливо прибавил:

— А что, если именно Агнесса предостерегла его, разрушила ее интриги?

— Да ведь это же я... предостерегла тебя! — крикнула она. — Я! Я!

На миг ему стало жутко: он увидел ее снова такой, как тогда, когда она лежала перед ним, словно сытая змея,

почувствовал, что унижен, уличен в хвастовстве. Но самоуверенность сейчас же вернулась к нему. Нет, ясно, что это хитрое и наглое вранье, которым она хочет смутить его.

— Лови в такие западни своих тирольских мужиков, не меня! — сказал он с напускной презрительной сухостью. И продолжал, взвинчивая себя: — Ага, наконец-то зацепило! Задело за живое? Красавицу вон из дому? Как нож острый, что она здесь? Ну, так тем вернее она приедет! Тем скорее останется! Кататься верхом поеду с ней! На охоту поеду с ней. В Меран, Боцен, Триент поеду с ней! Я тебя проучу, жаба! Урод! Гадина! Гнусная тварь!

Он ушел, она осталась сидеть в оцепенелой решимости. Так просто и честно говорила она с ним, еще раз широко распахнула дверь, которая вела к ней. Не будь он глух и мерзок, он должен был бы услышать. Он выбрал сам.

На другой день снова явился фон Шенна. Дал ей на подпись короткое письмо к императору, под защиту которого она отдавалась, одобряя решение своих баронов. Не колеблясь, она подписала. Шенна сообщил ей кратко, деловито, что завтра, в то время как Иоганн уедет на охоту, замок займут войска баронов, и Иоганна обратно не впустят. Когда он, вернувшись, потребует, чтобы открыли ворота, она сама может ему это сообщить. Будет сделано все, чтобы избежать беззакония, его пальцем не тронут. Но никто во всем графстве не даст ему убежища. Если Иоганн после этого покинет страну, закончил Шенна, улыбаясь, никто ему в том препятствовать не будет. Впрочем, добавил он ласково и преданно, на этот раз заранее приняты все меры. Даже если его предупредят, неудача исключена. Он взял подписанное письмо, поклонился и вышел своей неуклюжей, неровной походкой, волоча ноги.

На другой день, в пятницу, Иоганн с небольшой свитой уехал на охоту. Погода — было начало ноября — стояла с утра ясная и солнечная, но вскоре упал туман и подул сырой, резкий ветер. Герцог был в скверном расположении духа, сказанное Маргаритой об Агнесе было ведь не так легко переварить. А тут еще его любимец, красивый серо-белый норвежский сокол, спугнутый какой-то более крупной хищной птицей, улетел. Герцог пререкался с сокольничим, визжал, шумел.

Итак, он рано прекратил охоту, вернулся к вечеру домой. Подъемный мост оказался поднятым, ворота на запоре. Иоганн затрубил в рог. Вышел караульный, сказал, что не получил приказа впускать рыцаря. Герцог

побагровел, облаял, изругал караульного непотребными словами. Между зубцами одной из башен вдруг появилась Маргарита, крикнула своим зычным глубоким голосом: пусть принц фон Люксембург перестанет орать, здесь для него нет места, пусть поищет себе другое пристанище. Хотя бы в Тауферсе. Иоганн нацелился. Она исчезла раньше, чем долетела стрела.

И вот он стоял в охотничьем платье перед запертыми воротами, взбешенный и смешной. Приближенные перешептывались. Дул холодный ветер, полил дождь. Подошли несколько его богемцев из замка, они рассказали, испуганные, подавленные, что несметное число отлично вооруженных тирольцев заняло замок, вышвырнуло их вон.

Герцог, осыпая богемцев непристойной бранью за трусость, еще постоял немного перед поднятым мостом. Из замка доносились раскаты хохота, насмешливые стишки:

Кто стучит у ворот? Кто под ветром дрожит?
Попрошайка бродячий? Слуга? Или жид?
Нет, смотри-ка, властитель Тирольский!

С проклятиями отправился наконец Иоганн в Ценоберг. То же самое. В Грейфенштейн. То же самое. Время близилось к полуночи. Он был смертельно утомлен, разбит, охрип от крика и ругани. Дрожащий, жалкий, был вынужден ночевать под открытым небом.

Забрезжил тусклый рассвет. Герцог сел на коня, грязный, невыспавшийся, все тело ломило, в желудке было пусто. При нем осталось только шестеро его людей, остальные потихоньку разбежались.

Дождь лил не переставая. Приближенные сказали ему, что народ вполне одобряет случившееся, смеется, ликует, празднует, потешается. А те стихи жужжали у него в ушах, точно докучливые насекомые:

Попрошайка бродячий? Слуга? Или жид?
Нет, смотри-ка, властитель Тирольский!

Окольными тропами пробрался он в замки некоторых дворян, которые были ему особенно многим обязаны: оказалось — хозяев нет дома, кастеляны не получили распоряжения, ворота на запоре. При нем осталось только четверо его людей.

Бесцельно скитался он по виноградникам, по лесам. Дождь, дождь. Ему казалось, что его преследуют, окружили. В бою он не ведал страха; теперь же что-то мерзкое подползало к сердцу. Не желает он, чтобы его затравил и прикончил, как бешеную собаку, крестьянин

или вонючий горожанин. Он подался выше, в горы. Наконец доехал до уединенного замка Тэгена фон Вилландерса. Хитрый, осторожный барон, который хотел, по возможности, не рвать и с Люксембургами, принял его. Однако он решился приютить Иоганна только на очень короткий срок и в большой тайне. Иоганн прожил эти несколько дней под именем некоего рыцаря Экхарда, никому не показываясь. Но и здесь обрывки тех стишков звенели у него в ушах: «...Слуга? Или жид? Нет, смотри-ка, властитель Тирольский!»

Он удалился ночью, колени подкашивались от усталости, только двое слуг сопровождали его. Он все еще был в охотничьем платье. Грязный, потный, вонючий, на измученном, загнанном коне, который был уже не в силах нести его по болотистым глухим тропам, тайком, скитался герцог по своей стране. Хоть бы проклятый дождь перестал! Он продал имевшиеся при нем ценности. Оружие, рог, наконец, коня!

В лихорадке, обессилив, уже совсем один, добрался он наконец до владений патриарха Аквилейского. Явился во Фриуль во дворец патриарха. Слуги заготовили, заржали, когда этот обовшивевший, оборванный человек стал уверять, что он герцог Каринтский, граф Тирольский, внук римского императора. Патриарх, враг тирольских феодалов, обласканный Люксембургами, почтительно принял его, заключил в объятия. Лишь постепенно, спустя немало дней стал приходить в себя измученный, расстроенный государь. Скрежеща зубами, принялся строить коварные планы, источал яд, метал проклятья и угрозы стране, из которой его выгнала жена.

Книга вторая

В Мюнхене император Людвиг беседовал со своим сыном, маркграфом Бранденбургским: он обнял его за плечи, ходил с ним по комнате. Ласково убеждал его, хмурого, недовольного. Бранденбуржец, несмотря на то что ему было всего двадцать пять лет, имел очень мужественный вид. Белокурые усики, суровые, голубовато-серые колючие глаза, загорелое худое лицо, могучая шея Виттельсбахов: рослый, жилистый. Хотя грузный массивный император был все же гораздо выше его. Сквозь цветные стекла струился блеклый свет снежного дня. Когда они ходили вот так по комнате и император обнимал плечи сына, чудилось, будто он тащит его куда-то, нерешительного, упирающегося.

Нет, нет! Он не может, и конец. Он просто не в силах принудить себя жениться на герцогине Маргарите. В течение пяти лет он был женат на Елизавете, принцессе Датской. Очень скромное создание, щупловата, да. Она умерла, упокой господи ее душу. Теперь бы ему два-три года пожить без жены. Заниматься в Бранденбурге государственными делами, улучшить обработку полей, жизнь городов, одолеть вендов. Но жениться на Маргарите Тирольской, которая столь странным образом выгнала своего мужа? На этой экстравагантной особе? Нет уж, спасибо! Он всегда готов услужить своему отцу-императору. Но жениться на Маргарите—нет!

Император устремил на сына огромные, неподвижные голубые глаза. Упорство сына не удивило его, не встревожило. Жениться на этой тирольке мало радости. На месте сына он бы тоже противился. Но он знал, что его Людвиг послушный сын, разумный государь, понимающий, что брак—одно из самых действенных орудий политики. Подобного случая второй раз не дождешься. Получат Виттельсбахи Тироль, и круг их владений сомкнется. Они будут владыками от Северного моря до Адрии. Он отлично понимал, что Людвигу хотелось пожить несколько лет вдовцом, вздохнуть. Но на то он и князь и

Виттельсбах. Такого удовольствия он не может себе позволить.

Маркграф, насупленный, продолжал досадливо приводить все новые доводы. Помимо того что при мысли об этой Маргарите и обо всем, что ее окружает, его с души воротит, папа наверняка не согласится расторгнуть брак Тироля и Люксембуржца. Весь христианский мир поднимет крик, если он женится на чужой жене.

Император невозмутимо ответил, что ему всю жизнь пришлось нести бремя отлучения и интердикта: надо с этим примириться и сыну. К сожалению, Виттельсбахам легко ничего не дается.

Маркграф в самом раздраженном состоянии духа выскользнул из-под руки отца, прислонился к столу, машинально стал поглаживать маленькие усики. Елизавета Датская была, конечно, не Елена Прекрасная, государь не может искать красивой внешности, это он знает. «Но Маргарита! Эта ужасная фигура!» — «Каринтия!» — сказал император. «Эти выпяченные губы!» — «Тироль!» — сказал император. «Эти отвислые щеки! Косые, торчащие зубы!» — «Триент! Бриксен!» — сказал император.

Тем временем тироляские бароны, которым было поручено вести переговоры, проезжали через Мюнхен. Пышное посольство, во главе — первые аристократы страны: Бургшталь, Вилландерс, Шенна, Экхард фон Тростберг. Они не спешили, уверенные в успехе, осматривали благодушно, одобрительно светлый, живописный город, при Людвиге столь быстро разросшийся, новую уютную резиденцию, которую он себе строил. Эти Виттельсбахи распорядительные, основательные люди. Нужно только всеми способами себя обеспечить, чтобы они не надули. Так тироляцы и сделали. Заставили Виттельсбахов подтвердить все их права, грамоты, привилегии. Хватали, рвали, тянули к себе. Выторговали себе право veto и контроля над всеми мероприятиями правительства. Рассерженный, доведенный до отчаяния Бранденбуржец наконец запротестовал: на что ему власть, которая повсюду стеснена, зажата, связана? Простоудушно, открыто посмотрел император ему в глаза: «Сначала надень плащ! Окажется длинен, сможешь укоротить».

После сретения, в середине зимы, под сияющим голубым небом следовал, звеня и блистая, великолепный поезд Виттельсбахов по ослепительно белым горам в замок Тироль. Скрипел снег, звякало оружие, сбруя; золото и серебро позванивали. Мягко двигался в смягчающем звуке снежном воздухе бесконечный пестрый поезд, лошади, мулы, носилки, люди. Император в превосходном настроении, его сын Людвиг, маркграф, Бранденбуржец, сердитый, колеблющийся, но уже наполовину

пленный величественной, обильной страной, его брат Стефан; господин Конрад фон Тек, богатый швабский дворянин, ближайший друг Бранденбуржца, мрачный, фанатичный, неистовый труженик, безоговорочно преданный Виттельсбахам. Тирольские бароны, бесчисленные баварские, швабские, фландрские, бранденбургские аристократы. Епископы Фрейзинский, Регенсбургский, Аугсбургский. Два великих теолога, привлеченных императором ко двору,—Вильгельм Оккам и Марсилий Падуанский.

В течение всего путешествия император держал при своей особе главным образом этих двух духовных лиц. Получив весть о предполагаемом бракосочетании Бранденбуржца с Маргаритой, вся Европа была скандализována. Не только оттого, что Маргарита была женой другого. Но она, через свою бабушку Елизавету, состояла с Бранденбуржцем в третьей степени родства. Папа и не помышлял о том, чтобы освободить герцогиню от прежних брачных уз, напротив, он сразу же стал грозить отлучением и интердиктом. С глубокой тревогой и страхом отнеслось население к этой угрозе. Однако император вовсе не намерен был отступить перед курией. В противовес папе он выдвинул своих теологов. Сам император особенной образованностью не отличался, он даже не говорил по-латыни, но относился ко всякой учености с глубоким, беспредельным почтением. Он искренне жалел о том, что его баварцы так тупы и глупы, так мало способны к наукам. Ах, его придворные великие ученые Вильгельм Оккам и Марсилий Падуанский встречали понимание и интерес во всем мире, но только не в его Баварии!

Он был благочестив, помнил о совести, искренне уважал своих теологов, верил им, их осведомленности в делах божьих. Итак, установившись на теологов своими огромными голубыми глазами, он обратился к ним с вопросом, считают ли они возражения папы правильными. Марсилий и Вильгельм дали заключение в том смысле, что брак Маргариты с Иоганном Люксембургским, вследствие непригодности супруга, никогда фактически не имел места, поэтому как бы и не существует, недействителен, ввиду этого епископ Фрейзингский Людвиг фон Хамштейн, по настоятельной просьбе императора, заявил о своей готовности развести Маргариту с Иоганном. По этой-то причине баварские епископы и отправились по ту сторону Альп. Их миссия представлялась им крайне рискованной, а они сами себе—крайне значительными и отважными. Они сосредоточенно хмурились, потели.

Бранденбуржец ехал рядом с Конрадом фон Текком. Он все больше интересовался этой стра-

ной, особенностями ее управления. Страстно увлеченный экономикой, он не видел ни красот пейзажа, ни своеобразия людей, сухим, ясным голосом говорил только о землях, годных для запашки, о заселении, о торговых путях, делении на округа, методах обложения. Бранденбург или Тироль — все было для него только территорией, где надо укреплять хозяйство. Здесь же он видел повсюду развал, запустение. Он возьмет все это в руки твердо, толково, разумно.

Господин фон Шенна ехал рядом с Вильгельмом Оккамом. Перед ними — дорога шла в гору — возвышалась грузная спина и мощный затылок императора. Они говорили о Людвиге. Теолог, человек бывалый, с горячностью превозносил возвышенные интересы государя, его уважение к образованности, радующую сердце архитектуру города Мюнхена, основание Эттальского рыцарского ордена по образцу Вольфрамова «Парцифалья». Более проницательному господину фон Шенна все это импонировало гораздо меньше — он видел в Виттельсбахе по преимуществу современный тип правителя. Император любит города больше, чем замки, купца больше, чем солдата, договоры больше, чем сражения, он больше ценит пользу, чем рыцарственность. Разумеется, у него еще бывают приступы романтизма, но это только традиция, а не выражение его подлинной сущности. Король Иоганн Люксембург, при всем своем непостоянстве, гораздо консервативнее. Это рыцарь старого склада, искатель приключений. Император, наоборот, гораздо больше похож на горожанина, он — человек сегодняшний, купец. Поэтому Люксембург захватит больше, но удержит меньше, и в конечном счете всегда восторжествует император, ибо он сын своего века. Теолог слушал задумчиво и неодобрительно эти рассуждения, умные, меткие и облеченные в литературную форму. Перед собой оба видели широкую грузную спину Виттельсбаха, оба думали о том, чего не высказал ни один: этот всегда будет действовать, сообразуясь с собственной выгодой, и только с ней; всегда будет смотреть простодушным открытым взором на мир, на других людей, всегда будет искренне и убежденно отождествлять справедливость, мораль, волю божью с собственной, личной пользой.

Переночевали в Штерцинге, на другой день, дыша ясным и резким, бодрящим холодом высот, стали взбираться на Яуфенский перевал. Уж перевалили через хребет, уж начали спускаться. Вдруг лошадь епископа Фрейзингского, испугавшись чего-то, метнулась в сторону, скинула всадника через голову, епископ упал очень неудачно, ударился о скалу, убился насмерть. И вот он лежал, этот куций подвижной человечек, на мерзлом

снегу под веселым ясным небом. Невзирая на кандидата папы, занял он епископский престол во Фрейзинге, против воли папы собирался нарушить святое таинство брака; а теперь вот он лежит желтый, оцепенелый, мертвый. Пестрый, шумный, позванивающий поезд остановился. «Суд божий!» — зашептали со всех сторон; охваченные ужасом, стояли рыцари вокруг тела. Умершего закатали в одеяла, вслед за поездом понесли на носилках в Меран. Бесшумно прибыл маленький тщеславный человечек в город, где намеревался совершить самый дерзкий и рискованный поступок в своей жизни. Епископы Аугсбурга и Регенсбурга, напуганные, отказались исполнить просьбу императора и расторгнуть первый брак Маргариты.

Все же, когда император прибыл в замок Тироль, хорошее расположение духа возобладало в нем над всем. Авиньон далеко, пусть себе Бенедикт мечет в него бессильные проклятия. Это все слова, а у него земля. Какой государь христианского мира может сравняться с ним в могуществе? Он соединил обе Баварии, ему принадлежит Бранденбург, он имеет бесспорное право наследовать Голландию, Фрисландию, Зеландию, Геннегау. А теперь еще эта горная страна, прекрасная, древняя, богатая, славная страна. За ней лежит растерзанная, обессиленная Италия. Сейчас, когда он властвует над вершинами Альп, Италия все равно что у него в руках. Чудесный замок Тироль! Добрый, крепкий замок Тироль!

Удивленно прислушивались в прихожей приближенные, как император в своих покоях пел ясным, звонким голосом. «Он поет, как царь Давид перед ковчегом!» — сказал епископ Аугсбургский. Император же, оставаясь в тот день один в своих покоях, не раз смотрел на белую, светлую страну, хлопал себя по ляжкам, затягивал веселые задорные песенки, которые пелись в харчевнях его баварских деревень.

Два дня спустя император сам совершил бракосочетание маркграфа Людвига с герцогиней Маргаритой. К превеликой досаде Тироля и всей Европы. А на следующий день в городе Меране даровал новобрачным в ленное владение Каринтию и Тироль. Он был в императорском облачении. Конрад фон Тек держал имперский меч, Арнольд фон Массенгаузен — скипетр, господин фон Краус — державу. Маргарита была роскошно убрана, осыпана драгоценными камнями, вокруг ее стана топорщилась тяжелая одежда, герцогиня смотрела перед собой неподвижным, словно остановившимся взглядом.

В венском дворце Альбрехт Хромой и Иоганн Богемский вели долгую беседу. Захват Виттельсбахом Тироля снова сблизил и примирил между собой Люксембурга и Габсбурга. Император — вот бессовестный — не только украл Тироль, он дал сыну в ленное владение и Каринтию, в которой утвердился Габсбург и которой сам император помог ему овладеть. Оба государя были возмущены и поражены не столько дерзостью Виттельсбаха, сколько его глупостью.

Альбрехт принял все меры, чтобы обеспечить за собой свою Каринтию. Хромец все же теперь проделал сложную и для него особенно затруднительную церемонию восшествия на каринтский престол; но ему было важно укрепить свою популярность.

У слепого Люксембурга фантазия была более пылкой, и он строил планы более отважные. Этот Тироль, этот завиднейший плод, который сорвал для себя неуклюжий, тупой Виттельсбах, таил в себе червя. Хромой Альбрехт, небрежный в одежде и прическе, смотрел с интересом и невольным восхищением на слепого короля, который сидел перед ним — элегантный, прямой, очень холеный, и тонко, осторожно намекал на свои смелые, фантастические планы. Нет, немного радости даст императору эта новая страна. Он, Иоганн, по сути дела, человек сговорчивый. До сих пор он шел Людвигу навстречу, когда надо было, когда этого требовала выгода, но относился к нему без ненависти или пристрастия. Отныне он будет другим. Отвращение и гнев вызывала в нем столь грубая дрянная проделка, столь самонадеянная, лицемерная жадность и наглость. В нем пылала злоба рыцаря и авантюриста против мещанина.

Новый папа Климент Шестой — не теоретик, как покойный Бенедикт, нет, это светский, блестящий князь и политик, он связан тесной дружбой с ним и его сыном Карлом. Он наставник и ближайший доверенный его Карла.

Женитьба Бранденбуржца повсюду вызвала недовольство против императора. Если теперь новый папа прикажет со всех церковных кафедр возвестить, что на императора налагается отлучение и интердикт, такая анафема будет принята отнюдь не как политическое мероприятие, она встретит во всем христианском мире одобрение и сочувствие. Курфюрсты, города, народ не подчинятся Виттельсбаху, они уже отказались ему повиноваться. Когда же его сын Карл при поддержке Авиньона станет римским королем, он, Иоганн, создаст непобедимую лигу против Людвига.

Альбрехт машинально потирал небритое лицо, внимательно слушал собеседника. Эти планы были обоснован-

нее, чем обычные планы Люксембуржца, но они означали нападение, неизбежную борьбу. Он, Альбрехт, не намерен впутываться во все это. Он уже не молод; он умудрен опытом и извлекает меч из ножен только в крайних случаях.

Так сидели они вместе, эти два могущественных государя, власть которых распространялась над большей частью Средней Европы. Слепой понукал хромого, но добился от него только оборонительного союза.

Затем, когда разговор был окончен, Иоганн потянулся, встал, собираясь идти, слепой стал ощупью пробираться вдоль стены, но двери не нашел. Альбрехт, правда, мог сказать ему, где она, однако хромым не в силах был помочь бредущему ощупью. Тут оба принялись долго и чистосердечно смеяться, пока наконец кто-то из свиты не открыл дверь снаружи.

Тяжкие бедствия обрушились на страну в горах, кара господня за то, что герцогиня так грубо осквернила таинство брака. «Казни египетские!» — кричали приверженцы папы по всей Европе. «Казни египетские!» — бледнея, повторял народ, вздыхал, бил себя в грудь, постился.

Чтобы вторично покарать людей за грехи, прежде всего разверзлись хляби небесные, второй потоп.

«Горе нам! Водолей проливает дождь девкальонов!» — процитировал аббат Виктрингский древнего латинского автора. Точно все реки Европы разлились по стране, вода сносила деревья, посевы, села, людей. Инн мчал на своих волнах мосты, башни, дома, низменность Эч уподобилась озеру, из Неймаркта в поместья за Трамином ездили на лодках.

В том же году быстро следовавшие друг за другом жестокие пожары уничтожили дотла Меран, Инсбрук, Неймаркт.

Но самое страшное и грозное, отчего народ оцепенел, — это были гигантские тучи саранчи, налетевшие летом на страну. Они двигались с востока.

Сожрав все дотла в Венгрии, Польше, Богемии, Моравии, Австрии, Баварии, Ломбардии, опустилась саранча над цветущим Тиролем.

Солнца не было видно, так густо летела она. Летела днем и ночью, и все же, чтобы пролететь вдоль Эча, ей понадобилось двадцать семь дней.

Испуганный народ таскал в процессиях изображения святых, молился, простирали руки к небу. Кальтернский священник заставил суд присяжных по всей форме произвести приговор над саранчой, с церковной кафедры

объявил ей отлучение. Это были гигантские твари, их зубы сверкали, как драгоценные камни, так что женщины украшали ими свои одежды. Рои, опустошавшие местность по берегам реки Инн, были замечательны в двух отношениях: вожаки в сопровождении небольшой свиты опережали рой на день пути и искали местности, пригодные для всего роя; саранча снималась с места отрядами, с чисто военной дисциплиной. Она съедала листву кустов и деревьев и всякую зелень, стебли трав, рожь, просо — все дотла. Земля стала черной и серой и как бы лишенной соков, когда саранча наконец улетела.

Герцогиня Маргарита ехала через Арльберг. В Санкт-Антоне среди глазающей толпы стояла с матерью девочка лет одиннадцати — двенадцати. Когда поезд следовал мимо них, она озабоченно воскликнула:

— Мама! Мама! А которая же милостивая госпожа герцогиня — та длинная, тощая или вон та губастая?

Мать, грубоватая, добродушная молодая женщина, осклабилась, покраснела, дала девочке подзатыльник.

— Заткнись, дрянь!

Люди кругом смеялись, девочка заревела, словечко подхватили. Оно облетело всю страну, пошло дальше, и скоро весь христианский мир звал безобразную герцогиню не иначе, как Губастая. Маргарита узнала об этом, приняла прозвище с какой-то молчаливой и горькой готовностью. Как ей назвать свой новый замок? Брунек? Нейграфенберг? Она назвала его «Замок Маульташ»¹.

Маркграф Людвиг сидел со своим другом герцогом Конрадом фон Теком над счетами и взысканиями. Молодцеватый маркграф трезво и деловито сопоставлял трезвые, ясные цифры и факты; герцог фон Тек, постарше его, кряжистый, бравый, внимательно слушал. Он был в доспехах, сидел неподвижно, тогда как маркграф, при всей своей деловитости, не мог не стучать кулаком по столу, по шуршащим бумагам.

Его энергичное, худое лицо — жесткие голубые глаза без блеска, смугловатая обветренная кожа, белокурые волосы, подстриженные не по моде, белокурые усы — было сердито и очень взволнованно. Он всегда считал тирольских баронов коварными обманщиками и грабителями. Но что они и при его правлении дерзают на такой наглый и явный обман, словно так и надо, кладут себе в карман даже не половину — девять десятых его доходов, и

¹ Маульташ — губастая (нем.).

в отчетах не стараются свои жульничества затушевать, это уж такой предел жадности, какого он не ожидал. Притом бароны преловко себя обезопасили. За подобные злоупотребления им была гарантирована амнистия, и контролировать их могли только местные уроженцы, а так как все это одна шайка, то такой контроль оставался делом чисто формальным.

Кряжистый, безбородый, бравый Конрад фон Тек дал маркграфу договорить. Затем он сказал:

— Проучить! Договоры, амнистия—вздор! Прикажи схватить одного из них! Пусть другие требуют, протестуют! Когда они увидят, что все это ни к чему, живо ручными станут!

С полуулыбкой маркграф протянул другу какую-то бумагу: приказ об аресте Фолькмара фон Бургшталья. Приказ еще не был подписан.

— Мой отец наверняка бы этого не сделал,—сказал он.—Все это может черт знает к чему привести. Тыл у меня не защищен.

Конрад фон Тек взглянул на него тупыми карими глазами, сказал скрипучим голосом:

— Ну так защити.

Людвиг ответил ему понимающим взглядом, позвонил, приказал:

— Госпожу герцогиню.

До прихода герцогини оба молчали. У Людвига не было тайн перед другом: тот отлично знал, каковы отношения между ним и Маргаритой. А отношения были таковы, что постепенно из недоверия и антипатии выросло спокойное, благожелательное чувство товарищества. Маргарита была умна, не навязчива, не выказывала и не требовала сентиментальности. Именно этого и нужно было Виттельсбаху. А ей были приятны его прямота и трезвость—единственные черты в мужчине, которые в те годы не раздражали ее. К ее странному оцепенению и замкнутости он постепенно привык, так же как к ее безобразию, и если в разговоре с Конрадом называл ее иногда, как и вся страна, «Губастая», то без всякого презрительного оттенка.

Она пришла не скоро. Ибо никогда не появлялась иначе, как в полном герцогском великолепии. И сейчас на ней было платье из тяжелой коричневой материи, обильно затканной золотом, накрашенное и набеленное лицо казалось неподвижным, как маска, руки тоже были набелены. Маркграф положил перед ней документ, кратко указал, насколько, в первую очередь, бесспорен материал, обличающий Фолькмара фон Бургшталья. Перед Маргаритой возник тупой, грузный облик Фолькмара, неприкрытая звериная алчность, сквозившая в его лице. Своей корявой

рукой он крушил все что мог, в борьбе с Люксембургами он выставил вперед молодого Ротенбурга, веселого безобидного Альберта, а сам трусливо и подло забился в угол в своем затхлом, промозглом замке. Но ее лицо под слоем белил сохраняло свою неподвижность и невыразительность.

— Арестуйте его! — сказала она.

Даже неповоротливый Конрад фон Тек удивленно поднял глаза.

— Вы смелая дама, герцогиня! — сказал он.

— Если это ваш совет, Маргарита, — сказал Бранденбуржец, — то вашим землякам придется смириться, так как я последую ему. — Он попросил, чтобы и она скрепила подписью приказ об аресте. Она подписала.

Бургграфа Фолькмара арестовали, судили. Такая расправа с крупнейшим аристократом страны вызвала страшный шум. Бароны, дрожавшие каждый за себя, объединились: на юге мучил народ епископ Николай Триентский, на западе — епископ Хурский. Но Конрад фон Тек, которому поручено было вести дело, не отступал ни на пядь. Обвинение, конфискация имущества, допрос, пытка. До приговора дело не дошло. Бургграф умер раньше, в темнице, скорострительно. Страна возропала, пыталась восстать, не посмела, покорилась, смолчала.

Маргарита сидела за туалетным столиком, когда пришла весть о внезапной смерти Фолькмара. Фрейлейн Ротенбург, как раз причесывавшая ей волосы, зашмыгала носом, задрожала, уронила гребень.

— Продолжай же! — сказала Маргарита, и ее низкий певучий голос прозвучал бесстрастно, не дрогнув.

Герцогиня смотрела из лоджии замка Шенна на залитый солнцем пейзаж. Якоб фон Шенна сидел против нее. Над их головами на стене шагали пестрые рыцари.

Как приятно было слушать усталый разумный голос Шенна. Его ясная простая речь, лишенная всякой напыщенности, была для нее словно теплая ванна. Маркграф делал попытки привлечь его к себе на службу. Однако господин фон Шенна предоставил дипломатические посты, золотые почетные цепи своим братьям Петерману и Эстлейну, сам он всегда готов помочь советом, но должности не примет.

Он коснулся, как это бывало нередко, особы маркграфа.

— Нет, — заметил он, указывая на фигуры рыцарей, изображенные на стене, — с этими вот у него ничего нет общего. Если он видит лес, он думает не о чудовищах, которые могут в нем скрываться, и не о даме, которую

стережет великан и которую следовало бы освободить. Он высчитывает, какова ценность леса, стоит ли переправить его в соседний город, чтобы украсить улицы новыми зданиями. Гномов маркграф никогда не видел, да они и не вернутся, пока он правит. И короля Иоганна ему никогда не перещеголять. Он несколько не стремится быть восемнадцать или двадцать раз в год победителем на турнирах, иметь самые модные доспехи, ездить возможно чаще в Париж. Зато уж постарается, чтобы его имя как можно реже упоминалось в письмах мессере Артезе из Флоренции, чтобы купцы в безопасности могли вести свои обозы по дорогам и чтобы в городах сидели честные и добросовестные чиновники.

Шенна не отступал от своей излюбленной темы. Старые времена миновали. Рыцарство и рыцарские обычаи стали дешевкой, бутафорией. Уже нельзя просто взять да и пуститься странствовать по свету, круша все мечом направо и налево,—сейчас же явится полиция. Приключениями теперь, в это бескрасочное время, не добудешь ни богатства, ни славы. Может быть, раньше и лучше было, ярче, честнее. Но жизнь стала более сложной. Место замка занял город, место отдельной властной личности—организация. И если странствующий рыцарь хочет получить ужин и ночлег, с него—о боже праведный—требуют платы. Не ему принадлежит будущее, а горожанину, не оружию, но товару, деньгам. С каким бы блеском такие господа, как король Иоганн, ни разъезжали по земле, то, что они делают, непрочное. Прочна мелкая, медленная, осторожная, расчетливая деятельность городов; пусть они строят по мелочам, пусть они строят боязливо, но они пристаривают ячейку к ячейке, кладут камень на камень, неумоимо.

Маргарита горячо верила в правоту этих утверждений. Разве она сама не испытала—глубоко и грозно—всего этого на себе? Что любовь, что приключения! Все это только выматывает, лишает сил, ранит, опустошает. Мысли, и раньше приходившие ей в голову, пустили теперь более глубокие корни, стали конкретнее, вошли в плоть и кровь. Ее безобразие—дар, это вежа, с помощью которой бог указывал ей верную дорогу. Рыцарство, приключения—тлен и пена. Ее дело создавать для будущего. Города, ремесла и торговлю, хорошие дороги, порядок и закон. Ее дело не празднества, поездки и любовь, ее дело—трезвая, спокойная политика.

Маркграфу эти ее взгляды были очень по душе. Она постигала до конца, знала, чувствовала, как он узок и педантичен. Но она ценила его деловитость и добросовестность, сжилась с этими чертами как с чем-то родным, чего трудно было лишиться. Супруги много бывали

вместе, ели вместе, спали вместе. Работали вместе. Между ними царило доброе согласие. Их мысли сплетались. Маргарита давала первый толчок, но так незаметно, что нельзя было отличить, кто ведущий и кто ведомый. Нередко в разговорах с Конрадом маркграф говорил, признавая ее достоинства: «Да, моя жена, Губастая!» Но при всем том замкнутость Маргариты не исчезала, эту скорлупу пробить было невозможно, их отношения не выходили за пределы теплой и искренней любезности.

На второй год своего брака Маргарита забеременела. Это сделало ее мягче, в ее певучем низком голосе зазвучали более сердечные нотки, но ее оцепенелость и отчужденность так и не исчезли. Она оставалась свободной от страстных, неудержимых желаний, уравновешенной, без особенно сильных чувств. Она увидела, что ребенок, девочка, не была ни красивой, ни безобразной. У нее был суровый, угловатый лоб отца и, слава богу, его, не ее, рот. Герцогиня растила ребенка с материнской заботливостью, добросовестно, но без сердечной теплоты.

Папа взял молодого маркграфа Карла Люксембургского под руку, стал ходить с ним по уютной комнате, горячо уговаривая. За окнами, над белым городом Авиньоном пылало яркое горячее солнце. В папском дворце стоял приятный полумрак, было не слишком жарко. Климент Шестой—очень представительный: смуглое, энергичное лицо, контуры которого подчеркивались голубоватыми тенями от бритья,—испытывал особенно нежное, отеческое чувство к молодому человеку, своему понятливому воспитаннику. Карл предсказал Клименту тиару, а Климент ему—корону римского императора.

И вот предстояло сбыться последнему предсказанию. Этот Виттельсбах, этот косолапый медведь, всегда слишком жадно хватает добычу. Последним, чересчур большим куском, Тиродем, он и подавится. Как бы недоверчиво и неприязненно курфюрсты, города Римской империи ни замыкались перед контролем курии, зловоние, исходившее от тирольских дел, так било всем в нос, что держать сторону этого захватчика, Людвига Баварского, они, конечно, не могли. Да, теперь он приполз, этот Виттельсбах. Смирненно повизгивает перед папским престолом, признал длинный список своих преступлений, обещает покорность. Климент улыбнулся, крепче сжал плечи своего молодого ученика. Баварец опоздал. Уже он, Климент, в торжественном заседании консистории предал его церковному отлучению, уже предложил коллегии курфюрстов приступить к избранию нового государя. Если любезный его сердцу ученик, Карл Люксембург-

ский, поедет завтра на Рейн, в Рензе, на выборы, он может быть уверен: папой сделано все, пущены в ход благословения и проклятия, чтобы оправдалось предсказание относительно императорского венца.

И несколько дней спустя курфюрсты действительно отдали большинство голосов Люксембуржцу. Из пяти государей, голосовавших за него, первый был его отец, второй—дядя, третий—архиепископ без епископства и земель, четвертого и пятого купили за немалую сумму золотом.

После того как председатель коллегии архиепископ Балдуин Трирский сообщил результаты избрания, отец обнял Карла, курфюрсты поздравили. Он тут же послал курьера к папе. Оставшись один, этот длинный, тощий человек расправил плечи, облегченно вздохнул. Избран германским королем, скоро будет римским императором. Он не такой, как отец—этот слепой, этот рыцарь. Он не стремится блистать, не расшвыряет все им захваченное. Он будет брать, беречь, владеть. Но он и не такой, как Баварец, тяжелодум, педант, мещанин. Замок и город, войско и управление—вот что нужно. Не только нахватать земель—какой толк? Пропахать их, вымесить. Церковь, искусство, наука, градостроение. Собирать, копить, выхаживать. Все собирать и все выхаживать: страны, города, титулы, замки, ученых, реликвии, произведения искусства. Разве он тщеславен? Разве он жаден? Нет, такова до конца продуманная, до конца постигнутая обязанность государя. Тощий, жилистый маркграф сел за письменный стол. Наметил основные линии, набросал схему, канон своего правления. Расположил согласно научной классификации добродетели, требования, планы. Распределил по графам: один, два, три. Работал много часов подряд, до глубокой ночи.

Перечел свои записи. Не таится ли за всем этим все же немного тщеславия? Он благочестив, а тщеславие—грех, и придется его искупать. Он страстно коллекционировал реликвии: шипы из венца Христова, одежду, черепа, руки святых. Из Павии ему предложили останки святого Витта. Но за святого просили слишком дорого. Так вот, в виде искупления, он приобретет эти останки, несмотря на слишком высокую цену.

Перед Маргаритой стоял маленький, жирный, судорожно жестикулирующий человечек, держался очень смиренно, тараторил гортанным хриплым голосом. Назвался Менделем Гиршем. Был евреем. Во время преследования со стороны членов «Кожаной рукавицы» бежал из Баварии в Регенсбург, где горожане взяли его под свою

защиту. Он принадлежал к одной из тех ста двадцати семи общин, в которых были тогда перебиты почти все евреи, и, в числе немногих, уцелел. Он получил охранное письмо от императора и, из осторожности, заручился таким же письмом от противника императора, короля Карла.

Никогда еще герцогиня не видела вблизи живого еврея. Внимательно, с чувством некоторого отвращения рассматривала она толстого человечка в коричневом кафтане и остроконечной шляпе, который суетливо егозил перед ней, торопливо лопотал что-то гортанным голосом, брызгал слюной, смешно жестикулировал. Так вот, значит, какие они, эти люди, которые осквернили причастие, зверски мучили невинных детей, этот проклятый богом род, убивший бога. Она не раз слышала об этих странных, страшных людях, еще недавно, по случаю последнего еврейского погрома, подробно беседовала о них с аббатом Иоанном Виктрингским. Аббат и не одобрял и не порицал преследований. Он считал, что в отношении этого гонимого народа сбывается древнее проклятие, которое тот собственными устами произнес над собой: «Кровь его на нас и на детях наших!» Аббат пожал плечами, процитировал древнего классика: «Горе! Страшно мне все, ибо все преступил я законы».

Маргарита нашла такое решение вопроса несколько упрощенным. Человек, подстрекающий к гонению на евреев, может быть, и действует из усердия и желания послужить делу божьему. Может быть. Но что такие дела очень выгодны, это тоже вне сомнения. Можно ли найти более верное средство отделаться от еврея-кредитора, чем убить его? И почему, если уничтожение евреев дело полезное и допустимое, самые мудрые светские и духовные властители защищают их? Законы Фридриха Второго Гогенштауфена, буллы Иннокентия Четвертого свидетельствуют о совершенно иной точке зрения, чем у ее доброго аббата. А теперешний папа Климент — пусть он ее враг, но он дьявольски умен, — почему он так заступает за них и оберегает своими буллами и строгими законами?

Она смотрела на человечка, все еще юлившего перед ней. Он рассказывал о своих злоключениях. Как его соплеменников загоняли в молитвенные дома и там сжигали, иных совали в мешки с камнями и безжалостно топили в Рейне, как их калечили, терзали, душили, женщин насиловали на глазах у связанных мужчин, как из окон пылавших домов, словно флаги, вывешивали насаженных на копыя детей. Он рассказывал, жестикулируя, захлебываясь, со множеством сочных подробностей, его красочная гортанная речь лилась без удержу, слова обгоняли друг друга, он улыбался, виновато, укоризненно, смиренно, пересыпал свой рассказ шутливыми прибаутками,

призывал бога, нервно перебирал пегую бороду, покачивал головой. Герцогиня молча слушала его; в углу, сутулясь, сидел фон Шенна, внимательно созерцал маленького, неистового, чудного человечка. Мендель Гирш просил разрешения поселиться в Боцене. Он направлялся было к своим единоверцам в Ливорно. Но, увидев расцветающие тирольские города и деревни, решил, что здесь поле деятельности лучше, новее. Транзитная торговля, милостивейшая госпожа герцогиня!—воскличал он. Транзитная торговля! Ярмарки! Рынки! Здесь проходят большие дороги из Ломбардии в Германию, из славянских стран в романские. Чем Триент, Боцен, Рива, Галль, Инсбрук, Штерцинг, Меран хуже Аугсбурга, Страсбурга? Вот уже и епископы Бриксенский и Триентский склонны взять евреев под свою защиту и дать им привилегии. С милостивого разрешения герцогини он здесь быстро поднимет торговлю. В страну потекут деньги, много денег, большие деньги. Он располагает капиталом в каком угодно размере. Обслуживает по гораздо более сходной цене, чем эти господа из Венеции и Флоренции. Он будет экспортировать вино, масло, лес; ввозить шелк, меха, мечи, испанскую шерсть, драгоценности, мавританские золотые изделия; с славянского востока—шкуры и прежде всего рабов. Что, рабов здесь не нужно? Довольно своих крепостных крестьян? Нет так нет. Но стекло ведь нужно, сицилийское стекло,—у него превосходные связи. И крашеное сукно тоже нужно. И имбирь, перец, пряности. Уж он добудет, только бы ему не мешали.

Маргарита сказала, что обдумает его просьбу. Когда он ушел, она стала совещаться с Шенна. Тому планы еврея очень понравились. Разумеется, надо впустить его, постараться удержать. В этом голос времени, это внесет оживление в страну. Правда, на турнире господин Мендель Гирш едва ли произвел бы особенно выгодное впечатление, баронам, да и бюргерам он не понравился бы. Но именно из-за гнилого высокомерия этих ленивых людей и следует пустить им за шиворот вот такое живое, неугомонное создание.

Итак, еврей Мендель Гирш приехал в Боцен. Вокруг него кишели сыновья, дочери, невестки, зятья, внуки; среди этих родичей—три грудных младенца и древняя, едва лопочущая бабка. Все это мельтешило по боценским улицам, быстроногое, болтливое, с глазами как миндалины, рассматривало разноцветные нарядные дома, стены, ворота, площади, людей, оценивало, судило, рядило, быстро и громко тараторило и жестикулировало.

Нельзя сказать, что боценские горожане приняли еврея Менделя Гирша с восторгом. Даже пристанище ему

дали только после строгого внушения маркграфа, который, подобно его отцу—императору, ценил евреев и покровительствовал им, считая, что они способствуют развитию городов. Но и после этого еврея встречали до последней степени грубо и недоверчиво, звали домой детей, когда он проходил по улице, отряхивали рукав, если прикасались к нему, выкрикивали ему вслед ругательства и насмешки, забрасывали комьями грязи. А толстый, юркий человечек притворялся, что ничего не видит и не слышит, обчищался, когда его пачкали, улыбаясь, перебирал пегую бороду. Когда дело заходило слишком далеко, покачивал головой: «Ну, ну!» Он всегда оставался смиренным, если его прогоняли—возвращался. Купил себе дом, еще один, еще. На его имя приходили товары, лежали грудками, незнакомые, красивые—в таком изобилии, в каком их никогда не видели в этих местах, и не очень дорого. Он покупал, что ему предлагали, оценивал очень быстро, уверенно, всегда имел при себе деньги, платил чистоганом. Местные купцы косились на него, горожане привыкали к еврею, правда—еще поругивали, но скорее по привычке, беззлобно...

Когда Мендель Гиш получал особенно красивые новые товары, сукна, меха, драгоценные камни, он приносил их прежде всего герцогине и господину фон Шенна. Оба охотно беседовали с этим поездившим по свету человеком, хорошо знавшим дороги, товары, людей, условия жизни и судившим о них с совсем иной, непривычной точки зрения. Если в серьезном разговоре с ним собеседник пускал в ход громкие слова, еврей строил огорченное лицо; к рыцарским обычаям, турнирам, знаменам и подобной мишуре он относился с добродушной, презрительной усмешкой, которая Шенна нравилась и казалась забавной. Он говорил:

— Зачем постоянно бряцать оружием и лезть на стену? Немножко терпимости, и все обойдется.—Его повергал в трепет один вид копий, мечей, доспехов. Однажды, когда его позвали к герцогине, он не явился, оттого что на улицах толклось много военного люда.

— Он трус,—сказала Маргарита.

— Конечно,—ответил господин фон Шенна.—Мечом он самое большее может ранить самого себя. Но он расхаживает один и без оружия среди людей, ненавидящих его, и все его доспехи—охранное письмо маркграфа.

Маргарита узнала, что каждый вечер он читает свои мудреные древнееврейские книги, обучает по ним своих детей. Она слышала о его странных обычаях, о его молитвенном плаще, молитвенных ремешках, особой пи-

ше. Она стала расспрашивать его подробнее. Он вежливо, но решительно уклонился от ответа. Это Маргарите понравилось. Он был безобразный, особенный. Он не очень-то подпускал к себе. Она была уродиной, он — евреем.

Постепенно в стране появились и другие евреи. В Инсбруке, Галле, Меране, Бриксене, Триенте, Роверето. У всех были многочисленные дети с миндалевидными глазами. Около двадцати семейств. В страну притекали деньги, города разрослись, стали богаче, улицы лучше, появились новые иноземные ткани, фрукты, пряности, товары. Страна в горах зажила богаче, шире.

Всю неделю евреи с утра до поздней ночи не знали усталости. Никакое дело не казалось им слишком мелким, они могли ждать любого покупателя часами, не утомимо. Они принимали все унижения, сгибали спину, не пытались защищаться, когда их пинали ногами, плевали на них. Но в пятницу вечером они запирались в своих домах, и в течение всей субботы никто не имел к ним доступа; исключения не делались ни для знатнейшего вельможи, ни для выгоднейшей сделки. Народ стоял перед их запертыми дверями, угрожая: «Вот они занимаются дьявольским волшебством, колдуют. Творят черные богомерзкие дела». Однако евреи презирали угрозы, держали двери и окна на запоре.

В такие дни Мендель Гирш зажигал множество праздничных свечей, коричневый кафтан и островерхую шляпу сменял на пышную одежду из старинных тканей и великолепную шапку, его жена, его дочери и невестки тоже рядились в роскошные платья. Он пел резким гортанным голосом псалмы и молитвы, и его дети пели с ним. Он расхаживал и посиживал в своих комнатах, ел всласть и пил всласть, не мог нарадоваться на своих детей и на свое богатство. Прочитывал отрывок из Писания, искусно комментировал его, находил в нем связь с очередными событиями. Дом сверкал праздничным убранством, благоухал драгоценными маслами. Он возлагал руку на головы своих детей, благословлял их, да уподобятся Манассии и Ефραίму. Величественно расхаживал по дому, перебирал бороду, раскачивался, говорил: «В субботу все дети Израиля — княжеские дети».

Маркграф сказал Маргарите:

— Хорошо, что евреям дали поселиться в стране. Они приносят деньги, оживление, заражают своим примером других. Но все же недаром народ слышать не может их запаха. Живет себе такой Мендель Гирш. Не знает ни церкви, ни религии. Хуже язычника или любой скотины.

Господин фон Тек сказал своим скрипучим голосом:

— Самое отвратительное, что у такого человека нет ни на грош достоинства! Как он пресмыкается, как по-собачьи ползает! Клоп, вшивец!

Маргарита молчала. «Гирш — еврей, — думала она, — а я — уродина».

Слепой король Иоганн сидел в низкой, убогой деревенской горнице, его парикмахер причесывал ему волосы и бороду. Накануне день был нестерпимо зноен, но теперь с северо-запада подул свежий ветер. Было около четырех часов утра, солнце еще не взошло, небо светлело. При короле находились двое его офицеров в полном вооружении, камердинер и адъютант, двое пажей. Люксембуржец, несмотря на свои шестьдесят лет и слепоту, придавал огромное значение безукоризненному вооружению и одежде. Камердинер и пажи натерли его белую упругую кожу благовониями, бережно надели на него рубашку, платье, серебряные доспехи.

Король проспал всего несколько часов, но был свеж и в превосходном настроении. Перед ним была большая роща, за ней стояли англичане. Итак, сегодня наконец-то произойдет сражение. Не простая стычка — нет, жаркая, большая битва. Англичанин все поставил на карту.

Сейчас этот элегантный слепец, чисто вымытый, с ног до головы вооруженный, дышит воздухом летнего утра, позабыв о тех тайных приступах меланхолии, которые теперь, после жизни, растекшейся как вода, разлетевшейся как дым, нередко тревожат его по ночам. Словно животное, после долгой зимовки в стойле почуявшее весну, жадно впитывает он запах боя, которым все полно вокруг.

Он вышел на крыльцо, позавтракал, пошутил со своими приближенными. Тянуло чистым душистым ветерком. Вот-вот взойдет солнце. Его отец был римским императором, властителем всего христианского мира. Он, Иоганн, воюет теперь в роли французского наемника; ему, собственно говоря, совершенно незачем было ввязываться в великую ссору между Англией и Францией, он сделал это из одного лишь воинственного пыла. К тому же он растратил деньги, которые Франция дала ему на вербовку войск, и теперь нужно выкручиваться; ни в чем, ну ни в чем ему не было удачи. Пусть. Теперь это уже не имеет значения, теперь он будет сражаться. Он доволен.

Ему подали ломти белого хлеба, масло, мед, сбитень. Вокруг жужжали пчелы. Он поглаживал мягкие волосы пажей.

Деньги для наемников он спустил. Он улыбнулся. Если его сын Карл стал нынче германским королем, то немало

будет этим обязан растраченным деньгам. Знать этого Карл не должен. Вероятно, догадывается, но знать не должен. Он такой щепетильный. Не беда. Иоганн любит Францию, он оказал Франции немало добрых услуг, вот и сегодня он чувствует, что возместит деньги сторицей. Он встряхнулся, стал потягиваться, спросил, взошло ли солнце.

Сели на коней, пустились в путь. Дорога вела через большую рощу, за ней, на широкой пыльной равнине, стоял неприятель. Забрала еще не были опущены, пели птицы, ветки гладили лицо, пахло листвой. Хорошо жить, хорошо проезжать утром через лес, за которым стоит враг.

Ага, вот и птицы смолкли. Лязг, крики, гомон, топот и гром копыт, звонкие трубы, пыль, много пыли. Они на опушке. Король и его приближенные остановились. «Как идет бой?» — спросил он с возбуждением страстного игрока. Приближенным пришлось описывать ему все перипетии сражения. Он командовал, бросал на поле битвы все новые полки, туда, сюда. Но поневоле стратегия слепого оставалась теорией, офицеры, не тратя слов, исправляли его приказания или не следовали им вовсе. На поле битвы густым слоем лежала пыль, садилась, серая, плотная, на стебли, траву, колосья, на лошадей, доспехи. Сражение перешло в бесчисленные озлобленные стычки отдельных групп. Тогда старый рыцарь не выдержал. Чувал ли он, что его приказы остаются пустым звуком, что их почтиительно выслушивают и пренебрежительно пропускают мимо ушей? Но он вдруг привстал в стременах, его добрый гнедой конь взвился, заржал, и одновременно с этим ржанием король издал звонкий крик радости, ринулся в бой. Офицеры пытались остановить его, пажи, пылая, увлекали его вперед. Так, несмотря на все препятствия, достиг он самой гущи боя: сбруя его коня, дорогие доспехи витязя привлекли врагов. Он был окружен, отбит, снова окружен. Особенно два шотландских рыцаря, младшие сыновья, голодранцы, соблазнились его украшениями и великолепным панцирем. Старый слепой рыцарь говорил, кричал, смеялся, рубил вокруг себя. Его офицеры остались где-то позади, пажи не отступали от него ни на шаг. Он то и дело обращался шутя, злобно, пламенно, цинично к одному из них, белокурому изысканному Иегану, своему любимцу. Того уже зарубили, он был мертв, а слепой король продолжал обращаться к нему. Наконец раненый конь сбросил седока, придавил. Враги ринулись на него, сорвали шлем и забрало, раскроили череп. И вот он лежал в пыли, неподвижный и жалкий, самый живой человек и государь своей эпохи, его окровавленная холеная борода была растрепана и слиплась,

оборванцы-рыцари тащили с груди серебряный панцирь, перстень никак не снимался с окоченелой руки, судорожно вцепившейся в пыль, тогда они отрубили весь палец. Бой передвинулся дальше, и французы, за которых без цели и смысла сражался слепой, были разбиты и рассеяны.

Мертвый король остался один. Большие блестящие трупные мухи садились на его лицо.

Карлу Люксембургскому, германскому королю, тоже раненому в этой битве, удалось спастись. Английский король, любивший с гордостью подчеркивать, что он по-рыцарски ведет войну, отправил ему тело отца с почетной охраной. И вот Карл стоял перед обезображенными останками. Отца он никогда не любил. Старый мот, носившийся причудливыми зигзагами по свету, так безумно и самоуверенно игравший своими коронами, вместо того чтобы беречь и укреплять их, сильно подорвал оставленное сыну наследство. Все же ему достались права, титулы, земли, захваченные где и как придется. Карл не будет расшвыривать их, не будет с излишней самонадеянностью пытаться непременно все удержать; он начнет объединять их по кускам, округлять. Радеть о сути дела, а не о внешнем блеске. Вот он лежит, король Иоганн, его отец. Он был рыцарем—первым рыцарем всего христианского мира; он блистал ярким блеском, а теперь от него осталась лишь кучка изуродованной, гниющей плоти. Он бесплодно жил и бесплодно умер. Насмеялся над церковью, священниками, святыми, но не покорил мира под пяту свою, не завоевал ни неба, ни земли. «Спи с миром, отец! Я буду иным, чем ты».

Король Карл приказал вынуть сердце, отделить в кипящей воде мясо от костей. Перевез кости в родной Люксембург, торжественно похоронил рядом с самыми священными реликвиями. Затем, ввиду того, что Аахен запер свои ворота, короновался в Бонне как германский король, в Праге—как богемский. Император Людвиг считал, что теперь, после поражения французов, настало время отправить Карлу решительную ноту протеста. Торжественно предложил он отступить от своих притязаний и подчиниться ему, сильнейшему. Карл ответил в том же духе: его сила, дескать, опирается не на войска, но на величайшего союзника—бога.

Прежде всего, однако, он стал подыскивать земных союзников. Завел сношения с Венгрией, с хромым Альбрехтом. За Карла были право, титул, церковь, религия, симпатии; за Людвига—могущество. Границы их стран соприкасались; но оба были рассудительны и осторожны,

избегали вызвать именно здесь войну. Изобретательный, предприимчивый Карл чуял, что слабое место Виттельсбаха совсем в другом месте: в Тироле.

Здесь епископы Триентский и Хурский, ненавидевшие маркграфа Людвига, неустанно мучили и интриговали. Владетельные бароны, возмущенные грубостью и расчетливостью Виттельсбахов, только и ждали случая вернуть Люксембургов. На угрожающее им соседство императора Людвига взирали с глухой тревогой и такие крупные ломбардские властители, как Карара, Висконти, делла Скала, Гонзага.

Слали королю Карлу курьеров. Курьеров все более спешных. В его-де распоряжении епископские войска, ломбардские наемники, контингенты баронов. Карл решился. Положение создалось особенно благоприятное. Маркграф Людвиг сражался далеко на севере, в Пруссии. Пусть добывает славу в борьбе с язычниками. Во всяком случае, сейчас в Тироле не было ни войска, ни государя.

В Карле вдруг как бы проснулся авантюризм отца. Он отбыл тайком, в сопровождении лишь трех доверенных лиц, все четверо — переодетые купцами, с ломбардскими документами. Путешествовал в жестокий мороз, по занесенным снегом горным тропам. Неожиданно объявился в Триенте. Торжественная служба в соборе. Карл в императорском облачении. Правда, императорские регалии — скипетр, меч, держава — были, к сожалению, только имитациями; оригиналы тщательно охранялись Виттельсбахом. Колокола, ладан. «Gloria in excelsis»¹, — пел епископ Николай голосом фанатика, пели мальчишки. Карл принял парад: войска епископа Николая, итальянских городов, епископа Хурского, патриарха Аквилейского, множества южнотирольских баронов, его брата Иоганна, жаждавшего мести. Он тронулся в путь с огромными силами, взял Боцен, взял Меран. Внезапно обложил железным кольцом замок Тироль.

Маргарите приходилось надеяться только на себя. Маркграф и Конрад фон Тек были далеко, в Пруссии. Мелкие военачальники колебались, растерянные, вместо ответа на вопрос: возможно ли удержать замок, ссылались на волю божью, возлагали всю тяжесть решения на Маргариту. Все теснее и крепче сжималось кольцо осаждающих.

Маргарита была угрюмо-спокойна. Ее супруг, маленький коварный волчонок, некогда стоял перед этими запертыми воротами, и она не впустила его. Теперь он явился с несметной пешей и конной ратью, во всей грозной пышности войны, чтобы насильственно проник-

¹ Слава в вышних (лат.).

нуть сюда. Когда ее жизнь была разрушена, она с трудом собрала обломки, снова создала себе семью, восстановила некоторый строй и порядок в своей жизни и в жизни страны. Ничего завидного, прекрасного, блистательного, убогое ущербное существование, тут заплата, там прореха, там нехватка и отречение. Но это было все же свое, завоеванное, спасенное из грязи и ничтожества, это была ее, обнесенная оградой, неотъемлемая собственность. И вот во второй раз является это отродье и пытается вырвать у нее принадлежащее ей. О, она покажет и лицемерному смиреннику Карлу, и Иоганну, злобному хитрому волку!

Она знала: главное — продержаться первые дни. В ее распоряжении находилось небольшое, но надежное войско. Она сама организовала оборону. Она не была труслива, ни минуты не колебалась — все видели это — подвергнуть себя опасности. Ее воля, ее заражающая рассудительная энергия передались войску. Первые атаки были отбиты решительно и без особых потерь; среди солдат замка царило своеобразное мрачно-шутливое настроение; маркграфиня вызывала искреннее почитание и восхищение. «Наша Губастая!» — говорили солдаты.

Среди офицеров был один баварец, молодой, безобразный альбинос, Конрад фон Фрауенберг. Из-за его отталкивающего, дерзкого, раздражительного нрава остальные сторонились его. Но именно поэтому обратила на него внимание Маргарита. Она назначила его командующим обороной, сумела поладить с ним, хотя другие видели в нем одно только мрачное самомнение; она нашла, что он решителен и смел в словах и поступках. А он грубым, сильным голосом, нагло и отрывисто похваливал ее распоряжения, ее энергию.

Со дня на день раздражение осаждавших росло. Было ясно, что страну можно взять или сразу, с налета, или никак. А тут они засели перед этой неожиданной преградой, осаждали женщину, безобразную, презренную герцогиню Маульташ, не подвигались ни на шаг. Карл злился на непредвиденное препятствие, поджимал губы, давился злобой. Неужели возможно, чтобы его превосходно вооруженное войско отступило перед этими стенами? Откуда брала эта женщина, это посмешище, эта Губастая свою силу? Он был глубоко встревожен, молился, пытал свою совесть. В Триенте ему показали палец святого Николая. Он собирался приобрести эту драгоценную реликвию — одна рука святого у него уже имелась, — но палец не уступали, и Карл, не в силах противиться искушению, вдруг решительно извлек нож, отхватил от пальца один сустав, унес с собой. Может быть, святой рассердился, может быть, он отвращает удачу от его

знамен и отдает врагу? Карл отослал косточку обратно с покаянным письмом.

Но все было тщетно, его раскаяние запоздало. Маркграф был уже близко. Если принять бой, то грозит великая опасность отрезать себе путь в Италию. Карл отступил от замка Тироль. Затаив ярость, повернул восвояси, на юг. Скрежетал зубами Иоганн, негодовали итальянские бароны. По пути Карл предавал страну грабежу, пожарам, опустошению. Меран стал пеплом, Боцен стал пеплом, по всей провинции Эч поля были опустошены, виноградные лозы срезаны, дома разрушены.

Тем временем маркграф, звеня оружием, въехал в замок Тироль. Обнял Маргариту бурно, искренне. Никогда не был он так сердечен. Она, она одна спасла Тироль.

— Наша Маульташ! — повторял маркграф Конраду фон Тек, похлопывая ее по плечу. — Наша Маульташ!

Конрад фон Тек воспользовался случаем, чтобы окончательно унизить и обессилить местное дворянство. От Маргариты не укрылась вся обдуманная беспощадность его мер. Но она предоставила ему свободу действий, не воспротивилась ни одним словом. С тех пор как она спасла для Виттельсбаха Тироль, она чувствовала сердечную близость со своим супругом. Она чувствовала свое единство со страной, ей, для ее собственного физического равновесия, было необходимо, чтобы страна управлялась по принципам Виттельсбахов: дворянство было согнуто в бараний рог, города и бюргеры возвышены. Медленно выпрямлялась она вместе со страной, освобожденной от ига баронов.

Она сидела в своем замке Маульташ. Зарывалась, вкапывалась в страну. Теперь у нее было трое детей, две девочки и мальчик, Мейнгард. Она добросовестно растила их, но близости между матерью и детьми не было. Страна стала ее плотью и кровью. Реки, долины, города, замки стали частью ее существа. Ветер гор был ее дыханием, реки — ее артериями.

Однажды в полуденный час пошла она гулять одна по берегу Пассейера, легла под скалой отдохнуть, задремала. Вдруг ее разбудил чуть слышный тонкий голосок: «Здравствуйте, госпожа герцогиня!» Она вздрогнула, увидела в расщелине скалы крошечное, волосатое, бородатое существо, которое быстро, со смешными ужимками несколько раз доверчиво поклонилось ей, исчезло. Гном! В страну вернулись гномы! Гномы, которые приходили только туда, где они чувствовали себя в безопасности, являлись только законному государю, и она увидела их. Теперь она подлинно стала властительницей страны в горах.

Отказавшись от осады замка Тироля, король Карл скоро совсем покинул эту страну. Со многими реликвиями, но без особой добычи. На обратном пути он не преминул натравить на Бранденбуржца графов Герца; по примеру отца роздал князьям и дворянам многие тирольские города и поместья, которые не принадлежали ему, возбуждая, таким образом, все большее недовольство против Виттельсбаха.

Однако, вернувшись в Германию, он благодаря неожиданному обороту в борьбе за империю скоро был вознагражден с лихвой за неудачу в Тироле. Во время медвежьей охоты под своей столицей Мюнхеном скоропостижно скончался император Людвиг Виттельсбах. Смерть от удара сразила этого полнокровного человека, он упал с коня, старая крестьянка закрыла ему огромные простодушные голубые глаза, монахи тайком увезли тело, чтобы, несмотря на отлучение и интердикт, достойно и благоговейно предать его земле.

И вот главного врага Карла Богемского, который владел столькими странами и которому было привержено столько городов, больше нет. Святые все-таки подсобили. Теперь, на переломе столетия, он, Карл, сделался бесспорным германским королем, без соперников.

Он устал от борьбы с Виттельсбахами, они от борьбы с ним. Хромой Альбрехт явился посредником между ними. Карл, равно как и его брат Иоганн, отказались от своих притязаний на Тироль и Каринтию, отдали маркграфу их в лен, обещали примирить с ним курию. Виттельсбахи, в свою очередь, признали Карла германским королем, присягнули ему, выдали имперские регалии.

О, эти регалии! Карл мучительно тосковал по ним. Много было у него ценных реликвий, но не было именно этих существеннейших эмблем власти, которой он обладал. Ему казалось, что и сам он, и его достоинство — наги и голы, пока у него нет регалий и он вынужден довольствоваться подделкой. Теперь он торжественно перевез драгоценные, сладостные его сердцу предметы в пражскую сокровищницу. Среди них имелось священное копьё, гвоздь от креста Христова, а также рука святой Анны. Но, прежде всего, старинный скипетр, держава из светлого бледного золота, зубчатая корона, меч, дарованный ангелом Карлу Великому для борьбы с язычниками. В пражском соборе король освятил регалии. Затем сам отнес их в подземную сокровищницу. И теперь они лежали там среди побелевших костей мучеников, среди драгоценных камней, среди редких книг и изображений, актов и договоров, среди священных копий, шипов от венца Христова, щепок от креста Христова. Сухопарый король стоял перед всем этим, улыбался узкими губами,

поглаживал узкой костлявой рукою зубцы короны, державу странно неправильной, отнюдь не круглой формы, затупившийся ржавый меч Карла Великого, первого императора, носившего его имя.

Агнесса фон Тауферс-Флавон редко приезжала в свои тирольские имения. Младшая сестра тем временем тоже вышла замуж за некоего господина дель Кастельбарко, игравшего весьма подозрительную политическую роль, так как он ухитрялся ловко балансировать между епископом Триентским, некоторыми итальянскими правителями и тирольским двором и владел притом богатыми поместьями и привилегиями. Агнесса много путешествовала, часто гостила у старшей сестры—в Баварии, у младшей—в Италии. После того как тирольцы прогнали герцога Иоганна, ее больше не трогали; во всех вопросах, которые могли вызвать спор между ней и администрацией, маркграфа, ее доверенные, подчиняясь ее благоразумным указаниям, спешили уступить, не допуская до осложнений. При дворе она бывала не чаще, чем требовали приличия, чтобы не показаться навязчивой.

Она была теперь красива волнующей, самоуверенной, почти грозной красотой. В Италии мужчины бросали к ее ногам города и княжества, убивали друг друга. Даже неотесанные баварцы щелкали языком, хлопали себя по ляжкам, восклицая: «Для такой ничего не пожалеешь!»—совершали ради нее безумства. Она же проходила среди этого поклонения, поединков, самоубийств с легкой, загадочной усмешкой.

И хотя редко бывала при тирольском дворе, однако при всяком удобном случае жгуче интересовалась тирольскими делами. Жадно внимала, полуоткрыв губы, повествованиям о деятельности Маргариты. Обо всем расспрашивала. Требовала, чтобы ей рассказывали вновь и вновь о мероприятиях против дворянства, о защите городов и евреев, обороне замка от Люксембургов—о каждой ничтожной черточке Маргаритиной жизни. Сама же никогда не вмешивалась ни единым словом, а тем более поступком. Если требовалось ее мнение, она уклонялась, говорила что-нибудь незначительное, улыбалась.

Очень охотно показывалась она народу. Держалась надменно, не отвечала на поклоны. Никогда не делала пожертвований на благотворительные цели в селах или городах, и с крестьянами на ее землях управляющие обращались жестоко. Все же народ охотно смотрел на нее. Люди выстраивались по сторонам дороги, когда она проезжала, восхищались ею, встречали приветственными кликами, всячески выражали свою любовь.

Нередко посещал ее мессере Артезе из Флоренции. Агнесса жила очень расточительно, постоянно нуждалась в помощи невзрачного, усердно отвешивавшего поклоны флорентинского банкира, уже имевшего закладные на все ее имения. Мессере Артезе рассказывал ей немало о тирольском дворе. Он злобно отзывался о маркграфе и о Губастой. Правда, маркграф постоянно испытывал нужду в деньгах, ибо его войны поглощали огромные средства. Но он занимал всегда только у своих баварцев и швабов, боязливо избегая содействия доброго, услужливого мессере Артезе; он даже выкупил с немалыми жертвами закладные, еще оставшиеся у флорентинца. Да и те насильственные способы, какими наместник маркграфа Конрад фон Тек раздобывал добро и деньги, все эти конфискации и казни были молчаливому, деликатному флорентинцу не по душе. Зарабатывать деньги — разумеется; деньги, если они не краденые, — от бога. Не щадить неаккуратных должников, забирать просроченные заклады — бесспорно. Но все это надо делать благопристойно, вежливо, соблюдая принятые формы. Тюрьма, голову прочь — фи, так не поступают, это неприлично.

Но больше всего озлобило мессере Артезе то, что ему предпочли еврея Менделя Гирша. Как? Ему, тихому, скромному, образованному католику и доброму христианину, предпочли вонючего, картавого, нахального, навязчивого, вертлявого еврея, предназначенного прямо в пекло? Разве недостаточно и того, что этот проклятый богом народ, который замучил и распял возлюбленного нашего господина и спасителя, отравляет воздух германских и итальянских городов? Этой мерзкой герцогине Маульташ еще понадобилось бросить им на съедение страну в горах, чтобы они заползли в нее как черви и всюду угнездились, так что их теперь не вытравишь? И вот они засели там, гнусные гады, везде поспевают первые, навязывают каждому свои деньги, да еще осмеливаются — зараза несчастная — брать меньшие проценты, чем он, высокочтимый, почтенный, принятый у всех государей и баронов, флорентинец. От таких мыслей лицо этого обычно столь мягкого, вежливого, сдержанного человека искажалось уродливой гримасой беспредельной ярости.

Агнесса молча слушала его. Она слушала все, заносила в свою память, бережно хранила, была с мессере Артезе необычно любезна. Тот вдруг спохватывался, усиленно извинялся, ускользал во тьму.

После соглашения с королем Карлом никто уже не пытался оспаривать у Маргариты и маркграфа их права на владение Тиролем. Когда скончался его отец, император, Людвиг был вовлечен в целый ряд сложных и запутанных

споров с братьями о наследстве. В конце концов сговорились на том, что из этого наследства он фактически получает Верхнюю Баварию, а от маркграфства Бранденбургского — только титул и сан курфюрста. Освобожденный от забот о Бранденбурге, он отдался целиком управлению Тиролем: его владения простирались от Герца до Бургундии и от Ломбардии до Дуная. Он именовался маркграфом Бранденбургским и Лаузицским, святой Римской империи обер-камерарием, пфальграфом Рейнским, герцогом Баварским и Каринтским, графом Тироля и Герца, фогтом епископств Аглейского, Триентского, Бриксенского.

Маргарита жила с ним в согласии, относилась сердечно, почти по-матерински. Теперь она была твердо уверена, что бог лишил ее всякой женской прелести, чтобы она вложила все силы своей женственности в управление страной. И сознание этого принесло ей удовлетворение. Она была спокойна, как в безветрие водная поверхность. В ее решениях чувствовалась глубокая и честная последовательность. Женщина и правительница слились в одно. Ее советы и поступки никогда не бывали рассудочны, двусмысленны. Они вырастали из теплого, честного материнства, следовали не букве, не правилу, но всегда имели внутренний благотворный смысл.

На долю ей выпало трудное правление, каменистый путь. Все новые войны: с Люксембуржцем, с епископами, с ломбардскими городами, с мятежными баронами. Столь заботливо созданное все вновь и вновь разрушалось, шло прахом. Вдобавок — землетрясения, наводнения, пожары, чума, саранча, расшатанные постоянными военными расходами финансы. Нелегко было при таких превратностях судьбы сделать страну цветущей. Но мощная, дышавшая надеждой и надежду рождавшая женственность Маргариты изливалась в страну, поднимала ее, давала ей все новые силы для роста и развития. Она залечивала раны этой страны, отменяла налоги в городах, пострадавших от войн и пожаров, заставляла строптивых баронов, несмотря на их ропот, выплачивать хоть часть причитавшихся с них податей. И все это делалось с какой-то естественной закономерностью, без насилия и шума.

Если ей предстояло решать особенно сложные финансовые вопросы, она спрашивала совета у Менделя Гирша. Тот мгновенно являлся в своем коричневом кафтане, толстый, вертлявый, услужливый, выслушивал Маргариту, качал головой, улыбался, заявлял, что это-де очень просто, картавя, многословно предлагал неожиданное решение. Маленький, затравленный, повсюду гонимый человек был глубоко благодарен герцогине за ее благожелательность, это давало ему относительно безопасное суще-

ствование и кров над головой. Он любил ее, чутко старался проникнуть в ее душу, напрягал для нее всю свою изобретательность.

Ибо нелегко было правителям Тироля держаться на поверхности при том хаосе, который царил в экономике страны. Правда, произволу феодалов был положен известный предел, прекращены и дела со зловредным мессере Артезе. Зато маркграф, не задумываясь, брал необходимые огромные суммы у своих швабов и баварцев. А они, стремясь обеспечить себя, беззастенчиво вымогали закладные и обязательства, загребали все больше и больше, так что в конце концов маркграф ничего не выигрывал. Напротив: если раньше все соки из страны высасывали тирольтцы, то теперь за ее счет откармливались чужаки, баварцы и швабы. Они сидели на всех крупных должностях, жадный насильник Конрад фон Тек загреб чудовищные богатства, Гадмар фон Дюрренберг захватил соляную монополию в Галле, несколько мюнхенцев — Якоб Фрейман, Гримоальд Дрекслер и другие бюргеры — рудники в Ландеке. Главнейшие пошлины и подати тоже были отданы в аренду баварцам, швабам, австрийцам. Тут маркграф никого не слушал. Своим баварцам и швабам он доверял, а они пользовались этим. Все же Менделю Гишу удавалось, под прикрытием Маргариты и оставаясь в тени, вносить в договоры кой-какие пункты, хоть отчасти защищавшие маркграфа от произвола баварцев.

Маргарита продолжала не доверять баварским друзьям своего супруга. Только с одним сблизилась она, с тем офицером, который помог ей некогда отстоять замок Тироль во время осады Люксембургов, с белобрысым, толстым, красноглазым Конрадом фон Фрауенбергом. Ведь он был так безобразен, так нелюбим, так одинок. Она чувствовала, что судьбы их родственны, обращалась с ним доверчивее, чем с остальными, выделяла его. Этот скрипучий, неприветливый человек вдруг быстро пошел в гору, получил поместья. Она добилась даже того, что его назначили ландсгофмейстером.

И еще одного добилась она: издала уложение законов и учредила в стране порядок. Она установила твердые пошлины, еще больше ограничила произвол и судебные полномочия баронов, усилила центральную власть, укрепила положение горожан, торговлю, ремесла. Расцвели пестрые и яркие города, стали расти, шириться, богатеть. Отныне уже не замки баронов определяли судьбы страны, тон задавали магистраты, горделивые городские ярмарки. Ожилились даже маленькие местечки: Брунек, Глурнс, Клаузен, Арко, Ала, Раттенберг, Китцбюгель, Линц. От крупных бирж и рынков, от Триента, Боцена, Ривы, Бриксена дороги и торговые связи разветвлялись по всей

земле. Посеянное Менделем Гиршем возшло обильно и пышно.

Герцогиня любила свои пестрые, шумные города. Эти красивые оживленные поселки были созданы ею. Что мужчины! Что любовь! Разве можно было струиться, цвести, разветвляться, жить богаче, чем она? Разве эти приливы и отливы, это живое, целеустремленное движение не составляли часть ее самой? Она отдавалась вся, вращалась в страну. Могла ли страна этого не чувствовать, могла ли не ответить на такую любовь, не принять ее в свое лоно? Нет! Не могла! В городах дома смотрели на нее живыми глазами, полными понимания, камни дорог звучали иначе под копытами ее лошадей. Ледяной покров растаял, отдаваясь стране, она растворялась во всем этом, была удовлетворена, счастлива.

В теплый вечер Якоб фон Шенна и Берхтольд фон Гуфидан ехали не спеша по расчищенной тропинке в замок Шенна. Они держали путь из Мерана, где герцогиня, в добавление к Большому совету, торжественно даровала еще Малый, значительно расширив права бюргерства. Это был дар большой ценности, ради него герцогиня пожертвовала немалой долей своего влияния и большой суммой денег. Народ, как и подобало, почтительно благодарил, оглашал воздух приветственными кликами, с уважением называл ее «наша Маульташ».

Всадникам пришлось спешиться, пропустить небольшой элегантный поезд. Оба очень вежливо поклонились. В носилках сидела Агнесса фон Флавон. Вокруг теснился народ: «Как она прекрасна! Чисто ангел божий!» Народ приветствовал ее, эти клики, восторженные, неудержимые, звучали совсем иначе, чем до того, во время церемонии в честь герцогини.

Господин фон Шенна насвистывал итальянскую песенку. Берхтольд фон Гуфидан был задумчив: глаза, голубевшие на мужественном смуглом лице, смотрели перед собой напряженным, невидящим взглядом. Он не отличался сообразительностью.

Перед самым городом они настигли маленькую труппу канатных плясунов, показывавших свою ловкость небольшой кучке народа. Огненно-рыжий скоморох вывел большую обезьяну. Меланхолично и неуклюже сидела она внутри обруча, ловила яблоко. Затем выступила девушка, плясала, жонглировала мячами. Потом очередь снова была за обезьяной. Ее одели в голубой шелк, нацепили на голову золотую фольгу. И вот она сидела перед зрителями, длиннорукая, неуклюжая, очень нелепая, грустная, злая, скалила желтые зубы, торчавшие из пасти с мощно выпяченными челюстями. Публика с минуту смотрела на нее. Затем вдруг со всех сторон грянул хохот, ржанье,

сотрясавшие грудную клетку и все кишки, люди хлопали себя по ляжкам, орали без конца, бездыханно: «Губастая! Это же герцогиня! Губастая!»

Всадники продолжали путь. Берхтольд досадливо на-свистывал сквозь зубы. Навстречу им шла сборщица винограда, босая, смуглая. Хорошенькая. Она поклонилась, смиренно улыбаясь. Берхтольд не взглянул на нее. Шенна бросил ей несколько шутливых слов. Но его веселость казалась не совсем искренней. Скоро приуныл и он; молча, как и Берхтольд, продолжал путь, сутулясь в седле, с кислой презрительной гримасой на длинном увявшем лице.

В Ала, во время переговоров братьев Аццо и Маркабуна, баронов из Лидзаны, с членом триентского капитула, господин Аццо, старший брат, не кончив фразы, вдруг пошатнулся; лицо его стало желтым, затем сине-черным, он упал. Под мышками, в паху, на бедрах появились шишки, черные, гнойные, величиной с яйцо. Он хрипел, не приходил в сознание, через несколько часов умер. Триентинец в ужасе, нахлестывая коня, помчался обратно в родной город. Значит, вот она, чума. Значит, она проникла и в страну среди гор. Что в Вероне четверо-пятеро уже умерли, видимо, правда. И вот черная смерть пробралась в горы. Помилуй всех нас, господи.

Чума пришла с востока. Сначала она свирепствовала на морском побережье, затем проникла в глубь страны. Она убивала в несколько дней, иногда в несколько часов. В Неаполе, в Монпелье погибли две трети жителей. В Марселе умер епископ со всем капитулом, все монахи — доминиканцы и минориты. Целые местности совершенно обезлюдели. Никем не управляемые, носились по морю большие многовесельные суда с товарами, весь их экипаж вымер. Особенно свирепствовала чума в Авиньоне. Падали наземь сраженные кардиналы, гной из раздавленных бубонов пачкал их пышные облачения. Папа заперся в самых дальних покоях, никого не допускал к себе, поддерживал целый день большой огонь, жег на нем очищающие воздух травы и курения. В Праге, в подземной сокровищнице, среди золота, редкостей, реликвий сидел Карл, король германский, он наложил на себя пост, молился.

Грозно разразилась эпидемия в тирольских долинах. В Випгале уцелела только треть населения, в многолюдном Мариенбергском монастыре — только настоятель Визо, священник Рудольф, один послушник и брат Госвин, летописец. В иных долинах из шести человек выживал один. Так как чумой заражались через дыхание, одежду и

утварь, то каждый, исполненный вражды и недоверия, избегал своих близких, друг—своего друга, невеста—возлюбленного, дети—родителей. Люди умирали без участия, в городах многие дома со всей обстановкой стояли пустые, и никто не решался в них войти; в церквях не служили обеден, дела в суде не разбирались. Врачи говорили разное, но в конце концов не находили иной причины, кроме того, что такова, дескать, воля божья. Оказать помощь они не могли. Люди, обезумев от ужаса, кастрировали себя, бичевали, женщины объединялись в общины сестер. И вот потянулись процессии флагеллантов, кликуш, пророков. Другие нажирались до отвала, предавались излишествам, пировали, распутничали. Окровавленные, изможденные флагелланты встречались с шествиями пьяных, пестро разряженных карнавальных масок.

Из трех детей Маргариты в живых остался только сын Мейнгард, обе девочки умерли. Они лежали отвратительно вздувшиеся, с громадными черными опухольями. Маргарита думала: «Теперь они так же безобразны, как и я».

Ей было некогда размышлять об этом. Она работала, бесстрашно бывала повсюду, полная ясности и спокойствия. Среди чудовищного смятения выполнялись только немногие ее приказания, да и то неудовлетворительно; все же она держала страну в большем подчинении и порядке, чем это при всеобщем развале удавалось другим правителям. И как только чума стала затихать, Маргарита тотчас натянула поводья, стараясь приноровить управление к новой, более просторной после убыли населения, но расшатавшейся жизни. Решительно воспротивилась расхищению многочисленных поместий, оставшихся без владельцев, причем сумела, воспользовавшись случаем, приобрести задешево, но вполне пристойным образом немало угодий и богатств.

Мессере Артезе был чрезвычайно занят, для него это было горячее время. Повсюду в мире домá и недвижимо-сти, права и привилегии доставались наследникам, не знавшим, что с ними делать. Он скупал, загребал. Однако в Тироле ему оказали сопротивление. Тут были запрещения, стеснявшие его, права двора, чиновников, суровые параграфы закона. В замке Тауферс, в присутствии Агнессы, он дал себе волю, разбушевался. Во всем виноват этот еврей, этот хитрый Мендель Гирш! Еврей мешал ему, мешал его сделкам доброго христианского финансиста. Это он, лишь бы вставить ему палки в колеса, измыслил всевозможные наглые, дьявольски хитрые оговорки и ограничения.

Агнесса дала флорентинцу излиться, молча слушала, неотступно смотрела на него глубокими синими глазами.

Затем бесстрастным, волнующим голосом принялась рассказывать. Она побывала на Рейне. Там во многих городах евреев переловили и сожгли. Ибо чуму вызвали евреи, они отравили колодцы. Она знает наверно. В Цофинене нашли яд. В Базеле она сама была свидетельницей того, как евреев загнали в деревянное здание на рейнском острове и там сожгли. Они страшно кричали, вонь еще долго стояла в воздухе! И правильно сделали, что их сожгли. Они, треклятые, действительные виновники чумы. Правда, хромой Альбрехт Австрийский, епископ Майнцкий, герцогиня Маульташ защищают своих евреев. И Агнесса добавила медленно, равнодушно, все еще не сводя глаз с флорентинца: «Вероятно, у этих господ имеются для того веские основания».

Мессере Артезе слушал, ничего не возражал. Уехал, не закончив дел, обратно в свою Флоренцию.

И вот из Италии медленно пополз по долинам Тироля, распространяясь все дальше, сначала только липкий слух, затем постепенно сложилась твердая уверенность: это евреи напустили чуму. И пока евреев не выгонят из страны, чума не прекратится. Угроза росла. Травля. Нападения.

Тем временем евреи носились туда, сюда, занимались делами. Много было дел, крупных дел, голова шла кругом. Маленький Мендель Гирш суетился, жестикулировал, гортанно кудахтал, его многочисленные дети, с глазами как миндалины, тоже суетились, даже древняя лопочущая бабка ожила, спрашивала с усилием, едва ворочая языком: «Ну, как дела?» Дела шли превосходно, благодарение богу. Чума убывает, не сглазить бы. Забот пропасть, надо торговать, покупать, посредничать, заключать сделки. Скоро уже можно будет, даст бог, открыть в Боцене первую большую ярмарку. Милостивая госпожа герцогиня—бог да хранит ее!—не может шагу ступить без Менделя.

А между тем оно подползало, страшное, оскаленное, бессмысленное, все черней. Евреи знали, что это. Так же было двенадцать лет назад, перед свирепой резней, устроенной «Кожаной рукавицей». Теперь оно надвигалось с юго-запада. Тщетно папа, многоопытный, мудрый, добрый Климент, пытался бороться с этим—и лично и с помощью булл,—указывая, что ведь евреи сами пострадали от чумы не меньше других: как же они могли быть ее виновниками? Причиной преследований евреев были не колодцы, якобы отравленные ими, а принадлежавший им капитал и расписки их должников. Евреев грабили и убивали в Бургундии, на Рейне, в Голландии, в Ломбардии, в Польше. В двенадцати, в двадцати, в ста, в двухстах общинах. Тирольские евреи выжидали. Пости-

лись, молились. Делать крупные подарки тирольским властям не имело смысла. Что герцогиня по мере сил защитит их, в этом можно было не сомневаться. Маркграф тоже благоволил к ним, как и его отец, способствовавший процветанию городов и торговли и всегда простиравший над ними свою ограждающую руку. Но оказалось, что от неистовствующей черни, почуявшей кровь и золото, не в силах защитить ни император, ни папа, ни палач. Можно было только ждать, молиться, заниматься своими делами.

И затем вдруг события разразились в тот же день в Риве, Роверсто, Триенте, Боцене. В Риве евреев утопили в озере, в Роверето их заставили, под рев и рык толпы, прыгать с высокой скалы, в Триенте их сожгли. В Боцене больше увлекались грабежом, убийства происходили неорганизованно. Их совершали как попало, и от семьи Менделя остались в живых только бабка, одна из невесток и один малыш.

В Мюнхене маркграфу не удалось защитить своих евреев; в Галле и Инсбруке он решительно встал между ними и разнузданной чернью. Он был за право и справедливость. Так как мертвым он уже не в силах был помочь, то хоть отбил добычу у убийц, им мало чем пришлось поживиться. А баварские и швабские господа стали теперь взыскивать в пользу маркграфа то, что убийцы остались должны убитым, и притом гораздо беспощаднее, чем это сделали бы сами евреи. В конце концов вмешался и Карл. Он хотел получить с маркграфа, как и со всех других правителей, чьи евреи были перебиты, свою долю их имущества. Началась отчаянная торговля.

Услышав о насилиях, Маргарита, охваченная злоеющим ужасом, поспешила в Боцен. Прибыла среди ночи. Увидела в неверном свете факелов зверски разрушенный дом: маленькие, заставленные всяким скарбом, комнатенки стояли теперь нагие, разграбленные, загаженные. Увидела трупы сыновей, дочерей, зятьев, невесток, многочисленной, некогда кишевшей здесь детворы с глазами как миндалины; одни были зверски искромсаны и изувечены, у других — такие малозаметные раны, что сразу и не увидишь. Быстрые, подвижные, они лежали теперь очень тихо, очень тихо лежал и Мендель Гиш. На нем был молитвенный плащ, вокруг лба и руки обвились молитвенные ремешки; ран не было заметно; при свете факелов чудилось, что он улыбается смиренно, многозначительно, ласково, мягко, умно. Что он вот-вот качнет головой, проговорит, картавя: «Ничего страшного, все очень просто. И люди вовсе не так плохи, они забиты, да и слишком туго соображают. Нужно объяснить им все по-хорошему». Но он ничего не говорил, не картавил, не

жестикულიровал, лежал совсем тихо. Он желал добра, себе, конечно, в первую очередь, но и ей и ее Тиролю, он был человек разумный и дельный, мог принести большую пользу стране и ее возлюбленным городам. А вот его убили глупо, бессмысленно, по-скотски. За что же, собственно? В упор, сурово и настойчиво подступила она к одному из стоявших вокруг с вопросом. «Да ведь это он напустил чуму!» — ответил тот смущенно, тупо, упрямо.

Тихонько пищал в углу уцелевший младенец, почему-то разряженная женщина пыталась укачать его, пела резким, надтреснутым голосом, бабка лопотала.

Маргарита приблизилась, протянула руку, чтобы погладить ребенка. Она чувствовала себя усталой, несчастной. При свете факелов увидела она свою руку, — большая, уродливая, кожа желтая; она забыла набелить ее.

В Мюнхене, в одном из обширных покоев нового дворца, — его заложил еще отец, а сын продолжал достраивать, — стояла, под холодно устремленным на нее взглядом маркграфа Людвига, баронесса фон Тауферс, Агнесса фон Флавон. Она просила разрешения продать некоторые из принадлежащих ей поместий. Покупатель — местный уроженец. Однако за всем этим тайлся мессере Артезе. Агнесса была маркграфу несимпатична; он слышал немало о ее беспорядочном цыганском хозяйстве; его худое, смугловатое лицо с белокурыми усами оставалось замкнутым, серые колючие глаза смотрели подозрительно.

Агнесса чувствовала его враждебность, но нисколько не казалась обиженной. Она ходила мимо него скользящей походкой, смотрела глубокими темно-голубыми глазами, улыбалась узким ртом, алевшим на белом лице, очень оживленная, очень дама, без преувеличенной любезности. Осторожно, искусно пыталась она растопить лед, чуть-чуть посмеивалась над тем, какой он злой бирюк.

Он посмотрел на нее внимательнее. Все-таки к ней несправедливы. Его друзья требуют от женщины, чтобы она день и ночь не вылезала из хозяйства, ходила по пятам за слугами, надзидала за кухней и бельевой. А эта женщина — лакомый кусок, бесспорно. Хрупкая, холеная, грациозная, и все же мускулистая, полная сил. Он простился с ней любезнее, чем поздоровался. Сказал, чтобы она вторично явилась к нему.

Долго смотрел ей вслед. Вздохнул. Подумал о Маргарите. Та была снова беременна. Да, красавицей ее не назовешь! Если сравнить с этой — даже страшно становится. Умна она, это верно, наша Маульташ. Люди уважают ее. Но не любят. А когда они видят эту, они восторженно ее приветствуют.

Вот и обе девочки умерли. В народе говорили: кара божья. Винят его, конечно. Оттого, что папа римский предпочитал видеть Тироль под своим любимчиком Карлом, его, Людвига, брак считался осквернением таинства, его дети — бастардами. И в том, что не звонили колокола, и в пожарах, наводнениях, саранче, чумной эпидемии тоже винили его.

Болваны! Ослы толстокожие! Тупицы! Разве такое удовольствие — быть мужем Губастой? Давно уже не обращает он внимания на ее наружность. Сегодня эта наружность снова поразила его. С такой женой он стал посмешищем всей Европы. Ведь он — государь и властитель, самый могущественный человек в Германии. От его ласки расцветали города; и плодоносные земли от его гнева засыхали. Все это далось ему нелегко. Пришлось работать день и ночь, действительно на совесть. Не знать иного страха, кроме страха божия. Исполнять свой долг, суровый и трудный, изо дня в день. А к чему все это! На посмешище всей Европы.

Внизу Агнесса садилась в носилки. Кругом стояла толпа, обнажив головы, восторгаясь. Будь Агнесса на месте Губастой, люди не говорили бы «кара божья» даже при саранче и чуме.

Не взглянула ли она наверх? Словно пойманный школьник, он быстро отвернулся.

Несколько недель спустя Маргарита родила мертвого ребенка. Маркграф помрачнел, стал холодней. Нет благословенья его браку. Теперь вся надежда на единственного сына, Мейнгарда, безобидного, толстого юношу, малоодаренного, болезненного, который, казалось, нисколько не походил на своего дедушку Людвига, а скорее на деда с материнской стороны, на доброго короля Генриха.

Уже по истечении недели Маргарита снова принялась за дела. Она работала с той же добросовестностью и усердием, что и раньше. Но охота пропала, города уже не были для нее возлюбленными. Маленький ласковый еврей, так искусно вливавший в них жизнь, был убит, дети, которых она родила, умерли. Разбивалось все, к чему бы она ни прикоснулась. Ничто не слушалось ее, не расцветало. Маркграф? Добросоветный, черствый человек. Ее сын? Толстоватая, глуповатая посредственность. Что ей остается?

Все ближе становился ей теперь Конрад фон Фрауенберг. Этот безобразный офицер с красными глазами и белобрысой головой был предпоследним из шести сыновей Траутзама фон Фрауенберга, довольно незначительно-го баварского рыцаря, отличившегося когда-то в одном из

сражений за императора Людвига. Благодаря этому Конрад попал еще мальчиком в пажи к баварскому двору, затем в свиту маркграфа в Тироле, где получил чин младшего офицера, но долго оставался в тени. Его безобразие и ворчливый, озлобленный тон отпугивали людей. Ничто не сулило повышения неизвестному солдату, но его дерзкая, отважная решимость во время осады замка Тироль вдруг выдвинула его.

Всю ту мечтательность, которая еще оставалась у Маргариты, всю ее тоску по красочности, пестроте, приключениям, все остатки того, что господин фон Шенна называл «былые дни», сосредоточила она на грубом, некрасивом Фрауенберге. Этот альбинос, с его большой жабьей пастью, скрипучим голосом, короткими грубыми руками, рисовался ее воображению каким-то заколдованным принцем. То же, что и у нее: под неуклюжей оболочкой, наверно, кроется утонченная и чуткая душа. Поневоле будешь груб и суров в такой шкуре. Бедный, одинокий, непонятый! Она относилась к нему особенно по-дружески, почти по-матерински.

Суровая, неприкаянная молодость сделала Фрауенберга холодным, черствым хитрецом. Он знал, что безобразен, и считал в порядке вещей, что все отталкивают его. Будь он наверху, он тоже топтал бы остальных. Он не верил ни во что на свете. Деньги, власть, собственность, похоть—вот цель всех людей, корыстолюбие, властолюбие, любострастие—единственные мотивы их поступков. Не существует ни наград, ни наказаний, ни справедливости, ни добродетели. Все это вздор. Люди делятся только на ловкачей и разинь, в жизни может только повезти или не повезти. Он придерживался одного мнения с песенкой, в которой говорилось, что только семь удовольствий достойны хвалы и желаний: первое—жрать, второе—пить, третье—облегчаться от съеденного, четвертое—от выпитого, пятое—лежать с женщиной, шестое—купаться, но седьмое, самое лучшее,—это спать.

Когда герцогиня подарила его своим вниманием, он ни на миг не усомнился в том, что ее интерес не что иное, как порыв чувственности. Не было, впрочем, ничего удивительного, что выбор уroda пал на урода. Он уже было смирился: он рассуждал трезво, деловито, давно сказал себе, что, как пятый сын в семье, да еще с таким лицом, не имеет никаких надежд выдвинуться, но всегда с хитрой, беспощадной зоркостью держался настороже, готовый к прыжку. И вот перед ним открылась блестящая возможность. Ему повезло, как утопленнику, безобразная потаскушка вдруг вспылала к нему страстью. Он это использует.

Перед слугой он дал себе волю, неистово ликовал,

расточая непристойные похвалы Губастой и ее похоти. Вопреки обычной скупости, налил парню отдельную кружку пива. При свече, один на один с ним, пропьянствовал всю ночь, горлая песенку о семи самых желанных радостях. Уж он выжмет из этой Маульташ все, что ему заблагорассудится. Затем блаженно растянулся на постели, намереваясь заснуть. Да, спать — самая приятная вещь на свете. Он чувствовал, как ноет от усталости все его тело. Похрустел суставами. Широко разинул пасть. Поворочался, сладострастно зевая, заснул.

Он шел своей дорогой хитро и осмотрительно, однако никогда ничем не смущаясь. Он чувствовал, что маркграф не любит его. И старался не попадаться ему на глаза. Старался вообще быть незаметным. Но как только Маргарита оставалась одна, он с дерзкой бесцеремонностью ловил мгновение, вымогал замки, поместья, судебные доходы, стал наконец ландсгофмейстером. Никто, и прежде всего он сам, не предсказал бы ему такой карьеры. Прожорливо, нагло ухмыляясь, загребал он все, что попадалось под руку. Достигнув положения ландсгофмейстера, оставался тем же мелким офицеришкой. Никого и ничего не уважал, ни во что не верил, кроме силы, денег, похоти.

А Маргарита, как и раньше, обращала все свои мечты к альбиносу. Его отталкивающая внешность делала его отмеченным, роднила с ней. В этом корявом, толстомясом, отвратительном чурбане должна быть душа. Он ничем не поощрял ее мечтаний; самое большее — пошлой фамильярной усмешкой дурного тона. Она не замечала его убожества или принимала его опустошенность за горькое смирение, за нарочитую немоту, стыдливо затаившую все нежное и благородное.

Озабоченно наблюдал господин фон Шенна за тем, как Маргарита, в сущности без особых причин, скорее по какой-то инерции, отходит все дальше от маркграфа и, почти против воли, все больше сближается с Фрауенбергом. Это претило ему. Его оскорбляло, что, будучи столь взыскательной, Маргарита наряду с ним самим избрала своим доверенным именно этого человека. Что между ними общего? Как могла она сочетать его изысканный рафинированный скептицизм с грубой, низкопробной пустотой и цинизмом баварца? Самолюбие фон Шенна было задето тем, что Маргарита делит свое доверие между ним и этим человеком.

В общем же господин фон Шенна процветал. Чума пощадила его. Он получил наследство, использовал, кроме того, время после чумы для округления и благоустройства своих великолепных поместий. В своих замках он вел жизнь утонченную и уютную, среди картин, книг, краси-

вых вещей и павлинов; как и раньше, не хотел заняться службой, радостным, задумчивым взором озира́л свои огромные плодовые сады, пашни, виноградники, с каждым днем становился все мягче, мудрее, покоился в себе, словно зреющий, тщательно оберегаемый плод. Аббат Иоанн Виктрингский, теперь секретарь герцога Альбрехта, очень постаревший, трясущийся, мог цитировать применительно к фон Шенна чуть ли не всего Горация.

С высоты этого покоя и мира он охотно помог бы Маргарите. Он пытался снова укрепить близость между Маргаритой и маркграфом. Благоприятствовало этим попыткам и то, что гнет отлучения, тяготевший над браком Маргариты, стал за последнее время легче.

Дело в том, что Иоганну Люксембургцу уже давно надоело, будучи на деле холостым, оставаться в глазах церкви женатым человеком. Благодаря мудрой политике его брата, короля Карла, положение его значительно улучшилось, и Иоганн надеялся окончательно укрепить его при помощи удачного брака. Но для этого надо было сначала по всем правилам развестись с Маргаритой. Он попросил ее о свидании. Он хотел бы совместно с ней найти формулу, которая была бы для обоих приемлема и никого не унижала бы. Их интересы совпадают. Что ж, это было верно, и Маргарита выразила готовность принять его.

Так герцог Иоганн появился в замке Тироль в роли гостя. На этот раз ворота широко распахнулись перед ним. Барабаны, трубы, почести. Длинное лицо Иоганна было все таким же мальчишеским. Без всякого смущения смотрел он на Маргариту своими маленькими, глубоко сидящими глазками. Заговорил в тоне мрачной шутливости, дружеской иронии. И вот они сидели вместе, придумывали основания для развода, усердно вертели их так и сяк, кроили, пригоняли. Наконец, довольные, столковались. Герцог Иоганн женился-де на Маргарите, состоящей с ним в четвертой степени родства, не ведая об этом родстве. Как оба ни старались честно осуществить свой брак на деле, это им не удалось, оттого, конечно, что Иоганн был заколдован. А между тем Иоганн вполне способен вступить в брак с другой женщиной и желает продолжить свой высокий род, а посему просит папу объявить его брак с Маргаритой недействительным. Папа, будучи другом божеских Люксембургов, бесспорно не откажет в удовлетворении этой просьбы. Окончив переговоры, Иоганн позавтракал у Маргариты. Оба были в хорошем расположении духа.

— А вы нисколько не постарели, волчонок,— сказала Маргарита.

— А вы, герцогиня Маульташ, особа хоть куда,—

сказал Иоганн. Каждый смотрел свысока и на собеседника и на ситуацию; все отлично устроилось. На такой основе их взаимоотношения были даже приятны. Простились они дружелюбно, со свирепой фамильярностью заговорщиков.

После смерти обоих дочерей Маргариты вопрос о престолонаследии оказался примерно в том же положении, как некогда при добром короле Генрихе. Единственным наследником являлся мальчик Мейнгард; он был слаб здоровьем, а его сестры умерли в раннем детстве. Поэтому могущественные немецкие государи снова поглядывали на Тироль, тянулись к нему жадными руками. Люксембурги были заняты округлением своих земель на Рейне и на Молдаве, что мешало им принять участие в борьбе за страну в горах. Зато Виттельсбах и Габсбург, опиравшиеся на беспорность и законность своих прав, караулили, не спускали с нее глаз.

Габсбург, хромой Альбрехт, выращивал семена грандиозного плана. Сам он, правда, едва ли мог надеяться увидеть его плоды. Но озлобленный и умудренный болезнью хромец давно уже трудился не ради завтрашнего дня, а ради далекого будущего. Ему оставалось либо заполучить Тироль, этот путь на Запад, этот мост к швабским владениям, либо вовсе отказаться от мечты о великодержавии.

Прежде всего попытался он привлечь на свою сторону владетельных епископов. Триент и Хур имели зуб против Виттельсбахов; они были склонны предаться Габсбургу, который их ласкал. Так же щедр и приветлив был Альбрехт по отношению ко всем влиятельным тирольским дворянам. Он пожаловал господам фон Шенна, фогтам фон Мачу и Фрауенбергу титулы, чины и должности, не требовавшие особых трудов и приносившие большие доходы.

Всеми способами старался он завоевать дружбу и доверие самого маркграфа. При нападении на него Люксембурга он не ударил с фланга, он даже взялся быть между ними посредником. Вскоре дело дошло до того, что хромой Альбрехт выдал одну из своих дочерей за малолетнего безобидного толстяка Мейнгарда, наследника тирольского престола. Кроме того, Альбрехт, обычно столь расчетливый, без отказа кредитовал вечно стесненного маркграфа и ставил его тем самым в еще большую зависимость от себя.

Затем вдруг, когда Людвигу вновь понадобилась значительная сумма, финансовые советники австрийца заявили, что, к сожалению, на этот раз деньги дать невозможно.

Их кассы опустели; мало того, они, к своему прискорбию, вынуждены взыскать с него ранее одолженные суммы. Маркграф, пораженный, в гневном смущении, хотел сразить их взглядами, словами. Но сдержался, прикусил губу, молча ушел.

Собираясь лично обратиться к Альбрехту. Но не позволила гордость. При втором свидании габсбургские финансовые советники невинно заявили тирольским, что нашли превосходный и дешевый способ расплаты. Пусть маркграф, в виде залога под прежние и новые суммы, передаст Австрии на несколько лет управление Верхней Баварией. С помощью сбережений, полученных от объединенного и более дешевого управления, Альбрехту в короткий срок удастся выжать из Верхней Баварии долг маркграфа.

Когда советники передали маркграфу это предложение, он побледнел, окинул их жестким, колющим взглядом голубых глаз. Нет, они не улыбаются! У них трезвые, сосредоточенные чиновничьи лица. Он судорожно глотнул, сказал, что подумает. Кивнул, отпустил их.

Остался один, сидел тяжело поникнув, склонив массивную шею. Это требование — просто бесстыдство. Но ведь Альбрехт умен, дружески расположен к нему и, верно, не хотел его обидеть. Дело, видимо, все-таки в том, что иначе денег не раздобудешь. Уступить доходы; но доходы ведь не страна. Все же, если старший в роде Виттельсбахов вынужден передать управление своими наследственными землями Габсбургу, — это, несмотря на гарантии, суровое, очень суровое, почти невыносимое испытание.

Но когда он излагал подробности этого предложения в своем совете, то говорил спокойно, по существу, словно в нем ничего особенного нет. Зло следил за лицами, не осмелятся ли его советники выдать затаенную злорадную усмешку. Ах, будь жив его друг Конрад фон Тек! С ним такое недоверие было бы излишним. И легче было бы вынести все. Однако — без сентиментальностей! Он в двух словах изложил суть дела. Своего мнения не высказал. Попросил советников высказаться.

Первым заговорил Фрауенберг. Он понимал, конечно, как и остальные, что австрийское предложение — чистейшее вымогательство. Ему лично решительно никакого дела не было ни до Людвига, ни до Альбрехта, ни до Баварии, Тироля, Австрии. Габсбург богаче и умнее; вероятно, он поэтому возьмет верх. А так как он, кроме того, почетными должностями и громадными суммами купил Фрауенберга, то Фрауенбергу следовало бы склонить Людвига на это предложение. Но если он, Фрауенберг, начнет уговаривать его, то Людвиг, который и без того терпеть его не может, что-то заподозрит. По сути же

дела, хочет маркграф или не хочет, ему все равно ничего не остается, как подписать, скрежеща зубами, унижительное соглашение. Так что он, Конрад Фрауенберг, может спокойно позволить себе шутовской жест, без ущерба для Габсбурга разыграть баварца-патриота и усердно отговаривать своего государя от наглого, унижительного австрийского плана.

Маргарита встретила предложение Габсбурга восторженно. Денег будет вдоволь, и можно будет наконец, наконец-то разделаться с гнетущими обязательствами, оставшимися еще со времен доброго короля Генриха. Как расцветут, сбросив это бремя, ее возлюбленные города! Бавария всегда была для нее только придатком. Она охотно откажется от нее ради денег. Шенна и Мендель Гириш научили ее понимать силу денег. Что толку в большом теле, если в нем недостаточно крови? Теперь у страны появится кровь, теперь страна выздоровеет. Ее добрая страна! Ее цветущие, любезные сердцу города!

Мрачно слушал маркграф. Вот и видно, что она никогда его не понимала. Он — баварец, Виттельсбах, сын императора, привык властвовать над миром, привык мыслить не иначе, как целыми государствами; она же тиролька; у нее мысли кончаются там, где кончаются ее горы. Они дотягиваются только до равнины, не дальше. Она дочь графа Тирольского, мелкого князька, ограниченная, расчетливая, просто лавочница. Он же — первенец римского императора, властный, с мировым охватом, отвечающий только перед собой и богом. Нет, их разделяет нечто большее, чем ее безобразие.

Заговорил изысканный фон Шенна. В это мгновение Людвиг ненавидел его. Этот, конечно, одного мнения с Маргаритой, ведь он тоже тиролоец, не баварец. Наладить финансы обеих стран, говорил Шенна, из собственного кармана, к сожалению, невозможно. Поэтому очень хорошо отдать ненадолго благородного скакуна Баварию подкормиться на конюшню к дружески расположенному Габсбургу. Зато удастся получить овес, необходимый для доброго коня Тироля. И потом — разве есть еще выход?

Да, разве есть еще выход? Вот то-то и оно. Возражать совершенно бесполезно, как бы доводы ни были убедительны. Унижение приходилось проглотить. Маркграф опустил голову, толстая апоплексическая шея побагровела. Поблагодарил членов совета грубо, отрывисто. Сказал, что примет сказанное ими во внимание. Все знали заранее, как он решит.

Крепко рассерженный, выехал Людвиг из замка Тироль и верхом, с небольшой свитой, направился к северу, в Мюнхен, чтобы, перед тем как отдать Баварию Габсбур-

гам, обсудить там ряд последних, уже второстепенных вопросов.

Унылый октябрьский день. Моросит мелкий, тоскливый, нудный дождь. Что видишь от жизни? Ты правишь, ты могущественный государь. Но ведь большая часть того, что делаешь,—все эти торжественные церемонии, манифесты, выходы к народу тебе претят, они только угнетают душу. И вот теперь предстоит уступить управление своим родовым наследием Габсбургу, делать при этом любезное лицо, еще сказать, пожалуй: «Бог да воздаст тебе сторицей!» Он заскрипел зубами. Увидел устремленные на него огромные тускло-голубые глаза отца. Что сказал бы он теперь!

Там, дома, все радуются. Этот противный Шенна, семи пядей во лбу, всех высмеивающий, с его наглой, нудной улыбкой. Фрауенберг, бесстыдный баран; нагло BLEЮЩИЙ о достоинстве Виттельсбахов, об обязанностях Виттельсбахов в отношении Баварии, а в душе злорадствующий! Ведь он, поганый раб, отлично знает, что Виттельсбаху придется пойти на уступки. Для Губастой, не помышляющей ни о чем, кроме своего Тироля, Бавария только товар, которым можно торговать, и она охотно вышвырнет его, лишь бы ей получить побольше гульденов и веронских марок. Уродина, делающая его посмешищем всего христианского мира! До чего она ему омерзительна! Как она сидела и жадно прислушивалась к сиплому голосу этого Фрауенберга, этого альбиноса, ублюдка! Его жена! Его герцогиня! Фу, Губастая!

В самом деле, ну скажите во имя Христа, что хорошего видел он в жизни? Не следует ли ему, по дороге в Мюнхен, до того как он выпьет горькую чашу, сделать нечто гораздо менее горькое? Что, если он завернет в Тауферс, убедится собственными глазами, как там идут дела? Времени это возьмет немного, кроме того, чем дольше он отсрочит предстоящее ему, тем лучше.

В Тауферсе Агнесса была вовсе не столь удивлена, как он ожидал. Правда, когда привратник доложил ей, что едет маркграф со своей свитой, она глубоко вздохнула, потянулась, сыто улыбаясь очень красными губами. Но приняла своего государя с равнодушной учтивостью, казалась вовсе не такой уж польщенной. Да и обед, предложенный ему, и сервировка—все достаточно тонкое и изысканное,—были очень далеки от той хвастливой роскоши, за которую ее осуждали и с которой она принимала и менее знатных гостей, хотя бы мелких итальянских баронов.

Людвиг смотрел на нее. Горели свечи, в камине рдел небольшой огонь—благовонное дерево. Слуги разносили фрукты и конфеты. Пленительная особа, клянусь

смертью и страстями господними! Не удивительно, что на ее счет столько сплетничают. Но подступиться к ней нелегко. Тон, в котором она вела разговор с ним, был холодноват, чуть насмешлив: не очень-то она подпускает к себе. Маркграф, серьезный, неловкий, сделал несколько беспомощных попыток сказать ей комплимент. Она посмотрела на него спокойно, не понимая. Нет, просто недоτροга какая-то.

Тем неожиданнее было для него на другой день бесстрастно изложенная Агнессой просьба разрешить ей присоединиться к маркграфу для путешествия в Мюнхен. Она хотела бы проводить сестру, да и, кроме того, у нее есть дела в Баварии.

Маркграф нерешительно, растерянно молчал. Просьба показалась ему неуместной. Пойдут разговоры. А он серьезный, уравновешенный человек, да и не по возрасту ему такие авантюры; он отнюдь не желает, чтобы про него распускали сплетни. Но не мог же он отказать даме — как-никак она была ею, — к тому же гостеприимно встретившей его, в таком ничтожном одолжении. Ворчливо, неуклюже, грубовато он заявил, что очень рад.

Во время путешествия она вела себя благоправно, сдержанно, скромно, пребывала почти все время в своих носилках, не показывалась. Но в уединении, скрытая занавесками, она упивалась, насыщалась своим торжеством. А та, соперница, сидела в замке Тироль, именovala себя маркграфиней Бранденбургской, герцогиней Баварской, графиней Тирольской. У нее был почтенный, достойный супруг. Она нарожала ему детей. Внедрилась в него, внедрила его в себя. А вот сейчас она, Агнесса фон Флавон, разъезжает с маркграфом по наследственным владениям этой соперницы.

Высокомерно и словно принуждая себя, устраивал Людвиг в Мюнхене свои неприятные дела. Тотчас по прибытии Агнесса, вежливо, но сдержанно поблагодарив его, простилась. Теперь бы он охотно иной раз озарил свои унылые вечера блеском ее присутствия. В первый раз она отказалась, во второй прибыла. Он привык к ней. Она уехала за город, повидать сестру. Он медлил с отъездом, чтобы она могла к нему присоединиться.

Когда Агнесса следовала обратно среди лучезарных красок поздней осени, она больше не уединялась в своих носилках. Блистательная, ехала она на разубранном коне бок о бок с маркграфом, высокомерно закинув голову.

Деньги потекли в страну. Громадные ссуды, полученные за Баварию. Промышленность ожила. Рудники, соляные копи. Строились дороги; торговые сношения были

облегчены, упорядочены. Города росли, ширились, горожане расхаживали спесивые, чванные. Их дома становились выше, украшались изысканной мебелью, произведениями искусства, утварью. Стены, башни, ратуши, церкви росли. Птица, пряное вино стали ежедневным явлением на уставленном красивой посудой столе горожанина. И нарядней, чем жены мелких дворян, расхаживали теперь горожанки — шелка, пышные ленты, драгоценности, высоченный чепец, шлейф.

С каких же пор началась эта счастливая перемена? С тех пор как маркграф сошелся с красавицей Агнессой фон Флавон. Агнесса фон Флавон, красавица, благословенная! Наверно, это ей пришла в голову счастливая мысль избавиться от Баварии, направить все силы и деньги в Тироль. Пошли, господи, все свои милости нашей красавице Агнессе фон Флавон! Сразу видно, что она избранница. Сразу видно, что ее небесную красоту освещает благословение матери божьей. А уродина, та меченая. Гнев божий на ней. Прокляты все деяния ее. Дети ее перемерли. Чума, пожары, наводнения, саранча — всюду, где ни приложит она свою руку. Все советы и дела ее обречены проклятию. Разве не она виновница этой связи с Баварией, явившейся источником стольких бед! Разве не она призвала жестоких, жадных баварских баронов, высасывающих все из страны? Души не чает в этом Фрауенберге, мерзком ублюдке. Сделала его ландсгофмейстером. Счастье, что маркграф отвернулся от нее. Наконец увидел, где правда. Вот когда настали счастливые времена. Бог да благословит нашу дорогую прекрасную Агнессу фон Флавон!

На людей, ждавших ее вдоль дороги, Агнесса смотрела так же, как на дома и деревья, приветственные клики были ей необходимы, как необходимы украшения. Она улыбалась. Шествовала среди глазающего, восхищенного населения, не глядя ни вправо, ни влево, закинув голову с тонкими, смелыми, гордыми губами. А народ ликовал.

Маргарита, далекая супругу, далекая сыну, была подавлена, погружена в себя. Могла думать только об одном: об Агнессе и ее победах. Видела Шенна, видела Фрауенберга. Видела, как города вздохнули свободнее, стали шириться, расти. Ее посев, ее дело. Из нее же все вынули, она опустела и обнищала. В том, что дано каждой женщине, ей отказано. Но цель была достигнута. Хоть это единственное ее утешение пребудет.

Тем прозорливее был Шенна. Видел, как народ приписывает красавице все, что сделала Безобразная, и от этого прозрения, от этого мучительного пробуждения хотел ее уберечь. Видел и то, что Людвиг все больше запутывается

в сетях Тауферса. Еще боролся, задыхаясь, беспомощный, словно оглушенный, впервые познавший подобное безумие. Еще казалось все это приключением, имеющим конец, предел. Но скоро, через какие-нибудь две-три недели, пожалуй, уже будет поздно, он свяжет себя добровольно и неразрывно.

Шенна хотел вернуть его Маргарите. Хотел вернуть Маргарите расположение народа. Народ туп и нечуток. Но не все ли равно, что он думает? Любое животное мудрее его, более чутко. Нельзя, чтобы Маргарита утратила и это последнее.

Прежде всего надо добиться, чтобы с нее было снято дурацкое отлучение. Клеймо церковного отлучения отпускает от нее народ, отпускает от нее супруга. Ибо хотя ее брак с Иоганном и был теперь расторгнут по всей форме и она уже не являлась в глазах церкви нарушительницей супружеской верности, но вместе с тем ее брачная жизнь с Людвигом отнюдь не была папой санкционирована. Для церкви ее супружество продолжало оставаться преступным сожителем, а ее сын, кронпринц Мейнгард — бастардом. По-прежнему церковь считала ее и мужа отлученными, страну — находящейся под интердиктом. Правда, маркграф не раз посылал в Авиньон, предлагая любую компенсацию, какую бы папа ни потребовал; однако папа, подстрекаемый императором Карлом, оставался непреклонен.

Но Климент умер, его преемник, Иннокентий Шестой, находился под большим влиянием Габсбурга. В прямых интересах самого Альбрехта, чтобы его дочь была женой признанного церковью законного наследника Тироля, а не бастарда. Шенна принялся за дело с непривычной для него настойчивостью. Ездил от Людвига к Альбрехту, от Альбрехта к Маргарите. Из Мюнхена в Вену, из Вены в Тироль.

Альбрехт ставил условия. Он сеет для будущего. Его дочь через брак с Мейнгардом получит право на страну в горах. Но Мейнгард — Виттельсбах. Ведь и Виттельсбахи могут, при известных обстоятельствах, притязать на Тироль. Эта беспокойная страна, как показал опыт, в конце концов всегда оставалась за тем, в ком народ видел законного властителя. Хотя Маульташ и нелюбима, все же народ с какой-то религиозной непреложностью чтит в ней единственную законную наследницу старого графа Тирольского. Она одна имеет право располагать страной; кому передаст, на стороне того и будет народ. Альбрехт ничего не требовал от Людвига Виттельсбаха; но он требовал от Маргариты духовного завещания. В случае если она, ее супруг Людвиг, ее сын Мейнгард умрут без прямых наследников, Тироль должен перейти к герцогам

Австрийским. Это формальность, чистая формальность, заверял он фон Шенна. Да и то на самый невероятный, нежелательный случай. Но уж такой он, Альбрехт, педант. Он требует непременно Маргаритиной подписи. В обмен он обязуется добиться от папы снятия отлучения и интердикта с Людвига и Маргариты.

Шенна счел это предложение весьма выгодным. Он лично всегда предпочитал веселых, обходительных австрийцев грубым, свирепым баварцам.

Маргарита сидела над завещанием, одна; был поздний вечер. Итак, она должна завещать страну Габсбургам. Ну да, она принесла ее в приданое сначала Люксембургу, затем Виттельсбаху: почему же не Габсбургу? Хромой Альбрехт, бесспорно, самый разумный и дельный из германских государей. А его сын Рудольф энергичен, умен. Дельные люди эти Габсбурги. Вероятно, они и Тиродем будут править толково. В их руках уже Австрия, Каринтия, Крайна, часть Швабии, Герц, управление Верхней Баварией. И Тиродем они будут править не хуже.

Тироль! Ее Тироль! Только что ей удалось оторвать его от Баварии. А теперь он должен стать всего лишь седьмой страной при шести других. Страной, управляемой чужеземными государями. Ее Тироль.

Не горячиться. Все это гаданья о далеком будущем. Пока ведь ее сын еще жив. Правда, он не так умен и отважен, как Рудольф, как остальные сыновья Альбрехта. Допустим даже, что он несколько ограниченный юноша. Но он ее сын. Правнук графа Мейнгарда. Какое, собственно, дело тем, чужим, до Тироля? Будь ее сын хоть совершенным идиотом: он тиролец.

Тише, тише. Никто же не хочет ему зла. Ведь это на случай, если он не оставит наследников... Умный, злобный Альбрехт, хромец, заглядывает очень далеко вперед. В сущности, странно, почему требуют именно ее подписи? Ее муж — маркграф, сын императора, Виттельсбах; но умный Альбрехт требует именно ее подписи, не его.

Интересно, что думает на этот счет Людвиг. Ведь он тоже не промах. Он в хороших отношениях с Габсбургом. Как это его не спросили?

Разве умный Альбрехт уже знает точно, насколько тот от нее отдалился? Раньше Людвиг, наверно, обсудил бы это с нею. Теперь он уехал. В Баварию. С Агнессой. Она смотрит перед собой, ее широкий безобразный рот кривится печалью, не очень горькой. А почему бы Людвигу и не получить удовольствие с Агнессой фон Флаван? Она очень красива. Он уже не так молод. Нароботался. Теперь вот отделался от Баварии. Пусть немного передохнет. Она

очень красива. Почему бы ему и не получить удовольствие?

Она поднялась, тяжело, слегка охая. Еще раз перечла завешание. Оно было длинное и обстоятельное: «Божией милостью мы, Маргарита, маркграфиня Бранденбургская, герцогиня Баварская и графиня Тирольская, посылаем всем христианам, кои письмо сие узрят, прочтут или услышат, ныне и в будущем, наш привет и нижеследующее оповещение. Ежели случится—да не допустит сего господь по великой милости своей,—чтобы мы и высокородный государь, любезный нашему сердцу супруг наш маркграф Людвиг Бранденбургский, скончался, не оставив законных наследников, а также любезный сын наш, герцог Мейнгард, скончался—чего да не допустит бог—без прямых наследников, то все вышеупомянутые герцогства и графства, земли и владения, а также замок Тироль и все другие замки, монастыри, крепости, города, рынки, села и люди да отойдут как законное наследство и собственность любезным нашим дядям, герцогам австрийским».

Маргарита неловко выпустила из рук свиток, так что он, шурша, свернулся на столе. Она вышла из комнаты. Тяжело шаркая, пошла в обход, который привыкла совершать каждую ночь перед сном. В своих пышных одеждах, свисающих странно безжизненными складками, одиноко тащилаясь безобразная женщина по залам, жилым покоем и коридорам, и неуклюжая тень свечи опережала ее.

Она дошла до прядильни. Тяжеловесная дверь открылась почти бесшумно. Девушки уже кончили работу, в комнате было также несколько слуг. Все толпились возле молодой приземистой служанки, которая смущенно и весело посмеивалась. А вокруг нее—визг, возня, смех. Как? Она в самом деле не понимает? Тогда она единственная в Тироле без смекалки. Итак, еще раз. Мария-горе—мерзка и безобразна; куда она ни ступит, все гибнет, засыхает. А Мария-золото—сияет небесной красотой. Чего ни коснется, все расцветает, где ни ступит—звенит золото. Итак, кто же Мария-золото? А... Агн... Наконец лицо девушки расплылось, просияло. Агнесса фон Флавон? Конечно. А Мария-горе? Ах! Безмерное изумление. Теперь и девушка трясется от неудержимого смеха.

Среди визга и ржания никто не заметил герцогини. Безмолвно стояла она со свечой, скрытая тенью двери. Медленно притворила дверь. Потащилаясь по коридорам. Назад к документу. Развернулся свиток. «Божией милостью мы, Маргарита, маркграфиня...» Пергамент зашуршал. Она обмакнула перо, старательно, не спеша подписала.

Хромой Альбрехт сидел в своем венском замке, закутанный в халат и одеяла. Рядом, на столе, среди других бумаг, лежало и завещание Маргариты. При Альбрехте находился его сын Рудольф, епископ Гуркский и древний старик аббат Иоанн Виктрингский. Престарелого герцога уже отсоборовали; он знал, что через несколько часов жизнь его угаснет. Сидел в кресле, зяб, несмотря на одеяла и чрезмерно натопленную комнату, чувствовал с почти блаженной болью, что жизнь медленно уходит от него. Однако взгляд его был, как обычно, ясен, спокоен, даже как-то горестно весел.

Рудольф осведомился в третий раз, не вызвать ли остальных братьев. Белокурые волосы, энергичное загорелое лицо с невысоким угловатым лбом, орлиным носом и выдающейся нижней губой было серьезно, самоуверенно, без тени слащавости. Хромой в третий раз отклонил предложение. Мальчики заняты делом, его смерть не должна мешать им.

Он тихо дышал, здоровая рука разжималась, сжималась, разжималась. Он прожил хорошую жизнь, поскольку человеческая жизнь может быть хорошей; она была усердием и трудом. Она была успехом. Он работал на себя и работал для своих стран. Он был в мире с собой, он был в мире с людьми, он был в мире с богом.

Его сын Рудольф получит хорошее наследство. Какая удача и милость божия, что Альбрехту еще дано увидеть воочию документ, закрепляющий за ним Тироль. Теперь его владения сомкнулись, от Швабии до Венгрии едины габсбургские земли. Под скипетром добрых христианских государей, в порядке и благоденствии. Сыновья его — разумные твердые люди. И совершенно незачем затруднять их своей смертью.

Итак, он отбывает, последний из трех. Люксембург, Иоганн, умер нелепой смертью, дурацкой рыцарской смертью в бою, который не имел к нему никакого отношения. Баварец, Людвиг, умер нечаянной смертью, попусту, на охоте, среди шатких, неустроенных дел, смертью невыразительной, без лица, без твердой линии, смертью столь же бессмысленной и ничего не говорящей, как и вся его жизнь. Он, Альбрехт, никогда не именовался римским императором, никогда не стремился к римской короне, не владел ею и не желал ее. Но если хорошенько взвесить, — тут он улыбнулся кроткой, хитрой усмешкой, — то могущественнейшим из трех был всегда он, был на деле верховным судьей христианского мира, и всегда все делалось так, как он желал.

А сейчас он страшно устал. Хотел окликнуть Рудольфа, но раздалось только легкое хрипение. Тот быстро обернулся. Здоровой рукой умирающий поискал ощупью

руку сына. Не дотянулся, рука упала. И голова тяжело поникла на грудь.

Рудольф стоял рядом с ним, мужественный, твердый. Теперь он глава Габсбургов, могущественнейший из немецких государей. Епископ Гуркский молился. Древний старик аббат Викtringский водил высохшей коричневой рукой по Маргаритиному завещанию: «Памятник я воздвиг, меди нетленнее»,—пробормотал он цитату из древнего классика. Затем, шаркая, подошел к Альбрехту. Увидел, что тот мертв. Сделал над собой усилие, вытянулся, покачнулся, выпрямился. Придал своему голосу всю возможную твердость. Несколько раз его голос срывался, наконец он возвестил: «Defunctus est Albertus de Habsburg, imperator Romanus»¹.

Епископ и Рудольф переглянулись: никогда умерший не носил этого титула, никогда не домогался его. Старец повторил с усилием, покачиваясь, торжественно: «Скончался Альбрехт Габсбург, римский император». Затем сразу ушел в себя, прошаркал к столу, перекрестился, забормотал.

Маленькая часовня святой Маргариты при мюнхенском дворце набита до отказа высокими сановниками. Снаружи—ясная бледно-бронзовая осень. Внутри—латы светской знати, пышные мантии духовных лиц; они стоят, притиснутые друг к другу. Герцоги австрийские, Рудольф, Фридрих, их канцлеры и маршалы, Иоганн фон Плацгейм, Пильгрим, Штрейн, баварские и тирольские рыцари, маршалы, бургграфы, обер-егермейстеры, ландсгофмейстеры маркграфа, братья Шенна, Фрауенберг, Конрад Куммерсбрук, Дипольд Гэл. Фиолетовые и пурпурные одежды князей церкви. Епископы Зальцбургский, Регенсбургский, Вюрцбургский, Аугсбургский, деканы, пробсты, настоятели соборов. Тирольские священники Тейзендорф, Пибер. Знамена епископов, светских государей. Ладан. Снаружи—сдерживаемый войсками народ. Во всех окнах, на озаренных солнцем осенних деревьях, на всех стенах и выступах—народ.

В часовне Людвиг и Маргарита стоят на коленях перед папскими комиссарами, епископом Павлом Фрейзингским и аббатом Петром Санкт-Лампрехтским. Вчера их брак был официально расторгнут и им было предписано отныне жить врозь. Сегодня епископ торжественно зачитал папский эдикт об очищении: «Поелику Людвиг Баварский, первенец Людвига Баварского, именовавшего себя римским императором, выполнил все, что папа от него

¹ Скончался Альберт Габсбург, император Римский (лат.).

потребовал, и сам лично признал все свои прегрешения против церкви, он, епископ Павел, и аббат Петр, в качестве папских комиссаров, даруют означенному государю и государыне Маргарите, невзирая на их слишком близкое родство, разрешение снова вступить друг с другом в брак и признают законным уже рожденного ими раньше принца Мейнгарда. Снимают с Людвига и Маргариты всякое клеймо порока и позора, возвращают им право владеть привилегиями, ленами, поместьями. Снова принимают их в лоно церкви. Освобождают их земли от интердикта».

И вот в Баварии и Тироле, по всей стране открылись двери церквей, которые были заперты в течение многих десятилетий. Колокола, столь долго молчавшие, закачались, зазвучали. Народ, изголодавшийся по религиозным восторгам, потек в церковь. Мужчины и женщины, которые выросли, не зная, что такое церковная служба и колокольный звон, впервые слушали обедню, с восторженным изумлением уносились на волнах благочестивых и сладкозвучных, упоительных и пышных молений триединому богу.

— Больше я не желаю иметь никаких дел с Габсбургами! — раздраженно рявкнул грубым офицерским голосом Стефан, герцог Нижне-Баварский, и швырнул на стол звякнувшую железную перчатку. Он встал, забежал по комнате. Его холодные глаза смотрели из-под угловатого лба недоверчиво и злобно на брата, на маркграфа, который продолжал сидеть, устало склонив над столом голову, отчего напрягшаяся шея казалась еще массивнее. В большом зале мюнхенского дворца, несмотря на все усилия натопить его, было довольно холодно, за окнами падала хлопьями какая-то мерзкая смесь дождя и снега.

— Значит, нет, — сказал маркграф с усилием, подавленно. — Тогда я прикажу, господин брат, изготовить другой документ, как мы условились.

Герцог Стефан поджал губы под торчащими густыми коричневато-черными усами. Он подошел к брату, объяснил свою резкость:

— Сколько раз мы в этих неприятных вопросах о наследстве в конце концов сталкивались. Мы никогда не обманывали друг друга. Каждый из нас ясно и твердо отстаивал свои интересы, без лишних слов и недомолвок, и никогда один другого не уговаривал. Каждому из нас шестерых просто сердце жгло, оттого что вот приходится дробить и рвать на куски наши земли и умалять род Виттельсбахов. Но иного способа, иного выхода не было, и мы считали излишним без толку молотить на этот счет языком. Но, господин брат, — и он угрожающе повысил голос, который стал скрипучим, — но то, что вы, старший

в роде, допустили, чтобы тирольское завещание было составлено в пользу Габсбургов, понуждает меня говорить. Это дело самих тирольцев, знаю, и меня не касается. Я никогда и не вмешивался в ваши дела. Все же это завещание слишком уязвляет меня, отравляет кровь, я не могу молчать.

Маркграф не ответил. Взгляд его жестких колючих глаз был тупо устремлен куда-то. Он казался гораздо старше брата, хотя разница лет была между ними невелика. И так как Людвиг, обычно столь вспыльчивый и не остававшийся в долгу у собеседника, продолжал сидеть согнувшись и тупо молчать, герцог Стефан сказал немного мягче:

— Вы, может быть, скажете, что это дело вашей жены, не ваше; или что снятие отлучения и интердикта — хорошая плата за сомнительный кусок бумаги, и вы будете правы; но я бы все-таки не допустил этого на вашем месте, и никто из братьев тоже, и отец тоже, будь он жив.

Маркграф продолжал молчать, все так же странно угасший. Растерянность этого обычно сурового и вспыльчивого человека смутила Стефана. Он сказал, почти извиняясь:

— Я понимаю, нелегко иметь женой Губастую, а ландсгофмейстером — Фрауенберга.

Когда маркграф остался один, им овладел приступ такого глухого, бессильного, беспомощного гнева, какого он еще никогда не испытывал. Что это?

Он у себя в своем замке, а его младший брат Стефан, это ничтожество, эта посредственность, этот мерзавец, со своей паршивой Нижней Баварией, разносит его словно мальчишку? И он — но как это могло случиться, — он спокойно все это выслушивает? Так, значит, вот уже до чего дошло? Значит, он настолько обессилел?

Стефан был прав, в этом все дело. Габсбурги правили все вместе, предоставив руководство умному Рудольфу. Он был их главой, они представляли собой одно целое, управляли всей массой своих земель единообразно. А род Виттельсбахов расщеплен и разорван, растерзан на шесть кусков. И он допустил до этого, он, старший. И не только это. Он допустил, чтобы Габсбурги взяли перевес. Началось с еврейского погрома. Это была первая ошибка. Защити он своих евреев, как сделал хромой Альбрехт, никогда его кошелек не был бы так пуст и дыряв. Никогда не пришлось бы ему отдать свою Баварию австрийским финансистам. А теперь их много в стране, и они засели крепко, контролируют, хозяйничают как за-благорассудится и везде — под, рядом, над голубым виттельсбахским львом — красный лев, габсбургский. Он чув-

ствовал, что на него устремлены огромные, неподвижные глаза отца. Он задыхался. Брат прав.

Не думать об этом. Ошибка совершена. Евреи мертвы, оставшихся в живых никакими обещаниями не заманишь обратно. Денег нет. В стране разорение, там правит Габсбург.

Вздор! Дело вовсе не в этом. И никто его за это не упрекал. Дело в завещании. В завещании, которое составила его жена, уродина, Маульташ. Вот за что надо было держаться, вот чего не отдавать. Он рад был даже перед самим собой свалить всю вину на нее. Как это брат сказал? Нелегко иметь женой Губастую. Нет, видит бог, нелегко. Он стал разжигать в себе глухую ярость против этой женщины. Она во всем виновата, и в этом договоре с Габсбургами. Она, уродина, Губастая, с ее дурацким любовником, с Фрауенбергом, ублюдком, жабой. Они погубили его Баварию. Сделали его посмешищем всей Европы. О, у него уже тогда было верное предчувствие, когда отец бегал вместе с ним по комнате, а он упирался и не хотел жениться на этой особе. Людвиг уставился перед собой. Сопел, рычал, стонал.

Пошел к Агнессе. Она лежала на кушетке, перед нею стоял сокольник. На ее руке была перчатка, она играла с только что приобретенным соколом. Она сразу заметила, что маркграф жаждет поговорить. Но она заставила его ждать. Возилась с птицей, учила ее и не думала отсылать сокольника.

Наконец Людвиг проговорил сквозь зубы, что сегодня у него нет времени для соколиной охоты и спорта. О, господин маркграф в дурном расположении? Его рассердили? Ей весьма жаль... Герцог Стефан? Вот не ожидала! Ведь герцог очень обходительный господин. Он говорил о завещании маркграфини? И о баварско-габсбургском соглашении? Об этом нет? И об этом тоже, правда, вскользь?

Если бы она догадалась наконец отослать этого малого с его соколом! Но она и не думает. Неужели ей все равно, что Стефан позволил себе подобную вещь? И неужели ей все равно, что он от брата пришел прямо к ней? Птица расправила крылья, сложила их. Агнесса гладила сокола, называла ласкательными именами. Все ее существо было полно огромного тайного торжества. Наконец! Неужели? Неужели минута настала? И дом ее соперницы, возведенный с такими трудами, наконец рухнет?

Значит, о баварско-габсбургском договоре говорил герцог Стефан? Ну, она в политике ведь ничего не смыслит. Но, говоря по чести, она всегда дивилась. Как такой могущественный, мудрый государь отдает управление страной другому! Она сказала это будто мимоходом, снимая и надевая на птицу колпачок. Сейчас же снова

заспорила с сокольничим о том, сколько времени придется морить сокола голодом. А в душе безмолвно ликовала: выжать из Тироля все до капли и отвести эти соки в Баварию, куда-нибудь. Сделать так, чтобы все созданное ее соперницей погибло.

Людвиг сидел подавленный, злой. Дурак он. Даже дети и те понимали, в чем дело. Ни в коем случае не должен был он уступать управление Баварией. Если бы даже пришлось отдать в залог мессере Артезе все свои города и доходы. Завещание Маргариты—ну, тут уж ничего не поделаешь. Но срок договора об управлении истекает через несколько месяцев; он откажется возобновить его. Будь что будет.

Агнесса лежала на кушетке, не обращая на него внимания. Сокольничий все еще не уходил. Если б она была одна, он ринулся бы на нее, стал трясти: «Слушай, не смей издеваться надо мной! Я откажусь от договора! Я вышвырну габсбургских чиновников! Не издевайся надо мной, шлюха!» И он схватил бы ее так, что она забыла бы и об издевках и о соколе. Но сокольничий с глупым почтительным лицом был тут, а Агнесса даже не смотрела на герцога.

Конрад фон Фрауенберг вел переговоры с советниками епископа Бриксенского. За последнее время епископство попало в полную зависимость от маркграфа. Конрад всячески давал это почувствовать. Сидел довольный перед потеющими посланцами, рассматривал их маленькими красноватыми глазками, визгливо дразнил, со вкусом, не спеша. В конце концов с презрительной, жестокой ненавистью бросил этим нищим блюдолизам какие-то крохи. Его секретарь, невзрачный клирик, молча, с робкой добросовестностью вел протокол.

Когда советники отбыли, Фрауенберг поручил секретарю написать ряд писем служащим его собственных поместий. Без конца приходится внушать этим господам и пережевывать одно и то же. Нельзя же—чтоб их побрал сатана треххвостый—быть такими слюнтяями. Только и знают, что скашивают подати, только и делают, что отсрочивают барщину да повинности. И потом эта дурацкая чувствительность, как только дойдет до наказаний. Приговаривают вора всего-навсего к позорному столбу и тюрьме—оттого что его-де нужда заставила! Вздор! Всех нужда заставляет! Руку отрубить подлецу, как делалось всегда. Щадить браконьера оттого, что у него семья? И у его дичи тоже семья; разве вор пощадил ее? Пусть об этой новомодной гуманности в его поместьях и думать забудут. Фрауенберг диктовал, сипел, тихий секретарь записывал.

Оставшись один, безобразный человек откинул белые волосы, потянулся, лег на диван, похрустел суставами, зевнул, лениво, смачно. Мир отлично устроен, уж он-то понимает в этом толк. И сам он, черт побери, немалого добился. Маркграф все время в отъезде, у своей Агнессы или еще где-нибудь. Почему бы и нет? Почему бы ему не предпочесть Губастой красавицу Агнессу? Правда, на него, Фрауенберга, ложится немалая работа, когда маркграфа нет: Губастая и Тироль. Много работы, адова работа. Но доходная, ничего не скажешь. Да и Людвиг как нельзя больше идет ему навстречу. Избавляет от всяких объяснений.

Он внимательно посмотрел на свои толстые красные мясистые руки. Очевидно, он раньше недооценивал собственные мужские достоинства. Нужно только самому в них уверовать, тогда поверят и бабы. Теперь любая прибежит, стоит ему поманить. Ухмыляясь, он потягивается, свистит. Лениво поднимается, достает тушь, чернила, пергамент: средство скоротать досуг, когда не спишь. Сегодня его особенно тянет к этому. Шенна считает его тупицей. Полагает, что Фрауенберг не способен ценить красоту. Шенна не дурак, но если он думает, будто он один смыслит в том, что вкусно и округло, приятно и гладко на ощупь, то он ошибается, хлыщ эдакий, кривляка! Фрауенберг разворачивает пергамент. О, он знает толк в красоте. Он насвистывает любимую песенку — о семи радостях жизни. И приступает к работе. Его широкая пасть блаженно растягивается, он прищелкивает, причмокивает, урчит, взвизгивает, рыгает. Набрасывает контур, водит кистью, аккуратно размалевывает. Женская одежда, груди, лицо. Углублен в работу.

Поднимает голову. За его спиной стоит Маргарита. Ее безобразное лицо искажено особенно по-дурацки. Ясно, что она узнала: никакого смысла скрывать, отказываться. Он нагло смотрит на нее, кривит широкий рот, небрежно сипит:

— Амулет.

— Амулет? Вот это? Этот вылизанный портрет некой особы?

А он, наизво, дерзко: да, конечно. У него с ней споры о границах, Маргарита знает. Кроме того — надо иметь в виду ее явно злобное политическое влияние на маркграфа.

Она не сводит с него мрачных, смелых, выразительных глаз. Он выдерживает холодно, равнодушно. Пусть отдаст ей рисунок, говорит она наконец.

— Почему бы и нет? — пискливо спрашивает он. Амулет не из благочестивых. Над ним можно поворожить, подчинить своей воле, своим желаниям. Вероятно, поже-

лания герцогини по адресу этой особы столь же мало приятны, как и его собственные. Он осклабился, подал ей портрет с глубоким, преувеличенно низким поклоном.

Оставшись одна, Маргарита долго рассматривает набросок, изучает. Волосы сделаны золотом, глаза таращатся—два глупых голубых пятна на беспомощной магне лица. Набеленными пальцами вытаскивает Маргарита из волос шпильку. Медленно, тщательно нацелившись, тычет в голубые пятна. Но пергамент крепок, она буравит сильнее, медленно пробуравливает их насквозь. Пергамент хрустит. И вот вместо глаз на нем два маленьких отверстия с надорванными краями.

Маркграф встал, разговор не продолжался и десяти минут. Обсуждались только дела, вопросы и ответы были исполнены ледяной деловитости.

— Остается еще Тауферс,—сказала Маргарита.

— Отложим,—уклонился маркграф.

— Вот уже почти год, как вопрос все откладывается,—сказала Маргарита.—Надо его наконец разрешить.

— Итак, чего же вы желаете?—враждебно спросил маркграф.

Вопрос о Тауферсе состоял в том, что между Агнессой фон Тауферс и Фрауенбергом возник спор о границах. Агнесса пряталась за Бриксенское аббатство, давшее лен ей, а не Фрауенбергу. По сути дела прав был Фрауенберг, формально—она. Одно слово маркграфа—и Бриксен откажется от своих возражений, а Агнесса потеряет поместья. Советники епископа полагали, что это не входит в планы Людвига, а потому осмеливались упорно возражать против доводов Фрауенберга.

Маргарита, крайне раздраженная, принялась опровергать доводы епископства. Маркграф не менее угрюмо и упрямо перечислял политические мотивы, по которым он в данный момент не считал возможным раздражать епископа. Они мерились силами, угрюмые, непреклонные.

Несмотря на возрастающую отчужденность, они до сих пор еще никогда по-настоящему не ссорились. Ни единым словом еще не затронул маркграф вопроса о завещании, ни единым словом—ее отношений с Фрауенбергом. Она тоже ни разу не произнесла в его присутствии имени Агнессы. Теперь они горячились, препирались, угрожающе, настойчиво, раздраженнее, чем это маловажное дело заслуживало. В ярости стояли друг против друга. Спокойное мужественное лицо маркграфа озверело, исказилось. Она отвечала с напускным спокойствием, колко, насмешливо.

В конце концов, уже не владея собой, он бросил ей с едкой, насмешливой злобой:

— Да ведь все это только ради твоей обезьяны, ради Фрауенберга.

Она посерела, чуть не задохнулась, с ненавистью посмотрела на него. Затем выговорила хрипло:

— Да, да, да! Я не допущу, чтобы закон попирался из-за твоей шлюхи.

Он судорожно сжимает руку, иначе он ударит ее. Браниться не в его характере. Но теперь он обрушивается на нее:

— Ведьма! Уродина! Вонючая! Сидишь со своей обезьяной и выдумываешь гадости! Разве мало мне стыда иметь такую жену, богом меченную! Так ты еще имя мое хочешь опозорить? За мужчинами гоняешься, эдакая-то? Что ж, парочка недурна, Губастая да обезьяна.— Он вдруг смолк и двинулся к ней с таким диким лицом и вздущившимися жилами на лбу, что она метнулась за стол.— Не позволю!— кричал он.— Я убью его! Не желаю быть посмешищем!

Тем временем Фрауенберг сидел в замке Тауферс. Шурился, поглядывая красноватыми глазами на Агнессу.

— Уж мы столкнемся,— визгливо заявил он.— Вы богаты, и я не беден. Неужели вы не можете обойтись без придворной жизни? Я могу. Для меня это только предлог, чтобы видеть вас.— Красной толстой рукой он ласкал ее белую тонкую руку. Агнесса улыбалась. Вот это мужчина, в нем сила, воля, голая прямолинейность.— Мир глуп,— просипел он.— Еще глупее, чем думаешь.— Он сидел перед ней, разевая широкую пасть на голом красном лице, кряжистый, крепкий, наглый, безобразный.— Мне думается, среди всех только мы с вами тут разумные люди.— И его жесткие куцые жадные пальцы скользнули вверх по ее руке.

Впрочем, он не помышлял ни о малейших уступках в их тяжбе.

Теперь Агнесса расхаживала с легкой, порхающей в уголках губ улыбкой. Упивалась своей победой над Маргаритой, захлебывалась, всячески смаковала ее. Все крепче привязывала к себе маркграфа, спокойно, не приметно. Высасывала его, вползала в него, завладевала им.

Он был бережлив и трезв, отнюдь не склонен к мотовству. Она требовала от него небрежным тоном таких трат, которые раньше он обдумывал бы целые годы. При

малейшем его возражении она сейчас же умолкала, не настаивала. Но у нее была манера отворачиваться с ироническим, едва уловимым, презрительным изумлением, которое действовало на него сильнее, чем могли подействовать слезы, просьбы, брань. Так она постепенно скрутила этого решительного, осторожного человека, втянула его в мотовство, роскошь, подточила, разрушила то, что Маргарита создавала десятилетиями.

Вдруг появился снова и мессере Артезе. Повсюду оказывался он одновременно, в десяти местах, с братьями, очень похожими на него, невзрачный, утонченно вежливый. Не успели оглянуться, как в его руках снова очутились пошрины, соляные копи, рудники. На ледяное презрение Маргариты он отвечал усердными поклонами. С величайшей готовностью освободил графа от задолженности Габсбургам.

Теперь Людвиг при желании мог отказаться от баварского соглашения. Правда, сумма, заплаченная им флорентинцу, была втрое больше требуемой австрийцами. Подобный тени, так же как он появлялся, мессере Артезе исчез.

Посетил замок Тауферс. Кто, видя этого маленького вежливого человечка, поверил бы, чтобы он мог некогда так неистовствовать перед Агнессой? Друг против друга сидели они, Агнесса и он. Обменивались легкой улыбкой понимания. О да, прекрасная страна, обильная, благословенная страна. Вино, плоды, хлеб. Цветущие, благоустроенные, работающие города. Он рвал к себе добычу, она толкала. Толкая, она метила в герцогиню, в уродину. Им же руководила даже не столько жажда наживы, сколько желание подорвать, разворотить здание, построенное врагом, погубить дело поверженного, убитого еврея. Она била по герцогине, он терзал мертвого врага.

Как сыр в масле катался Конрад фон Фрауенберг, его голое широкоротое лицо отливало розовым блеском. Он лежал, развалился на диване, в маленьком элегантном зале замка Тауферс, Агнесса сидела напротив. В комнату упали лучи солнца, он прищурился, лениво потянулся, зевнул, похрустел суставами. Агнесса требовала, лестила, угрожала, молила; пусть провожает ее в Триент. Он ответил, что и не подумает. Пусть маркграф валяет дурака. Она отвернулась с тем легким, едва уловимым, презрительным удивлением, которым могла всего добиться от маркграфа. Фрауенберг расхохотался звонко, грубо, очень довольный. Перевернулся на другой бок. Так как она упорно дулась, он начал зевать. Потянулся, мирно, вкусно заснул, громко всхрапывая. Через час проснулся: вечерело, она все еще продолжала сидеть в противоположном углу, обиженная. Он лениво поднялся, подошел к

ней, сгреб ее, грубо, игриво, притянул рядом с собой на диван. Она не сопротивлялась.

Он обращался с ней как вздумается. Заставлял, точно собаку, выпрашивать ласку. Морочил ей голову обещаниями, которые, конечно, не выполнял. Прогнать его? Невозможно. Он рассмеется. Да и смешно было бы. Разве найдешь еще такого урода? Такого наглеца? С такой хваткой? Нет такого.

Она потянулась под его грубыми ласками, искоса поглядела на него. Увидела сытое, хитрое, мясистое, ослабленное лицо. Как он безобразен! Как он силен и вульгарен! Ее охватило любопытство. Неужели нет ничего, что могло бы вызвать на этой наглой, самоуверенной роже робость и страх?

Она принялась натравливать на него маркграфа. Незаметно, шутками. Семя упало на хорошую, давно подготовленную почву. Оно пустило побеги, стало расти. Как это выразился герцог Стефан? Нелегко при такой жене да иметь еще такого ландсгофмейстера, как Фрауенберг! Пора с этим кончать. Людвиг сыт по горло. Посмешище всей Европы. И он покончит с этим. В Мюнхене. Одним махом. Сначала покончит с габсбургским свинством. А потом и с Фрауенбергом, с этим негодяем, ублюдком!

— Посмотри-ка на меня хорошенько,— сказал Фрауенберг Маргарите, хорохорясь, с шутовски подчеркнутой важностью.—Посмотри на меня хорошенько. Может быть, уже недолго придется тебе любоваться мной.—Так как Маргарита удивленно подняла глаза, он продолжал пищать:—Я, конечно, не красавец мужчина, но другого такого не сыскать. Кто интересуется мной, хорошо сделает, если повнимательнее рассмотрит меня, чтобы запомнить. Скоро не на что будет смотреть. Против меня что-то затевают. Маркграф смотрит на меня, точно копиями прокалывает. К сожалению, в копиях недостатка не будет. Он назначил меня сопровождать его в Мюнхен. Там легче будет это сделать. Гуфидаун, этот добрый честный юноша, который меня терпеть не может, и Куммерсбрук проболтались. Смотри на меня хорошенько, Маргарита, а когда меня не будет, напивайся и будешь видеть меня во сне. Можешь зауспокойных служб не заказывать! Ты славная баба, герцогиня Маульташ,—засмеялся он и хлопнул ее по плечу. Он стал насвистывать любимую песенку о семи радостях, подмигнул ей, заковылял прочь, широко расставляя ноги.

Маргарита не отозвалась ни словом. Она продолжала сидеть перед массивным столом, в светло-зеленом камчатном платье, под жестким слоем румян и белил. Перед ней

лежали грудой акты и документы. Комната давила своей мрачностью, в ушах еще звенела песенка, которую насвистывал Фрауенберг.

Да, он, должно быть, прав. В мире только и есть что те семь радостей, о которых поется в песне.

Она никогда не отступала. Когда она в первый раз была разбита, повержена в прах, она не отступила. Из грязи и праха воздвигала новое — страну, города, пестрые, шумные, многолюдные города, ее творение. А теперь эту кровь, которой она с такими трудами питала их, хотят отвести прочь: в Баварию, еще куда-нибудь; бессмысленно растратить ради шлюхи. Маркграф ей ничего не сказал, но слухи просачивались к ней отовсюду. Договор с Габсбургами он расторгнет. Ее города, ее Тироль будет опустошен, ободран, высосан, загажен.

Мало того. Еще и другое. Фрауенберг. Урод, одинокий. Ее Фрауенберг. Которого она приблизила к себе. Быть может, он дурной, низкий негодяй. Но он ее. Из всех людей только он. И его хотят у нее отнять. О, она ведь не забыла, как муж кричал во время их последнего разговора: «Я убью его! Я не дам делать из себя посмешище!» Она до сих пор слышит его голос, хриплый от ненависти, видит его обезумевший взгляд. Да, Конрада чутье не обмануло, запахло убийством. Если он уедет в Мюнхен, он не вернется.

Ее иссохшая дряхлая фрейлина Ротенбург вошла в зал, кашлянула; здесь итальянский торговец из Палермо, которого Маргарита вызвала. Герцогиня рада была отвлечься, приказала позвать его. Он появился перед ней, толстяк, оливковое лицо, живые карие глаза. Товару у него было немало. Пестрые птицы, тонкие шелковистые шали и ткани, драгоценные камни, редкостные благовония, иноземные сласти. Он и его приказчик ловкими вкрадчивыми движениями разложили перед нею товары. Она заглядывалась то на одно, то на другое. Спрашивала, рассеянно слушала объяснения, говорила сама оживленнее обычного. А это что? Флакончик, маленькая амфора из матового полудрагоценного камня, прекрасной формы, закупоренная, запечатанная. Это? О, госпожа герцогиня — знаток, у госпожи герцогини безошибочный вкус. Это действительно большая редкость. Из цельного камня, а какое благородство формы, округлых линий! Большой мастер делал, о да! И пусть соблаговолит обратить внимание на высеченные здесь изображения. Вот император Гогенштауфен, Фридрих Второй, а здесь еврейский царь Соломон, а тут царица Савская, а на четвертой стороне султан Баобдил, великий и жестокий владыка берберов. И содержимое флакончика тоже большая редкость: особая жидкость, безуханная, бесцветная, безвкус-

ная; если кто проглотит хоть одну каплю, не проживет и часу, погаснет, как фитиль без масла. Драгоценный, благородный флакончик.

Герцогиня накупила много и без разбору, против обыкновения не торгуясь. Шали, пряности, особенно украшения, две пестрых птицы, приобрела также и флакончик.

Затем села за стол. Стала есть. Ела совсем одна, в роскошной одежде. Роскошна была и сервировка, пышные яства, золотые миски, тарелки. В соседней комнате играла музыка. Слуги, пажи, повара бегали и суетились. Она ела богатырски. Фрауенберг прав. Это одна из семи радостей жизни. Кругом лежали грудой купленные ею вещи, украшения, шали, среди них и флакончик. Набеленными руками подносила она ко рту пищу: горячее, рыбу, жареное, восхитительные иноземные сласти, приобретенные ею сегодня. Она глотала куски, вливала в себя вино. Наступили сумерки, зажглись огромные тяжелые свечи. Она ела, одна, грузная, грандиозная, окаменевшая. Ела.

Вот оно, черным по белому. Маркграф не осмелился явиться лично. Послал нарочного с коротким вежливым письмом, в котором просил ее подписи.

Она сейчас же вызвала к себе фон Шенна. Перед ним она дала себе волю, излила свой гнев. Договор с Габсбургами действительно подлежит расторжению. Разрушен и уничтожен искусный чудесный канал, который нес ее городам жизненные соки и процветание. И от нее еще требуют подписи! Почва под ее ногами оседает, как песок. Дело ее жизни погибло, ускользает, как струящаяся вода, которую не удержать. Всею конец, все уничтожено, так глупо, бессмысленно.

Молча слушал Шенна, его увядшее лицо странно сморщилось. Ее горе, ее отчаяние затрагивали его глубже, чем он готов был сознаться. Бедная женщина! Бедная герцогиня Маульташ! Будь твой рот на палец уже и мышцы твоих щек более упруги, жила бы ты мирно, счастливо, а Тироль и Римская империя имели бы совсем другой вид, чем теперь. Он боролся с собой. Нелспая сентиментальность!

Когда он наконец заговорил, то был снова совершенно спокоен. Высоким, усталым, надтреснутым голосом заявил он, что, отказываясь от подписи, она ничего не выиграет; формально ее подписи и не требуется, маркграфу она нужна только для престижа. Если же она подпишет, то ее хоть не смогут устранить при ликвидации соглашения.

Маргарита молчала, и, когда он увидел, как она сидит пригорюнившись, кряжистая, широкая, потерянная, потухшая, его сердце снова сжалось. Он сказал, что готов помочь чем только может. Он — тиролец; его тоже задевает за живое мысль о том, что просвещенный, деятельный, возделанный Тироль должен быть отдан в жертву сонным, тупым, грубым баварцам. Он подстегнул себя, решиться было трудно; но не следует, право же, иметь столь чувствительное сердце. Затем он встал, заявил — и в самой торжественности его тона звучала легкая ирония: если она почтет это желательным, он готов, чтобы кое-что спасти, взять на себя управление страной в горах и обязанности бургграфа. Она пожала его длинную, высохшую, вялую руку толстой набеленной рукой.

Затем явился Фрауенберг. Он пришел проститься. Звения доспехами, стоял он перед ней, из-под блестящего шлема ухмылялось его розовое, голое, наглое жабье лицо. Ему остается одно — исчезнуть во мраке, в неизвестности, где бы маркграф не смог найти его, ибо умирать у него нет ни малейшей охоты. И вот он по пути выберет минуту и исчезнет. Он мужчина, и эти толчки — вверх-вниз — не слишком его огорчают. Баба она хорошая и доставила ему больше приятности, чем иная с кукольным ротиком. А уж интереснее с ней было во всяком случае. Итак, с богом.

Она сказала, что он дал ей когда-то амулет против известной особы. Она хочет его отблагодарить. И протянула ему матовый флакончик. Жидкость в нем безуханна и безвкусна; кто ее попробует, окажется тотчас в аду или в раю. Прежде чем исчезнуть во мраке, в безызвестности, пусть поразмыслит об этом.

Он схватил флакончик, осклабился, она-де чертова баба. Так безуханна, безвкусна? Гм, есть о чем поразмыслить.

Маргарита же поспешно: она ничего не сказала. Так ее клятвенно заверил сицилианец. И раз ее друг полагает, что они больше не увидятся, она ему дарит флакончик. Пусть делает как знает, она же ничего не сказала.

Он, чудовищно громоздкий в своих доспехах, сипло пропищал из груди железа, что премного ей благодарен. Действительно, чертова баба. Он с трудом поднял железную руку, похлопал Маргариту: «Наша Губастая». Шагая с трудом, удалился, железный, гремящий, осклабясь жабым ртом. Засвистал свою песенку.

Снизу донеслись звуки рогов и труб, возвещаая отъезд. Маркграф не простился с ней. Подойти и взглянуть в окно. Однако тело не повиновалось ей. Она привалилась к столу, мертвенно-бледная, серая, покрашенный труп.

Среди золотисто-коричневых сентябрьских просторов ехали на конях маркграф и его свита. Некоторое время дорога вела вдоль белесого широкого озера Химзее. Дул свежий ветер, горы, одетые густой серо-голубой дымкой, постепенно отступали.

Людвиг был в превосходном расположении духа. На нем был легкий темный панцирь, шлем он отдал пажу, ветер приятно овеивал остриженную голову. Он чувствовал себя очень молодым, его жесткие серо-голубые глаза блестели ярче обычного на смугловатом мужественном лице. Он отлично сделал, что решился вышвырнуть этих австрийцев. Теперь он подлинный властитель своей страны. Прочь красного габсбургского льва с голубого вительсбахского знамени! Он радовался, что посадит теперь всюду своих чиновников, начисто со всем этим покончит.

Да, покончит. Обдумал он и вопрос о Фрауенберге. Сегодня же ночью он за него возьмется, рассчитается с ним по-рыцарски, с оружием в руках. В исходе он не сомневался. Тогда воздух очистится, можно будет дышать. С Маргаритой он едва ли увидится; пусть сидит в своем замке Тироль, он будет жить в Мюнхене, Инсбруке, Боцене и оттуда править страной по своему усмотрению. Согласится она—хорошо, не согласится—тоже хорошо. Агнесса больше не найдет причин отворачиваться от него, молчливо дерзко пожимая плечами,—а это его очень задевает. Сознание, что он покончил теперь с этой тупой скованностью и знает совершенно точно, чего хочет, подхлестывало его, такой веселости и легкости он не знал уже многие годы. Он шутил с Берхтольдом фон Гуфидуном, со своим верным Куммерсбруком. Даже на Фрауенберга Людвиг смотрит с мрачным благодушием. Вот он едет, развалиясь в седле, дородный, розовый, в блестящих доспехах, гнусит что-то, хитро и благодушно шуруется красноватыми глазками на залитый солнцем радостный мир, а ведь он все равно что мертв. Маркграф подозревал его, поехал рядом. Фрауенберг принялся рассказывать непристойные анекдоты, делал дерзкие намеки. Людвиг звучно хохотал, отвечая ему в тон, они беседовали цинично и грубо, по-солдатски, и превосходно развлекались.

Очень рано стали полдничать. Ели под открытым небом, обильно пили, прилегли ненадолго отдохнуть. Затем снова выпили, сели на лошадей. Людвиг надел теперь шлем, он хотел так ехать до Мюнхена. Фрауенберг держался поблизости от маркграфа, который прямо-таки искал его общества. Тронулись в путь. Всадники ехали по равнине, горы позади уходили в туман, равнина была широкая, скучная, разве что где-нибудь мелькнет на солнце кровля затерявшегося невзрачного рыцарского

жилья, хутор, убогая деревушка. Пришпорили коней, к вечеру они будут в Мюнхене.

Разговор между маркграфом и Фрауенбергом стал прерываться, умолк. Людвиг испытывал странную усталость, дышал с трудом, легкий панцирь давил. Или он неумеренно выпил? Справа от дороги показалась деревня, дома были какие-то округлые, грязновато-белесые, несмотря на яркое солнце, они смешно громоздились друг на друга.

Кто-то сказал: «Эта деревня называется Царнединг», — чей же это голос? Гуфидауна или Куммерсбрука?

Вдруг маркграф стал хвататься рукой за шлем, за панцирь, пополз боком с лошади, полуотстегнутый шлем свалился с головы. Быстро подъехавший Куммерсбрук и паж подхватили маркграфа. Шлем окончательно скатился в пыль, лицо помертвело, нижняя челюсть отвалилась. Массивная шея умершего уже не казалась страшной, а только тупой и толстой. Они стали оттирать его, шепча молитвы. Среди подавленности и смятения приближенных раздался звонкий, благодушный, наглый голос Фрауенберга:

— Станный случай. В открытом поле, поблизости от Мюнхена. Совсем как отец.

Берхтольд фон Гуфидаун смерил его мрачным, угрожающим взглядом. Фрауенберг, дерзко прищурившись, выдержал этот взгляд, просипел:

— Вам что-нибудь угодно? — Гуфидаун медленно отвернулся, не ответил.

Тело положили в часовне святой Маргариты при мюнхенском дворце. Горело множество свечей. Ульрих фон Абенсберг, Гиппольт фон Штейн и пятеро других баронов держали почетный караул. Среди них и Фрауенберг. Но он скоро стал зевать, удалился. Вытянулся на кровати, засвистал песенку, похрустел суставами, рыгнул, причмокнул, мирно захрапел.

Книга третья

Герцог Стефан, находившийся в Ландсгуте, своей резиденции, только что распорядился, кому из приближенных сопровождать его в Мюнхен. Он собирался приветствовать своего старшего брата, маркграфа, который принял благостное решение наконец выгнать Габсбургов из страны. Герцог Стефан очень гордился тем, что ведь, в сущности, именно он натолкнул брата на такое решение. Он высоко поднял голову с короткими густыми каштановыми усами; наверно, это его энергичные речи оказали на Людвига такое действие. Теперь он поедет в Мюнхен и посмотрит, нельзя ли создать между Виттельсбахами тесный союз. А если он и Людвиг твердо решат, то почему бы—чума и сатана хвостатый—им не водворить мир среди Виттельсбахов, спаять их между собой, как спаяны Габсбурги? Ведь и те, конечно, насакивают друг на друга, как петухи, когда обсуждают свои дела без посторонних; зато, когда они представительствоуют, они стоят друг за друга как один, и когда они говорят друг с другом, то их речи—мед. Хорошо, что Людвиг наконец заставил себя решиться. Что касается его самого, Стефана, то он не успокоится до тех пор, пока растерзанный род Виттельсбахов снова не станет единым.

Принесли доспехи, начали снаряжать его в дорогу. Но тут из Мюнхена прибыл нарочный, доложил о смерти маркграфа. Герцог Стефан оцепенел, полуоткрыв рот, странно растопырив пальцы. Затем раздраженно рявкнул, приказал своим людям выйти, забегал, полуодетый, по комнате, делал повелительные жесты, его лицо непрерывно менялось, то грозно хмурилось, то разглаживалось, короткие густые усы вздергивались вместе с верхней губой.

Перед ним мелькали возможности—самые разнообразные, ослепительные. Мейнгард—почти мальчик, болезненный, глуповатый, добродушный, к тому же страстно преданный Стефанову сыну, Фридриху.

Да, судьба Виттельсбахов теперь в его, Стефана, руках. Соединить обе Баварии. Заставить помириться

бунтующих братьев—Голландца, Бранденбуржца, пфальцских правителей. Должны же они понять, должны же покориться. Что они, каждый в отдельности—Людвиг. Альбрехт, Вильгельм, Рупрехт? Ничто; но роль Виттельсбахов—это много, это все. От него, Стефана, изойдет добрая сила, его вера, его честная, благочестивая, бескорыстная воля перельется в них, они поддадутся его уговорам.

Он тяжело опустился на стул, лицо утратило напускную солдатскую молодцеватость, плечи поникли. Ах, ничего из этого не выйдет! Мучительная, лживая надежда. Не такому, как он, этого добиться. Правда, случай особенно благоприятный; но такое бремя ему не по силам. Его отец, император, даром что крепче его, а и тот был тяжелодум, поэтому и оставил свое дело недоделанным; так как же ему, более слабому, склеить раздробленное, изувеченное?

Его брат умер в пути. Дурной знак. Людвига он никогда особенно не любил, ни разу по душам не поговорил с ним. Все шестеро братьев никогда не пытались сблизиться, каждый недоверчиво стерег другого, как бы тот не урвал слишком большой кусок отцовского наследства. Но Людвиг был порядочный человек, и ему жилось нелегко: он женился на Губастой, принес династии тяжелую жертву. И вот теперь он умер в расцвете сил. Ореол вокруг Виттельсбахов померк, их блеск угасал.

Стефан вспомнил слышанное им некогда чтение папской буллы, в которой папа возвещал об отлучении от церкви его отца: «Да поразит это проклятие его сыновей: изгнанные из жилищ своих, да попадут в руки врагов своих и да погибнут». Он был тогда еще мальчиком и смысла этих торжественных, грозных, патетических слов так и не понял, но они обдали его ознобом, запомнились навеки. Не везло с тех пор Виттельсбахам. Их владения распались. Братья грызлись друг с другом. На северо-западе фландрскими провинциями правила императрица-мать совместно с Вильгельмом, самым одаренным из братьев. Между матерью и сыном вспыхнула вражда. Вильгельм разбил войска матери в кровавом морском сражении при устье Мааса, она бежала к своему зятю, английскому королю. То была надменная дама, меланхолического нрава, чуждая своим детям; да, в ее присутствии приходилось подтягиваться, сыновья всегда чувствовали себя при ней неловко. Теперь ее уже нет, она умерла, устав от гордости, забот и горя, а Вильгельм, самый умный, одаренный и любезный из братьев, впал в буйное помешательство, заболел от вражды с матерью, заболел от чужой страны. Нет, Виттельсбахам не повезло; проклятие,—если не слова его, то их горький смысл,—

осуществлялось. Стефан усталился перед собой. Смерть брата давала ему возможность, обязывала захватить Тироля, удержать в своих руках южные земли. Он посмотрел на свои руки; они лежали тяжело, вяло, бессильно: да разве можно такими руками?..

Вздор. Просто он выпил за завтраком слишком много пряного вина, вот и все. Это оно тяжелит кровь, туманит мысли. Разве у него не превосходные виды на будущее? Юноша Мейнгард слаб, им легко управлять. Его-то уж, черт побери, Стефан сумеет подчинить себе. Он выпрямился, над сжатыми губами стояли торчком короткие, густые каштановые усы. Он спаяет Виттельсбахов в одно целое и возвеличит их.

Он приказал подать доспехи. Теперь ему тем более необходимо ехать в Мюнхен. Снова рывкнул по-солдатски. Вызвал к себе сына, Фридриха.

Принц Фридрих уже слышал о смерти маркграфа. Его прямо разрывало от планов, от прилива энергии. Мейнгард поклонялся ему с юношеским восхищением. Благодаря Мейнгарду Фридрих теперь могущественнее отца. Это статный и стройный молодой человек, его широкий, угловатый, упрямый лоб низко зарос темными волосами. С раннего возраста он относился презрительно ко всем окружающим. Он считал себя единственным достойным внуком императора. Скрежеща зубами, видел он, как мельчает и дробится достояние Виттельсбахов. Высокомерно восставал против слов и дел своего отца, не обладавшего достаточно крепкими мышцами и хваткой, чтобы обуздать породистого, нервного и строптивого коня, каким был род Виттельсбахов. О, у него, принца Фридриха, достаточно силы и чутья, он укротит его.

Так, стройный, гордый, полный вражды и тайного презрения, предстал он перед отцом. Герцог Стефан считал, что этот сын удачливее и одареннее его самого, видел в нем свое завершение, любил даже его порывистость, горячность, надменность. Но он не мог сдерживать себя, когда мальчик бунтовал против него слишком дерзко; между ними все вновь и вновь происходили бурные стычки.

Стефан кратко, рывкая по-солдатски, объявил сыну, что маркграф Людвиг внезапно скончался, он едет на похороны в Мюнхен и думает пробыть там недели полторы. Фридрих же пусть остается пока здесь, в Ландсгуте, возьмет на себя дела и хранение государственной печати, а в случае более важных вопросов шлет к нему в Мюнхен курьеров. Фридрих задумался. Еще никогда не получал он от отца таких полномочий: что таится за этим? Он смерил Стефана недоверчивым взглядом. А-а-а! Герцог едет в Мюнхен один, он опа-

састся влияния Фридриха на Мейнгарда, хочет его отстранить.

Сын закинул голову, скользнул живыми карими глазами по лицу отца, надменно заявил, что и не подумает оставить своего друга одного в его горе и, разумеется, тоже поедет в Мюнхен. В комнате находилось еще двое-трое приближенных и один из пажей. Герцог Стефан, вскипев, спросил хриплым голосом, не спятил ли его сын. Кругом все стояли пораженные, ждали, что будет. Фридрих, насторожившись, ответил: разумеется, он в своем уме. Всякий порядочный рыцарь и дворянин поймет его, с ним согласится. Герцог, звеня доспехами, угрожающе приблизился к нему. Юноша сначала не двинулся с места, затем вдруг повернулся и выскользнул из комнаты. Вскочил на коня—никто не посмел удержать его—понесся прочь, на юг, к Мюнхену.

Герцог рассмеялся, сначала с досадой, затем довольный. Приближенные, радуясь такому обороту дела, тоже стали смеяться.

«Вот бесенок этот Фридрих!»—сказал герцог. «Вот бесенок наш сиятельный принц!»—вторили приближенные.

Но затем мало-помалу Стефан снова стал хмуриться. Собственный сын не слушается его. Как же он приберет к рукам всю буйную семью Виттельсбахов?

Он сел на лошадь. С большой свитой грузно поскакал по той же дороге, по которой умчался Фридрих.

Юноше Мейнгарду сообщил о смерти отца обер-егермейстер фон Куммерсбрук. Он приступил к делу очень осторожно, издалека. Напрасный труд: восемнадцатилетний юноша никак не мог взять в толк, к чему он ведет, и фон Куммерсбруку пришлось в конце концов заявить напрямик: маркграф скончался.

Мейнгард растерянно посмотрел на него широко раскрытыми глазами, весть эта, казалось, медленно ворочалась в его добродушной крупной голове, он даже вспотел. Он был не в силах представить себе, какие последствия может иметь это событие и к чему оно обязывает. Теперь он стал герцогом. Вероятно, это очень утомительно, будут всякие сложности, много работы. Он чувствовал бы себя гораздо лучше на положении какого-нибудь мелкого сельского барона. Вероятно, очень печально и для страны и для всех, что его отец умер. Ведь он был дельный и энергичный, мать же, как ему объяснил его друг, принц Фридрих, беспутная, гадкая женщина. Боже милостивый! В сущности, и отцу и матери всегда было не до него. Эта смерть не трогала его, она была ему тягостна, требовала усилий, размышлений.

Он вытащил из кармана маленького грызуна, которого обычно таскал при себе, небольшого длиннохвостого зверька—это был сурок, которого он терпеливо выдрессировал, так что тот знал свое имя Петер, шел на свист хозяина, вместе с ним ел, спал; юноша усталый на сурка озадаченным, огорченным взглядом, погладил его.

Очень не скоро освободился он от тупой растерянности и смущения, и то лишь когда увидел, что с ним теперь куда больше носятся, чем прежде. На лицах всех придворных, от генералов и высших чинов до последнего лакея, была написана теперь особая преданность, бережность, угодливость. Когда он мало-помалу это уразумел, ему стало доставлять удовольствие вновь и вновь играть этими чувствами, усиливать их. Он отдавал приказания, самые противоречивые, без толку, и с удовольствием наблюдал потом, с каким усердием они выполнялись; заставлял людей бросаться туда, сюда, наслаждаясь тем, что с их лиц так и не сходит выражение покорной и слепой готовности.

Только одному человеку его новый высокий сан, по-видимому, ничуть не импонировал, это—Фрауенбергу. Всякий раз, как Мейнгард встречал самоуверенного толстяка, он испытывал неприятное чувство; это жирное голое лицо с жабьей пастью, белесые волосы, красноватые глаза словно таили в себе угрозу, юношу пугал игривый тон альбиноса. Фрауенберг и теперь подошел к нему, снисходительно прищурился, по-отечески проговорил своим писклявым голосом:

— Что, молодой герцог? Небось трудновато? Только не терять головы! Уж как-нибудь справимся.—Мясистой, страшной рукой взял он пухлую наивную руку юноши, подмигнул ему отнюдь не почтительно, не смиренно, а скорее с каким-то шутовским, насмешливым превосходством, повернулся, ушел, насвистывая свою любимую песенку.

Но вот прискакал Фридрих, потный, взволнованный, полный воодушевления. Тотчас же проник в покои молодого герцога. Двоюродные братья обнялись, Мейнгард в присутствии друга почувствовал облегчение, Фридрих рассказал ему историю с отцом, Мейнгард восхитился. Статный темноволосый принц, обуреваемый энергией и честолюбием молодости, закусил удила и увлек белокурого, толстого, податливого Мейнгарда, а тот, восторженно глядя на него голубыми, простодушными, круглыми глазами, почитал себя счастливым иметь столь замечательного друга. Мейнгард разоткровенничался, поведал и о неприятном снисходительном тоне Фрауенберга. Фридрих всплеснул, затопал ногами. Заявил, что этого так не оставит.

Велел его позвать. Бросил ему через плечо, свысока, что здесь, в Мюнхене, герцог не нуждается в его услугах и предлагает ему встретить и сопровождать вдовствующую герцогиню, которая, без сомнения, уже выехала в Баварию. Фрауенберг поглядел на обоих молодых людей спокойно, дерзко, улыбаясь с добродушной иронией, сказал, что охотно участвовал бы в подготовке к похоронам всегда столь милостивого к нему маркграфа, но крайне польщен возложенным на него поручением сопровождать не менее милостивую к нему герцогиню. Он надеется, добавил Фрауенберг с отеческой заботливостью, что молодые господа справятся здесь, в Мюнхене, и без него. Прищурившись, посмотрел на одного, на другого, вышел.

Фридрих прибыл с весьма определенной политической программой и старался, прежде чем им могут помешать другие — отец, герцогиня, Габсбург, — вдолбить ее своему кузену. Он был отнюдь не согласен с исконным виттельсбаховским методом правления, при котором бюргерство выдвигалось в противовес дворянству и города поддерживались за счет замков. Эта нерешительная, осторожная политика, достойная торговцев и лавочников, считавшая нерыцаря полноценным человеком и уважавшая его, глубоко претила ему. Мир держится — это было для него непреложно — христианским рыцарством и государем, не ведающим иных ограничений, кроме созданных им самим законов рыцарственности. Но у теперешних государей нет гордости, у них что ни шаг, то уступка, компромисс, они умаляют, а не возвеличивают свою власть. Надо укрепить дворянство, согнуть всех нижестоящих в бараний рог, сделать их лишь подножием государева престола. Что деньги? Что торговля? Что города? Надо смахнуть пыль со старинных светлых законов рыцарства, опереть на них страну и государство.

Юный Мейнгард мечтательно внимал пылким речам друга. Тот наконец перешел к практическим предложениям. Мейнгард должен осуществить эти идеи в своих странах. Есть еще в Баварии бароны старой закалки, всю свою жизнь с должным презрением третировавшие бюргерскую мразь. Пусть Мейнгард вместе с ним и группой аристократов создаст общество любителей охоты и турниров на основе строгого устава старинных рыцарских объединений, вроде рыцарей Круглого стола и подобных им клубов высшей знати. Однако этот союз отнюдь не должен иметь целью одни спортивные забавы, от него должно ждать обновления всей нации. И прежде всего, он должен взять в свои руки управление государством, вместо кабинета министров, состоящего из высохших богословов и чиновников.

От всей души дал Мейнгард свое согласие. Он боялся бремени правления; теперь он освобождался от него и был счастлив, что все так хорошо складывается, что государственными вопросами можно заниматься в обществе любящих спорт сотоварищей и рыцарей, под руководством его гениального друга Фридриха.

Они уселись, составили список баронов, которых следовало принять в союз. Ульрих фон Абенсберг, Ульрих фон Лабер, Гипполът фон Штейн—эти прежде всего. Затем Гэгенрайн, Фрейберг, Принценау, еще Траутзам фон Фрауенгофен, Ганс фон Гумпенберг, Отто фон Максльрайн. Некоторые имена вызывали сомнения, требовали долгого и подробного обсуждения. Молодой герцог вытащил из кармана своего сурка; большоголовый зверек сидел на столе, водил хвостом, внимательно следил за пишущими. Юноши работали с таким увлечением, что головы у них пылали.

Когда вечером приехал герцог Стефан, правительство Баварии было почти составлено. Фридрих настоятельно убеждал кузена, чтобы тот вел себя как можно осторожнее с герцогом Стефаном. Поэтому Мейнгард в разговоре с дядей был замкнут, упрям. Герцог хотел получить от Мейнгарда согласие по ряду принципиальных вопросов относительно границ, пошлин. Мейнгард уклонился, заявил, по совету Фридриха, что подождет, пока отец будет предан земле. Герцог Стефан слишком хорошо понимал, что за этим сопротивлением кроется Фридрих. Бесился, радовался.

Затем приехала Маргарита, и в тот же день очень торжественно прибыл герцог Рудольф Австрийский. Маркграфа похоронили с неимоверной пышностью. И Агнесса фон Флавон еще раз убедилась, что черный цвет идет ей больше всех других цветов. От катафалка, от вдовы маркграфини, от пфальцграфов рейнских, от герцогов австрийских и обеих Баварий взгляды присутствующих то и дело обращались к ней.

Молодого герцога Мейнгарда теребили то Маргарита Тирольская, то герцог Стефан Нижне-Баварский, то герцог Рудольф Австрийский, все они требовали указов, договоров, подписей. Но добродушный, податливый юноша, под влиянием Фридриха, оставался тверд. На третий день после похорон маркграфа был основан Артуров Круг—союз баварских рыцарей. Гроссмейстерами стали Мейнгард и Фридрих, господа фон Абенсберг, фон Лабер, фон Штейн замещали их. Членами были пятьдесят два верхне- и нижнебаварских барона. Своей матери и герцогам, требовавшим от него решений, Мейнгард заявил, что связан рыцарской клятвой и не может ничего ни сказать, ни сделать, не спросив своих друзей и доверенных

участников Артурова Круга. Ошеломленные, смотрели на него Стефан, Маргарита, Рудольф. Что это за дворянская клика, забравшая юношу в свои руки? Недоверчиво обнюхивали они друг друга. Только Стефан сразу почувал, в чем дело. «Вот бесенок!» — кипел он, довольный.

Ульрих фон Абенсберг был женат на старшей сестре Агнессы фон Флаван. Через него Фридрих познакомился с Агнессой. Сразу же влюбился: Агнесса отнеслась благосклонно к молодому, стройному, пылкому принцу. Она взялась быть патронессой над Артуровым Кругом. Присутствовала при освящении знамени, которое было ее цветов. Она сказала Фридриху:

— Вашей политике, принц Фридрих, нельзя не сочувствовать от всей души.

А он, когда зная склонилось перед ней, произнес с пламенной искренностью соответствующую формулу: «*Pour toi mon âme, pour toi ma vie*». Она расхаживала среди звенящих доспехами рыцарей, для каждого находилось у нее любезное словечко. Ее удлиненные голубые глаза часто и сочувственно останавливались на статном темно-волосом Фридрихе, ее узкие смелые губы улыбались Абенсбергу, длинными белыми пальцами гладила она сурка герцога Мейнгарда. Все были осчастливлены и воодушевлены.

— Разрешите доложить вашей светлости,—сказал Фрауенберг Маргарите,—о том, как умер маркграф?

Маргарита стала очень толста. Вялая кожа висела безобразными складками вокруг по-обезьяньи выпяченного рта. Верхняя часть лица была покрыта морщинами и бородавками, которых белила и румяна уже не могли скрыть.

— Да,—сказал Фрауенберг и осклабился,—редко видел я маркграфа в таком веселом расположении, как в тот день, когда мы выехали. Мы выпили, он и я. Я все время держался подле него. Он съехал с коня боком. Лицо не очень исказилось. Как странно, что удар настиг его под Мюнхеном. Совсем как папашу.

Маргарита ничего не ответила. Взгляд ее обычно столь выразительных глаз был неподвижен и пуст.

— Ну, ну, герцогиня Маульташ,—продолжал Конрад визгливо,—справляться с Мейнгардом нам будет нетрудно. Немножко пуглив, но, в общем, хороший малый. Сейчас его подзуживает этот нижнебаварец, этот чернявый Фридрих, порядочный дуралей. Выждать надо! Поцелуй я все-таки заслужил,—осклабился он. Но когда она почувствовала дыхание его широкого рта, она, задрожав, отпрянула.—Ну не надо,—сказал он благодушно.

Вместе с герцогом Рудольфом Австрийским в Мюнхен приехал и древний старик аббат Виктрингский. Он совсем одряхлел, выдохся, весь тряся, по временам бормотал что-то невнятное, глаза были почти всегда закрыты. Он погладил Маргариту, его кожа была еще суще, чем ее, сказал:

— Милая моя девочка.

Позднее она попросила его к себе. Рассказала ему про матовый флакончик, про свой разговор с Фрауенбергом, слово в слово. И не исповедь — и больше, чем исповедь. Он сидел перед ней, съезжившийся, угасший, она не была уверена — понял ли он. Да это и все равно: важно было высказаться перед живым существом. Однако, когда она кончила, он процитировал древнего классика: «Страшного много на свете, страшнее нет сердца людского».

Агнесса старалась избегать Фрауенберга, была холодна с ним, насмешлива. Он спросил ее благодушно:

— Вы в дурном расположении, графиня? Мое лицо вам разонравилось? — Затем похлопал ее по плечу, осклабился, пропищал: — Ты же дура, Агнесса. Связалась с мальчишками, с хлыщами. Думаешь, старая лодка течет. Ты настоящая дурочка, милая Агнесса. — Он погладил ее, стал навязчивее. Но так как она отстранилась, добродушно рассмеялся, вытянулся на диване, отвернулся, шумно зевнул.

Герцог Рудольф Габсбург жадно схватил документы, которые ему торжественно и многозначительно поднес его канцлер, умный епископ Гуркский, Герцог углубился в них, перечел по нескольку раз; обычно такой спокойный, сдержанный, — лихорадочно взволновался. Он разглядел бумаги. Стал сосредоточенно слушать объяснения, которые давал ему епископ, обладавший необычайно широкими юридическими познаниями. Канцлер говорил о том, какое исключительно государственно-правовое значение имеют эти неожиданно найденные документы. Рудольф перечел их еще раз. Торжественно и благоговейно поцеловал пергамент, опустил на колени, стал молиться. В порыве пылкой благодарности пожал обе руки епископу, который сохранял полнейшую серьезность.

Герцог Рудольф унаследовал от отца суровую деловитость, ясное понимание действительного и возможного. Он знал, что род Габсбургов еще недостаточно силен, чтобы нести обязательства, налагаемые императорской короной, не терпя при этом существеннейшего ущерба. Блюсти императорское достоинство — значило бы зря расходовать силы, терять жизненные соки. И Виттельсбахи и Люксембурги пережили это на собственном опыте.

Оставалось одно: пока благоразумно отказаться от наружного блеска, но так укреплять свои силы изнутри, чтобы со временем императорская корона сама собой досталась Габсбургу, как сильнейшему. Вот политика, которой покойный Альбрехт следовал с таким успехом.

Если смотреть на дело ясно и трезво, то для Рудольфа иного пути нет. Со всей силой принуждал он себя не выходить за эти пределы. Но он не обладал выдержкой отца, хромого, который довольствовался сознанием своей реальной силы. Рудольфу была нестерпима мысль, что над ним сидит еще кто-то, его сюзерен, именующий себя, и по праву, римским императором. А что он такое, этот Карл, этот смиренный, тощий, со впалыми щеками, с грязной курчавой бородой? Он, Рудольф, подобно ему владел многими землями, подобно ему основывал университеты, построил соборы, дворцы, университет в Вене, грандиозный собор. Тот просто воспользовался благоприятным моментом, чтобы закрепить за собой корону; было бы нелепо теперь расточать силу и могущество ради чисто внешнего престижа. Но все же никакие доводы разума не помогали, сознание превосходства Карла продолжало жечь, резать, колоть, мучить Рудольфа.

Он был слишком горд, чтобы дать канцлеру подметить свои терзания. Но умный епископ угадал их, стал обдумывать, взвешивать, как найти лекарство, которое успокоило бы лихорадку его государя.

И вот однажды вечером его осенило. Аббат Иоанн Виктрингский, с которым он охотно видался, только что пожелал ему спокойной ночи. Аббат, как обычно, заперся, чтобы продолжать хронику мировой истории, над которой работал с давних времен. Он относился к своей работе чрезвычайно добросовестно, держал рукопись под замком, от всех таил. Так как за последнее время древний старик уже не мог писать, он привлек к делу одного монаха, которому и диктовал. Монаху пришлось дать священную клятву в том, что он не выдаст ни одного слова из того, что пишет. Во всех спорных случаях запрашивали аббата. И записанное в его хронике неизменно считалось непреложной истиной, как Евангелие.

И вот, когда аббат удалился, канцлер сказал себе: «То, что аббат пишет, считается историей, есть история. И все-таки—это только бумага. Все запечатленное, права, привилегии—это бумага. Вместе с тем они признаются всеми, на них можно опираться. Как подумаешь, так весь мир стоит на бумаге. У Карла Богемского—умные ученые-теологи, они возвели вокруг его короны целую стену из бумажных привилегий. А разве мы, в Вене, глупее и менее ученые, чем они там, в Праге?»

Он пошел к аббату. Напомнил ему о смерти герцога

Альбрехта. И как аббат тогда возгласил: «Defunctus est Albertus de Habsburg, imperator Romanus». Эти слова, сказал канцлер, продолжают гореть в сердце герцога Рудольфа; как неугасимый огонь в часовнях горят они, день и ночь горят. А древний старик слушал, его взгляд казался угасшим. Канцлер продолжал говорить осторожно, намеками. Старик что-то бормотал.

И вдруг появились те самые документы. Ученый аббат нашел их, перерывая архивы дворца. Запыленные, забытые, лежали в углу драгоценнейшие пергаментные свитки. Непостижимо.

Ведь они, как объяснял канцлер герцогу, нечто гораздо большее, чем исторический курьез. Громадное, живое значение имели они, у них была сила поставить Габсбурга на новый, мощный, высокий пьедестал, рядом с римским императором.

С лихорадочным волнением изучал Рудольф документы. Всего пять грамот. Они были подписаны римскими императорами — Фридрихом Первым, Генрихом Четвертым, восходили к эпохам Цезаря и Нерона. Они утверждали, что дом Габсбургов должен быть выделен среди всех прочих германских владетельных родов; освобождали его от обременительных обязанностей, наделяли особыми правами, делали Габсбурга первым, старшим и надежнейшим имперским князем.

Рудольф медленно, задумчиво поднял глаза, посмотрел на канцлера. Серьезно, невозмутимо, открыто ответил тот на его взгляд. Тогда Рудольф взял со стола документы, прижал их к своей груди, твердо изъявил готовность принять на себя почести и обязательства, которые бог через эти бумаги на него возлагает.

С огромным воодушевлением возвестил он всему христианскому миру о находке грамот, дарующих ему высшие прерогативы. Торжественные посольства к папе, к императору, ко всем дворам. Торжественные служения во всех церквях габсбургских стран. Рудольф, проникшись сознанием своего величия, приказал комнату, где родился он, глава Габсбургов, которому всевышний дал снова извлечь на свет божий эти грамоты, превратить в часовню.

В канцеляриях германских государей появилось немало растерянных физиономий. Юристы Богемца, Бранденбуржца, графов пфальцских съезжались, обсуждали событие в осторожных выражениях, переглядывались, у всех на уста просилось одно слово, но никто не решался произнести его вслух.

Наконец слово было сказано, его привез из Италии Виллани, составитель хроник, это было ясное и недвусмысленное заключение специально запрошенного Петрар-

ки. И оно гласило: грамоты, подтверждающие особые привилегии дома Габсбургов,—подлог, грубая подделка! Никто, однако, не решался сослаться на заключение чужеземца.

С глубоким недовольством следил император Карл за действиями Габсбурга. Ему чуть не опостытели его драгоценные регалии, когда выяснилось, что у соперника есть такие грамоты. Крайне сомнительной казалась ему подлинность этих бумаг, особенно подозрительны были, несмотря на их безукоризненную латынь, свидетельства Цезаря и Нерона. Однако и после заключения Петрарки он продолжал колебаться, не осмеливался, даже наедине с собой, признать документы подложными.

А герцог Рудольф сидел над своими драгоценными документами, без конца перечитывал их, изучал, старался запечатлеть в своем сердце каждый завиток почерка, каждую шероховатость бумаги. Канцлер и аббат Иоанн наблюдали за ним. Многозначительно, удовлетворенно отмечали, что герцог все больше проникается своими новыми правами, делает их своим символом веры.

Маргарита, вернувшись в Тироль, по-прежнему находилась в состоянии опустошенности и пугающего оцепенения. Больше не интересовалась государственными делами. Все распоряжения посылала с нарочными на подпись молодому герцогу в Мюнхен; они залеживались там неделями, месяцами. Советники управляли на собственный страх и риск, действовали нерешительно, применяли полумеры; ибо ни один из них не знал: кто же в конце концов захватит власть, Виттельсбах, Габсбург, герцогиня, мюнхенский союз Артуров Круг? Самые важные вопросы откладывались, оставались неразрешенными.

Маргарита была до конца опустошена. С такими невероятными трудностями поднялась она, была сброшена в грязь, снова поднялась. И вот все оказалось пустыми словами, глупыми, лживыми, наглыми; чистота, добродетель, сила, порядок, смысл и цель — такой же вздор, как рыцарственность, благородство. Фрауенберг прав: в мире существуют только те семь радостей, о которых гнусит непристойная песенка,—больше ничего.

С какой-то почти педантичной алчностью принялась безобразная стареющая женщина заново строить в соответствии с этим свою жизнь. Ее столы гнулись под тяжестью яств, часами просиживала она за трапезой, в ее кухнях состязались бургундские, сицилийские, богемские повара. Из больших кубков пила она густые, жаркие вина. Все хотела она иметь, всего вкусить. Моллюсков, редкую рыбу, птицу, дичь, приготовленную все новыми

способами — вареную, жареную, печеную, в миндальном молоке, в пряном вине. Ненасытно требовала она, чтобы ей доставляли разнообразные лакомства, жадно, боясь что-нибудь не заметить, упустить. Она рано ложилась спать, поздно вставала, спала по многу часов и днем. Ибо спать — это самое лучшее. От Фрауенберга она переняла привычку потягиваться, шумно зевать, хрустеть суставами. И вот она лежала, храпя, эта толстая стареющая женщина, безобразная до ужаса. Ее жесткие медные волосы висели прямыми космами. На лицо она надевала маску из теста, замешанного на ослином молоке и порошке из растертых корней цикламена, ибо это сохраняет кожу молодой.

Фрауенберг был доволен переменой в герцогине. Да, Губастая — баба разумная, она поняла, что его мировоззрение самое правильное. Он одобрительно похлопывал ее по плечу. Взял на себя организацию ее удовольствий.

Странные слухи ходили по городу Мерану, по долине Пассейер. Чтобы облегчить ночные свидания, под угловым окном замка Тироль будто бы подвешена железная корзина, которая может быть спущена во двор и поднята с посетителями. В тюремной башне будто бы гниют фавориты, ставшие для герцогини обременительными. Люди брезгливо морщились, когда заходила речь о привидениях долины Пассейер, о ее шинках, о жителях, освобожденных от налогов, о получивших право охотиться и рубить лес.

Герцогиня перебралась дальше на юг. Ее маленький охотничий домик сиял белизной; внизу, в золотистой мгле полуденного солнца, лежало сине-черное большое озеро. К нему среди гранатовых зарослей вели полуразрушенные каменные ступени. В большой, пестрой, празднично разукрашенной лодке скользила Безобразная по черно-синей воде; под килем, вспыхивая, играли рыбки, весла равномерно вздымали пену. Она лежала на палубе, а из трюма доносилась музыка.

На ее пути встал юноша Альдригетто Кальдонаццо. Горячий, необузданный семнадцатилетний мальчик: изжелта-белое страстное лицо, короткий нос, быстрые большие темные глаза — встретился он с ней впервые в Вероне, затем в Виченце, где Кан Гранде Младший, могущественнейший тиран Ломбардии, устроил ей торжественный прием. Юный барон Альдригетто, носитель славного имени Кастельбарко, единственный уцелел в жестоких и кровопролитных схватках, в которых участвовало это семейство. Сам он уже не раз яростно сражался. Теперь большая часть его крепостей и поместий была в руках его врагов: он бежал ко двору знаменитого веронца, почти грозно потребовал от него помощи, продолжения

борьбы. Он был последним потомком очень древнего рода. Бесконечно избалованный, неудержимо отдавался каждому порыву. Женщины любили его пылкое мальчишеское изжелта-белое лицо.

Он увидел Маргариту. Увидел, как она бок о бок с могущественным делла Скала под звон колоколов поднимается по ступеням его дворца, между рядами почтительно склонившихся вооруженных людей и знамен, накрашенная, как неподвижная маска, в роскошной, осыпанной золотом и камнями парадной одежде, сказочно безобразная. Он ощутил на себе ее долгий, странно безжизненный взгляд. Он, разумеется, слышал, как и все, смутные, чудовищные легенды, которые ходили на ее счет: о том, как она, ненасытная, прогнала первого мужа, отравила второго, как, в своей безграничной алчности, заживо похоронила бесчисленных любовников. «Германская Мессалина» — прозвали ее в Италии. Ему польстило, что она взглянула на него. Его привлекала ее власть, с помощью которой ему, может быть, удастся уничтожить своих врагов. Его привлекала окружавшая ее опасная слава. Он был молод, поздний потомок древнего рода. Его привлекало ее безобразие.

Два летних месяца прожила герцогиня с мальчиком Альдригетто на берегу обширного озера. Стояла гнетущая жара, они проводили и ночи на воздухе. Маргарита приказала раскинуть шатры на маленьком полуострове юго-восточного берега, среди развалин древнеримских вилл, под старыми оливковыми деревьями. Они лежали в гамаках, прикрытые сетками от москитов. Черно-синее, свинцовое, лежало перед ними озеро.

И случилась необъяснимая вещь: необузданный, изжелта-белый мальчик полюбил Безобразную. Он был красив, строен, изжелта-бел, как разбитые статуи, стоявшие то тут, то там под оливковыми деревьями. Она была похожа на большого, могущественного, неподвижного, чарующего и безобразного идола. Что перед нею молодые, стройные, горячие девушки, которые начинали учащенно дышать, когда он приближался к ним? Гусыни, пустые, глупые, ничтожные, все как одна. Герцогиня же была совсем особенная, неповторимая, полная древней мудрости, властительница страны в горах, замкнутая в своей загадочной, мощной и одинокой неповторимости. Она стала средоточием всех его юношеских грез. То, что теперь привязывало его к ней, уже давно не было ни честолюбием, ни расчетом, ни любопытством. Когда он начинал мечтать при ней о том великом государстве, которое некогда создаст, слив воедино все владения между По и Дунаем, а она затем медленно повертывала к нему свой печальный, неподвижный, несказанно безобраз-

ный лик, он иногда останавливался на полуслове, смолкал. Что-то в этом лице хватало его за сердце, повергало в дрожь, привязывало к ней загадочно, неотрывно. Так проводили они вместе знойные полдни: герцогиня — грузное, грустное, древнее, легендарное животное угасших эпох, покрытая шрамами бесчисленных битв, уставшая от бесконечных переживаний, и мальчик — стройный, гибкий, как пальма, последний поздний отпрыск необузданных завоевателей, с горячими глазами, темнеющими на белом лице, устремленными в будущее, которое для нее стало уже прошедшим.

Она разрезала гранат. Сок цвета крови стекал по ее набеленным пальцам. Она клала зерна, прозрачные, как стекло, в огромный безобразный рот, жевала их неровными большими и сильными зубами. «Как странно, — думала она, — этот мальчик смотрит, как я ем, и ему не противно. Он, пожалуй, в самом деле привязан ко мне без корысти. Я постарела, опустошена, иссякла, и вот явился человек, который любит меня!» Она вспомнила о Крэтиене де Лаферте, провела неуклюжей рукой по блестящим черным волосам Альдригетто. Порывисто закинув голову, мальчик укусил ее руку. Затем рассмеялся беззлобно. Серебрились оливки, в полуденной дымке мерцали тихие дремотно-блаженные берега озера.

А в то время как герцогиня находилась в Италии, в Тироле слухи о ней становились все ядовитее и гнуснее. Она-де, ведьма, высасывает по ночам кровь из мужчин, она может находиться одновременно в двух местах: когда она была в Вероне, в Трамине видели женщину, которая неслась по воздуху на темно-рыжем коне. Все чаще приходилось властям наказывать плетью непочтительно отзывавшихся о герцогине.

Маргарита, вялая и ленивая, проводила время, лежа на берегу озера. Казалось, часы, дни, месяцы остановили свое течение. Когда лодка плыла под деревьями, озеро внезапно мертвело, пробегающие тени пугливым ознобом нарушали теплую сумеречную дремоту. Итак, мальчик Альдригетто любит ее. Он строен, красив, взгляд женщин увлажняется желанием, когда они встречают его, а он любит ее; но она слишком опустошена и обессилена, чтобы радоваться. Вспомнила Фрауенберга: спать — лучше всего. У нее было только одно усталое желание: всегда жить вот так, в этой сумеречной знойной дремоте, безвольно, тихо испаряться, как вода на солнце.

Тем временем Мюнхенский дворянский союз, баварский Артуров Круг окончательно организовался. С пышным церемониалом праздновалось основание союза, прием

и посвящение в рыцари отдельных его членов, освящение знамени, возведение Агнессы фон Флавон в сан королевы союза. Затем большой турнир, банкеты, многолюдные облавы на зверей.

Молодым, необузданным дворянам статуты принца Фридриха пришлось как нельзя более по душе. Они — живы, они — молоды, они — весь мир! В них кипело неудержимое властолюбие, била через край потребность крушить все кругом, кричать, бесноваться, устраивать неугомонный веселый шум. Наполнить мир своей молодостью, которой некуда было излиться, своей бесцельной, бесполезной энергией, своей жаждой что-нибудь натворить, сделать. А теперь принц Фридрих дал этому смутному властному стремлению красивое, звучное имя, в нем было подобие смысла, идеи, идеала. Молодые, самоуверенные, драчливые бароны вдруг почувствовали себя носителями особой миссии. На их стороне бог, право, власть: они были счастливы.

Где еще пили и жрали так неистово, как при мюнхенском дворе? Где охоты были грандиознее? Где бывало на турнирах столько убитых, столько праздничного шума? Объявки, достававшиеся шутам и карликам, которые ползали между ногами гостей, были обильнее, чем стол иного мелкого государя. Молодые бароны пылали таким задором, что иногда набрасывались на совершенно чужих людей: «Есть ли женщина достойнее Агнессы фон Флавон» — и когда спрошенный отвечал, что этой дамы не знает, его вызывали на поединок и убивали. Чтобы ночью, после охоты, при свете пожара, пировать под открытым небом, они поджигали крестьянские хижины и целые рощи.

Они находили придворные танцы слишком изощренными и сложными. Вместо флейты застонала волынка, вместо арфы запищала губная гармоника. Носились в грубых крестьянских хороводах, отплясывали ридеванц, хоппельдей и другие неуклюжие танцы, при этом подпевали, хлопая себя по ляжкам, непристойные стишки. Косолапо вертелись, точно медведи, подбрасывая женщин так, что у тех юбки взлетали на голову, среди оглушительного хохота валили их весьма непочтительно наземь. Играли в кости бессмысленно, с азартом, просаживали деревни, замки, поместья, иной раз снова получали их обратно в виде дара, иной раз убивали партнера. Бродили спотыкаясь, пьяные извергали из себя вино. Орали грубые, циничные песни, на ночных улицах Мюнхена хор пьяных голосов ревел, верещал, гнусил песенку Фрауенберга о семи радостях.

А молодой герцог Мейнгард расхаживал среди всего этого, толстый, добродушный, глуповатый, но довольный

и гордый, чувствуя себя центром замечательного праздного веселья, которое устраивалось в его честь. Каждому благосклонно улыбался, говорил, что сегодня опять все вышло особенно удачно. Влюбленно поглядывал снизу вверх на статного темноволосого принца Фридриха. Гладил своего сурка Петера, говорил внимательно смотревшему на него зверьку, что ему очень хорошо, что управлять государством вещь легкая и простая, гораздо приятнее, чем он предполагал.

Агнесса небрежно и благосклонно принимала восторги и кипучие чувства окружавшей ее шумной и многочисленной молодежи. Она стала замечать, что кожа у нее то там, то здесь становится или слишком суха или отвисает, что возле губ или около глаз появилась крошечная дряблая складочка, а на голове выцвел волосок, что ее движения стали чуть ленивее, тяжеловеснее, словно налились жиром. Тем необходимее было ей пламенное восхищение этих молодых людей, как доказательство ее обаяния, она нуждалась в их шумном поклонении, она плавала в нем, она блаженно купалась в безграничном обожании принца Фридриха.

Однако принц Баварии и Ландсгута за всеми этими развлечениями не забывал и о своих политических планах. Он не замечал шума и грубости, он видел власть; он не замечал распущенности и грязи, он видел господство и блеск. Вместе с руководителями Артурова Круга Абенсбергом, Лабером, Гиппольтом фон Штейном забрал он руководство всеми государственными делами. Молодой герцог предоставил им захватить все, что они хотели: его власть, prerogативы, печать, весь круг его обязанностей. Государством правили за столом, во время охоты. Надменно, между двумя кубками вина, отнимали они у городов их привилегии, крестьян обкладывали бессмысленно тяжелой барщиной. Старинный запрет, лишавший крестьянина права есть дичь и рыбу и предоставлявший это право только господину, был восстановлен во всей строгости. Двор Мейнгарда, развлечения и пиры Круга обходились чрезвычайно дорого. Государственное имущество расточалось, пошлины, подати, доходы с городов тратились уже не на общественные нужды, а на нужды Артурова Круга. Налоги были повышены. Дичь вредила полям, ее было видимо-невидимо, а крестьянина, пытавшегося как-нибудь защититься от нее, затравливали насмерть. Некоторые члены Круга нападали даже на транспорты купцов; сначала к этому относились как к шалости, затем стали смотреть как на желанное средство обогащения. Ввиду того что проезжие дороги стали небезопасны, торговля и ремесла приходили в упадок.

Города роптали, крестьянство стонало. Тирольские бароны стояли у границ, герцог Стефан Нижне-Баварский пока ничего не предпринимал, но брови его грозно хмурились. Порой в Артуровом Круге появлялся на положении гостя Фрауенберг; в члены его не приглашали. Но он нисколько не обижался, шутил, подзадоривал молодежь: нельзя отрицать, он умел расшевелить этих господ. Герцог Стефан послал сыну резкое письмо, заявляя, что если тот немедленно не возвратится в Ландсгут, то потеряет нижнебаварское наследство. Принц Фридрих не ответил, заковал посланца в кандалы.

Несмотря на то, что Габсбург зондировал почву умнее и бесшумнее, потерпел в Мюнхене неудачу и он. Герцог Рудольф заключил с венгерским королем союз против императора Карла. В конфиденциальном письме к Мейнгарду он предложил ему также вступить в этот союз, ибо император — прирожденный враг Виттельсбахов. Но принц Фридрих, в своей надменности признававший только политику престижа, не считал ни одного из имперских князей равным Виттельсбахам, кроме римского императора, и не находил возможным вступать в союз с обыкновенными территориальными правителями, тем более — с наглым Габсбургом. Нет, Виттельсбахи, как бы ни противоречили этому политические и экономические интересы, должны все же, по чисто идеальным мотивам, гордо и благородно поддерживать единственного равного им немца — римского императора.

Во время трапезы конфиденциальное письмо Габсбурга — первого, старшего, надежнейшего имперского государя — было нацеплено на горб одного из разряженных придворных шутов. От гостя к гостю бегал пестрый карлик, неустанно и низко кланяясь, показывал висевшее на его горбу секретное послание австрийца, в котором тот осмеливался злобно поносить императора. Затем Фридрих от имени Мейнгарда отослал изодранное, загаженное письмо, сопроводив его высокопарным посланием императору в Прагу, как равный равному.

К полуострову на юго-восточном берегу озера подплыла лодка с древним стариком аббатом Иоанном Виктрингским. Он прибыл в сопровождении двух монахов и вез в запертом ларце свою хронику, «Книгу достоверных событий», которую считал наконец завершенной.

Старец теперь окончательно высох и стал очень мудр. Столько перевидел он, всех людей и все события сопровождал прекрасными стихами, все взвесил и вот запечатлел в своей хронике. Что бы еще ни случилось, оно может быть лишь вариантом того, что им уже описано. К тому же он узнал, что некий Джованни Виллани из Флоренции,

итальянец, работает над столь же пространной и основательной хроникой. Хотя аббат стоял уже выше житейских тщеславных тревог и волнений, все же он крайне огорчился, услышав, что мужи, весьма умные и сведущие, отзываются о труде итальянца с большой похвалой. Славолюбивый иноземец подошел к своей задаче совсем иначе, чем аббат: он стремился к сенсационно прикрашенным ярким описаниям, рассчитанным на сильный эффект, тогда как добросовестный ученый аббат усердно сглаживал, оттачивал, старательно устанавливал даты и факты, не забывая о высоком назначении своего труда в целом. Теперь он наконец решил поставить последнюю точку. Он продиктовал брату секретарю: «Предоставляю другим лучше изобразить грядущие события и заканчиваю здесь свои записи, кои старался вести хорошо и достойным истории образом...» Он что-то пробормотал, захихикал, положил сухую руку на плечо монаха, с ложным, напускным смирением продиктовал последнюю фразу: «Если же не столь удачна работа моя, то да простится мне то, ибо предпринята она была во славу святой и нераздельной троицы, которой хвала, честь и слава и поклонение во веки веков. Аминь».

И вот старец сидел в тени олив и тысячелетних развалин, он поднес герцогине свой труд, надеясь встретить со стороны всегда внимательной ученицы заслуженную оценку. Маргарита лежала в гамаке, лила в свой большой рот охлажденный апельсиновый сок; ленивый, стройный, белый юноша Альдригетто небрежно вышучивал беззубого старца.

Когда наступил вечер и стало свежее, Маргарита попросила брата секретаря почитать ей хронику. Низким, ровным, выразительным голосом продекламировал монах посвящение и предисловие аббата. Приводя многочисленные цитаты, аббат говорил о том, как жизнь и действительность становятся историей, как от жизни и бытия ничего не сохраняется, кроме истории, и как история является последней целью всякого действия и его дальнейшей первоосновой. Что остается от великих мужей, кроме памяти о них, подобной тому аромату, который оставляют у наших берегов нагруженные яблоками суда, когда сами эти суда давно уже отплыли к иным берегам? В этом смысле стал он затем разворачивать картину последних ста двадцати лет, картину краткости человеческой жизни, изменчивости природы, непостоянства счастья, обманчивости и ненадежности земной славы.

Маргарита думала: «Все это я знаю, но это больше не ранит меня. Моя жизненная программа позади». Однако, по мере того как монах низким, ровным голосом продолжал разворачивать перед ней многообразные повествова-

ния, по мере того как пестрые, наивные, хитрые, дерзкие, кроткие, возвышенные и ничтожные повествования эти сменяли друг друга, все — в одинаковой мере остуженные, тщательно уложенные, одно как другое наплывая, одно как другое уходя, это постепенно захватило и ее, и она сама погрузилась в красочный поток времени. Мейнгард, великий граф Тирольский, сильный, хитрый, решительный: она была частью его. Эти земли, столь долго разьединенные, — она сделала все возможное, чтобы их снова спаять. Эти города, вначале — маленькие, жалкие поселки! Она сделала, что было в ее силах, чтобы они стали большими и цветущими.

А теперь она выключена из этого текучего потока, она как стоячая гнилая вода. Ее жизнь на полуострове показалась ей вдруг безмерно нелепой. Эти оливковые деревья, эти древние развалины, эта апельсиновая роща, разве все это не глупая, претенциозная декорация? Как можно было так погрузиться в мертвое, одурманивающее, одинокое лето, когда там, в ее стране, происходили дикие, тревожные, разрушительные события, когда германские государи дрались вокруг ее бедного, улыбающегося, глупого сына? А чем она была занята? Мальчиком Альдригетто, красивым юным мальчиком.

Весь следующий день Маргарита читала «Книгу достоверных событий». Старец сиял, выпил, против обыкновения, вина, пролив большую часть дрожащими руками, тряс головой. Затем она послала нарочного в Виченцу, к Кан Гранде: ей необходимо с ним поговорить.

Улыбаясь загадочной доброй улыбкой, простилась с мальчиком, провела рукой по черным блестящим волосам, погладила изжелта-белое страстное лицо. Обещала дня через три вернуться. Мальчик лениво принимал ее ласки, затем вдруг, мучительно шутя, сжал сильными пальцами кисть ее руки, улыбаясь, выпустил.

В Виченце ее беседа с господином делла Скала продолжалась недолго. Умный энергичный итальянец симпатизировал герцогине, с ней можно было говорить кратко и по существу. Она заявила, что эпизод с мальчиком Альдригетто кончен: у нее останутся о нем дружеские, теплые воспоминания. А так как она хотела бы их и сохранить такими, то очень просит, пусть он позаботится, чтобы юноша исчез. Кан Гранде внимательно и понимающе посмотрел на нее карими выпуклыми глазами, блестящими на энергичном мясистом лице, вежливо поклонился.

После одурманивающего летнего зноя Маргарита почувствовала, что ее овежает свежий воздух родных гор. Ее приветствовали без подъема. Страна страдала. Мюнхен-

ское правительство Артурова Круга, послушное капризам Агнессы, производило над Тиролем эксперименты, повергшие страну в тяжелый недуг. Города приходили в запустение, крестьянин, разоряясь, роптал:

«От Губастой мы совсем пропадем. Она высосет нашу кровь. Теперь, когда маркграф умер, ясно, что все хорошее было от него, а плохое — от нее». Маргарита твердой рукой сразу натянула поводья. Искоренила самые жестокие злоупотребления. Приостановила исполнение приказов, шедших из Мюнхена. Народ облегченно вздохнул: «А, наконец-то Агнесса фон Флавон вступилась! Благословенная, красавица! Наш ангел, наша спасительница!»

В лоджии замка фон Шенна Маргарита сидела с хозяином замка. Вдоль стены шагали пестрые рыцари, Гарель из цветущей долины, Рыцарь со львом.

— Как хорошо, что вы проснулись! — сказал господин фон Шенна.

Высились горы, светлые и приветливые, набегали друг на друга каменными волнами. Веял свежий ветер, фрукты и виноград висели почти созревшие, озаренные солнцем.

— Отчего вы меня не разбудили раньше? — сказала Маргарита.

— Вы должны были одна пройти через это лето, герцогиня Маргарита, — сказал Шенна.

Фрауенберг просипел:

— Как жаль, что вы так скоро поставили точку, герцогиня Маульташ. Такой красивый мальчик, золотистобелый, южанин. И так беспредельно предан вам. Такие не каждый день попадаются. А что здесь? Труд, дерьмо, навоз. Уж дали бы этим мюнхенским паршивцам добеситься. Они задохнулись бы от собственного буйства.

Несмотря на трудности путешествия в снежном январе, герцогиня Маргарита все же поехала в Мюнхен, чтобы ознакомиться на месте с хозяйничаньем баварского Артурова Круга. Недоверчиво, сухо, официально была она встречена в столице. Мейнгард, когда она взялась за него как следует и потребовала объяснений, стал мямлить, глупо улыбаясь, заявил, что правит совместно со своими приятелями-рыцарями, бормотал что-то насчет «бабьего правления», наконец, став в позу, продекламировал слышанное им от Фридриха об аристократических принципах, которые-де должны восторжествовать над современной властью черни и мелких чиновников. Имела она разговор и с ландсгутским принцем. Стройный, надменный, вежливый, он заявил, что, насколько ему известно, герцог Мейнгард совершеннолетний. Его воля, кому он доверит государственную печать! Ее материнские советы, разуме-

ется, всегда будут выслушаны со вниманием. Дальше этого дело так и не пошло.

Всюду наталкивалась она на Агнессу. Ее цвета, ее привычки, ее капризы, вкусы, склонности определяли лицо двора, характер управления страной.

Агнесса нанесла герцогине визит, как того требовал этикет. Стройная, скромная, сидела она перед безобразной, неуклюжей, накрашенной, разряженной Маргаритой. С вежливой улыбкой, полной самоуверенного торжества, смотрели ее глубокие голубые глаза в пронзительные, грозные глаза другой. В камине пылал яркий огонь, аромат горящего сандалового дерева наполнял большой сумрачный покой.

— Вы теперь постоянно живете в Баварии, графиня Агнесса?—спросила Маргарита.

— Вовсе нет, герцогиня,—отозвалась Агнесса, и ее голос зазвучал особенно резко в сравнении с теплым низким голосом Маргариты.—Я предполагаю в ближайшие дни вернуться в Тауферс. В присутствии моем там, правда, нет необходимости. У меня дельные служащие; да и господин фон Фрауенберг так любезен, что взялся управлять моими имениями.

Молча и внимательно посматривала герцогиня на Агнессу. Та слегка пополнела; но ее кожа осталась совершенно гладкой. Она сидела перед Маргаритой такая легкая и упругая; шея, нежная, без морщин, стройно выступала из темного платья. Поклонение всей этой молодежи для нее, видимо, лучший источник молодости, чем ванны и румяна. Так уверенно и победоносно сидела она тут, что даже ироническая усмешка вокруг ее губ почти исчезла.

— Вы стали в последнее время много заниматься политикой?—спросила Маргарита.

— Нет, сударыня,—ответила Агнесса, которая вдруг насторожилась.—Господин герцог и принц Фридрих иногда спрашивают мое мнение. И я не могу тогда не высказать его, да и почему бы не высказать? Но это только мнение глупой женщины, ни на что другое не претендующее.—Она говорила необычайно любезным тоном.

— Я считаю, что ваши мнения не всегда бывают правильны, графиня Агнесса,—сказала Маргарита.—Говоря по чести, я убеждена, что они иногда даже вредят стране. Я хочу вам кое-что предложить,—продолжала она нессоло, почти шутливо.—А что, если бы вы впредь высказывали их только относительно Баварии?

Агнесса ответила очень оживленно и с той же легкой сердечной шутливостью, что и Маргарита:

— Вы мой сюзерен, герцогиня. Но разве и герцог Мейнгард не мой сюзерен? Что делать, если герцог непременно хочет знать мое мнение о тирольских делах? С какой бы радостью ни стремилась я исполнить каждое желание вашей светлости, все же смею ли я уклониться, если он требует, чтобы я высказала свои безусловно глупые взгляды? И потом, ведь достаточно одного вашего дуновения, и моей глупой болтовни как не бывало.

Обе дамы смотрели друг на друга, обе улыбались. Победоносное выражение вокруг губ и в глазах красавицы стало чуть-чуть уловимее. Заговорили о другом. О различных изменениях в здании мюнхенского дворца, о сетках для волос, мода на которые завезена из Праги. На крашенных медных волосах Маргариты, сухих и жестких, была надета тяжелая золотая сетка. Агнесса небрежно провела рукой по своим густым лучистым волосам: она никак не может привыкнуть к этой новой моде.

Император Карл жил в Нюрнберге с большой пышностью. Постоянные пиры, турниры; принимал членов городского совета, иноземных художников, ученых. Вел с ними долгие, спокойные, интересные разговоры. Здесь, в провинции, отдыхал от государственных дел. Участвовал в больших карнавальных празднествах, которые этот богатый город устраивал в честь его римского императорского величества.

Борода императора, торчавшая тупым клином, начинала седесть, кожа на худом лице стала серой, морщинистой. Но глаза над слегка приплюснутым носом оживленно поблескивали, длинное костлявое тело сохранило подвижность, уверенность.

Император был доволен. Он дождался, пока власть в его руках окончательно не окрепнет. Лишь тогда произвел на свет ребенка. Бог благословил его предусмотрительную воздержанность: родился сын, тяжелый, здоровый мальчик, которому можно было оставить империю. Осчастливленный отец пожертвовал в Аахен слиток золота весом с ребёнка; затем опустился на колени посреди своих реликвий и возвестил мощам:

— У меня, Карла Четвертого, римского императора, есть сын и наследник. Вы, дорогие, уважаемые святые, вы, великомученики! Молитесь за Венцеля, моего сына!

Довольный, сидел он теперь в Нюрнберге, радовался общению со своими поэтами и зодчими, толковал со своим канцлером, многоопытным, знающим людей и жизнь богословом, беседовал легко и свободно о вещах божественных и человеческих, умножал свою коллекцию ре-

ликвий и иных драгоценностей, развлекался катаньем на санях, маскарадами, турнирами.

И вот в эти дни неомраченного веселья откуда ни возьмись — безобразная герцогиня. Император и его приближенные крайне изумились. С тех пор как Карл осаждал ее в замке Тироль, отношения между ним и Маргаритой были весьма прохладные и официальные. Ее приезд, писал его канцлер своему другу, архиепископу Магдебургскому, одно из пятнадцати чудесных знамений перед Страшным судом. Затем пространно издевался над этой германской Мессалиной, этой современной Кримгильдой, заявившейся ко двору, после того как она всю жизнь, из-за личной любви и ненависти, повергала в горе и нищету свою страну и свой народ. Описывал, как она сидела в ложе на турнире рядом с красавицей принцессой Гогенлоэ, неуклюжая, вся в бородавках, точно жаба, и разжиревшая, как пивовар.

Добродушно настроенный император принял свою бывшую невестку благосклонно и чуть-чуть насмешливо. Да, оба когда-то были молоды. В те времена он был занят ликвидацией итальянской авантюры своего отца, и они не раз беседовали по душам. Умная она государыня, но ей, очевидно, недостает чувства меры. Ненасытно стремилась всего отведать, поэтому все и растеряла. Он же мудро сумел обуздать свой темперамент, стал римским императором, у него сын, которому он может теперь оставить в наследство крепко слаженное государство. А она бродит по свету, между тем как слабый, незадачливый мальчишка, игрушка в руках всякого, кто умеет за него взяться, расшвыривает ее земли. Брата Карла, Иоганна, она когда-то с насмешкой и позором выгнала из замка Тироль, и пришлось потом перед курией повернуть дело так, будто от ее брака с Иоганном не могло родиться здорового наследника. Император все же не отказал себе в удовольствии и представил ей статного красивого Иоганнова сына. У кого же теперь наследник лучше — у нее или у Иоганна?

Все это прошло и былем поросло. Маргарита молча приняла насмешку и унижение с тем деловитым спокойствием, которому она, быть может, научилась у Менделя Гирша, с тем равнодушием, с каким человек терпит все предварительные формальности, лишь бы добиться своей цели. Затем она стала жаловаться. Жаловалась на бессмысленные злодеяния рыцарей Артурова Круга. Император слушал: он чувствовал в душе злорадную, почти мальчишескую, озорную насмешку. Он заверил ее в своем сочувствии, но подчеркнул, что как раз сейчас, после многих лет напряженных государственных трудов, разрешил себе небольшой отдых. Ведь все в конце концов

личное дело Виттельсбахов. Тем не менее по возвращении в Прагу он готов благосклонно рассмотреть ее жалобу. Не удалось Маргарите ничего добиться и при вторичном нажиме на императора; напрасно она унижалась. Очевидно, Карл твердо решил издала наблюдать внутреннее ослабление рода Виттельсбахов, сохраняя при этом бесстрастный нейтралитет.

А в общем, стареющий император держался в отношении герцогини с шутливой, почти пародийной галантностью, которая раньше чрезвычайно раздражила бы Маргариту. Ему доставляло особое острое удовольствие подчеркивать шумное веселье своих каникул и празднеств, свое счастье, свои успехи—перед этой окончательно одуревшей, потерпевшей крушение честолюбивой. Почти добродушно подшучивал он со своим канцлером над «уродливой». Не ведая смущения, вся покрытая драгоценностями, как идол, она повсюду показывалась рядом с императором. Народ удивленно глазел на нее. А она видела перед собой только свою цель: Тироля, города. Изгнать Агнессу, вырвать страну из ее рук. Так переполнена была она этой мыслью, что ни на миг не заподозрила, чем является для двора и города, а именно—шутовским венцом этого карнавала.

Разговор с герцогиней чрезвычайно ободрил Агнессу. Герцогиня предложила ей соглашение, готова отказаться от дальнейшей борьбы. Косвенно признала себя побежденной.

Агнесса понимала, что сам по себе Артуров Круг не в состоянии удержать надолго власть в своих руках. Города, вся знать, не вошедшая в него, ненавидела его. На границах караулил Габсбург, грозил Виттельсбах. Если с юга двинется еще герцогиня, то глупо будет и пытаться без союзника удержать страну.

Но принц Фридрих не хотел и слышать об этом. Стройный, темноволосый, упрямо твердил он громкие фразы о своем праве и непобедимости своего меча. Он очень понравился Агнессе. Но она невольно вспомнила Фрауенберга, как тот умел без слов, одной глумливой зловещей усмешкой превращать весь этот мальчишеский пыл в пустое марево. Она вздохнула, вздох был легкий и ленивый, погладила принца по темным волосам, осторожно стала уговаривать его помириться с отцом, с герцогом Стефаном, уверяла, что Виттельсбахи должны сомкнуть ряды для борьбы с Габсбургом, с Губастой. Словно ужаленный, обернулся принц, упрямо закинул голову, глубоко оскорбленный тем, что она считает его способным пойти на примирение. Агнесса молчала, улыбаясь смело изогнутыми губами, гладила его волосы.

Две-три недели спустя Стефан Нижне-Баварский заключил на Рейне союз с пфальцграфами, Рупрехтом — старшим и младшим, с городским советом, бюргерами Мюнхена и одиннадцати других баварских городов, а также с двадцатью двумя баварскими баронами против тех, кто называл себя рыцарями Артурова Круга, и стал между герцогом Мейнгардом и его землями и подданными. Они отказались признать министров, которые захватили власть и прерогативы Мейнгарда, весь круг его обязанностей, объявили государственную печать Артурова Круга недействительной, изданные им законы и распоряжения — не имеющими силы. Союзники обязались вызволить молодого герцога из того позорного положения, в которое его вовлекли, обязались воздействовать на него, чтобы он правильное понял свою власть государя и разумнее ею пользовался.

Рыцари Артурова Круга разразились бешеными угрозами, схватили нескольких мюнхенских граждан в качестве заложников, заявили, что повесят бунтовщиков за ноги, как шелудивых псов. Тем временем в некоторых городах Оберланда войска Круга были обезоружены и взяты в плен, чиновники, взимавшие налоги, избиты. Мюнхенские члены Круга выместили свою злобу на заложниках, жестоко измывались над ними, заставили лизать доски пола, двоих повесили. Тем не менее отряды Круга таяли с каждым днем, а на севере герцог Стефан стягивал войска. Однако строптивые бароны и не помышляли о том, чтобы добровольно распустить свой союз. В главном зале мюнхенского дворца торжественно поклялись они, скрестив мечи, хранить единство и сопротивляться до конца. Герцог Мейнгард присутствовал при этой сцене, смущенно переминаясь с ноги на ногу, торжественный, глуповатый, лишний, потихоньку гладил своего сурка Петера, пылко кричал вместе с остальными, когда они клялись, что не подчинятся никогда, никогда, никогда.

И вот началась для молодого герцога беспорядочная, бродячая жизнь, смысл которой он понимал лишь очень смутно. Его таскали по замкам рыцарей Артурова Круга. Он побывал в замке Лабер, Принценау, Максльрайн, Абенсберг. Молодые люди охотились, пьянствовали. Совершали время от времени набег на замок какого-нибудь непокорного барона. Захватили замок Вэрт, два укрепленных замка обер-егермейстера фон Куммерсбрука, доверенного покойного маркграфа. Мероприятия, которые герцог скреплял своей подписью, становились все более дикими и бессмысленными. Базарное село, побор с которого оказался меньше ожидаемого, было буквально сровнено с землей, Куммерсбрук, державшийся нейтрально,

был казнен без суда. Эти действия побудили все нейтральное дворянство перейти на сторону противника.

Мейнгард был не слишком вынослив и мало приспособлен к этим поспешным, полным опасностей переездам. В то время как другие бражничали, он сидел грустный и апатичный, иногда так и засыпал сидя. Его путешествия все более походили на бегство. У рыцарей Артурова Круга уже не оставалось на юге ни одного города, ни одного замка. Их все больше оттесняли к Дунаю, где стояли их самые укрепленные замки. Они все еще выпускали надменные указы и грозили бунтовщикам жесточайшими карами. Они бежали в Нейбург, затем в область верного им епископа Эйхштетского. Войска герцога Стефана заняли всю Верхнюю Баварию, наконец осадили Мейнгарда и его последних приверженцев в замке Фейхтванген, в долине Альтмюльталь. Епископ Эйхштетский, переодетый, решил пробиться вместе с герцогом Мейнгардом. Молодой герцог с увлечением согласился: его очень забавляло это переодевание, но о смысле всего происходящего он не догадывался. Однако уже в Фобурге крестьяне их узнали, задержали, отправили к герцогу Стефану в Ингольштадт.

Замок Фейхтванген пал. Принц Фридрих и последние из рыцарей Артурова Круга попали в плен.

И вот во дворце Ингольштадта герцог Стефан и принц Фридрих стояли лицом к лицу. В присутствии Агнессы фон Флаван-Тауферс. Герцог, в доспехах, бушевал: разрушены города и села! Перебиты люди, расточены деньги! Все—по вине глупого мальчишки! По-солдатски рявкал он из-под густых усов, торчавших на бронзовом лице. Стройный юноша стоял перед ним, в его глазах горел дикий упрямый огонь, раненая рука была на перевязи, лицо посерело.

— Каяться будешь в церкви, при всем народе покорись!—гремел отец. Юноша только злобно смеялся.— В самой вонючей тюрьме сгною!—бесился герцог.

Агнесса скользила от одного к другому.

— Повязку надо сменить,—озабоченно сказала она, осторожно занялась рукой Фридриха.

— Эти врачи!—сердился герцог.— Все до одного шарлатаны!—Сам побежал за врачом и перевязочным материалом.—Проклятый бесенок!—бранился он.

С трудом, отчаянно препираясь, причем посредницей между ними служила Агнесса, пришли они наконец к соглашению. Из-за каждого рыцаря Артурова Круга, из-за помилованья или той или иной меры наказания все сызнова начинался ожесточенный спор, вспышки гнева, крик, брань. Два раза герцог Стефан посылал сказать палачу, чтобы тот был наготове. Наконец кое-как сгово-

рились. Мейнгарду был назначен в качестве постоянной резиденции Мюнхен, печать по-прежнему оставалась у принца Фридриха, но каждый его приказ должен был заверяться или нижнебаварским, или пфальцским советом. Посредничество между Мюнхеном и Ландсгут-Ингольштадтом взяла на себя Агнесса.

Герцог Мейнгард улыбался кротко и благодарно. После стольких бурных дней был рад отдохнуть. Поглаживал своего сурка.

Маргарита совещалась со своими министрами. Присутствовали—Фогт Ульрих фон Мач, священник Генрих Тирольский, комтур Тевтонского ордена в Боцене граф Эгон фон Тюбинген, Якоб фон Шенна, Берхтольд фон Гуфидаун, Конрад фон Фрауенберг.

Что теперь делать, после того как герцог Стефан захватил в Верхней Баварии власть и влияние!

С Виттельсбахом можно поладить. Примириться с тем, что не Бавария будет управляться из Тироля, но Тироль из Баварии. Но так как фактический регент, герцог Стефан, сидит не в Мюнхене, а в Ингольштадте или в Ландсгуте, центр управления оказывался уже не так близко к Тиролю, централизация и объединение этим затруднялись, и стране в горах предоставлялась известная автономия.

Однако можно было также против герцога Стефана призвать Габсбурга. Последний только и ждет этого. Правда, зависимости в какой-то форме и тогда не избежать. Но по крайней мере будет обеспечена крепкая, устойчивая власть.

Тягуче, лениво перебрасывались сидевшие аргументами «за» и «против». С глухим раздражением слушала Маргарита. Неужели никому не приходит в голову самое простое решение? Разве они так мало в нее верят? Она взглянула на Шенна, на Гуфидауна. Они смотрели перед собой усталым, пустым взглядом.

Как ни странно, но предложение, которого она ждала, внес именно Фрауенберг. Осклабясь широкой улыбкой, он заявил: раз молодой герцог действительно так беспомощен и нуждается в том, чтобы им руководили, то почему не доверить этого руководства его естественному опекуну, матери, герцогине, которая и в гораздо более трудные минуты умела оставаться истинной правительницей? К чему еще договариваться с Виттельсбахами? Нужно только увести Мейнгарда в Тироль. Если уж всем этим баварским господам удавалось таскать его по всяким своим мерзким захолустным норам, так неужели, с помощью бога или черта, не удастся заполучить его в

Тироля, где ему и быть надлежит? А когда он окажется в своей стране, тогда и Баварией править можно будет из Тироля. Герцог Стефан еще подумает, прежде чем со своих берегов Дуная пуститься в военную авантюру против страны в горах. И тогда еще останется в резерве Габсбург как естественный союзник. На самый крайний случай можно будет, за определенную компенсацию, официально отказаться от Верхней Баварии, ограничиться автономным Тиролем.

Да, автономный Тироль. Таков был и план Маргариты. Бавария только как придаток, в крайнем случае можно обойтись и без нее. Но Тироль — тирольцам!

Прежде всего предстояло изъять Мейнгарда из-под влияния герцога Стефана, переправить его из Мюнхена на родину. С самого своего вступления на престол молодой герцог не был в родной стране. Вполне естественно, что народ желал наконец его увидеть.

По предложению Шенна и Гуфидауна, в Боцене было созвано многолюдное совещание представителей страны. Явились белокурые коренастые люди с короткими широкими носами и ленивым хитрым взглядом, явились тощие, чернобородые, загорелые, с орлиным профилем и живыми пронизательными глазами. Явились три наместника страны в горах — собственно Тироля, долины Эча и долины Инна, явились гофмейстеры, фогты и бургграфы. Явились бароны, крупные и мелкие, представители городов и округов. Всего их собралось сто пятьдесят три человека. Они совещались на пестрой веселой рыночной площади Боцена два дня подряд, два сияющих темно-голубых дня, в конце лета. Разбирались в трудностях, обсуждали их не спеша, тяжелодумно, осторожно, говорили жесткими, скрипучими, гортанными голосами. Хитро и честно по-сматривали друг другу в глаза, движения были медлительны, угловаты, простодушны, полами тяжелых кафтанов отирали они с лица пот. Горы стояли красно-бурые и лиловые, совсем наверху — белые.

Они решили написать молодому герцогу письмо. Под этим письмом от баронов подписались семеро: Ульрих фон Мач старший, Шенна, Фростбург, Генрих фон Кальтерн-Ротенбург, Гуфидаун, Фрауенберг, Боч фон Боцен; четыре города скрепили его своей печатью: Боцен, Меран, Галль, Инсбрук — от имени всех остальных.

Письмо гласило: «Возлюбленный господин наш! Доводим до сведения вашей милости, что мы, собравшись вместе в Боцене, согласились просить вас, чтобы вы, ради чести и пользы вашей, а также и всей страны, вернулись к нам, ибо мы давно желаем видеть вас, как оно и следует: вы наш возлюбленный и законный государь. Также будет вам у нас больше цены и уважения и не напустят на вас

порчи, как в Баварии, о чем доводилось слышать, да и страна ваша и люди ее будут избавлены от иноземного зла. У нас здесь в горах, бог милостив, все идет честно и ладно, как в счастливые времена при вашем батюшке; и в стране и на ее границах — мир. Милостивый господин наш! Просим вас доверять нам, мы желаем вам добра. Верьте нам, мы готовы отдать за вас добро свое и кровь свою, а иным прочим не доверяйте!»

Фрауенберг отвез письмо в Мюнхен. Он явился в сопровождении пышной свиты, вручил письмо на торжественной аудиенции. Не рассчитывал, впрочем, на успех, был уверен, что придется прибегнуть к другим способам.

За столом принц Фридрих рассказал, что его дорогой герцог и любезный кузен Мейнгард получил из провинции Тироль весьма курьезный документ, который он перед благородными рыцарями еще не огласил. Письмо было прочитано. Сначала присутствующие ухмылялись, затем стали прыскать со смеху. Сотрясались от все более громкого, неудержимого хохота. Улыбалась Агнесса, смеялись придворные дамы, гоготали, сгибаясь пополам, мужчины, блеяли лакеи, свистел Мейнгардов сурок Петер, визжали пажы.

— Уж эти тирольцы! — восклицали люди, задыхаясь от смеха.

— Да, таковы наши тирольцы! — сказал Фрауенберг, спокойный, розовый, жирный, и прищурил красноватые глаза.

— А вы тоже находите столь смешным письмо от наших подданных, господин герцог? — спросил Фрауенберг. Хотя его миссия с передачей письма окончилась, он все же остался в Мюнхене и много бывал с Мейнгардом.

В присутствии этого толстяка с жабьей пастью и голым розовым лицом молодой герцог всегда испытывал неприятное чувство, его грубая игривость пугала юношу. Но уйти у него не хватало духу; этот грузный, смеющийся визгун импонировал ему; он говорил совсем иначе, чем все прочие, непочтительно, уверенно, называл вещи своими именами. Он внушал чувство какой-то особой, даже приятной беспомощности, желание подчиниться его воле. Полный неизменного, смешанного со страхом любопытства, ходил кроткий, толстоватый, глуповатый герцог вокруг альбиноса.

В сущности, письмо тирольцев отнюдь не показалось Мейнгарду смешным, напротив, оно было мило его слуху и его сердцу; и лишь потому, что остальные так оглушительно хохотали и нашли его глупым и наглым, смеялся и он. То, что этот Фрауенберг, этот взрослый, разумный

человек, так серьезно относится к письму тирольцев, было для затравленного, обманутого герцога утешением и большой радостью. От этого доверчивого письма на него повеяло чем-то простым, спокойным. На несколько минут ему почудилось, что нет ни Мюнхена, ни утомительного рыцарского церемониала, ни Артурова Круга, ни Виттельсбаха. Как хорошо, должно быть, лежать на горном лугу среди тучных коров и ничего не слышать, кроме легкого ветерка и мягкого посапывания животных, щиплющих траву.

Перед ним стоял Фрауенберг, прищурясь. Мейнгарда потянуло подойти ближе.

— Как меня радует,—сказал он и поднял на него свои простодушные, круглые глаза,—что вы не считаете письмо моих тирольцев глупым.

— Глупым?—горячо возразил Фрауенберг.—Там каждое слово на месте, каждая буква бьет в цель! Те, кто смеялся над ним, сами дураки! Ведь иначе я не подписался бы под ним. А я и сегодня и в любую минуту готов опять подписаться под ним обеими руками!

Мейнгард сделал еще один неуверенный шаг к толстяку.

— Я так устал, так замаялся,—пожаловался он.—И Фридрих уже не смотрит на меня ласково, как прежде. Сначала я думал, что править очень легко. А теперь—один тянет туда, другой сюда, все хотят прибрать меня к рукам.

Альбинос положил ему на плечо свою толстую страшную руку, просипел:

— Эй, мальчуган, не поддавайся, мальчуган!

Мейнгард задрожал под рукой этого жирного человека, хотел выскользнуть из-под нее, но прильнул крепче.

— У вас есть друзья, молодой герцог,—продолжал Фрауенберг, честно глядя ему в глаза, осклабясь.

На следующий день Фрауенберг сказал:

— Почему, собственно, вы остаетесь здесь, молодой герцог? Раз письмо ваших тирольцев вам пришлось по сердцу, так последуйте ему!

Они совершали прогулку верхом, было раннее утро, внизу, между многочисленными каменистыми островками, шумел Изар, зеленый и свежий, большой плот осторожно плыл под шум и крики сплавщиков. Лошади пошли медленнее, Мейнгард сидел на своем буланом вялый, толстый, поникший.

— Этого же нельзя,—сказал он,—я же не могу этого сделать.

— Почему не можете?—настаивал Фрауенберг. Он подъехал совсем близко, как ребенку приподнял ему подбородок.—Кто хозяин—вы или герцог Стефан?

— Да, кто здесь хозяин,—повторил Мейнгард, но в его голосе звучал не задор, а унылая задумчивость. Все его доверие к альбиносу исчезло, ему было грустно оттого, что внизу, кипя, несется Изар, он боялся Фрауенберга, чуть не попросил в тот же день Фридриха, чтобы тот отослал его.

На следующее утро альбинос и не заикался о своем предложении покинуть Баварию. Он лежал с Мейнгардом в траве под созревающими плодами. Пел свою песенку о семи радостях, с отеческим добродушием сочно комментировал ее. Подобное мировоззрение было молодому герцогу очень по душе, он гладил своего сурка, благодушествовал. Фрауенберг потянулся, похрустел суставами, зевнул, богатырски захрапел. Да, спать—это лучшее. Странно привлеченный, но все же с потемневшими испуганными глазами созерцал Мейнгард беспечно храпевшего толстяка.

Агнесса сказала:

— Вы очень задержались в Мюнхене, господин Фрауенберг. Вы же занимаете в Тироле такие важные должности. Разве вы там не нужны?

Фрауенберг осклабился, так ощупал ее своими красноватыми глазами, что она учащенно задышала, просипел:

— Я, разумеется, здесь только ради вас, графиня Агнесса.

Они встретились, он лежал на ее диване, стояла гнетущая жара, воздух в комнате был сперт и необыкновенно душен. Она гладила его одутловатую розовую кожу.

— Что же,—улыбнулась она,—разве я не избрала благую часть? По-моему, я себя неплохо обеспечила.

Он осклабился:

— Увидим, курочка, увидим.

Она называет это обеспечением, подумал Фрауенберг. Вот он действительно себя обеспечил. Если ему удастся увезти мальчишку в Тироль, он будет держать в руках мать через сына, а сына через мать. В сущности, фактический регент Тироля он. Да, да, каким хочешь будь уродом, а чего только не добьешься, если иметь хоть каплю смекалки, да при деловитости, да при удаче.

Все с той же спокойной, ободряющей фамильярностью продолжал он подзадоривать юношу. Соблазнял, поддразнивал, подгонял. Властно забирал его в свои короткие красные руки. В Тироль! Пора Мейнгарду в Тироль, пора показаться своему графству. Значит, бегство?—перешитительно мямлил Мейнгард. Ах, бросьте! Какое бегство! Не нужно только поднимать много шума вокруг этой поездке. Однажды они просто отправятся в путь, Мейнгард, он, двое-трое слуг. Без особых разговоров. В

Тироле и Баварии и без того слишком много болтают. Это осложняет самые простые вещи. В конце недели принц Фридрих укатит в Ингольштадт к отцу. Тогда выедут и они. В другую сторону, на юг, в Тироль. Пусть сурок Петер снова увидит родные горы.

— Мой сын приезжает, Шенна!— сказала Маргарита, и ее темные выразительные глаза ожили. Прибыл курьер от Фрауенберга с вестью, что он везет Мейнгарда.

— Как вы рады, госпожа герцогиня!— сказал длинный Шенна, наклонился, ласково посмотрел на нее серыми, очень старыми глазами.— Я уже не надеялся, что вы когда-нибудь еще будете так радоваться.

Маргарита не слушала.

— Я знаю,— сказала она,— он не одарен. В стране найдутся тысячи более одаренных. Но это мой сын. Он создан из земли нашей родины. Он одно с ее воздухом, ее горами. Поверьте мне, Шенна, этот увидит гномов.

Да, Маргарита снова подняла разодранное, спущенное знамя былой надежды. Всю свою волю, всю силу жизни вложила она в это ожидание сына. Неуклюжими набыеленными руками гладила портрет кроткого, толстого, глуповатого юноши.

Слуга впереди, слуга позади—так ехали быстрой рысью Мейнгард и Фрауенберг на юг. Шел дождь, ухабистая дорога местами вела через густой лес, местами надолго исчезала в топи. Нелегко было в темную мокрую ночь держаться верного направления; при таком дожде о факелах нечего было и думать.

Рыцари были без доспехов. От влажного платья шел пар, кожаные колеты издавали резкий запах. Ехали молча; порой, когда они проезжали через ночное селение, лаяла собака.

В деревне Ленгрис сделали привал. Через несколько часов Фрауенберг заторопился дальше. Но Мейнгард чувствовал усталость и уныние, не столько от долгого пути, сколько от пережитых волнений. Самая трудная часть дороги еще впереди; ибо всего разумнее было, минуя людные местности, пробираться в Тироль через дикий Рис. Итак, выполняя желание Мейнгарда, Фрауенберг решил заночевать на постоялом дворе деревни Ленгрис.

Фрауенберг и Мейнгард улеглись в темной узкой комнате на сенниках. Каморка была низкая, печь дымила, а не грела, в воздухе стояла вонь, через оконное отверстие в комнату хлестали дождь и ветер. Фрауенберг

громко храпел; в углу что-то грызла крыса. У Мейнгарда все тело ныло от усталости, но он лежал без сна, кожа чесалась, веки жгло. Он чувствовал себя несчастным, замученным, вдруг перестал понимать, зачем едет в Тироль; охотнее всего возвратился бы он в Мюнхен. Мейнгард боялся встречи с матерью, она такая толстая, уродливая, властная. Он покосился на альбиноса, тот лежал грузной грудой, спокойно спал, сопел, храпел. Мейнгард боялся его, но Фрауенберг — единственный, кто способен помочь. Он нерешительно глотнул выдохшегося пива из грубой кружки, стоявшей возле него, стал следить за мухой, которая ползала по лицу Фрауенберга: но она, очевидно, тому не мешала. В конце концов юноша тихонько позвал:

— Господин фон Фрауенберг!

Альбинос сразу же проснулся, проскрипел своим бесцеремонным голосом:

— Что такое?

— Ничего,— виновато сказал юноша.— Только жутко мне... Я не могу спать.

— В таком случае едем дальше,— решил Фрауенберг и сразу вскочил.

— Нет, нет,— просил Мейнгард.— Мне только хочется немного поговорить с вами. Я тогда, наверно, успокоюсь.

— Глупый мальчишка,— проворчал Фрауенберг.

— Что мой отец больше любил, Тироль или Баварию?— спросил Мейнгард.

Фрауенберг сощурился.

— Сначала, вероятно, Тироль, а потом Баварию,— сказал он.

— А потом он умер?— спросил молодой герцог.

— Да,— ответил Фрауенберг,— потом он умер.

Когда Мейнгард, проспав несколько часов тяжелым сном, очнулся, оказалось, что сурок Петер исчез. Молодой герцог и слуги принялись искать. Фрауенберг ворчал на задержку. В конце концов зверька нашли мертвого в соломе, на которой спал Фрауенберг: вероятно, сурок ускользнул от хозяина, а Фрауенберг своей тяжестью придавил его. Мейнгард горестно уставился на него. Он совершенно пал духом. Его словно парализовала бессильная гнетущая печаль. С тупым, беззащитным ужасом смотрел он, как альбинос взял у него из рук трупик смешного зверька, которого Мейнгард так любил, поднял за задние лапки, насвистывая, зашвырнул в угол.

— А теперь на коней!— бросил он.

Они поехали дальше вверх по реке. Долина все суживалась, становилась извилистее; едва заметная узкая дорога изгибалась вслед за бесконечными поворотами

бурной зеленовато-белой реки. Кругом густой лес, мокнувшие деревья. Внизу — пенная, мутно-зеленая, разорванная бесчисленными каменистыми островками, шумливая и быстрая поверхность реки, между верхушками елей — печальное, грязно-серое небо. Отвесные скалы подступали иногда так близко, что лошади пугались, и лишь с большим трудом удавалось их заставить идти дальше.

Затем дорога разделилась, они погрузились в густой, бесконечный бор. Ехали вдоль многошумной, бурливой реки, которая, все более сужаясь, упорно пробиралась через темный лес. Кругом царила тишина, беспредельное одиночество. Лил дождь, неустанно, безнадежно, даже свист Фрауенберга в этом мокром сером унынии утратил свою бодрость, стал затихать, смолк.

Наконец долину реки, по которой они до сих пор ехали, перерезал высокий горный хребет. Они очутились в подобии амфитеатра, образованного полукругом из гигантских беспредельно нагих беловато-коричневых скалистых стен. За ними был Тироль. В этой горной долине они заночевали. Фрауенберг и слуги кое-как устроились под открытым небом. Крошечная полуразвалившаяся хижина, на которую они наткнулись, была предоставлена герцогу в виде убежища от дождя.

И вот, скрючившись, в этой хижине полусидел-полулежал юноша Мейнгард, герцог Баварский, маркграф Бранденбургский, пфальцграф Рейнский, граф Тирольский. Он подсматривал, прислушивался, не видят ли его, спят ли остальные. Когда он решил, что наконец один, он перестал сдерживаться. Ему было страшно, он чувствовал себя разбитым, беспредельно несчастным. Медленно выкатывались слезы из его простодушных круглых глаз, текли по толстым глупым щекам. Он плакал оттого, что Фрауенберг придавил его сурка Петера, он плакал оттого, что так высоки скалистые стены, через которые завтра ему предстоит перебираться.

Агнесса была поражена той искусной и дерзкой простотой, с какой Фрауенберг похитил герцога. Он импонировал ей; ну и ловкач, ничего не скажешь. С неохотой, без всякой надежды на успех, приняла она меры, чтобы помешать осуществлению его плана. Лучше было бы предоставить все Фридриху; но тот в Ингольштадте. Она сама вынуждена организовать погоню.

Она разослала к границам гонцов, небольшие вооруженные отряды. Надо было действовать незаметно, не привлекая внимания; нельзя показывать, что герцога силой не пускают в его графство Тироль.

Когда они оставили позади маленький охотничий домик в Карвенделе, Фрауенберг решил, что они уже вне опасности. Но за несколько часов до удобного перевала к Аахенскому озеру им повстречался обоз торговца лесом, скупавшего его в этой местности и как-то высеченного плетью за то, что он не согласился на сделку, которую ему хотел насильно навязать альбинос. Сначала Фрауенберг вознамерился напасть на лесоторговца и отделаться от него; но один из шести слуг, сопровождавших транспорт, мог пробиться, и тогда герцог оказался бы в еще большей опасности. Поэтому Фрауенберг решил лесоторговца не трогать и, невзирая на предостережения знавших дорогу слуг, попытаться вместо легкого Плумзерского перевала преодолеть трудный и необычный путь через Ламзенский перевал, на Швац или Фрейндсберг.

Оставили лошадей почти у самой скалистой стены, свернули в боковую долину. Ручей, прорывший эту долину, тек по отлогому руслу, часто совсем исчезал, уходил под землю. Знавший дорогу слуга шел впереди. Они встретили ивовые заросли, торфяное болото. Дождь все продолжался. Вдруг долина неожиданно расширилась. Они увидели необычный для этой местности клен. Несколько. Целую рощу. Неподвижно стояли под дождем могучие старые клены. Лишь смутно виднелись сквозь их листву и завесу дождя гигантские белые скалистые стены, беспощадно замыкавшие долину, и они были так высоки, что сквозь ветки деревьев нельзя было даже рассмотреть их вершин. Ни ветерка, только слышно было, как дождь тихо и равномерно стекает с листьев старых суровых мертвенно-серых деревьев.

Мейнгард был не в силах идти дальше. Под непрерывно льющимся дождем устроили привал, взялись за припасы. Мейнгард не мог есть. Ему было страшно оттого, что не видно верха скалистых стен. Никогда не подняться ему на такую высоту, не перебраться на ту сторону; они были заперты в этой долине, под этими жуткими, похожими на трупы деревьями, точно на краю света.

Стали подниматься. Вначале подъем был не труден. Шли медленно, следуя извилинам небольшого горного ручья. Слуги—впереди, отыскивая наиболее удобную тропу. Мейнгарду уже приходилось делать трудные переходы, но сейчас он был точно парализован. Ноги стали как чурбаны, он потел от слабости, дышал с трудом. Он скользил по мокрым камням, Фрауенберг поддерживал его, но юноша вздрагивал при каждом прикосновении. Чем выше взползали они, тем презрительнее, насмешливее шлепалась в него скалистая стена, тем казалась выше, непреодолимее.

Отцветшие альпийские розы, ползучий кустарник, снег. Слуги ровным шагом шли впереди. Неуверенно, скользя, задыхаясь, приостанавливаясь, следовал за ними герцог. Вдруг один из слуг замедлил шаг, насторожился, взглянул на Фрауенберга. Тот уже услышал, но его голое лицо не дрогнуло. Видно, лесоторговец все же поднял тревогу.

— Люди или пасущееся стадо,— сказал он равнодушно. Заторопился вперед. Ускорили шаг и слуги.

Мейнгард надеялся на отдых. Он рассердился, что об этом и не думают. Затем он впал в какое-то тупое забытие, предоставил толстяку волочить его дальше. Достаточно было на миг остановиться, чтобы передохнуть, как тотчас охватывал леденящий холод. Снег становился глубже, молодой герцог при каждом шаге неловко проваливался.

Фрауенберг обдумывал положение с режущей ясностью. Не будь снега, его все-таки удалось бы перетащить. Но так—с этим нюней невозможно перебраться через перевал. Кроме того, Мейнгард начинал упираться. Он становился все тяжелее, все ленивее.

Слуги ушли далеко вперед. Фрауенберг остановился.

— Что, молодой герцог, устали?— просипел он.

Мейнгард, совсем обессиленный, опустился в снег, задыхаясь. Фрауенберг насвистывал свою песенку. Его мысль напряженно работала. Значит, не выгорело. С этим он уже примирился. А что дальше? Снова отдать Мейнгарда Виттельсбахам, а те, после неудачного побега, заберут его в руки еще крепче? Хорошо было бы через Мейнгарда влиять на герцогиню. Но это не выгорело. Тогда лучше иметь дело с одной Губастой, а для навязчивого контроля Виттельсбахов исчезнет раз и навсегда всякий предлог.

Он все еще продолжал насвистывать. Глотнул вина из своей фляжки. Протянул и Мейнгарду.

— Нужно скорее идти дальше, молодой герцог,— сказал он. Подал ему руку, помогая подняться.

— Я не могу,— жаловался Мейнгард, с трудом вставая,— да и не хочу,— добавил он упрямо.

— Так?— осклабился Фрауенберг.— Что ж, нет так нет, мальчик.— Он просипел это так же добродушно, как и всегда; но что-то в его голосе заставило Мейнгарда поднять глаза. Альбинос уже несколько не щурился, он посмотрел зорко, пристально—сначала вслед слугам, ушедшим далеко вперед, затем на юношу. Простодушные круглые глаза Мейнгарда остекленели от ужаса, его горло издало только легкий хрипящий звук. Короткими, толстыми детскими руками вцепился он в ветки альпийской розы, зарылся ногами в снег. Фрауенберг, спокойно осклабясь, сказал:— Ну-ка, отправляйся, молодой герцог!— медленно

оторвал красными мясистыми руками оцепеневшие пальцы юноши от скалы, поднял его, занес над пропастью, просипел: — До свиданья, мальчик! — разжал руки. Тело несколько раз ударилось о скалы, упало неглубоко, осталось лежать.

Фрауенберг резким повелительным свистом созвал слуг, безмолвно показал вниз. Они спустились, тело было сильно изуродовано, в жирном мягком затылке зияли две раны. Стали ждать преследователей. Это были два офицера и несколько слуг. Фрауенберг заявил, что они с молодым герцогом хотели наловить сурков, и герцог сорвался. Грузно стоял он перед офицерами в своем резко пахнущем колете, шурил красноватые глаза. Мокрый снег падал хлопьями на труп. Поднялся небольшой холодный ветер. Все сняли шлемы, стояли молча в снегу вокруг изувеченного тела.

По залам и переходам замка Тироль, пошатываясь, брела женщина, бормотала, выла, падала, снова вставала, снова брела. Слишком крупная бесформенная нижняя челюсть отвисла, волосы свалились, — отвратительного цвета тусклой меди, местами — желтовато-седые. Простыня, какое-то подобие ночной сорочки, развевалась вокруг коренастого разбухшего тела, вокруг вялых больших грудей, волочилась по полу. Слуги приняли эту воющую, спотыкающуюся, бормочущую женщину за пьяную, не сразу узнали герцогиню.

Нарочный с вестью о смерти прибыл рано утром. Маргарита получила ее в постели. Она встала, не слишком поспешно прошла мимо растерянных, перепуганных горничных и пажей, завыв, глядя словно ослепшим взором, волоча за собой простыню.

Шенна привел ее обратно. И вот она сидела в своей спальне, вперяясь в пространство, перебирая обрывки каких-то мыслей.

Сколько на ее пути мертвецов! Голова Крэтиена де Лаферта, яд, безвкусный, безуханный, от которого умер маркграф, ее дочери с большими черными лопнувшими чумными бубонами, еврей Мендель Гирш в молитвенном плаще, улыбающийся мальчик Альдригетто, Мейнгард. Это оттого, что она так безобразна, вот за ней и ходит смерть, вот и смотрят на нее из всех углов пустые костяные черепа.

Она сидела неподвижно. Наступил полдень. Наступил вечер. Иссохшая фрейлина фон Ротенбург спросила, не пожелает ли она обедать, не пожелает ли одеться. Она же была неподвижна. Сколько на ее пути мертвецов. Оттого, что она так безобразна.

Тем временем Фрауенберг сопровождал тело Мейнгарда через Миттенвальд в Тироль. Он ухмылялся. Таким образом он хоть набьет руку по части перевозки своих мертвых сюзеренов.

Подавленная, встретила страна своего государя. На торжественном съезде просила она его приехать. И он приехал—вот так. Под дождем и снегом стояли люди вдоль дороги, по которой, покачиваясь, следовал поезд. Звон колоколов, духовенство в облачении, рыцари, судьи, чиновники, все с обнаженными головами. А мимо них плыл гроб, вверх по склону горы Цирль, вниз, в Инсбрук, вверх, на Бреннер, вниз через Яуфенский перевал, Пассейер. Народ, крестясь и глядя вслед поезду, медленно перебирал в голове тяжелые, унылые думы. То был последний граф Тирольский. Не повезло стране с этой Маульташ. Первого мужа прогнала, второй умер загадочной смертью, умер и сын, так и не увидев родины. К тому же войны, бунты, наводнения, пожары, чума. Нет, плохо жилось Тиролю при герцогине Маульташ.

У ворот замка герцогиня, оцепенев, поджидала поезд. Резко оттеняло черное платье белила, которыми было покрыто ее лицо. И вот она шла через двор замка, рядом с носилками, одна. Падал снег. За гробом, в доспехах, грузной тушей шагал Фрауенберг.

В Мюнхене весть о смерти Мейнгарда всех поразила. Здесь никто не верил в несчастный случай, вопрос был только в том, действовал ли Фрауенберг по собственному почину или выполняя поручение герцогини; однако никто не отважился высказать вслух это подозрение. Только жадный до сенсаций флорентинский историк Джованни Виллани, соперник честного Иоанна Виктрингского, оказавшийся в это время в Мюнхене для каких-то архивных изысканий, утверждал, что насильственное устранение молодого герцога—факт. Он тщательно перечислял, по степени их убедительности, все причины, которые могли и должны были повести к подобному злодеянию, написал об этом в своей хронике элегантную, красноречивую главу и читал ее всем, кому было не лень слушать.

Стефан, Фридрих, Агнесса были в ярости и смятении. Мысль о столь простой, цинично грубой развязке и в голову никому не приходила. Впервые, с тех пор как Агнесса и Фридрих встретились, напали они друг на друга. Он должен был отправить Фрауенберга обратно. Он не имел права покидать Мюнхен, пока тот был здесь, говорила Агнесса. А он говорил, что она должна была лучше смотреть за Мейнгардом; достаточно уехать на один день, как все идет вверх дном, ни на кого положить-

ся нельзя. С несчастным видом стоял между ними герцог Стефан. Он предчувствовал это, судьба не благосклонна к нему, не дано ему снова возвеличить в христианском мире род Виттельсбахов. Когда они устали спорить, они решили пока сосредоточить все свое внимание на том, чтобы сохранить Баварию; оголеть границы и продвинуться в Тироль—для этого они не имели достаточно военной силы. Напротив, пусть Агнесса едет в Тироль и там позондирует почву.

С очень скромной свитой прибыла она в замок Тироль. Маргарита в тот же день приняла ее. Агнесса сидела перед ней розовая, гладкая, молодая, белокурая, в очень скромном черном платье: герцогиня была ярко набелена, руки и бесформенная шея блистали драгоценными камнями, она была разряжена в атлас и парчу. Очень любезно со стороны Агнессы, сказала она несколько сухо и церемонно, что та не побоялась трудностей зимнего путешествия и приехала отдать последний долг ее сыну. Агнесса ответила, обратив на герцогиню ласковый и простодушный взгляд, что это ее долг после всех милостей, оказанных ей тирольским домом. К тому же она была особенно близка с умершим. У нее нет слов, чтобы выразить герцогине, как она была убита, получив ужасную весть. Маргарита, бесцеремонно уставившись на нее белым, широким, властным, покрашенным, словно маска, лицом, спросила, хочет ли она видеть герцога. Агнесса, несколько неуверенно, ибо боялась покойников, согласилась. Обе женщины направились в часовню, тяжело тащились парчовые складки одной, другая шла легко, закинув голову. Молодой герцог лежал на роскошном катафалке, густо клубился ладан, рыцари в серебряных доспехах несли караул. Герцогиня кивнула, тяжелую крышку приподняли, под ней белело его миролюбивое толстое лицо, изувеченное и искаженное. Труп уже тронулся—несмотря на бальзамы и ароматические травы, из-под блестящего металла исходило зловоние. Агнесса покачнулась, побледнела. Маргарита увела ее.

Когда обе дамы снова сидели у камина, Маргарита сказала небрежным тоном:

— Теперь наш последний разговор потерял свой смысл, графиня Агнесса. Мой сын опять у меня, не в Мюнхене.

Агнесса, сбита с толку легкостью тона своей собеседницы и не зная, куда та клонит, ничего не ответила; смотрела на нее, выжидая.

А герцогиня продолжала все с той же пугающей светской легкостью:

Вы вышли замуж за Кретиена де Лаферта, и он умер. Вы хотели подчинить Баварии мои любимые горо-

да—они чуть не погибли. Вы сошлись с маркграфом, он тоже умер. Вы сделались поверенной моего сына, и вот он тоже мертв. Не считаете ли вы, что после всего этого явиться ко мне сюда, пожалуй, слишком смело?—Все это она говорила как бы вскользь, улыбаясь безобразным, по-обезьяньи выпяченным ртом, ее накрашенное лицо, напоминавшее лицо трупа, было искажено напускной приветливостью, она даже слегка наклонилась и, чего еще никогда не делала, с коварной ласковостью положила руку на локоть Агнессы. Та сидела бледная, оцепенев.

— Я не знаю, чего вы хотите,—пролепетала она.

— Очень мило с вашей стороны,—продолжала Маргарита,—что вы сами приехали. Иначе мне пришлось бы пригласить вас; уж поверьте, мое приглашение было бы таким, что вы бы приехали.

— Я отказываюсь вас понимать,—сказала побелевшими губами Агнесса.

— Да,—вдруг прервала разговор Маргарита и поднялась.—До похорон герцога—вы моя гостья. Придется уж потерпеть, приготовления потребуют времени.

— Я, собственно, хотела до похорон пожить в Тауферсе,—проговорила Агнесса; она совсем оробела и увяла, ее голос срывался.

— Ни в коем случае,—горячо запротестовала герцогиня.—Вы останетесь здесь. Разве вы и ваши близкие уже много раз не гостили в Тироле? И не вздумайте уехать,—заклчила она, провожая Агнессу до двери.—Путешествие могло бы оказаться слишком неприятным.

Слуга проводил Агнессу в ее комнату. Вооруженная охрана у дверей взяла на караул, когда графиня переступила порог.

Маргарита, оставшись одна, забежала по комнате, ее шаг был какой-то окрыленный—он напоминал неуклюжий танец.

Как жаль, что та просто отдалась ей в руки. Было бы хорошо и сладостно сначала с трудом заманить ее сюда, долго месить тесто, прежде чем съесть пирог. Но уж таковы они, эти гладколицы. Красивы и глупы.

Маргарита вышла на воздух одна. Она бродила по засыпанному снегом виноградникам, лазила по уступам. Села в снег. Погрузила руки в мягкий, холодный снег, сжимала его в комья, роняла, снова сжимала.

Унизить ее, растоптать, растерзать, раздавить, расплющить, чтобы ничего не осталось, кроме презренного комочка падали! Упить ее страхом, ее тоской, ее страданьем, пока красота Агнессы не будет повержена, как повержен сын герцогини, смердящий там, в часовне.

Когда некоторое время спустя иссохшая фрейлина фон Ротенбург пошла разыскивать свою госпожу, она услышала то, чего не слышала уже много лет. Герцогиня пела. Своим низким, теплым, выразительным голосом она пела. Сидя в снегу—пела, и песня широко и полнозвучно лилась из ее безобразного горла.

Герцогиня прежде всего вызвала к себе фон Шенна. Уточнила. Падение Мейнгарда со скалы безусловно произошло по вине графини фон Флавон-Тауферс. Она не согласна замять это преступление. Собирается, наоборот, покарать за него с примерной строгостью. Шенна, глубоко встревоженный, стал настойчиво отговаривать ее. Ведь народ столь же искренне, сколь и незаслуженно любит Агнессу. Посягать на нее опасно. Можно урезать ее владения, власть, влияние, но решиться на большее—противоречило бы государственному разуму.

Маргарита раздраженно, нервно возразила, что отлично знает, насколько сама непопулярна. Хуже ведь не будет. Значит, она ничем не рискует.

— Нет, рискуете!—с необычной для него резкостью возразил Шенна. Она всем рискует. Рискует вызвать восстание, которое будет на руку Виттельсбахам.

Маргарита вскипела, потом заявила: ни за что не желает она больше делить власть и правление с этой особой. Лучше отречься от престола. Она смотрела перед собой воспаленным взглядом, не доступная никаким разумным доводам. Шенна взволнованно ходил по комнате большими неровными шагами. Если она все-таки настаивает, посоветовал он через минуту, досадливо и смешно наморщившись, тогда пусть, во имя божье, хоть созовет верховный суд. Только пусть, ради господ, ничего не предпринимает против Агнессы без законного суда.

Она вызвала к себе Фрауенберга и несколько наиболее влиятельных аристократов. С ужасающей ясностью сразу поняла: все они против нее, все на стороне Агнессы. Но, за немногими исключениями, все готовы продать свое настоящее мнение. Они отнеслись к обвинению, выдвинутому Маргаритой против Агнессы, как к прихоти. Хорошо, они согласны поддержать эту прихоть, но считают, что Маргарита должна щедро оплатить их готовность.

Все требовали, все вымогали. У Маргариты сжималось сердце, она стискивала зубы. Они стояли перед ней, ее верноподданные, снедаемые патриотическими сомнениями. А под этим таилась усмешка: не заплатишь—не получишь.

Бароны сговорились, уравнили свои притязания. Фрауенберг передал герцогине их общие требования. Они были ничем не прикрыты, бесстыдны. Пусть Маргарита образу-

ет новый кабинет министров. При условии, чтобы в него вошли Фрауенберг, Шенна, Берхтольд фон Гуфидаун, господин фон Мач, ландесгауптман и комтур Тевтонского ордена Эгон фон Тюбинген, Генрих фон Кальтерн-Ротенбург, Диппольд Гэль, Ганс фон Фрейндсберг. Эти господа, которые соглашались быть судьями в процессе графини фон Флаван, хотели затем взять в свои руки всю юридическую и административную власть в стране. Маргарита должна была дать обязательство без их согласия не совершать никаких правительственных действий, не назначать и не смещать чиновников, ни с какими иноземными государями не заключать соглашений и союзов. Не имела она также права сменять министров: если, ввиду смерти или почему-либо, член кабинета выбывал, то заменить его могла не герцогиня, а кабинет.

Маргарита сидела над документом с требованиями баронов. Она хмурила лоб так сильно, что краска отваливалась кусками. Подписать вот это значило пожертвовать городами, швырнуть страну наглым баронам, чтобы они вонзили в нее жадные клыки, отгрызли себе по жирному куску. Подписать вот это значило: дать Тиролю распасться на ряд мелких дворянских вотчин, постыдно погубить дело, в которое ее предки и она сама вот уже столетие вкладывали деньги, нервы, жизнь.

Вдруг перед ее мысленным взором возникло маленькое бородатое создание, которое ей однажды предстало среди скал возле замка Маульташ. Оно усиленно кланялось, серьезно смотрело на нее древними глазами, говорило.

Усилием воли отогнала она гнома. Погибай, страна, погибайте, города! Согнись, выя! Смирись перед дерзостью вассалов! Так должно быть. Счеты должны быть сведены между той и ею. Бессмысленно теперь уклоняться от требований баронов и щадить ту. Она все равно будет разрушать и дальше дело Маргариты, подтачивать его, губить. Красавица—это червь, грызущий страну, все зло—от ее наглой, похотливой красоты. С ней нужно покончить, ее надо уничтожить, убрать со света, стереть с лица земли. Страна в горах не обретет покоя, пока эта женщина жива.

Обнажая свое сердце перед богом, она могла с чистой совестью сказать: да, бывали часы, дни, недели, когда в ней не жило ни одной мелкой, тщеславной мысли, только чистая глубокая воля к тому, чтобы склониться перед судьбой, следовать до конца своему долгу. Но та, тщеславная, пустая, вновь и вновь играючи разбивала все, стоившее Маргарите таких трудов, унижений, жертв, та, не имеющая и представления о муках и тягостях созидания. Разве это справедливо? Разве справедливо, чтобы

пустое, глупое, дурное, пошлое, только потому, что оно прикрыто гладкой личиной, всем распоряжалось, все собой заполняло, не оставляя ни уголка для вдохновения, для выстраданной мудрости? Этого бог желать не мог. Это нужно низвергнуть. С какой-то блаженной мучительной судорогой она чувствовала, что судьбы их с красавицей нераздельны, что она обречена довести все до конца. Нельзя ни откладывать, ни прятаться, ни прикрываться маской, нельзя пугаться огромной ставки, искать компромиссов. Это надо довести до конца.

Пришел Фрауенберг за ответом. Ее рука неуклюже лежала на документе, содержавшем требования баронов. Она подняла глаза, взглянула на Фрауенберга, сказала спокойно, не повышая голоса:

— Мерзавцы! Вымогатели!

Фрауенберг ответил равнодушно, игриво:

— Да, герцогиня Маульташ, дешево мы не берем!

Она подписала.

Агнесса, оставшись одна, села, охваченная страшной слабостью. Боже милостивый, что она натворила? Сама с любезной улыбкой отдалась в руки врагу. Где у нее голова была? Пусть смерть Мейнгарда — удар и испытание для Безобразной, но это еще больший удар для нее самой, Агнессы. После устранения Мейнгарда и своего смелого, неожиданного отказа от Баварии герцогиня осталась победительницей. Агнесса теперь не понимала, как могла она, при таком положении, сама побежать в дом своей противницы и увенчать ее победу?

Она сидела совсем одна, одинокая и потерянная. В комнате было едва натоплено, Агнесса зябла. Действительно ли это холод? В нее заползало чувство, до сих пор ею не изведенное, оно сжимало горло, не давало дышать. Всегда была она дерзка и самоуверенна, всегда чувствовала себя хозяйкой положения, командовала мужчинами, как ей заблагорассудится. Теперь она совершенно беспомощна, эта женщина может сделать с ней все, что захочет. Страх и холод томили ее. Ее глубокие голубые глаза уже не блестели обычной смелостью, они погасли и остекленели, ее гибкая спина сгорбилась, кожа на белых руках съезжилась, гладкое лицо покрылось сетью мелких, сухих, застывших морщинок.

Так просидела она до вечера. Но вечером принесли свет, разожгли в камине огонь, поставили на стол кушанья. Она попыталась взять себя в руки, поела, согрелась, ожила. Пустяки! Ясно, что это и было целью Безобразной — унижить ее, запугать, заставить пресмыкаться. Маргарита, конечно, не отважится ни на что

серьезное. Разве вся страна не за Агнессу? Сама-то Маргарита уродина, вот и хочет, чтобы Агнесса оказалась трусихой. Нет, она и не подумает доставить герцогине это удовольствие. Она выпрямилась, взгляд стал снова небрежным и дерзким, как всегда. Она поела с аппетитом, потребовала второй порции, шутила с лакеями. Спала крепко, спокойно, долго.

Когда на другой день к ней явился Фрауенберг, он нашел ее в отличном расположении духа, она лакомилась конфетами, наигрывала на лютне фривольный куплет. Она принялась издеваться над старомодной обстановкой комнаты. Фрауенберг осклабился: конечно, так модно и комфортабельно, как она, Безобразная не умеет устроиваться. Он погладил ее, прищурившись, заявил отеческим тоном, что ведь он же предупреждал, чтобы она не связывалась с этими молокососами, что это кончится плохо. Она спросила непринужденно, уж не с поручением ли он от Безобразной. Но ее ведь не запугаешь. Что, собственно, они затевают? Сколько это еще будет тянуться? Альбинос просипел, что ее, вероятно, будет судить верховный суд. Агнесса заявила: пусть поторопится, в этом замке Тироль такая скука. Она просит также, чтобы прислали ее горничную и портниху, она хочет предстать на суде в соответствующем платье. Он ответил, что все ее приказания будут исполнены. Оставшись одна, Агнесса снова принялась за конфеты, стала брэнчать на лютне. *

Заседание верховного и тайного судилища, которое должно было вынести приговор Агнессе, герцогиня постаралась обставить с торжественной пышностью. Три покоя, прилегавших к залу суда, охранялись вооруженной стражей, чтобы обеспечить тайну. Девять членов суда сидели молча, в темных одеждах, на самой Маргарите пышно блистали знаки ее власти.

Агнесса была в простом светло-алом платье, подходившем скорее для приема или небольшого праздника. Держалась небрежно, уверенно. Она была убеждена, что Безобразная не осмелится покуситься на нее и торжественная пышность суда имеет целью только запугать ее. Все это делается лишь затем, чтобы ее, красавицу, унижить перед уродом. Нет, она отнюдь не намерена доставить им это удовольствие.

Домовой священник при замке Тироль, исполнявший обязанности секретаря, зачитал обвинительный акт. Графиня фон Флавон-Тауферс искони стремилась оказывать на Мейнгарда губительное и вредное для страны влияние. Когда молодой герцог вознамерился вернуться в Тироль и

таким образом от нее ускользнул,— доброе же его согласие с подданными грозило разрушить все ее планы,— она попыталась завладеть им силой, в результате чего молодой герцог и погиб.

Агнесса сказала, что ее удивляет, как столь могущественные и мудрые господа могут так враждебно истолковывать самые простые и ясные факты. Да, она жила в доброй и сердечной дружбе с молодым государем, ей дарил свою дружбу и доверие еще его отец. Иногда она, в меру своего ничтожного женского разума, давала тот или иной совет, по чистой совести, как верноподданная и добрая христианка, государю и его землям на пользу и процветание. Когда герцог Мейнгард уехал в Тироль, а герцог Стефан неожиданно возвестил о своем прибытии в Мюнхен, она послала нарочных с письмом вслед Мейнгарду, советуя ему, при данных обстоятельствах, возвратиться в Мюнхен. К несчастью, ее нарочные уже не застали герцога в живых. Все это совершенно бесспорно и ясно. Она— великая грешница, закончила Агнесса, улыбаясь; но в ее отношении к герцогу Мейнгарду, по ее скромному женскому разумению, не было ни одного слова, ни одного легчайшего помысла, в которых она не могла бы безбоязненно признаться людям и богу.

Она давала показания сидя, небрежно, своим обычным резким и безапелляционным тоном. Молодая, гладколицая, ясная, доверчиво сидела она в скромном светло-алом платье перед сумрачными, одетыми в черное судьями.

Маргарита сказала, что еще в Мюнхене предложила графине фон Флавон не вмешиваться в тирольские дела; но графиня осталась при своем. Агнесса возразила, что, видно, госпожа герцогиня тогда не так поняла ее. Священник замка Тироль зачел данные под присягой показания посланных графиней офицеров о том, что они от нее самой получили приказание доставить герцога в Мюнхен силой. Все посмотрели на Фрауенберга, который мог, конечно, подтвердить это показание. Он безучастно смотрел перед собой. Агнесса заявила, что показания офицеров, если они действительно давали их, чистейшая клевета. Фрауенберг осклабился.

Герцогиня сидела неподвижно, очень напряженная, черное парчовое платье стояло вокруг нее не сгибаясь, золотом сверкали знаки герцогского достоинства. Среди молчания, неожиданно, ни на кого не глядя, Маргарита вдруг открыла рот, заговорила: ровным голосом выложила все, беспощадно, голо, без всяких прикрас. Где бы она ни трудилась для страны, в горах, на Эче и на Инне, от итальянских озер и до Изара, всюду попадалась ей на пути эта графиня фон Флавон и всюду мешала ей.

Герцогиня говорила медленно, не повышая голоса. Она говорила о городах, о своих мероприятиях и о том, как графиня фон Флавон им противодействовала. Она говорила о своей борьбе за улучшение финансов и о том, как эта графиня фон Флавон снова призвала в горы итальянского банкира мессере Артезе, которого Маргарита прогнала. Она говорила о тирольской автономии и о том, как эта графиня фон Флавон всякий раз старалась посадить Тиролю на шею баварца, кровопийцу. Говорила об Артуровом Круге, об Ингольштадте и Ландсгуте. Медленно выходили из ее безобразного широкого рта простые, трезвые слова. Они падали равномерно, монотонно, словно тяжелый песок, они струились неудержимо, засыпали элегантную лучезарную Агнессу так, что та наконец стала казаться поблекшей, жалкой, потухшей. Когда герцогиня кончила, воцарилась тишина, слышно было, как потрескивают в камине поленья, судьи сидели мрачные, серые, ссутулясь.

Агнесса заявила, что никогда не стремилась влиять на дела. Если ее спрашивали, она отвечала, и то нехотя, что никому не навязывала своих советов. Она почувствовала, что ее слова не попадают в цель и никого не могут убедить. И вдруг она встала перед ними—веселая, свободная, легкая, гордая, обвела взором мужчин, одного, другого, сказала: если за ней и есть грех, то один—тот, что она существует на свете. Но такой уж ее создал бог. Пока жизнь в ней не погаснет, она не может помешать людям смотреть ей вслед, восхищаться ею.

Все взглянули на нее, даже быстрое перо священника перестало скользить по бумаге. Усталыми серыми глазами обвел ее Шенна с головы до ног, напряженно уставился в ее голубые глаза тощий, справедливый Эгон фон Тюбинген, сопел и вздыхал честный добродушный Берхтольд фон Гуфидоун, щурил красноватые глаза Фрауенберг. Эти ее слова—Агнесса почувствовала—не пропали даром. Она извлекла из себя какую-то часть своего существа, подняла ее обеими руками, протянула мужчинам, гордясь ею перед лицом своего врага. Нате! Смотрите! Вот какая я! Она наслаждалась произведенным впечатлением, облегченно дышала, наслаждалась.

Но тут она заметила, что и Безобразная на нее смотрит: голубые глаза красавицы погрузились в карие глаза уродины. И Агнесса увидела, что Маргарита улыбается. Да, белое накрашенное лицо герцогини прорезала легкая улыбка, и улыбка эта не была притворной, она была искренней. Тут Агнесса поняла, что та приняла меры, что ее победа заранее отравлена, что она погибла. Она вдруг начала дрожать, ее лицо померкло, ноги подкосились, ей пришлось сесть.

В комнату приговоренной без предупреждения внезапно вошла герцогиня. Агнесса выслушала приговор с большой выдержкой, легко, непринужденно. Оставшись одна, она снова повторяла себе, что Безобразная не осмелится идти дальше. Но когда она вспомнила легкую, загадочную улыбку Маргариты, от желудка вверх снова пополз тот тоскливый холодок, которого она никогда раньше не испытывала. При появлении герцогини она решительно взяла себя в руки, вежливо поднялась, не слишком поспешно предложила ей сесть.

Маргарита сказала:

— Вы намекали, графиня, на то, что между мной и вами есть что-то, кроме законной строгости государыни к подданной, которая не покоряется и вредит своей стране. Поймите же, что я ничем иным, кроме государыни, быть не могу, ибо во мне говорит оскорбленная страна, мои чувства—это чувства страны.— Она сказала это уверенно, с большой убежденностью, свысока.

Агнесса слушала внимательно, вежливо. Она не понимала, чего та хочет. Поняла только одно: «А! Ей что-то нужно от меня. Ей хочется откровенного разговора со мной. Хочется оправдаться. Как слабы ее позиции. Она чувствует, что побеждена, и пытается надуть меня. Только бы не попасться в ловушку. Говорить «нет». Что бы она ни обещала, говорить «нет».

Маргарита видела, что та не понимает. Она попыталась подойти с другой стороны. Устало, чуть нетерпеливым и все же примирительным тоном она сказала:

— Вы одерживали победы, графиня. Вполне признаю. Наслаждайтесь ими и впредь. Мое честолюбие и мои интересы устремлены на совсем иное, постарайтесь мне поверить. Я хочу иметь гарантию, что вы впредь Тиролю вредить не будете. Признайтесь при свидетелях и удостоверьте своей подписью, что ваша деятельность была во вред моей стране. Поклянитесь на Евангелии, что вы отныне будете воздерживаться от всякой политической деятельности. Тогда я отменю смертный приговор. Ваши лены вернутся в мою казну. Вы получите свободу и покинете Тироль.

Так вот она, ловушка. Агнесса про себя издевалась над Маргаритой. Никогда не осмелится она убить меня. И считает меня такой дурой, что я еще буду потакать ее трусости.

Она сказала:

— Такого документа я не могу подписать. Я существую, я живу на свете—вот вся моя политическая деятельность. Заставьте меня клясться, в чем хотите. Но вы ничего не можете поделать, да и я тоже, если мужчина, когда он смотрит на меня, поступает по-моему,

а не по-вашему.—Она мерила Маргариту взглядом с головы до ног, не отводила взоров, ее голубые глаза скользили по ней презрительно и насмешливо. Они насмеялись над безобразным, по-обезьяньи выпяченным ртом, дряблыми щеками, свисающим складками чудовищным подбородком, над всем ее неуклюжим кряжистым телом. Они проникали сквозь краску, насмешливо ощупывали сухую, бородавчатую, шелушащуюся кожу.

Герцогиня, оскорбленная сильнее, чем когда-либо, с трудом подавила поднявшуюся в ней беспредельную горечь. Она сказала, и ее насмешка прозвучала неискренне:

— Предоставьте уж мне, графиня, судить о том, нужно мне вас уничтожить или нет. Кажется, вы переоцениваете себя. С меня достаточно, если вы подпишете заявление.

Как вяло и бессильно прозвучал ее ответ! Она сама это почувствовала. Радостно, с упоением почувствовала это и Агнесса. Теперь она уверилась, что никогда та не решится привести приговор в исполнение. В чем-нибудь с ней согласиться? В чем-нибудь ей уступить? Да что она, дура, что ли?

— Мне искренне жаль, что я не могу исполнить ваше желание,—сказала она, смакуя лицемерные интонации слащавого, дерзкого сожаления.

Герцогиня поднялась. Ее решение было твердо: уничтожить эту особу! Страна требует этого. Бог хочет. Сжить ее со свету. Пусть исчезнет с лица земли. Воздух отравлен, земля горит под ногами, пока та дышит, пока та ходит по земле. Тяжело дотаскилась до дверей, словно большое, раненое, безобразное и грустное животное. Легкой поступью, вежливо проводила ее Агнесса.

Министры настойчиво просили Маргариту, чтобы она помиловала графиню. После процесса та не осмелится интриговать против Тироля. Пока внутренние дела Тироля в таком беспорядке, герцогине ни в коем случае не следует предпринимать что-нибудь решительное против Агнессы. Министры озаботились также, чтобы ни малейший слух обо всей истории — об аресте графини, процессе, приговоре — не разнесся по стране.

Шенна доказывал Маргарите, что никогда народ не поверит, будто Агнесса способна совершить дурное, что, посягнув на графиню, она вызовет только взрыв бешеной, фанатической ненависти к себе. Ни приговор, ни заключение кабинета не в силах помешать толкам об убийстве, о безвинно пролитой крови. Каждая туча, каждая гроза,

каждый падеж скота будут истолкованы как кара господня, ниспосланная за вину герцогини. Настойчиво глядя на нее умными серыми глазами, упрасивал он, заклинал не торопиться, отложить все по крайней мере до похорон Мейнгарда.

Она спокойно ответила:

— Нельзя, Шенна. Счеты должны быть сведены, Шенна.

Фрауенберг сидел один и пил. Была ночь. В углу храпел слуга. Он пихнул его ногой, приказал помешать поленья в очаге. Дал ему вина. Насвистывал, тихонько напевал. Обдумывал. Логика! Логика! Настойт герцогиня на своем, будет Агнесса обвинена в государственной измене или казнена, тогда не избежать восстания, и еще большой вопрос, удастся ли баронам, при данных обстоятельствах, удержать власть. Не исполнить желание Губастой, так она, с ее упрямством, то и дело будет к нему возвращаться, никогда не даст спокойно насладиться достигнутым. Как же быть? Логика! Логика! Он думал. Пил. Думал. Просиял. Ослабился. Дал слуге вина. Что-то просипел. Заснул.

На другой день пошел к Агнессе. Нашел ее очень оживленной, довольной его приходом. Она сказала, что не может теперь жаловаться на скуку. Гостей у нее хоть отбавляй. Сегодня он, вчера Безобразная. Да, соврал он,— Маргарита, конечно, ничего ему не сказала,— он уже слышал, дамы отлично поладили. Она посмотрела на него с легким недоверием. Он сощурился, начал издеваться над Маргаритой. Он принес с собой сладкой настоек. Она выпила. Она лежала на диване, белая стройная шея вздрагивала от смеха. Он ухаживал за ней. Она была очень весела, в приподнятом настроении. Принесенная им настойка была действительно какая-то особенная. Агнесса быстро пьянела. А он ее перехитрил, этот Фрауенберг, из-под носа выкрал Мейнгарда. Что ж, она на него не в обиде. Он настоящий мужчина, единственный, который ей импонировал. Она лежала на диване, приятно ослабевшая.

Какие низкие комнаты в этом замке Тироль! Потолок опускается. Все ниже. Подоприм же потолок, Конрад! Ведь так задохнуться можно. Потолок уже душит ее. Она неудержимо хохочет. Или это предсмертный хрип? Фрауенберг смотрел на нее, прищурясь, ждал. Следил за ней с вниманием знатока. Кивнул, увидев, как она перекатилась на бок, затем снова на спину, как она смеялась, ловила ртом воздух, хрипела; потом лицо ее исказилось, она замахала руками, боком съехала с дивана.

Не спеша он позвал ее горничных. Известил остальных членов кабинета о том, что спор с герцогиней о

помиловании графини фон Флавон потерял смысл, так как графиня, вероятно в связи с перенесенными волнениями, только что скончалась от удара.

Маргарита, узнав о смерти Агнессы, почувствовала глухую, расслабляющую пустоту. До того она вся была полна одной мыслью: Агнесса. Теперь все это исчезло, осталась только пустая оболочка.

Медленно, из всех уголков сознания собирала она силы, стараясь опомниться. Разве не должна она была чувствовать себя свободно, легко, окрыленно, радостно, раз погубительница ее страны умерла и ничем уже не угрожает стране? Ничуть не бывало: все больше росла в ней глухая, бессмысленная ярость. Она хотела видеть врага поверженным. Победенная, торжественно ведомая на смерть, должна была Агнесса признать: «Я жалкое, ничтожное, отверженное создание, а ты—государыня, высокая, недосыгаемая, богом избранная». Не смерть ее была важна, было важно именно это признание. А теперь Маргариту нагло и издевательски обокрали, обманули, лишив ненависти, мести, победы,—ненавистный враг похищен, достиг того берега, который недоступен для Маргариты. И вот она нагло, грубо, беззастенчиво обманута, а та улетела прочь, легкая, улыбающаяся, непобедимая.

Маргарита неистовствовала. Для чего теперь все ее жертвы? Для чего она швырнула хищным баронам свою страну, загубила дело своих предков и свое, постыдно покорилась жадности и глупости? А та ускользнула, насмешливая, улыбающаяся.

Она осыпала Фрауенберга непристойной бранью. Толстяк стоял перед ней, расставив ноги, спокойный, бесстрастный. О его голое розовое лицо проклятия разбивались, как водяные брызги.

Она созвала совет министров. Обычно столь владевшая своим голосом, герцогиня теперь, едва сдерживаясь, потребовала хрипло, отрывисто, заикаясь, чтобы немедленно были обнародованы материалы процесса и приговор и чтобы умершая была зарыта как собака. Если не сделать этого, в ее внезапной смерти обвинят герцогиню. Министры единодушно, решительно воспротивились. Большинство из них, как и вся страна, считали ее виновницей загадочной неожиданной смерти Агнессы. Они были искренне возмущены кощунственным безбожным требованием герцогини изобразить убийство из-за угла ненавистной соперницы как справедливый патриотический акт. Теперь, задним числом, они даже сочли собственные вымогательства морально вполне оправданными: ясно, что

мало любимых гарантий, когда имеешь дело с такой неистовой и преступной женщиной. Вообще же они испытывали большое облегчение от того, что конфликт разрешился столь неожиданно, и были отнюдь не склонны допускать какие-либо новые осложнения. Визгливо, отчетливо, беспощадно резюмировал Фрауенберг их мнение: «Чего, собственно, желает госпожа герцогиня? Бог сам взялся наказать преступницу. Теперь погубительница мертва, устранена с дороги. Ведь большего герцогиня и не желала, не могла желать. Ненавидеть и за гробом — это не по-христиански. И народ нельзя винить, если он теперь взбунтуется». А фон Мач добавил: да, конечно, в народе позволяют себе отзываться о герцогине непочтительно. По его сведениям, в некоторых местах, в связи со смертью графини, произошли беспорядки. Но так как они, министры, все как один стоят за герцогиню, то такие бунты легко будет усмирить. Уже многих бунтарей схватили, их подвергнут публичному наказанию плетьюми, тогда остальные попридержат язык. Если же опозорить умершую, то возмущение станет всеобщим, и он тогда ни за что не ручается. С трудом подбирая слова, изложил свою точку зрения честный Гуфидан, который после долгой внутренней борьбы наконец решил, что герцогиня невинна в смерти Агнессы. Преступница умерла. Какой ценой, более дорогой, чем жизнь, можно перед земными судьями заплатить за свою вину? Порочить память умершей — недостойно такой благородной и возвышенной женщины, как герцогиня. Он смущенно сел: он выступал редко. Все выразили свое одобрение.

Герцогиня посмотрела на Шенна. Тот нервно скреб костлявыми пальцами стол, молчал.

Маргарита упорствовала. Лихорадочно, сбивчиво бормотала она, что не отступится, этого требует ее престиж, она настаивает.

Но министры не сдавались. Они ссылались на соглашение, они наконец показали зубы, заявили, что никогда не дадут согласия на поругание покойницы. Маргарита кричала о бунте, неповиновении. Министры возразили, что спокойно принимают этот упрек. Их совесть говорит им, что это неповиновение — в интересах страны и самой герцогини; и они уверены, что их защита покойницы будет одобрена всем христианским миром. Маргарите пришлось покориться.

Она кипела бессильным гневом. О, эти министры, эти пегодзяи, трусы! Как они рады, что не нужно приводить в исполнение приговор! Как бесстыдно они надули ее! Выторговали у нее страну, а потом с недостойными увертками уклоняются от выполнения договора. Мерзавцы! Жулики! Вымогатели! Ей пришлось в голову обратиться

с просьбой о помощи за границу. Но Виттельсбахи — присяжные защитники Агнессы, а Габсбург слишком умен, чтобы выступлением против умершей заранее подорвать свою популярность.

Она сделала отчаянную беспомощную попытку победить покойницу. В последнюю минуту она назначила похороны Мейнгарда на тот же час, что и похороны Агнессы. Кто поедет в Тауферс хоронить Агнессу, тот не сможет быть на похоронах герцога. Настойчиво, иступленно призывала она страну сделать выбор между нею и покойницей.

Молча, упрямо глядя перед собой, сидела она, одичавшая в замке Тироля, ждала, кто придет к ней, кто к Агнессе. В глубине души она знала так же хорошо, как и все, что Агнесса своей смертью одержала над ней победу и уже недостижима ни для какой силы и ни для какой хитрости.

Члены кабинета обсуждали, кто из них будет на похоронах молодого герцога, кто поедет в Тауферс. Предоставили каждому и решать самому, и нести ответственность за решение. Большинство намеревалось отправиться на похороны графини фон Флавон. Ведь их руки неповинны в ее крови. Отчего же этого не показать? Фрауенберг, Эгон фон Тюбинген и честный, неторопливый Гуфидаун решили остаться в замке Тироля.

Поздно сидел в тот вечер Якоб фон Шенна. Но он не читал развернутый свиток. Он ходил по комнате своим неровным негибким шагом. Сначала он намеревался сказать больным и не быть ни в Тауферсе, ни в замке. Политическая сторона дела не трогала его, мнения и чувства черни не интересовали, он был слишком нечестнолюбив, чтобы считаться с ним. Но вражда между этими женщинами издавна его волновала, еще глубже задевала она его теперь, когда борьба шла между живой и мертвой. Маргарита потребовала от него помощи; впервые он отказал ей. Он не хочет быть втянутым в эту борьбу, не хочет становиться на чью-либо сторону. Не хочет.

Однако, может быть, он единственный, кто прозревает подоплеку этой борьбы. Маргарита, государыня, права. Агнесса была вредна, счастье для Тироля, что она умерла. Но кто готовился нанести удар — Маргарита-государыня или Маргарита-женщина? Пришлось ли Агнессе умереть оттого, что она приносила вред стране, или оттого, что была красива? Трудно решить. Верно только одно: Агнесса была самой красивой женщиной от По до Дуная. Он — уже стареющий человек. Может быть, поэтому он колеблется.

Все же он не хочет распускаться, не хочет признать себя старым. Нехорошо поступила герцогиня. Пусть он принял ее ужасный рот, ее отвислые щеки, все ее горькое безобразие. Но ее ненависти к умершей он не принимает. Простое честное чувство восстает против этого. Надо стать на сторону красоты. Он поедет в Тауферс.

Из Пустерталя через Бруннек словно поток лился в долину Тауферс. Никогда не видели эти горы столько людей. С трудом пробивались они сквозь глубокий снег, протоптали целую дорогу. Ночевали на морозе под ясным звездным небом. Скоро здесь вырос целый палаточный городок. Надвигались все новые тысячи, женщины, дети — трудности и опасности зимы не пугали их. В снежном воздухе звучали проклятия Маргарите, ведьме, меченой. Гнусно, предательски убила эта дьяволица кроткую, милую Агнессу. Вот она лежит в Тауферсской часовне чисто ангел божий; восковая, красивая, как святая в церкви. Бесконечной вереницей проходили мимо нее люди самого разного положения, возраста, облика — бароны, крестьяне, горожане, но все благоговейно-взволнованные, страдающие, все полные яростного, непримиримого негодования против герцогини.

А между тем в часовне замка одиноко лежал Мейнгард, последний граф Тирольский. При нем остались только офицеры и дворцовые служащие, которые обязаны были остаться.

Едва роняя слова, в ледяной замкнутости проходила Маргарита среди их шепота, стараясь не видеть пустых мест, отдавала, словно из-под ледяной коры, последние распоряжения. Разве господина фон Шенна нет? Нет, он до сих пор не приехал. После полудня: все еще нет? Нет, господина фон Шенна не было. Она послала нарочного в замок Шенна. Господин фон Шенна уехал. В Тауферс.

Шенна тоже...

Резкий запах разложения, исходивший от тела Мейнгарда, неудержимо просачивался сквозь благовония и курения. В часовне люди задыхались от него, несшие караул офицеры вынуждены были каждый час сменяться.

В третьем часу пополуночи Маргарита отправилась в часовню. Молча села подле своего разлагающегося сына — запах разложения не мог изгнать ее отсюда. Караул сменился, второй раз, третий, а она все еще сидела рядом с покойником, не шевелилась.

Значит, Шенна тоже...

Она стала призывать врага, умершую, призывала ее

повелительно. Та явилась. Маргарита препиралась с ней. Та улыбалась, молчала. Герцогиня поставила ей на вид все, в чем та нагрешила — бессмысленно, тщеславно, дерзко играя своей ничтожной, гладкой, бесстыдно сладострастной красотой. Здесь, в этой часовне, где лежали останки графов Тиролевских, некогда подчинивших себе и спаявших воедино могущественную, богатую, славную страну в горах, ставила она той на вид все, что та разрушила, погубила, опозорила. А та скользила назад и вперед, легкая, недостижимая, тление отступало перед ней, она улыбалась, скользила, молчала.

Шенна тоже...

Та победила. Права была Маргарита, но победила та. Маргарита ее уничтожила, а она победила. Была уничтожена, мертва, но победила. Все ушли к ней. Шенна тоже...

Затем на другой день за клубился ладан, запели погребальные хоры, гроб опустился, и каменные плиты, тяжело сомкнувшись, закрыли склеп. Но церемония не рождала внутреннего отклика. Песнопенья не расцветали в сердцах, торжественные жесты оставались холодными, немногочисленные свидетели погребения стояли неподвижно, смущенно, зябли.

В полотняном городе возле Тауферса шел великий поминальный пир. Люди грелись у высоких костров, жарили и варили на них. Резкие границы между сословиями стерлись. И крестьяне, которым обычно употребление рыбы и дичи было строжайше запрещено законом, ели их вместо репы и кислой капусты. Городские жители угощали их колбасой и жареной свининой. На бодрящем морозце люди с грустной растроганностью предались неудержимому разгулу тризны, жранью и пьянству. Блаженно захмелев, поминали с преувеличенным восторгом ангелоподобную красоту, кротость, доброту покойной графини фон Флауон; посылали злобные проклятия Губастой, чертовой ведьме, убийце. И мертвая Агнесса осталась жить в представлении народа, окруженная праздничным хмелем уже навеки недоступного благоухающего жареного мяса и обильного вина.

Одиноко справляла Маргарита пышные поминки в замке Тироле. Сидела в негнущемся платье, накрашенная, одна, под знаменами, военными значками, штандартами, за столом с парадными блюдами, сверкающим золотом и драгоценными камнями. Ухмыляющийся Фрауенберг, Гуфидан и Эгон фон Тюбинген брали у пажей и поваров кушанья, торжественно несли их к столу. Маргарита сидела прямо, неподвижно. Блюда подавались чудовищно обильные, их уносили нетронутыми. Так справляла она поминки в течение трех часов.

Секретарю Фрауенберга, тихому, смиренному клирику, пришлось немало поработать. Министры с откровенным бесстыдством воспользовались выжатым из герцогини договором, принялись делить между собой страну. Так и сыпались дарственные грамоты, высочайшие милости, привилегии. Правление баварского Артура Круга было верхом скромности по сравнению с грандиозным грабежом, узаконенным кабинетом герцогини...

Фрауенберг, осклабясь, загреб себе наследство, оставшееся после Агнессы, к тому же замок и поместье Пергин и замок Пенед, восточнее Ривы; Генрих фон Кальтерн-Ротенбург — крепость Каньо на горе Нонсберг и деревню того же имени; Ганс фон Фрейндсберг — крепость и поместье Штрасберг под Штерцингом. Все, что могли, захватили и братья фон Мач. Они потребовали себе Наудерс, город и округ Глурнс, пробство Эйерс, замок Юфаль в устье Шнальской долины.

Берхтольд фон Гуфидан и комтур Тевтонского ордена Эгон фон Тюбинген неодобрительно смотрели на это и, презрев насмешливые улыбки остальных по случаю такой наивности, не замарали рук грабежом.

Шенна огорченно качал головой, видя жадность своих сотоварищей. В конце концов сказал себе: лучше я, чем другой. Грустя, он ловко захватил судебный округ Зарнгейн, кстати загреб поместье Рейнек, затем еще крепость и округ Эппан и, вконец расстроенный столь великой слабостью и жадностью, еще Лугано, возле Кавалезе.

Маргарита, застывшая и молчаливая, подписывала все, что ей давали. За тридцать дней она раздала и заложила добрую половину своей страны.

Через высоты Кримлер-Тауерн, невзирая на отчаянный январский мороз, перебирались пятеро мужчин. Они проваливались в снежные ямы, вылезали из них, ранили лицо и руки о лед и камни. Из ущелий, с обманчивых снежных полей стократно, беззвучно на каждого дышала смерть. Два медведя издали следовали за ними, временами подкрадывались, принюхивались. Так пробились путники вперед три дня, пока наконец возле деревни Преттау не набрали на первое человеческое жилье.

То были Рудольф — герцог Австрийский, господин фон Раппах — его гофмейстер, господин фон Лассберг — его камерарий и двое слуг.

Габсбург, находившийся в это время в Штейермарке, в Юденбурге, получил с нарочным депешу от своего канцле-

ра, который был в Швабии у тирольской границы. Епископ Иоанн Гуркский доносил о тирольских делах и неурядицах, возникших в связи со смертью Мейнгарда, и советовал герцогу, столь же настойчиво, как и почтительно, возможно скорее прибыть в Тироль.

Рудольф недолго думал. Виттельсбахи, вероятно, грызутся теперь из-за оставленного Мейнгардом баварского наследства, и им не до Тироля. Да, канцлер прав, главное — сейчас же, как можно скорее, минуя Баварию, кратчайшими путями добраться туда и явиться к Маргарите. Вернуться в Вену? Прихватить войска? Нет, напрямик из Юденбурга поехал он верхом в Радштадт, в Пинцгау, потом, не слушая никаких уговоров, сейчас, зимой, отказаться от перехода через Тауерн, решительно пустился в путь, рискуя жизнью, перебрался через перевал, спустился в Преттау, в Аренталь. В Тауферсе, никем не признанный, смешался с потоком расходившейся после похорон толпы. Услышал о новом министерстве, о его неслыханных полномочиях и грабежах, добрался до Бруннека. Двадцатого января, на четырнадцатый день единоличного правления Маргариты, появился в Боцене.

И вот он здесь. Страна, его страна, за обладание которой и он, и его отец боролись десятилетиями, эта страна теперь в руках обнаглевших баронов, со дня на день разрывающих ее на все более мелкие куски. Он был совсем один; все его войско состояло из двух офицеров и двух солдат. Правда, уезжая из Австрии, он отдал приказ стянуть войска к тирольской границе. Но пока эти мероприятия осуществляются, страна в горах может быть уже поделена. Он хорошо понимал, в каком опасном положении находится. Вполне возможно, что разнузданные, одичавшие бароны не отступят и перед его священной особой, захватят его в свои руки — хотя, конечно, очень ненадолго, — попытаются выжать из него всевозможные гарантии и обещания. Но, как всегда, он не мог ждать. Он горел желанием выполнить свою миссию, был полон веры в самого себя. Все зависит от того, как он лично поведет себя.

Фрауенберг приказал доложить о себе герцогу. Явился как представитель министерства. Стоял перед герцогом насторожившись, выжидая. Тот был очень холоден, сдержан, Фрауенберг стал зондировать почву. Прищурившись, доверчиво посмотрел на герцога, сказал игриво: кабинет готов признать завещание Маргариты в пользу Габсбургов, при условии, что Рудольф гарантирует министрам, по крайней мере на двенадцать лет, неприкосновенность их прав и привилегий.

Рудольф смотрел на стоявшего перед ним дородного, грузного человека, он был ему очень противен. А тот

лукаво подмигнул с видом заговорщика, словно один продувной торгаш другому при заключении выгодной и не очень чистой сделки. Габсбург высокомерно ответил. В Тироле, очевидно, царят странные нравы и понятия. В габсбургских землях ни один человек, дорожающий своей головой, вероятно, не осмелился бы делать своему государю подобные предложения. Насколько ему известно, германские государи отвечают только перед богом и перед императором, а Габсбург, на основании особых привилегий его дома, не ответствен даже перед ним. Фрауенберг спокойно смотрел на него, ожидая, когда за этим общим введением теоретического характера последуют и частные, практические выводы. Герцог холодно закончил, что готов проверить, насколько привилегии баронов основаны на праве. Альбинос разинул свой жабий рот, просипел нагло, уверенно, весело: ну, тогда они, вероятно, столкнутся. Он надеется, что при проверке герцог проявит великодушие. Ведь и в Тироле всегда царило великодушие и никогда не подвергались сомнению найденные столь поздно и при столь необычайных обстоятельствах доказательства особых привилегий Габсбургского дома.

Но тут произошло нечто странное. Медленно, спокойно поднял молодой герцог узкую, крепкую, костлявую руку. Смугловатой оборотной стороной ладони ударил по жирному, голому, розовому лицу собеседника два раза, справа и слева.

Фрауенберг стоял неподвижно. Его побитое лицо не выражало никакой обиды, только глаза без ресниц смотрели не отрываясь на герцога, на его низкий, угловатый, энергичный лоб, орлиный нос, отвисшую нижнюю губу, на выступающий подбородок. Альбинос заморгал, заморгал сильнее, вздернул, словно извиняясь, плечи, поклонился, вышел.

Рудольф, оставшись один, глубоко вздохнул, улыбнулся, развел руками, рассмеялся.

Фрауенберг сказал себе: «Его можно было бы устранить. Но это не сойдет так гладко, как в те разы, и потом он, наверно, принял меры и за ним стоят другие. Умнее с ним не связываться. Жалко, конечно, что теперь уже не похозяйничашь. Но когда у малого эдакий затылок и эдакий подбородок!.. Что ж, добра я накопил и так немало. Кто бы поверил, что я сделаю такую карьеру? Теперь только бы побольше удержать. К чему эта вечная жадность? Я не осел. Когда риск слишком велик, я знаю меру. Во всяком случае — жаль. Но при таком орлином носе...»

Он принялся насвистывать свою любимую песенку, шумно зевнул, похрустел суставами, заснул.

Молодой, твердый, подтянутый, но не без почтительности, стоял герцог перед Маргаритой. Приветствовал оцепеневшую, замкнувшуюся женщину, выразил ей и словесно соболезнование по поводу ее утраты. Затем вежливо, однако решительно перешел к делу. При всех дворах славится она как правительница твердая и мудрая. Тем удивительнее, что за немногие дни ее единоличной власти дела в стране пошли так неудачно. Горе, которое причинила ей смерть сына, столь скоро последовавшего за отцом, вероятно, помешало ей использовать свои богатые дарования. Однако сейчас стране в горах нужна больше чем когда-либо твердая рука. На границе грозит Бавария, ломбардцы, в случае нападения Виттельсбахов, тоже не будут сидеть сложа руки, внутри страны правит одна лишь алчность баронов. Он предлагает Маргарите взвесить, не сочтет ли она за благо то доверие, которым было продиктовано ее завещание в пользу Австрийского дома, осуществить уже сейчас и уступить ему управление Тиролем.

Недвижно сидела старая грузная женщина перед молодым герцогом. Широкий выпяченный рот не дрогнул, массивные изукрашенные руки лежали словно мертвые на тяжелой черной парче ее платья.

Рудольф устремил на нее жесткие и ясные серые глаза, подождал, заговорил снова. Он не хочет соблазнять ее туманными обещаниями. До сих пор правление Габсбургов всегда было справедливым, твердым, решительным. Тироль не будет иметь никаких преимуществ перед другими габсбургскими землями; но за одно герцог ручается — как государь государыне, — ее страной будут управлять так же: твердо, справедливо, толково. Что касается лично ее, то ее жизнь будет более богатой и блестящей, чем при баронах.

Маргарита все еще молчала, смотрела перед собой пустым, затравленным взглядом. Рудольф закончил: он не торопит ее. Пусть она решит этот вопрос наедине с собой и с богом. Он просит ее только о доверии к нему и пусть обдумает его слова без предвзятости.

Маргарита сказала хриплым голосом:

— Обдумывать нечего. Я вам доверяю. Я вполне признаю правильность ваших мыслей.

Она встала, спокойным, странно безжизненным движением вывернула набеленные руки ладонями наружу, опустила их, словно уронив. Все выронила она: Тироль, ее города, творение ее предков, Альберта, Мейнгарда — сильного, неистового, творение Генриха и ее творение. Теперь она осталась нищей и голой.

Рудольф отнюдь не имел склонности ни к сентиментальности, ни тем более к патетике; но и он был странно и

глубоко растроган, когда Безобразная стояла вот так перед ним, все утратив, смирившись, устав от величия и рока. Он опустил на одно колено, заявил, что считает эту страну леном, полученным от нее, что всегда будет только ее правителем.

Во все концы мчались курьеры с письмами и приказами герцогини. В них Маргарита объявляла, что, в силу особых обстоятельств, а также слабости, присущей ее полу, она не в состоянии править своей страной так, как того требует благо государства, не может надлежащим образом защитить и его жителей и себя. Поэтому, следуя совету своих министров и представителей народа, передоверяет она свои достойные и благородные графства Тироль и Герц, а также земли и местности по Эчу, долину Инна с замком Тироль и с ними вместе все замки, монастыри, города, долины, горы, лены, хутора, фогства, округа, налоги, сборы, подати, уголья, рощи, луга, виноградники, пашни, озера, текучие воды, рыбные пруды, заповедники—словом, все свое отцовское наследие—своим любезным двоюродным братьям и ближайшим родственникам, герцогам Австрийским. И она торжественно повелевает всем своим прелатам, аббатам и всему духовенству, а также бургграфам, фогтам и всем чиновникам в Тироле и других ее странах, и всему населению принести присягу ныне и навеки герцогам Австрийским как своим законным правителям и государям.

И вскоре все без сопротивления принесли требуемую присягу верности и покорности. Третьего февраля присягал Боцен, пятого—Меран, девятого—Штерцинг, десятого—Инсбрук. Однако не все бароны покорились столь благоразумно, как Фрауенберг. Они попытались оказать довольно безуспешное сопротивление, завели сношения с Виттельсбахами, пытались поднять Север против Габсбургов. Когда Рудольф прибыл в Галль, чтобы принять присягу города, дело дошло до открытого восстания, жизнь самого герцога оказалась в опасности. Но галльские жители дали наемникам баронов отпор, город Инсбрук послал Габсбургу помощь, выяснилось, что города решили во что бы то ни стало поддержать его против своевластия баронов и стакнувшихся с баварскими чиновниками аристократов. Несколько дней спустя Рудольф мог с гордостью сообщить своему другу, венецианскому дожу, Лоренцо Челси: «Мирным путем, без особого сопротивления, удалось нам вступить во владение горной страной, обещанным нам наследием отца нашего. Лица

благородного звания и смерды присягнули нам и признали своим государем. Все дороги и переходы из Германии в Италию находятся, милостию божиею, в наших руках».

Маргарита с щепетильной добросовестностью занялась кропотливой и сложной передачей управления. Она допускала к себе только самых необходимых посетителей, говорила с ними только о деле. Собралась затем со своей иссохшей фрейлиной фон Ротенбург и двумя лакеями незаметно покинуть страну. Но Рудольф не хотел допустить, чтобы она отбыла бесшумно, без всякой торжественности. Он отдал приказ, чтобы отъезжающей государыне были оказаны все высшие почести. До границ ее владений ее провожали бароны, до городских ворот — духовенство и светские власти. Однако запряженные лошадьми носилки герцогини оставались закрытыми, лишь смутно можно было разглядеть между занавесками ее словно окаменевшую фигуру, проплывавшую мимо. С любопытством и страхом вглядывался народ, ничего не видел. Вот она уезжает, больная, отверженная, эта погубительница, ведьма, убийца, сладострастница, ненасытная, безобразная, губастая. Ей вслед полетели нелепые жестокие причудливые легенды. Не раздастся ли в ее замках зловеющий лязг и дребезг забытого оружия? Не постукивают ли в казематах и темницах кости убитых ею? Люди избегали мест, где она любила бывать, там нечисто. Детей пугали: не будете слушаться, вас заберет Губастая. Скот не хотел щипать пышную густую траву на горных пастбищах над замком Маульташ.

Когда она миновала Инсбрук и сидела в своих носилках, мрачно задумавшись, она услышала тонкий, тихий голосок: «Счастливый путь, госпожа герцогиня». Она испуганно вздрогнула, спросила иссохшую фрейлину фон Ротенбург: «Кто тут?» Но та ничего не слышала. Маргарита раздвинула занавески. И она увидела два крошечных бородатых создания. Они семенили по краю дороги, смотрели на герцогиню древними, серьезными глазами, стащив с себя грязновато-коричневые старомодные колпаки, почтительно кланялись много раз. Тогда Маргариту покинуло оцепенение, ее плечи опустились, толстая безобразная женщина тяжело поникла.

Она доехала до Химского округа у баварской границы. Здесь был выставлен почетный караул, салютовавший копиями. Склоненные знамена, музыка. Но занавески не открылись, носилки, покачиваясь, миновали границу, двинулись в сторону Баварии. Как только герцогиня скрылась из виду, пограничная стража, следуя приказу, спу-

стила тяжелые красивые стяги графини Тирольской, неспешно позевывая, насвистывая, подняла вместо них новые, скромные, чистенькие флаги с красным габсбургским львом.

Медленно гребла сильная служанка в тяжелой, неуклюжей лодке, плывшей от островка Фрауенинзель по озеру Химзее. Был полдень, очень жаркий, озеро лежало неподвижно, белесое, широкое, тихое. Оба сидевших в лодке духовных отца — канцлер епископ Иоанн Гуркский и аббат Виктрингский, древний старец, — были в дурном расположении духа. Флорентинский составитель хроники Джованни Виллани, соперник аббата, распространял сенсационные слухи, будто Маргарита, герцогиня Баварская, маркграфиня Бранденбургская, графиня Тирольская, живет со времени своего отречения в ужасающей нужде — Габсбург будто бы заставляет ее голодать, терпеть всякие лишения. И вот эти господа ездили по поручению герцога Рудольфа в Фрауенхимзее, где теперь жила Маргарита, чтобы убедить ее поселиться в Вене или где она захочет и жить там с подобающим ей двором. Разве Габсбург не отдал ей богатейшие доходы четырех поместий — Гриса возле Боцена, Штейна на Риттене, Амраса, Санкт-Мартина около Цирля, доходы с крепостей Шрассберг, Пассейер, с города Штерцинга, к тому же еще годовую ренту в шестьсот фунтов веронским серебром? Таким образом, двор герцогини мог бы поспорить с двором любого германского государя. Но ни вежливые, разумные доводы епископа, ни латинские цитаты аббата и его примеры из истории не могли ее соблазнить.

— Она умерла для жизни, — жаловался епископ платыни. — Ей все равно, будет мир в Тироле или война. Я рассказываю ей о том, как ворвались Виттельсбахи, о свирепых грабежах в долине Инна. А она слушает, словно речь идет о погоде.

Озеро лежало неподвижно, белесо поблескивая, равномерно опускались весла. Древний старец молчал.

— При этом ее доходы накапливаются, — снова начал канцлер. — Ей аккуратно пересылают их, не пропадает ни один пфенниг. Золото копится в ее замках. Она должна быть несметно богата. Клянусь Геркулесом! — заключил он раздраженно. — Этот итальянец — бессовестный клеветник и хулигатель, бездарный пасквильант!

Иссохшего старца обрадовала столь уничтожающая характеристика соперника.

— Справедливо выразилось твое преосвященство, — сказал он с трудом, шамкая. — Кто же сомневался в том, что он презренный, низкий болтун!

На берегу маленького островка, неряшливо одетая и густо набеленная, среди ползучих растений и очень пестрых полевых цветов, сидела герцогиня, глядя вслед лодке. Было совсем тихо, роились комары, сонным голосом кричала водяная птица. Горячий неподвижный воздух был насыщен запахом рыбы, сетей, водорослей. Лодка двигалась очень медленно, зашла за выступ другого острова, покрупнее, скрылась.

Из низенького, желто-серого рыбачьего домика вышла иссохшая фрейлина, позвала герцогиню обедать. Маргарита встала, лениво потянулась, направилась к дому, тяжело волооча ноги. Рот был по-обезьяньи выпячен, огромные бесформенные щеки свисали мешками, белила уже не скрывали бородавок. Тихая, смиренная фрейлина распахнула перед ней корявую дверь. Навстречу вырвался чад жареной рыбы. Маргарита с удовольствием потянула носом, вошла в дом.

ЕВРЕЙ ЗЮСС

Роман

Перевод
Н. КАСАТКИНОЙ

JUD SÜß

Roman

1925

Книга первая

ГОСУДАРИ

Сетью жил вились по стране дороги, пересекались, разветвлялись, глохли, порастая травой. Они были запущены, загромождены камнями, все в рытвинах и расщелинах, в дождь становились вязкой топью и вдобавок на каждом шагу были перегорожены шлагбаумами. На юге они превращались в узкие горные тропы, пропадали совсем. Вся кровь страны текла по этим жилам. Ухабистые, потрескавшиеся, окутанные клубами пыли в солнечную погоду и непроходимо грязные в дождливую, дороги были движением, жизнью, дыханием и пульсом страны.

По ним двигалась обыкновенная почта, повозки без верха, без мягкого сиденья, без спинки, дребезжащие, зачастую подлатанные, и более скорая экстра-почта — четырехместные коляски, запряженные пятеркой лошадей, способные делать по двадцати миль в день. Проезжали по ним придворные и посольские курьеры с запечатанными сумками, часто менявшие резвых коней, и более медлительные почтальоны Турн-и-Таксиса. Шагали мирные или озорные подмастерья с котомкой за плечами и студенты — хилые тихони или резвые крепыши, фанатики монахи в пропотевших рясах. Катились фуры с товарами купцов-оптовиков и тачки евреев-разносчиков. Прокатили шесть добротных, но отнюдь не новых карет короля Прусского, ездившего со свитой в гости к южногерманским дворам. Тянулись бесконечной вереницей люда, скота и клади протестанты, которых князь-епископ Зальцбургский в злобе прогнал из своих земель. Проходили пестрые комедианты и невзрачные на вид, углубленные в себя пиетисты, проследовал в пышном экипаже с фореитором и многочисленным эскортом сухощавый высокомерный венецианский посол при саксонском дворе. Тащился беспорядочный, наспех собранный обоз евреев, изгнанных из одного среднегерманского имперского города и направлявшихся во Франкфурт. Проезжали магистры и вельможи, и девки в шелках, и докладчики верховного суда в

суконных мантиях. Следовал с комфортом целым цугом карет князь-епископ Вюрцбургский, лукавый и жизнерадостный толстяк, и плелся пешком оборванный баварский профессор, которого уволили из Ландсгутского университета за мятежные и еретические речи. Двигались стремившиеся в Пенсильванию швабские переселенцы с чадами и домочадцами, в сопровождении агентов английской судовой компании, шествовали, направляясь в Рим и гнусава молитвы, нижебаварские богомольцы со смиренными и зверскими рожами, сновали, шаря повсюду проворным, острым и внимательным взглядом, скупщики серебра, скота и зерна, состоявшие агентами при венском военном поставщике, двигались и двигались отставные солдаты имперской армии, участники турецких войн, и скоморохи и алхимики, и нищая братия и знатные юноши с гувернерами на пути из Фландрии в Венецию.

Потоки катились туда, сюда, скрещивались, сталкивались, люди спешили, спотыкались, семенили шажком, кляли плохие дороги, смеялись злобно или благодушно над медлительностью почты, ворчали по поводу загнанных кляч и ветхих колымаг. Людские потоки набегали, отливали, лепетали, молились, распутничали, кощунствовали, трепетали, веселились, дышали.

Герцог приказал остановить парадную карету, сам вышел, а придворных, секретарей и слуг послал вперед. На удивленные взгляды приближенных он отвечал лишь нетерпеливым пофыркиванием. У подъема на нежно зеленющий холм экипажи остановились, ожидая. Камергеры и секретари забились от мелкого нескончаемого дождя в глубь кареты, а егеря, слуги и лейб-гусары вполголоса переговаривались, шептались, судачили, посмеивались.

Герцог Эбергард-Людвиг, тучный, рослый, толстощекий, губастый мужчина пятидесяти пяти лет от роду, остался позади. Он шагал грузно, не обращая внимания на лужи, пятнавшие ему блестящие сапоги и длиннополый, затканый серебром богатый кафтан, сняв с головы бархатную шляпу, так что мелкий теплый дождик осыпал ему водяной пылью парик. Он шел медленно, задумавшись, часто останавливался и нервно, в сердцах сопел крупным мясистым носом. Он ездил в Вильдбад давать отставку графине. Осуществил он задуманное? Пожалуй, нет. Он ничего не сказал. На его намеки графиня отвечала лишь томными взглядами, не словами. Но не могла же она не понять, она, такая умная, не могла, не могла она не понять, к чему он клонит.

Пожалуй, лучше, что все сошло без шума и крика. Около тридцати лет жил он с ней. Сколько плакалась,

вопила, скулила, интриговала герцогиня, чтобы разлучить их. Сколько козней строили им герцогские советники, император, прелаты, и проклятый парламентский сброд, и послы курфюршества Брауншвейгского и Касселя. Около тридцати лет эта женщина была причастна ко всем событиям в жизни страны и его собственной. Она была одно с ним, одно с Вюртембергом. Когда говорили Вюртемберг, то думали: эта женщина, или: эта девка, или: графиня, или: швабская Ментенон. Каждая мысль о герцогстве была мыслью об этой женщине, беспристрастная или злобная, но только не равнодушная.

Лишь он, он один — герцог усмехнулся — мог мыслить эту женщину вне политики, вне герцогства. Лишь он мог помыслить: Христль, и это не была мысль о солдатах, о деньгах, о привилегиях, о распрях с парламентом, о заложенных замках и поместьях, а только о самой женщине, о ее улыбке и раскрытых ему навстречу объятиях.

А теперь, значит, всему конец, он помирится с герцогиней, а сословное собрание придет в восторг и поднесет ему богатый презент, а император благосклонно кивает дряхлой головой, а скверно одетый грубиян, прусский король, пришлет ему поздравление, а европейские дворы пожалеют о скандале, который уже второму поколению дает пищу для сплетен.

А потом он приживет с герцогиней сына, и страна получит второго законного наследника и на небесах и на земле наступит мир и благоволение.

Он засопел сильнее. В нем закипало глухое бешенство, когда он представлял себе, каким ликованием герцогство и вся Германия встретят падение этой женщины. Он слышал, явственно слышал облегченный вздох страны и победоносное хрюканье жирных бюргеров, парламентских каналий, он видел, как они скалят зубы и хлопают себя по ляжкам, он видел невозмутимых, чопорных, корректных родственников герцогини и их постное, кислое, насмешливое торжество. Вся нечисть вкупе накинется на эту женщину, как на падаль. Целый век защищал он ее от этих гадов; если он сейчас, в пятьдесят пять лет, отступится от нее, они сочтут это признаком старческой слабости. Он издавал указы без счета, тяжело каравшие всякое непочтительное слово о графине, он дошел до конфликта с императором, отправил в изгнание друга своей юности и первого министра за дерзкий отзыв о ней, он восвал со своими советниками, со своим парламентом, со своей страной, требуя налогов, все новых налогов и денег, денег, денег для нее. Около тридцати лет он противопоставлял ее герцогству, империи, целому миру.

Что за буря поднялась по всей Европе, когда он в самом начале их связи недолго думая обвенчался с графиней как со второй супругой, наряду с герцогиней. На него дождем посыпались императорские увещевания, закликания, угрозы, представители сословий рычали, как бешеные псы. Баден-дурлахская родня герцогини света невзвидела от бешенства и обиды, его кляли с церковных амвонов, отказывали ему в причастии, вся страна кипела и бушевала. Делать было нечего, он покорился, расторг брак с графиней, примирился с герцогиней. Что же касается сердечной склонности и вытекающего отсюда брачного сожительства—он усмехнулся, припомнив красивую фразу, которой ублаготворил императора и которую сочинил ему брат графини,—итак, что касается сердечной склонности и вытекающего отсюда брачного сожительства, то оные зависят от господ бога и от него самого и не могут быть навязаны владетельному герцогу посторонней волей. Потом, покорясь новым грозным приказам императора, он все-таки отослал Христль в дальние края и за это выманил большой куш у своего признательного парламента, а вся страна возликовала. Но потом—он ухмыльнулся, вспомнив самый ловкий в своей жизни фортель,—через доверенных лиц он раздобыл в Вене слабоумного мозгляка с графским титулом, женил его на Христль и сделал главой кабинета, и Христль вернулась в страну супругой главы кабинета под неистовый вой обманутых вюртембергцев, меж тем как император в бессильном сокрушении пожимал плечами: кто ж запретит владетельному герцогу видеть у себя при дворе жену своего первого министра? А как хохотала Христль, когда на деньги, преподнесенные ему парламентом на развод, он купил ей поместья Гопфигхейм и Гомаринген!

С годами все улеглось. Правда, время от времени появлялся какой-нибудь пасквиль на графиню, но в силу тридцатилетней давности их связь стала совершенно определенным фактом германской и общеевропейской политики. Представители сословий ворчали, однако же признали за графиней ряд прерогатив. Герцогиня унылой, покорной жертвой пребывала в пустом Штутгартском дворце, ее родня, чопорные маркграфы, замкнулись в оскорбленном, высокомерном молчании. Предосудительным фактом возмущались, но, так как он оставался неизменным тридцать лет, с ним свыклись и примирились.

И вдруг теперь без какого-либо повода все узы, привязывающие его к этой женщине, будут разорваны, сброшены, уничтожены.

Будут ли? Он ничего не сказал. Не пожелай он—и ничего не изменится.

Герцог стоял в грязи, посреди дороги, один, с непо-

крытой головой, под мелким, упорным дождем. Он снял с правой руки перчатку с раструбом и машинально похлопывал себя ею по ляжке.

Пожалуй, повод все-таки был. Был повод? Шумливый прусский король, в последний свой визит в Людвигсбург, обращался к нему с увещеваниями. Пора уж ему примириться с герцогиней, подарить стране и себе второго наследника, нельзя династии быть представленной одним наследным принцем, когда католики спят и видят, чтобы угас род евангелических швабских герцогов. Но не в том дело. Нет, совсем не в том. Прусский сухарь может убираться восвояси к своим пескам и соснам и не докучать ему пошлыми и постными нотациями, в которых на каждом шагу упоминается о смерти. Он, Эбергард-Людвиг, несмотря на пятьдесят пять лет, еще, слава богу, мужчина в соку. Не все ли ему равно, кто после его смерти взвалит на свои плечи бремя правления и его долги и будет портить себе кровь распрями с вшивой парламентской сволочью. Дураком надо быть, чтобы из-за этого бросить Христьль!

Он зашагал быстрее и, фальшивя, громко стал насвистывать мотив из нового балета. На что еще напирал пруссак? Графиня, мол, для герцогства худший бич, чем все нашествия французов и самые тягостные имперские войны. Она одна, мол, причина и виновница всех бед, неурядиц и смут в Вюртемберге. Она немилосердно выкачивает и выжимает весь пот страны себе в карманы. Старая история. Черт бы ее побрал! Эта песня звучала ему в сотнях пасквилей, этим соусом сословия потчевали его каждую неделю. Даже в засухе и граде винили графиню. А лучше бы радовались, сутяги, скупердяи несносные, что их поганые гроши она с таким размахом превращает в блеск и великолепие. Ей нужны были деньги, деньги без конца, такого количества денег, какое нужно было ей, не водилось во всей Римской империи, и ради них она ластилась, кланчила, хныкала, грозила, дулась, капризничала, так что голову терял от отчаяния, не зная откуда взять еще и еще денег. Но что было лучше: убогое, скопидомное хозяйство герцогини, где всякий пфенниг на счету, или сверкающее великолепие этой женщины, где замки, лесные уголья и все доходы казны пролетали пестрым фейерверком?

Нет, такого рода аргументами его нельзя было отвлечь от этой женщины. Он и поставил бранденбуржца на место, а будь у него лишних тыщонки две солдат, которых никогда, увy, никогда не разрешат ему представители сословий, он совсем по-свойски, по-швабски отделил бы грубияна. Нет, такая болтовня не могла тронуть его, а если все-таки тот скряга, тот чурбан дал толчок к

отставке графини, то лишь одним незаметным словечком, которому и сам вряд ли придал значение. Они с королем отправились в горы полюбоваться видом, и когда бранденбуржец увидел плавный волнистый ландшафт, нежно зеленеющие холмы, обильные злаками и плодами, лозами и лесами, он вздохнул про себя:

— Вот благодать так благодать! И подумать только, что старая баба, как ржа и саранча, точит их.

Ржа и саранча нимало не смутили Эбергарда-Людвига. Да, но старая баба... Эти слова уязвили его до глубины души. Он, Эбергард-Людвиг, привязан к подолу старой бабы? Любые проклятия, угрозы, поношения скатывались с него как с гуся вода. Да, но старая баба?

Герцогу припомнились дела давно прошедших времен. Несмотря на грозные эдикты, в народе упорно ходили рассказы, будто эта женщина приворожила его к себе. Один случай возник в его памяти со всеми подробностями. Камеристка графини, которую он даже помнит по имени — она прозывалась Ламперт, — прибежала к придворному священнику Урльшпергеру, с рассказом о мерзких, кощунственных, колдовских действиях, которым предается графиня, дабы привязать к себе герцога. Придворный священник составил протокол, принудил девушку подписаться под ним, запечатал его и запер эту тайну в ящик своего бюро. Герцог дознался обо всем, нарядил следственную комиссию, которая отстранила Урльшпергера от должности, а Лампертшу присудила к розгам и выслала за пределы страны. Тем не менее герцог не сомневался, что не только народ, но и сама следственная комиссия верит скрепленным присягой подлым, нечестивым рассказам. Согласно этим показаниям графиня, будучи в Женеве, разорвала рубашку герцогини на четырехугольные тряпочки, окунула их в настоящий на спирту мелко истолченный висмут, а затем наглым и непристойным образом пустила их в ход для подтирки. В Урахе она велела принести новорожденного теленка от черной коровы и собственноручно отрубила ему голову, то же проделала она и с тремя черными голубями, другой раз она оскопила козла, не говоря уже о прочих гнусных и непотребных действиях. Такими якобы средствами она достигла того, что он почувствовал отвращение к законной супруге, без нее же, без графини, не мог жить, ибо едва он с ней разлучался, как с ним делались приступы удушья.

Вот уж ослы, бесплодные и худосочные ослы! Болтают о колдовстве, не могут иначе как чародейством объяснить себе то, от чего у каждого здорового мужчины самым естественным образом кровь вскипает и бурлит. А ему достаточно было вспомнить Женеву, голубую комнату гостиницы «Золотой олень» и как Христль сияла улыбкой

ему навстречу, раскинувшись во всей красе на широкой постели. Бог свидетель, ей незачем было тогда убивать ни телят, ни голубей, чтобы зажечь его кровь. Но теперь? Старая баба? Да ведь есть же у него еще руки, чтобы осязать, глаза, чтобы видеть. Она несколько располнела, это верно, и страдает одышкой, но разве дьявольские козни и нечестивое колдовство причиной тому, что он по-прежнему привязан к ней? Серые глаза ее хоть и потускнели, но остались такими же большими и влекущими, как двадцать лет назад, а каштановые волосы не изменили цвета, и в голосе у нее звенели все колокольчики первых дней любви. Правда, рябинки—следы дурной болезни, как утверждали клеветники,—безмерно возбуждавшие его тогда, теперь были запудрены и прикрыты румянами. Старая баба! В этот раз она была такой томной, такой меланхоличной. Она не высмеивала его, не устраивала ему сцен, даже денег не требовала. Может, почуяла что-нибудь? Но хотя бы она сделалась кротка, как однодневный ягненок, старую бабу ему не пристало любить. Не пристало ему, Эбергарду-Людвигу. Уж лучше вернуться к своей унылой герцогине, дать стране второго наследника и жить в мире с богом и императором, со страной и парламентом.

Правда, потом она называла его Лукс, Эбергард-Лукс, и колокольчики звенели, как в первые дни. А дальше вздумала потешаться над ландтагом, требовавшим изгнания из ее, графининых, деревень и угодий всех евреев, ее евреев, когда у каждого из них в будний день больше ума в мизинце, чем по праздникам в голове у всего ландтага вкупе. Второй такой остроумной, сметливой и веселой женщины—безразлично, старой или молодой,—которая бы так метко высмеяла по-дурацки ехидную грубиянскую петицию ландтага, он не встречал нигде, от Туретчины до Парижа, от Швеции до Неаполя.

Пожалуй, хорошо, что он не сказал ей решающего слова.

Он сделал знак, и все его кареты остановились прямо перед ним. Он приказал повернуть. Ему не хотелось сразу ехать в Штутгарт, не хотелось и в Людвигсбург. Лучше в Неслах, в уединенный охотничий домик. Ему нужно успокоиться, проветриться. Он послал скорохода за тайным советником Шютцем, чтобы с ним спокойно наново обсудить это дело.

Старая баба?

С дороги в Неслах он отправил еще одного гонца. Новой, совсем юной венгерской танцовщице, неделю назад прибывшей в Людвигсбург, предписывалось немедленно схватить в охотничий домик. К черту, к дьяволу воспоминания о прусском госте!

Исаак Симон Ландауер, гоффактор герцога Вюртембергского, ездил в Роттердам заключать от имени курпфальцского двора кое-какие кредитные сделки с Нидерландско-Ост-Индской компанией. Гонец графини Вюрбен срочно вызвал его из Роттердама обратно в Вильдбад, к графине. Дорогой он встретил своего коллегу Иозефа Зюсса Оппенгеймера, курпфальцского обергоф-и-кригсфактора и одновременно финансового агента при курфюрсте-архиепископе Кельнском. Иозеф Зюсс, только что завершивший ряд ответственных и сложных дел, думал отдохнуть где-нибудь на курорте и без труда поддался на уговоры Исаака Ландауера поехать с ним в Вильдбад.

Отправились они в элегантной собственной дорожной карете Зюсса. «Верных двести рейхсталеров обходится в год содержание такой кареты»,—с добродушной, чуть насмешливой укоризной определил Исаак Ландауер. На запятках восседал камердинер и секретарь Зюсса, бледнолицый и невозмутимый Никлас Пфевле, бывший писец у нотариуса; Зюсс столкнулся с ним в Маннгейме, когда подвизался в конторе адвоката Ленца, и с тех пор повсюду возил с собой этого расторопнейшего из слуг.

Исаак Ландауер ходил, по еврейскому обычаю, в лапсердаке и ермолке, при пейсах и редкой козлиной бородке, рыжеватой и поседевшей. Мало того, он даже носил отличительный знак с изображением охотничьего рога под латинским S, сто лет назад введенный в герцогстве для евреев, хотя никто из властей не осмелился бы принуждать к этому почтенного и могущественного фаворита герцога и графини. Исаак Ландауер был самым ловким дельцом во всей западной Германии. Связи его простирались от венских Оппенгеймеров, банкиров императора, до капиталистов Прованса, от богатых купцов Леванта до еврейских капиталистов в Голландии и ганзейских городах, финансировавших океанское судоходство. В некрасивой и напряженной позе сидел он, невзрачный, неопрятный человек, опершись на мягкую спинку кареты и зябко пряча костлявые, бескровные пальцы в рукава кафтана. Полузакрыв посоловевшие от езды глазки, он с благодушной, чуть насмешливой улыбкой поглядывал на своего спутника. Иозеф Зюсс, рослый, бритый, одетый по моде и даже, пожалуй, фатовато, сидел прямо и неутомимым, острым, быстрым взглядом ловил каждую подробность пейзажа, все еще завуалированного тонкой сеткой дождя.

Исаак Ландауер с доброжелательным интересом, чуть иронически изучал наружность коллеги—и ловко скроенный, отороченный серебром светло-коричневый кафтан тончайшего сукна, и аккуратно со вкусом завитой и

напудренный парик, и легко напложенные кружевные манжеты, которым одним цена верных сорок гульденов. Он всегда питал приязнь к этому Зюссу Оппенгеймеру, у которого предприимчивость и жадность к жизни так и искрились в больших, неустоимых, выпуклых глазах. Вот каково, значит, новое поколение! Он сам, Исаак Ландауер, чего только не перевидал на своем веку, от трущоб еврейского квартала до увеселительных замков власть имущих. Тесноту, грязь, преследования, бедствия, смерть, угнетение, предельное бессилие! И блеск, простор, произвол, великодержавие и великолепие. Он, как очень немногие, еще человека три-четыре в империи, усвоил весь механизм дипломатии, до мельчайших деталей изучил все двигатели войны и мира и управления людьми. Бессчетные дела изощрили его взгляд в распознавании всяческих взаимодействий, и он добродушным и насмешливым знанием знал мелкую унижительную зависимость власть имущих. Он знал, что в мире существует лишь *одна* реальная сила: деньги. Война и мир, жизнь и смерть, женская добродетель, власть папы вязать и разрешать, свободолюбие представителей сословий, чистота Аугсбургского исповедания, корабли на морях, деспотизм государей, насаждение христианства в Новом Свете, любовь, благочестие, малодушие, роскошество, порок и добродетель — все могло быть выражено цифрами, в основе и в итоге всего были деньги. И он, Исаак Ландауер, сам находился у истоков, сам мог по-своему направить течение, мог оплодотворить и иссушить. Но не так он был глуп, чтобы кричать о своей власти, он держал ее в тайне, и лишь легкая, скупая, ироническая усмешка одна свидетельствовала о его знании и власти. И еще вот что. Возможно, раввины и ученые еврейского квартала были правы, когда с точнейшими подробностями, как о подлинной действительности, рассказывали о боге и Талмуде, о райском саде и долине проклятий; лично он за недостатком времени не занимался обсуждением таких вопросов и скорее склонялся к тем французам, которые с изящной насмешкой отметали их; и сам в повседневной жизни не заботился о них, ел что хотел, в субботу вел себя как в будний день, но в одежде и наружности упрямо держался традиций, завещанных праотцами. Долгополый кафтан пристал к нему, как собственная кожа. В этом кафтане входил он в кабинет любого государя и самого императора. То было второе, более глубокое и затаенное выражение его власти. Он не признавал перчаток и парика. Он был нужен и так — в лапсердаке и с пейсами, — и в этом заключалось его торжество.

Но вот оно, новое поколение, этот самый Йозеф Зюсс Оппенгеймер. Вот он красуется горделиво, и туфли у него

с пряжками, и манжеты кружевные, и сам он такой чванный. Грубовато оно, это новое поколение. Ему неизвестно тонкое удовольствие таить про себя власть, обладать ею и не показывать ее, тончайшее удовольствие скрытого самоуслаждения. Брелоки, и атласные штаны, и элегантная дорожная карета, и слуга на запятках, и все мелкие внешние признаки богатства для него важнее, чем надежно запрятанные в ларце долговые обязательства города Франкфурта или маркграфства Баденского. Поколение, лишенное тонкого понимания и вкуса.

И тем не менее он благоволил к Зюссу. Так и чувствовалось, что тот напряжением всех сил жадно стремится урвать себе львиную долю лакомого пирога жизни. Он сам, Исаак Ландауер, спустил суденышко молодого человека на воду, когда тот, при всех стараниях и бешеной энергии, никак не мог оттолкнуться от берега. Ну, зато теперь полноводный поток нес суденышко, а Исаак Ландауер внимательно и невозмутимо смотрел, куда и как несет.

Навстречу им попалась карета экстра-почты. Тучный мужчина с широким, топорным лицом удобно расположился в ней подле пухлой, круглой, глупой на вид женщины. Должно быть, супружеская чета, отправляющаяся на семейное торжество. Пока экипажи не спеша разъезжались под гам приветствий, шуток и брань кучеров, толстяк затеял было легкую приятную путевую беседу с Зюссом. Но едва он заметил Исаака Ландауера, одетого по еврейскому обычаю, как демонстративно откинулся назад и смачно сплюнул. И жена его постаралась изобразить на своем глупом добродушном лице суровость и презрение.

— Советник Эттерлин из Равенсбурга,—с гортанным смешком пояснил Исаак Ландауер, знавший всех на свете.— Не любят евреев равенсбуржцы-то. С тех пор как они устроили процесс о ритуальном детоубийстве и предали пытке, пожару и погрому своих евреев, они ненавидят сильнее, чем все остальные швабы. Тому теперь триста лет. Нынче деньги у евреев отбирают более гуманными и менее сложными способами. Но вполне понятно, что те, кто учинил такой произвол, питают к пострадавшим злобу даже триста лет спустя. Ну, как-нибудь переживем и это.

В этот миг Зюсс ненавидел старика. За слипшиеся пейсы, за просаленный кафтан, за гортанный смех. Он просто компрометантен своими нелепыми, старозаветными еврейскими повадками. Ему, Зюссу, непонятны такие старческие причуды. И денег у того куры не клюют, и кредит неограниченный, и связи со всеми дворами, и доверие у всех государей, сам он, Зюсс, перед ним точно

ящерица перед крокодилом: к чему ж такому человеку ходить в грязном балахоне, вызывать насмешки и плевки и довольствоваться тем, чтобы загребать деньги, которые только записываются в приходные книги? На что нужны деньги, если не обращать их в почет, роскошь, дома, богатые наряды, лошадей, женщин? Неужели у этого старика нет желания так же плевать на людей, как плюют на него, платить пинками за пинки? Зачем было создавать себе власть, если тайшь ее от всех? Равенбургский процесс о ритуальном детоубийстве! Вот какая ерунда у него на уме. Все это покрыто пылью, плесенью, погребено на века. Нынче, слава богу, нравы стали лучше, гуманнее, просвещеннее. Нынче, если еврей ловко возьмется за дело, он будет сидеть за одним столом с властью имущими. Ведь посмел же его двоюродный дядя, венский Оппенгеймер, поставить на вид императору, что в теперешней победе императорского оружия над турками первейшая заслуга принадлежит ему, еврею Оппенгеймеру. А императорская военная канцелярия и фельдмаршал принц Евгений удостоверили это, как положено, печатью и благодарностью. Только ни к чему держаться за нелепые причуды и разгуливать в лапсердаке и с пейсами. Не будь их, муниципальный советник Эттерлин из Равенсбурга, наверное, отвесил бы поклон по всем правилам этикета.

Исаак Ландауер как будто назло сидел в той же неловкой, неизящной позе. Он, без сомнения, читал в душе Зюсса, но не возражал, а, полужакрыв зоркие глаза, что-то ворчал себе под нос.

Зюсс располагал по-настоящему отдохнуть, отдышаться в Вильдбаде. Он только что покончил с двумя рискованными, порядком измотавшими его предприятиями. Прежде всего, с введением в Курпфальце гербовой бумаги. Казна потребовала себе несуразно большой откуп. Народ взъелся на новый налог, как цепной пес. Как бы не так, он не имел намерения отступать! Ото всех оскорблений, угроз, враждебных скопищ под окнами его конторы, от пасквилей, злостных посягательств он отгородился печатью и подписью курфюрста. Он ни на йоту не смягчил условий. И что ж? Стоило повоевать — он заработал двенадцать тысяч гульденов на перепродаже контракта. А дальше он тоже не позволил себе отдыха, отнюдь нет, двенадцать тысяч гульденов немедленно вновь пошли в оборот. Быстро прикинув в уме — ему дали всего два дня сроку, — он ввязался в новую аферу: в соглашение с Гессен-Дармштадтом на чеканку монеты. Опасное дельце. Его брат, выкrest с баронским титулом, хоть и был в Дармштадте как дома и прекрасно ориентировался в обстановке, однако на это не отважился; сам Исаак Ландауер покачал головой и перестал усмехаться.

Казначейства Баден-Дурлаха, Ансбаха, Вальдека, Фульда, Гехингена, Монфора были жестокими конкурентами, они чеканили что попало. Чтобы чеканить еще худшую монету, надо было обладать дьявольским хладнокровием и поистине отчаянным, железным упорством. Зюсс этими качествами обладал. Он умудрился вовремя и с прибылью сплавить и это дело. Пускай его преемник как знает отбивается от всяческих неприятностей. Он же обезопасил себя декретом ландграфа и с немалой прибылью и почетом был отставлен от должности. Теперь у него были прекрасные собственные дома — один во Франкфурте, другой в Маннгейме, оба чистые от долгов, и, кроме того, еще кое-какая недвижимость в восточных областях империи, о которой никто не имел понятия. Состояние, связи, чин, кредит. Репутация толковой головы и легкой руки. Теперь, видит бог, можно отдохнуть и пожить в свое удовольствие. Теперь он всему свету покажет, кто такой курпфальцский обергоф-и-кригсфактор. Одно то, что он может позволить себе такую роскошную праздность, пойдет на пользу его делам, придаст ему веса в глазах власть имущих. Хотя он твердо решил всецело отдаться отдыху во время пребывания в Вильдбаде и хотя принципы Исаака Ландауера казались ему в корне ложными — его собственная манера обхождения с государем и власть имущими была несомненно современнее и куда правильнее, — однако нелепо было бы не извлечь пользы из путешествия с этим светилом прошлого поколения, этим отменнейшим знатоком людей и дел. Поэтому он стал напрямик расспрашивать о графине, о ее планах, надеждах, затруднениях, о солидности ее делового положения.

Едва речь зашла о делах, Исаак Ландауер стряхнул с себя сонливость и обратил на собеседника умный, очень живой и зоркий взгляд. Он взял себе за деловое правило по возможности придерживаться истины. Крупнейшие барыши он приобрел именно своей рискованной, ошеломляющей откровенностью. Он знал, что Зюсс терпеть не может графиню, считает ее корыстолюбие недостойным знатной дамы, вульгарным качеством. Как было не позлить коллегу, подчеркнув прочность и блестящие перспективы предприятия. Он сжато и точно объяснял положение. Графиня — дама с головой. Разбирается в практических вопросах. За каждый прирост в любви герцога она требовала себе новых земель и привилегий, а за возвращение после периода убыли в любви ему приходилось платить наличными и драгоценностями. А что она сама вложила в предприятие? Смазливенькое личико, захудалый дворянский титул и довольно сомнительную девственность. Даже платьев у нее не было,

когда она явилась ко двору. А что она извлекла из предприятия? Титулы графини фон Вюрбен, графини Урах, супруги обер-гофмейстера, превосходительства, супруги председателя совета министров. Кроме того, верховный надзор над герцогской казной. Восемнадцать тысяч гульденов апанажа. Родовые брильянты и фамильные драгоценности. Все почести, доходы и прерогативы имперской княгини. Наличный капитал и векселя на Прагу, Венецию, Женеvu, Гамбург. Секретарь Пфау говорил мне, что чистыми деньгами у нее триста тысяч гульденов. Пусть будет двести тысяч—и то неплохо. Дворянские поместья Фрейденталь, Бойинген, деревни Штетген и Гопфигхейм, Бренц с Оггенгаузенom, Маршалькенцимерн. Женщина с головой, обходительная женщина, толковая женщина. Могла бы быть еврейкой.

— Говорят, будто она не в фаворе,— заметил Зюсс,— и с братом у нее конфликт. Среди членов ландтага ходят слухи, будто собственный ее брат присоветовал герцогу дать ей отставку. Король Прусский тоже увещевал его. Она становится сварливой, вздорной, стареет. А главное, жиреет. Герцог в последнее время против такого изобилия жира.

— Ее не проведешь,— возразил Исаак Ландауер.— Она знает, что английский банк куда надежнее, чем страстные клятвы герцога-сладостлюбца. Она себя застраховала, ее финансы в лучшем положении, чем у любого владетельного князя. Мне вы можете поверить, реб Йозеф Зюсс.

Зюсс поморщился. Как это он сказал: «Реб Йозеф Зюсс»? А почему не господин гоффактор, или коллега, или еще как-нибудь? Нелегко поддерживать знакомство со стариком. Уж очень он компрометантен.

— Если герцог отставит ее,— сказал он немного погодя,— ей мало что удастся спасти. В герцогстве на нее смотрят как на чуму и саранчу. Она возбудила против себя ненависть всей страны.

— Ненависть страны,— сказал Исаак Ландауер иронически, презрительно покачал головой, расчесал себе пальцами рыжеватую седеющую козлиную бородку, усмехнулся. И Зюсс почувствовал его превосходство.— Кто из тех, кому много дано, не возбуждал против себя ненависти страны? Кто не похож на других, тот возбуждает против себя ненависть страны. Ненависть страны подымает кредит.

Зюсса раздражал благодушно-уверенный тон старика.

— Потаскуха,— повел он плечами,— скупа, неаристократична в обхождении, а главное, жирна и стара.

— Рассказни, реб Йозеф Зюсс,— невозмутимо сказал Исаак Ландауер.— Что такое—потаскуха? Слово. Им утешаются добродетельные, родовитые старые девицы,

которые завидуют ей. Разве царица Эсфирь знала, что она будет не только наложницей Артаксеркса? Слушайте меня, реб Иозеф Зюсс, эта женщина стоит не меньше чем пятьсот тысяч гульденов. Она женщина с головой, она знает, чего хочет. Ведь допустила же она евреев в свои деревни и поместья. Не из человеколюбия, отнюдь нет. Но она сама умна, она нюхом чует того, кто тоже умен, с кем можно говорить и вести дела начистоту, чтобы получился толк. Я сказал—пять сотен? Да она стоит пять сотен тысяч и еще пять раз полсотни тысяч!

Тем временем экипаж подкатил к гостинице под вывеской «Звезда» в Вильдбаде. Хозяин «Звезды» выскочил навстречу, сдернул с себя колпак. Но едва увидев лапсердак Исаака Ландауера, он презрительно рывкнул:

— Здесь не еврейский постоялый двор,—и повернулся к дверям.

Тут бледнолицый секретарь слез со своего сиденья.

— Это господа гоффакторы Оппенгеймер и Ландауер,—бросил он небрежно, через плечо, помогая господам выйти из кареты. Вмиг хозяин «Звезды» с раболепнейшими поклонами поспешил вперед, указывая путь.

Иозеф Зюсс гневно насупил, услышав грубый окрик хозяйина, но, не проронив ни слова, пошел вслед за Исааком Ландауером.

— Эге,—усмехнулся тот,—даже и перед сановничьим мундиром в галунах он не мог бы дальше отставить ногу, когда отвешивал поклон.—И старик усмехнулся, пальцем расчесывая слипшуюся седоватую бородку.

Графиня проводила герцога до кареты; пока он тяжеломерно, не спеша влезал в экипаж, она сохраняла приветливое спокойствие привыкшей к поклонению женщины, непринужденно и любезно щебетала, улыбалась, кивала. Даже когда она повернулась и стала подниматься по лестнице в голубой будуар, поступь и осанка были легки и грациозны. Лишь очутившись у себя, она вся осела, плечи опустились, руки бессильно повисли, рот приоткрылся: лицо как-то сразу ужасающе увяло.

Кончено, значит, все кончено. Она искусно лавировала, он не посмел заговорить, но и так было ясно как день, что он явился с намерением отделаться от нее, и, хотя решающее слово застряло у него в горле, его смущенная вежливость говорила за себя и была во сто раз хуже, чем прежняя воркотня, или вспышки гнева, или обиженное молчание.

Она сидела вся поникнув, она была безмерно утомлена и обессилена. Слишком дорого далось ей приветливое спокойствие с элегическим налетом, в то время как сердце

ее бушевало, кипело, неистовствовало. Зато теперь она сидела на низком широком ложе как в столбняке, совершенно опустошенная, почти парализованная. Пудра и румяна потрескались у нее на лице, веселый огонек, который она зажгла у себя в глазах, теперь потух, широчайшая роба из узорчатого атласа свисала мертвенными складками, а под унизированной мелкими рубинами искусно сработанной «сбернией» — эту моду ввела она, и в самом Версале подражали ей, — под искусно сработанной сбернией ее живые каштановые волосы и те утратили молодой блеск.

Значит, конец... Из-за чего? Прусский король, поганный пес, зудил о долге и безумии. Собственный брат, проклятый, вероломный, холодный интриган, строил против нее козни. Он в ней больше не нуждался, его положение при герцоге было и так прочно; он считал благоразумным избавиться от нее заранее, чтобы не попасть в немилость вместе с ней. Она являлась вечной препоной, с ней нужно было считаться при сношениях с императорским двором, ей нужны были деньги, уйма денег, которые проще и выгоднее не через нее, а прямо направлять в собственную казну. Ох, она насквозь видела его, расчетливого блюдолиза. Тьфу, тьфу, тьфу. Но она еще ему покажет! Пока что она держится, она жива пока что, герцог не заговорил, и в стране владычествует она, она, она. Однако все эти причины не могли быть вескими для герцога. Ей случалось устоять и не против таких бурь. Ее врагами были император, вся страна, народ, ландтаг и консистория, и тем не менее она дышала и держалась. Ее брат! Прусский король! Разве это причины? И она увидела, как надвигается на нее истинная причина, липкой тиной заволакивает ее мысли, она знала и не знала ее, билась как бабочка на булавке, чтобы не дать смутной догадке превратиться в уверенность. Взглядом она искала зеркала, избегала его и все беспомощней поникала грудой дряблой плоти в роскошных тканях.

Челом своим младым
Прекрасна ты, как Гера,
В очах Зевес живет,
В власах твоих Цитера,—

так пел придворный поэт лет тридцать назад. Она и без зеркала знала причину.

Она застонала, согнулась, закрыв глаза, прижав руку к сердцу. Воздуха. Воздуха! Астма душила ее. Отдышавшись, она выпрямилась и заметалась по дому, отдавала приказы, отменяла их, была по лицу камеристку, кричала, рассылала гонцов во всех направлениях.

Она еще существует. Пусть увидят, что она еще

существует. Он не заговорил. Этому она, по счастью, помешала. Она обуздала себя. Нечеловеческих усилий стоила такая выдержка, но ей удалось себя сдержать. Пока что он не заговорил, да, да, и пока что им придется попридержать в утробе свое гнусное ликование, пока что она существует, и еще как существует! Это она им докажет.

Среди приближенных герцога у нее имелись надежные информаторы. Эбергард-Людвиг все еще был в Неслахе, в своем охотничьем замке. Это хорошо, даже очень хорошо! Каждый день получала она подробный отчет. Каждый день скакал ее гонец из Неслаха в Вильдбад. Весь распорядок жизни герцога был ей известен — и что он ел и пил, и когда ложился спать, когда охотился, трапезничал, гулял. Он допускал к себе только венгерскую танцовщицу, да и то на полчаса в день. Больше он никого не видел, не принимал никого из своих советников. Хорошо, хорошо! Должно быть, он стыдился, что не произнес решающего слова, и уклонялся от новых уговоров. Правительственные указы все накапливались в ожидании его подписи. Щекотливые переговоры с Баден-Дурлахом о том, как поделить расходы по крепости Кель, близились к благоприятному концу, уполномоченный маркграфини торопил с договором, но герцог был недосыгаем. Соглашение с Гейльбронном и Эслингеном по вопросу о Неккаре тоже требовало срочной резолюции, а герцога не было, да и только. Хорошо, очень хорошо! Зато он вызвал теперь к себе рыцарей ордена святого Губерта и непробудно бражничал с ними. Сам он тоже не снимал орденского знака, золотого креста с рубиново-красной финифтью, с золотыми орлами, с охотничьим рогом и девизом: «*Amicitiae virtutisque foedus*»¹. И юную венгерскую танцовщицу, беспросветную дурочку безупречного сложения, по-прежнему держал в Неслахе. Очень хорошо, очень, очень хорошо! Пускай кутит в пьяной охотничьей компании и блудит с непроходимо глупой тварью, только бы подальше от советчиков, от шептунов, от интриганов.

Тем временем она не знала устали. К управителям ее имений и поместий летят строжайшие наказания выжимать все до последнего гроша. Она создает двадцать новых совершенно бесполезных должностей, и ее клеветам вменяется в обязанность без проволоочки продать их, а вырученные деньги и залоги направить в графскую казну.

Герцогское финансовое управление получает счет на огромную сумму, в какую якобы обошлись ей последние визиты Эбергарда-Людвига, хотя она получила натурой дрова, вина, фрукты. Как обсасывает кость изголодав-

¹ Союз дружбы и доблести (лат.).

шийся пес, так жадно и ожесточенно высасывает она все доходы герцогства, и ежедневно из страны уходят большие деньги к ее банкирам в Женеве, Гамбурге, Венеции.

А герцог все еще в Неслахе. Он выписал себе из придворной конюшни три большие упряжки, по восемь лошадей, и теперь упражняется в кучерском искусстве. Венгерка визжит, а кавалеры ордена святого Губерта рукоплещут в иелицемерном восторге.

Наконец-то в ответ на ее призывы и заклинания в Вильдбад прибыл долгожданный Исаак Ландауер. В засаленном лапсердаке сидел он посреди ляпис-лазури и позолоты, зеркал и купидонов в рабочем кабинете графини. Напротив него, у секретера,—графиня во всем своем великолепии, между ними высокие стопки документов, реестров, счетов. Он проглядывал их, проверял, графиня без утайки давала пояснения. Он находил то тут, то там пробелы, указывал, где следует сильнее прикрутить, поднажать. Графиня сидела, грузная, с оголенной, заплывшей жиром шеей и тоже оголенными, безупречными плечами, возражала, делала отметки. В конце концов она потребовала огромной ссуды под три деревни.

Исаак Ландауер поглядел на нее, покачал головой, сказал с укоризной:

— Чем я это заслужил у вашего превосходительства?

— Что заслужил?

— Что вы меня считаете круглым дураком.

— Что это значит?—вспылила она.—На что ты намекаешь, еврей? Разве ты не дал бы мне взаймы два года тому назад? Чем я теперь стала хуже?

— На что вашему превосходительству деньги?—примирительно возразил он.—Чтобы вывозить их из страны? А зачем вывозить их из страны? Затем, что вы боитесь каких-либо казусов; но раз есть причины бояться казусов, тогда имения не могут быть гарантией. Значит, вы хотите, чтобы я на вас потерпел убытки?

Графиня растерянно посмотрела в пространство, потом на него, и взгляд ее сказал ему, что дело тут не только в деньгах, взгляд открыл ему все ее страхи, надежды, сомнения.

— Ты, еврей, не глуп,—произнесла она немного погодя,—как ты скажешь, могу я рискнуть и (она запнулась) не закладывать моих деревень?

Ему хотелось сказать ей что-нибудь утешительное. Но она была женщина с головой и волей, она не нуждалась в ободрениях и обманах, даже как-то неприлично было подступаться к ней с этим. Он оглядел ее с ног до головы, и она не таилась перед ним; он увидел ее опавшее лицо, распутившееся ожиревшее тело и на ее настойчиво вопрошающий взгляд не нашел ответа, только молча

пожал плечами. Тогда она совсем перестала владеть собой и громко, безудержно расплакалась, точно малое дитя. Потом принялась непотребно ругать министров, своего брата, племянника и всех прочих, что были ее креатурами, а теперь смотрели на ее падение и палец о палец не ударили и даже рады были подтолкнуть ее. Вот каналы, вот подлецы! Ведь она возвысила их; ведь по ней они взобрались наверх. Каждым грошом, каждой пуговицей на мундире они были обязаны ей. К тому же они по всей форме заключили с ней договор—документ тут у нее в ящике—всемерно поддерживать друг друга, как в удаче, так и в беде. С таких подлых мерзавцев мало шкуру содрать. Ведь любой проходимец и мошенник, сам дьявол не отступает от данного собрату слова.

Молча наблюдал еврей, как бесновалась графиня, и ждал, чтобы она отбушевала. Под конец она закаплялась, лицо у нее побагровело, она засопела, захрипела, потом заплакала тихими безудержными слезами.

— Ох, еврей, еврей,—всхлипывала она безостановочно, беспомощно; пышная, прекрасная женщина вся содрогалась, румяна и белила расплылись, великолепные ткани безжизненно повисли на ней.

Исаак Ландауер расчесал пальцами слипшуюся бородку, покачал головой. Потом бережно взял большую, теплую руку графини и, что-то бормоча себе под нос, принялся гладить ее.

Слухи о близком падении графини, неведомо откуда взявшиеся, вспыхивали в стране то тут, то там, на всех перекрестках. Никто не решался повторить их громко, но шепотом об этом говорили все. Из всех грудей вырвался глубокий, хоть и затаенный, вздох облегчения. В некоторых деревнях уже звонили в колокола, читали благодарственные молитвы, не объявляя за что и ограничиваясь туманным намеком: за милость providения.

Но пока что ничего не изменилось, даже наоборот, гнет стал тяжелее, жестче. Старых чиновников смещали, потому что новые претенденты дороже платили за предоставленные им должности. Сыскная полиция доносами и дознаниями держала в страхе целые общины и отдельных лиц, откупиться можно было только крупной мздой, из всех государственных учреждений, даже из церковного имущества и кассы помощи вдовам и сиротам, изымались огромные, ничем не обеспеченные беспроцентные ссуды в казну графини; агенты графини совсем распоясались и орудовали наглее, чем прежде. А когда появился грозный герцогский рескрипт, в котором вновь строжайше возбранялись, под угрозой тяжкой кары, всякие поносные речи

против графини, тогда обратились во прах даже самые легкокрылые надежды.

Малый совет парламента, ландтага, заседал каждые три дня. Члены его успели побеседовать с прусским королем, они были осведомлены о ссоре графини с братом и, предчувствуя падение фаворитки, стремились приблизить его срок. Они обсуждали планы обращения с новой жалобой к императору и имперским властям и нового протеста перед герцогом по поводу последних злоупотреблений клики Гревениц. Малый совет собирался в полном составе, восемь действительных членов, двое консультантов-законоведов, председатель, он же первый секретарь. Люди это были совсем разные, начиная с Иоганна Фридриха Егера, грузного и неповоротливого бракенхеймского бургомистра, и кончая Филиппом Генрихом Вейсензе, изящным, утонченным, просвещенным советником консistorии и прелатом в Гирсау; но все они как один горой стояли за права и привилегии ландтага. Графиню честили так, что прямо гул стоял,—эту грязную тварь плетью надо гнать из страны, а Иоганн Фридрих Беллон, бургомистр в Вейнсберге, стучал кулаком по столу—если до того, мол, дойдет, он выведет своих малых деток на улицу и велит им плевать в лицо рябой стерве, изъеденной дурной болезнью. Гремели горделивые речи: где, мол, в Европе найдется вторая страна с такими свободами, лишь Вюртемберг и Англия отвоевали себе столько парламентских гарантий, и воздух в помещении ландтага был пропитан гражданской гордостью, потом и демократией. Но в итоге были вынесены очень несмелые решения, и так как Эбергард-Людвиг оставался недосягаем, а советники его ограничивались учтиво уклончивыми ответами, то резолюции не получили хода и спустя месяц начали желтеть в архиве.

Герцогиня Иоганна-Элизабета, которая сидела и выжидала в опустелом Штутгартском дворце, тоже прослышала о близкой отставке графини. Члены ландтага то и дело навевались к ней, император слал к ней чрезвычайных послов. Прусский король явился засвидетельствовать ей почтение по всем правилам придворного церемониала. Как смеялись в кругу приближенных графини над визитом захудалого короля к заштатной герцогине! Герцогиня внимательно прислушивалась ко всяким толкам, тщательно отмечала малейшую перемену в поведении Эбергарда-Людвига. Однако она не возносила на крыльях надежды и не падала в бездну разочарования от того, что желанный персворот медлил совершиться.

Она ждала уже столько времени. Целых тридцать лет сидела она в пустом дворце, потому что герцог оставил ей лишь самую необходимую домашнюю утварь, сидела

унылая, замшелая, нудная и упрямо выжидала. Правда, чужеземные послы являлись на поклон и к ней, но она знала, что то была тягостная повинность и что ей уделяли особое внимание, лишь будучи не в ладах с герцогом, ему в пику. Настоящая жизнь была там, в Людвигсбурге, в том городе, который Эбергард-Людвиг построил ее сопернице, потому что она, герцогиня, упорно держалась за Штутгарт, невзирая на унижения и угрозы. Настоящая жизнь была там, в Людвигсбурге, куда государь перенес свою резиденцию, куда он насильно заставил переехать все ведомства, коллегии, консисторию и церковный совет. Там он построил для той твари, для мекленбуржанки, для метрессы, великолепный замок и туда велел перевести из Штутгартского дворца все сокровища искусства, всю парадную мебель.

Иоганна-Элизабета с первого дня запомнила мекленбуржанку— даже мысленно она никогда не произносила проклятого имени. Супруга своего она почитала и любила, она гордилась им, как доблестным воином и блестящим кавалером, она знала также, что сама недостаточно хороша для него, и не ставила ему в укор шашни со своими фрейлинами. Даже когда она родила ему сына и дочь и ей намекнули, что худосочие детей проистекает от необузданной жизни герцога, она не озлобилась против него. Когда появилась при дворе мекленбуржанка— подстроил это ее брат, интриган и сводник, чтобы через нее сделать карьеру,—она, герцогиня, по правде сказать, не поняла, что хорошего в этой твари, но раз уж Эбергарду-Людвигу та приглянулась, она и тут, как и в прежние разы, не стала ему перечить. Впрочем, герцог поначалу не слишком был увлечен и воспылил страстью лишь после любительского спектакля, в котором играл вместе с мекленбуржанкой. Герцогиня сейчас еще видит, как та тварь, в соблазнительном наряде Филлиды, напирала на него нагло оголенной грудью. И с тех пор не проходило дня, чтобы та тварь не причинила ей зла. Герцога она завлекла колдовством, это совершенно ясно; ее самое, герцогиню, она пыталась отравить: когда ей сделалось так дурно от шоколада, виной тому, конечно, была отравка мекленбуржанки, и от рокового конца ее спасла только милость провидения, не дав ей отведать еще и пирога. Для всякого, кто не был слеп, не могло быть сомнений, что та—подлая колдунья, отравительница, отродье дьявола. Неспроста же она разрешилась прежде времени черным как смоль, волосатым, сморщенным обменышем.

Но она, герцогиня, наперекор всем злодеяниям, обидам и чародействам не уступила своих прав. Пыл ненависти давно уже сменился в ней холодным, тупым, упрямым,

застарелым ожиданием гибели той твари. Так сидела она в обширном, пустынном дворце, унылая, одинокая, нудная, и вести, долетая к ней, обесцвечивались, становились расплывчатыми, тягучими, пыльно-серыми, как она сама.

Об эту пору в разных концах Швабской земли стал являться вечный жид. В Тюбингене одни говорили, будто он в собственном экипаже проследовал по городу, другие утверждали, будто видели его на проезжей дороге не то пешком, не то в почтовой карете, писец при Вейнсбергской заставе рассказывал о загадочном путешественнике, который назвался странным именем и при себе имел диковинную поклажу; когда же он стал требовать надлежащих документов, зловещий незнакомец пронизал его насквозь таким адским взглядом, что ему пришлось в страхе отступить, но от дьявольского взгляда у него и посейчас ломота во всем теле. Слухи ползли отовсюду, детей оберегали от злого глаза незнакомца, а в Вейле-городе, близ которого его видели напоследок, сторожу у заставы был дан приказ строжайше соблюдать все формальности.

Немного погодя он появился в Галле. У заставы он дерзко назвался Агасфером—Вечным жидом. Срочно созданный магистрат распорядился пока что не пускать его дальше предместья. Кругом с испугом и любопытством столпились обыватели. У приезжего была обычная наружность еврея-разносчика, лапсердак и пейсы. Он охотно отвечал на вопросы, но картаво и маловразумительно. Перед крестом он бросился наземь, взвыл и стал бить себя в грудь. Вообще же он торговал галантереей, и у него много раскупили амулетов и безделушек на память. В результате, когда он предстал перед магистратом, обнаружилось, что он обманщик, и его приговорили к плетям.

Но те, кто его видел, заявляли, что это, конечно, не настоящий. У настоящего одежда была обыкновенная, добротный кафтан голландского покроя, как у многих, разве что старомодный, и сам он с виду напоминал важного чиновника или зажиточного бюргера. Только по лицу его, по чему-то особенному, исходившему от него, а главное, по взгляду сразу чувствовалось—это и есть Вечный жид. Так во всех концах страны в один голос свидетельствовали разные уста.

Графиня спросила у Исаака Ландауера, каково его мнение на этот счет. Он отвечал уклончиво—откуда ему знать, он ведь не Лейбниц. Вообще он неохотно говорил о таких вопросах—в них трудно разобраться, он склонен ни во что не верить, но в отрицании его не чувствовалось

твердости. Кроме того, всякому, кто занимается такого рода делами, не избежать столкновения с полицией и церковными властями. Зато графиня крепко верила в магию и чернокнижие. В Густрове, еще ребенком, она много времени проводила со старухой Иоганной, пастушкой, которую позднее убили за то, что она умела накликать непогоду. Иногда открыто, чаще же, когда старуха выгоняла ее, исподтишка наблюдала она, как та варит притирания и зелья, и в глубине души твердо верила, что своим возвышением и властью обязана тому, что после смерти старухи тайком помазала себе пупок, срам и бедра козлиной кровью, которую та кипятила напоследок. Замирая от страха и любопытства, она жадно выпрашивала алхимиков и астрологов, приезжавших к людовигсбургскому двору, и хотя в обществе разыгрывала из себя вольнодумного философа, однако частенько в тиши, содрогаясь и тяжело дыша, изготовляла составы для сохранения молодости и приобретения власти над мужчиной. Что евреи своими гениальными комбинациями и неслыханными успехами на финансовом поприще обязаны колдовству, в этом она уверена, на этот счет ее не проведешь. Тайны колдовства достались им в наследство от Моисея и пророков; а за то, что Иисус хотел открыть эти тайны всем народам и, значит, обесценить их, евреи его распяли. И что Исаак Ландауер виляет и хитрит перед ней и покидает ее в беде, хотя она всегда оказывала ему столько доверия, так это попросту подлый страх конкуренции и жестокая несправедливость с его стороны.

Слухи о Вечном жиде вновь укрепили ее в намерении вернуть к себе герцога с помощью колдовства, если все другие средства окажутся недействительными. Она принялась настаивать, чтобы Исаак Ландауер повел ее к Вечному жиду. А уж если он наотрез отказывается — только незачем отвиливать, при желании для него это, конечно, возможно, — так пусть раздобудет ей другого каббалиста, который зарекомендовал себя и которому она могла бы довериться.

Исаак Ландауер зябко потирал свои бескровные руки. Ее настойчивость и горячность смущали его. Господи, ведь он только честный купец, он поставляет все, что от него требуют: деньги, угоды, дворянский титул, если на то пошло — даже маленькое имперское графство, и заморские пряности, и негров, и черных рабынь, и говорящих попугаев; но откуда, во имя всего святого, добыть ему Вечного жиды или почтенного каббалиста, который не посрамил бы себя? Ему, естественно, на миг пришла мысль подсунуть графине ловкого мошенника; но с какой стати водить за нос клиентку, слепо доверявшую ему? Он всегда отличался добросовестностью. Да и риск был уж

очень велик. Депутаты ландтага и так ненавидели его, они с величайшим восторгом довели бы его до суда или, от чего упаси боже, до костра. Против своего обыкновения, он ушел расстроенный, нехотя дав графине уклончивое обещание.

Направился он прямо к Иозефу Зюссу Оппенгеймеру.

Зюсс тем временем усердно старался быть праздным; но он был лишен дара отдыхать таким способом. Он томился от безделья: этот неугомонный человек страдал, выходил из себя, когда не мог затевать сложные махинации, водиться с властью имущими, давать толчок движению и самому кружить в вихре движения.

С малых лет какая-то сила гнала его, не давая передышки. Ребенком он не пожелал оставаться во Франкфурте у дедушки, благочестивого и смиренного рабби Соломона, кантора в синагоге. Родителям — отец его был директором странствующей еврейской труппы — пришлось возить его с собой. Таким образом, он уже в шестилетнем возрасте попал к вольфенбюттельскому герцогскому двору и увидел власть имущих вблизи. Герцог благоволил к отцу и еще больше к матери, красавице Микаэле Зюсс, а герцогиня без ума была от миловидного, пылкого, не по летам смышленного, кокетливого мальчугана. Ах, какая разница была между ним и белобрысыми флегматиками — детьми при вольфенбюттельском дворе. Оттуда пошло его страстное тяготение к обществу власть имущих. Он нуждался в смене впечатлений, в новых лицах, у него была жажда общаться с людьми, алчное желание втиснуть в свою жизнь как можно больше людей, и они навсегда оставались у него в памяти. Он считал потерянным тот день, когда ему не удалось свести хоть четыре новых знакомства, и хвастал тем, что знал в лицо треть всех немецких владетельных князей и по меньшей мере половину знатных дам.

Его почти невозможно было удержать в гейдельбергской школе. Трижды за четыре года убежал он оттуда вдогонку кочующей труппе. А когда умер отец, никакие просьбы, рыдания, угрозы, проклятия матери не могли обуздать его. Миловидный мальчуган, баловень целого города, был не по годам развит, обнаруживал поразительные способности к счету, кичился своей аристократической наружностью и позволял себе самые бесшабашные шалости. Соседи-евреи руками всплескивали, христиане смеялись весело и благосклонно, а мать молила, плакала, бранилась и не знала, гордиться ей или негодовать. И в Тюбингене, куда его послали изучать право, он не мог усидеть в аудиториях. Математикой и языками он овладевал играючи, к юридическому крючкотворству, из которого профессора кое-как сколачивали теорию, у него был

природный дар. Для него же куда важнее было знакомство со знатными студентами, и за то, что они хоть часок обращались с ним, как со своим братом дворянином, он соглашался всю неделю быть им слугой и шутом. Ему становилось все яснее и яснее: его призвание — водить компанию с властью имущими, ублаговотворять их, увиваться вокруг них. Кто лучше его умел проникать в причуды и прихоти государей, вовремя замолчать, вовремя заронить в них семя своей воли, как шелкопряд свою личинку в созревающий плод? А кто еще способен был так подольститься к женщине и мягкой уверенной рукой скрутить самую неподатливую? Его жгло желание: побольше стран, побольше людей, побольше женщин, побольше роскоши, побольше денег, побольше лиц. Движение, деятельность, вихрь событий. Не мог он усидеть ни в Вене, где в достойном браке проживала, блистала, транжирила деньги его сестра, ни в конторах своих родственников Оппенгеймеров, императорских банкиров и поставщиков на армию, ни в канцелярии маннгеймского адвоката Ланца, ни в деловом кабинете своего брата, дармштадтского княжеского фактора, который теперь, крестившись, стал прозываться бароном Тауфенбергером. Та же сила толкала, гнала его. Новые женщины, новые сделки, новая роскошь, новые нравы. Амстердам, Париж, Венеция, Прага. Вихрь событий, жизнь.

При всем том он плавал в мелкой, стоячей воде и никак не мог выбраться на широкий речной простор. Лишь Исаак Ландауер устроил ему первые серьезные дела — договор на курпфальцскую гербовую бумагу и соглашение на чеканку дармштадтской монеты, и лишь проворство и отвага, с какой он бросился в эти рискованные предприятия и в надлежащую минуту отступился от них, создали ему репутацию настоящего дельца. Казалось бы, он заработал себе законное право посидеть здесь, в Вильдбаде, сложа руки, перевести дух.

Но на это он не был способен, праздность донимала его, как зуд, и лишь затем, чтобы дать исход своей энергии, он затеял сотню любовных интрижек, планов, афер. Его камердинеру и секретарю Никласу Пфевеле, которого он сманил у маннгеймского адвоката Ланца, хладнокровному, непроницаемому, неутомимому, бледнолицему толстяку, приходилось целый день быть в бегах, разузнавать для него новости, адреса, занятия и биографии приезжих посетителей курорта.

Зюсс был очень моложав на вид и гордился тем, что обычно ему давали около тридцати лет, почти на десять меньше его настоящего возраста. Ему необходимо было чувствовать, что его провожают женские взгляды, что головы поворачиваются ему вслед, когда он едет верхом

по аллее. Он употреблял множество притираний, чтобы сохранить унаследованный от матери матово-белый цвет лица, любил, когда говорили, что у него греческий нос, и куафер ежедневно завивал его густые темно-каштановые волосы, чтобы они и под париком лежали волнами; часто он даже ходил без парика, хотя это не подобало господину его звания. Он боялся испортить смехом свой маленький рот с полными пунцовыми губами и заботливо следил в зеркале, чтобы его гладкий лоб не утратил беспечной ясности, которая казалась ему признаком аристократизма. Он знал, что нравится дамам, но искал этому все новых подтверждений, и та, с которой он провел одну ночь, осталась ему мила на всю жизнь, потому что назвала его темно-карие, сверкающие под нависшими дугами бровей живые глаза — крылатыми глазами.

Подобно тому как мода и прихоть требовали все новых яств и вин, все нового хрусталя и фарфора для его стола, так для постели ему требовались все новые женщины. Он был ненасытен, но быстро пресыщался. Память его — гигантский музей, где надежно хранилось все, — в точности запечатлевала лица, тела, запахи, позы; глубже не задевала ни одна. Одна-единственная проникла за пределы чувственности; тот год, что она прожила с ним, год в Голландии, стоял в его жизни совершенно обособленно, отдельно от других, но он замуrowал воспоминание об этом годе, не говорил о нем, мысль его пугливо обходила этот год и отлетевшую тень, лишь очень редко воспоминание пробуждалось и устремляло на него взгляд, вселяющий смущение и тревогу.

Он так легко поддался на уговоры Исаака Ландауера еще и потому, что за последние годы лечение на курорте Вильдбад стало чуть не обязательным для всякого, кто почитал себя в западной Германии аристократом. Даже из Франции сюда являлись посетители, здесь можно было увидеть моднейший экипаж, услышать изысканнейшую беседу, обтесать по моделям Версаля углы и шероховатости, которыми грешили даже модничающие немецкие дворы. Здесь был настоящий большой свет, здесь можно было наглядно видеть, как меняется цена отдельным лицам и целым общественным слоям, кто идет в гору, кто катится вниз; живой пример был куда поучительнее, чем «*Mercurie galant*»¹. Только здесь из всей Германии можно было точно установить, какой формы ножку следует предпочесть модному франту при выборе дамы сердца, чтобы не прослыть отсталым.

Так как у Зюсса не было дела посерьезнее, он с головой ушел в эту суету, бойко лавировал среди светских

¹ «Светский вестник» (фр.).

пустяков. Ощущая пустоту, изголодавшись по событиям, он присосался к жизни других. Он беседовал с хозяином гостиницы, где проживал, и строил планы, как увеличить ее рентабельность, он спал с юной служанкой, он выписал владельцу игорного дома новомодные столы для игры в «фараон» и заработал на этом четыреста гульденов, он был самым желанным гостем на утреннем приеме принцессы Курляндской, он улаживал любовные неудачи сторожа при ванном заведении, стараниями незаменимого Никласа Пфефле он добывал из людовигсбургских оранжерей померанцевые цветы для дочери посла Генеральных штатов; зато, когда она сидела в ванне и флиртовала с кавалерами, ему разрешалось занимать ближайшее к ней место на деревянной крышке ванны, над которой выступала лишь голова девицы; по уверению многих, ему разрешались и другие вольности. Он подписал выгодный контракт с амстердамским ювелиром на шлифовку определенного сорта драгоценных камней; при столкновении с баварским графом Трацбергом, заносчивым грубияном, он так отбрил баварца, что тому пришлось на следующий день убраться из Вильдбада; он исхлопотал садовнику кредиты для разбивки парка подле ванного заведения и заработал на этом сто десять талеров. За игорным столом, когда все немецкие кавалеры испуганно ретировались, он остался единственным партнером молодого лорда Сэффолка, беспечно и учтиво проиграв четыреста гульденов, но дал пощечину галантерейному торговцу, который вздумал взять у него за подвязки лишних четыре гроша. Он ежедневно являлся на аудиенцию к саксонскому министру — саксонский двор нуждался в займе — и стоял, обнажив голову, склонившись в раболепном поклоне, в то время как министр высокомерно проходил мимо, не удостоивая его ни взглядом, ни кивком. Он пламенно завидовал Исааку Ландауеру, который, под улюлюканье мальчишек, под проклятия народа и насмешки высшего света, входил в дом к графине, считал, ворочал деньгами, ворочал страной, выпускал людей на волю и заточал в тюрьмы.

В таком расположении духа застал его Исаак Ландауер. Он сперва нащупал почву, заговорив о странных причудах, которыми господь, да будет благословенно его имя, наделил и наказал христиан. Почтенному муниципальному советнику из Гейльбронна нужно, например, чтобы возле него постоянно терлись семь собачек и чтобы они были одинаковой величины, фрейлейн фон Цванцигер дала обет не произносить по пятницам ни единого слова, а господин фон Гогенэк почитает для себя делом чести присутствовать на всех аристократических похоронах в округе, ради чего не щадит никаких трудов. Затем старик

осторожно перешел на слухи о Вечном жиде и напоследок сказал, что графине взбрела странная фантазия повидать Вечного жиде или еще какого-нибудь мага или астролога, а лучше всего — зарекомендовавшего себя каббалиста. После чего умолк, выжидая.

Зюсс сразу почуял, что старик куда-то гнет. Он весь подобрался, насторожился. Разговор Исаака Ландауера о Вечном жиде сбил его с толку. Это была область, не имевшая ничего общего с делами, не находящая себе выражения в цифрах. Она граничила с тем, что было замуровано, с заповедным. Разумеется, слухи дошли и до него; но природный дар ограждать себя от всего, что может вывести из равновесия, помог ему легко и быстро отделаться от смущающих душевный покой догадок. Только бы не коснуться заповедного.

Но теперь, когда Ландауер заговорил об этом, тревожное чувство неумолимо подкралось к нему. Точно волна, издали набегало на него то, с чем пришел Исаак Ландауер, он боялся и желал решительного слова, и, когда Исаак Ландауер сделал паузу, он замер в мучительно волнуемом ожидании.

Но тот заговорил снова. Нерешительно, нащупывая отношение собеседника, он вымолвил нарочито небрежным тоном:

— Я уж подумал, реб Зюсс, о рабби Габриеле.

Так и есть. Человек, что сидит перед ним, лукаво и добродушно покачивая головой, построил точный расчет на том заветном, от чего он, Зюсс, боязливо отшатывался и отмахивался. Он вынуждает его к откровенности с самим собой.

— Я так полагаю, — продолжал искуситель выведывать у завистника, — я полагаю, что Вечный жид, о котором толкуют, не кто иной, как он.

Да, да, Зюссу это, конечно, тоже пришло в голову, когда он узнал о слухах. Но он именно и не хотел, чтобы предчувствие превратилось в уверенность. Рабби Габриель, его дядя, этот каббалист, этот вещун, окутанный для всех таинственным и устрашающим туманом, единственный человек, который не был ему ясен до конца, который одним своим присутствием лишал красок красочность его мироощущения, лишал жизни его действительность, делал спорными его ясные круглые цифры, стирал их, — этот человек должен существовать сам по себе, где-нибудь вдали. Ни в коем случае нельзя вмешивать его в дела. Иначе он коснется заповедного. И тогда не миновать смятения, гнета, разлада, всего того, что не поддается выкладкам и подсчетам. Нет, нет, дела здесь, а то — надежно запрятано там, далеко, и так оно правильно, так должно быть и впредь.

— Я, конечно, не стал бы требовать этого даром, реб Иозеф Зюсс,—нащупывал почву искустель.— Я бы вовлек вас в дела с графиней.

Иозеф Зюсс пустил в ход весь механизм своих расчетов. Великий соблазн овладел им. Точно, быстро, с невероятной энергией, мгновенно и безошибочно взвесил он все выгоды сделанного предложения, довел их до полной ясности, подсчитал, свел баланс. Деловая связь с графиней—это много, это больше, чем крупный куш денег. Войдя в это предприятие, он мог приблизиться к герцогу, а оттуда до принца Евгения—один шаг. Он видел перед собой сотни возможностей, головокружительно далекие перспективы придвинулись вплотную.

Но пойти на это нельзя. Всем можно пожертвовать для выгодной аферы. Радостями, женщинами, жизнью. Только не этим. Втянуть в свои дела рабби Габриеля—продать его—нельзя. Он, Зюсс, не веровал ни в добро, ни в зло. Но это значило бы вторгнуться в такую область, где всякие расчеты и прикидки кончаются, ринуться в круговорот, где отвага бессмысленна и умение плавать—тщетно.

Он дышал порывисто и тяжело. Защищаясь от чего-то, как в ознобе передернул плечами. Ему почудилось, будто из-за спины его выглядывает человек с его собственным лицом, только совсем призрачный, туманный.

— Вам не придется ничего требовать от него,—вкрадчиво соблазнял Исаак Ландауер.— И не надо ничего ему навязывать. Я хочу только одного, реб Иозеф Зюсс, чтобы вы доставили его в Вильдбад. Вы бы могли послать своего молодого человека, этого самого Пфевле, он наверняка найдет его. А я возьму вас компаньоном в дела с графиней.

Зюсс стряхнул с себя оцепенение, овладел собой. К окружающему миру вернулись краски, формы, ясность, определенность. Призрачное лицо за его спиной исчезло. Все его колебания—вздор. Ведь он же не мечтательный, глупый юнец. Ну да, в тот раз, когда ему предложили креститься при курпфальцском дворе, у него еще были резонные основания для отказа. Правда, сейчас он и сам толком не понимал, почему не последовал примеру брата, когда это был такой простой способ добыть себе престиж, положение и баронский титул. Как бы то ни было, он не пошел на это тогда, не пошел бы теперь и никогда, ни для какого дела на свете. Но что особенного было в том, чего требовал от него сейчас умный и ловкий старый хитрец? Никто ведь не требует, чтобы он продавал загадочного, угрожающе зловещего рабби. Опять необузданная и чересчур стремительная фантазия едва не ввела его в заблуждение. Только вызвать старика—вот и все, что он

должен сделать. А за это — связи с графиней, с герцогом, с принцем Евгением. Дураком надо быть, чтобы не схватиться за такое дело, хотя от этого и становилось немного — он искал подходящего слова, — немного не по себе.

Запинаясь и не договаривая, он ответил, что послать то за рабби, пожалуй, можно... Исаак Ландауер тотчас ухватился за его согласие. Но тут Зюсс потребовал себе такой доли в делах с графиней, на которую тот никак не мог пойти. Ожесточенно торгуясь, принялись они обсуждать мельчайшие подробности соглашения. Упорно отводявая каждую пядь, Зюсс в конце концов отступил.

Когда они окончательно договорились, Зюсс с головой ушел в это предприятие, дышал и жил им одним. Рабби Габриель канул для него в область заповедного, едва он отослал слугу.

Никлас Пфевле поехал в почтовой карете. Никому не бросался в глаза тучный молчаливый путник; с виду равнодушный, рассеянный и сонливый, он скрывал свою неустойчивость под меланхолично-ленивой личиной. Взяв на себя какую-нибудь задачу, он впивался в нее цепко и хладнокровно.

След незнакомца вел вдоль и поперек по всей Швабской земле, без видимой цели, произвольно. Затем терялся и вновь обнаруживался в Швейцарии. Бледнолицый толстяк следовал за ним, добросовестно, шаг за шагом, неотступно, невозмутимо.

Странно путешествовал этот незнакомец. Обычно люди так не ездят. Редко случалось, чтобы он выбрал прямую дорогу, а все больше сворачивал на боковые колени, и чем круче была тропа, тем казалась желанней ему. Во имя чего нужно было человеку устремляться в каменистые, обледенелые пустыни, преданные проклятью божьему?

Редко попадавшие в здешних местах крестьяне, охотники, дровосеки были непонятливы, немногословны. Когда незнакомец взбирался выше их самых высоких пастбищ, они хоть и смотрели на него, но так же медлительно и безучастно, как их скотина, и так же медлительно и безучастно отводили взгляд, когда он удалялся. Незнакомец ничем не привлекал внимания: одежда на нем была плотная, темная, довольно старомодного покроя, какой носили в Голландии лет двадцать назад. Невысокий, коренастый, немного сутулый, он шагал твердо, тяжелой поступью. Здесь в горах, куда редко забираются путешественники, Никлас Пфевле без труда находил его след. Зато внизу, на равнине, где

население гуще, мудрено, казалось бы, не потерять из виду невзрачного человечка. Однако нечто своеобразное, трудно определимое позволяло, при всем отсутствии каких-либо отличий, проследить его путь. Люди не умели назвать словами это нечто, оно было неуловимо и все же неповторимо, присуще ему одному, и говорили об этом всегда одинаково пугливым шепотом. Путь его отмечался воздействием его личности; кто видел его, тому становилось труднее дышать, смех обрывался в его присутствии, голову сжимало тесным обручем.

Никлас Пфевле, бледнолицый, толстый, хладнокровный, не доискивался причин. Ему важно было напасть на след.

Высоко в горах лепились три крестьянских двора, при них деревянная часовенка. Еще выше пасся скот. А дальше ничего, только лед да камень.

Незнакомец карабкался по краю пропасти. Внизу, пронзительно звеня, стремился ручей, можно было проследить взглядом вплоть до того места, где он из-под глетчеров и валунов вырывается наружу. С другой стороны кедры в одиночку упрямо взбирались вверх, с трудом пробиваясь меж камнями. Вершины, сияя белизной, слепя глаз искристым снегом, врезали причудливые зубцы в сверкающую синеву, замыкали застывшим полукругом плоскогорье. Незнакомец карабкался неторопливо, осторожно, не очень умело, но упорно. Переправлялся через быстрые ручьи, ледяные поля, оползни. Но вот он уже на выступе, перед полукружием ледяных стен. Под ним высовывался широкий, голый, потрескавшийся язык одного глетчера, сбоку примыкал другой; и все терялось в каменистой пустыне, беспорядочно разбросанные обломки скал сливались в таинственно вздыбившиеся ломаные линии. А сверху дразнил своей недосыгаемостью сверкающий на солнце, горделиво-нежный изгиб оснеженных вершин.

Незнакомец присел на корточки, огляделся, склонился на руку широким, безбородым, бледным лицом. Блекло-серые глаза над небольшим приплюснутым носом были слишком велики для срезанного сверху, мясистого лица и полны глухой, неизбывной тоски. Выпуклый, невысокий лоб тяжело нависал над густыми бровями. Опершись локтем на колено, а щекой на ладонь, незнакомец сидел на корточках, оглядывался.

Здесь ли было то, что он искал? Одно вытекает из другого, низший мир из высшего, у каждого человеческого облика должно быть свое подобие в частице природы. Он искал ту частицу мира, из которой на него глянет

возвеличенным, проясненным, облагороженным один человеческий лик, лик человека, которому он обречен. Он искал поток, который связует того человека, а значит, и его самого с звездным миром, со Словом, с бесконечностью. Он совсем съежился и забормотал про себя нараспев глухим, неблагозвучно ломаным, картавым голосом стихи тайного откровения. Кожа, плоть, кости и жилы суть одежда, оболочка, а не сам человек. Но тайны высшей мудрости заключены в строении человеческого тела. Взгляни, кожа подобна небесам, что простираются надо всем, все окутывая точно покровом. Взгляни, плоть подобна материи, из коей построено мироздание. Взгляни, кости и жилы—это колесница и престол божий. Это орудия воли божией, по слову пророка. Но все это лишь оболочка; каков же земной человек внутри, таков внутри и человек небесный, и низший мир ничем не отличается от мира высшего. Как на небосводе, что замыкает в себе землю, звезды и созвездия стоят и вещают нам сокровенное и тайну великую, так на покрове нашего тела начертаны морщины и борозды и знаки и линии, и они суть звезды и созвездия тела, и в них заключена своя загадка, и мудрец читает ее и толкует ее.

Приди и взгляни! Дух резцом высекает себе лицо, и посвященный узнает его. Духовные начала и души высшего мира, созидаясь, обретают образ и точные очертания, кои впоследствии отражаются на лицах человеческих.

Он умолк. Прочь эти мысли. Они не должны быть мыслимы, чтобы не стать вымыслами. Есть тайны, которые надо лишь созерцать или совсем не касаться их.

Это ли тот лик, который он искал? Пустыня, лед и камень, дразняще сверкающая синь над ними, ручеек, что с трудом пробивается наружу? Обломки скал на потрепавшемся льду образуют зловещие линии; это ли тот лик, который он искал?

Он углубился в себя. Он заглушил всякое движение души, чуждое тому, что он искал. Три борозды, четкие, глубокие, короткие, отвесно перерезали его лоб над переносицей, образуя священную букву Шин, зачинающую имя божие—Шаддаи.

Тень большой тучи омрачила глетчеры, а несказанно нежные очертания искрящихся снегом вершин ласково дразнили своей недосыгаемостью. Коршун чертил в голубом мареве плавные круги над окаменелым хаосом горной долины.

Человек, скорчившийся на выступе, ничтожный посреди безграничного простора, впитывал в себя все очертания—камня, пустыни, потрескавшегося льда. Нежный, дразнящий блеск, тучу, полет птицы, мрачное и дикое своеволие скалистых глыб, отзвуки людей внизу и скота

на пастбищах. Он затаил дыхание, он созерцал, гадал, разгадывал.

Наконец он поднялся, почти шатаясь от напряженной неподвижности, обессиленный, полный глубокой примиренной печали, стер со лба бороздивший его знак. С трудом передвигая онемевшие ноги, спустился в долину.

Внизу, от первого из трех дворов, к нему навстречу шел незнакомый ему бледнолицый толстяк, пытливо, но с невозмутимым видом поглядел на него, протянул письмо и хотел заговорить. Рабби Габриель не дал ему произнести ни слова.

— От Иозефа Зюсса,—сказал он так просто, словно давно был предупрежден и о посланце и о письме, словно подтверждал получение того, чего он ждал.

Никлас, не удивившись, что незнакомец знает его, поклонился.

— Я приеду,—сказал рабби Габриель.

После десяти дней бешеной деятельности графиня застыла в тупом ожидании. Обессилев и ослабев духом, сидела она среди ляпис-лазури и позолоты: вся она расплылась, упругие щеки обрюзгли, руки повисли вдоль тела. Прежде ни одну мелочь домашнего обихода она не оставляла без указания и проверки, теперь же она безучастно подчинялась камеристкам, когда они массируют ее, наводили на нее красоту, облачали в пышные наряды. Она велела привести к себе ночью Каспару Бехершу, слывшую чародейкой и вещуньей; но старуха в просаленных лохмотьях, перепугавшись и обомлев от окружающей роскоши, лепетала лишь какую-то нелепицу. А мага и каббалиста, обещанного Исааком Ландауером, все не было и не было.

Гонцы из Неслахского охотничьего замка сперва доносили все одно и то же. Герцог охотится, бражничает, спит с венгерской танцовщицей. Но затем сразу наступила перемена, и, перегоня одна другую, полетели сенсационные вести. Тайный советник Шютц, льстивый и настойчивый, проник к герцогу. На другой день в Неслах прибыл изящный прелат Вейсензе, просвещенный дипломат из парламентского совета одиннадцати. Герцог два часа совещался с Шютцем, венгерку тут же отослали в Людвигсбург, а в довершение всего вечером Эбергард-Людвиг принял прелата Озиандера, меднолобого горлана, пламеннейшего приверженца герцогини.

Едва это известие достигло Вильдбада, как графиня перестала владеть собой. Ах так, Озиандер у герцога. Озиандер! Она бушевала. Когда она в свое время пожелала быть включенной в заздравную молитву, этот чурбан,

этот подлый пес осмелился заявить, что она, мол, там уже упоминается: «Очисти нас от всякия скверны!» И ухмылялся во весь рот, упиваясь одобрительным хохотом целой империи. Герцог не решился отставить популярнейшего в Вюртемберге человека, только перестал принимать его. А теперь он в Неслахе громит ее по-мужички грубыми шутками. Нет, нет! Выжидать? Вздор. Она задохнется, если и дальше будет со стороны смотреть на происходящее. Даже высидеть в карете у нее не было терпения. Градом посыпались приказания: пусть управляющий, секретарь, камеристки, лакеи едут за ней следом. Сама же она с одним конюхом, верхом, помчалась в Неслах, не позволяла себе остановиться, чтобы перекусить, скакала, как вестник сатаны.

Налетела на герцога, с шумом и гамом объезжавшего лошадей под поощрительное гиканье шумливых рыцарей святого Губерта. Эбергард-Людвиг в полной растерянности остановился посреди умолкших, склоненных в почти-тельном поклоне, исподтишка скалящих зубы кавалеров, а затем, весь красный, смущенно лебезя и сопя мясистым носом, повел графиню в замок принять ванну и подкрепиться. Бес, а не баба! Что за скачка! Вот так Христль! Просто бес, а не баба.

Графиня, как была, в амазонке, разгоряченная ездой, покрытая густым слоем пыли, сразу же приступила к нему с объяснениями. Лишь бы теперь не сплеховать. Удержать. Прижать. Крышкой рассудка приглушить бурлящее сердце. Зорким взглядом пронизать туманную мглу; только не горячиться: стоит недоглядеть, и все пойдет прахом. Снова захватить, крепко взять в руки это колеблющееся, извивающееся, увиливающее, ненадежное, неискреннее существо. Завладеть им сейчас, когда он застигнут врасплох, не может вывернуться, когда никто посторонний не вмешивается в разговор, не подсказывает ему умных, смелых, решительных мер. Потихе, натянутые нервы. И ты, буйное сердце, потихе.

Она начала непринужденным тоном, отпивая глоточками лимонад, подтрунила над его непритязательностью: губертовские кавалеры, юная танцорка — невысокие у него требования. Затем пошли мягкие упреки. Озиандера ему не следовало принимать. Она, конечно, понимает, ему просто хочется позабавиться грубыми шутками старого дурня, но истолковать это могут ложно. Эбергард-Людвиг в отчаянном смущении не знал, куда укрыться от стального блеска ее глаз, громко сопя, извивался, потел под толстым сукном кафтана. Вот так женщина! Вот так Христль! Эдакая дьявольская скачка! Раз-два — и примчалась, и внесла ясность в неразбериху его колебаний и шатаний. Потом она спросила напрямик: ведь толки

насчет примирения с герцогиней и прочего — чистый вздор? Или нет? Он гулко откашлялся — разумеется, пустая болтовня. Они оживленно поужинали, выпили вдвоем, без губертовских рыцарей. Ни намек на Шютца и на Озиандера. Графиня заполнила всю комнату своей беззаботной, шумной веселостью, целиком окутала его освободившегося от гнета Эбергарда-Людвига. Черт возьми! Что за скачка! Что за женщина! Бес, а не женщина!

Графиня проспала всю ночь без грез, глубоким, блаженным, долгим сном. Когда она пробудилась, герцога не было. Он улизнул тайком на рассвете. Надавав пощечин елейному, пожимающему плечами, втайне ухмыляющемуся кастеляну, графиня вне себя кинулась вслед за герцогом, загоняя коней. В Людвигсбургском замке — пустота. Ни намек на герцога. Герцог уехал в Берлин с ответным визитом королю. Предписанная церемониалом свита нагонит его на границе.

Обезумев, размахивая хлыстом, неузнаваемая от ярости, мимо жмущихся по стенам лакеев ринулась она через пустые залы. Только в последнем покое, у письменного стола герцога, между бюстом Августа и Марка Аврелия, перед картиной итальянского художника, изображающей ее самое со знаками герцогского достоинства, — человек в сановничьем парике, бесконечно учтивый, почтительно склоненный, со слащавой улыбкой: Шютц. Андреас Генрих Шютц, ее креатура, ее Шютц, которого она возвела в дворянское достоинство, сделала тайным советником. В мундире самого последнего покроя, с пряжками на башмаках из одних только полудрагоценных камней, по новейшей парижской моде, дипломат раз за разом клевал в церемонных поклонах огромным крючковатым носом, усердно шаркал ногой и, привычно гнусава, заверял на изысканно-витиеватом французском диалекте, что господь якобы вселил в его светлость предчувствие о прибытии вашего превосходительства, но его светлость, не имея, к несчастью, возможности ждать, осчастливил своего покорнейшего слугу поручением отобедать с вашим превосходительством и при сем случае сделать одно сообщение. Графиня, побагровев и захлебываясь от злости, крикнула ему, чтобы перестал кривляться и по-немецки, без экивоков, объяснил, что происходит, а не то — и она угрожающе взмахнула хлыстом. Но тайный советник, неколебимо учтивый, твердо стоял на своем — ему, мол, прискорбно послушаться своей высокой покровительницы, но он связан строгими указаниями.

Наконец за столом он передал ей одобренный множеством комплиментов приказ герцога, предписывающий ей покинуть столицу и поселиться в своих поместьях. Она разразилась громким хохотом.

— Что ты за шутник, Шютц! Что за шутник!— повторяла она, продолжая неудержимо хохотать.

Старый дипломат, по-прежнему невозмутимо учтивый, зорким, ясным взглядом наблюдал, как она вскочила с места, как заметалась из угла в угол. Втайне он дивился ей—до чего же натурально, без малейшего надрыва звучит ее смех, до чего удачно она играет.

Графиня осталась. О! Она и не собирается уезжать из Людвигсбурга. Минутами она впадала в неистовство, обрушивалась на слуг, била фарфор; Шютц пожимал плечами—он, мол, только исполнил свою обязанность, передав ей приказ его светлости, и в пространных, изысканных выражениях заверял ее, что для него честь и счастье как можно дольше пользоваться ее присутствием, но только пусть сама на себя пеняет, ибо за такую задержку ей не миновать высочайшего гнева и грозной немилости. Они встречались за трапезами. Старый, прожженный интриган, умевший удержаться при любом режиме, непритворно симпатизировал графине за ее дерзновенный взлет и как знаток восхищался замысловатыми деловыми махинациями, с помощью которых ее евреи преспокойно переправляли за границу награбленные ею богатства. Высохший, как мощи, покончивший со страстями кавалер никогда бы не поверил, что способен столь искренне и пылко ухаживать за толстой, немолодой женщиной. Они вели за столом пикантные, сдобренные смелыми намеками беседы, и он с интересом ждал, до каких пределов доведет она послушание строгому приказу Эбергарда-Людвига.

Герцог недолго пробыл в гостях. Шютц не замедлил сообщить графине, что герцогиня получила приглашение в замок Тейнах. Туда же вызваны депутаты ландтага, а также посланники Баден-Дурлаха, курфюршества Бранденбургского и Касселя. Герцог желает примириться со своей супругой перед лицом народа и империи. Долго молча смотрела графиня на тайного советника, который не спускал с нее серьезного, внимательного взгляда. Затем она попыталась вскочить и со слабым, сдавленным криком упала без чувств. Он поспешил ей на помощь, позвал ее служанок. Вечером он снова велел доложить о себе, спросил, каковы будут ее распоряжения. Она, воплощение величавой покорности, заявила, что едет в свой замок Фрейденталь, к матери, которую поселила там пять лет назад. Шютц спросил, не предоставить ли ей конвой, ибо он опасается вспышек народного гнева. Она, откинув голову, сжав губы, отказалась.

Наутро она с челядью выехала из Людвигсбурга. В шести каретах. Пока лошади трогали, тайный советник Шютц стоял, склонившись в глубоком поклоне, у балю-

страды замка. Из-за драпировок на высоких окнах, ухмыляясь, поглядывали герцогские лакеи. Горожане смотрели ей вслед молча, не кланяясь, глумиться они не решались. Но визгливый смех уличных мальчишек летел за ее каретой.

Она послала вперед целый обоз мебели и предметов убранства. Замок остался опустошенным после ее отъезда. Даже драгоценная чернильница герцога исчезла, и бюсты Августа и Марка Аврелия стояли совсем оголенные перед помпезным портретом кисти итальянского художника, на котором графиня была изображена со всеми знаками герцогского достоинства.

Шютц, улыбаясь, дал ей полную волю.

Из четырех комнат, которые Зюсс занимал в вильдбадской гостинице «Звезда», ему пришлось уступить две. Принц Карл-Александр Вюртембергский, имперский фельдмаршал и губернатор Белграда, прибыл ранее назначенного срока, и ему понадобились эти комнаты. Принц совершенно не терпел графиню. Он был чужд предрассудков. «Хорошая шлюха—дело доброе,—говаривал он,—но корыстная шлюха—это исчадие ада». А графиню он считал корыстной шлюхой. Поэтому он хотел дожидаться ее отъезда, чтобы не встретиться с ней. Но раз она убралась раньше, он тоже мог сократить пребывание в Вюрцбурге.

Посетители курорта с любопытством глазели на карету принца. Шутка ли—Карл-Александр, победитель при Петервардейне, правая рука принца Евгения, имперский фельдмаршал, в большой чести при венском дворе! Повсюду в Германии, а особенно в Швабии висела картина, изображающая, как он при осаде Белграда с семьями алебардщиками под градом турецких ядер штурмует укрепление. Захватывающее зрелище. Настоящий герой! Большой полководец! Браво! Эввива! Впрочем, политически—полный нуль, захудалый отпрыск побочной княжеской ветви. Абсолютно безвреден. Но зато галантный кавалер, компанейский человек, добрый малый. Все сердца стремились к нему, дам увлекала преимущественно его военная доблесть, а дочь посла Генеральных штатов даже бросила ему в окно кареты лавровую веточку.

Въезд его был не слишком пышным. Громоздкая, несколько потрепанная дорожная карета. Сам принц, правда, крайне элегантен, по случаю дороги без парика, и длинные красивые белокурые волосы обрамляют открытое, жизнерадостное лицо, рослая, статная фигура весьма представительна в богатом мундире. Но свита крайне

убогая: лейб-гусар, гайдук, кучер, и больше никого. Только одна бросающаяся в глаза изысканная деталь: на запятках чернокожий, молчаливый, внушительного вида молодец, мамелюк, или что-то в таком роде,—должно быть, военная добыча принца.

Зюсс с Исааком Ландауером стояли среди глазеющей, кричащей «ура» толпы, когда принц подъехал к гостинице. Зюсс с завистью смотрел на стройного, элегантного великана. *Mille tonnerre!*¹ Вот это поистине принц и большой вельможа! Какая мелкота по сравнению с ним были все, кто слонялся тут по Вильдбаду. Чернокожий тоже произвел на него впечатление. Но Исаак Ландауер дал пренебрежительную и добродушно-соболезнующую оценку экипажу и ливрее:

— Ваш господин фельдмаршал попросту голоштанник. Верьте мне, реб Иозеф Зюсс, он и двух тысяч талеров не стоит!

Принц пребывал в превосходном настроении. Вот уж три года, как он не был в западной Германии, долгое время жил среди полудиких язычников подвластной ему Сербии, дрался с кем попало, только что не с самим чертом. И теперь он, мужчина в соку—ему только что стукнуло сорок пять лет,—с наслаждением вдыхал воздух отечества.

После долгого пути он прежде всего выкупался, велел лейб-гусару Нейферу натереть ему настоями хрому ногу—воспоминание о битве при Кассано—и уселся у окна в шлафроке, весело болтая с камердинером, меж тем как чернокожий примостился у его ног.

Жизнь порядком потрепала принца. С двенадцатилетнего возраста он был солдатом, дрался в Германии, в Италии, в Нидерландах, в Венгрии и Сербии. После принца Евгения, которому он был предан душой, он считался первым полководцем империи. В Венеции и в Вене он прошел школу высшего светского тона, а обходительность манер, добродушный, несколько грубоватый юмор снискали ему любовь женщин, собутыльников и охотничьей братии. Он достиг всего, что достижимо для захудалого отпрыска побочной княжеской ветви. Он—близкий друг принца Евгения, действительный тайный советник, имперский фельдмаршал, наместник его величества в Белграде и во всем Сербском королевстве, шеф двух имперских полков, кавалер Золотого руна.

В Белграде его постоянно окружал хоровод офицеров и женщин. Ему по душе была бесшабашная жизнь, превращавшая Белградскую крепость в походный лагерь,

¹ Гром и молния! (фр.)

а с его незатейливым обиходом вполне справлялись лейб-гусар Нейфер и чернокожий.

Наместничество в Белграде ему исхлопотал его друг принц Евгений. Он и в самом деле обеспечил за этим округом такую оборонную мощь, что его методы приводились как назидательный пример во всех военных академиях. Что до управления страной, то тут он — черт побери! — больше руководствовался наитием, чем осведомленностью, но в столь угрожаемой местности настоящий человек, хотя ему и случалось ошибиться, был все же куда полезнее какой-нибудь канцелярской крысы из Военного совета при венском дворе. Если когда-нибудь забота и брала за горло веселого, полного жизни вояку, то всегда одна и та же: деньги. Жалованье у него было скудное, княжеский апанаж ничтожный. А натура широкая. Ведь он, императорский наместник, имел дело с чванными венгерскими баронами и турецкими пашами, которые богатством, пожалуй, не уступали царице Савской. Он не был избалован, ему случалось жить как простому солдату, кормиться такой дрянью, что кишки выворачивало наизнанку, и спать на мерзлой грязи. Но не мог же он сажать своих собутыльников за пустые столы, водить своих любовниц в лохмотьях и держать на конюшне ободранных кляч!

При венском дворе такие жалобы пропускали мимо ушей или пожимали на них плечами. Господи, если принцу не нравится наместничество, в имперских землях достанет вельмож и богачей, мечтающих занять этот важный пост и готовых оплачивать представительство из собственного кармана. Венские банкиры прежде выручали принца мелкими суммами; теперь они стали несговорчивы, почти что наглы.

Настоящее участие он встретил лишь в Вюрцбурге у князя-епископа. Он знал этого жизнерадостного толстяка давно, с молодой венецианской поры. Там они — принц, теперешний князь-епископ и Иоганн Эвзебий, ныне князь-аббат в Эйнзидельне в Швейцарии, крепко сдружились. Трое юношей, все трое захудалые побочные отпрыски владетельных родов, были посланы в Венецию учиться жизни и политике. Стареющая республика, давно клонящаяся к закату, точно кокотка, которая не желает сложить оружие, все еще держала тон мировой державы, имела послов при всех дворах, ее синьория раскинула сеть интриг над Европой и Новым Светом, судорожно цепляясь за фикцию большой влиятельной политики. Действие машины было тем исправнее, что работала она на холостом ходу, и вся знатная молодежь Европы обучалась в правительственных кругах республики навыкам высшей дипломатии.

Оба молодых великосветских прелата, как истые ценители, восхищались совершенством этого механизма и с ревностным пылом погрузились в изучение его, недаром они прошли школу иезуитов. Но швабский принц растерянно смеялся, глядя на окружающую суету; за что он ни брался, все от него ускользало; тогда он решил отдаться шумной, блестящей светской жизни в маскарадах, клубах, театрах, игорных домах, борделях. Молодые иезуиты от души забавлялись его наивной, солдатской прямолинейностью, искренне полюбили его, как большого добродушного неуклюжего щенка, и вменили себе в обязанность, без ущерба для него, провести славного неотесанного юношу сквозь водоворот разнузданной, полной подвохов венецианской жизни.

Молодые клерикальные дипломаты, тонко усмехаясь, недоумевали, как можно быть таким откровенно беспечным, так доверчиво с головой окунаться в развлечения. Значит, это еще встречается! Вот живет человек, делает визиты, танцует, играет, любит, вращается в кругах политических деятелей и при этом не преследует никакой цели, явно не собирается делать карьеру. И они прониклись к нему непритворным, хоть и чуть презрительным, расположением.

Вот на какой основе выросла дружба принца и двух иезуитов. Те стали теперь прелатами — перед ними трепетали, они находились в самом центре большой политики. Он же, принц, сидел в сторонке, на восточной границе империи, слыл отважным полководцем, но господа, вершившие судьбы Германии, смотрели на него с легкой, снисходительной усмешкой. Он не замечал этой усмешки, он безмятежно и прямо шел своим путем, и единственное, что ему досаждало, были денежные недохватки.

В Вюрцбурге, за трапезой, где присутствовал и князь-аббат Эйнзидельнский, он откровенно пожаловался обоим друзьям на свое стесненное положение. Безденежье, наглые кредиторы, вечная канитель. За столом было много съедено и порядком выпито, князья церкви вышли освежиться, а принц даже расстегнул мундир.

У епископа было правило никогда не давать ответа сразу. Он обещал подумать.

Когда принц удалился, прелаты остались в парке и, сидя в тенистом уголке, смотрели на город и виноградники. Принцу надо, разумеется, помочь; ничего не стоит помочь ему. Пожалуй, можно помочь ему и в то же время послужить правому делу. Они переглянулись с улыбкой, мысли их совпадали. Они часто водили принца в Венеции, в Вене и теперь в Вюрцбурге на католическую мессу и ридовались его наивным восторгом перед торжественностью службы со всем ее великолепием и волнами ладана.

Конечно, он захудалый отпрыск побочной княжеской ветви, слишком многое отделяет его от престола. Не бог весть какая находка! Однако если один из членов исконно протестантской династии Вюртембергов будет приведен в лоно римской церкви, генерал ордена зачтет этот успех, не переоценивая его.

Понятно, нельзя, чтобы такое дело было шито белыми нитками. Нет, тонко, по всем правилам искусства. Так, словно иначе и быть не могло. Отцы церкви, люди опытные, столковались полунамеками. Путь очень прост, сами обстоятельства подсказывают его. Прежде всего, надо посоветовать Карлу-Александру пойти по евангелическим инстанциям: скажем, обратиться к кузену его, герцогу,— тот под башмаком у графини; затем к ландтагу — там сидят трусы и скряги; на всякий случай можно нажать, чтобы они отказали наверняка. При дворе князя-епископа имеется один господин, тайный советник Фихтель, дока в швабских делах, он, уж конечно, все уладит. Когда же после этого принц окажется в тисках, без гроша и затаит наивную злобу на евангелическую скаредность, тогда надо будет откуда-нибудь выкопать принцессу-католичку, например регенсбургскую богатую наследницу Турн-и-Таксиса, и церковь встретит новообращенного золотом, славословием и воскурениями.

С достоинством и благожелательством, небрежными полунамеками сплели свою интригу прелаты: сидя в тенистом уголке парка, смакуя мороженое, смотрели они на прекрасный город и осиянные солнцем виноградники.

Итак, князь-епископ ссудил Карла-Александра небольшой суммой, и принц, чтобы выкрутиться года на два — на три, обратился к Вюртембергскому ландтагу с просьбой увеличить ему апанаж или по крайней мере выдать под него приличный аванс. Прощение было толково и обстоятельно написано тайным советником Фихтелем, а потому принц считал, что успех обеспечен. И вот теперь он пребывал в Вильдбаде с твердыми видами на получение денег и был в отличном расположении духа. В окна к нему глядел холмистый ландшафт с уютными лесными порослями. Ванна и массаж хромой ноги приятно освежили его, после грязи и неряшества сербских и венгерских деревень городок казался ему вдвойне аккуратненьким и опрятным, и он предвкушал веселое времяпрепровождение.

Пока он благодушествовал, глядя в окно, а Нейфербрил его, явился гайдук от принцессы Курляндской с любезным приглашением на костюмированный бал в стиле сельского праздника, который принцесса устраивала завтра. У Карла-Александра не было соответствующего костюма. Нейфер обратился к хозяину, тот указал на

гоф-и-криссфактора Иозефа Зюсса Оппенгеймера — это человек, который наверняка выведет из любого затруднения. Оппенгеймер? Что гоффактор еврей, было принцу безразлично, как ни кривился его камердинер. Но Оппенгеймерами прозывались и венские банкиры, которые так плохо обошлись с ним. Однако проворный хозяин успел тем временем побывать у Зюсса и вернулся с вполне подходящим к случаю костюмом венгерского крестьянина, который Нейферу не трудно будет пригнать по фигуре принца. Карл-Александр послал Зюссу через Нейфера дукат, которым тот, в свою очередь, отблагодарил Нейфера. Принц не знал, избить ли ему еврея или посмеяться. Так как он был хорошо настроен, то решил посмеяться.

На празднестве он был окружен всеобщим любопытством и восхищением. Принцесса, наряженная хозяйкой фермы, казалась ему моложе и соблазнительнее, чем можно было ожидать от этой перезрелой дамы, а ее расположение и благосклонность к высокому гостю далеко выходили за пределы вольностей, допустимых на костюмированном балу.

Принц еще ни разу не видел маскарада в сельском вкусе — эта блажь лишь с полгода назад вошла в моду при дрезденском дворе, — но ему были по нраву и деревенские наряды, и простецкая развязность мнимых поселян, и весь грубоватый тон этого праздника. Он радостно упивался почтением мужчин и задорными авансами женщин. Потом было устроено шествие парами, и какой-то тюрингенский профессор и поэт, одетый точильщиком, приветствовал каждую пару скабрёзными стишками, игристую непристойность которых встречали веселыми криками и гоготом. Даже чванливый саксонский министр с кислой улыбкой принял предназначавшийся ему ком грязи; один молодой лорд Сэффолк, в богатом наряде римлянина, вскипел было, но его урезонили. В паре с принцем была хозяйка, курляндская принцесса. Принца виршеплет приветствовал на серьезный лад и под восторженные крики гостей назвал его вюртембергским Александром, швабским Скандербегом, германским Ахиллом.

Карл-Александр заметил, что всех гостей попотчевали эпиграммой, кроме одного. То был моложавый, на редкость статный господин, как и некоторые другие, в полумаске. Он был одет флорентинским садовником, должно быть по уговору со своей дамой, дочерью посла Генеральных штатов, чья широкополая шляпа с лентами вполне соответствовала его костюму. Он, видимо, не очень удивился, что его не включили в шествие пар мимо виршеплета, с достоинством принял такое явное неуважение и, скромно укрывшись в оконной нише, наблюдал за происходящим. Принц осведомился, кто этот господин.

Это еврей, франкфуртский фактор, Иозеф Зюсс Оппенгеймер, презрительно пожали в ответ плечами.

Ах, так это тот, что живет с ним в одной гостинице и одолжил ему такой удачный костюм,—словом, тот, с дукатом. Принц выпил и был настроен на благодушный лад. Пожалуй, следует сказать еврею несколько слов, вон как он скромно стоит совсем один. Может быть, удастся раздражить его, позабавиться на его счет. Принц направляется к Зюссу, взгляды гостей следуют за ним.

— Известно еврею, что я чуть было не прибил его за проделку с дукатом?

Зюсс тотчас снимает маску, кланяется, улыбается, смотрит на принца снизу вверх с какой-то льстивой наглостью.

— Мне бы тогда довелось попасть в неплохую компанию. Насколько я знаю, великий визирь падишаха тоже получил трепку от вашего высочества, равно как и маршал Франции.

Принц разражается хохотом:

— Смотри-ка, еврей остер на язык, как будто обучался острословию в Версале.

Дама во флорентинском наряде протискивается ближе, подхватывает:

— Он и в самом деле был в Версале, ваше высочество.

— Да, я знаком с маршалом, который получил трепку,—добавляет Зюсс со скромной кичливостью.—Он говорит о вашем высочестве с глубочайшим решпектом. Я знаком также с друзьями вашего высочества, со славным принцем Савойским.

— Еврей не из рода венских Оппенгеймеров?—заинтересовался Карл-Александр.

— Я прихожусь им троюродным братом,—отвечал Зюсс.—Но я не люблю своих венских родичей, они не умеют по-настоящему чтить высокопоставленных особ. Они только и заняты своими подсчетами.

— Еврей мне по душе.—Принц хлопнул Зюсса по плечу и, кивнув ему, повернулся к гостям, кольцом обступившим их,—он был на голову выше большинства.

Карл-Александр пил, танцевал, говорил дамам плоские комплименты. Позднее он очутился у игорного стола, шумнее, чем принято, воспринимая выигрыш и проигрыш. Банк держал молодой лорд Сэффолк, чопорный, изысканно-вежливый, молчаливый, сдержанный в движениях. Принц выигрывал, все кругом были в проигрыше. Под конец он один остался понтировать против англичанина. Он горячился, в голове стоял туман. Разом, в несколько приемов проиграл всю наличность. Очнувшись, рассмеялся несколько натянуто. Столпившиеся вокруг зрители

затаили дыхание. Все ждали, что англичанин предложит играть в кредит. Но тот, учтивый, корректный, молча сидел перед разгоряченным, растерянным принцем. Выжидал. Внезапно над плечом принца склонился Зюсс и почтительно-вкрадчиво шепнул: не угодно ли его высочеству оказать ему великую честь. Принц взял деньги, выиграл.

Перед уходом он сказал еврею, что дал распоряжение Нейферу допустить его к утреннему приему.

Зюсс склонился, глубоко переведя дух, и облобызал руку принца.

Исаак Ландауер вместе с Зюссом улаживал дела графини. Проникшись уважением и сочувствием к графине за ее неутомимость и упорство в борьбе с герцогом, он всячески изошрялся, чтобы возможно хитроумнее и успешнее произвести ликвидацию.

Ловким расчетом, вселившим в Зюсса почтительное изумление, он умудрился вовлечь в эту грандиозную кредитную операцию самых ярых противников графини, так что как раз ее враги оказались денежно заинтересованными в сохранении графских поместий. Зюсс хоть и восторгался коммерческим гением Исаака Ландауера, однако избегал часто встречаться с ним. Он считал, что старик компрометирует его в глазах принца. Тот громко и гласно высмеивал лапсердак и пейсы и при случае даже спросил Зюсса, не прислать ли к его другу Нейфера расчесать парик. А Ландауер, в свою очередь, усмехаясь, качал головой:

— Вы же такой деловой человек, реб Иозеф Зюсс. Зачем же вы теряете время и деньги на голоштанника, который не стоит и двух тысяч талеров?

На это Зюсс затруднился бы ответить. Спору нет, принц для него был образцом аристократизма. Безусловная уверенность в себе, шумливо-повелительная повадка при неизменном добродушии, княжеская пышность при скудости средств импонировали ему. Но это, по существу, ничего не объясняет. Многие другие тоже нравились, импонировали ему, однако из-за этого он не стал бы ухлопывать деньги на такого ненадежного клиента. То, что влекло его к принцу, было иного порядка, глубже. Зюсс не был игроком по натуре. Но в нем жила уверенность, что счастье—это прирожденное качество. Кто не наделен даром тайного знания, кому не дано в мгновенном озарении непреложно, неоспоримо осознать, что такое-то предприятие, такой-то случай, такой-то человек принесет счастье, тому лучше вовсе отказаться от дел и бросить надежду на всякий успех в жизни. И непрелож-

ное чутье влекло его к Карлу-Александру. Принц был его кораблем. Пускай корабль сейчас без снастей, пусть он убог и непривлекателен, пускай мудрые финансисты, вроде Исаака Ландауера, воротят от него нос — он, Зюсс, знал, что корабль этот предназначен ему, и безоговорочно доверял невзрачному судну самого себя и все свое имущество.

Карл-Александр обходился с ним дружелюбнее, чем другие власть имущие, но случалось, в зависимости от настроения, грубо потешался над ним. Зюсс не пропускал ни одного утреннего приема. Однажды, когда Нейфер впустил его запросто, какая-то девушка испуганно нырнула под одеяло. Фельдмаршал, которого чернокожий оказывал ушатами воды, смеясь и фыркая, крикнул, чтобы она не стеснялась обрезанного, и из-под перинки выглянуло смущенное и сияющее личико юной служанки, с которой Зюсс тоже спал не раз.

Зюсс принимал знаки дружелюбия герцога как подарки и не обижался на его выпады. Если принц, назначив ему прийти днем, передавал через Нейфера, что нынче ему не по нутру иудейская вонь, он являлся вечером с той же улыбочкой, заискивающей услужливостью. Еще ни один человек на свете не привлекал его до такой степени, как Карл-Александр, он ссосредоточенным вниманием изучал малейший его жест, дружелюбие его почитал для себя счастьем, за грубость испытывал уважение; словом, все, что бы ни сделал принц, лишь крепче привязывало к нему еврея.

Между тем возвратился Никлас Пфевеле с сообщением, что рабби Габриель приедет.

Графини уже не было в Вильдбаде, для своих дел Зюсс больше не нуждался в каббалисте, деловые связи с графиней, участие в предприятии Исаака Ландауера установилось и без того. Зюсс в данную минуту был вполне счастлив и даже не помнил истинного повода, ради которого вызвал рабби Габриеля, однако твердо знал, что в письме указал лишь один повод — настоятельную потребность заглянуть ему в глаза, послушать слова, произносимые его устами. Он представлял себе благородным и великодушным оттого, что решился коснуться заповедного, и старался начисто забыть, что в действительности вызывал загадочного, зловещего старца совсем для другой цели.

Но когда рабби Габриель очутился перед ним, его блистательный, изысканно-увертливый апломб сразу же непонятным образом исчез. Он успел только подумать: что за старомодный у него вид! Но подумал это уже как-то вскользь, неуверенно. Его заполонило жуткое, гнетущее чувство, от которого нельзя было укрыться в

присутствии рабби Габриеля, как от воздуха, которым дышишь.

— Ты вызвал меня ради девочки? — прозвучал скрипучий, сердитый голос.

Зюсс хотел ответить резкостью, возмутиться, он заготовил много бойких, красивых фраз, но безысходная печаль, струившаяся из блекло-серых глаз, опутала его, точно тенетами.

— А может быть, не ради девочки? — И хотя голос звучал уже устало и без настойчивости, он резал как укор, и Зюсс, при всей своей гордой осанке, при всей роскоши наряда, казался необычайно маленьким и приниженным перед приземистым, невзрачным стариком, которого можно было принять за крупного чиновника или бюргера.

А ведь обычно он умел говорить так уверенно и внушительно. Ах, до чего же проворно слетали у него с губ слова и атаковали собеседника, отыскивая малейший пробел, малейшее слабое место. Почему же теперь его слова падали так вяло и неуверенно, что он умолк, не закончив фразы? Разумеется, он не отрицает, что обещал взять дитя к себе. Но сейчас это не годится. Ни для него, ни для девочки. У него бессчетное множество дел, ни минуты покоя, непрерывная суетня. А у рабби Габриеля за Ноеми совсем другой присмотр, и хотя он сам, Зюсс, очень высоко ставит образование и духовное развитие, для девочки менее важны светские правила, чем те познания, в которых дядюшка куда сильнее, нежели он.

Он подбирал эти аргументы поспешно, лихорадочно и беспомощно. Наконец умолк. Увидев перед собой блекло-серые глаза, небольшой нос на широком бескровном лице, тяжело нависающий лоб, который прорезали над переносицей три борозды, резкие, глубокие, короткие, и увидел, что борозды эти образуют священную букву Шин, зачинающую имя божие — Шаддаи.

Рабби Габриель не счел нужным отвечать на его доводы. Он только медленно поднял на него застывший, вещий взор блекло-серых глаз и промолчал.

И во время этого молчания внезапно и мучительно вскрылось заповедное и обнажило тот год, тот чудесный и непостижимый отрезок жизни, год в голландском городке, который Зюсс нарочито, но с затаенной гордостью скрывал от себя и от всего света, как помеху, как нечто в высшей степени неподходящее. Он увидал бледное, замкнутое лицо женщины, самозабвенно любящее и все же несказанно чуждое, он увидел трогательное, покорное тело, он увидел покойницу, которая угасла, едва загоревшись, как только затеплился новый огонек. Он увидел дитя и самого себя в блаженном и все же мучительно

гнетущем смятении. Он увидел дядю, вот этого самого, загадочного и зловещего, который возник внезапно, как будто так и надо, и, как будто так и надо, исчез во мраке вместе с ребенком, лишь изредка, с промежутками в несколько лет, появляясь вновь.

— Девочке уже минуло четырнадцать лет,—сказал наконец рабби Габриель.—Она знает отца с моих слов. Нехорошо, чтобы действительность так расходилась с моими словами. Я уподобляюсь языческому пророку Валааму,—продолжал каббалист с неодобрительной усмешкой,—мне надлежало бы клясть, говоря ей о тебе, а я благословляю. Я привезу ее сюда, чтобы она увидела тебя,—заклучил он.

Испуг пронзил Зюсса до глубины души. Дитя! Вот перед ним сидит человек и говорит ему как ни в чем не бывало: «Я переверну вверх дном твою жизнь. Я втолкну в самую гущу твоей жизни, полной блеска, суеты и женщин, твое дитя, дочь Нозми. Я нарушу строй твоей жизни, я вскрою заповедное. Я разрушу строй твоей души».

— Я еще побуду здесь, чтобы приглядеться к тебе вблизи,—сказал каббалист.— А когда я привезу ее, и куда и как привезу,—я скажу тебе потом.

Рабби Габриель ушел, оставив Зюсса в бессильном бешенстве. Даже мальчишкой он никому не позволял, чтобы его так распекали и оставляли в дураках. Но он еще выскажет все старику—он найдет нужные слова, он сорвет гнев на этом старом колдуне в потертом допотопном кафтане.

Однако в тайниках души он знал, что и в следующий раз будет сидеть перед ним так же тихо и смиренно.

В замке Фрейденталь перед графиней стояла ее мать, огромная жирная туша, которой даже двигаться было трудно. Древняя старуха с землистым крестьянским лицом и белыми как снег волосами, жестким, алчным взглядом надзирала за замком и угожьями, притесняя челядь и крестьян и загребая деньги, размеренно, алчно, ненасытно.

Дав себе волю, графиня бесновалась и стонала:

— Конец, мать, всему конец! Прогнали. Удалили от двора. В Штутгарте на глазах у всего света он лобызает старую, тощую гусыню. Он хочет прижить с ней ребенка. Прогнали. Через тридцать лет прогнали, как шлюху, которая больше не годна для постели.

— Прижми его, дочка,—сдавленно-сиплым басом крикнула старуха.—Высosi из него все соки. Он платил, пока пылал, пусть платит больше, когда охладел. Прижми его! Выкачай из него все до последнего геллера.

— И Фридрих приложил к этому руку! — кипела графиня. Фридрих Вильгельм был ее брат. — Задай ему, мать! Проучи его! Согни его! Прибей!

— Я его вызову, я послушаю, что он скажет, я его проучу, — обещала старуха. — Но это не так важно, — заключила она и застыла на месте, вся расплывшаяся от жира, огромная, точно азиатский идол, а землистое лицо лоснилось под белыми как снег волосами. — Ты прислала фуры с добром. Это хорошо, дочка. Шли побольше. Шли за границу. Иметь — в этом все. Владеть. Деньги иметь, добро иметь. Вот что важнее всего.

Графиня ждала, терзалась. Исаак Ландауер явился, отчитался, представил бумаги. Все денежные дела сошли блестяще, без заминки. Она спросила о каббалисте. Да, он как раз находится в пути в Вильдбад. Диктовать ему нелегко. Ее превосходительству надо набраться терпения, недели через две-три он доставит колдуна во Фрейденталь.

Едва старик уехал, как пришло известие о встрече герцогской четы в Тейнахе. Обставлено все было пышно и торжественно, совсем как при бракосочетании.

Затрапезная Элизабета-Шарлотта сшила себе и своим фрейлинам — кунсткамера огородных пугал, явила графиня — богатые наряды. Были приглашены посланники иностранных дворов, заслужившие расположение герцогини, так же как малый совет парламента и весь кабинет министров. Ее брат, — брат графини! — увертливый, ехидный гад, произнес тост за парадным обедом. Придворный оркестр играл:

Враг изгнан; от напасти
Бог в добрый час избавил нас.

И ее брат, ее собственный брат стоял обнажив голову, с постной миной, а Шютц, расчувствовавшись, клевал крючковатым носом. В тот же вечер давали балет «Возвращение Одиссея». Ах, как они все, должно быть, зубоскалили, когда злую Цирцею поглотила огнедышащая гора, и как, должно быть, утирали слезы старые придворные перечницы, когда показывали добродетельную Пенелопу за прялкой. Но им придется ждать, долго ждать, чтобы ее поглотила огнедышащая гора. Затем герцогская чета удалилась, и во время супружеских объятий перед дверью опочивальни играл итальянский квартет. Приятного аппетита, Лукс! Ну, как — вкусно? Ничего подобного тебе давно не случалось отведать. Смотри не наколись на кость! На следующий вечер был дан фейерверк, шипящие ракеты чертили на небесах огненные инициалы герцогини, а народ, набив брюхо даровыми герцогскими колбасами и налив пузырь даровым герцогским вином — без ее хозяй-

ского глаза эконоом прикарманит самое малое сто восемьдесят гульденов,—народ умиленно задирает носы вверх и орал: да здравствует герцогиня!

Получив донесение, графиня заперлась у себя и настрочила письмо, которое отослала с курьером в Штутгарт. Письмо, адресованное камердинеру герцога, включало чек на триста гульденов и обещание еще восьмисот, если он добудет ей крови герцога.

Письмо это было опрометчиво и нелепо, спустя несколько часов после отправки курьера графиня уже пожалела о нем. Никогда она не выпускала из рук таких документов. Впервые в жизни не дала она отбушевать безрассудному гневу, прежде чем начать действовать. Виноват еще и Ландауер со своим несносно медлительным каббалистом.

Камердинер Эбергарда-Людвига, получив письмо, прикинул, что выгоднее. До праздника в Тейнахе он, пожалуй, выполнил бы волю графини. Теперь же, после тейнахской церемонии, не подлежало сомнению, что с графиней покончено. Из нее еще только и можно что выжать восемьсот гульденов или сотни на две больше, а кроме этого—ровно ничего. Герцог же рад изгнать ее из страны. Отсюда ясно, на какой стороне выгода. И камердинер отправился к председателю ландтага, требовал с него за такую доблесть тысячу гульденов, а затем вручил письмо герцогу.

Эбергальд-Людвиг, грузный, полнокровный человек, был так ошеломлен, что на мгновение застыл на месте. Потом резким жестом приказал слуге удалиться и зашагал назад и вперед по комнате, пыхтя, задыхаясь, сопя. Каждая кровинка закипала в нем глухой яростью. Значит, он обманут. Он, он, герцог, тридцать лет был обманут окаянной ведьмой и потаскухой. Все остальные: и бюргерская сволочь, сварливые торгаши из ландтага, и попы из консистории с мертвечиной и преснотой их проповедей, и плюгавый прусский король, и вечно обиженная, кислая как лимон Иоганна-Элизабета—все были правы,—тридцать лет, тридцать лет!—были правы в противовес ему, герцогу.

Гром и молнии! За свою жизнь он перебрал женщин всех мастей: белокурых, черноволосых, русых. Пленялся грудями маленькими, остроконечными, и пышными, расплывшимися; бедрами грузными и мальчишески стройными; ляжками тонкими, длинными, глянцеви́то-смуглыми и мягкими розовато-пухлыми. Он обладал томными, ленивыми, вялыми женщинами и неистовыми, пробиравшими до мозга костей. В него без памяти влюблялись многие женщины, великолепные, окруженные поклонением красавицы. А что ж, черт возьми! Он мужчина хоть куда,

бравый, пылкий и к тому же в ореоле славы и величия. Ему предавались душой и телом и всей кровью, блаженно стонали в его объятиях. И были среди них получше, черт подери, куда лучше, чем Христль. Но ни одна не опутывала его так. Он брал их, смеялся и проходил.

Откуда именно Христль въелась ему в плоть и кровь, откуда же эта удручающая покорность, этот гнет, эта невозможность вырваться, если не от нечистой силы? А он ничего не замечал и жил, пропитанный ядом и дьявольскими чарами. Ах она потаскуха, ах чертовка! Строки давнишнего дознания лезли на него, превращались в чудовищные, уродливые образы. Черная корова с отрубленной головой, оскопленный козел. Наверное, она сделала себе куклу с его обликом, так называемый тераф, чтобы колдовскими чарами вселить в это изображение его сердце и живую кровь, и одному дьяволу девятихвостому известно, какие бесовские нечестивые действия творила она над заклятым.

Но теперь он открыл ее козни. Теперь конец всяким чарам и дьявольскому колдовству. Он ей покажет, что до последней капли изъял из себя ее адские отравы и сатанинские зелья.

Он написал указ, запечатал, созвал советников, офицеров. Поднялась торопливая, таинственная, сосредоточенная суета.

И уже на рассвете следующего дня в селении Фрейденталь появился отряд гусар. Солдаты подскочили к замку, заняли все выходы. Командир, полковник Штрейтхорст, в сопровождении адъютанта прошел мимо трясущегося кастильяна в вестибюль. Тут его встретил дворецкий, за всеми дверьми взволнованно шепталась перепуганная и любопытствующая челядь. Ее превосходительство не принимает, торопливо заявил дворецкий, ее превосходительство еще в постели. Тогда он подождет минутку, невозмутимо возразил офицер и уселся. Сиятельная графиня нездорова, она просит извинения, она вообще никого принять не может, настойчиво лепетал дворецкий. Если же господин полковник привез распоряжения его светлости, пусть благоволит передать их секретарю. Полковник по-прежнему корректно и сухо заявил, что очень сожалеет, но ему дано указание во что бы то ни стало лично переговорить с сиятельной графиней.

Тут появилась мать графини. Древняя старуха с землистым лицом гигантской тушей загородила дверь в покои дочери. Полковник отдал честь, невозмутимо и деловито повторил поручение. Старуха сиплым басом крикнула ему, чтобы убирался: он не хуже своего господина знает, что ее дочь владетельная графиня, подчиненная одному императору. Офицер пожал плечами,

он не законовед, ему дан такой приказ, и он предоставляет графине полчаса на одеванье, после чего велит взломать дверь. Осыпая полковника бранью, старуха как огромная глыба надвинулась на него: это нарушение законного порядка, они призовут в защитники швабское имперское рыцарство, и господин его жестоко поплатится за это, а его с позором отрешат от должности. Осталось всего двадцать шесть минут, был ответ полковника.

Графиня тем временем в лихорадочной спешке металась по комнатам, жгла бумаги, сортировала, запечатывала, отдавала секретарю. Она лежала в постели в роскошном ночном наряде, когда офицер ворвался к ней, и вскочила — образец оскорбленной невинности. Слабым голоском спросила, чего от нее надобно. Господин фон Штрейтхорст извинился, но ему дан строгий наказ от самого сиятельного герцога препроводить ее превосходительство отсюда под эскортом. Визг камеристок, яростная, хриплая ругань старухи, обморок графини. Полковник непоколебим. Меж тем как старуха обзывала офицера убийцей, графиня, придя в себя, прошептала надломленным детским голоском, что она в его власти и что, конечно, он постарается увезти ее прежде, чем имперское рыцарство успеет оказать вооруженное сопротивление. Она очень серьезно больна, а это насилие совсем dokonало ее, и, если он будет настаивать на том, чтобы увезти ее в таком состоянии, она не выживет. Говорила она с трудом, задыхаясь, вокруг причитали камеристки. Четыре часа потребовалось полковнику, чтобы водворить ее в карету и увезти под конвоем всадников. День был хмурый, дождливый. Мать и две камеристки сопровождали графиню. На пути стояли, тупо глаза, ее крестьяне. Но фрейдентальские евреи собрались в своей молельне в великом страхе за живот и добро и молились о своей заступнице.

Графиню препроводили в Урах и там содержали в почете как особу высокого ранга, однако без права выхода из замка и парка. Она вела себя заносчиво, безжалостно тиранила или непомерно награждала слуг. Комиссарам герцога она отказывалась давать какие-либо показания под предлогом, что титул владетельной имперской графини дает ей право держать ответ перед одним императором. Когда же в дело вмешалось швабское имперское рыцарство с заявлением, что арест графини в вольном имперском рыцарском поместье Фрейденталь означает поправление его привилегий, тогда пришла очередь графини торжествовать, и ее поверенный подал в Вене жалобу в таком тоне, в каком еще никто не осмеливался выступать против Вюртембергской династии. По всей империи агенты ее сеяли слухи о том, сколь ненадежна законность в герцогстве, раз даже особе рыцарского

достоинства свобода в нем не обеспечена. Исаак Ландауер, потихоньку покачивая головой, заявил послу Генеральных штатов, что при таких обстоятельствах крайне неразумно держать капиталы в Вюртемберге; слова его разнеслись по конторам крупных финансистов и оказали пагубное влияние. А в герцогской канцелярии тайный советник Шютц с величайшим вниманием и восхищением следил за уловками графини. Долгое время он давал ей полную волю; затем с помощью ее собственного брата разом и резко затянул поводья. Для начала нужно было утихомирить имперское рыцарство. Герцог ненавидел эту касту как препону своим самодержавным правам и постоянно враждовал с ней; кровь бросалась ему в голову при одном лишь упоминании о ней, и в приливе слепого бешенства он самолично вычеркнул из церковного песнопения «О дух святой, воззри на нас» следующие слова: «Благую силу в нас вдохни и рыцарством своим соделай». Но на сей раз ему пришлось побороть себя и уступить. Если рыцарство — сам черт, то уж графиня не иначе как чертова бабушка. Итак, он принял во внимание жалобу рыцарства, учтиво, по всей форме принес извинения и, кроме того, изъявил готовность удовлетворить ряд других требований, в частности, пойти рыцарям навстречу в спорном вопросе об освобождении их от налога на вино. Рыцари поняли, что, упорствуя, они спасут только честь, а уступив, сэберегут около семидесяти тысяч гульденов, и взяли назад свой протест. Тем самым потеряла смысл и жалоба, поданная в Вене.

Счастье отступило от графини, рвение ее приверженцев стало дружно спадать. Шютц не замедлил воспользоваться этим спадом, чтобы окончательно разделаться с ней. Графиню перевезли в крепость Гоген-Урбах, где ее содержали в строгом заточении, не допуская никого из ее друзей. Одновременно были сняты плотины, долго сдерживавшие народный гнев. Теперь графиню повсюду поносили в пасквилях и карикатурах. В Каннштадте куклу с ее чертами под улюлюканье черни сперва понесли в публичный дом, а потом высекли и сволокли на живодерню. Тем временем мать посетила старшего сына. Увертливый, как угорь, холодно-надменный министр сидел, точно напроказивший шалун, пока старуха мать распекала его. Он оправдывался тем, что заносчивость и политическое честолюбие сестры всех их в конце концов привели бы к беде, а потому он решил вмешаться. Теперь, когда ее политическая роль кончена, он сделает все возможное, чтобы безболезненно обставить ее уход со сцены. Он отнюдь не посягает на ее имущество.

И действительно, графине с самого начала были предложены выгодные условия. Тут выяснилось, как

тонко оборудовал дело Исаак Ландауер. Множество людей оказались заинтересованными в том, чтобы спасти вюртембергскую недвижимость графини. Этому содействовали и посол императора, и ее собственный брат, и управляющий удельными именьями — словом, все причастные к делу лица. Правда, ей пришлось уступить имения Бренц, Гохсгейм, Штеттен, Фрейденталь. Правда, ее обязали не предъявлять более никаких претензий к правящей династии и никогда более не переступать границ герцогства; но Исаак Ландауер напоследок вытянул для нее такую гигантскую сумму, о размерах которой даже ее евреи решались говорить только шепотом. И помимо того, за ней сохранили право пожизненно пользоваться доходами с целого ряда имений. Таким образом, она уезжала из герцогства одной из состоятельнейших дам в Римской империи. Усиленный военный конвой эскортировал ее за пределы страны. Вдоль всего пути стояли толпы, провожавшие ее улюлюканьем и комьями грязи. Впереди нее, позади бесконечной вереницей тянулись фуры с одеждой, утварью, произведениями искусства.

Лишь когда последняя подвода пересекла границу, в отдельной карете гигантской неподвижной тушей проследовала ее мать, старуха с землистым лицом.

К гирсаускому прелату Филиппу Генриху Вейсензе, советнику консистории и члену малого парламентского совета, прибыл гость, тайный советник Фихтель, приближенный князя-епископа Вюрцбургского. С давних пор были они друзьями — изящный светский вельможа-протестант и невзрачный католик с узким и умным лицом, дипломат князь-епископского двора.

Оба — страстные любители ловких ходов, непроницаемые для окружающих, они лишь друг другу открывали тайны своих махинаций, как знатоки восхищались тонким и сложным механизмом вюртембергско-протестантской парламентской политики и придворно-католической дипломатии. Оба — выученик иезуитов и протестантский прелат — увлекались политикой как таковой, конечная цель мало трогала их, гораздо важнее было им ловкими, искусными ходами добиваться ее.

В герцогстве ценили Вейсензе, но большинству он внушал неприязнь. Непринужденная учтивость и подернутое скепсисом превосходство его разносторонне образованного ума создавали тонкую стену отчужденности и недоступности между ним и бесчисленными знакомыми, наполнявшими его просторные уютные покои. Он был превосходным математиком, был близким другом двух лучших в западной Германии богословов: скромного вдум-

чивого, подлинно благочестивого Иоганна Альбрехта Бенгеля и прямодушного, неsgiбаемого Георга Бернарда Бильфингера.

Его комментированное издание Нового завета, хотя и вышло в свет пока только частично, славилось далеко за пределами Вюртемберга, его мнение было решающим в малом парламентском совете.

Но его разносторонней деятельности не доставало огня. Правда, все, за что он ни брался, он выполнял с исчерпывающим знанием дела и добросовестностью. Но будь то Новый завет, или доклад в ландтаге, или разведение нового сорта плодов—ко всему он относился поверхностно, все ограничивалось игрой нервов, а не задевало его за живое.

По обширным покоем с длинными белыми занавесями на окнах бродила дочь его, Магдален-Сибилла, рослая, скромная девятнадцатилетняя девушка. Лицо у нее было смуглое, не по-женски смелое, большие синие сосредоточенные глаза поражали контрастом с темными волосами. Мать умерла рано, ровной, безразличной приветливости отца она чуждалась. Дружба с дочерью советника по юридическим делам при Штутгартском ландтаге Беатой Штурмин и чтение книг Сведенборга вовлекли одинокую девушку в пиетистские круги.

Надо сказать, что в эту пору страна кишела библейскими обществами, молитвенными собраниями. Невзирая на запреты и кары, в герцогстве то и дело объявлялись пророки и ясновидящие, порождение тяжелых времен. Правда, в маленьком Гирсау не водилось святых, вроде штутгартской приятельницы и наставницы Магдален-Сибиллы, слепой Беаты Штурмин, которая молитвой единоборствовала с богом, приставала к нему с обетами, требуя, чтобы он внял им, вымогала у него прорицания, открывая наугад Библию. Зато в этом тихом городке проживал некий магистр Якоб Поликарп Шобер, читавший сочинения де Пуаре, Бёме, Буриньон, Лид, Арнольда, а также запретные книги о вечном Евангелии и обществе филаделффов, человек безобидный и чудаковатый, который кротко совершал свой жизненный путь и любил длинные, мечтательные прогулки. Он-то и организовал в Гирсау библейское общество, в которое вошла и Магдален-Сибилла, дочь прелата. Погрузившись взглядом больших синих глаз, осененных темными волосами, в далекую мечту, сидела она, рослая и красивая, с лицом не по-женски смелым и смуглым, среди набожных, убогих, обездоленных, худосочных, одряхлевших членов Collegium Philobiblicum¹, искала прорицаний в открывшихся

¹ Библейское общество (лат.).

наугад местах Библии, молитвой единоборствовала с богом, дабы он просветил ее отца своей благодатью.

Вюрцбургский тайный советник был ей глубоко противен, и она горевала, видя, что отец подпал под его мирское языческое влияние. Католик привез с собой новомодного зелья, придуманного каннибалами. Называлось оно кофе, и тайный советник требовал, чтобы ему из этого зелья приготавливали черный напиток с крепким запахом. Испуганным, возмущенным взглядом смотрела Магдален-Сибилла, как отец тоже отведывает дьявольского питья, и ревностно молилась, чтобы господь не попустил его отравиться.

Итак, оба друга сидели за этим напитком или за вином и без конца толковали о суетных делах государства и нечестивого Вавилона—церкви, о политике и деньгах, о конституции, о званиях и военных чинах, о тяжбах. Хотя им, как слугам Христовым, более приличествовало бы славить всемогущество божие.

Естественным образом тайный советник упомянул и о Карле-Александре, который недавно гостил у князя-епископа. Вейсензе тоже знал принца. Весьма галантный кавалер. Имя его гремит от нижнего Дуная вплоть до Неккара. Прекраснейший побег на вюртембергском кедровом древе. Тайный советник заговорил о финансовых затруднениях принца, он даже как будто подал в ландтаг ходатайство об увеличении ему аpanажа. Да, Вейсензе читал ходатайство, слог показался ему знакомым. Уж во всяком случае не в канцелярии принца составлялся этот документ; теперь только ему пришлось в голову, что некоторые обороты напоминают стиль его высокочтимого друга, заключил он с улыбкой.

Друзья благодушевствовали в вечерней прохладе, попили кофе, но едва речь зашла об этом деле, ответы и вопросы замедлились, стали обдуманней, а под маской равнодушия притаилась настороженность. При теперешней ситуации, осторожно нащупывая почву, начал Вейсензе, стоит подумать о том, чтобы выдать прославленному принцу небольшое вспомоществование.

По-человечески это, конечно, очень порадовало бы епископа, медленно отвечал тайный советник Фихтель, и на его узком умном лице было написано, как продуманно строит он фразы, чтобы в них ничего не говорилось и все подразумевалось. Епископ ведь большой друг принцу. Но епископскому престолу как таковому абсолютно—пусть его высокочтимый друг верно истолкует смысл этих слов,—абсолютно не важно, окажет ли ландтаг помощь принцу или нет. Епископская казна не страдает недостатком средств, и его преосвященство уступил вюртембергским парламентариям честь помочь принцу в нужде

единственно из учтивости, и ни по какой иной причине. Тайный советник умолк, отхлебнул кофе.

Вейсензе пристально поглядел на него и молвил мягко:

— Если я верно вас понял, дорогой мой, епископу действительно не важно, дадим ли мы деньги или нет.

Они поглядели друг на друга внимательно, приветливо. Потом заговорил католик:

— Если бы я заседал в совете, то голосовал бы против. Именно сейчас, после того как пала Гревениц, не надо никаких поблажек правящей династии.

И оба дипломата учтиво, понимающе, одобрительно улыбнулись друг другу тонкими, узкими губами.

Когда просьба принца была поставлена на обсуждение в совете ландтага, ее совсем уж собрались удовлетворить. После отставки графини одиннадцать избранников были настроены на снисходительный и великодушный лад. Докладчиком выступал грубоватый, горластый бургомистр Бракенхейма Иоганн Фридрих Егер. По его мнению, принц Карл-Александр — большой вельможа и фельдмаршал, поддерживает во всем свете престиж Вюртемберга и насаждает трепет перед швабской отвагой и швабским кулаком среди арапов, турок и прочих язычников; а тут еще герцог сплавил распутную рябую тварь. Отчего же не сделать широкий жест и не ассигновать принцу просимую им тысячу-другую гульденов. Таково приблизительно было настроение и у остальных. Но тут поднялся Вейсензе и обычным своим мягким, вкрадчивым голосом как бы вскользь заметил, что великодушные и широта взглядов его почтеннейших коллег достойны всяческой похвалы и доблестному герою деньги, конечно, дать следует. Вопрос только в том, целесообразно ли именно сейчас идти навстречу кому-либо из членов герцогской семьи. Герцог наконец-то покончил с графиней — превосходно. Но ведь, в сущности, он только исполнил свой прямой и священный долг, и если мы поспешим отблагодарить его особой предупредительностью, мы тем самым признаем, что это было с его стороны одолжение, а не обязанность, и задним числом санкционируем упорство, которое он проявлял тридцать лет кряду.

Члены совета покачали тугодумными головами, заколебались и тут же согласились с Вейсензе. Он нащупал самое слабое место. Да, правильно! Покажем герцогу: ни малейшей уступки. Наши привилегии не только на бумаге, мы пользуемся ими. Это чего-нибудь да стоит.

Просьба его высочества принца Карла-Александра, имперского фельдмаршала, была отклонена.

Рабби Габриель жил в Вильдбаде тихо и уединенно. Перед вечером он обычно совершал прогулку по окрестностям. Погода стояла теплая, но сырая и дождливая. Он шагал тяжелой поступью, сутуля спину, поднимая голову, устремив взгляд в пространство. Хоть он и был невзрачен, но при виде его люди умолкали, дивились, терялись. Молва неслась ему вслед, толки о Вечном жиде возникли вновь. Власти трижды проверяли документы бесстрастного, хмурого гостя. Все было в порядке. Он был натурализован Генеральными штатами как мингер Габриель Опшенгеймер ван Страатен, в его паспорте стояла просьба ко всем властям оказывать ему всяческое содействие.

До принца Карла-Александра, понятно, тоже дошли слухи о странном приезде и о том, что он как-то связан с его придворным евреем, с Зюссом. А принца мало-помалу начали одолевать скука и нетерпение, уж очень долго ждал он денег от ландтага. В Венеции, да и в других местах он, подобно многим знатым господам, увлекался астрологией и прочей магией; а главное, друг его, князь-аббат в Эйнзидельне, в свое время усиленно предавался такого рода занятиям. В последний раз в Вюрцбурге он тоже рассказывал о маге, которого держал у себя при дворе и в чье искусство очень верил. Поэтому принц напрямик потребовал от Зюсса, чтобы тот доставил к нему каббалиста. Зюсс всячески отвиливал. Он знал, что рабби Габриэль ни за что не согласится на такое представление. Под конец он нашел выход. Он известит принца, когда рабби будет у него. Если принц соизволит заглянуть в это же время, то они встретятся как бы невзначай. Карл-Александр, смеясь, выразил согласие.

Каббалист заявил Зюссу:

— Итак, я привезу девочку в Швабскую землю. Поблизости от Гирсау я нашел совсем уединенную усадьбу. Вели купить ее. Дом расположен посреди леса, вдали от людей. Никакое зло не настигнет ее там.

Зюсс молча кивал.

— Хорошо бы и тебе удалиться от здешней жизни и всяких дел,— продолжал рабби Габриель обычным скрипучим голосом.— Когда ты пристанешь к спокойному берегу, тогда и сам увидишь, что вся эта шумливая суетня—попросту кружение в пустоте. Впрочем, глупо с моей стороны уговаривать тебя,— заключил он сердито. Он увидал лицо Зюсса, увидел мясо, кости и кровь, но света не увидел, и досада поднялась в нем, что глубокая, таинственная зависимость именно от этого человека обрекает его терпеть все новые поражения. Сколько же потоков должно совершить кругооборот, прежде чем из этого камня забьет жизнь!

Только он собрался уйти, как дверь распахнулась и мимо вытянувшихся в струнку слуг в комнату, прихрамывая, шумно ворвался принц.

— А, у еврея гости? — С этими словами он бросился в кресло.

Рабби Габриель поклонился, не очень низко, без суетливости, и бесстрастным внимательным взглядом окинул принца, меж тем как Зюсс замер в низком поклоне. Под взглядом спокойных блекло-серых глаз каббалиста принц утратил обычную шумливую самоуверенность, тягостное молчание сковало всех троих, пока Зюсс не прервал его:

— Дядя, это его высочество, принц Вюртембергский, мой августейший покровитель.

И так как рабби Габриель молчал по-прежнему, принц сказал, смеясь, и смех его звучал не очень естественно:

— Верно, ты и есть таинственный незнакомец, о ком здесь все болтают? Ты алхимик, умеешь делать золото, да?

— Нет, — невозмутимо отвечал рабби Габриель. — Я не умею делать золото.

Принц снял перчатку и похлопывал себя ею по ляжке. Ему было не по себе от пристального взгляда горящих тоскливо-тусклым огнем огромных серых глаз на широком безбородом лице с небольшим приплюснутым носом. Он представлял себе мага совсем иным; ему припомнилось, какое щекочущее любопытство обычно возбуждало в нем то, что происходило на сеансах черной магии. А тут ощущается такой гнет, словно из комнаты понемногу выкачивают воздух.

— Я очень интересуюсь алхимическими экспериментами, — сказал он немного погодя. — Если бы вы поселились у меня в Белграде... — Он перешел на более вежливое «вы». — Я хоть и не богат, ваш племянник знает это, вероятно, лучше меня, но приличное годовое содержание обеспечить мог бы.

— Я не алхимик, — повторил каббалист.

Снова молчание, которое струей томительной тоски заполняло комнату, обволакивало, сковывало людей, вытесняло их уверенность, беспечность. Внезапно, резким движением, точно желая силой разрубить путы, принц поднес левую руку к самым глазам каббалиста.

— В этом-то вы мне отказать не можете, маг! — загремел он с натянутым хохотом. — Что вы по ней читаете? Говорите же! — И ткнул ладонью ему в лицо. Рука и в самом деле была необыкновенная. Узкая, длинная, волосатая и костлявая с тыльной стороны, а ладонь мясистая, пухлая, короткая.

Рабби Габриель невольно бросил взгляд на эту руку.

Едва подавив движение страшного испуга, он отступил на полшага. Жуть, спускаясь серым туманом, сгущалась, давила.

— Говорите же! — настаивал принц.

— Прошу вас, увольте меня! — едва владея собой, ответил каббалист.

— Если вы предскажете мне дурное, неужто, по-вашему, я упаду без чувств, как худосочная девица? Я побывал в сотнях сражений, я дрался на дуэли через носовой платок, смерть не раз просвистала на волосок от меня. — Он попытался засмеяться. — Неужто, по-вашему, я не выдержу, если старый еврей напроорочит мне беду? — И так как рабби Габриель по-прежнему молчал: — Да не прячьтесь вы за свое упрямство, точно улитка в свою раковину. Я жду, мой Калхас, мой Даниил.

— Прошу вас, увольте меня! — повторил каббалист. Он не возвысил голоса, но глаза его застывшими озерами глянули на принца так, что тот на миг онемел. Резко, глубоко врезались три короткие борозды в широкий лоб рабби, точно чуждая, зловещая буква. Но тут принц заметил Зюсса, который испуганно и настороженно держался в стороне, и его взорвало, что он в таком смешном и приниженном виде стоит перед стариком, и, вновь ткнув руку ему в лицо, он повелительно крикнул:

— Говори!

Рабби Габриель заговорил, и его ворчливый будничны́й тон так зловеще диссонировал с возбуждением принца, что никакие высокопарные жесты и магические пассы не могли бы сравниться с этим.

— Я вижу первое и второе. Первого я вам не скажу. Второе — княжеская корона.

Принц фыркнул, явно пораженный:

— *Mille tonnerre!* Вы не скупитесь, господин маг. Одно только золото и пурпур. Не то что у иных прочих хиромантов и астрологов: великий почет, престиж и прочее и прочее. А тут прямо, просто и ясно — княжеская корона. Черт поberi! Не завидую моему кузену.

Рабби Габриель ничего не ответил.

— Я уезжаю нынче вечером, — обратился он к Зюссу. — Как я тебе сказал, так и будет. — Он поклонился принцу и ушел.

— Твой дядюшка не очень-то учтив, — сказал Карл-Александр Зюссу и попытался смехом спугнуть растерянность.

— Будьте снисходительны к нему, ваше высочество, — поспешил ответить еврей, силясь тоже совладать с волнением. — Он брюзга и чудака. Пускай манеры его достойны порицания, тем приятнее то, что он сказал, — заключил Зюсс, совсем оправившись и став самим собой.

— Да,— заметил принц, глядя вдаль и водя шпагой по рисунку паркета,— а то, о чем он умолчал...

— У него довольно дикие понятия,— успокоительно заметил Зюсс.— То, что для него невесть какое страшное событие, над тем мы, люди со здоровыми взглядами на жизнь, можем только посмеяться. Княжеская корона— это нечто реальное. Беда же, о которой он не пожелал говорить, нам бы, без сомнения, показалась бредом и заумной материей.

— Княжеская корона!— смеялся принц.— Твой дядя заглядывает чересчур далеко. Смерти придется основательно поработать, чтобы расчистить дорогу для меня. Пока что мой кузен и его взрослый сын оба живы и вовсе не собираются на тот свет. Наоборот, герцог даже помирился со своей герцогиней, чтобы прижить с ней побольше здоровых детишек.— Принц встал, потянулся.— Ну-ка, еврей! Не выдашь ли мне закладную под вюртембергский престол?— И с громким хохотом хлопнул Зюсса по плечу.

Тот благоговейно заглянул ему в глаза.

— Я всегда готов служить вашему высочеству всем, что имею. Всем, что имею,— повторил он.

Принц оборвал хохот и поглядел на финансиста, который стоял перед ним с серьезным и еще более почтительным, чем обычно, видом.

— Довольно шуток!— вдруг промолвил Карл-Александр, повел плечами, словно сбрасывал чуждый и докучный груз, и выпрямился.— Моя козочка просила купить ей турецкие туфельки с голубыми камешками,— сказал он привычным тоном.— Добудь мне такие, еврей! И самые лучшие!— Он направился, чуть прихрамывая, к двери.— Только не сдери с меня больше трех дукатов,— бросил он на ходу и громко захохотал.

Рабби Габриель выехал из Вильдбада обыкновенным почтовым дилижансом. Приземистый, чуть сутулый, в добротном кафтане старомодного покроя, какой носили в Голландии двадцать лет назад, он напоминал ворчливого бюргера или угрюмого чиновника. До его появления в дилижансе шла легкая живая беседа, теперь же все смущенно притихли, а сосед рабби Габриеля незаметно отодвинулся от него.

Едва дилижанс выехал из города, как ему повстречался пышный кортеж. Это Регенсбуржец, князь Ансельм-Франц Турн-и-Таксис с великой помпой и большой свитой переселялся в снятый им лесной замок Эрмитаж. Князь, изящный пожилой господин, с удлиненным, весьма аристократическим черепом, по форме напоминавшим голову

борзой, был вдовцом и ехал в сопровождении единственной своей дочери, Марии-Августы. Принцесса, чья красота славилась далеко за пределами Германии, изображением своим на бесчисленных картинах и пастелях воспламеняла почитателей, сидела подле отца с безучастностью красивой женщины, знающей, что множество глаз следит за каждым ее движением. С томным любопытством заглянула она в окно переполненного дилижанса, и ее легкая, чуть насмешливая, высокомерно приветливая улыбка не померкла перед взглядом каббалиста. Отец в своей обычной деликатной манере заранее намекнул ей, что по прибытии в Вильбад ей придется принять важное и, как он надеется, приятное решение. И вот теперь она ехала в блистательной карете, склонная ответить скорее да, чем нет на любую перемену, молодая, томная и все же жадная до жизни. Из-под блестящих черных волос грациозно, по-ящеричьи, выглядывало матовое личико цвета старого, благородного мрамора; овал был заостренный, глаза продолговатые, ясные, нежно очерченный лоб, нос тонкий, с горбинкой, а рот маленький, пухлый, насмешливый.

Вильдбадские дамы были вне себя от прибытия новой гостьи. Курляндской принцессе и дочери посла Генеральных штатов ничего не оставалось, как заявить, высокомерно скривив рот, что эта Турн-и-Таксис кокетка, падкая до мужчин. А та, высоко подняв грациозную головку, с томной, загадочной улыбкой шла своим путем через ряды почитателей.

Тот вечер, когда принцесса Мария-Августа впервые предстала перед обществом, оказался счастливым вечером для Иозефа Зюсса. В отличие от других кавалеров, он подчеркнуто не сделал ни малейшей попытки быть представленным регенсбургским высоким особам. В то время как, например, молодой лорд Сэффолк, обезумевший, обмирающий от внезапной страсти, казался смешон, Зюсс не покидал забытых теперь дам, за которыми ухаживал и прежде и которые нынче вдвойне благоволили к нему. Изредка лишь, украдкой от дам, устремлял он свои большие карие глаза на принцессу, и тогда его очень белое лицо принимало выражение такого раболепно-благоговейного восторга, что Мария-Августа с бесцеремонным любопытством поглядывала на стройного, элегантного кавалера. Вообще же она грациозно, с обычной, чуть насмешливой, волнующей улыбкой двигалась посреди всеобщего поклонения.

Тот, кто прежде бывал центром подобных празднеств и на кого заранее постарались обратить ее внимание, Карл-Александр, принц Вюртембергский, фельд-маршал императора, герой Белграда, Петервардейна и

многих других баталий, против ожидания, на вечер не явился.

Гневный, сидел он у себя в комнате в гостинице «Звезда», а на столе горела одна свечка. Он сидел в шлафроке, раненая подагрическая нога, которая особенно ныла сегодня, была обернута одеялами, он сидел перед строем бутылок и графинов. Из темноты время от времени появлялся камердинер Нейфер, чтобы наполнить стакан, а в сторонке примостился на корточках чернокожий. Принц сидел, пил, бранился. Бранными словами на всех языках, отборной солдатской руганью честил он ландтаг. Днем он обыкновенной почтой получил послание парламентского совета, в котором прямо, без обиняков отклонялась его просьба о ссуде.

Карл-Александр кипел. Ведь он был популярен в герцогстве, его портрет висел чуть не во всех горницах, народ встречал его криками «ура»! А эти парламентские каналы, эти зажиревшие сопляки и кичливые плебеи шлют ему такую пакостную мазию.

Так он сидел, пил, бранился. Потом вдруг сорвал меховую полость, которой Нейфер обернул ему ногу, и зашагал взад и вперед! Корона! Старый жид предсказывал ему корону! Вот шарлатан! Хороша корона! Он, Карл-Александр,—босяк и проходимец, раз чернь смеет швырнуть ему в лицо такую пакостную писанину. Он бранился так люто и кощунственно, что возвращавшийся с праздника Зюсс, перепугавшись, тут же ночью пристал с расспросами к камердинеру. Но Нейфер, не терпевший еврея, не пожелал ответить.

Назавтра, среди дня, после двукратных тщетных попыток, Зюсс наконец был допущен к принцу. Он бесшумно вошел в комнату, на нем были новые чулки особого фасона, которые ему хотелось показать принцу: его высочество всегда изволили интересоваться вопросами моды. Кроме того, он хотел рассказать о вчерашнем празднике. Но таким гневным он еще никогда не видел принца. Голым колоссом стоял Карл-Александр посреди комнаты, а Нейфер и чернокожий лили на него ушатами воду и растирали его. Он швырнул Зюссу послание ландтага, и, пока тот, притихнув, пробежал письмо, принц, отплеываясь и отряхиваясь, накинулся на него:

— Хорош маг твой дядюшка! Здорово ты мне удружил им. Недурная у меня корона!

Зюсс был искренне возмущен грубым ответом ландтага и принялся было в изысканных выражениях высказывать принцу свое негодование по поводу подобной наглости и свою готовность служить ему. Но принц, озлобленный против всех, увидев, как франтоватый Зюсс стоит и держит в руке подлое письмо, неожиданно приказал:

— Нейфер! Отман! Окрестите еврея! Пусть учится плавать!

Камердинер и чернокожий немедленно выплеснули на Зюсса целый каскад мыльной воды, а собачонка принца, твякая, бросилась на него, и перепуганный еврей поспешно ретировался в насквозь промокших штанах и новых чулках, в попорченных башмаках, под громкий хохот принца и слуг.

Зюсс даже не подумал обижаться на фельдмаршала. У знатных господ всякие бывают причуды, так уж оно повелось. Они имеют на это право, и роптать тут не приходится. Снимая мокрую одежду, он решил, что в следующий раз явится еще более покорно свидетельствовать свой респект и, наверно, будет лучше встречен.

В тот же день прибыл вюрцбургский тайный советник Фихтель. Невзрачный человечек с узким и умным лицом тут же, не мешкая, посетил принца.

Да, до вюрцбургского двора уже дошла весть о неожиданном и неслыханном афронте, учиненном ему ландтагом. Светлейший князь-епископ полон гнева и презрения по поводу мелочного и беспардонного скопидомства, коим глупые и наглые плебеи осмелились оскорбить столь великого и славного полководца. Но в премудрости своей владыка нашел другое средство помочь принцу, в назидание зазнавшимся выскочкам и к вящему их конфузу.

Прежде чем изъясниться точнее, тайный советник попросил милостивого соизволения приготовить себе кофейный напиток, к которому он привык. Сидя за горячим черным отваром, вдвойне невзрачный на вид рядом с рослым принцем, он осторожно и обстоятельно принялся излагать проект брака с принцессой Турн-и-Таксис, первой красавицей Римской империи и вдобавок богатейшей наследницей. К тому же дерзкие смутьяны-парламентарии позеленеют от досады, если принц перейдет в католичество. Разумеется, светлейший князь-епископ готов оказать поддержку принцу, даже в случае его отказа от такого альянса. Но этот выход он считает наилучшим и от души желает его высочеству получить большое приданое и красавицу жену, а парламентариям позеленеть и почернеть от досады. И тайный советник продолжал мелкими глотками безмятежно потягивать свой излюбленный напиток.

Когда Фихтель удалился, Карл-Александр зашагал взад и вперед по комнате, голова у него трещала после одинокой ночной попойки, он тяжело переводил дух, запустив руку в свои густые белокурые волосы. Вот уж хитрецы так хитрецы! В католики хотят его обратить. И

это Шенборн, это Фридрих Карл, славный, веселый закадычный друг-приятель. Ну и хитрец!

Он расхохотался. Черт возьми! Ловкий фортель. Большинство высшего офицерства—католики, а католики лучшие солдаты. Он, со своей стороны, после Венеции стал очень терпим в религиозных вопросах, католическая месса всегда ему нравились, для солдата католичество—с ладаном, образами, облачениями,—пожалуй, самое подходящее дело. А если он таким образом угодит своим вюрцбургским и венским друзьям, тем лучше. Себе он так или иначе ущерба этим не нанесет. Красивая, богатая принцесса. Конец вечным lamentациям и мучениям из-за каждого дурацкого талера. И что за превосходную, ехидную шутку он тем самым сыграет над строптивым ландтагом! Гром и молния! Во всяком случае, надо поглядеть на регенсбургскую красотку.

Когда Зюсс явился на другой день, принц был в отличном настроении и встретил его громогласным вопросом:

— Высох, еврей? Крещение пошло на пользу?

— Да,—отвечал Зюсс,—если ваше высочество развлеклись им.

— А если я теперь потребую тридцать тысяч гульденов, дашь ты мне их?

— Только прикажите!

— А потом возьмешь меня за горло, выжмешь из меня все соки? Эге! Я нашел теперь такого, что даст мне денег без единого гроша процентов!

— Вы взяли себе другого финансиста?—испуганно спросил еврей.

— Нет,—благодушно засмеялся принц.—Пока что ты мне нужнее, чем прежде. Я пробуду здесь еще не меньше двух недель; но только мне хочется выбраться из этой дыры, именуемой гостиницей. Найми для меня виллу Монбжу. Оборудуй все, мебель и штат, так, чтобы и в Версале ни к чему не могли бы придраться. Я назначаю тебя моим гоффактором и казначеем.

Зюсс поцеловал принцу руку и рассыпался в благодарностях.

Карл-Александр послал чернокожего в замок Эрмитаж спросить, когда он может явиться с визитом. Отправился он туда, несмотря на краткий путь, в своей громоздкой карете, которая хоть и была заново полакирована, однако имела довольно устарелый вид; но Нейфера и кучера Зюсс успел нарядить в новые ливреи.

В Эрмитаже фельдмаршалу был оказан весьма любезный прием. Кроме князя и Марии-Августы, при этом присутствовали еще главноуправляющий турн-и-таксисовскими владениями и тайный советник Фихтель.

Франц-Ансельм фон Турн-и-Таксис был человек поживший и многоопытный, заядлый скептик. Благожелательный, живой и любопытный, с чинными безукоризненными манерами, он любил общество, был не прочь позлословить и не верил ни в бога, ни в черта. У них с принцем нашлось много общих знакомых при венском дворе, в Вюрцбурге, в армии, среди международной аристократии. Князь бросал короткие язвительные замечания, Карл-Александр говорил много и оживленно, подтверждал, оспаривал. Князь учтиво склонял изящную, удлиненную, как у борзой, голову, слушал внимательно. Карл-Александр понравился ему. Конечно, он грубоват, часто несдержан, что не полагается; и суждения его не всегда правильны. Но он обладает темпераментом и, *mon Dieu*, он фельдмаршал, герой, от него требуют побед, а не ума.

Мария-Августа сперва говорила мало. Она восседала весьма величественно в сизо-сером бархатном платье, жеманно и скромно, как требовал этикет, придерживая пухлыми, холеными ручками верхние складки широко раскинувшейся робы. Белоснежные округлости рук, обнаженных до локтя, выступали из-под венецианских кружев. Матовым сиянием старого, благородного мрамора светились прикрытые кружевами плечи, грудь и обнаженная стройная шея. Грациозно, по-ящеричьи, выглядывало из-под блестящих черных волос пастельно-тонкое личико. Своим уклончивым, но живым и внимательным взглядом она с нескрываемым благосклонным любопытством озидала принца, который рядом с ее субтильным отцом казался особенно широкоплечим и мужественным.

Тайный советник Фихтель напомнил об одном из героических подвигов Карла-Александра. Мария-Августа рассказала, глядя при этом на принца, как она была в Вене на итальянской опере «Герой Ахилл» и как Ахилл, повергнув врага, долго пел что-то весьма благородное и задумчивое.

— Да,— заметил князь,— античные герои вообще отличались величием души.

Карл-Александр заявил, что он действует всегда под влиянием момента и, пожалуй, не слишком склонен к великодушию. На что принцесса, вперив взгляд в смутившегося гостя, с усмешкой возразила, что речь шла вовсе не о нем. Все засмеялись.

Тут подали прохладительные напитки, а для невзрачного вюрцбургского тайного советника кофе.

Белокурому вюртембуржцу чрезвычайно понравилась чернокудрая принцесса. *Mille tonnerre!* Если этакая женщина будет хозяйкой бала в обширном Белградском дворце, то-то вытаращат глаза все турки и венгры и разные тамошние дикари. Такой губернаторшей можно

щегольнуть и в Вене, и где угодно. А кстати, она принесет в приданое дукаты, потребные для реставрации разоренного Белградского дворца. Верно, что хитрец этот вюрцбуржец, этот Шенборн, но и друг, черт подери, истинный друг и добрый приятель, раз откопал для него такую диковинку. И ведь она не только импозантна. Бесенок — тут его не проведешь. Что за глаза, что за рот! Лакомый кусочек для постели. Он сиял и еле удерживался, чтобы не прищелкнуть языком. Вся целиком — истая принцесса, начиная с изящной пряжки в черных глянцевиных волосах — видно, денег у этих регенсбуржцев до черта — и кончая атласным башмачком, который время от времени выглядывает из-под пышной бархатной робы. Да, принцесса и вместе с тем женщина хоть куда! Совсем не то, что дурлахская кислятина, жена его кузена-герцога. Здесь не потребуются вмешательства императора и всей страны, чтобы приживать с ней детей. И как рассудительно щебечет! А как язвит, бесенок, и дразнит его, и поводит глазами! До чего же красиво они получаются вместе на картинах. То-то вытаращит глаза Эбергард-Людвиг. Ему, Карлу-Александру, не придется разоряться на какую-нибудь шлюху. Его законная супруга будет красивей и аппетитней в постели, чем самая дорогая заграничная метресса, и к тому же наполнит, а не опустошит его кошелек.

А парламент! А окаянные бюргерские каналы! У него перехватило дыхание от восторга. Да ведь они скиснут, позеленеют и скиснут от досады. Прямой смысл стать католиком.

Он поглядел на Марию-Августу, — князь был поглощен беседой с двумя другими гостями, — поглядел на нее оценивающим, беззастенчивым, неприкрыто плотоядным взглядом солдата, привыкшего без долгих церемоний швырять женщину на кровать, и принцесса растворилась в этом взгляде вместе со своей неизменной, еле уловимой загадочной улыбкой.

Уходя, Карл-Александр твердо решил стать католиком.

Иозеф Зюсс обставил замок Монбизу весьма пышно, особенно гордился он маленькой галереей и смежной с ней желтой гостиной. Впрочем, мебель для этой гостиной раздобыл Никлас Пфевле, толстяк флегматично перевернул вверх дном лавки и мастерские по всей округе. И вот новое жилище фельдмаршала заблестало во всей красе; принц похлопал Зюсса по плечу:

— Ты прямо колдун, Зюсс. А на сколько ты меня при этом надул?

Чернокожий очень удачно выделялся на таком фоне. Принц сиял от удовольствия, и даже Нейфер, который имел зуб против еврея и постоянно старался поддеть невозмутимого Никласа Пфевле, даже Нейфер вынужден был признать, что и он не сделал бы лучше.

Не поскупился на похвалы и тайный советник Фихтель, которому Карл-Александр показал свои новые апартаменты, прежде чем задать там первый бал. Но про себя нашел во всем душок безвкусицы, претенциозности и посоветовал принцу кое-что убрать и снять. Своему повелителю, князю-епископу, он сообщил, что принц доверился вкусу некоего иудея; не удивительно, что меблировка у него в несколько восточном вкусе, и его Вильдбадский замок скорее смахивает на Иерусалим, чем на Версаль.

То же самое отметил про себя и старый князь Ансельм-Франц во время праздника, устроенного Карлом-Александром. Правда, старый князь, придававший большое значение наружности, был сильно раздосадован тем, что его светло-желтый кафтан не имеет никакого вида на фоне бледно-желтой гостиной Монбжу. Карл-Александр предложил вниманию гостей маленькую комическую оперу «Месть Цербинетты», зная, что Мария-Августа большая охотница до комедии, музыки и балета. Зюссу пришлось, через посредство матери, проживавшей во Франкфурте и сохранившей связи с театральным миром, наспех сколотить и доставить из Гейдельберга маленькую труппу.

Общество собралось небольшое, но изысканное. Принц хотел было исключить из него Зюсса, но в силу природного добродушия не устоял перед голодным, по-собачьи покорным взглядом своего фактора, и к величайшей досаде Нейфера еврей явился тоже. Гибкий и сияющий, в затканном серебром светло-коричневом кафтане, скользил он среди гостей. Как будто весь праздник только для него и устроен, шипел про себя Нейфер.

Но ярче всех блистала в темно-малиновом атласе и парче Мария-Августа. Лента фамильного ордена герцогов Турн-и-Таксис горделиво висела по ее груди, буфы на рукавах были украшены алмазным знаком звезды, пожалованным ей императором за какой-то патронат. Говорила она мало. Но принцессе Курляндской, а также дочери посла Генеральных штатов, которых она приветствовала с церемоннейшей учтивостью, как старших, — чудилось, будто из всех углов доносится только ее томный детский голосок. Они дали себе слово не показываться нигде в обществе вместе с регенсбуржанкой, да и вообще они намерены уже на днях покинуть Вильдбад. Решение это они приняли независимо друг от друга, и Зюсс

каждой из них одинаковыми словами выразил свое отчаяние.

Беседа шла о последней новости, дошедшей из Штутгарта: герцогиня как будто ощутила признаки беременности. Повивальные бабки и врачи поддерживали ее в этой надежде, консистория распорядилась уже читать молитвы о ее здравии, а любопытные ездили осматривать эйнзидельнский боярышник, который посадил Эбергард Бородатый по возвращении из Палестины и который сейчас неожиданно дал новые побеги. Счастливый знак! Тайный советник Фихтель отпускал грубоватые скабрзные остро-ты, намекая на беднягу Эбергарда-Людвига и его скучные супружеские утехы по указке императора: от дружбы с Бранденбургом Вюртембергу всегда бывало не сладко, и тут тоже прусский король выступил в роли посаженного отца. Затем начались рискованные сравнения между физическими достоинствами герцогини и отставной любовницы Гревениц. Кавалеры, столпившиеся в сторонке вокруг тайного советника, фыркали, лицо старого князя покрылось похотливыми морщинками. Дамы заинтересовались причиной такого веселья. Зюсс осведомил их. В ответ — хихиканье. Кто-то подтрунил над евреем по поводу побегов палестинского боярышника. В ответ — оглушительный хохот. Даже загадочная улыбка на пастельном личике Марии-Августы вылилась в откровенный, звонкий смех.

— Недурной маг твой дядюшка! — явил Карл-Александр, — наследный принц благополучно женился, старый герцог производит на свет второго наследника. Недурно вы с дядюшкой-чародеем провели меня.

Мария-Августа никогда так близко не видала настоящего еврея. Она допрашивала с пугливым любопытством:

— Он убивает детей?

— Случается, только изредка, — успокаивал тайный советник Фихтель, — обычно он предпочитает знатных господ.

Нахмутив лоб, принцесса старалась себе представить, такими ли были евреи, распявшие Христа. Тайный советник поспешил ее уверить, что этот уж во всяком случае при сем не присутствовал.

Зюсс придерживался мудрой тактики: не навязывался принцессе и довольствовался тем, что на почтительном расстоянии пожирал ее пылкими взглядами выпуклых глаз. После оперы она пожелала, чтобы его представили ей. И была польщена его раболепной покорностью.

— Он совсем как все люди, — удивленно сказала она отцу.

Карл-Александр выиграл в ее глазах благодаря своему приятному и галантному придворному еврею. И даже под

волнующим впечатлением его первого поцелуя, когда он еще весь был напоен теплом ее полных сладострастных губок, она, расправляя платье, с улыбкой заметила:

— Что за потешный придворный еврей у вашей милости!

Вслед за тем они возвратились из будуара в залу.

Кстати, у принца возникло смутное, безотчетное ощущение, будто этот искусный и жгучий поцелуй — отнюдь не первый в ее жизни.

В парламентском совете одиннадцати царило мрачное настроение. Беременность герцогини оказалась обманом, а тут вдобавок пришло известие о предстоящей женитьбе принца Карла-Александра и его обращении — возвращении, как дерзко заявляли иезуиты, — в католичество. А главное, говоря по совести, приходилось признать за собой долю вины за столь досадное обстоятельство, как перемена религии популярнейшим в стране лицом.

Прелат Вейсензе с первых же донесений о знакомстве принца с регенсбургским семейством понял, что вся эта затея — дело рук его приятеля Фихтеля и вюрцбургского двора. Усмехаясь, отдал он должное их ловкой тактике; но так как политика была для него всего лишь игрой, да и то не очень увлекательной, он и к вероотступничеству принца отнесся довольно безучастно. Конечно, он предвидел, что в малом совете на него будут смотреть косо, потому что в отклонении ходатайства принца был действительно повинен он. Но он рассчитывал, что в силу своего превосходства, хоть и возбуждавшего неприязнь коллег, теперь, как и всегда, возьмет над ними верх, и старательно приготовился к защите. Впрочем, он и сам искренне полагал, что переход принца в католичество вряд ли может иметь реальное значение. Хотя надежды на беременность герцогини лопнули как мыльный пузырь, на дороге принца к престолу оставалось еще много преград. Вейсензе серьезно усомнился в том, стоило ли иезуитам ради таких туманных перспектив тратить столько трудов на обращение принца. Что подделаешь, герцогству и его парламенту надо считаться с обстоятельствами и в политике своей не заглядывать далеко вперед, не то что католической церкви — он подавил завистливый вздох, — этой древней несокрушимой твердыне; хорошо иезуитам — свою политику они могут строить на века, имея в виду позднейшие поколения. Прежде всего совет одиннадцати обрушил на принца поток грубой, злой и бессмысленной брани. Наконец, Иоганн Генрих Штурм — председатель и первый секретарь, разумный, степенный, положительный человек — пресек нелепое и бесцельное

сквернословие и предложил перейти к деловому обсуждению. Грубоватый бургомистр Бракенхейма напрямик брякнул, что настоящий виновник — Вейсензе, значит, он, черт возьми, и обязан исправить то, в чем сам же навредил.

Вейсензе, невозмутимо улыбаясь, заметил, что особого вреда он тут не усматривает. Раз принц так, здорово живешь, принял католичество, значит, истинная вера не много с ним потеряла. Католикам его обращение важно лишь в целях пропаганды, за фельдмаршала надо только порадоваться, что он избавился от вечных недочетов и не должен больше клянчить у ландтага. О каких-либо иных реальных последствиях, надо полагать, никто из досточтимых коллег даже не помышляет.

Но грубиян бракенхеймец стоял на своем: хотя герцогская чета, слава богу, еще полна сил и не лишена надежд на потомство, хотя наследный принц жив и здоров, но раз Рим ведет политику такого дальнего прицела, надо вовремя принять встречные меры.

Что ж, пожалуй, небрежно бросил Вейсензе. Можно, например, без каких-либо обязательств и под строгим секретом вступить в переговоры с братом Карла-Александра, Фридрихом-Генрихом. Просто так, на всякий случай, чисто академически. От этого благочестивого и кроткого принца никак нельзя ожидать угрозы ни свободе сословий, ни свободе евангелического вероисповедания.

В среде одиннадцати смущение, молчание, нерешительность. Не отдаст ли это государственной изменой. Конечно, только чисто академически, только на всякий случай, только без каких-либо обязательств. И тем не менее?..

Штурм, председатель и первый секретарь, человек прямой и честный, был всей душой предан своему отечеству и не терпел таких иезуитских уловок, однако с глубоким прискорбием сознавал, что без них не обойтись. Но только когда уж никакого, решительно никакого иного выхода нет.

Советник ландтага по правовым вопросам, ассессор вюртембергского верховного суда Вейт Людвиг Нейфер — тот и слышать ни о чем подобном не желал. Нейфер, сравнительно еще молодой человек, с хмурым, испытанным лицом и копной косматых черных волос над низким лбом, прежде был ярким противником монархов и пламенным поборником народных свобод. Со своим двоюродным братом, камердинером принца Карла-Александра, он самым демонстративным и оскорбительным образом порвал отношения, хотя они дружили с детства, вместе резвились и обучались наукам. Теперь же, увидев изнанку жизни, он впал в брюзгливую покорность: зло неотвратимо, и он с какой-то циничной жестокостью жаждал все больше и

больше зла в подтверждение своего горького опыта. А тут, в связи с пребыванием принца в Вильдбаде, он столкнулся с двоюродным братом — камердинером; честно говоря, он сам искал этой встречи и помирился с ним, но по-своему — сварливо, язвительно и злобно. Оказалось, что тот прав.

По-видимому, так и должно быть, таков закон природы: немногие счастливы возвышаются над всеми, а удел остальных — подличать и пресмыкаться. На вюртембергский престол может взойти католик? Тем лучше, на то и самодержавие и воля божья, а народ — черт с ним, с народом, пусть покоряется.

Увертливый Вейсензе все так же осторожно и невозмутимо развивал свою мысль. Белград далеко, и речь идет о чисто отвлеченных предположениях, о гарантиях на случай самого неправдоподобного стечения обстоятельств. Разумеется, письменных улик никаких быть не должно. А *Corpus Evangelicorum*¹, безусловно, можно считать своим союзником.

Тупые мозги ворочались туго и опасно. Самая отдаленная возможность иметь герцогом католика представлялась несуразной, немыслимой, выводила из равновесия! Католический государь рисовался не иначе как деспотом, тираном. А тем паче Карл-Александр при его связях с венским двором, этим исконным противником всякой свободы исповеданий, всякой парламентской независимости. Благодатные свободы! И носителями этих свобод были именно они, одиннадцать избранных, которые тут сидели, судили и рядили. Для них самих, для них лично, католический принц являлся угрозой.

Решено было, что Вейсензе вступит в переговоры с братом фельдмаршала, с кротким, безобидным протестантом, принцем Фридрихом-Генрихом. Но только совсем приватно, без каких-либо обязательств и под строжайшим секретом.

В Регенсбурге, в соборе, во время венчания Карла-Александра — колокольный звон, клубы ладана, блистательное общество. Император прислал своего представителя, папский нунций Пассионеи явился с собственноручным рескриптом святого отца, присутствовали князь-епископ Вюрцбургский и весь цвет императорской армии, в том числе ближайший друг Карла-Александра, генерал Франц Иозеф Ремхинген, питомец иезуитов, его багровое, одутловатое, огрубелое лицо лоснилось от винных паров под пудренным париком.

¹ Евангелическая уния (лат.).

Прекрасней пары не сыщешь во всей империи. Принц высок и строен, точно кедр, в руке сверкает маршальский жезл, на груди — орден Золотого руна. Грациозное личико Марии-Августы цвета старого, благородного мрамора сияет над белой парчой и атласом, грудь обвита лентой фамильного ордена Турн-и-Таксиса, на буфах рукавов — матово-золотая императорская звезда, на обнаженной шее — крест папского ордена. Мягкой, эластичной поступью вступила она в собор, неся свою юную, загадочную улыбку под венчальным убором, чудом ювелирного мастерства, — Зюсс исколесил всю Европу, по частям собирая его.

Держалась она весьма непринужденно, стараясь даже в этом благолепном торжестве отыскать крупички комизма. Своим уклончивым взором она с томным любопытством оглядывала присутствующих, и пока епископ прославлял ее за то, что она вернула истинно христианской католической церкви великого победителя турок, бесстрашного льва в бою, она думала, что в течение всего пиршества тайный советник Фихтель будет, наверно, мечтать только о своем кофе. А как смешно, что еврей с торжественной миной тоже стоит в соборе. Впрочем, он очень мил и забавен и совсем не похож на страшилище, какими она раньше представляла себе евреев. По правде говоря, манжеты у него даже гораздо больше *à la mode*¹, чем у ее мужа. Как смешно — у нее теперь, значит, есть муж! Должно быть, еврей сейчас пожирает своими большими крылатыми глазами ее прикрытую фатой шею, и лицо у него белое-белое.

А праздничные свечи полыхали, орган гудел, ладан клубился, и хор мальчиков возносил в небо свои звонкие, чистые голоса.

На другой день, пока серебряные фанфары сзывали на пиршество, новобрачные уже взошли на яхту, подаренную им князем, которая должна была везти их вниз по Дунаю. Ехали они с большой свитой егерей, слуг, гайдуков, камеристок. На носу примостился чернокожий Отман, скрестив ноги и устремив вдаль по течению бездонный взгляд довременного зверя.

На берегу стояли князь, вюрцбургский епископ, тайный советник Фихтель, а немного отступя, между ними и челядью, — Иозеф Зюсс. Веял легкий ветерок, погода была ясная, бодрящая, настроение у всех веселое. Пока подымали якоря, стоявшие на берегу и на палубе обменивались шутками. Мария-Августа в красивом красочном дорожном наряде стояла, заслонив глаза рукой, и глядела на удаляющуюся пристань. Князь и тайный советник уже

¹ Модные (фр.).

отвернулись, последнее, что она увидела, была лукавая, довольная физиономия иезуита и элегантная, склоненная в позе раболепной покорности фигура еврея.

— Никогда не думала,—с улыбкой обратилась она к Карлу-Александру,—что можно быть таким элегантным и при этом таким смиренным, как твой славный еврей.

— Славный еврей!—оглушительно захохотал принц.— Города и села можно купить на то, что он с нас содрал.—И при виде ее изумленного лица деловито пояснил:—Это его законное право. На то он и еврей. Но человек он полезный,—одобрительно добавил принц,—он может снабдить чем угодно: драгоценностями, мебелью, деревнями, людьми. Даже алхимией и черной магией.—Смеясь, рассказал он ей историю с рабби Габриелем.— Недурно он меня провел, твой славный еврей. Корона! Между ней и мною стоят еще двое претендентов. Наследный принц здоров как бык. Он прислал мне поздравление с охоты. А герцог... пусть его герцогиня и кислятина, все равно, если дьявол попустит, она народит ему ребят, как крольчат.—Он громко захохотал и похлопал ее по руке, в то время как судно под легким ветерком скользило по сине-зеленым волнам между красочными берегами.

Впереди примостился чернокожий и не отрываясь смотрел на восток. Перед взором принцессы маячили последние впечатления родины, лукаво торжествующий иезуит и раболепно элегантный еврей.

Не успели они достичь сербской границы, как их настигла эстафета Зюсса.

— Не терпится твоему еврею,—усмехнулась Мария-Августа,—что ему понадобилось так спешно продать?

Карл-Александр вскрыл депешу, прочел. Наследный принц скоропостижно скончался во время бала при штутгартском дворе.

Он протянул бумагу принцессе. Кровь бросилась ему в голову, он услышал скрипучий, сердитый голос, сквозь кровавую пелену увидел над блекло-серыми, окаменевшими в тоске глазами три короткие, глубокие борозды, угрожающие, зловещие, словно чуждая сокровенная буква.

Книга вторая

НАРОД

Семьдесят два города насчитывалось в герцогстве Вюртембергском и четыреста деревень. Зрели хлеба, плоды и лозы. Прекрасным редкостным садом почиталось герцогство в Римской империи. Горожане и крестьяне были веселы, общительны, покорны и сметливы. Они терпеливо сносили правление своих государей. Если государь был хорош, они ликовали; был он плох, значит, такова воля небес, наказание, ниспосланное господом богом. Десять золотых гульденов подати вносил в герцогскую казну каждый вюртембержец — мужчина, женщина, ребенок.

Был ли герцог хорош, был ли герцог плох, все равно — случалось вёдро, случался дождь, зрели злаки, зрели лозы, благодатная страна раскинулась широко.

Но нити тянулись со всех сторон, руки подбирались, глаза зарились, со всех сторон паутина опутывала страну.

В Париже сидел пятнадцатый Людовик со своими министрами. Кусок Вюртемберга, графство Мемпельгард, было окружено его владениями, он только и ждал, как бы его проглотить. В Берлине сидела графиня, строила козни заодно с имперским рыцарством, старалась напоследок выкачать что возможно: во Франкфурте и Гейдельберге Исаак Ландауер и Иозеф Зюсс подстерегали случай зажать герцогство в тиски; статс-секретарь папы плел нити, протягивая их из Рима в Вюрцбург к князю-епископу с целью подчинить страну тиаре; в Вене советники императора заседали на новоявленного католика, наследного принца и имперского фельдмаршала, вымогая новые договоры, связующие Штутгарт с Веной, в Регенсбурге старый князь Турн-и-Таксис жадно поглядывал на герцогство, а в Белграде фельдмаршал Карл-Александр и Ремхинген, его друг и генерал, строили обширные планы.

Все они сидели в ожидании вокруг Вюртемберга, подозрительно косились друг на друга, набрасывали свои огромные безмолвные тени на страну.

Случалось вёдро, случался дождь. Зрели злаки, плоды, лозы. Широко раскинулась благодатная страна.

В первых числах ноября умер, так же внезапно, как обычно решал, действовал и жил, Эбергард-Людвиг, божьей милостью герцог Вюртембергский и Текский, римского императорского величества, Священной Римской империи и славного Швабского округа генерал-фельдмаршал, а также шеф трех полков кавалерийских и пехотных.

И вот теперь он лежал на величественном катафалке, с лицом иссиня-желтым от удушья, в парадной форме, со множеством орденов, среди которых ярким блеском выделялись датский орден Слона и прусский Черного Орла: вокруг него горело множество свеч, в головах и в ногах несли почетный караул два лейтенанта. Жалобно пригорюнилась в большом безмолвном зале замшелая унылая Иоганна-Элизабета—герцогиня. Торжество ее длилось недолго, прошло всего несколько месяцев, и вот ее муж, завоеванный упорным ожиданием, кровавым потом, лежит здесь посиневший, мертвый, удушенный, и накликала это мекленбуржанка, ведьма, тварь. Но здесь сидит она, она одна, а не та. Кто теперь будет править в Вюртемберге—ей безразлично. По всей вероятности, католик со своей надменной, ветреной, расфуфыренной женой. Но она сама так опустошена, что ее это не трогает. У нее на этом свете осталось только одно дело: утолить до конца свою упорную жажду мести. Родственники той твари еще сидели в герцогстве на хлебных местах, сама тварь купалась в богатстве и роскоши и всеми возможными способами через управляющих своими поместьями, через своих проклятых евреев высасывала из страны последние соки. Теперь же, когда Эбергард-Людвиг умер, у нее не осталось защитника, с ней больше нечего церемониться. Теперь она, герцогиня, может наново выступить против нее с тяжким обвинением перед новым государем, перед императором и всей страной. Эта тварь посягала на ее жизнь, она колдовством извела наследного принца и самого герцога. Она, герцогиня, не будет действовать сейчас сгоряча. Но противнице своей не даст покоя; кричать она не будет, но ее скорбный голос не умолкнет, доколе та не останется ни с чем, в нищете и поругании. Так сидела она у горделивого катафалка, серая и жалкая, перебирая про себя убогие остатки своей жизни, а между тем пышные оранжерейные цветы благоухали, и толстые свечи оплывали, и лейтенанты со шпагами наголо несли почетный караул.

Когда герольды возвещали о смерти герцога, горожане снимали шляпы, искренне скорбя. Теперь, после того как герцог умер, они помнили только его гордую статью, обходительность, воинскую доблесть, пышность и тонкий вкус и были склонны все бедствия его правления припи-

сать исключительно графине и ее колдовским чарам. Ей вменяли в вину не только бессовестное ограбление страны — на ее голову призывали все беды и проклятия за то, что по ее милости было подорвано искони утвердившееся в Германии почтение к правящей династии и утрачена возможность при случае добиваться новых прав и привилегий. Вместо этого приходилось действовать осторожно, с оглядкой, дабы не прогневить императора, а вдобавок, в критические минуты, государственная казна неизменно оказывалась пуста. И образ графини все глубже втапывался в грязь, а герцог поднимался все выше в глазах своих подданных. Женщины утирали глаза: и какой же он был нарядный — просто заглядение, и для каждого находил ласковое слово, что и говорить — добрый, прекрасный был государь!

И бежали скороходы, ехали, скакали курьеры. Один во Франкфурт — там Исаак Ландауер покачал головой и, потирая зябкие руки, сказал: «Ой, теперь реб Йозеф Зюсс задерет нос и станет заправлять большими делами». Один в Берлин — там у графини остановилось сердце, и она, потеряв сознание, упала навзничь. Еще один в Вюрцбург — там толстый веселый князь-епископ улыбнулся и призвал к себе тайного советника Фихтеля. И еще один в Белград — там принц Карл-Александр, ныне герцог, да, да, герцог, перевел дух и представил себе, как он идет войной в самое сердце Франции, как руки его вращают колесо истории. Но над всем этим он в то же время увидел блекло-серые глаза и услышал ворчливо скрипучий голос: «Я вижу первое и второе. Первого я вам не скажу!» И он задумчиво разглядывал свою руку. В самом деле — необыкновенная рука: ладонь мясистая, пухлая, короткая, тыльная же сторона — узкая, длинная и костлявая.

А Мария-Августа стояла перед зеркалом, как стояла часто, совсем обнаженная, и улыбалась. Глазами с поволокой, осененными гладким покатым лбом, разглядывала она свое тело, нежное и стройное, цвета старого, благородного мрамора. Она плавно потянулась, склоняя маленькую ящеричью головку, улыбка красных губ стала явственнее. Как хорошо будет герцогиней въехать в Штутгарт в золотой карете, сквозь восторженные толпы народа. Здесь, в Белграде, тоже хорошо было царить над дикими, вождедеющими, благоговеющими варварами. Но еще приятнее будет теперь при императорском дворе и при других немецких дворах чувствовать себя окруженной поклонением, точно волнами фимиама. Она будет носить корону без парика, это, правда, не по моде, но зато как гордо небольшая, высокая корона будет сидеть на ее блестящих черных волосах! И обнаженная женщина обрядовым жестом не то жрицы, не то бесстыдной вакханки

подняла руки под углом к голове, так что обнаружились темные завитки под мышками, и, улыбнувшись влажными губами, изгибаясь, точно в пляске, прошла по комнате. При ее дворе будет много кавалеров, немцев, итальянцев, французов, не таких полудикарей, как здесь; ведь должна же там ощущаться близость Версаля! А те, что полудерзко-полувосторженно глядели на принцессу,—с каким восхищением будут они теперь глядеть на герцогиню! И придворный еврей будет по-прежнему поклоняться ей на расстоянии, а ведь он на редкость галантный кавалер, игриво усмехнулась она. Ах, как хорошо быть красивой, как хорошо быть богатой, как хорошо быть герцогиней! Как чудесно, что на свете есть мужчины, и красивые наряды, и короны, и огни, и празднества! Как прекрасен мир и как прекрасна жизнь!

В замке Винненталь, только в четырех часах езды от Штутгарта, брат Карла-Александра, кроткий принц Генрих-Фридрих пришел в глубокое смятение, узнав о смерти своего кузена. Он мирно жил в своем красивом маленьком замке, читал, музицировал. Не так давно он взял себе в возлюбленные дочь мелкопоместного дворянина—спокойное создание с мягкими движениями, прекрасными умиротворенными глазами, темно-русыми волосами и туповатым, недоразвитым умом. Когда к нему приехал прелат Вейсензе и предложил возвести его на престол вместо перешедшего в католичество брата, мечтатель обеими руками схватился за этот план. Но проницательно-му прелату скоро пришлось убедиться, что принц, этот слабовольный фантазер, видит в политике одну лишь отвлеченную красочно-туманную игру воображения. Нет, подобного претендента нельзя противопоставить деятельному, напористому Карлу-Александру. После кончины наследного принца, когда отвлеченный вопрос о престолонаследии вот-вот мог превратиться в осязаемую действительность, из Белграда пришло послание—бог знает откуда весть об интригах достигла фельдмаршала,—в котором Карл-Александр недвусмысленно, со всей решительностью советовал брату воздержаться от подобных козней и гнусных затей. Испугавшись и оробев, кроткий принц отказался от каких-либо притязаний и в страхе стал даже избегать общения с Вейсензе. Теперь, когда он узнал о смерти герцога, красочные, фантастические мечты воскресли с новой силой. Обливаясь потом, дрожа всем телом, в сильном возбуждении метался при бледном свете утра этот беспомощный человек по замку и рисовал себе, как все могло бы сложиться, если бы у него достало предприимчивости, как бы он захватил в свои руки власть, как писал бы императору, назначал и отставлял министров, заключал договоры с Францией, держал пламенные

речи к народу. Горестно вздохнув, вернулся он к себе в спальню, тихо и осторожно разделся, чтобы не разбудить свою возлюбленную, улегся рядом с ней, сокрушаясь о своей слабохарактерности, ощупью обнял ее пышные теплые груди, и, когда она открыла свои прекрасные глупые глаза, он утешился ее юной свежестью и наконец уснул, вздыхая задумчиво и удовлетворенно.

Прелат Вейсензе, получив скорбную весть, в тревожном возбуждении шагал по своим обширным покоям с белыми занавесями на окнах. Сколько проблем, осложнений, конфликтов. Католический государь в исконной протестантской стране: новая, неожиданная и небывалая для западной Германии конъюнктура. Он, Вейсензе, своевременно занял соответственную позицию, возможностей много, и ни при одной из них он не окажется лишним. Нигде не выставляя себя напоказ, он всюду успел завести связи. Теперь он шагал взад и вперед, составляя проекты, отбрасывая их, наслаждаясь деятельным возбуждением — подлинным счастьем для великого мастера интриг и хитрых махинаций.

А дочь его, Магдален-Сибилла, сидела в задумчивости, и голубые ее глаза на смуглом смелом лице то вспыхивали, то меркли. Католик, язычник на престоле. Теперь в стране начнется смута и великая скорбь. Помогите нам, господь Саваоф, дабы устояла страна против искушений, которыми постарается совратить ее идолопоклонник, против угроз, которыми он постарается отторгнуть ее от истинной веры. Языческий властитель шествует в блеске и великом почете, он победил во многих битвах и снискал благоволение императора, его супруга держится спесиво и нескромно. Помогите нам, господь Саваоф, дабы народ устоял против всех мук и искушений. И отец, ее, Магдален-Сибиллы, отец стоит в первых рядах борющихся, ему назначено быть щитом Евангелия, над которым занесен меч. Ах, она не хотела грешить против четвертой заповеди, но ее одолевал великий страх, что у него не хватит истинной твердости перед богом и людьми. Как всегда в трудную минуту, она прибегла к богу, открыла Библию и стала молить господу ниспослать ей пророчество. Но ей попало такое изречение: «Всякую чистую птицу можете вкушать, гнушайтесь только орла, и страуса, и сокола, и пеликана». Долго вдумывалась она в прочитанное, но при всем своем навыке истолковывать пророчества не могла установить связи между бедствиями страны, заботой о крепости и стойкости отца в вере истинной и страусом и пеликаном, которых запрещалось вкушать иудеям. Она решила показать пророчество своей подруге, слепой Беате Штурмин, ясновидящей, святой из штутгартского библейского общества. Пока же, с печатью

мучительного раздумья на смуглом, не по-женски смелом лице, она наблюдала, как отец, ничуть не удрученный, а, наоборот, приятно взволнованный, шагает из угла в угол и как оживлены его тонкие подвижные черты.

Уже за полчаса до начала заседания все одиннадцать членов малого совета собрались в здании ландтага. На повестке дня стояли самые безобидные вопросы, но все было так смутно, так темно, что хотелось хоть ощутить присутствие соседа в этом мраке, услышать чей-то голос.

Ах, зачем было отказывать принцу в займе, ах, зачем было снюхиваться с его младшим братом! Вот теперь и сели в лужу, попали в беду. Принц должен быть святым, чтобы теперь, оказавшись у власти, не отомстить ландтагу. А он совсем не святой. Нет, он солдат, военачальник, привыкший к слепому повиновению. Ходили слухи, что он в Белграде далеко не мягко обходился со своими советниками и частенько яростно пререкался с прикомандированными к нему лицами, пускал в ход непотребную брань, неистовствовал, не терпел никаких противоречий и, случилось, бил посуду и разные хрупкие предметы о головы своих советников. Словом, был деспот не лучше любого языческого кесаря. Много придется еще принять горя и адских мук от этого Левиафана.

Никто из них не желал поступиться хотя бы малой толикой своих прав и привилегий. Ах, сладость власти! Они, эти одиннадцать мужей, снимали пенки с конституции. Остальные члены парламента существовали лишь для того, чтобы утверждать их решения. Они же, эти одиннадцать мужей, властвовали над страной, заседали при закрытых дверях, как венецианская синьория, они интриговали, спорили, барышничали между собой и связывали руки герцогу и его министрам. Как было приятно и сладостно чувствовать свой вес и свою власть! Пусть кто-нибудь попытается покуситься на нее! Они стеной встанут на защиту страны от тирании и католического рабства. У них найдется твердая опора и прочная охрана. Ибо тверд и прочен закон, согласно которому герцог должен присягнуть в том, что будет охранять права их и протестантской церкви. Под этот закон не подкопается Рим, несмотря на все свои самые лукавые ухищрения. Этой твердыни не подточит самый ловкий иезуит. Пусть-ка тот язычник и свирепый тиран попробует огрызнуться. О такой железный затвор он обломает себе зубы. Слава непреложному закону! Слава благословенным религиозным реверсалиям! Слава твердой, прочной конституции и Тюбингенскому соглашению! Слава благодетельной пре-

дусмотрительности мудрых отцов, которые припасли такие намордники для зубастых герцогов.

Ровно в десять часов председатель Иоганн Генрих Штурм объявил заседание открытым, но не успели еще приступить к обсуждению вопросов, стоящих на повестке дня, как перед огорошенными членами совета предстал Филипп Якоб Нейфер, брат законоведа, и предъявил бумагу, из которой явствовало, что Карл-Александр, в осуществление законных прав наследования, вступает на вюртембергский престол, а впредь до своего прибытия в герцогство поручает руководство государственными делами советникам фон Форстнеру и Нейферу, для чего уже назначил их министрами.

Далее новый министр с улыбкой учтиво заявил совершенно растерявшимся господам членам совета, что герцог осведомлен о возникших у парламента опасениях касательно вопросов вероисповедания и сословных свобод. Он счастлив, что может сразу же успокоить господ членов совета, передав от имени его светлости соответствующие заверения и подтверждения. Будучи еще принцем, герцог имел случай обсуждать с некоторыми членами малого совета ту ситуацию, которая тогда была лишь предположительной, ныне же претворилась в жизнь, и господа члены совета сочли такого рода заверения крайне желательными, дабы между герцогом и ландтагом установилось взаимное доверие, необходимое для общего блага.

Молча, в глубоком смятении выслушали эту речь девять членов из одиннадцати. Даже председателю Штурму, несмотря на неизменное спокойствие и самообладание, стоило большого труда выдать из себя несколько слов — признав полномочия господина советника, а ныне члена кабинета министров, поблагодарить за врученные бумаги и обещать, что они будут внимательно изучены.

Министр удалился, оставив почтенных мужей совершенно пришибленными, во власти бессильной злобы и взаимных подозрений. Значит, в их среде есть предатели, интригующие на свой страх и риск? Соседи чуть приметно отодвинулись от Нейфера и Вейсензе.

А тем временем второй Нейфер, ныне министр, явился в военный комиссариат и на основе полученных от герцога полномочий потребовал, чтобы ему отрядили взвод солдат, который и был ему предоставлен после запроса в ландтаге. Ворвавшись в здание совета министров, он именем Карла-Александра, хотя прах старого герцога еще не был предан земле, арестовал всех главарей партии Гревениц и приказал отправить их в Гогентвиль, как они ни бесились, ни грозили, ни протестовали. В тюрьму Фридриха Вильгельма, брата графини, обер-гофмаршала и председателя совета министров, как лед холодного поли-

тика, который устранил от власти сестру ради прочности собственного положения, в тюрьму обоих его сыновей, обер-шталмейстера и члена совета министров! Под арест их мелких приспешников и клеветов — председателя церковного совета Пфейля, тайного референдария Пфау, государственных советников Фольмана и Шейда и всю их многочисленную клику. Как они важничали раньше! Как чванились, как задирали носы, еле кивали, отвечая на поклоны. Теперь они сидели в строжайшем заточении, и ни одна собака не вспоминала о них.

После этого Нейфер отправился к герцогине и сообщил ей, торжествующей, воссиявшей из праха и унижения, обо всем, что произошло. Через посредство герольдов и расклеенных на стенах указов он возвестил, что Карл-Александр взял в свои руки бразды правления и в ближайшее время прибудет из Белграда; что против бесчестных чиновников, притеснявших народ ради собственной выгоды, им, государем, уже приняты меры и что он заранее своим крепким и верным княжеским словом гарантирует неприкосновенность всех свобод, в особенности же свободу религии.

В народе ликование. Вот это государь! Этот взялся за дело, не считаясь ни с кем. Совсем как на картине, где он штурмует Белград. Подайте ленты, подайте еловые ветви, чтобы украсить картину! Воистину властелин и герой! С ним не пропадешь.

Близ Гирсау от проезжей дороги отходила дорога поуже, проселочная. От нее ответвлялась пешеходная тропинка, которая, теряясь в лесу, упиралась в крепкий высокий забор. Деревья мешали взору проникнуть дальше. Из местных жителей доступ сюда имели только садовник и старик поденщик, который исполнял всякие поручения, оба — люди угрюмые, не склонные отвечать на расспросы любопытных. Известно было только, что какой-то голландец приобрел у наследников прежнего владельца маленький развалившийся домик. Властям он назвался мингером Габриелем Оппенгеймером ван Стратеном и предъявил паспорт, выданный Генеральными штатами. Покупка была оформлена законным порядком, все требования полиции и казначейства выполнялись в высшей степени добросовестно. Голландец жил в домике вместе с какой-то молоденькой девушкой, с ее горничной и одним слугой. По округе ходил назидательный рассказ о громиле, который попытался пробраться в этот уединенный домик. Его будто бы поймали, связали. Голландец ничем не покарал выдавшего виды отпетого головореза, только запер его на целую ночь в комнате, полной книг.

Наутро бродяга будто бы, весь дрожа, в полном смятении выбрался из лесу и навсегда покинул здешние края.

Временами выплывали слухи, будто голландец и есть Вечный жид, но скоро снова умолкали. Он почти не показывался в городке, совершал уединенные прогулки по лесу, встретить его можно было очень редко. Мало-помалу к нему привыкли. Где-то в лесу за высоким забором и развесистыми деревьями живет голландец, и пусть даже он делает что-нибудь недозволенное, но шума не производит и никого не беспокоит.

Здесь же в Гирсау проживал и магистр Якоб Поликарп Шобер, тот самый, что руководил собраниями библейского общества, в котором состояла Магдален-Сибилла. Упитанный, толстощекий молодой человек, который тихо совершал свой жизненный путь и любил длинные мечтательные прогулки, однажды, машинально следуя за птицей, перелетавшей с дерева на дерево, дошел до высокого забора, без долгих размышлений и без особого труда перелез через него, миновал изгородь, образованную высокими деревьями, внезапно очутился у начала просеки и увидел дом голландца посреди тюльпанов и идущих уступами клумб с другими, ему неизвестными и тщательно выхоженными цветами. Странное впечатление производил этот дом — ослепительно белый кубик, залитый лучами солнца. А перед домом был раскинут примитивный навес, и под ним лежала, потягиваясь в полудреме, одетая на чужеземный лад девушка с матово-бледным лицом под иссиня-черными волосами. Магистр замер в изумлении и благоговейном восторге, потом на цыпочках удалился. Впоследствии в его мечты о небесном Иерусалиме неизменно проникал образ девушки под навесом перед белоснежным домом среди тюльпанов.

Рабби Габриель предоставил девушке полную свободу. Ноэми расцветала, тихая и нежная, не ведая больших страстей. При ней был старый, дряхлый, молчаливый слуга и вывезенная из Голландии горничная, преданная, добродушная, болтливая Янтъе, которая долгие годы заботливо за ней ухаживала. Порой девушке хотелось повидать людей, но раз дядя держал ее в уединении, значит, так было лучше. Да и порожденные мечтами, вычитанные из книг люди были лучше живущих где-то там, внизу.

Она наслаждалась книгами, которые дядя читал вместе с ней. Это были по большей части древнееврейские книги, а среди них загадочные, таинственные книги Каббалы. Она не вдумывалась в них, она их видела. Каббалистическое древо, небесный человек были для нее зримы и

осязаемы. Буквы-числа, составляющие имя божие, двигались в священной пляске, пестря переливчатыми значками, многообразные фигуры священной науки непрерывно шевелились, треугольники карабкались вверх, квадраты ползли вниз, пятиконечная звезда перелетала с вершины на вершину. А семи- и девятиугольники вытягивали свои острые углы, одного грозили проколоть, другого ласкали своим прикосновением. И все сплеталось в многоликом стройном танце. Дядя учил: в каждом стихе, в каждом слове, в каждой букве Писания заключен сокровенный смысл. Он открывается тебе, когда ты сравниваешь эти слова с другими местами Писания, когда ты преобразуешь числовое выражение букв. Взгляни, вот бумага и на ней — немножко черной краски. А между тем она живет любого живого человека, она — уста, говорящие для вечности. Разве это не чудо из чудес? Много тысячелетий тому назад кто-то продумал, прочувствовал эти слова. Мертвы уста, впервые произнесшие их, мертв мозг, впервые подумавший их. Но рукой своей человек написал их, и, пока он их писал, дух божий вселился в них, и ныне ты через многие тысячелетия так же продумываешь и постигаешь их. В том, что написано, присутствует бог. Буквам даны жизнь и движение, буква переходит в число, число в звук, на веки вечные. То, что написал человек, отделяется от него и живет далее собственной жизнью и становится внятным всякому другому. Но лишь посвященный ощущает бога во всем, что написано.

Так учил рабби Габриель. Ноэми слушала, силясь понять его слова. Но события священной истории не надолго принимали строгую форму отвлеченных мистических понятий, в которую втискивал их дядя. Очень скоро они вновь облекались плотью, расцветчивались яркими красками и волновали девичью кровь очарованием пестрых сказок и доблестью легендарных подвигов.

Она читала в Песни Песней: «Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, моя пастушка! Прекрасная моя, выйди! Вот зима уже прошла. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Встань, моя пастушка! Прекрасная моя, выйди! Голубица моя! Голубица в ущелье скалы, под кровом утеса! Покажи мне лицо твое! Дай мне услышать голос твой. Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно!»

Она сидела, воплощение нежности и внимания, и проникновенным взором скользила по большим, массивным древнееврейским буквам. Лицо у нее было как у отца, очень белое, горделиво-изгибалась стройная шея, в глазах затаились грезы, древние грезы прародителей, голову она оперла на ладони, и плавно округленные руки переходили в нежную покатость плеч.

Рабби Габриель объяснял, что прочитанное ею иносказательно говорит о сотворении мира, цветы—это праотцы, и голоса юношей, изучающих тайны Писания, спешествуют тому, что мир стоит и праотцы являют себя потомкам. И он с большим знанием и мудростью все расчленил и снова собирал, а затем умолкал и задумывался. Она слушала его и верила ему, но едва он кончал, как цветы вновь становились цветами и ей слышался несложный и ласковый напев: «Вот зима уже прошла; дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения наступило, и голос горлицы слышен в стране нашей». И она закрывает глаза и внимает манящему голосу, прислушивается, не смеет вздохнуть: вот-вот сейчас из-за деревьев появится пастух, чьи дивные слова звенят серебряными переливами. Но никто не идет.

Конечно, библейские герои и благочестивые мужи были таковы, какими показывал их рабби Габриель. Но когда он уходил, Ноэми смотрела на них собственными глазами. Она сама была Фамарь, любившая Амнона, она была Рахиль, бежавшая с Иаковом, была Ревекка у колодца. И Мириам, плясавшая под напев победной песни над потопленными господом египтянами,—тоже была она. Но никогда не была она Иаилью, вбивающей кол в висок Сисаре, и не была Деборой, которая была судьей во Израиле. Тех немногих людей, которые ее окружали, она перевоплощала в героев библейских легенд: Агарь походила на болтливую служанку Янтье, у пророков были блекло-серые, окаменевшие в скорби глаза дяди и его приплюснутый нос, и говорили они его скрипучим сердитым голосом.

Но у героев—у всех была осанка отца, его лицо, его глаза, выпуклые, крылатые, его вкрадчивый, убедительный голос. Отец! Яркий, блистательный! Ах, почему он так редко приезжает! Повиснуть у него на шее—вот в чем жизнь, а прочее только ожидание его приезда. Всех героев Священного писания она видела в его образе. Самсон, что сразил филистимлян, был одет в его оливковый кафтан и стремительно шагал, ослепительный и опасный, в его позвякивающих шпорами ботфортах. Давида, что поверг Голиафа, она видела в красном, изящно скроенном фраке, в котором отец приезжал в последний раз, и поднятая с пращей рука откидывала аккуратно напложенные манжеты. Но—увы!—волосы, которыми Авессалом запутался в ветвях дерева, были густые каштановые кудри отца, она замирала от сладострастного ужаса, видя это, а когда Давид взывал: «О Авессалом! Сын мой!»—он стenal скрипучим голосом дяди, и те глаза, что закрывал он навеки, были огненные любимые глаза отца.

Торжественно плыл новый герцог вверх по Дунаю на яхте, подаренной ему тестем. Не шевелясь, с непроницаемым взором, примостился на носу чернокожий. Подле герцогини грузно восседал Ремхинген, и лицо его, лицо пьяницы, багровело под пудренным париком; пыхтя, жеманничая и на австрийский манер растягивая слова, ухаживал он за красавицей. Он сиял, сотни безрассудно-дерзких планов зрели в его солдатской голове. Первое, что сделал герцог,—назначил друга председателем Военного совета и главнокомандующим вюртембергской армией.

Пышный прием в Вене. Их величества весьма милостивы. Торжественная месса. Банкет во дворце. Опера. Старый князь Турн-и-Таксис выехал в Вену навстречу зятю; и оба друга-прелата не отказали себе в удовольствии принести герцогу поздравления еще до въезда в Вену. Когда яхта причалила, на берегу стоял князь-епископ Вюрцбургский со своими тайными советниками Раабом и Фихтелем, стоял и эйнзидельнский князь-аббат, они радостно и сердечно облобызали герцога, подмигивая, погладили руку Марии-Августы.

После оперы их величества и герцогиня удалились во внутренние покои, а Карл-Александр, князь Турн-и-Таксис и оба прелата остались за столом. Густое золото токайского маслянисто поблескивает в бокалах, герцог привык к нему в Белграде и пьет его большими глотками, меж тем как иезуиты едва прихлебывают. Воздух насыщен свечным чадом и винными парами.

Перед такими верными друзьями и наперсниками Карл-Александр выворачивает наизнанку душу. Нет, он никак не намерен плесневеть в своей стране каким-то заурядным князьком. Для его честолюбия недостаточно радеть о том, чтобы подданные его усердно возделывали виноградники, ткали холст, утирали своим ребятишкам носы и держали в чистоте их рубашонки. Управлять страной он предоставит своим советникам, сам же будет властвовать. Не зря он столько лет провел в походных лагерях. Он солдат, герцог-солдат. Раз он до сих пор сражался и побеждал для другой, хотя и дружественной династии, как же ему не сражаться и не побеждать для самого себя? Людовик Четырнадцатый завоевал немало земель, крохотная Венеция поглотила добрую часть Греции, Карл Двенадцатый пронес свои знамена из Швеции через половину Европы, в Потсдаме идет подготовка к завоеваниям. Он чувствует, что призван увеличить свое маленькое государство, а если богу будет угодно, то и сделать его великим. Во всяком случае, такой, как сейчас, он страну не оставит. Там можно набить себе синяки и даже убиться насмерть обо все углы, внутренние и

наружные, там просто некуда податься. Как недурной стратег и знаток военного искусства, он отдает себе отчет в том, что, по своему положению, его маленькая страна служит ядром для большой. Стоит только продвинуться вперед к границам вюртембергских владений по ту сторону Рейна, в направлении графства Мемпельгард, которое вклинилось во Францию, оттуда уж можно идти и дальше: база для полководца идеальная. А потом вся эта мелкота в самом герцогстве и по его границам, имперские города Рейтлинген, Ульм, Гейльбронн, Гмунд, Вейль,— непонятно, почему его предшественники позволили им разрастаться и процветать. Уж он позаботится о том, чтобы они не лежали камнем в герцогском желудке, а превратились бы в полезный корм.

— У вашей милости избыток отваги,— усмехнулся старик Турн-и-Таксис и тонким носом борзой потянул аромат токайского. Благожелательно выслушивал он рискованные планы зятя. Он считал их чистейшей утопией и не верил, что они хоть в какой-то мере осуществимы. Но боже мой! Герцог ведь солдат, от него нельзя требовать политической осведомленности. Очень мило и забавно, что он так по-солдатски лезет напролом; но поживет месяца два в своей резиденции, и его пыл остынет.

Оба князя церкви внимательно прислушивались к горячим речам Карла-Александра. Они очень ревностно занимались в свое время обращением его в католичество, во-первых, потому, что всегда следует помочь заблудшей душе обрести свет истины, во-вторых, потому что обращение вюртембергского принца было хорошим средством пропаганды, но больше всего из любви к искусству. Они вполне искренне не преследовали этим больших политических целей. Ну а если господь бог ниспослал такую милость и столь возвысил новообращенного, то можно, ухмыляясь, выслушивать бесчисленные похвалы своей мудрой предусмотрительности. А главное — извлечь всю возможную пользу из неожиданной удачи. Тот огонь, что раздувает герцог, всегда благодетелен. С его помощью можно заварить любую кашу.

Первым осторожно начал толстый вюрцбургский князь-епископ. Друг герцог строит обширные планы, на которые его, конечно, благословит всякий истинно католический и христианский государь. Но он забывает, что господь избрал его для управления мятежным и упорствующим в заблуждениях Вавилоном. Окаянные протестанты, подобно крысам, обгрызли богом дарованные немецким государям права, так что после всяческих ущемлений от них остались убогие обрывки.

Герцог в ответ: вюртембержцы народ не плохой, они послушны законам и государям верны. Вся беда в

окаянной парламентской шайке, в беспардонной клике жадных ослов, которая в свое время отказалась утвердить ему апанаж, в этих откормленных баранах, которые пошли на государственную измену, снюхавшись с его братом. Но он всегда был начеку и не позволил, чтоб у него из-под носа утащили престол, а теперь, придя к власти, он с ними расправится и дойдет их до кровавого пота. Не будь он государь и солдат, если не наступит ногой им на загривок.

Аббат усмехнулся на это: дело не так просто. Прежде всего друг герцог уже связал себя заверениями касательно религии и еще всякого рода реверсалиями.

— Только на бумаге, на бумаге, на бумаге,— завопил хмельной и взбешенный герцог.

А иезуит невозмутимо:

— Конечно, но все же это обязывает. И Библия ведь только бумага, и тем не менее ею держится Рим и весь мир.

В разговор вкрадчиво вмешался вюрцбуржец: мощь и мудрость самого Карла-Александра, поддержка и ловкость друзей, его войско и правота его дела в конце концов уничтожат пресловутую бумагу. Обращение страши в католичество—истинная основа и краеугольный камень всех планов,—конечно, задача нелегкая, но неосуществимой ее назвать нельзя. Стоит вспомнить мудрый пример успешного обращения в католичество Пфальц-Нейбурга. Для начала офицеры и солдаты в армии—только католики. Этому никакой ландтаг не может препятствовать. Затем мало-помалу к католикам переходят все места при дворе и, наконец, все государственные должности. Протестанты увольняются поголовно. Ох, как стремительно обратились тогда в Пфальце все души к истинной вере! Сколько их таким легким способом было избавлено от мук вечных. Сперва чиновники, обремененные семьей, которые больше всего боялись за свое положение. Ох, как быстро убедились они в благодетельности истинной веры и отреклись от протестантской ереси, ох, как спешили эти добрые, честные души впопыхах броситься в лоно католической церкви!

Собеседники посмеялись, выпили. Намечались заманчивые перспективы. Князь-епископ пообещал поручить своему архимудрому советнику Фихтелю выработать методы воздействия применительно к Вюртембергу. Все разошлись возбужденные, полные надежд.

На следующий день к герцогу явились три императорских советника побеседовать с ним по поводу войны с Францией, которую опрометчиво начал император. Карл-Александр, до сих пор выступавший перед императорскими советниками в роли назойливого просителя, наемного

генерала, разважничался вовсю оттого, что теперь заискивают в нем. Небрежно, широким жестом швырнул министрам подачку в двенадцать тысяч солдат, о которых они робко просили его. За это ему со всяческими оговорками и туманными намеками, в секретном соглашении императорским правительством была обещана защита его суверенных прав на случай посягательств Вюртембергского ландтага.

Покидая Вену, герцог на глазах двора и народа был удостоен его римским величеством поцелуя в обе щеки.

Когда Иозеф Зюсс узнал о смерти Эбергарда-Людвига, у него перехватило дыхание, вся кровь прилила к сердцу, и он застыл на месте, полуоткрыв ярко-красный рот, подняв левую руку, точно обороняясь от чего-то. У цели. Он у цели. Совершенно неожиданно достиг он вершины. Он так жаждал этого и своим заносчивым видом силился убедить себя и людей, будто давно уж находится на вершине, но в душе его всегда терзали и раздирали сомнения. И вот оно свершилось!словно по наитию из сотни тысяч билетов он вынул единственный выигрыш, и теперь стоит гордый, уверовавший в свой гений, перед умным Исааком Ландауером, который прежде покачивал головой и, потирая зябкие руки, подсмеивался над его верой в захудалого принца.

О, отныне он гордо и властно зашагает вперед. Сотни блестящих зал откроются перед ним. В один миг взлетел он наверх. И теперь, как равный среди равных, будет сидеть за парадными столами с сильными мира сего; те, что недавно с презрением от него отмахивались, будут гнуть перед ним спину, те, что заставляли его томиться в приемной, будут дожидаться у его дверей, пока он их выпустит. И женщины, белоснежные, великолепные, знатные, те, что милостиво принимали его любовь, будут подобострастно предлагать ему свое гордое тело. С лихвой вернет он теперь все полученные пинки. Он будет восседать на самой вершине, он окружит себя ореолом истинного вельможи и покажет власть имущим, что еврей может держать голову в десять раз выше, чем они.

Он продал свои дома в Гейдельберге и Маннгейме, выпустил составленную в вызывающем тоне публикацию о том, что всякий, у кого в Пфальце есть к нему какие-либо претензии, может их предъявить. Одновременно он негласно через посредников приобрел у обедневшей дворянской семьи дворец в Штутгарте, на Зеегассе, реставрировал и обставил его со сказочной роскошью, пополнил свой штат, гардероб, конюшню. Сейчас он

готовился во всем блеске торжественно выехать навстречу герцогу.

Исаак Ландауер застал его за этими хлопотами. Невзрачный, неопрятный, в неудобной, угловатой позе сидел в большом кресле могущественный финансист и потирал костлявые бескровные руки, невыразимо раздражая Зюсса своими пейсами, лапсердаком, всем своим неряшливым еврейским обличем. Зюссу пришлось с досадой и разочарованием признать, что у старика не заметно ни зависти, ни восхищения.

— Вам повезло, реб Йозеф Зюсс,—сказал он, благодушно и чуть насмешливо покачивая головой.— А могло бы повернуться и плохо, тогда вы потеряли бы все свои денежки на этом голоштаннике.

— Теперь он, во всяком случае, не голоштанник,—уязвленным тоном возразил Зюсс.

— Вот это я и говорю,—с готовностью согласился тот и добавил по-дружески наставительно:— А на что вам этот блеск и парад и вся эта возня? Послушайтесь старого дельца, это невыгодно, это только приносит вред. Чего вы пыжитесь и стараетесь быть на виду? Нехорошо еврею мозолить всем глаза. Послушайтесь старого дельца, еврею лучше всего держаться в тени.—Он засмеялся своим гортанным смешком.— Долговое обязательство в шкатулке лучше, чем золотой галун на кафтане.— И добродушно, с мягкой насмешкой он пощупал шитье на рукавах Зюсса, меж тем как тот почти с отвращением старался стряхнуть его руку.

«Вот такова эта молодежь,—думал Исаак Ландауер, уйдя от Зюсса.— Они скатываются все ниже и ниже, чуть не до уровня гоев. Они хотят шума, блеска, расшитых кафтанов. Они ищут себе признания у других. Тонкое затаенное торжество в лапсердаке, при пейсах непонятно им, этим пошлякам».

А Зюсс язвил про себя: «Вот уж трус! Вечно прятаться. На что же власть, если не выставлять ее напоказ? Глупые, недостойные, отжившие свой век предрассудки. Только бы не обратить на себя внимание христиан. Только бы укрыться в тень. А я хочу стоять на ярком свете и всем прямо смотреть в глаза».

Он отправился во Франкфурт с великой пышностью, желая показаться матери во всем блеске. Пожилая красавица—от нее он унаследовал очень белое лицо и выпуклые, крылатые глаза—жила в покое и довольстве, но пустой жизнью. Ах, как полны были раньше ее дни! На взмыленных конях носилась актриса Микаэла Зюсс по Германии, и весь ее путь был усеян мужчинами, любовными интригами, страстями, триумфами, огорчениями и бурями. Теперешнюю же свою жизнь она старалась

расцветить чисто внешними впечатлениями, раздувая каждую мелочь, чтобы сохранить иллюзию деятельной суеты, заполняла время уходом за своим телом, поддерживала разнообразную бурную переписку, вмешивалась в жизнь своих бесчисленных знакомых. Зюсс важничал и рисовался перед ней, а она наслаждалась его блеском и млела, совсем потерявшись от его шумливого и неумеренного хвастовства. А он еще пуще чванился перед этой благодарной, восторженной слушательницей.

Но цветистый фейерверк их речей прервал рабби Габриель. Зюсс только что с похотливым самодовольством рассказывал о женщинах, которые толпились в его покоях, а Микаэла жадно ловила его слова. И вот широкое, каменное, угрюмое лицо старца как глыбой придавило все эти легкие пестрые видения. Да, ему известно, что новый герцог уже покинул Вену и скоро прибудет домой. Зюсс, конечно, направляется к нему. Он говорил с такой холодной усталой насмешкой, что все достигнутое сразу стало пустым и сомнительным. Потом он мимоходом спросил, когда Зюсс приедет в Гирсау, девочка тоскует по нем. Услышав, как Зюсс виляет и отлынивает, он больше не настаивал, только три борозды резче обозначились на его лбу. Он переводил взгляд с матери на сына, с сына на мать. И скоро ушел. При нем Микаэла металась и трепетала, как глупенькая птичка. Зюсс ни разу не видел ее в присутствии рабби Габриеля.

Сам он с трудом собрал свою разлетевшуюся во все стороны спесь и великую гордыню. Вяло и не вполне уверенно взлез он снова на ходули и попробовал робко посмеяться над стариком. Но мать не поддержала его, и отбыл он далеко не столь лучезарным и самодовольным, как явился.

Спешным порядком направился он в Регенсбург. Шумно и весело встретил его герцог. Багрово-красный под белым париком, обрушился на него грубыми остротами Ремхинген; он ненавидел евреев, а этот был ему вдвойне противен своими сверхучтивыми, вкрадчивыми манерами. И старик Турн-и-Таксис был крайне сдержан; он не простил еврею, что тот своей бледно-желтой гостиной в Монбижу затмил его бледно-желтый фрак.

Зато весьма благосклонной, игривой улыбкой встретила его герцогиня. Грациозный стан и задорное личико красовались над широчайшей синей бархатной робой, в складках которой совсем затерялась малюсенькая комнатная собачонка. Мария-Августа милостиво протянула еврею пухлую, холеную ручку для поцелуя, жеманно и скромно, как требовал этикет, придерживая другой верхние складки робы. Ах, какие смутные и греховные мысли вдохнул в нее еврей своим поцелуем. И глаза у

него такие же красноречивые и выражают ту же самозабвенную покорность, что и прежде. И притом он ни на волосок не отступает от моды. Забавно всегда иметь при себе такого еврея, который сто очков даст вперед самому галантному версальскому кавалеру, а свое злобное еврейское сердце, где, без сомнения, копошится лютая и ядовитая нечисть, искусно скрывает под изящным светло-коричневым кафтаном.

Позже, когда они остались вдвоем, герцог стал расспрашивать Зюсса о настроении в стране. Спрашивал он небрежно и свысока, но Зюсс мысленно посмеялся над его наивными уловками, сразу почувствовав, что герцог далеко не спокоен и придает большое значение его ответу. Он вмиг сосредоточился, настроился на деловой лад и призвал на помощь все свое чутье. Хитроумный финансист сидел теперь настороженный, нервы у него были натянуты как струны, он пустил в ход весь механизм расчетов и подсчетов. Прежде чем говорить, быстро и точно разделил все «за» и «против», довел их до полной ясности, подсчитал, взвесил, прикинул и выведаль у герцога больше, чем тот у него.

Он понял, что именно хочется услышать герцогу: первое — что народ ждет его как избавителя от всех своих бед; далее, что он, герцог, — величайший из германских полководцев и вправе требовать от страны, чтобы она предоставила ему возможность создать внушительную военную мощь, и, наконец, что парламент — это шайка скаредных, своекорыстных, закоренелых злодеев и смутьянов. Зюсс так ловко повернул свои ответы, что они полностью подтвердили эти предпосылки.

Неожиданно герцог хлопнул его по плечу:

— А ты с твоим магом все-таки не надул меня, чертов жид.

Зюсс вздрогнул, ответил вяло, против обыкновения принужденно, как бы нехотя, что он тоже немало потратился на каббалистические вычисления; неудивительно, что они оказались вескими и оправдали себя. Герцог заметил выжидательно и тоже неискренне, с напускной беспечностью: но ведь рабби предсказал плохой конец. Если вычисления столь вески, зачем же Зюсс связывает себя с ним, отдает ему свои деньги и услуги. Зюсс ответил, немного помолчав: то, что рабби считает хорошим или дурным, относится совсем к другой сфере, и людям положительным, как его светлость и он, незачем ломать себе головы над подобными метафизическими тонкостями.

Он внезапно замолчал, у него перехватило дыхание, голова склонилась набок. Ему почудилось, будто из-за спины его выглядывает человек с его собственным лицом, толь-

ко совсем призрачный и туманный. Герцог тоже умолк. Все окружающее потеряло для него свои краски, как-то странно поблек и еврей. Ему привиделось, что он скользит в каком-то странном, фантастическом танце, перед ним, держа его за руку, скользит в хороводе тот злоежщий маг, рабби Габриель, другую руку его держит Зюсс.

Из мира видений его вырвал еврей. Перевел разговор на другое. Герцог вначале с презрением и горечью упомянул о своем брате, принце Генрихе-Фридрихе, и о его сговоре с ландтагом. За эту тему схватился теперь Зюсс, деликатно посмеялся над кротким, безвольным заговорщиком, потом заговорил о его возлюбленной, о тихом, темно-русом, глупеньком создании. Герцог слушал с интересом, насмешкой и злорадством. Черт побери! Должно быть, для девчонки скромный Генрих — постная еда, вроде пресного жаркого без приправы. Он оглушительно захохотал, в его глазах зажглись опасные лукавые огоньки. Еврей, наверно, знает девчонку, пусть же расскажет о ней. Зюсс принялся осторожно описывать ее, как знаток по косточкам разобрал дочку мелкопоместного дворянина, ее кроткую тяжеловесную белокурую красоту, жаркую негу ее юности. Герцог ловил каждое слово с жадным мстительным любопытством и был явно удовлетворен; по-видимому, у него окончательно созрел какой-то план.

— Ты знаток, еврей, — смеялся он. — Ты, плут, знаешь толк в христианском мясе.

Оставшись один, Зюсс усмехнулся глубокомысленно и победоносно и вновь продумал свою линию поведения. Все ясно. Лстить герцогу во что бы то ни стало, не боясь хватить через край. Добывать ему деньги, а с помощью денег — женщин, солдат, славу. Больше, как можно больше. Наживать на этом не чрезмерно, но развернуть дела в таком масштабе, чтобы разбогатеть, даже если к рукам прилипнет самая малая толика. К ландтагу — полное пренебрежение. Ясно и твердо стать во враждебную к нему позицию. Всячески третировать его. Главная цель — деньги для герцогской казны.

Он правильно подошел к Карлу-Александру. И мудро поступил, купив дворец в Штутгарте. Покидая Регенсбург раньше герцога, он был уже тайным советником по финансовым делам при герцоге Вюртембергском. Вместе с этим званием он, декретом герцогини, получил должность управляющего ее личными доходами.

В Штутгарте — грандиозные приготовления к приему нового государя. Три триумфальных арки с гордыми латинскими изречениями и множеством аллегорических

фигур, бесчисленные флаги, гирлянды. Вдоль улиц — толпы людей, разбурянных бодрящим декабрьским морозцем. Разносчики повсюду продают оттиски знаменитой картины, на которой герцог весьма воинственно под градом пуль, во главе семисот алебардчиков, штурмует крепость Белград. Зюсс приказал отпечатать эту картину во многих тысячах экземпляров, герцогу и народу на радость, а себе в заслугу, и вот теперь горожане и крестьяне дерутся за это дешевое, патриотически умильное стенное украшение. Весь город гудит от музыки, пушечной пальбы, кликов. Наконец показывается растянувшийся на две мили торжественный поезд: чиновники, офицеры, солдаты, пешие и конные, скороходы, пажы. Запряженная восемью парами лошадей парадная карета герцога. Так въехал он в столицу по сверкающим от снега улицам, под лучезарно-голубым декабрьским небом, и тысячи пестрых флагов развевались в живительном воздухе.

С разинутыми ртами и раскрытыми ему навстречу сердцами, любовались штутгартцы своим импозантным повелителем, который сидел в карете, распахнув шубу на широкую, увешанной звездами груди, любовались его крупной головой и властным взором, а еще больше — красавицей герцогиней, которая грациозно поднимала из белых мехов украшенную диадемой своеобразную ящеричью головку и с томным любопытством, улыбаясь, поглядывала на них. Ах, как насмеялась она над швабами, восторженно приветствовавшими ее, ах, сколько комичного нашла она в представителе Тюбингенского университета, толстом, смущенном профессоре, который потел и надрывался, с швабским акцентом декламируя превыспренние стихи, сложенные в честь княжеской четы. Но серьезно и внимательно слушала она, когда он говорил о народах, которые герцог призван объединить под своим скипетром, когда он патетически восклицал, что имя Карла-Александра объемлет все сказанное о Карле Великом и о других Карлах, все то, что греки в Александре так высоко ставят, а божьи племена в Самсоне славят, чем обладал Геркулес, и под конец сравнил его с римским Цезарем. И даже тогда не выразила она иронии, когда он провозгласил герцога славным в веках, хотя бы за то, что, подобно принцу Итаки, он прилепился душой к Ментору. Но мысленно она задала себе вопрос, кто же этот Ментор — маленький ли, осмотнительный тайный советник Фихтель, любитель черного кофе, или по-лисьи хитрый и галантный щеголь еврей?

Тот как раз скромно и подобострастно стоял где-то позади, в углу, смешавшись с челядью. Он счел благора-

злым появиться в Штутгарте тихо и без большой помпы; он поселился в своем роскошном доме и сначала почти не привлек к себе внимания. У его камердинера, спокойного, флегматичного Никласа Пфевле, нельзя было выведать ничего путного, кроме того, что хозяин его — знатный господин из придворного штата герцога. Но мало-помалу стало известно, что тайный советник по финансовым делам, хоть по виду и манерам ничем не отличается от всякого другого знатного вельможи, попросту поганый, некрещеный еврей. Собственно говоря, евреям в герцогстве жить не разрешалось. Потому и господа парламентарии весьма косо смотрели на новоявленного советника и охотно выпроводили бы его за пределы страны; им только не хотелось по такому ничтожному поводу сразу вступать в пререкания с новым герцогом. Народ с любопытством и недоверием глазел на еврея. Однако, принимая во внимание запутанное положение государственных финансов и происки евреев, управляющих гревеницким имуществом, пожалуй, не следовало оспаривать у герцога право иметь собственного придворного еврея. Кроме того, приходилось признать, что новый еврей вел себя пока что весьма прилично и скромно; вот и тут во время торжества принесения присяги законному монарху он, несмотря на свое важное звание и пышный мундир, держался незаметно, в сторонке.

Но спустя три дня, во время приема членов ландтага, он вел себя уже по-иному. Гордый, холодный, строгий, стоял он среди министров и с презрительным равнодушием взирал на толпу парламентской черни. Члены кабинета, включая еврея, в пестрых блестящих мундирах стояли маленькой кучкой, высокомерно обособленной от густой темной толпы парламентариев. Четырнадцать прелатов и семьдесят представителей городов и цехов насчитывал ландтаг. Очень немногие, и в том числе умный и хитрый Вейсензе, а также умудренный горьким опытом законовед Фейт Людвиг Нейфер, держались независимо. У остальных же лица были озабоченные, озадаченные и потные, и они, смущенно, но упрямо потупясь, сносили холодные взгляды горделивой группы министров. Среди последних находились председатель совета Форстнер и двуличный, льстивый Нейфер, которые еще при жизни старого герцога были сторонниками Карла-Александра и помешали сговору ландтага с принцем Генрихом-Фридрихом. Тут же виднелся длинный крючковатый нос Андреаса Генриха фон Шютца, в прошлом клеветы графини Гревениц, человека, способного удержаться при любом правительстве. Ничего хорошего не ждали депутаты от этой троицы, ничего хорошего не ждали они и от еврея, который одним своим присутствием на торжественном

приеме, казалось, бросал им вызов. А как заносчиво и кичливо держится этот выскочка! Видит бог, это кровная обида достопочтенному ландтагу. Ну, ничего, они еще научат его приличному обращению.

Только к одному из министров чувствовали представители сословий доверие, и то, что герцог назначил его в кабинет, примиряло их и с Нейфером и с евреем. Министр этот был Георг Бернгард Бильфингер, философ и физик. Карл-Александр узнал этого жизнерадостного толстяка с открытым мясистым энергичным лицом, когда пригласил его проверить расчеты и проекты крепостей. И как ни велико было его недоверие ко всякой философии, он не мог противостоять искушению включить в свой кабинет не юриста, а почтенного математика и строителя.

Обе группы, маленькая, составленная из министров, и большая — из парламентариев, стояли друг против друга как два враждующих зверя, один — большой, неуклюжий, темный, беспомощный, другой — маленький, переливчатый, красочный, подвижной, опасный. Но хотя, казалось, дистанция была резко подчеркнута, от одной группы к другой уже протянулись нити — от парламентария Нейфера к его брату, министру, от положительного, честного и ревностного патриота — председателя ландтага Штурма к положительному, честному и ревностному патриоту, тайному советнику Бильфингеру, и даже от впечатлительного, утонченного, любопытствующего дипломата Вейсензе к диковинному, непонятному, увертливому, щеголеватому новому финансовому советнику — еврею, иудейскому вельможе.

Собравшиеся ждали. Ждали очень долго, около часа сверх назначенного времени. Но все еще не слышно было ни торжественного марша, ни команды «на караул» стоящим в аванзале гвардейцам, и двери в личные апартаменты герцога все еще были закрыты.

Обливаясь потом в чрезмерно натопленном зале, ворча, угрюмо переступали с ноги на ногу представители народа, да и министры начали проявлять беспокойство. Никто не ожидал, что герцог с первой же минуты проявит такую небрежность к парламенту. Что это — злонамеренность? Каприз? Случай? Забывчивость?

Только один человек знал это. Еврей стоял, улыбаясь. Как посвященный смаковал своеобразное торжество, подготовленное для себя Карлом-Александром. Члены ландтага были в сговоре с его братом? Отлично, пусть же стоят и ждут его теперь до тех пор, пока у них ноги не отсохнут, а он тем временем будет предаваться любовным утехам с подругой своего брата, с кротким, темно-русым, невозмутимым созданием.

Тайный советник Андреас Генрих фон Шютц по пунктам зачитывал конституцию, которой герцогу надлежало присягнуть с добавлением тех заверений и подтверждений, которые Карл-Александр, еще в бытность свою принцем, сразу же после кончины Эбергарда-Людвига, передал господам парламентариям через Нейфера. Бумага была составлена крайне обстоятельно, осторожно, многословно. Не очень громко, ровным, хорошо поставленным голосом, слегка гнусая на французский манер, читал господин фон Шютц нескончаемый документ, в зале стояла невыносимая жара, жужжала зимняя муха, воздух был насыщен испарениями, дыханием, тихим сопением множества людей в тяжелых одеждах. Угрюмо, сердито смотрел Карл-Александр на тупые, будничные лица, которые силились казаться торжественными, угрюмо, сердито внимал он сухому высокопарному стилю этой грамоты, каждое слово которой означало стеснение его воли, дерзкое, наглое, возмутительное насилие. А гнусавая речь тянулась долго, долго. Он с трудом удерживался, чтобы не прервать ее, не зевнуть громко и досадливо. Он только что оторвался от любовных утех, он еще всеми порами ощущал нежную теплоту темно-русого создания, он слышал еще безудержный, тихий, неумный плач, увлажнивший ему лицо, руки, грудь, он весь был полон сытого, грубого злорадства. Члены ландтага были глубоко уязвлены, слушая, как он глухим, хриплым голосом — следствие только что испытанного наслаждения — с отдышкой, непереносимо равнодушно и явно думая о другом, повторял формулу присяги. «Я подтверждаю и свидетельствую моим верным княжеским словом, по зрелом и благом размышлении и от самого чистого сердца». И звучало это так, словно говорит он своему камердинеру, что вода для бритья остыла.

Депутаты удалились подавленные и полные тревоги. Обругай он их, как покойный государь, как Эбергард-Людвиг, накинься на них, как тот, с непотребной бранью, они на все скорей нашли бы ответ, чем на этот бесцеремонный, презрительный, неслыханно небрежный тон. Сколько времени продержал он их в ожидании, словно докучливых попрошаек! С каким равнодушием, презрительно рыгая, произносил он слова присяги. О пленительная свобода! Какую жестокую борьбу придется выдержать за тебя! О благословенная власть стоящих у кормила почтенных родов, не мало обид и огорчений придется претерпеть, отстаивая тебя!

После ухода депутатов Карл-Александр потянулся, опустил в кресло в отличном расположении духа. Здорово он их приструнил. Как они улепетывали, поджав хвост! Он засопел, весьма довольный собой. Хорошее

начало, хороший день. Сперва насолил этому тихоне, этому двуличному смутьяну Генриху-Фридриху, а затем спровадил и дерзкую, жадную потную чернь, и она ретировалась, ошарашенная, давясь проглоченной обидой.

Он не задерживал и министров, а отпустив их, улыбнулся Зюссу:

— Мне еще нужно пойти утереть слезы белокурой красотке. Знаешь толк, лицемер, знаешь толк больше, чем я предполагал.— Громко расхохотавшись, он хлопнул по плечу польщенного Зюсса.

— Я хочу править сам,— заявил он одной из штутгартских депутатий.— Я хочу сам выслушивать свой народ и помогать ему во всем.

На него обрушился целый поток прошений, и он самолично принимал их.

— Я и тебе и себе хочу помочь,— сказал он одному просителю. Он велел объявить по всей стране, что не остановится ни перед какими трудами и тяготами, дабы споспешествовать истинному преуспеянию и процветанию герцогства, он позаботится, чтобы дела вершились повсюду без подвохов, интриг и затяжек на основе издревле прославленной вюртембергской честности и справедливости. Всякому имеющему обиду на кого-либо из чиновников или иную претензию такого же рода надлежит обстоятельно изложить свою жалобу на бумаге и вручить ее герцогу в собственные руки.

Три воскресенья кряду эта воля нового государя провозглашалась со всех амвонов; в напечатанном виде она была прибита в каждой общине к дверям ратуши. Народ ликовал: вот это государь! Он не доверяет дела правления своим чиновникам, он правит сам. Как снег в мае, таяло число приверженцев графини Гревениц. Кто сам спешил убраться, кого изгоняли или сажали в крепость. «Уж он сдерет шкуру с этих живодеров!» — ухмылялись крестьяне. Расцветала на бедах клики Гревениц унылая вдовствующая герцогиня. Картина же, на которой Карл-Александр со своими алебардщиками штурмует Белградскую крепость, была нарасхват, а когда вышел рескрипт, воспрещающий коленопреклонение просителей перед герцогом, ибо одному богу подобает оказывать такие почести, Зюссу пришлось заказать новую огромную партию оттисков, и в герцогстве не осталось ни одного крестьянского или бюргерского дома, где бы на самом почетном месте не красовалась эта картина. А господа парламентарии только косо смотрели на происходящее.

Герцог всячески старался ускорить вынесение пригово-

ра бывшему гофмаршалу Гревеницу и его сестре, но без особого успеха. Правда, некогда всемогущий сановник сидел в крепости Гогентвиль; но чтобы не навлечь на себя обвинение в насилии и пристрастии, герцогу надо было действовать осмотрительно и не спеша. Сама же графиня находилась за пределами страны, протестантские княжеские дворы служили ей опорой против герцога-католика, а умелая рука Исаака Ландауера всякий раз потихоньку распускала сети, в которые вюртембергские советники не очень ловко пытались поймать графиню. Правда, дело графини слушалось в особом присутствии уголовного суда, и лучший юрист герцогства, известный на всю Германию своей неподкупной честностью, тюрингенский профессор Мориц Давид Гарпрехт предъявил ей тяжкие обвинения в двоемужестве, в двойном, повторном и многолетнем прелюбодеянии, в троекратном покушении на жизнь супруги Эбергарда-Людвига, в оскорблении величества, в вытравлении плода, в подлогах, мошенничестве, обмане, а суд вынес ей смертный приговор. Специальный дипломатический представитель барон Цех был послан из Вюртемберга в Вену, чтобы провести там утверждение и осуществление этого приговора, он истратил сто сорок три тысячи гульденов на подкуп императорских советников. Но то ли Исаак Ландауер истратил еще больше, то ли он действовал более умело, процесс затянулся надолго и в результате привел к сложному, запутанному денежному и деловому полюбовному соглашению.

Герцогу эта история, как и вообще вся канцелярщина управления страной, скоро показалась скучной и противной. Он издал много прекрасных манифестов, завоевал любовь своего народа, а советники его — шумливый генерал Ремхинген, увертливый дипломат Шютц, хитрый финансист Зюсс — уверяли его изо дня в день, что все беды теперь миновали и для Вюртемберга наконец наступил золотой век. Где в Германии найдется второй, столь преданный своему долгу, государь? Преисполненный гордости перед богом, людьми и самим собой, кичась сознанием, что имя верного пастыря и улады рода человеческого, которым наградил его в приветствии Тюбингенский университет, вполне им заслужено, он предоставил своим советникам осуществлять все обещания, а сам, в предвкушении солдатского житья и в чаянии приумножить свою славу, выехал к армии.

Зюсс пригласил тайного советника Бильфингера и профессора Гарпрехта на совещание в связи с процессом против брата и сестры Гревениц. Все трое сидели в перегруженном роскошью рабочем кабинете Зюсса, ев-

рей — стройный, элегантный, вюртембергцы — грузные, ширококостые. Процесс принял неблагоприятный оборот. В Вене ясно дали понять, что бывшего гофмаршала следует выпустить на волю и заключить с ним полюбовную сделку: он предлагал уступить по низкой цене свои вюртембергские владения. Смертную казнь графине в Вене тоже не склонны были утвердить и предлагали ограничиться денежной компенсацией. Такое компромиссное решение оба вюртембергца находили неудовлетворительным и наносящим урон достоинству государя. Зюсс, наоборот, полагал, что наиболее осязательным следует считать тот успех, который выражается в крупных цифрах, а для такой деловой особы, как графиня, нет кары чувствительней, чем крупный денежный штраф. Пусть только поручат урегулирование финансового вопроса ему, он, безусловно, сумеет угодить герцогу. Положительные и справедливые вюртембергцы сочли эту точку зрения легкомысленной и чисто еврейской. К тому же они знали, что Зюсс вел какие-то дела с графиней, и не доверяли ему. Но ведь вюртембергский посланец вернулся из Вены ни с чем, следовательно, оставалось только согласиться на компенсацию, которую еврей проведет, конечно, лучше всякого другого, а герцог безусловно верит в его удачливость и ловкость рук. Им пришлось с досадой согласиться на то, чтобы все дальнейшие переговоры вел Зюсс.

Покончив с этим, Зюсс обратился к законоведу за некоторыми разъяснениями касательно спорных правомочий ландтага. Это был вопрос, который взволновал обоих вюртембергцев до глубины души. Законовед Гарпрехт, человек медлительный, степенный, осторожный, привыкший обстоятельно, всесторонне рассматривать каждую проблему, и Бильфингер, близкий друг знаменитого философа Вольфа, прославившийся на всю Европу своей ученой деятельностью в Петербурге, склонный подходить к каждой проблеме с высокопринципиальной точки зрения, оба истинные патриоты, оба спокойные, серьезные люди, не могли не сознавать, что конституция стала наследственным вотчинным владением отдельных, наиболее влиятельных бюргерских семей, в среде которых места народных представителей наравне с домами, мебелью, векселями передавались в наследство или служили предметом торга; они знали, что знаменем свободы злоупотребляют единицы, отрывая от него лоскутья для своих личных выгод. Но тем не менее они были глубоко и вполне искренне убеждены, что конституция и свобода, коими пользуются сословия, суть подлинные столпы государства, и толковали все спорные вопросы взаимоотношений между монархами и народом, исходя из принципов свободолюбия и высокой ответственности, в духе

которых была составлена конституция, завещанная первым вюртембергским герцогом, воистину великим государем малой страны. И первый его принцип был — обеспечение народных вольностей, а его пароль: «Attemp-to!» — «Дерзаю!». И пусть конституция порой препятствует государю в осуществлении даже полезных начинаний, это, на его взгляд, было зло ничтожное, если сравнить, какое великое благо творит конституция, своими ограничительными законами избавляя монарха от многих тяжких промахов.

Речь шла о стоявших в явном противоречии к духу конституции проектах и предложениях Зюсса касательно пошлин и монополий; но текст конституции был настолько туманен, что находчивый и недобросовестный толкователь мог без труда найти в нем лазейки. Гарпрехт, а за ним и Бильфингер с горячностью возражали, а Зюсс слушал учтиво и внимательно. Но вдруг ученый заглянул в глаза финансиста, в эти большие, выпуклые, алчные, умные, настороженные, бессовестные, хищные глаза. Не в первый раз видел он их, но лишь сейчас прочел то, что было в них написано. Что в его глазах значили свобода, конституция, совесть, народ? Средство для всякого рода маклаков взобраться туда, где находится он, страсти плоды с того дерева, на котором сидит он, с его дерева — с герцога. Ученому стало ясно, что для этого человека конституция и ее представители — всего лишь конкуренты, и ненавидит он их неумолимой ненавистью конкурента. Под его умным, алчным, хищным, захватническим взглядом, не облагороженным светом идей, все высокие понятия превращались в ребяческие бредни, оказывались замаранными, осмеянными. Ученый почувствовал, что говорить с этим торгашом о духе закона, о его прекрасном и благородном значении попросту глупо, все равно что обращаться к раскрашенной картонной маске. Еврей наверняка выбирает из его слов лишь годное на потребу своим нечистоплотным, своекорыстным проектам. Гарпрехт неожиданно замолчал, менее экспансивный Бильфингер хоть и не сразу, но все же понял, что смутило его друга. Скоро оба вюртембержца откланялись холодно и хмуро, а неизменно учтивый Зюсс почтительно проводил их.

У дверей им повстречался Исаак Ландауер в лапсердаке и с пейсами. Зюсс пригласил его, чтобы урегулировать финансовые дела графини. Они поняли друг друга с полупамека. Нужно было составить договор в таких выражениях, чтобы по виду он был выгоден для герцога, а на деле — для графини. Ожесточенно торгуясь, они наступали друг на друга. Каждый защищал еще и собственные интересы, ибо у каждого были претензии как к

герцогу, так и к графине. В конце концов Зюсс якобы выторговал в пользу герцога триста двадцать три тысячи гульденов, но на деле получалось так, что герцог должен уплатить графине сто пятьдесят восемь тысяч гульденов. При передаче этой суммы Зюсс, правда, удержал с графини, за какие-то ссуды и займы, тридцать тысяч гульденов, а герцогу поставил в счет за услуги в этом деле еще пять тысяч гульденов.

Итак, любовная история графини, повергшая на многие годы в смятение и тревогу все герцогство, закончилась значительной прибылью в пользу тайного советника по финансовым делам Иозефа Зюсса Оппенгеймера. Графиня прочно обосновалась в Берлине и вела блестящую, шумную жизнь. Унылая вдовствующая герцогиня прихварывала еще смолоду, состояние ее здоровья все ухудшалось, и врачи не могли постичь, откуда у нее берутся силы. Она же с неприкрытой, унылой, застарелой ненавистью взирала на Берлин, на свою соперницу, на эту тварь, и умерла лишь через три недели после графини.

Карл-Александр объезжал крепости, фортификационные работы, военные лагеря, скакал верхом, колесил в экипаже, издавал приказы — словом, был весьма деятелен. Радостно отпраздновал он сердечную встречу со старым главнокомандующим, принцем Евгением, человеком очень умным, но несколько жестким и суховатым. Осторожный принц отступил перед превосходными силами французов и расположился в укрепленном лагере под Гейдельбергом. Французы опять очутились на вюртембергской земле, назначали контрибуции, реквизиции. Однако подкрепления, полученные имперской армией, главным образом стараниями Карла-Александра, принудили французов отступить за Рейн. Ретиво и неутомимо занялся теперь герцог обеспечением безопасности границ. Строились крепости, рылись окопы, герцог постоянно совещался с Бильфингером. С полной ответственностью и знанием дела приступили они к осуществлению весьма дальновидного и поистине гениального в стратегическом отношении плана. Решено было на расстоянии между Роттвейлем и Роттенбургом в нескольких местах эскарпировать горы, дабы сделать тут границу совершенно неприступной, кое-где вырыв небольшие шанцы, затем провести линию укреплений от Шильтаха до Оберндорфа, вплоть до самого Неккара и загородить Гейбергский перевал. Чтобы нести гарнизонную службу в этих укрепленных пунктах, вполне достаточно пяти батальонов и от десяти до двенадцати эскадронов. И при помощи таких относительно малых средств можно создать швабские Фермопилы, о

которые каждый галльский Ксеркс неминуемо разобьет себе голову.

Сначала ландтаг не противился планам Карла-Александра. В правление Эбергарда-Людвига герцогство так сильно страдало от французских вторжений, контрибуций, грабежей, хищничества, убийств и насилий, что оно, естественно, от всей души было признательно своему нынешнему государю за сильную, умелую военную защиту. Но как только французы были отброшены за Рейн и непосредственная опасность миновала, представители сословий стали менее сговорчивы. Они донимали герцога постоянными мелочными и назойливыми жалобами. То и дело к нему являлись депутации с протестом против его мероприятий, связанных с набором и военными приготовлениями; его злили их упитанные, осовелые, мещанские лица, их упрямая чванливая тупость. Рогатки на каждом шагу. Пополнение армии производилось до крайности медленно, лошади, снаряжение, провиант доставлялись с явной неохотой и всегда в меньшем, чем требовалось, количестве. Военные налоги поступали туго, сборы производились неохотно, кассы пустовали. Герцог, подозрительный по натуре, усомнился в своих советниках, предположив, что втайне они заодно с ландтагом. Он вытребовал в лагерь своего еврея.

Зюсс напряженно следил за каждым, самым незначительным событием в вюртембергской политике, взвешивал, оценивал и давно с вожделением ждал этой минуты. Он точно, ясно и трезво наметил себе конечную цель, как всегда досконально рассчитал каждый свой шаг, малейшую пядь пути, так что поле его действий лежало перед ним, словно начерченная с математической точностью географическая карта.

Во всеоружии и во всем своем великолепии направился он в лагерь. Карл-Александр тотчас же принял его. Была ночь. Горели свечи, в углу примостился чернокожий. Герцог сидел с Бильфингером над чертежами. Громогласно и гневно излил он накипевшую в нем досаду, перед этими двумя слушателями он не считал нужным сдерживаться. Его недоверие к министрам, в особенности к Нейферу и Форстнеру, еще возросло. Именно они в свое время, когда он был еще принцем, убедили его подписать пресловутые реверсалии и торжественные обещания ландтагу, чтобы тем самым в момент междуцарствия пресечь всякие происки в пользу принца Генриха-Фридриха. Теперь он внушил себе, что эти обязательства подписывать вообще не следовало, а вдобавок оба советника обманули его. Они стакнулись с коварным и мятежным ландтагом, в чистовом экземпляре кем-то пропущен или изъят один лист; текст чистового экземпляра не совпадает с чернови-

ком, который ему показывали раньше. С испугом и негодованием слушал Бильфингер эти безосновательные и бессмысленные обвинения, которые отрывисто, чуть не рыча от ярости, выкрикивал герцог. Бильфингер взял себя в руки и постарался успокоить герцога, логически доказывая ему, что подписал он лишь то, чего так или иначе от него требует конституция и в чем, после Тюбингенского соглашения, присягали все его предшественники. Из этого следует, что, заблаговременно подписав соответствующий документ, он сделал всего лишь красивый жест; однако, принимая во внимание настроение умов, это было не только целесообразно, но и попросту необходимо. Настойчивые увещания Бильфингера принудили Карла-Александра замолчать, но не убедили его. Зюсс ограничился тем, что внимательно слушал; в мерцании свечей его многозначительно улыбающееся лицо своей белизной и спокойствием резко контрастировало с красными, возбужденными лицами государя и строителя крепостей. Карл-Александр неожиданно обратился к нему:

— А ты что думаешь, еврей?

Зюсс, пожав плечами, выразил недоумение, как это ясные и мудрые приказы герцога могут выполняться так плохо и неточно. Весьма вероятно, что тайные советники втихомолку шушукуются с непокорными парламентариями; изменники они или нет, сказать трудно, но во всяком случае, судя по неудовлетворительным результатам, они бездарные, нерадивые крючкотворы. Что же предлагает он, спросил герцог. На основании своего опыта военных поставок в Австрии Зюсс порекомендовал налагать крупные денежные пени за всякое проявление злостной пассивности. Денежными штрафами можно многого добиться. Горожанин, как и крестьянин, больше всего дорожит своей собственностью, он скорее пожертвует жизнью, чем деньгами. Герцог сказал, что обдумает этот план, а Зюсс пускай тем временем разработает соответствующие предложения. Еврей заявил, что это уже сделано, и положил на стол пачку документов и подсчетов. Бильфингер снова начал приводить пространные доводы против подозрений герцога, советуя ограничиться более мягкими и осторожными мерами. Карл-Александр прервал его злобным взглядом и заговорил о лежавших перед ним чертежах.

Уже на следующий день он отдал Ремхингену приказ строжайше проводить в жизнь проект Зюсса. Итак, они стали работать совместно: генерал воплощал силу, еврей — мозг. Ремхинген издевался над евреем, преследуя его грубыми, циничными, пошлыми шутками. Зюсс ненавидел и презирал генерала, но сдерживался и на грязные солдатские шутки отвечал неизменной равнодушно-

учливой улыбкой. Зато его поразительная деловитость и сметливость, неиссякаемый запас фортелей и уловок вызывали у генерала невольное ворчливое и насмешливое восхищение. Общим у этих двух людей было только честолюбивое желание во что бы то ни стало угодить герцогу, добыть для него как можно больше солдат и денег, общим было и глубокое органическое убеждение, что народ принадлежит монарху наравне с его конями и псами, и потому малейший намек на непокорность монаршей воле представлялся им преступной дерзостью.

Как по волшебству явилось теперь все, чего раньше нельзя было добыть ни уговорами, ни силой. Если прежде барабану вербовщика, несмотря на самый раскатистый грохот, с трудом удавалось собрать весьма неказистую компанию тысячи в две добровольцев, главным образом отпетых проходимцев, то теперь казармы еле вмещали рекрутов. В ремонтных конюшнях топотали кони, цейхгаузы были переполнены амуницией, кассы ломились от денег и векселей, в амбарах и на складах не хватало места для поступающего зерна и наваленного горами провианта. Свежий, стремительный, бурливый поток сменил унылое мелководье. Повсюду обильный подвоз, запасы. Торжествующий Карл-Александр расцветал и открыто прославлял талант и ловкость своего тайного советника по финансам.

Но над страной навис свинцовый, удушливый гнет. Правда, и раньше случались принудительные наборы, но только для бездомных бродяг, для молодых здоровых лентяев, которые ложились бременем на общину. Теперь же рекрутская повинность распространилась на всю холостую молодежь страны. Кто хотел откупиться, тот уплачивал огромную сумму. Семейные были освобождены от набора, а тот, кто, не достигнув двадцати пяти лет, желал вступить в брак, с того взимался налог в размере пятой части его имущества. Все лошади подлежали осмотру, годные — реквизировались, правительство расплачивалось долгосрочными обязательствами. Торговля и ремесла были обложены тяжелыми военными податями, пошлины взыскивались строго.

Ох, как быстро исчезли венки и ленты с портретов герцога! Лучшая молодежь с проклятиями напяливала солдатский мундир. Матери, жены, невесты обливались слезами и шли по рукам в отсутствие мужей. Из-за того что молодым людям запрещали жениться, росло количество внебрачных детей, участились случаи отравления плода, детоубийства. Поля обрабатывались кое-как, не хватало людей, лучшие лошади были угнаны силой. Угрожала дороговизна, исчезли съестные припасы и другие товары. Все громче звучали гневные, возмущенные

голоса. Издавались грозные приказы, под страхом телесного наказания и смертной казни воспрещавшие всякие неодобрительные отзывы о герцогских распоряжениях и подстрекательство к мятежу. Для примера какие-то брюзги и ворчуны были арестованы и преданы суду. Громкое возмущение стихло, но гневный ропот по-прежнему слышался там, где не приходилось бояться наушников. Женщины в тупой тоске смотрели на запад, куда со скрежетом зубовным ушли сыновья и возлюбленные, которых схватили и втиснули в окаянные нелепые мундиры. Крестьяне ворчали, глядя на плохо обработанные пашни.

— Где они, наши славные, гладкие, откормленные кони! Запрягут их в эти дурацкие пушки, и обратятся они в тощих одров!

Зюсса такое настроение ничуть не трогало. Когда он вводил в Курпфальце гербовую бумагу, он успел привыкнуть к скопищам перед своим домом, к бранным выкрикам и пасквилям; все это отскакивало от него, как горох от стены. Кто посмел бы затронуть его? Он стоял у кормила власти, он был первым советником государя, никто не умел так угодить ему, как он. Никто не был способен, как он, раболепно, со смиренным видом сносить гневные вспышки необузданного сумасброда, привыкшего к военной субординации, и спустя час после того, как его выгнали, вернуться будто ни в чем не бывало. Герцогским чиновникам было предписано во всех денежных вопросах безоговорочно подчиняться его, гоффактора, советам, ни одно распоряжение в области финансов не издавалось без его ведома и воли. А что так или иначе не связано с деньгами? Кто управляет финансами — управляет страной.

Раздув ноздри, Зюсс сладострастно вдыхал атмосферу власти, в которой теперь жил. Со времени своих успешных мероприятий, направленных на пополнение войска, он по существу был властелином в Вюртемберге. Он взобрался высоко, он добрался почти до вершины, дрожь охватывала его, стоило ему взглянуть вниз, где копошились всякие козявки, силясь вскарабкаться вверх. Нередко, когда его приемная была полна робевших просителей, он шагал один по своему рабочему кабинету, полураскрыв в улыбке пунцовые губы, ярким пятном выделявшиеся на белом лице, прислушивался к приглушенному шепоту, вздыхал полной грудью, усмехался и отсылал всех ожидающих аудиенции, не приняв никого. Ах, какая отрада, отрада и гордость сознавать свою власть над людьми!

С щекочущим сладострастным чувством ощущал он скрытую бессильную ненависть тех, что раболепно льстили ему в лицо, а за спиной оплевывали его. Ему передали остроту, ходившую в народе; ее автором был приземи-

стый свиноголазый толстяк, булочник Бенц, который любил поговорить с приятелями на политические темы в трактире под вывеской «Синий козел»: «При прежнем герцоге страной правила шлюха, а при нынешнем жид». Зюсс призвал к себе булочника, толстяк трусливо отводил глаза, потел, отпирался. Тогда Зюсс собрал всех своих слуг и перед этой хихикающей, подталкивающей друга друга челядью, которая отлично знала, что словцо пустил Бенц, заставил апоплексического толстяка поклясться совестью, честью и Христом-спасителем, что он ни о чем ведасть не ведает и никогда не позволил себе ни одного непочтительного слова о его превосходительстве, после чего его отпустили, и он удалился, поцеловав руку ухмыляющемуся Зюссу, пыхтя и пятась назад. Зюсс же не преминул кротко пожаловаться герцогу, что своей верной службой его светлости навлекает на себя недовольство народа.

Дом свой он обставил по-княжески. Для внутренней отделки он пригласил сицилийского архитектора маэстро Убальдо Райнери, который прославился и вошел в моду благодаря заказам французской знати. Покои Зюсса изобиловали драгоценными коврами, гобеленами, вычурной резной мебелью, лепкой, лапис-лазурью и позолотой, вазами и бюстами. Архитектор, не то по простоте сердечной, не то насмешки ради, поставил наряду с Гомером, Солоном и Аристотелем бюсты Моисея и Соломона. На плафоне столовой в многофигурной фреске было изображено торжество Меркурия. А на потолке спальни Леда в томной неге предавалась любовным утехам с лебедем; по поводу огромной роскошной кровати, откровенно и нагло возвышавшейся посреди зеркал, обыватели, громко и грубо смеясь, болтали в трактирах, а девушки, слушая, прыскали, как от щекотки. Он гордился тем, что первый ввел в западной Германии процветавшую в Париже моду на экзотику. Китайские статуэтки, маленькие звенящие пагоды плохо уживались с Моисеем и Солоном, с Гомером, Соломоном и Аристотелем. Но особенно удивлял и занимал дам сидевший в золоченой клетке попугай Акиба, который хрипло выкрикивал: «*Bonjour, madame*», или: «Как ваша светлость изволили почивать?», или: «*Ma vie pour mon souverain!*»¹ Стол у Зюсса был такой изысканный, как ни у кого другого в стране, ел он только на золоте и серебре, и люди диву давались, откуда он добывает что ни месяц то новые, невиданные в Швабии сорта мяса, устрицы, креветки, заморские плоды и фрукты, а булочник Бенц злобно косился на сладкие слоеные пироги и торты, на изящные произведения искусства из

¹ Жизнь за моего повелителя! (фр.).

мороженого и фруктов, которые с неиссякаемой изобретательностью изготовлял француз — кондитер еврея.

Темно-малиновая с серебряными пуговицами ливрея Зюсса скоро стала известна повсюду. Он держал секретаря, библиотекаря, скороходов, гайдуков, повара и виночерпия. По дому расхаживал, надзирая за штатом, полный, бледнолицый, флегматичный и безучастный на вид Никлас Пфевле, все замечал, налаживал, приводил в порядок. У камердинера Зюсса работы было немало, журнал «*Mercurie galant*» он должен был знать наизусть. Тайный советник по финансовым делам хотел во что бы то ни стало слыть самым элегантным кавалером в герцогстве, его гардероб пополнялся каждые две-три недели. Он питал настоящую страсть к драгоценностям. Солитер, который он носил на пальце, был знаменит, пряжки на башмаках и перчатки были, по последнему слову моды, осыпаны драгоценными камнями. У него в будуаре, а также в парадной спальне стояли витрины с драгоценностями, которые постоянно пополнялись новыми искусными изделиями благодаря его связям с амстердамскими и некоторыми итальянскими ювелирами. Этими драгоценностями из витрин он имел обыкновение одаривать своих посетительниц, равно как дам из высшей аристократии, так и девушек из простонародья. Над ним издевались, его поносили, открыто высмеивали за то, что он вынужден прибегать к таким средствам; он же только улыбался, он знал, что против его метода устоять нельзя, что одаренная им женщина привязывается к нему узами корысти. Зато мужчинам он охотно перепродавал свои драгоценности, ожесточенно и упорно торгуясь. Он особенно любил этот вид коммерции. Как приятно пропускать сквозь пальцы целый водопад маленьких сокровищ, обменивать маленький камешек на груду золота, а груду золота — на новый маленький камешек и сознавать при этом, сколько могущества таится в маленьком камешке.

Его конюшня была невелика, но составлена из самых породистых коней. Он вел обширную торговлю лошадьми вплоть до самой Голландии, покупал, перепродавал знатым господам, выменивал. Добыл трех арабских коней для герцогини. А для личного пользования у него была арабская белая кобыла Ассиада, что значит — Восточная. Ему продал ее левантинец Даниель Фоа, она была из конюшен калифа. Он, собственно, не питал любви к своей кобыле, однако холил ее; он знал, какой у него царственный вид верхом на этой небольшой, нервной, грациозной лошадке. Даже крикун Ремхинген вынужден был признать, что верхом он может сойти за человека «из общества».

Получить доступ к Зюссу было труднее, чем к

герцогу. Сколько требовалось рекомендательных писем, беготни и хлопот, чтобы добиться аудиенции, и при этом он иногда в последнюю минуту отказывался принять ожидающего. Он был герцогским банкиром и носил звание тайного советника по финансам. И только; ни под одним политическим актом не стояло его подписи. Согласно конституции еврею возбранялось занимать какую-либо государственную должность, и Зюсс был настолько умен, что довольствовался пока властью как таковой, без официального чина. Он знал, что не министры и даже не герцог, почти постоянно находящийся при войске, а он, он один правит герцогством. К нему являлись на поклон именитые иностранцы. Когда он собирал у себя тесный круг гостей — от пышных празднеств он пока благоразумно воздерживался, — люди куда больше жаждали получить приглашение к нему, чем на раут к любому министру. Вскоре образовалась целая партия его сторонников, которая постоянно сопровождала его на верховых прогулках, повсюду превозносила его гениальные способности и заслуги перед герцогом и народом — словом, окружала его, точно придворный штат. Тюбингенский юрист Йоганн Теодор фон Шеффер, прекрасный знаток государственного права, одним из первых открыто стал на его сторону, советники Бюлер и Мец из герцогской канцелярии последовали за ним, равно как и попечитель сиротского приюта Гальвакс, статс-секретарь по приему прошений Кнаб, советники Кранц, Тиль, фон Грунвейлер. Начальник удельного ведомства фон Лампрехтс послал даже двух своих сыновей на службу к советнику по финансовым делам, чтобы они, состоя при нем пажами, обучились манерам и светскому обращению. Этот придворный штат окрестили еврейской гвардией. Такую кличку придумал управляющий казенным имуществом Георги, — Зюсс ему этого не простил, — и град дешевых острот посыпался на еврейских прихвостней. Но очень скоро обнаружилось, что еврейские прихвостни верно учуяли, откуда ветер дует, ибо с каждым днем все яснее становилось, что дом на Зеегассе — подлинная резиденция герцогства. Огромный крючковатый нос тайного советника Шютца тоже замелькал теперь в гостиных Зюсса, а мрачный, озлобленный законовед Нейфер искал в окружающей Зюсса атмосфере новых сокрушительных доказательств человеческой подлости, и со светски непринужденным видом принимался к этой атмосфере вылощенный Вейсензе — любопытствующий мудрец.

Женщины, проходившие мимо дворца на Зеегассе, со щекочущим любопытством заглядывали сквозь широкие створки портала в вестибюль, где внушительно возвышался швейцар в темно-малиновой ливрее с серебряными

пуговицами. Когда Зюсс верхом на белой арабской кобыле во всей своей красе проезжал по улицам, многие женские взгляды с похотливым трепетом стремились ему вслед. Из уст в уста шепотом передавались нелепые, жуткие, любострастные рассказы о евреях, о том, как неистово он насилует женскую плоть, нечистыми средствами въедается женщинам в кровь и предает их дьяволу. Герцог больше доверял вкусу своего еврея, чем прочих приближенных, и Зюсс обязан был под разными предлогами посылать в лагерь к ненасытному сластолюбцу все новых и новых женщин. Когда Ремхинген принимался злословить по поводу оргий «обрезанного», завистливо негодуя, как может приличная христианка лезть в постель к еврею, не иначе как тот пускает в ход черную магию, тогда герцог в ответ раскатисто смеялся, уверяя, что благообразное лицо и крепкие бедра действительно всякой магии. Тому же Зюссу он доверил подбирать женщин для оперы и балета и часто шутил, что еврей — гурман и многими блюдами лакомится до него. И правда, через зеркальную спальню, под фреской с пышнотелой Ледой, прошла длинная вереница женщин, юных и зрелых, белокурых и черноволосых, немок и француженок, холодных и пылких. Но еврей, во всем прочем склонный к самохвалству, здесь упорно молчал и не заикался ни об одной из своих побед, ни о трудных, которыми гордился, ни о бесчисленных — очень легких. Среди толпы шумных, хвастливых кавалеров он один хранил молчание, и ни циничная настойчивость Карла-Александра, ни учтивовкрадчивое любопытство Вейсензе, ни грубые насмешливые приставания Ремхингена не могли сломить его любезную уклончивость. Но если все-таки при дворе, в кабаках, в казармах осмеивали, оплеывали, обсуждали, обмусоливали многие пикантные, необычайные, безусловно не выдуманные подробности альковной жизни Зюсса, то вина падала на тех женщин, которые, гордясь близостью к этому опасному мужчине, непохожему на других, окутанному ореолом женского любопытства, всхлипывая и хихикая, открывали приятельнице свою сокровенную тайну и при этом заклинали ее молчать.

Когда еврей закончил меблировку своего дворца, к нему, уступая его настойчивым и почтительнейшим просьбам, пожаловала сама герцогиня в сопровождении Ремхингена. Она кокетливо проносила по сверкающим покоем свою грациозную головку, будто изваянную из старого благородного мрамора, шурилась продолговатыми с поволокой, ящеричьими глазами на китайские безделушки, улыбаясь, послушала, как попугай Акиба прохрипел: «*Ma vie pour mon souverain!*», тонкими холеными пальчиками потрогала колокольчики миниатюрных пагод, приняла в

подарок от Зюсса не слишком ценное, но очень оригинальное по форме кольцо с ядом, плавно ступая крохотными ножками, проследовала мимо низко склонившихся темно-малиновых лакеев к конюшням и собственноручно дала кусочек сахара кровной белой кобыле Ассиаде. С удовлетворением принимала она раболепную покорность Зюсса. У других были маленькие негритята или взрослый чернокожий слуга, да хотя бы даже китаец, но еврея с собственным дворцом и попугаем и чистокровной белой кобылой — этого, *santa madre di Loretto*¹, не водилось и в Версале.

Уже садясь в карету, пока толпа глазела на нее, обнажив головы, она сказала обычным своим медлительным, дразнящим голосом низко склонившемуся над ее рукой советнику по финансовым делам:

— Все красиво, еврей, все прекрасно. Но комнаты, где убивают христианских младенцев, ты мне так и не показал.—И, засмеявшись своим легким, серебристым, игривым смехом, она уехала.

А Зюсс все стоял с обнаженной головой у своего дома, и народ глазел на него и шушукался, он же ничего не замечал и смотрел вслед ее карете выпуклыми, крылатыми, выразительными глазами, и пунцовые губы на его белом лице были полуоткрыты.

Когда подошла весна, рабби Габриель, как всегда совершенно неожиданно, покинул белый домик, окруженный цветочными клумбами. Он путешествовал незаметно, без слуги, его широкое, массивное лицо показывалось то здесь, то там; он никогда не спешил, и нигде у него не было особых дел; но нигде он и не отдыхал, он ехал безостановочно, и хотя дорога его шла зигзагами, она вела его все вперед, словно по какому-то предначертанному пути.

Вот он скрылся в горах. Провел два дня в крестьянском доме у мостика, перекинутого через горный ручеек, смотрел, как стволы деревьев уносились бурлящим потоком, сталкивались, перекрещивались, задерживались и плыли дальше по набухшему ручью. Ночи напролет прислушивался к непрерывному позвякиванию колокольчиков — это стадо уходило на горные пастбища. Поднялся вверх по трудному перевалу, ведущему к югу. Дул южный ветер, недавно прошел дождь, воздух навис влажной тяжестью, горы отливали темной голубизной. Путник пешком стал взбираться выше, а экипаж, скрипя, потащился за ним следом. По мокрой, искрящейся на солнце тропинке крупная улитка волокла свой домик; рабби Габриель торопливо и бережно отстранился. Спустил чет-

¹ Божья мать Лоретская (ит.).

верть часа ее раздавила его же коляска. Увязая в снегу, он перевалил через кручу. Навстречу ему пахло вольным весенним теплом. Вся в цвету широко раскинулась благодатная страна. Он достиг огромного озера. Остановился. Долгие часы сидел на берегу, неподвижный, грузный, как залитый солнцем камень. Густо зеленели сочной листвой апельсиновые деревья, а дальше карабкались по береговым склонам серебристо-воздушные оливы.

Тем временем Зюсс ехал в Гирсау. С тех пор как дядя привез девочку в страну, со времени его безмолвного, язвительного напоминания Зюссу уж не удавалось так прочно, как прежде, замкнуться от заповедного. Веяния оттуда проносились по бумагам, когда он считал, прокрадывались в его сны, реяли над ним, когда он, блистательный и всем ненавистный, проезжал по улицам на своей белой кобыле Ассиаде, и даже лошадь, учуяв их, начинала волноваться, становилась на дыбы, ржала. Случалось, что он, этот расчетливый делец, судивший о вещах прямо и трезво, зная положенный им предел, не боясь называть их настоящим именем, вдруг среди бела дня испуганно вздрагивал, тяжко вздыхал и, словно обороняясь, передегивал плечами; чье-то лицо выглядывало из-за его спины, призрачное, туманное, и лицо это было его собственное.

Его давно уже тянуло в Гирсау, в белый домик, окруженный пестрыми, приветливо праздничными цветочными клумбами. Он сам себе не признавался, что его всегда удерживала близость рабби Габриеля, тяжкий, зловеющий гнет этих всевидящих, усталых, требовательных блекло-серых глаз.

Он и теперь не признавался себе, что именно отсутствие старика побудило его так быстро и внезапно решиться на поездку. Он ехал к Ноэми, ехал только в сопровождении Никласа Пфевле, и на душе у него было так легко и беззаботно, как никогда. Он ехал повидать свое дитя, мысленно он уже видел свое дитя, и все его расчеты, и политика, и власть, и тщеславие остались позади как ненужный тлен. Он глядел на свежую пашню, вдыхал ее аромат и не высчитывал, какой урожай даст это поле и какие можно будет выжать налоги с продажи этого зерна, нет, он видел только нежную окраску зеленеющих всходов и вдыхал ветерок, пронесившийся над полем. Проезжая лесом, он радовался стройным великанам деревьям и не думал прикидывать смету лесничества, радовался зеленому мху и, совсем уж по-детски, радовался белкам, хотя с точки зрения финансово-экономической это был никудышный товар. А увидев, как крестьянский парень обнимает стан своей возлюбленной, он приветливо кивнул им, и только в самом отдаленном уголке его мозга

шевелинулась мысль о хитроумной затее обложения налогом ранних браков. Он ехал повидать свое дитя и сердцем уже был там, где его дитя. Когда же наконец он увидит белоснежный кубик дома и цветочные клумбы перед ним, а в нем свое дитя? Вот уже узкая колея ответвляется от большой дороги. Он выходит из экипажа, сворачивает, все ускоряя шаг, на пешеходную тропинку. Вот забор, он открывает потайную калитку, вот высокие деревья, вот клумбы, а вот, задыхаясь и замирая, девочка в самозабвении прильнула к нему.

Молчит. Молчит долго, целую вечность молчит. Прильнула к нему, растворилась в нем, цепляется за него, впитывает его образ своими огромными проникновенными глазами. А Зюсс стоит перед ней, отбросив все напряжение, настороженность, все охотничьи повадки, и бездумно отдается течению этого блаженного часа.

Как прекрасна его дочь! Она совершенство. Ни единой черточки в ней, ни малейшего движения, ни волоска, ни колебания голоса не хотелось бы ему изменить. Прекрасна его дочь перед всеми женщинами, нежна она и чиста, чистым светочем пламенеет она, пламенем своим очищает его. Вместе с нею он, ласково усмехаясь, глядит на старую, переваливающуюся с ноги на ногу, всей душой преданную ей служанку Янтье; он, для кого любое растение и животное были холодными, мертвыми предметами, теперь учится понимать язык каждого цветка, каждый из них говорит ему что-то; своим нежным дыханием напоила она все кругом, и он во всем ощущает ее жизнь.

При рабби Габриеле он чуть не робел перед девочкой, тот стоял между ними как стена. Теперь он дает волю желаньям и мечтам, которые раньше молчали, притаившись, как побитые псы. Затем прятать девочку от людей? Пусть блистает перед всем светом, как царица Савская, как царица Эсфирь, пусть ее домогаются владетельные князья, пусть молят его отдать им свое дитя в жены, пусть принцы из сказочных царств сложат к ее ногам золото и ароматы и все сокровища Эдома.

Но вот он пришел с Ноэми в библиотеку. Повсюду доски с магическими фигурами и астрономические таблицы, и вдруг ему почудилось, будто глаза старика где-то здесь, в комнате, будто они глядят на него, блекло-серые, хмурые, гнетуще скорбные, и золотые грезы, которыми он только что окутывал свое дитя, вдруг обратились для него в грязь и мерзость.

Но вот Ноэми заговорила. Тоненьким детским голосом заговорила о каббалистическом древе, о небесном человеке, о священных буквах-числах, составляющих имя божие, ее огромные проникновенные глаза сияли благоче-

стием на белом как снег лице, и тяжелой гнетущей атмосферы как не бывало.

И Зюсс уже не пытался, как у себя за письменным столом, с игривой иронией противопоставлять знакам Каббалы вполне реальные числа, наполняющие его приходо-расходные книги, уже не оборонялся с глухим бессильным упрямством, как при рабби Габриеле, чье присутствие действовало на него так гнетуще. А она, оживившись и с самозабвенным обожанием глядя на отца, заговорила о героях Ветхого завета, и смелым шагом, гордо подняв голову, вошел в комнату Давид с пращой в руке, ворвался Самсон, направо и налево круша филистимлян, преисполненный священного гнева изгонял Иуда Маккавей язычников из храма. И все они воплотились в нем, слились с ним, от него заимствовали силу, красоту, пыл и рвение. Но вдруг она замолчала, и лицо ее омрачилось. Она увидела Авессалома, запутавшегося густыми волосами в ветвях. По ее плечам пробежала дрожь; в испуге широко раскрыв глаза, она схватила руку отца, прижалась к ней, теплой и живой, прижалась крепко, крепко. Он ответил на пожатие, но даже отдаленно не понял, что так взволновало ее.

Так прожил он три дня, беспечный, свободный от кипучего вихря своей повседневности. На третий день, когда он был в комнате один, а перед ним стоял полный, невозмутимый на вид Никлас Пфевле, все оставленное где-то там, во внешнем мире, внезапно нахлынуло на него. Он увидел груды бумаг, ожидающих подписи, увидел кипучую жизнь,—и кипела она без него. Чиновники, дельцы—все спешили наперегонки, карабкались вверх, пытались взобраться на его место, угрожали ему, а он не направлял своей волей этот водоворот, он сидел здесь, вдали, ни о чем не заботясь. А сколько всего тем временем могло быть упущено или обращено против него. Непонятно, как он спокойно сидел здесь, непонятно, как он все эти дни не думал ни о чем. Цветы уже ничего не говорили ему: живое дыхание природы не доходило до него; числа и фигуры священной науки превратились в пустые бредни. Перед ним встали подсчеты доходности тех или иных предприятий, герцогские рескрипты, парламентские интриги, сложные дела, жизнь, власть. Рассеянно глядел он на свою дочь, которая, замирая, лежала в его объятиях. Он оторвался от нее, и вот уже далеко позади остались, ненужные, и девочка, и белый домик, и празднично приветливые цветочные клумбы; над заповедным вновь захлопнулась крышка.

Когда он поспешно шел по лесу к проезжей дороге в сопровождении Никласа Пфевле, он увидел вдруг, что под деревом у края просеки сидит девушка, лицо у нее

смуглое, смелое, руки закинута за голову, ярко-синие, редко встречающиеся при темных волосах большие глаза смотрят вверх сквозь стволы деревьев. Но поза у нее не спокойная, а какая-то судорожно напряженная. Он прямо направился к ней; она была прекрасна, совсем не похожа на других девушек в здешних краях, на смуглом смелом лице запечатлелись странные, необычные для швабкок мысли. Только когда он совсем близко подошел к ней, неслышно ступая по мягкому мху, она заметила его, вскочила, взглянула на него расширенными от страха зрачками, закричала:

— Дьявол! Дьявол ходит по лесу!— и убежала.

Хладнокровный, всеведущий Никлас Пфефле объяснил удивленному Зюссу:

— 'Это Магдален-Сибилла Вейсензе. Дочь прелата, шестистка.

Сидя в карете, Зюсс решил, что разумно будет мимоездом лично покончить некоторые дела с франкфуртскими финансистами. Но это был просто предлог, которым он обманывал самого себя. Ему нужно было не личное обсуждение финансовых вопросов; после нереального, зыбкого бытия в домике с цветочными клумбами ему настоятельно нужно было утверждение своего «я», своей власти, своего успеха, ему нужна была громкая, прочная слава. Он послал за секретарем, за слугами. Въехал во Франкфурт во всем величии и блеске.

Франкфуртские евреи дивились и волновались, они шушукались, покачивая головой, прищелкивали языком от изумления и умиления, вздевали красноречивые руки. Ай, вот вам и Иозеф Зюсс Оппенгеймер! Ай, вот он, вюртембергский придворный фактор и тайный советник по финансам! Ай, как он далеко пошел! Отец у него был актер, мать—певица, правда—красавица, правда—франтиха, но особа легкомысленная, не большая честь для еврейства; дед его, реб Зельмеле, да будет благословенна память праведника, был честный человек, кантор, благочестивый, уважаемый человек, но все-таки человек маленький, бедный. А посмотрите-ка на Иозефа Зюсса, какой он знатный, блестящий, могущественный, куда важнее своего брата, дармштадтского выкреста, который крестился, чтобы стать бароном. Ай, как явно отличил его господа! Хоть он и еврей, а гои срывают шапки перед ним и кланяются ему до земли, и стоит ему свистнуть, как сейчас же сбегаются советники и министры, словно он сам герцог.

Зюсс упивался всеобщим восхищением. Он сделал такое крупное пожертвование на нужды синагоги и на бедных, что все диву дались. К нему пришли попечитель общины и раввин, рабби Якоб Йошуа Фальк, невысокий,

строгий, сосредоточенный человечек с морщинистым, испещренным вздутыми жилами лбом и запавшими глазами; оба выразили благодарность, а на прощание раввин благословил его.

Потом он стоял перед своей матерью, и красивая глупая старая женщина расстилала ему под ноги свое тщеславное восхищение, словно пушистый ковер. Он нежился в этом теплом потоке безудержно изливающегося на него обожания; сотни зеркал дурманили отражением того, что уже достигнуто. Из самых затаенных уголков души выкапывал он сокровеннейшие свои мечты перед этой восторженной слушательницей, которая, блаженно улыбаясь, гладила его руку. Полный упрямой решимости, сбросив с себя чары белого домика, до краев переполненный головокружительно смелыми планами, поспешил он назад в Штутгарт.

Война окончилась, Карл-Александр вернулся домой в свою столицу. Он был в прескверном расположении духа. Непосредственной цели ему, правда, удалось достичь, удалось оградить свою страну от вражеских набегов и бесчинств. Операции были проведены последовательно, по всем правилам военного искусства, все тактические задачи разрешены безупречно, ему удалось доказать, что он величина, что с ним нужно считаться как с полководцем, к тому же имеющим в своем распоряжении собственное внушительное войско. Но, в сущности, результаты получились довольно мизерные и весьма далекие от той славы, о которой он мечтал. Мрачно сидел он в карете, боль в хромой ноге усиливалась, мучила астма.

Навстречу попался почтовый дилижанс, почтительно обогнул герцогскую карету и остановился. Среди слинявших от смирения лиц Карл-Александр узнал лицо хмуро и спокойно поклонившегося ему человека. Лицо широкое, бледное, приплюснутый нос, под нависшим лбом — блекло-серые глаза. Он слегка вздрогнул, ему почудился скрипучий голос: «Первого я вам не скажу». Гнетущее чувство сковало его. Ему привиделось, что он скользит в беззвучном призрачном танце, впереди рабби держит его правую руку, Зюсс позади — левую. А вот там, далеко впереди, сплетенный с ним целой цепочкой рук, — разве это не веселый толстяк Фридрих Карл, не Шенборн, вюрцбургский епископ? Как он жутко комичен. И все так тускло, туманно, бесцветно. Герцог поехал дальше еще более мрачный.

В Штутгарте его со всех сторон обступили неприятности. Герцогиня радостно поздоровалась с ним; однако ночью, лежа в его объятиях, она спросила своим обыч-

ным слегка насмешливым тоном, много ли ценной добычи вывез он из Версаля; ведь она еще невестой мечтала, что он сорвет парик с головы французского Людовика и принесет ей в качестве трофея. Конечно, это было невинное подтрунивание, но его оно глубоко уязвило.

Дальше на сцену выступил малый парламентский совет со своими скучными, назойливыми, действующими на нервы придирками и претензиями. Уже во время второй аудиенции члены совета настойчиво и беззастенчиво потребовали немедленно распустить солдат ввиду заключения мира. Герцог побагровел, от ярости у него дух захватило. С большим трудом принудил он себя выслушать депутацию, не набросился на нее с кулаками, не приказал арестовать ее, заковать в кандалы. В конце концов он не выдержал и, задыхаясь от кашля и астмы, выкрикивая проклятия и ругательства, самым грубым и бесцеремонным образом выгнал вон растерянных, насмерть перепуганных депутатов. И призвал к себе Зюсса.

У того, как обычно, в кармане лежал уже готовый проект. Карл-Александр принял его после ванны, в шлафроке, Нейфер растирал герцогу хромую ногу, чернокожий бегал взад и вперед с полотенцами, гребнями, щетками. Почтительно улыбаясь, Зюсс изложил свой хитроумный, каверзный проект. О таком важном деле его светлости недостаточно договориться с одиннадцатью членами парламентского совета. Совет должен быть пополнен другими депутатами.

Что же будет этим достигнуто, спросил герцог, не сводя властных голубых глаз с его красиво очерченного, улыбающегося, подвижного рта.

При таком пополнении, бойко и плавно продолжал Зюсс, понятно, следует привлечь только тех депутатов, чья верность и преданность государю вне всяких сомнений.

Карл-Александр напряженно ловил каждое его слово, продумывал, взвешивал. Сообразил наконец, что таким способом оппозиция будет безболезненно изгнана из парламента и ландтаг превратится в сборище беспомощных шутов. Подскочил так, что камердинер Нейфер, растиравший ему хромую ногу, пошатнулся.

— Ты гениален, Зюсс! — радостно завопил он и, как был, босой на одну ногу, забегал в возбуждении по комнате. Чернокожий, забившись в угол и медленно вращая глазами, следил за каждым движением своего господина. Так же внезапно Карл-Александр остановился в нерешительности и с сомнением спросил: откуда они узнают, на каких депутатов можно положиться? Скромно и вместе с тем самоуверенно усмехнувшись, Зюсс ответил, что просит герцога поручить это ему и пусть он со

стыдом и позором будет изгнан из Вюртемберга, если среди выбранных им депутатов окажется хоть один бунтовщик.

В тот же вечер Зюсс начал переговоры с Вейсензе. Сообщил ему, что герцог считает необходимым, ввиду важности вопроса, увеличить состав совета; кто из парламентариев, по мнению прелата, способен настолько постичь высокие задачи Карла-Александра и оценить, сколь велик в Европе его авторитет, чтобы в интересах герцога, а значит, и в интересах народа, ими, этими парламентариями, стоило бы пополнить совет одиннадцати? Вейсензе слушал настороженно, вставляя похвалы дальновидности и щепетильности герцога, наконец, после многих оговорок, осторожно и нерешительно назвал два-три имени. И тут же переменял тему, непринужденно заговорил о чем-то постороннем. Зюсс вежливо поддержал разговор, а затем как бы случайно, мимоходом, заметил, что председатель церковного совета, на взгляд герцога, совсем одряхлел и стал непригоден, и неужели же он, Вейсензе, собирается всю жизнь просидеть в Гирсау, когда человек с его дипломатическим кругозором, с его опытом и ученостью был бы таким полезным советником в Штутгарте? От вожделения у прелата раздулись ноздри, он не устоял против соблазна, и, когда Зюсс снова заговорил о созыве ландтага, он, горестно усмехаясь собственной слабости и вероломству, со вздохом назвал несколько имен и таким образом в лице неназванных предал конституцию и ее приверженцев. Увы, наш мир — совсем не лучший из миров, как утверждают некоторые модные философы, это очень плохо устроенный, гнусный мир. Только простак может соблюсти себя в чистоте; кто умен и многогранен и не хочет остаться совсем в стороне от мимотекущей жизни, тот неминуемо должен замарать свою душу и стать предателем.

Был назначен созыв ландтага. По списку Вейсензе, все депутаты оппозиции были исключены, их протесты оставлены без внимания. В некоторые города и округа явились уполномоченные герцога с сильным военным эскортом, они самочинно составляли пожелания, поручения и обязательные указы депутатам якобы от имени народа.

В такой атмосфере собрался ландтаг, которому надлежало разрешить вперед на десятки лет один из важнейших вопросов швабской политики — вопрос о содержании значительной постоянной армии. Сессия кургузого парламента происходила не в здании ландтага в Штутгарте, герцог пожелал, чтобы она ради облегчения контакта с его особой состоялась в его Людвигсбургском замке, у него на глазах. Крохотный городок был переполнен солдатами, во время заседаний депутатов охраняли усиленные воен-

ные наряды, за малейший намек на оппозицию их тут же арестовала бы собственная охрана. Герцог после развязной речи на открытии сессии больше вообще не появлялся; он принимал парады, устраивал в окрестностях военные маневры, в то время как его министры небрежно и снисходительно давали уклончивые, надменные ответы на робкие запросы депутатов.

Немудрено, что при сложившейся обстановке ландтагом была утверждена грандиозная военная программа герцога, а также удвоенные ежегодные налоги и сдача тридцатой доли урожая всех плодов. Таковому положению о налогах надлежало оставаться в силе впредь до конца тяжелых времен и истощивания возможностей страны. Под дулом солдатских мушкетов господа депутаты, обычно столь осмотрительные и готовые торговаться из-за всякого пустяка, не осмелились уточнить эту существеннейшую оговорку, а когда во время неофициального обсуждения они робко поставили вопрос, кто же будет уполномочен судить о тягости положения и ресурсах страны, Зюсс и Ремхинген перешли на такой грубый, нетерпимый и даже угрожающий тон, что депутаты, присмирив, не стали требовать уточнения этого важнейшего пункта. Еще никогда за все время существования конституции в стране ни одному вюртембергскому герцогу не удавалось добиться от парламента таких уступок, как Карлу-Александру и его еврейку.

Спустя две недели после сессии гирсауский прелат Филипп Генрих Вейсензе стал председателем высшего церковного совета в Штутгарте.

Вскоре после этой победы Зюсса над парламентом брат герцога принц Генрих-Фридрих скончался в своем родовом замке Винненталь. С той поры как Карл-Александр завладел его возлюбленной, а затем глумливо и высокомерно отослал ему назад плачущую и униженную женщину, слабовольный принц изводился в бессильных и дерзновенных мечтах о мщении. Он начал было нерешительные и довольно бессмысленные переговоры с парламентом. Но господа депутаты сочли его неподходящей фигурой и не пошли ему навстречу. Он часто устремлял тоскующий, затравленный взор на кроткое, темно-русое создание, вся жизнь которого теперь была одна скорбная мольба о снисхождении. Однажды он обхватил слабеющими потными руками ее прекрасную полную, крепкую шею, сдавил, попытался придушить и вдруг с испугом отпустил, погладил:

— Ведь ты ни при чем, ты ведь ни при чем! — Он рисовал в своем воображении дикие фантастические сце-

ны мести: как он закалывает свою возлюбленную, перекидывает через седло ее труп и скачет по всей стране, призывая народ к отмщению. Или как он захватывает брата в плен, заставляет его целовать ноги своей возлюбленной, как затем убивает их обоих, ее приказывает похоронить как королеву, а брата зарыть в землю как собаку. Сам же он парит над происходящим, словно театральный бог мести. Но осуществить он не мог ничего, он мог только изводиться и умереть.

Узнав о смерти брата, Карл-Александр немедленно послал министра Форстнера и военного советника Дилдея в замок Винненталь опечатать вещи умершего и, главное, изъять его переписку. Как раз во время сессии кургузого парламента он узнал о новых интригах брата с членами ландтага и загорелся желанием получить документальные доказательства, уличающие некоторых оппозиционных парламентариев в измене. Ох, как ему хотелось их прихлопнуть, как хотелось стереть их в порошок, свернуть шею гидре!

Его посланные застали в тихом замке немногочисленную, растерянно бродившую по комнатам прислугу, а у тела покойного в тупом отчаянии застыла белокурая девушка. Они не привезли герцогу ничего, кроме безобидных бумажек.

Карл-Александр вскипел. Он не сомневается, что члены малого совета были в тайном сговоре с покойным, замыслили возвести его на престол. Он с яростью накинулся на посланцев, которые добыли ему только ненужный хлам. Наверное, они украли, сожгли все компрометирующие бумаги, умышленно упустили и загубили прекрасный случай раскрыть вражеские козни.

Зюсс разжигал и подстрекал его. Лучшей возможности уничтожить ненавистных интриганов не дождешься. Он припомнил давние нелепые подозрения герцога. Ведь эти же самые люди в свое время наседали на Карла-Александра с злополучными реверсалиями, гарантирующими свободу вероисповедания, и прочли ему в Белграде черновик, совсем непохожий на позднейший штутгартский чистовой экземпляр. Кто как не они подменили листы и всунули подложную страницу в окончательный текст? От нашептываний Зюсса герцог-солдат, как дитя не искушенный в вопросах дипломатии, наново распалялся застарелой злобой. Эти господа, видно, наловчились утаивать важные бумаги. И нынешние безуспешные поиски заведомо существующих письменных доказательств измены лишний раз подтверждают предосудительность их прежних поступков и уличают их в тайном сговоре с мятежным парламентом.

Зюсс вполне понимал мудрого государя, которому надоело править страной при таком двуличном кабинете, состоявшем если не из государственных преступников, то в лучшем случае из тугодумов, крючкотворов, педантов, трусов, оппортунистов, двурушников. Министры Форстнер, Нейфер, Негенданк, Гарденберг впали в немилость и получили отставку. Уцелел один Бильфингер. Благодарный Зюсс не решился посягнуть на широко известного за пределами Вюртемберга неподкупного ученого. Впрочем, тот не очень мешал ему, будучи поглощен своей наукой, а в политике, хоть и был внушительной и устрашающей фигурой, предпочитал держаться в тени. Кстати, и герцог настолько ценил беседу этого специалиста по постройке крепостей, что Зюсс вряд ли чего-нибудь добился бы.

Вместе с другими опала постигла и управляющего казенным имуществом Георги, того самого, что пустил когда-то словечко о еврейской гвардии. Этот человек, озабоченный службой ради хлеба насущного, слишком поздно раскаялся в своей злосчастной шутке, слишком поздно попытался подладиться к Зюссу. Еврей торжествовал, наблюдая его неловкие попытки к сближению. Он измывался над недалеким, неповоротливым чиновником, то проявляя к нему особую предупредительность — и Георги уже надеялся, что можно вздохнуть свободно, еврей, верно, не слышал его остроты или позабыл о ней, — то пугая его каким-нибудь намеком или скрытой угрозой. В конце концов Зюсс сам вручил управляющему казенным имуществом отставку, для чего пригласил его к обеду. Хозяин и немногочисленные гости сидели под красочным плафоном с триумфом Меркурия, ели на золотой и серебряной посуде изысканные пряные кушанья, из драгоценных кубков пили крепкие иноземные вина. Насытившись, сидели отяжелевшие, пыхтели, переваривали обильные яства. И тут-то еврей светски непринужденным тоном выразил управляющему казенным имуществом сожаление, что государь так мало ценит теперь его просвещенные услуги; увы, его светлость с некоторых пор вообще не любит и даже просто не терпит старой гвардии. А уж к новой управляющего казенным имуществом никак не причислишь. Георги в полном смятении взглянул на него, что-то пролепетал и тупо уставился в землю, тряся головой, а немного погодя поплелся восвояси.

Это был честный, но ограниченный человек, с узким кругозором, в плену у всяческих условностей, отец семерых детей и бедняк. И вот теперь он впал в немилость, с позором отставлен от должности. Придя домой, он повесился.

Началась смена чиновников. До сих пор высокие посты занимали простодушные, мирные, медлительные, благонамеренные швабы; теперь на их места потянулись ловкие, расторопные люди, в большинстве иностранцы, изворотливые, многоречивые, способные распутать любое щекотливое дельце, клевреты Зюсса, всякие Шефферы, Тилли, Лауцы, Бюлеры, Мецы, Гальваксы. Они сидели на всех ответственных постах, они занимали все подступы к герцогу. Но сам Зюсс по-прежнему отказывался от официального чина, у него было только звание тайного советника и обер-гоффинанцдиректора, а также управляющего личными доходами ее светлости герцогини; однако при всех дворах знали, что он — истинный правитель государства, его рука, хоть и без перстня с печатью, держала кормило власти.

Облегченно вздохнула страна, потянулась в сладостном ожидании. Конец войне. Сыновья, мужья, возлюбленные возвратятся теперь домой. Мирно, спокойно потечет теперь жизнь, а не рывками, с вечной нуждой, голодом и притеснениями. Не будет недостатка в мужчинах, молодых, здоровых, в сильных руках для работы, в хозяйском глазе, в мужниной ласке. Теперь можно правильно распределить работу, а не жить изо дня в день как попало. Не будет недостатка в славных, крепких конях, хоть и замученными вернутся они, но можно снова выхолить, выходить их. Все поля можно будет обрабатывать как раньше, следить, чтобы виноградники не глохли, а дома не прогнивали и не пропадали. У городских ремесленников будут, как до войны, средства к жизни, сырье для работы, будет в изобилии продовольствие и вино. Все взоры обращены на запад, откуда возвратятся войска, возвратятся мужчины, лошади, палатки, телеги, обоз, провиант, все отнятое, оплакиваемое, недостающее, возвратится и тук и сила. Все взоры устремлены на запад, как в засуху на заволакивающие небо тучи.

И вдруг — жестокое разочарование — ландтаг постыдно капитулировал, армия не будет распущена. В огонь, на помойку портреты герцога, и Белград, и семьсот алебардщиков! Отчаяние прорвалось наружу, поднялись бунты, более грозные, чем в начале войны, но подавленные еще быстрее и решительнее. От постоев за недостатком казарм не освобождали никого. На каждые две семьи приходилось по солдату — как в домах горожан, так и в крестьянских домах. Всюду сновали шпионы; кто роптал или слыл подозрительным, на того накладывали двойные тяготы. Раз уж могущественные парламентарии мигом

присмирели перед герцогской солдатней, естественно, что простые обыватели совсем запуганы постоянным присутствием большого количества солдат и наглостью пришлых офицеров-католиков.

Кругом мирно расцветали государства и вольные города, в герцогстве же мир оказался хуже войны. Если во время войны Карлу-Александру деньги требовались только для армии, то теперь они были ему нужны и на содержание постоянного войска, и на содержание двора, где уже не знали предела роскоши.

Зюсс каким-то чудом, прямо колдовством, добывал деньги. Он чуял каждое потайное местечко, откуда можно их выкопать, словно обладал волшебным жезлом. Во время войны он только приладил тиски, теперь же медленно, со зловещим спокойствием и сноровкой, заворачивал их. Придавленная тяжелой пятой военщины, страна не кричала под нестерпимым гнетом, а лишь стонала, мучительно задыхаясь, истекая кровью и последними соками, погибала. Бесконечные поборы, штемпельные пошлины на все, даже на башмаки и сапоги. Кто-то пустил ядовитое словцо: скоро и у людей будут выжигать штемпеля на ладонях или на пятках — по четыре гроша за пару.

При Эбергарде-Людвиге и графине Гревениц торговля чинами и должностями была обычным явлением. Зюсс эту систему усовершенствовал, учредил для нее особую инстанцию, наградное ведомство, где каждое освободившееся место открыто, как на аукционе, отдавалось тому, кто дороже платил, где с той же целью создавались новые должности и звания. Предметом торга были все места, от советника экспедиции и ниже, вплоть до деревенского старосты и судьи, даже до сторожа при купальнях и штатного живодера. Никаких преимуществ для получения вакантной должности вюртембержцам не давали ни преемственность, ни выдающиеся способности: у кого не было денег, тому приходилось перебиваться кое-как или искать счастья за границей.

В Пруссии уроженец Штутгарта Кристоф Маттеус Гейдегер быстро преуспел, меж тем как в Вюртемберге никого не трогало, что его деды и прадеды целое столетие были судьями. Впавшему в нищету Фридриху Кристофу Коппенгеферу даже горячая рекомендация Бильфингера не помогла получить место профессора в Тюбингенском университете; этому замечательному швабскому физику пришлось добиваться заслуженного признания в Санкт-Петербурге, у гиперборейцев. Зато теперь на самых видных местах в герцогстве сидели понаехавшие со всего света ловкие дельцы. Можно ли было требовать, чтобы чиновник знал свое дело и успешно справлялся с ним,

если у него не было других оснований получить должность, кроме уплаченного им крупного куша, и других стремлений, как только с лихвой окупить затраченный капитал?

Но самой прибыльной коммерческой аферой, самыми исправными тисками была юстиция. Здесь система Зюсса отличалась гениальной простотой. Право расценивалось по принципу его торговой рентабельности. У кого были деньги, тот мог добиться, чтобы за ним письменно, с печатью, утвердили любое право. У кого денег не было, тому не помогло бы самое неопровержимое доказательство его прав.

Зюсс с присущей ему ловкостью извлек всю возможную пользу из рескрипта, данного Карлом-Александром при вступлении его на престол. Этим рескриптом предписывалось предать суду всех чиновников из клики Гревениц, учредить особые комиссии для повсеместного пресечения лихоимства и хищений; народ восторженно приветствовал появление такого указа, в коем зримо проступает светлый лик Фемиды, по слову придворного пииты. Несколькими поистине мастерскими штрихами Зюсс превратил лик богини в наглую ухмылку толстощекого бога Мамона. Для осуществления герцогского указа было учреждено фискальное ведомство. По всей стране разъезжали шпионы, а иные добровольно предлагали свои услуги для выискивания богатых и состоятельных людей, не имевших связей и не состоявших в родстве с придворными или членами парламента. Против них возбуждали дело за незаконное приобретение имущества и угрозами, вымогательскими, лжесвидетельствами доводили самых безупречных до того, что они выплачивали требуемую сумму, лишь бы избавиться от судебного разбирательства. Даже против покойников возбуждали дело, если они оставили порядочное состояние.

Большую огласку и за пределами Вюртемберга получил процесс надворного советника и начальника податного ведомства Вольфа. Его, человека независимого и неуступчивого, без всякого повода привлекли к суду. Советник экспедиции Гальвакс, клевет Зюсса, предложил Вольфу любовную сделку, тот не согласился и продолжал отстаивать свою правоту. Делу дали ход, отсудили у Вольфа биссингскую мельницу. Когда ему объявили о конфискации его виноградников, он вспылил и бросился душить герцогского уполномоченного, принесшего это распоряжение. Вслед за тем у его сына отняли данное ранее разрешение вступить в брак и забрали молодого человека на военную службу. Взмешенный отец не смирился, проник к герцогу, у которого происходило заседание совета министров, и перед всеми собравшимися

обрушился с яростными нападками на фискальное ведомство; в конце концов его силой увела швейцарская стража. Карл-Александр был не на шутку озадачен и потребовал к себе все документы по этому делу, но правитель дворцовой канцелярии Шеффер успел внушить ему, что все делается по справедливости и закону, а Вольф попросту буян и сутяга. После этого дело приняло еще более неблагоприятный оборот, Вольфа приговорили к тюремному заключению. Он бежал за границу, где кончил жизнь в нищете. Все его имущество было конфисковано фискальным ведомством. За год эта судебная инстанция выжала в пользу герцогской казны шесть с половиной бочонков золота. Из них кассиры Зюсса насчитали бочонок с четвертью издержек и процентов, сверх того больше чем полбочонка Зюсс сам удержал за поставленные герцогу драгоценности.

Хотя Зюсс по-прежнему не занимал никакой официальной государственной должности, в Штутгарте давно всем было известно, что управление страной сосредоточено не во дворце, и не в людовигсбургской резиденции, и не в здании ландтага. Нет, все эти окаянные каверзные рескрипты, такие безобидные и даже благодетельные с виду, а на самом деле жерновом висевшие на шее, так что люди задыхались, изнемогая,— все, все они исходили из дома на Зеегассе. Теперь перед этим домом люди сжимали кулаки, бормотали проклятия, плевались, какой-нибудь смельчак отваживался даже приклеить пасквиль, но все это ночью, таясь, оглядываясь. Ибо лейб-гусары и шпионы еврея сновали повсюду, и всякий, кто провинился перед ним, мог невзначай очутиться в Нейфене или в гогенаспергском каземате, крест-накрест закованным среди вечной тьмы. А в трактире под вывеской «Синий козел» собирались обыватели потолковать о политике, пошутиться; среди них бывал и булочник Бенц. Только он держал язык за зубами, боясь вторично попасть впросак. Но теперь и без него все было ясно, теперь стоило кому-нибудь сказать: «Да, да, при прежнем герцоге страной правила шлюха»,—как другой подхватывал: «А при нынешнем правит жид». И поднимался ропот, лица искажались бесильной ненавистью, а у кондитера Бенца только поблескивали свиные глазки над жирными, лоснящимися щеками.

Тяжко вздыхала, судорожно билась страна под удушающим гнетом. Зрели злаки, зрели лозы, трудились и созидали ремесленники. Герцог со своим двором и войском бременем лежал на стране, и она терпела его. Двести городов, тысяча двести деревень стонали, исходили кровью. Герцог выжимал из них все соки руками еврея. И страна терпела его и еврея.

В евангелические братства, молитвенные собрания, библейские общества пиетистов собирались труждающиеся и обремененные. Они тянулись к богу, как побитые собаки, лизали ему ноги. Несмотря на строгие запреты и кары, в герцогстве повсеместно обнаруживались пророки и ясновидящие. В Битигтейме проповедник Людвиг Бронквель, последователь Сведенборга и Беаты Штурмин, уже однажды, в бытность викарием в Гросс-Ботваре, заслуживший порицание консистории за свои еретические взгляды на тысячелетнее царство и обращение евреев, теперь величал Зюсса долгожданным бичом божьим. Если собаку избивать целый день, проповедовал Бронквель, она убежит и станет искать другого хозяина. Простой люд подобен такой собаке. Избивает его герцог, избивают солдаты, избивают чиновники, офицеры, но самая главная палка — еврей Зюсс. И вот когда народу становится невмочь, он убегает и находит себе другого господина — Христа. Правда, проповедник был отрешен от должности и в лютой нужде скитался потом по Германии. Однако слова его учения не заглохли, и пиетисты собирались, чтобы возблагодарить господа за еврея как за бич, коим он загоняет их к себе.

Девица Магдален-Сибилла Вейсензе осталась в Гирсау, когда ее отец перебрался в Штутгарт. С тех пор как она узрела в лесу дьявола, его образ преследовал ее. Она чувствовала себя призванной бороться с дьяволом, обратить его к богу. Тоска, сочетание ужаса и сладострастия, неудержимо влекла ее в лес, однако дьявола она больше не встречала.

Как ни странно, но она не решалась рассказать об этой встрече братьям и сестрам по библейскому обществу. Она утаила это видение даже от слепой Беаты Штурмин, от наставницы, от ясновидящей, от святой. Ей самой предназначено бороться с дьяволом, это ее миссия, ее призвание. Теперь, в воспоминании, его выпуклые глаза пылали еще более пожирающим пламенем, а губы еще чувственнее, еще искусительнее атели на очень белом лице. Люцифер был прекрасен, и в этом была его великая сила и соблазн. Взять его за руку, держать не выпуская, привести к богу — вот торжество, от которого можно умереть. Хотелось закрыть глаза, чтобы полнее почувствовать радость от такой победы.

А бедные братья и сестры по библейскому обществу что-то лепетали о ничтожных посланцах Вельзевула, о герцоге, о еврее. Магдален-Сибилле было даже жалко слушать их. Еврей, герцог-католик — что за мелкие, безобидные бесенята рядом с самим дьяволом во плоти, которого она узрела и которого ей суждено побороть.

И у магистра Якоба Поликарпа Шобера тоже была своя тайна. Даже братьям и сестрам по библейскому обществу, которые мирно свершали свой жизненный путь и не отличались большой наблюдательностью, бросалось в глаза благочестивое сияние на кротком толстощеком лице молодого человека во время пения псалмов о небесном Иерусалиме. В эти минуты он видел навес перед белым домом среди цветочных клумб и девушку, потягивающуюся в полудреме, одетую по чужеземному обычаю, видел матово-белое лицо под иссиня-черными волосами. Он еще не раз с замиранием сердца перелезал через высокий забор и однажды снова увидел девушку, но это случилось в ненастный день поздней осени, девушка была одета во что-то темное, и прежнее неземное, яркое, солнечное видение заслонило ее нынешний облик.

Спустя некоторое время штутгартское евангелическое братство предложило ему хлопотать о месте герцогского библиотекаря, но дело сорвалось, так как у него не было нужной суммы, которую требовало наградное ведомство за предоставление этой должности. В глубине души он был очень рад, что мог оставаться в Гирсау и в грезах витать вокруг леса и белого домика.

Между ним и Магдален-Сибиллой в библейском обществе установилась удивительная душевная близость. Братья и сестры смиренно и умиленно вздыхали о тяжких и блаженных временах скорби и просветления, о жестоком еврее, которого господь ниспослал герцогству, магистр же видел божественную девушку, а Магдален-Сибилла видела Люцифера, и их мечты возносились над всем окружающим, пронизывали наивные песнопения, поглощали все и заполняли собой голую, убогую, низкую комнату.

Белая кобыла Ассиада, что значит Восточная, скоро привыкла к мягкому швабскому воздуху; но ей не нравились швабы, не нравились их руки, их мелочность, угрюмая ограниченность, косность. Она была рождена в Иемене, в уплату дани попала на конюшню калифа, помощником казначея была продана левантинцу Даниелю Фоа, а тот, в свой черед, уступил ее своему коллеге Зюссу. Зюсс заботливо ухаживал за кобылой, потому что она была его собственность и потому что верхом на ней он имел весьма представительный вид. Но он не любил ее. У него тогда еще не было сознания, что во всем живущем есть частица его самого; это сознание возникало в нем смутно и тягостно, когда с ним говорил рабби Габриель, оно блаженным током проходило по его крови, когда он

видел Ноэми. Но пролетали краткие счастливые часы, и сознания этого как не бывало.

Зато оно было у белой кобылы Ассиады. Она знала поступь своего господина, руку его, запах, колени, стискивающие ее бока. Легко и грациозно ступая под ним, она думала: он меня не любит. Но он прекрасная ноша. Его совсем не чувствуешь. Он словно часть меня самой. Он поднимается и опускается с моим дыханием, с игрой моих мускулов. Когда другие смотрят на меня, у меня щемит сердце, и они мне чужие. А он часть меня самой. Взор его безбрежен, и мне хочется мчаться и летать, когда он смотрит на меня. Когда его рука похлопывает меня, во мне прибывает уверенности, спокойствия и силы. Я с ним одно, мне не нужно иной родины, когда я с ним. И она вскинула голову и заржала звонко и торжествующе навстречу востепенувшимся обывателям: «Берегитесь! Он едет! Он!»

Ибо Зюсс теперь открыто выставлял на свет свою власть, кокетничал и кичился своими совершенными светскими и придворными навыками. Только одна из новомодных аристократических забав была ему ненавистна: облава на лесного зверя. Ему казалось невыразимо глупым и гнусным сгонять животных в кучу, смотреть, как они мечутся, и стрелять по ним, беззащитным. При виде убитых зверей к горлу у него подступала тошнота, и, как ни страшны ему были бесцеремонные насмешки придворных, он не мог себя переломить и ответить этой убоины. Пусть мясники убивают быков, телят, баранов и свиней; это почтенное и полезное ремесло, которым, однако, никто не занимается потехи ради, и на мясников все-таки не смотрят как на благородных кавалеров. Зюсс никак не мог взять в толк, почему убой телят — дело мелкого ремесленника, а убой согнанных в кучу коз — рыцарская забава. Вообще же он стремился быть центром всех увеселений при дворе. Каждый знатный иноземец, приехав в Штутгарт, спешил засвидетельствовать почтение всемогущему фавориту. Он увеличил свой домашний штат, так что из его лейб-гусаров в темно-малиновых ливреях можно было составить чуть не целую роту. Министров и высших чиновников он держал в рабском подчинении. Они боялись его едва ли не больше, чем самого герцога; стоило ему свистнуть, как они прибегали сломя голову. При малейшем противоречии он грозил им кандалами, плетью, виселицей. Зюсс сам был точно вихрь. И его окружал постоянный вихрь. Коммерция, политика, дворцовые празднества, женщины. Он вызывал к себе кого хотел, и никто не смел ослушаться. При желании он бывал воплощенной любезностью, и все сердца таяли перед ним.

Герцога он всецело держал в своей власти. Карл-Александр чувствовал себя связанным таинственными узами с этим человеком, который первым уверовал в его счастье и этой утлой ладье доверил всю свою жизнь, а теперь словно волшебными чарами сметал с его пути все преграды, непреодолимые для него самого и для его советников. В искреннем восхищении, с примесью суеверного ужаса, смотрел он, как еврей из ничего добывает все, что от него требовали: деньги, женщин, солдат. И он слепо следовал всякому совету своего финанцидиректора.

С самой ранней юности Зюсс чувствовал безграничную уверенность в себе. Однако теперь он минутами сам бывал потрясен тем, какую задачу взвалил на себя и как легко, играючи, справлялся с ней. И раньше крупным финансистам из числа его соплеменников приходилось решать задачи огромного масштаба и в своих руках нести полный до краев сосуд власти. Но эти люди держались в тени или крестились, как его родной брат. Он же, еврей, один стоял перед целой Европой на опасной высоте, и улыбался, и был элегантен и самоуверен, и даже самый прозорливый взгляд не мог бы со злорадством подметить у него хоть малейшую дрожь.

Для того чтобы жить по-княжески, чтобы всецело держать герцога в руках, ему нужны были деньги, деньги в несметном количестве, постоянно в обороте, постоянно наготове. У своих родственников Оппенгеймеров, императорских банкиров в Вене, он научился оперировать крупными цифрами. Теперь же через его руки проходили дела всего герцогства, в полном его расположении находилась казна двадцати городов и тысячи двухсот деревень. С присущей ему кипучей энергией он бросал эти средства в самые разные предприятия, ни минуты не давал им лежать мертвым капиталом. Он завел связи со всеми европейскими банкирами, через его бесчисленных агентов, в большинстве случаев евреев, швабские деньги шли по самым запутанным каналам, на засеивание плантаций в Нидерландской Индии, на приобретение лошадей в Берберии, на охоту за слонами и черными невольниками у африканских берегов. Его основным принципом, его главной целью был непрерывный головокружительный оборот. Он не гнался за большой прибылью в каждом отдельном случае, а в итоге получалась гигантская прибыль, потому что от всех дел к его рукам прилипала малая толика. Итак, он старался быть участником всех денежных операций в империи, он держал под своим контролем промышленность и торговлю во всех концах, во всех закоулках Европы, и значительная часть всех германских денежных средств проходила через его кассы.

У него были несметные личные доходы. Всякий, кто хотел чего-либо добиться при вюртембергском дворе, задабривал его презентами и знаками внимания. Герцог, которого осведомил об этом Ремхинген, рассмеялся: «Пусть наживается, шарлатан. Каждый его профит — для меня профит вдвойне». Его торговля кровными лошадьми приняла широкие размеры, но больше всего разрослась его торговля драгоценными камнями. Он с давних пор питал фанатическую страсть к драгоценностям; однако до сих пор при каждой крупной сделке ему поперек дороги становился некий дон Бартеlemi Панкорбо, португалец, долговязый, тощий, молчаливый, загадочный человек с ввалившимися щеками и глазами, с лицом точно маска мертвеца. Казалось, он каким-то оккультным путем узнавал, где можно раздобыть по-настоящему ценное украшение, и сразу же там появлялась его фигура в старинной, нескладной, плохо прилаженной придворной португальской одежде. Он был в чинах и почете при курпфальцском дворе, благодаря своим дипломатическим связям держал в руках амстердамский рынок, а отсюда и всю германскую торговлю драгоценными камнями. Теперь Зюсс пустил в ход все свое политическое влияние, чтобы избавиться от ненавистного конкурента. Еврей боролся страстно, с остервенением; хладнокровно, цепко, коварно держась за каждую пядь, отступал тощий, загадочный португалец. Однако он был неистребим, его тень всегда ложилась на сделки Зюсса; но только лучшие и самые редкостные камни теперь сначала предлагались Зюссу и приобрести некоторые уникальные драгоценности можно было лишь через него.

Торговля камнями была для Зюсса главным образом увлекательной игрой и наряду с крупной прибылью приносила и немалые убытки; зато он постарался обеспечить себя постоянным и верным доходом из целого ряда других источников. Он умудрялся устроить так, что всякий раз, как наступал срок значительных платежей — выдачи жалованья чиновникам и военным, — в герцогской казне не оказывалось наличных денег. Зюсс выдавал нужную ссуду из собственного капитала, удерживая в свою пользу по грошу с гульдена. Горожане и крестьяне видели в этой явно жульнической махинации источник всех своих невзгод, и никакая нужда, никакие лишения не угнетали их так, как этот отнятый евреем грош.

Он взял на откуп и чеканку монеты. Но пренебрегал наживаться на неполноценности денег. К таким примитивным и низменным приемам он прибегал поневоле в период договора с Дармштадтом, когда был еще совсем безвестной и ничтожной пешкой и когда ничего другого ему не

оставалось. Теперь же куда дальновиднее было зарабатывать на повышенном обороте полноценных денег. Итак, монета, которую он чеканил, была лучшей из всех германских разменных монет, наиболее ходкой и ценимой. Но, главное, ему не терпелось выпуском доброкачественной монеты заткнуть глотку своим врагам. Он понял, что именно на этом противники постараются поймать его, что именно здесь он споткнется при малейшем неверном шаге; если же, наоборот, он в этом покажет свою честность, его кредит неимоверно возрастет. Он с нетерпением ждал каких-либо нападков, даже старался поскорее вызвать их. Тугодум Ремхинген в числе многих других, столь же наивных в финансовых вопросах, не мог объяснить себе растущее богатство Зюсса иначе, как только трафаретным предположением, будто еврей чеканит фальшивую монету. Он подзуживал герцога до тех пор, пока тот не приказал произвести расследование. Тогда Зюсс, со смиренно торжествующей улыбкой, представил письменные свидетельства агентов о том, что вес его монет слишком велик, а посему на них ничего не заработаешь, и расцвел еще пышнее в лучах собственной непорочности.

Он участвовал, кроме того, в целом ряде соглашений и откупов. Повсюду у него были разбросаны амбары и склады товаров, а герцогским указом он был освобожден от пошлин и акцизных сборов; кроме того, государственные чиновники, городское и окружное начальство облагали население трудовой и гужевой повинностью для его личных нужд. Он исхлопотал себе привилегию на устройство лотерей и обчищал карманы приманкой выигрыша в лотерею или в игорном доме. Он оплел всю страну широко разветвленной сетью многообразных предприятий. Он блаженствовал и упивался своим могуществом. Но порой ему казалось, что не от него исходит весь этот сверкающий вихрь. И не раз, точно обороняясь, как в ознобе, передергивал плечами. Его вдруг охватывало какое-то гнетущее чувство. Все предметы вокруг него как-то странно блекли; ему чудилось, будто он скользит в беззвучной, призрачной кадрили, рабби Габриель держит его за правую руку, герцог за левую. Они выделывают замысловатые фигуры, отвешивают поклоны. А там, дальше, в цепи танцующих, сплетенный с ним множеством рук, разве то не Исаак Ландауер? Как зловеще комичен он в лапсердаке и с пейсами, при этом строгом, молчаливом, размеренном танце, поворотах и поклонах.

Но мрачная призрачная картина терзала его лишь краткие мгновения. Она таяла перед озаряющим его светом, рассеивалась в ничто, распылялась. А ему остава-

лось золото, которое можно взвешивать и считать, женская плоть, которую можно осязать и ласкать, стискивать, брать. Это было и оставалось. Блеск, власть, вихрь, жизнь.

В Урахе имелаась полотняная фабрика, которая принадлежала семье Шертлинов. Шертлины начали дело с малого при Эбергарде-Людвиге, а теперь пустили корни по всей стране. Их предприятие процветало, у них были филиалы в Маульбронне, а в Штутгарте шелковая мануфактура. В свое время, когда фабрика была еще мала и незначительна, Кристоф Адам, энергичный, умелый и удачливый глава семьи Шертлинов, добился ее преобразования в акционерное общество и уступил графине Гревениц часть паев по цене много ниже номинала. Таким простым маневром могущественная фаворитка была вовлечена в интересы предприятия, она добывала компании заказы и всяческие привилегии. Позднее, когда графиня впала в немилость и была вынуждена ликвидировать свое имущество, находящееся в Вюртемберге, Кристофу Адаму Шертлину удалось, договорившись с Исааком Ландауером, скупить ее акции по дешевой цене. Теперь он удалился от торговых дел, покинул пределы герцогства, приобрел и реставрировал патрицианский дворец в вольном имперском городе Эслингене. Там он был избран в члены муниципалитета и достойно доживал свой век в довольстве и почете.

Дела штутгартской, урахской и маульброннской мануфактур вел теперь Иоганн Ульрих Шертлин, дельный, решительный, предприимчивый человек, один из виднейших швабских промышленников. Он взял себе в жены француженку из эмигрантской колонии Пинаш, основанной вальденсами в конце прошлого столетия в Маульброннском округе, молодую женщину, отличавшуюся своеобразной красотой, маленьким ярко-пунцовым ртом на белом лице и надменными продолговатыми глазами под ореолом рыжеватых волос. Друзья и родственники не знали, как держать себя с ней. Женщина она была видная, спору нет, но только дьявольски высокомерная, отвечала скупой и кратко, а большой частью молчала со скучающим видом; да и говорила она, хоть и родилась в Германии, почти всегда на романском наречии, а по-немецки с запинкой. Но Иоганн Ульрих Шертлин при своем богатстве и видном положении мог себе все позволить; у него были собственные дома и в Штутгарте и в Урахе, не считая фабрик. Так мог же он, черт подери, взять себе в жены и ввести в свой дом кого хотел! И он гордо проходил по жизни об руку с любимой женой, и семья и дело его процветали.

А у Зюсса был приятель, связанный с ним деловыми отношениями, некий Даниель Фоа, который жил в Венеции и добывал ему из стран Леванта деньги, лошадей, драгоценности, ткани и вина. Белую кобылу Ассиаду доставил тоже он. Этот Даниель Фоа был знаком Зюссу еще по Пфальцу, где оказал ему весьма существенную поддержку в борьбе с доном Бартелеми Панкорбо. Левантинец, смелый, способный делец, наладив широкую торговлю тканями вверх и вниз по течению Рейна, решил теперь, воспользовавшись влиянием Зюсса, пробраться и в Швабию.

Он получил всяческие льготы и привилегии, однако натолкнулся на конкуренцию шертлиновских мануфактур, которые снискали себе добрую славу по всей стране. Желая оказать услугу левантинцу, Зюсс с присущим ему холодным расчетом принялся безжалостно устранять эту конкуренцию. Начались придирки к шертлиновским фабрикам, их права оспаривались и постепенно сводились на нет, их договоры с казной расторгались, акциз и пошлины на их товары были настолько повышены, что они уже не могли выдержать конкуренцию. К тому же сам финанцир-ектор, в качестве подставного лица, на свое имя открыл для Даниеля Фоа фабрику, а податное ведомство не осмеливалось начислять на всесильного временщика налоги в указанных грандиозных масштабах, и товары его облагались либо совершенно ничтожными сборами, либо вовсе не облагались.

В дальнейшем начались притеснения и самой семьи Шертлинов. С одним из них фискальное ведомство по самому ничтожному поводу затеяло тяжбу, из которой он никак не мог выпутаться, двое младших Шертлинов были призваны в армию, несмотря на предложенный ими большой выкуп. Добраться до старика Кристофа Адама, проживавшего в вольном городе Эслингене, правда, не удавалось, Иоганна Ульриха пока тоже не смели тронуть, но произвол еврея тягчайшим гнетом навис над этой семьей, и Иоганн Ульрих изнывал от горя, что дело его погибает, от стыда, что двое молодых Шертлинов силой забраны в армию, и от скорби, что он не может окружить свою прекрасную супругу княжеской роскошью, о какой мечтал для нее.

Тут наконец Зюссу подвернулся капкан, в который он мог поймать Иоганна Ульриха. Один из молодых Шертлинов, что был солдатом, получил отпуск для поездки в Эслинген к деду и не вернулся оттуда. Переговоры между герцогом и вольным городом по поводу выдачи дезертиров шли давно, но пока ни к чему не привели. По настоянию маститого члена магистрата город отказался выдать юношу. В это время лейб-гусары Зюсса перехватили письмо

Иоганна Ульриха, в котором тот поддерживал старика в его намерении не выдавать дезертира герцогским комиссарам. Это уж было преступление против военных законов, государственная измена.

Зюсс, имея на руках все козыри, приступил к делу осторожно, не торопясь. Сначала Иоганну Ульриху было предложено явиться к герцогскому военному следователю. Но так как самолюбивый купец ответил гневным отказом, его арестовали и заключили в гогентвильский каземат. Ходили толки, что его будут судить военным судом и приговорят к пожизненной каторге.

В опустевшем доме сидела бледная как смерть француженка. Строго сжав полные пунцовые губы, она безмолвно принимала любопытствующее сочувствие родни и друзей. Когда же все устали утешать гордячку, которая ни при ком даже не соблаговолила всплакнуть, и оставили ее в покое, к ней пожаловал советник Бюлер из фискального ведомства, состоявший в отдаленном свойстве с Шертлинами. Те всегда открепчивались от него, считая его креатурой Зюсса. Теперь он явился с важным видом, едва скрывая свое торжество: разыграл комедию снисходительного сострадания, нашел, что француженка очень авантажна в своей немой высокомерной скорби, посоветовал ей обратиться к Зюссу. На того наговаривают, будто он крут в делах, это и вполне естественно, однако он не мстителен.

Любила ли француженка своего мужа, этого не знал никто, не знала и она сама. Но так как близился суд, она отправилась к Зюссу.

Она была из хорошей семьи, в их роду сохранились навыки французской придворной жизни, пышных аристократических традиций. Она увидела апартаменты еврея, его темно-малиновых лакеев, пажей. Увидела ковры, статуи, китайские безделушки. Это было не похоже на добротное убранство в доме Шертлинов. Здесь было то великолепное изобилие, то излишество, что превращает жизнь из тяготы, из обузы в уладу, в упоение, в нечто желанное и милое сердцу. Зюсс был настроен на веселый лад, и гостя ему приглянулась. Он обошелся с ней как со знатной дамой, говорил только по-французски, заметив, что ей это больше по душе, окутал ее лаской светских комплиментов, ни словом не обмолвился о ее горе. Это была ее атмосфера; приди она не в роли просительницы, она досталась бы ему шутя. Но теперь, когда он неожиданно, с циничной развязностью перебросил мостик от ее просьбы к своему вожделению, она, смертельно побледнев, на миг застыла, ошеломленная. Очнувшись, она крикнула ему негодующим тоном, что стыдится своего поведения, ей следовало раньше вспомнить, что она имеет

дело с евреем. В ответ он спокойно, не поведя бровью, улыбнулся, отвесил глубокий поклон: «Нет так нет!» — почтительно проводил ее до двери и на прощанье поцеловал руку.

Он освободил Иоганна Ульриха из тюрьмы и удовольствовался тем, что предоставил окончательное решение вопроса фискальному ведомству. Иоганн Ульрих отделался денежным штрафом, настолько, однако, высоким, что предприятие его было подорвано навсегда.

Встреча с Зюссом оставила в душе француженки жгучий след. До сих пор она не знала, любит ли мужа или нет. Теперь осознала, что презирает его. Его долг был преуспевать. Он был недостоин ее, если не преуспел. Она презирала его за то, что он не мог предоставить ей блеск, изобилие, и темно-малиновых лакеев, и китайские безделушки, как мог Зюсс, презирала за то, что он был побежден Зюссом, что она ради него стояла перед Зюссом в такой жалкой роли. Она презирала его за то, что ради него отклонила домогательства Зюсса. Зюсс — это высший свет, он сродни ей, Иоганн Ульрих — ничтожный мещанин. Обо всем этом и даже о своем визите к еврею она не обмолвилась Иоганну Ульриху ни словом. Он кипел против еврея, кричал, грозил кровавой местью. Но все это было праздное пустословие. Ее продолговатые глаза с холодным, надменным равнодушием глядели на него, и он знал не хуже ее, что он сломлен, раздавлен и ничего никогда не сможет сделать.

Он опускался все ниже и ниже. Фабрика в Урахе была продана с торгов, проданы и филиалы в Штутгарте и Маульбронне. Приобрел их левантинец. А Шертлину, как постыдную подачку, предложили место управляющего на одной из принадлежащих ему фабрик. Возможно, что он и согласился бы, если бы жена резко и решительно не отклонила предложения, почуяв тут руку Зюсса. Другие члены семьи Шертлинов тоже были вовлечены в катастрофу. Пошли с молотка дома в Урахе и Штутгарте, земли и виноградники. Уцелел только старик Кристоф Адам в Эслингене. Он еще выше держал свою крупную старческую голову, еще сильнее ударял оземь бамбуковой тростью, крепко сжимая золотой набалдашник сухой, но не дрожащей рукой.

По примеру очень многих из тех, кто потерял во время правления Зюсса добро и кров, Иоганн Ульрих решил примкнуть к партии переселенцев, собравшихся в Пенсильванию. Француженка воспротивилась. Произошла короткая и жестокая борьба. Он избил ее, но остался на месте. Он открыл в Урахе мелочную лавку, скатился на самое дно, проводил время в кабаках, напивался, кощунственно клял герцога и окаянное жидовское хозяйство.

Хотя других тяжело карали за такие крамольные речи, его не трогали. А его мелочной лавке власти явно покровительствовали. Им, по-видимому, были даны соответствующие указания из влиятельного источника.

Француженка, хотя и бедно одетая, держала себя по-прежнему надменно. Ее продолговатые глаза бросали вокруг высокомерные взгляды. Если покупатель пытался вступить в пространный разговор, она отвечала скупой и кратко. Большею частью она молчала со скучающим видом. Да и говорила она, хоть и родилась в Германии, почти всегда на романском наречии, а по-немецки — с запинкой.

По роскошным апартаментам Зюсса прохаживался Исаак Ландауер в неизменном долгополом кафтане, на рукаве он упорно носил вюртембергский значок для евреев — латинское S с рогом, — чего никто от него не требовал. Блестящие зеркала, обрамленные позолотой и ляпис-лазурью, отражали его облик, умное, сухощавое лицо с пейсами и с козлиной рыжеватою седеющей бородкой. Финансдиректор показывал ему свой дом. Старик в долгополом кафтане постоял перед вазами, гобеленами, звенящими пагодами, с обидной насмешливой улыбкой оглядел торжество Меркурия, костлявой холодной рукой потрепал белую кобылу Ассиаду, прошел мимо двух пажей, сынков начальника удельного ведомства Лампрехтса, которые стояли навтыжку у входа во внутренние покои. Пощупал богатую обивку на мебели, с поразительной точностью определил ее цену. Остановился, покачивая головой, перед бюстами Моисея, Гомера, Соломона, Аристотеля и заметил: «Таким наш учитель Моисей сроду не был». Тут как раз попугай Акиба прохрипел из своей клетки: «Как изволили почивать, ваша светлость?»

Зюсс давно поджидал Исаака Ландауера. К этому визиту он готовил свой дворец тщательнее, нежели к визиту любого государя. Он старался уловить на лице гостя изумленное, восторженное одобрение; ему страстно, мучительно хотелось поразить человека в долгополом кафтане, именно его. Но Исаак Ландауер только покачал головой, потер зябкие руки, улыбнулся, заметил:

— К чему это, реб Йозеф Зюсс?

В кабинет из любопытства заглянула Софи Фишер, дочь обер-прокурора Фишера, которая уже две недели открыто числилась метрессой финансдиректора и проживала у него в доме. Это была рослая, видная девушка, белая, пышная, с рыжеватыми кудрями и очень красивым, но грубоватым лицом. Когда Зюсс выбрал ее за

непрощенное появление, она отговорила первым попавшимся предложением, оглядела, поджав губы, Исаака Ландауера и удалилась.

— К чему это, реб Иозеф Зюсс?—повторил Исаак Ландауер.—К чему непременно тридцать слуг? Вы разве лучше едите, лучше спите, когда у вас тридцать слуг вместо трех? Я понимаю, что вы держите при себе эту девку, я понимаю, что вам хочется иметь красивую столовую, мягкую широкую кровать. Но к чему вам попугай? Зачем еврею попугай?

Зюсс молчал, до корней волос пылая злобной досадой. Это уже не чудачество, это насмешка, прямая, явная насмешка. Ни один министр не отважился бы на то, что с самой невозмутимой самоуверенностью позволял себе старик в долгополом кафтане: открыто потешаться над ним. А он был бессилен перед этим стариком, он нуждался в нем и мог лишь молчать. Того и гляди чудак опять вытащит на свет божий старые, затхлые истории, которые давно утратили всякий смысл и никого больше не интересуют, например, равенбургский процесс о ритуальном убийстве и прочую ерунду.

И он, Зюсс, обязан все это выслушивать. Без Исаака Ландауера никакие финансовые операции невозможны. Эх, хорошо бы устранить компрометирующего чудака! А вместо этого надо радоваться, когда он хотя бы подпускает к себе. Пока что обойти его нет возможности.

Хозяин и гость говорили о неотложных делах, явно не доверяя друг другу и торгуясь. В сущности, Зюсс всегда был дающей стороной; однако ему приходилось тратить гораздо больше слов, чем его собеседнику, и при всей своей чванливости он неизменно чувствовал себя в роли обороняющегося. Взгляда Исаака Ландауера не выдерживала даже самая искусная маскировка, он сразу проникал в суть вещей, всякое притворство было бессильно перед ним; недоверчиво покачивая головой, отметал он мишуру красивых слов и своими зыбкими руками выхватывал самую сердцевину зюссовских дел—цифры. Чем больше хорохорился Зюсс, тем мучительнее вскипало в нем недовольство собой и досада. Он не хотел сознаваться себе, что им вертят, как марионеткой, что он пляшет под дудку старика в долгополом кафтане.

Когда дела были закончены и бумаги подписаны, Исаак Ландауер заговорил на сей раз не о равенбургском детоубийстве, а о другой еврейской истории из вюртембергских анналов. Речь шла об известном еврейском художнике Аврааме Калорно и о генеральном консуле Маджино Габриели, и случилось это лет сто тому назад, при герцоге Фридрихе Первом. Герцог привлек обоих итальянских евреев в свою страну весьма заманчивыми

обещаниями. Он был прямо околдован приятными манерами, ученостью, финансовой сноровкой и талантом еврейского художника, питал к нему неограниченное доверие, решительно и сурово отклонял все протесты духовенства и ландтага и даже ради евреев изгнал за пределы герцогства епископа Озиандера, меж тем как Авраам Калорно и его сородичи привольно и пышно проживали в Штутгарте. Но и эта история окончилась бедой и злосчастьем, одних евреев подвергли мучительным казням, других голыми и босыми прогнали из страны, и въезд в герцогство был евреям на долгое время запрещен.

— Они обзывают нас гложущими червями,— сказал Исаак Ландауер.— Пусть так, а сами они разве не гложут друг друга? Все, что живет,—гложет. Один гложет другого. Теперь ваш черед, реб Йозеф Зюсс. Обглаживайте, что можно и пока можно!—И он засмеялся обычным своим гортанным смешком.

Покинув наконец финансиционера, который нехотя слушал его, старик в долгополом кафтане прошел через аванзалу мимо насмешливо и злобно шушукающейся толпы просителей. В дверях он столкнулся с новыми гостями: с председателем церковного совета Вейсензе и его дочерью. Магдален-Сибилла, увидев Исаака Ландауера, приняла его за Зюсса. Таким вот, плюгавым, неопытным, в долгополом кафтане и с пейсами, какими изображались евреи на лубочных картинках, рисовала она себе и мерзкого посланца Вельзевула.

Когда прелат Вейсензе, получив пост председателя церковного совета, явился к Зюссу с благодарственным визитом, тот очень любезно и непринужденно сказал, что слышал, будто у господина председателя весьма авантажная дочь. Было бы обидно, если бы цвет швабских девиц красовался вдали от столицы; Людвигсбург и Штутгарт не столь богаты, чтобы отказать себе в обществе дамы таких достоинств, какими, судя по описаниям, обладает мадемуазель Вейсензе. Прелат угодливо повел носом, польщенный интересом его превосходительства. Ему гораздо скорее, чем он ожидал, удалось убедить дочь поехать с ним в Штутгарт, чтобы представиться Зюссу. В просьбе отца она усмотрела перст судьбы. Где же еще было ей выполнить свое предназначение, где же легче вновь встретить дьявола, как не у его мелких посланцев, у герцога и у еврея? И она настороже и во всеоружии поехала с отцом в резиденцию.

Когда она поняла, что Исаак Ландауер не тот еврей, она была несколько разочарована, но ожидание стало еще напряженнее. Их приняли раньше других. Мимо вытянувшихся в струнку лакеев она прошла впереди отца в кабинет, увидела Зюсса, узнала в нем дьявола, покачну-

лась и упала без чувств. Очнувшись, она услышала мягкий, бархатный голос:

— Я совсем обескуражен, что этот прискорбный инцидент приключился в ту минуту, как мадемуазель впервые переступила порог моего дома.

Ее отец что-то ответил. К ее носу поднесли флакончик с нюхательной солью. Не надо открывать глаза, чтобы не говорить с ним, не смотреть ему в лицо. Когда ей волей-неволей все-таки пришлось вернуться к жизни, она увидела, что глаза Вельзевула, крылатые, пламенные, выпуклые, скользят по ее груди и бедрам, и у нее дух захватило от нестерпимого сладостного стыда.

Пока девушка лежала без чувств, Зюсс успел оглядеть ее с ног до головы и оценить ее цветущую девственную красоту. Ее обморок — следствие потрясающего впечатления, которое он, очевидно, на нее произвел, утешил его и поднял в собственных глазах после неприятного разговора с Исааком Ландауером. Как она лежит и дышит! Как прекрасен очерк ее матово-смуглого и не по-женски смелого лица, как волнует взлет густых бровей! Пока лакеи бегали за лекарствами и за врачом, Зюсс обдумывал, можно ли отважиться расшнуровать ей корсет. С Вейсензе, старым подобострастным царедворцем, церемониться было нечего.

Но тут она открыла глаза, такие неожиданно синие при темных волосах. Он помог ей подняться, он увивался вокруг нее, лаская ее взглядом, звуком голоса, нежными прикосновениями, почтительный, галантный, покорный, пуская в ход все свое искусство, изошренное долгим опытом. Когда девушка обратила к нему бледное смуглое лицо и полуугрожающий-полувосторженный взгляд смятенных глаз, он легкой, светски изысканной беседой уравновесил ее бессвязный лепет. В распоряжение гостей он предоставил носилки, экипаж, врача. Ни одним словом не пытался удержать председателя церковного совета. Сам под руку проводил Магдален-Сибиллу до экипажа, мимо отвешивающих подобострастные поклоны просителей. В то время как они проходили через вестибюль, им навстречу попала Софи Фишер. Лениво проплыла мимо них белокурая пышнотелая девушка, искоса, злобно, с любопытством взглянула на Магдален-Сибиллу.

Перед домом на Зеегассе — толпа зевак. Ночь, слякоть, дождь пополам со снегом, порывы ветра теребят одежду, пробирают насквозь. Люди тесно сгрудились, ждут, смотрят, как, громыхая и прорезая огнями тьму, подъезжают кареты на костюмированный бал к Зюссу.

У подъезда пылают смоляные плошки. Все окна ярко освещены. Двери распахнуты настежь, темно-малиновым монументом высится швейцар с булавой, три лакея открывают дверцы экипажей.

Нескончаемый поток карет. Это не один из тех балов для широкой публики, из которых Зюсс делает предмет наживы и где он по спискам проверяет, кто из придворных, чиновничества или горожан посмел не явиться. Темн своими публичными празднествами он вынудил столицу и герцогскую резиденцию Штутгарт более пышно, чем раньше, справлять карнавал, чтобы ее обитатели за один раз прокутили и просадили в его пользу столько денег, сколько обычно тратили за несколько недель; теперешний же костюмированный бал был устроен единственно для того, чтобы избранным показать его величие и великолепие. Лишь самые знатные кавалеры, лишь прекраснейшие дамы из приближенных герцога были званы на этот бал.

Из-за шеренги лейб-гусаров Зюсса и городских стражников обыватели вытягивают шеи, чтобы под верхним платьем разглядеть костюмы подъезжающих гостей. Прибывают министры, генералы, двор. Вот тощий тайный советник Шютц в костюме испанского гранда; его крючковатый нос кажется вдвое больше, выступая над брыжами. А багровый громоздкий Ремхинген еще по дороге вспотел в тяжелой меховой шубе русского боярина. Его настроение портится еще сильнее, когда он у дверей сталкивается с господином де Риолем, одним из тех бродячих кавалеров, которые при всех дворах чувствуют себя как дома, разносят по Европе сплетни об аристократии всех стран, заправляя и торгуя великосветской молвой. Женщины в толпе громко фыркают; даже полицейские скалят зубы при виде вертлявого господинчика, наряженного китайцем, но оставшегося в пудренном парике. И правда, смешно смотреть на этого карлика с развратным, составившимся детским лицом, когда он семенит подле рослого Ремхингена. Генерал, звеня шпорами, величаво и грузно шагает рядом с низеньким фатоватым иностранцем; однако он знает, что герцогиня либо из жажды разнообразия, либо чтобы позлить его и сегодня, как все последние дни, предпочтет ему глупого французского болтуна.

Сквозь толпу, пешком, протискивается Нейфер, советник ландтага по юридическим вопросам, одетый в непонятный зловещий ярко-красный костюм; ему вслед несется ропот и брань; из членов парламента приглашен только он и Вейсензе. Его обгоняет весьма аристократическая, подчеркнута скромная карета старого князя Турн-и-Таксиса. Князь прибыл вчера в гости из Регенсбурга; его узкая изящная голова, похожая на голову борзой, высту-

пает из темно-малинового костюма гемуэзского вельможи, он предвкушает удовольствие впервые показаться сегодня в этом наряде, который придает ему особенную стройность. Но ему явно не везет с этим евреем. Тогда, в замке Монбжу, бледно-желтая гостиная убила его бледно-желтый кафтан, а теперь эта еврейская бестия вырядила весь свой штат в темно-малиновые ливреи, так что его, князя, можно принять за лакея, и весь эффект его темно-малинового костюма бесповоротно пропал. Рядом с раздосадованным князем плетется маленький, невзрачный толстяк — тайный советник Фихтель, приехавший на два дня в Штутгарт с письмами от вюрцбургского епископа; в шароварах и турецком кафтане он напоминает мяч, его хитрая физиономия весело выглядывает из-под фески, мясистой ручкой он игриво машет толпе, недовольно шушукующейся при виде католиков.

Вот подъехала расхлябанная темная карета, на запятках один-единственный лакей в потрепанной старомодной ливрее, из кареты как-то особенно бесшумно вышел и проскользнул к двери сквозь затихшую толпу зевак курпфальцский тайный советник дон Бартелеми Панкорбо, с сизым, костлявым лицом: сам герцог вынудил Зюсса пригласить торговца драгоценностями, который обосновался в Штутгарте на продолжительный срок. Дон Бартелеми Панкорбо явился в обычном своем виде, обтянутый кожей череп торчал из болтающейся на нем, плохо прилаженной допотопной придворной одежды, другого костюма ему для маскарада и не требовалось.

Точно в назначенный час подъехала герцогская карета. Из нее, на сей раз только слегка прихрамывая, вышел Карл-Александр, одетый античным героем, величественный, импозантный; Мария-Августа изображала богиню Минерву, ее стройная талия, подобно стеблю, поднималась из пышных сине-зеленых фижм, а ящеричья головка грациозно поворачивалась направо и налево. Сегодня на ней был парик, над ним изящный золотой шлем, грудь облегалo подобие тонкого золотого панциря; один паж нес за ней щит, другой — сову.

Фанфары собрались уже грянуть навстречу герцогской чете, на пороге парадной залы уже появился Зюсс, а гости уже чинно расступились, когда герцог почему-то замешкался в вестибюле. Он увидел рядом со своим председателем церковного совета высокую, статную девушку, наряженную флорентинской цветочницей; когда она, снимая плащ и поправляя гигантскую, всю в лентах, соломенную шляпу, на миг сбросила маску, он разглядел не по-женски смелые очертания смуглых щек, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными густыми бровями. Его охватило волнение, какого он давно не

испытывал при виде женщины, ноги у него подкосились, под ложечкой засосало. Герцогиня, мило улыбаясь, переводила быстрый взгляд с Карла-Александра на девушку, которая поспешила вновь надеть маску.

— Я полагаю, ваша милость, нам следует войти в зал,— сказала Мария-Августа.

К ним как раз приближался Зюсс, стройный и элегантный в костюме сарацина.

— Кто эта дама?— спросил Карл-Александр.

— По моему разумению, девица эта— дочь Вейсензе,— отвечал еврей.— Мадемуазель Магдален-Сибилла Вейсензе.

Затем высокие гости проследовали в зал. Приветствуя их, низко склонились все присутствующие, фанфары загремели.

Так как герцогиня обожала театральные представления, Зюсс начал вечер с маленькой итальянской оперы «Развратник поневоле». В этом спектакле впервые выступала новая певица, неаполитанка Грациелла Витали, миниатюрная бойкая толстушка с загорелым, хорошеньким и пошловатым личиком и резвыми глазками. Зюсс рассчитывал, что она произведет впечатление на герцога, который был падок до женщин такого пошиба. На этом основании он обнадежил певицу заманчивыми перспективами, и, когда после спектакля ее представили герцогу, она принялась заигрывать с ним, на глазах у всех жестами и взглядами предлагала ему себя, рассчитывая, что он тут же удалится с ней в какой-нибудь укромный будуар. Но Карл-Александр проявил к ней рассеянный, мимолетный интерес, пробормотав что-то вроде: «Потом, потом!» На уме у него сегодня явно была другая. Неаполитанке стоило большого труда сохранить маску развязной веселости, зато, улучив минуту, когда они остались вдвоем с Зюссом, она от злости чуть не выцарапала ему глаза.

Магдален-Сибилла и во время представления не решалась снять маску, пряча под ней и под большой соломенной шляпой судорожно подергивающееся лицо. Она охотно склонилась на уговоры отца приехать сюда; но теперь мужество ей изменило. У нее нет сил противоборствовать дьяволу. Лучше бы ей никогда не переступить порог этого зала. Она совсем истерзана и разбита выпавшей на ее долю миссией. Лучше бы ей остаться в Гирсау, лучше бы не встречать дьявола. Ей не по зубам этот жесткий кус, как она ни бьется, ни изводится, стараясь его проглотить. Суетна и дерзновенна была ее мечта своими слабыми руками привести дьявола к престолу божьему. С тех пор как она узнала, увидела в Зюссе дьявола, душу ее грызет злая тоска. Как взывала она к богу! Но бог безмолство-

вал. Книги смирения, познания, самоотречения — бумага, и только бумага. Она обращает взор к небесам, чая раствориться в божестве; но небеса пустынные, никто не сходит к ней, дабы вознести ее ввысь, все кругом тускло, голо, тупо и мертво. В сочинениях Сведенборга написаны слова, но они не звучат для нее, они ее не захватывают, она бежит к Беате Штурмин, к слепой, к святой, но та бессильна что-нибудь сказать ей; святая — всего лишь жалкая, больная старая дева, окруженная душной атмосферой безысходной скуки.

С того раза она еврея больше не видела. Он несколько раз осведомлялся о ее здоровье, посылал ей цветы и даже однажды навестил ее отца, но она уклонялась от встречи с ним. Только раз она видела его, — он во всем своем великолепии проезжал по дворцовой площади на белой кровной кобыле Ассиаде. Проклятия, ненависть, зависть неслись ему вдогонку, но не доносились до него, Люцифер даже не оглянулся. И она смотрела ему вслед и чувствовала себя еще бессильнее, чем проклинаявшие его народные толпы. Те хоть выражали свою ненависть словами, у нее же от собственного бессилия сжималось сердце, немели уста и сгибались плечи.

Она долго колебалась, прежде чем решилась пойти на бал. И в самом деле — этот вечер принес ей одно разочарование и тяжкую обиду. Зюсс нимало не интересовался ею, у него нашлось для нее лишь несколько равнодушно-учтивых слов приветствия. Откуда было ей знать, что это тонкий расчет, она видела только, что Люцифер ни разу на нее не взглянул. Она сбросила маску со смелого, смуглого, а сейчас жалко растерянного, подергивающегося лица: Люцифер на нее и не взглянул. Этот удар был для нее больнее, чем поражение.

Зато не он, а другой теперь вторично увидел смуглое растерянное лицо и смотрел на него долгим, опытным, сладострастным взглядом, пристально смотрел в ярко-синие, вдумчивые глаза, странно контрастирующие с темными волосами. Какова, черт возьми, девица Вейсензе! Значит, такие водятся и среди швабов, среди его подданных. Да, эта швабка не чета другим. Никогда не подумал бы Карл-Александр, что у Вейсензе, у старого лиса, в доме распустился такой цветок. Он ехал на этот праздник с какой-то смутной, беспредметной жадной новизны. Он хорошо поработал, потом отдохнул и чувствовал себя бодрым. Вот оно, новое и ни на что не похожее! Теперь празднество приобрело для него смысл. Итальянская актриса, о которой ему столько напел Зюсс, лишь сильнее разожгла в нем аппетит к этой свежей, юной, невиданной швабке.

После оперы гостей приглашают к столу. Ужин

роскошно сервирован, одни кушанья сменяются другими. Маски сбрасываются, открывая разгоряченные лица, одновременно чуждые и знакомые, и маскарадный костюм делает их еще завлекательнее. Пряные блюда, крепкие иноземные вина, зазорные тосты.

Из гигантского пирога—чуда кулинарного искусства—выскакивают четверо детей—Парис и три богини; но ни одной из них Парис не отдает яблока, а преподносит его герцогине. Тайный советник Фихтель, круглый, как шар, в своем турецком наряде, произносит застольную речь, написанную бойким александрийским стихом и полную лукавых и язвительных нападок на ландтаг, после чего офицеры-католики устраивают шумную овацию герцогу.

В зал врывается хоровод гномов, они опустошают витрины с драгоценностями и, паясничая, подносят дамам сверкающие дары, которые приготовил им Зюсс. Внимательно наблюдает дон Бартелеми за тем, как они раздают камешек за камешком, цепочку за цепочкой, пряжечку за пряжечкой. Нелепо вздернув правое плечо и вытянув из парадных брыжей старинного португальского костюма жилистую шею, долговязый человек с костлявым сизобагровым лицом неумоимо рыщет по сторонам прищуренными щелочками глаз. Глубоко залегли они в глазницах сплюснутого черепа, зорко выглядывают оттуда. Курпфальцский тайный советник и главный коммерческий директор табачных фабрик просил дам показать ему подарки и точно определял их цену. С глубокой неприязнью слушал Зюсс глухой, бесстрастный, тягучий голос, который так часто забивал его на торгах, перехватывал у него сделки, не давал ему выйти в люди. Содрогаюсь от безотчетного ужаса и омерзения, следил он, с какой старческой страстью дон Бартелеми пропускает искристые камни сквозь длинные сухие посиневшие пальцы. Они смотрели друг на друга искоса, словно два готовых к нападению коршуна—один старый, облезлый, умудренный опытом, другой меньше, моложе, азартнее в игре.

— Хорошие камни, отличные камни,—говорил дон Бартелеми.—Но по сравнению с солитером—все они дрянь. Дайте-ка взглянуть на ваш солитер,—сказал он, обратясь к Зюссу. И, с нежностью сжав камень паучьими пальцами, он пролаял глухим басом под молчание насторожившихся гостей:—Сколько вы хотите за камень, господин финансирующий директор?

— Я его не продаю,—ответил Зюсс.

— Хотите пфальцские табачные фабрики?—настаивал португалец.

— Я его не продаю,—резко повторил еврей.

Нехотя возвратил дон Бартелеми перстень, а герцогиня заявила:

— Ну, теперь мой еврей надевает на палец пфальцские табачные фабрики.

Но тут подали десерт. На сей раз француз-кондитер превзошел себя, у булочника Бенца на целую неделю пропал бы от зависти сон, если бы он увидел мастерские сооружения из теста и мороженого, изображавшие крепости, завоеванные Карлом-Александром; но еще замечательнее, по общему признанию, был торт — копия Меркурия, трубящего в победный рог тут же на плафоне столовой.

После ужина начался бал, а герцогская чета вместе с самыми избранными гостями расположились в зимнем саду. Мария-Августа злословит с господином де Риолем, который здесь, среди тропических растений, в этом широком кимоно смахивает на переряженную обезьяну своим безбородым, подвижным, похотливым лицом. Дон Бартелеми постукивает по мрамору и ляпис-лазури, царапает лепку и позолоту, рассматривает витрины с драгоценными безделушками. Тайный советник Фихтель потягивает кофейный напиток и ведет со своим другом Вейсензе дипломатическую беседу, сотканную из намеков и оговорок. А Ремхинген вымещает на Зюссе свою обиду на герцогиню, донимая невозмутимо вежливого хозяина грубыми и сальными островами.

В сторонке сидит герцог с Магдален-Сибиллой.

Сразу после ужина он, сильно подвыпив, намекнул Зюссе, чтобы тот предоставил ему свою спальню и будуар и под каким-нибудь предлогом привел туда Магдален-Сибиллу. Зюсса эти слова кольнули точно острой и тонкой иглой, он вспомнил первую их встречу в лесу, когда девушка, увидев его, вскрикнула и убежала, и как потом она упала в обморок у него в кабинете и лежала бледная, беспомощная и такая юная; собственно говоря, Магдален-Сибилла принадлежит одному ему, не нужно быть слишком проницательным, чтобы понять, какой беззаветный порыв толкает к нему девушку, — и теперь, когда Карл-Александр заговорил о ней, Зюсс почувствовал неистовое желание обладать ею. Но он раз навсегда приучился к тому, что на первом плане — дела и герцог, а уже потом женщины, сладострастие и сантименты, и без минуты колебания ответил с обычным раболепно-преданным взглядом, что рад служить его высочеству. Однако считает своим долгом почтительнейше предупредить его светлость, что девица, насколько ему известно, святоша, пьетистка, а следовательно, неподатлива и вдобавок подвержена обморокам; к тому же, по его разумению, эта бочка еще не почата.

— А ты уже пробовал? — зычно захохотал герцог. И повторил снова: — Ты уже пробовал? — Сегодня его как раз тянет на такое блюдо, а святость ее — особо пикантная приправа. И он игриво и благосклонно кивнул Вейсензе, который неподалеку вел изысканную беседу с Фихтелем и Шютцем.

И вот, сидя теперь с ней в зимнем саду, он подсмеивался над ее пиетизмом. Хотя сам он католик и, значит, отпетый еретик, однако и государственный церковный совет, во главе с ее отцом, безусловно компетентный в такого рода вопросах, никак не согласен с этим сумасбродным вероучением; как раз вчера ему пришлось подписать рескрипт, под страхом строгой кары воспрещающий некой фрау фон Мольт устройство сектантских собраний. Однажды ему случилось встретиться с их святой, с Беатой Штурмин, главой всего движения, и он про себя подумал, что близость к ангелам, по-видимому, не придает женщине шарма; однако теперь, познакомившись с ней, с Магдален-Сибиллой, он убедился, что общение с богом и ангелами имеет и положительную сторону. Не согласится ли она просветить его? Магдален-Сибилла с тоской выслушивала пошлые шутки. Она боялась Карла-Александра, боялась его воспаленного лица и похотливых глаз. Его скабрёзности ее не раздражали, она чувствовала, что бог отступился от нее, иначе она не потерпела бы такого богохульства и неустрашимо бросила бы в лицо этому свирепому Навуходоносору свое негодующее презрение. А сейчас она ощущала лишь гадливость, она была полна усталости и печали, а бог пребывал во мраке, бог не удостаивал ее ответа, бог отринул ее.

Зычный голос Карла-Александра назойливо терзал ей слух. Она ошибается, если полагает, что он совсем несведущ в таких вопросах. В Венеции он водил знакомства с духовидцами; Сведенборга он, правда, не читал, зато он и здесь, в Германии, знает одного мага, который предсказывает будущее и на самой короткой ноге с отцом небесным. Но это всего лишь старый еврей, и Магдален-Сибилла ему, герцогу, куда приятнее, так что если впредь он вздумает спросить совета у господина бога, то, с ее разрешения, обратится прямо к ней. При этом он снял маску, и его алчные, наглые глаза с неприкрытым вождением впились в нее.

В зимнем саду было невыносимо жарко, диковинные деревья и цветы шевелились в сиянии свечей, точно люди, волнующие звуки музыки плыли издалека, у Магдален-Сибиллы мучительно болела голова, взгляды и речи герцога резали ее точно остро отточенным ножом. Она видела, как слова срывались с его полных, похотливых,

страшных губ, налетали на нее, кололи ее, щипали, царапали покровы ее души. Она чувствовала, что ее напряжение достигло предела, вот сейчас она совершит что-нибудь дикое, безумное; но тут в последний миг ее спас паж герцогини, передав ей приглашение представиться ее светлости.

Мария-Августа сидела среди целого сонма приближенных; подле нее были Зюсс, господин де Риоль, тайный советник Шютц, актуарий Гетц, в костюме пастушка, белокурый, тупой, румяный, родовитый юноша с матерью, тайной советницей Гетц и с сестрой, Элизабет-Саломеей. Обе дамы, мать и дочь, до смешного походили друг на друга, они казались сестрами, обе хрупкие, стройные, очень привлекательные, с пышными светлыми волосами, нежным цветом лица и большими, мечтательными, глупыми глазами. Они сидели среди гостей, белокурые, миловидные, в довольно шаблонных, вышедших из моды костюмах пастушек, звонкими, наивными голосами и ласковыми, неумными глазами выражая герцогине свои приторные восторги. Только что, возвращаясь в зимний сад, лениво пронесла мимо них свои роскошные формы красивая метресса Зюсса, Софи Фишер, и Мария-Августа не могла отказать себе в удовольствии подтрунить над своим придворным евреем. Он, видите ли, должно быть в награду за дочь, добился производства ее отца, государственного прокурора Фишера, в советники экспедиции. Зюсс стоял перед дамами, мужественно-стройный и элегантный в костюме сарацина; бойко, без тени смущения, он ответил в тон, что, спору нет, девица Фишер была для него очень приятной и удобной экономкой, но после того как его светлости было благоугодно возвести ее отца в столь важный чин, он не вправе пользоваться и впредь ее услугами; дочь такого высокопоставленного чиновника — помилуйте, на что это похоже! Он улыбнулся и с наглой беспечностью добавил, что завтра же отпустит ее домой. Присутствующие были ошеломлены той циничной откровенностью, с какой он барственно-небрежным жестом увольнял и удалял свою метрессу. Герцогиня искренне забавлялась, господину фон Шютцу явно нравилась эта светская непринужденность, а юный, глупый актуарий Гетц не знал, как держать себя: он придавал большое значение соблюдению приличий и недоумевал, следует ли ему высказать Зюссу одобрение или одернуть его, и наконец решил молча изобразить на лице воинственный протест. А хрупкие, лилейные дамы Гетц, мать и дочь, изумлялись, с каким неподражаемым изяществом этот кавалер порывал амурную связь, и глядели на него с восхищением и нежным любопытством.

К этому кружку подошла теперь Магдален-Сибилла.

Герцогиня заметила, какое внимание уделял ей Карл-Александр; ей и самой нравилась наружность девушки, ее смуглое смелое выразительное лицо и странное сочетание ярко-синих глаз и темных волос. Марии-Августе не терпелось рассмотреть поближе, в чем ее обаяние. Она благожелательно протянула ей руку для поцелуя и окинула ее небрежным и бесцеремонным взором. Магдален-Сибилла искоса робко взглянула на Зюсса. Когда она подошла, он отвесил глубокий поклон, а теперь держался строго официально. Она была счастлива, что избавилась от разговоров герцога, она ощущала флюиды благожелательности, исходившие от герцогини, но равнодушное официальное выражение на лице Зюсса снова смутило ее. Она молча сидела в кругу гостей, продолжавших беспечный и бессодержательный разговор, и вдруг страх, напряжение, досада, обманутое ожидание разрешились неудержимыми слезами, бросившими ее к ногам герцогини. Озадаченные гости иронически усмехались, а герцогиня ласково гладила изящной, пухлой ручкой большую холодную руку девушки. Зюсс же поспешил ловко воспользоваться случаем, сказав, что берет на себя заботу успокоить ее, и увел смущенную, содрогавшуюся от рыданий девушку. Китаец Риоль хихикнул, усмехнулся испанец Шютц, маскарадный пастушок Гетц опять не придумал ничего лучше, как принять воинственный вид. А герцогиня, все так же весело болтая, искала глазами своего супруга и с удовлетворением отметила, что он подмигнул Зюссу, когда тот проходил с девушкой мимо него.

В комнате, куда еврей привел Магдален-Сибиллу, было прохладно по сравнению с залами, разогретыми пламенем свечей, винными парами и людским дыханием. То была комната перед опочивальней, из-за портьеры виднелась парадная кровать с золотыми амурами. Сюда, чтобы освободить место для маскарада, снесли из остальных покоев все хрупкие вещи: фарфор, китайские безделушки, клетку с попугаем Акибой. Шум праздника был здесь едва слышен, после сутолоки в залах свежий воздух, пустота, тишина, прохлада маленькой комнатки оказывали благотворное успокоительное действие.

Магдален-Сибилла сидела на низком диване, дыхание ее стало ровней, поза спокойней. Разгоряченная, томная после всех тревожений этого вечера, она была очень величава, и Зюсс стоял перед ней с вкрадчиво-предупредительной миной, страстно желая обладать ею. Какая досада и незадача, что сейчас придет другой, который, надо полагать, и не оценит, какой деликатес ему достался.

Девушка подняла на стоявшего перед ней мужчину

свои большие, вдумчивые глаза. Зюсс счел приличным ответить ей одним из тех взглядов раболепной преданности, на которые был великий мастер, сдобрив его ради особого случая небольшой дозой отеческого участия. Бедный Люцифер!—думала Магдален-Сибилла. Он такой заблудший и несчастный. Не надо горячиться и набрасываться на него с неистовыми и страстными заклинаниями. Я тихонько возьму его за руку и буду наставлять его ласковыми речами, пока он не найдет путей к богу. Как могла я сомневаться, хватит ли у меня сил для моего призвания? Он только ведь и ждет, чтобы кто-нибудь пришел и примирил его с богом.

— Я в отчаянии, сударыня,—говорил между тем еврей своим бархатным, ласкающим голосом,—что с вами в моем присутствии всегда приключаются неприятные инциденты. В первый раз, когда я имел счастье лицезреть вас под деревом в лесу близ Гирсау, вы убежали от меня. Затем, когда вы с вашим досточтимым родителем оказали мне честь своим визитом, вам стало нехорошо. Нынче я надеялся, что сделал все доступное мне по моим скромным силам для увеселения приглашенных гостей. И что же? К великому своему огорчению, я вижу, что опять не угодил вам. Неужто моя физиономия столь гнусна и богопротивна, сударыня? Или я могу надеяться, что это всего лишь фатальные совпадения?

И он склонился над величавой девушкой, зардевшейся от смущения.

— Довольно притворяться, господин финансовый директор,—неожиданно сказала она, набравшись храбрости, и посмотрела на него открытым и суровым взглядом фанатички.—Я отлично знаю, что вы Люцифер, сын Велиала, и вы знаете, что я послана и явилась, дабы вступить с вами в единоборство и привести вас к престолу божью.

У Зюсса накопился большой опыт в обращении с женщинами, он привык к сюрпризам, его трудно было смутить и озадачить. Но слова Магдален-Сибиллы явились для него такой неожиданностью, что он на миг утратил дар речи и впервые в жизни не нашел ответа. К счастью для него, Магдален-Сибилла, очевидно, и не ждала ответа, а, переведя дыхание, заговорила дальше. Ей вполне понятно, что он боится быть отвергнутым своим противником, богом; разумеется, неимоверно трудно отказаться от тысячелетнего заблуждения. Однако, как только он перестанет упорствовать в этом злостном заблуждении, душа его, словно очищенная от смрадных струпов, омоется в боге, как в ласковой, теплой, прозрачной воде. В таком духе она говорила еще долго, настойчиво и в пылу увлечения протянула ему руку.

Зюсс со свойственной ему гибкостью мигом настроился на пиетистский лад, схватил ее руку, начал излагать наспех состряпанное объяснение, и дело совсем бы сладилось, если бы в комнату внезапно не вошел герцог. Испуганно, ища защиты, с трудом переводя дыхание, Магдален-Сибилла расширившимися зрачками глядела на Зюсса. Но Зюсс учтиво заявил, что должен вернуться к гостям, и вот она очутилась одна с герцогом, и попугай завопил: «*Ma vie pour mon souverain!*», а в соседней комнате откровенно, на ярком свете стояла наглая парадная кровать. Хриплым, придушенным голосом Карл-Александр бросил какое-то шутливое замечание. Она видела его красное, потное лицо, видела его глаза, потемневшие, бешеные от животной страсти, вдыхала его хмельной, разгоряченный дух. Она пробормотала какое-то извинение и, с трудом передвигая ноги, направилась к двери, чтобы нагнать Зюсса и вернуться к гостям. Но дверь была заперта. Карл-Александр засмеялся сильным смехом, молча, так что слышалось одно ее дыхание, неторопливо отстегнул драгоценный античный панцирь. Со зловещей вкрадчивостью подошел к ней, зажал ее руку в своей, очень странной руке, тыльная часть была узкая, длинная, костлявая, волосатая, а ладонь — мясистая, жирная, короткая. Силы возвратились к девушке, бешено, хоть и безнадежно, оборонялась она против грузного, сильного, возбужденного мужчины.

Обрывки музыки донеслись издалека, девушка закричала; хрипло кряхтя, заметался в клетке попугай.

А за стенами комнаты неистовствовал маскарад, сбрасывая последнюю узду установленных светом правил, из каждого укромного уголка неся визг, гогот, возбужденные вскрики. Господин де Риоль одобрительно заметил господину фон Шютцу, что даже при польском королевском дворе веселье не достигает такого размаха.

Зюсс, вернувшись в зал, с каким-то злобным пылом бросился в водоворот маскарада. Он постарался улизнуть от герцогини, которая с легкой, сладострастно игривой улыбкой спросила его о самочувствии Магдален-Сибиллы, и принялся с такой свирепой настойчивостью ухаживать за матерью и дочерью Гетц, которыми тоже интересовался герцог, что актуарий Гетц, чьи грозные мины явно не производили впечатления, молча забился в угол и напился до бесчувствия, меж тем как его мать и сестра принимали циничные комплименты еврея с самозабвенным и приторно-глупым восторгом. Неаполитанская актриса, миниатюрная, загорелая, развратная толстушка, присоседилась к старому князю Турн-и-Таксису. Она сделала вид, будто не знает, кто он такой, будто заигрывает с ним, ластится и льстит ему, только пленившись элегантностью и аристо-

кратизмом его наружности и манер. Старый князь оживился, увидев, что и в темно-малиновом костюме, хоть и одинаковом с ливреями лакеев, он все же производит впечатление; досада его сразу улеглась. А к тому же Ремхинген тоже увивался вокруг актрисы, но она живо дала ему отставку, предпочтя корректного богатого старика князя сильно подвыпившему генералу, который пожирал ее осолопевшими глазами. А из своего угла актуарий Гетц тоже пялил на актрису восторженные глаза, отуманенные влюбленностью даже больше, чем винными парами; и неаполитанка, удерживая на расстоянии генерала, очаровывая старого князя, ухитрилась тут же единственным, но бесконечно красноречивым взглядом навсегда приковать к своей колеснице юного, глупого, белокурого и румяного пастушка.

Вейсензе, законовед Нейфер и вюрцбургский тайный советник Фихтель сыграли с Шютцем и господином де Риолем в «фараон». А теперь Фихтель попивал свой кофе, Вейсензе и Нейфер отдавали должное густому темно-красному канарскому вину, которое изо всей западной Германии водилось у одного только Зюсса; разговор шел о политике. Нейфер, возбуждавший немало насмешек своим нелепым и нескладным кроваво-красным костюмом, с жадным и мрачным любопытством вслушивался в абсолютистские теории, которые мягко, ненавязчиво, но вполне авторитетно развивал иезуит. Однако Вейсензе не был всецело поглощен беседой. С выражением беспокойства на умном сухощавом лице, он все время оглядывался, спрашивал всякого и каждого, не видел ли кто его дочери; но Магдален-Сибиллы не видел никто. И узкие, изящные руки Вейсензе стали потными, а глаза скептика тревожно бегали по сторонам.

Едва увидев Зюсса, он извинился перед собеседниками, с непривычной поспешностью бросился к нему в своей развевающейся венецианской мантии и спросил о дочери. Зюсс ответил небрежно, что у мадемуазель Вейсензе немного заболела голова и она уединилась в более тихую и прохладную комнату. Председатель церковного совета, едва владея собой, пожелал пройти к ней. Но Зюсс нашел, что будет лучше не беспокоить барышню; тем более что заботу о ней, насколько ему известно, соизволил взять на себя сам герцог. Говоря это, он в упор глядел на Вейсензе с невозмутимой развязно-учливой улыбкой. Тот задрожал и принужден был сесть. Зюсс после минутного молчания с прежней улыбкой как бы невзначай добавил, что герцог необычайно милостиво отозвался о новом председателе церковного совета и орден, а также повышение в чине не заставят себя долго ждать. Вейсензе как-то странно, безучастно, по-стариковски кивнул несколько раз головой,

установился с судорожно-любезной улыбкой на праздничную суету, потом внезапно хриплым и нетвердым голосом заговорил, не глядя на Зюсса, о своем обширном доме в Гирсау. Он нарисовал картину мирной и уютной жизни в этом поместье: виноградники, праздник жатвы, образцовое хозяйство, сельский покой; как усердно он там трудился над комментарием к Новому завету, а водоворот жизни бурлил где-то вдали, пенистые брызги лишь изредка долетали до него, и он смаковал их с наслаждением знатока; и как спокойно, скромно, рассудительно, вдумчиво жила там его дочь.

Прервав свои мечтания, предназначавшиеся скорее для себя, чем для Зюсса, он умолк так же внезапно, как и заговорил. Он сразу весь поник, одряхлел, элегантная венецианская мантия вяло и безжизненно повисла на нем, точно свернутые крылья летучей мыши. Еврей, стоя перед ним, беззащитным, сломленным, покоровшимся судьбе, оглядел его с ног до головы и, беспечным трезвым звонким голосом врываясь в его молчание, насмешливо произнес:

— Я никогда бы не подумал, что вы можете быть настолько сентиментальны.

— Да нет, ничуть,— запротестовал Вейсензе, стараясь овладеть собой.— Мне, ваше превосходительство, несвойственно убогать от жизни. Ни разу на своем веку не уклонялся я от самых рискованных походов. Любопытство— вот основа, на которой я строил свое существование.— Он попытался вызвать на лице привычную, легкомысленную усмешку.— Я, видимо, родился под беспокойной звездой. Она никогда не оставляла меня в покое, она влекла меня в заморские края и подзадоривала совать нос в дела творений божьих и дьяволовых. О, сладострастные воспоминания!

Но в то время как он силился воскресить эти воспоминания, белое, улыбающееся лицо еврея с выпуклыми карими глазами и чувственным ртом вдруг потускнело перед ним, и он вдруг ясно представил себе, что в нескольких шагах от него, за крепко запертой дверью, безнадежно борется и выбивается из сил его дитя. Он видел ее, видел, как отливает краска от смуглых, смело очерченных щек, как закатываются, застывая и стекленея, ее ярко-синие глаза под темными волосами. И посреди этого кошмара прозвучал деловой четкий голос Зюсса:

— Судя по обстоятельствам нынешнего вечера, я могу с полной уверенностью обещать вам орден и повышение в чине.

Как ни странно, он даже не испытывал ненависти к человеку, стоявшему перед ним с наглой и обязательной

улыбкой. Одна мечта, одно видение маячили перед ним: еврей сидит, такой же растерянный, истерзанный, а он, Вейсензе, стоит над ним с холодной улыбкой. Дальше он вел себя совсем как обычно, только все было мучительно нереально, он говорил и действовал словно марионетка, словно во сне. Он продолжал вежливо и приветливо раскланиваться, ответил на шутку герцогини, обменялся обдуманнми и дипломатичными репликами с советником Фихтелем, на ошеломляющую и очень тонкую непристойность господина де Риоля откликнулся еще более тонкой и циничной остротой. Но голоса были какие-то неживые, деревянные, люди двигались неестественно, как заводные куклы в паноптикуме. Когда в залу, грузный, огромный, прихрамывая заметнее чем обычно, вялой и развинченной походкой вошел герцог, даже он сквозь туманную дымку показался Вейсензе восковой куклой.

Однако при виде герцога ему все же удалось раздуть в душе искру надежды. Он отогнал свои видения, он заглушил свое знание, он не хотел признать его истиной. Торопливым, неверным движением подхватив венецианскую мантию, он загородил дорогу герцогу, всем своим видом являя настойчивый страстный вопрос: может быть, все-таки это не случилось? Но герцог не заметил его, он явно не хотел его замечать, он не удостоил его взглядом; несмотря на то что Вейсензе стоял совсем близко, он прошел мимо, уставясь в пространство и нарочито громко отрыгивая, чтобы скрыть явное смущение.

И Вейсензе сразу почувствовал себя безмерно старым и усталым. Он оглянулся, ища укромного уголка, и попал к столу, у которого в одиночестве сидел и выпивал актуарий Гетц. Тому очень польстило общество господина председателя церковного совета, он церемонно поднялся, хотя был уже нетверд на ногах, и стал отвешивать низкие поклоны по всем правилам этикета. Потом они сидели вместе за столом: один — старый, утонченный, истерзанный печалью, другой — молодой, неуклюжий, беспомощно барахтающийся в туманных мечтах; оба молча созерцали разгар праздничного веселья и пили.

А Карл-Александр проходил по залу, довольный, гордый и убоготоренный. Правда, минутами у него вырывался смущенный и упрямый смешок, как у школьника, который напроказил и хвастается, чтобы подавить стыд. Но таким своим поведением он умышленно и недвусмысленно показывал, что сейчас только оторвался от любовных объятий. Встретив вопросительный взгляд жены, он приветствовал ее широким жестом, который она свободно могла истолковать как горделивое признание. Он остановился у карточных столов и стал уверять игроков в «фараон», почтительно поднявшихся с мест и в пылу

азарта раздосадованных помехой, что нынче вечером ему особенно, ну прямо особенно весело. Жадно, залпом выпил он два больших бокала токайского и сильно опьянел. Подойдя к своему тестю и увидев, что старик совсем разомлел от близости неаполитанки, он отнесся к этому с покровительственным одобрением, несколько раз облобызал старика князя, умильно приговаривая:

— Ах, ваша милость, ваша милость! Как хорошо, что вы, ваша милость, сохранили свежесть чувств!—и принялся самодовольным и сентиментальным тоном рассказывать о своих молодых годах в Италии, хвастать своим Ломбардским походом и венецианскими авантюрами.

За Кассано ему, правда, пришлось заплатить хромотой, но это, по совести, была недорогая цена. Ах, Венеция, Венеция! Бесконечные блуждания по городу с маской на лице, и женщины, и дуэли, и секреты высокой политики, и алхимики, и духовидцы, и лагуны, и дворцы, и простертая надо всем незримая рука совета Десяти. Недаром все это сейчас пришло ему на память. Ведь она, Грациелла Витали,—настоящий огонь, от нее так и веет дивным, живительным ароматом Италии. И он опытным глазом оценил скрытые достоинства неаполитанки.

— Вашей милости повезло,—лепетал он,—да и мне везет. *Suum cuique! Suum cuique!*¹ Обоим нам господь бог отвел в этой навозной яме, именуемой землей, теплое и мягкое местечко на солнышке.—И он одобрительно хлопал голую загорелую и дряблую руку актрисы и поздравил старика со славной курочкой, которую тот собирается ощипать.

Жюсс всячески избегал встречи с герцогом. Он завидовал и злился, он знал, что Карл-Александр начнет сейчас же, не стесняясь в выражениях, обстоятельно и подробно описывать ему эпизод с Магдален-Сибиллой, а он вовсе не был расположен выслушивать описание любовных утех, которые, в сущности, полагалось вкусить ему первому. Стараясь уйти от этих мыслей, он ринулся в бурный поток своего пиршества. Ради него, ради того, что он явился на свет, ради дня его рождения зажжены эти огни, пышно убраны столы и покои и съехались на пир прекрасные дамы и знатные кавалеры. Высоко поднялся он, ни один еврей в Германии никогда не достигал такой высоты и блеска, как он. А поднимется он еще выше. Просьба о возведении его в дворянское достоинство уже находится на пути в Вену, ко двору императора; титул ему обеспечен—Карл-Александр с каждым днем все больше в долгу

¹ Каждому свое, каждому свое! (лат.)

перед ним и обязан исхлопотать ему дворянство. А сам он не такой дурак, как Исаак Ландауер, он не ходит в долгополом кафтане и с пейсами; но и не собирается последовать примеру брата и таким дешевым способом, как перемена веры, добиться чинов и положения. Лишь благодаря своему таланту, благодаря своей счастливой звезде и таланту достигнет он самой вершины. Он вовремя сделал ставку на герцога, когда тот был еще мал и ничтожен. Неужели же не поднимется он и на те немногие ступени, которые ему осталось одолеть? Он будет, как был, евреем, и все же будет — и в этом его торжество — дворянином и первым министром и займет подобающее ему место в герцогстве вполне официально на глазах у всего света.

Кругом танцевали. Он напитывал душу, взор и слух разноголосым шумом, как славословием себе. Его мечты возносились в напевах скрипок, гром литавр утверждал на весь зал его власть, женщины красотой, кавалеры своим атласным великолепием славословили ему. Он упивается зрелищем своего праздника, вплетает в него свои честолюбивые мечты, пунцовые губы на белом лице полуоткрыты в блаженной улыбке. Но вдруг нечто незримое стирает это выражение самодовольного торжества. Сметена переливчатая, игристая пена, омрачен пестрый блеск праздника; он видит, как усердствуют музыканты, но музыки не слышит. И вот уже ему представляется, будто он скользит в ином, прозрачном, жутко карикатурном танце. Перед ним, держа его за руку, выступает его дядя, рабби Габриель, за ним, ухватившись за другую его руку, герцог сильнее, чем обычно, волочит хромоту ногу. А там, совсем впереди, сплетенный с ним множеством рук, — разве то не Исаак Ландауер, тощий, в нескладном долгополом кафтане, качая головой, семенит в такт ногами?

Очнувшись, он видит перед собой дона Бартелеми Панкорбо в старомодном португальском одеянии, из глубоких впадин, точно выслеживая добычу, глядят на него коварные глаза, тягуче ползет ему в уши глухой, замогильный голос:

— Ну что же вы решили, господин финанси́ректор? Я готов прибавить к табачным фабрикам еще акциз на водку за целый месяц: уступаете мне соли́тер?

А праздник шел своим чередом. Никлас Пфевле, с виду сонный, невозмутимо и методично управлявший всем сложным механизмом бала, ко второй половине вечера приготовил сюрприз. Плафон, на котором было изображено торжество Меркурия, вдруг раскрылся, и оттуда на летательной машине спорхнул малютка Купидон, он парил над гостями, осыпал их розами, в искусно отшлифован-

ных александрийских стихах воздал хвалу герцогской чете и поздравил Зюсса с днем рождения. Мальчик был очень способный, он очень мило продекламировал стихи, а если у Купидона и чувствовался швабский акцент, это все-таки лучше, как во всеуслышание заметил Ремхинген, чем если бы акцент у него был еврейский.

Вслед за тем танцы возобновились, и тут произошел небольшой конфуз. Подозрительного вида оборванец очутился вдруг посреди зала и стал произносить речь. Собравшиеся вокруг него гости весело смеялись, думая, что выступление его — маскарадная шутка, только поэтому он и попал сюда. Но очень скоро выяснилось, что свои необузданно дерзкие речи против еврейской юстиции и алчного мерзкого пагубного еврейского хозяйничанья он произносит всерьез.

Изыгающий хулы оборванец был Иоганн Ульрих Шертлин. Он приехал в Штутгарт по какому-то мелкому торговому делу, зашел в трактир под вывеской «Синий козел» и напился там в компании ропщущих обывателей; среди них был и булочник Бенц, который все время молча, ехидно и одобрительно слушал и только раз изрек: «При прежнем герцоге страной правила шлюха...» В ответ раздался дружный ропот и ржание. А Иоганн Ульрих Шертлин давно уже не чувствовал себя так хорошо, как там, потому что за ним не следили продолговатые, полные укоризны и презрения глаза француженки; он сильно подвыпил и отправился в дом к еврею отвести душу. Некоторые из его собутыльников потянулись за ним, но остались на улице под снегом и ярким светом, падающим из окон праздничных залов; кучера господских экипажей, приехавшие за хозяевами, присоединились к ним, и все вместе стояли и ждали больше из любопытства, чем из сочувствия, когда Иоганна Ульриха в кандалах поведут в тюрьму. А тот, весь грязный, оборванный, пропахший винным перегаром, стоял в это время среди разряженных гостей и отчаянно сквернословил. Его собирались уже отдать в руки полиции; однако Зюсс, узнав, что это Шертлин, приказал запереть его до утра в дом для умалишенных, а на завтра отослать к жене в Урах.

И праздник пошел своим чередом. Карл-Александр, совсем пьяный, почти не заметил и оставил без внимания эпизод с Иоганном Ульрихом. Вот наконец ему удалось завладеть Зюссом, он садится с ним в сторонке, сгорая желанием рассказать сведущему собеседнику о пережитых наслаждениях. Он сипит и сопит, он действительно совсем пьян, впопыхах он неправильно застегнул костюм античного героя, он сидит, разгоряченный, красный, грузный, одурманенный винными парами, он заикается и

захлебывается от хохота и хлопает по колену почтительно и подобострастно внимающего ему еврея.

— Лакомый кусочек! — причмокивает и прищелкивает он языком. — Молодец, еврей, угодил мне своей гостьей. Ну и я не останусь в долгу и отблагодарю тебя щедрым презентом. Германский государь не привык скупиться. Да, кусочек лакомый! — Он описывал Магдален-Сибиллу выразительными жестами своих красных, неповоротливых рук, странных рук с узкой тыловой частью и короткой мясистой ладонью, чертил в воздухе контуры ее тела, бедра, груди. — Молодая кобылица без узды! Брыкается, бьется, норовит укусить, кипит. А когда приходится подчиниться — холодна как лед. — Он указал на миниатюрную, загорелую, живую неаполитанку, которая, не переставая заигрывать со старым князем, улучала время лукаво стрелять глазами и в него, похотливо водя кончиком языка по губам. — Вот эта вся порыв, огонь, ароматное дуновение. На здоровье моему светлейшему тестюшке. — Он презрительно хохотнул. — А вот моя дама сердца — это, черт побери, не какая-нибудь иноземная потаскуха! Не кривляется и не кидается в объятия первому встречному. — Он мечтательно и элегично откинулся на спинку кресла. — Моя — словно озеро в лесу, — сказал он с неопределенным жестом, похожим на взмах руки гребца. — Словно озеро в лесу, — повторил он, запинаясь, покачнувшись вперед, закрыл глаза и засопел.

Разъяренный Зюсс собрался уже осторожно и почтительно удалиться, но Карл-Александр заговорил снова, деятельно и красноречиво жестикулируя:

— А глаза-то у нее, у стервы! Глаза! Знаешь, кого они мне напомнили? Не угадаешь! Никогда в жизни не угадаешь. — У него вырвался смех, сперва тихий, утробный, потом все громче и громче, с хрипом, с клочкотанием. Под конец он весь трясся от хохота: — Твоего мага, твоего чародея-дядюшку, вот кого. Да уж глаза у нее, у стервы! Как это он, маг: «Первого я вам не скажу...» — Его вдруг охватил гнев: — Не скажет, чертов пес, окаянный, зловредный! Чтобы он поперхнулся, чтоб он подавился этим и издох, колдун жидовский, проклятуший...

Зюсс побледнел, в испуге отшатнулся, тяжело дыша, и поднял руку, как бы обороняясь и заклиная. Но Карл-Александр, пьяный и гневный, с трудом поднялся, попытался принять гордую, живописную позу полководца, как на картине с семьями алебардчиками и с Белградом, зарычал, отрыгнул, рывкнул:

— Пусть мне пророчат что угодно. Я ничего не боюсь. Attempto! Дерзаю! Я, Карл-Александр, герцог Вюртембергский и Текский! Божьей милостью! Я властвую над

судьбой! Германский Ахилл! Божьей милостью!—Он застыл на месте как свой собственный монумент.

Но вскоре снова упал в кресло.

— Словно озеро в лесу,—пролепетал он, блаженно улыбаясь, посопел, поохал, заснул и захрапел.

А праздник шел своим чередом. Разнузданный, как жеребец, что скачет по полю без всадника и поводьев. Праздничный шум доносился на улицу, по которой вели отрезвевшего, усталого, бледного Иоганна Ульриха в сопровождении шушукающихся собутыльников; праздничный шум разносился по городу, по всей стране, которая спала, кряхтела, извивалась, металась из стороны в сторону, вскидывалась со сна, что-то ворчала, брюзжала. И снова засыпала и дальше несла свое бремя.

Книга третья

ЕВРЕИ

В городах, на побережье Средиземного моря и Атлантического океана, жили евреи вольно и богато. Они сосредоточили в своих руках обмен товарами между Востоком и Западом. Они простирали свою власть за океан. Они помогали снаряжать первые корабли в Вест-Индию. Они наладили торговлю с Южной и Центральной Америкой. Открыли путь в Бразилию. Положили начало сахарной промышленности в Западном полушарии. Заложили основу для развития Нью-Йорка.

Но в Германии жили они безрадостно и скучно. В четырнадцатом столетии более чем в трехстах пятидесяти общинах они были почти поголовно перебиты, потоплены, сожжены, колесованы, повешены, заживо погребены. Большинство из оставшихся в живых перекочевало в Польшу. С той поры в Римской империи их оставалось немного. На шестьсот немцев насчитывался один еврей. Жили они тесно, скудно, беспросветно, терпя всякие измышательства от народа и властей, беззащитные перед произволом. Им был закрыт доступ к ремеслам и свободным профессиям, притеснения чиновников толкали их на извилистый и запретный путь торгашества и ростовщичества. Их ограничивали в покупке съестных припасов, не позволяли стричь бороду, вынуждали носить смешную, унижительную одежду. Загоняли их в тесные пространства, загораживали и наглухо запирали на ночь ворота их гетто, сторожили все входы и выходы. Жили они в неимоверной скученности; они размножались, но отведенное им пространство не расширялось. Не имея права раздаваться вширь, они громоздились вверх, настраивая этаж на этаж. Улички их становились все уже, мрачней, извилистей. Нигде ни деревца, ни травки, ни цветочка; они прозябали, заслоняя друг другу свет, без солнца, без воздуха, в невылазной, распространяющей заразу грязи. Они были отрезаны от плодоносной земли, от неба, от зелени. Свежий ветер застревал в их унылых вонючих улочках, высокие, напоминающие коробки дома закры-

вали вид на бегущие облака, на небесную высь. Мужчины их ходили согбенные, их прекрасные женщины рано увядали, из десяти рожденных ими детей семеро умирали. Они были подобны мертвой, застойной воде, отгороженные плотиной от бурного потока жизни, от языка, искусства, духовных интересов остальных людей. Они жили в удушающей тесноте, в нездоровой близости, каждый знал тайну каждого, среди вечных сплетен и недоверия терлись они, вынужденные парализованные, друг о друга, до крови раздирали друг друга, один другому враг, один связанный с другим, ибо ничтожнейший промах и беда одного могли стать несчастьем для всех.

Однако со свойственным им чутьем ко всему новому, к завтрашнему дню они учуяли иные веяния во внешнем мире, замену власти рождения и знатности властью денег. Они познали одно: от ненадежности, от беспорядка, от превратностей судьбы есть единственный щит, посреди колеблющейся, уплывающей из-под ног почвы единственная твердыня: деньги. Еврея с деньгами сторожа не задержат у ворот гетто, еврей с деньгами не воняет, никакой чиновник не напаялит ему на голову смешной остроконечный колпак. Государи и власть имущие нуждались в нем, без него они не могли воевать и править; благодаря графине Гревениц и швабским герцогам оперились и стали большими людьми Исаак Ландауер и Иозеф Зюсс, под эгидой бранденбургского курфюрста процветали Липман, Гомперц и Соломон Элиас, а при дворе императора — банкиры Оппенгеймеры.

Но вся толща угнетенных, беспорядочных и могущественные единицы, горделивые евреи Леванта и больших приморских городов, державшие в руках торговые пути Европы и Нового Света и у себя в конторах вершившие дела мира и войны, и нищие, захирелые, пришибленные, смешные евреи немецкого гетто, евреи — лейб-медики и министры калифа, шаха персидского, марокканского султана, пребывающие в великой славе и блеске, и втоптанная в грязь вшивая чернь еврейских местечек в Польше, банкиры императора и владельцев князей, которые внушают трепет и ненависть, и еврей-разносчик, которого травят собаками, преследуют гнусными издевательствами уличные мальчишки и полицейские, — все, все они были связаны одним твердым затаенным знанием. Многие не осмысливали его, немногие могли бы выразить его словами, некоторые, быть может, отреклись бы от него. Но у всех в крови, в тайниках души жило оно: глубокое, затаенное, твердое сознание бессмыслицы, непостоянства и тщеты власти. Столько веков ютились они, убогие и жалкие, среди народов земли, раздробленные на мельчайшие, до смешного ничтожные атомы. Они познали, что

сила и смысл не в том, чтобы властвовать и быть подвластными. Разве не крушат друг друга всесильные гиганты? Они же, бессильные, дали миру свой облик.

И учение это о суетности и ничтожестве власти знали великие и малые среди евреев, знали вольные и обремененные, дальние и ближние. Не в ясных словах, не в осязаемых понятиях, но всей кровью и духом. Именно оно, затаенное знание, неожиданно запечатлевало на их губах ту загадочную, кроткую, снисходительную улыбку, что вдвойне бесила их врагов, потому что они толковали ее как сокрушительную дерзость и потому что все их пытки, все измывательства не имели власти над ней. Именно оно, затаенное знание, сливало евреев воедино. Ибо в нем, в затаенном знании, была суть Книги.

Да, Книги, их Книги. У них не было ни государства, объединяющего их, ни страны, ни земли, ни короля, ни общего жизненного уклада. И если они все же были слиты воедино, крепче слиты, чем все другие народы мира, то спаяла их Книга. Евреи темные, светлые, черные, смуглые, большие и малые, блистательные и убогие, нечестивые и набожные, безразлично, просидевшие ли и прогресившие всю жизнь взаперти или пестрым, золотым вихрем гордо проносящиеся над миром—все глубоко в душе таили речения Книги. Многолик мир, но все в нем суэта и томление духа, един же велик бог Израиля, предвечный, всевидящий Иегова. Пороку жизнь заслоняла то слово, но оно гнездилось в каждом из них, и в часы, когда они держали ответ перед собой, и когда жизнь их достигала зенита, оно было с ними, и когда они умирали, оно было с ними, и током, соединяющим их, было то слово. Молитвенными ремнями привязывали они его ко лбу и к груди, они укрепляли его на своих дверях, с ним на устах они начинали день и с ним кончали; первым, чему учили младенца, было Слово, и с последним хрипом выдыхал умирающий Слово. Из Слова черпали они силу сносить тяготы своего скорбного пути. С бледной, затаенной улыбкой созерцали они власть Эдома, неистовства его и тщету его суетных стремлений. Все было преходяще; единым сущим оставалось Слово.

Сквозь два тысячелетия пронесли они с собой Книгу. Она была им народом, государством, родиной, наследием и владением. Они передали ее всем народам, и все народы склонились перед ней. Но лишь им, им одним, дано было по праву владеть ею, исповедовать и хранить ее.

Шестьсот сорок семь тысяч триста девятнадцать букв насчитывала Книга. И каждая буква была исчислена и изучена, проверена и взвешена. Каждая буква была оплачена кровью, тысячи людей пошли на муки и смерть за каждую букву. И Книга стала их собственностью. У

себя в молельнях, в дни величайшего своего праздника, все они — и горделивые, свершающие свой путь во славе, и ничтожные, гонимые, приниженные, все, как один, утверждали, возглашали: ничего нет у нас, кроме Книги.

Карл-Александр посылал Магдален-Сибилле роскошные подарки, фландрские и венецианские гобелены, золотые флаконы испанской работы, наполненные персидским розовым маслом, подарил ей арабскую верховую лошадь и жемчужные серьги. Он не был скрягой и не скупился на дары Магдален-Сибилле, которую считал своей официальной метрессой. Камердинер Нейфер являлся к ней ежедневно и по поручению герцога церемонно осведомлялся о самочувствии барышни.

Магдален-Сибилла принимала все это холодно и безмолвно. Она молча бродила по дому, точно мертвая; не по-женски смело очерченное, прекрасное лицо окаменело, губы были сжаты, руки ей не повиновались. Она не выходила из дому, кроме как «доброе утро» и «добрый вечер» не произносила ни слова, обедала и ужинала одна, о хозяйстве не заботилась совсем. Никому, даже отцу, она ничего не сказала о том, что произошло у нее с герцогом; случалось, она целыми днями не видела отца.

Вейсензе и не пытался вывести ее из оцепенения. Он получил дворянство и новый чин конференц-министра. Он совсем утратил равновесие и был глубоко несчастен, со стороны коллег по малому парламентскому совету он чувствовал скрытое недоверие, ему хотелось объясниться с Гарпрехтом, юристом, и с Бильфингером, который был справедливый, честный человек и ему друг. Но у него не хватало смелости.

Магдален-Сибилла часами сидела неподвижно, уставясь в одну точку. Она потеряла себя, она была растоптана, истерзана, опустошена. Разве это ее руки? Когда она уколется, разве это ее кровь? Но страшнее всего было то, что она не чувствовала к герцогу никакой ненависти. Она выбивалась из сил, стараясь восстановить в памяти то, что произошло. Мысленно она вдыхала запах пота и винного перегара, исходивший от Карла-Александра, видела, как к ней тянется что-то красное, омерзительное — это были его руки и лицо. Иногда от гадливости у нее поднималась чисто физическая тошнота. Последующее она уже не могла осознать. Знала только, что герцог не был ей ненавистен. Он казался ей животным, — конем или быком, — горячим, огромным, непонятным. Порой, глядя в глаза такого животного, видишь, как оно тебе чуждо, как бесконечно непохоже на тебя, порою же чувствуешь себя близким ему, но ненависти к нему не испытываешь

никогда. И вот то, что он был животным, которое нельзя даже ненавидеть, было для нее страшнее всего, от этого сознания рушился весь ее внутренний мир, ничего не оставляя, кроме груды жалких, никчемных обломков. Значит, сама она такое же животное, может быть менее грубое, не такое красное, потное и сопящее, но все же животное. И все ее мечты о боге, о том, чтобы раствориться в нем и парить в вечном блаженстве — все оказалось глупой ребяческой фантазией, ни с чем не соотносящимся вздором и нелепицей. Какой ты цветок, животное ты, а не цветок!

Она пошла к Беате Штурмин. Она слушала благочестивые, умиротворенные, уверенные речи стареющей святой девушки и с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться холодно и дерзко. Что знала она! Она была по-настоящему слепа. И проповедь ее — наивные бредни. Ты вот жила свято, целомудренно, радея о вечном блаженстве, и ни единая нечистая мысль не касалась тебя. И вдруг является зверь, красный, смрадный, сопящий, растаптывает тебя и сквернит тебя своей липкой грязью, а ты не испытываешь к нему ненависти. Объясни же это! Истолкуй как-нибудь!

Герцог пригласил Вейсензе с дочерью к себе. Вейсензе нерешительно сказал об этом Магдален-Сибилле. Она ничего не ответила и не пошла. Герцог повторил приглашение. Магдален-Сибилла не повиновалась и на сей раз. Герцог через Нейфера выразил председателю церковного совета свое нетерпение и недовольство. Вейсензе не осмелился рассказать дочери об этом. Он решил действовать через Беату Штурмин, намекнув ей, как обстоит дело, но святая девушка в простоте своей не поняла его намеков. Тем не менее она призвала к себе Магдален-Сибиллу и, ссылаясь на то, что, по словам ее отца, герцог благоволит к ней, стала уговаривать ее пойти к нему и вразумить его, дабы он перестал упорствовать в своем заблуждении. Что, если господь посылает ее, как послал Эсфирь к Артаксерксу? Магдален-Сибилла безудержно и злобно расхохоталась. Слепая с кротким недоумением обратила на нее незрячие глаза. Однако Магдален-Сибилла пошла, она пошла к зверю, движимая тупым любопытством. Все представлялось ей какой-то нелепой буффонадой. Люди тормозились, напускали на себя важность и сами себя убеждали, как нужно и важно им суетиться, а на самом деле смысла во всем не было никакого и толку не больше, чем от возни майских жуков, которых мальчишки посадили в коробочку.

Она пришла к Карлу-Александру. Сказала:

— Здравствуйте, ваша светлость, — села, поднесла ко рту чашку с шоколадом.

Он заговорил с ней приветливо, весело, добродушно, как с малым ребенком. Она отвечала безразлично, машинально. Все, что она делала и говорила, было как-то искусственно, словно не имело к ней отношения. Он продолжал обхаживать ее. А она думала, что он скорее тяжеловесный конь, чем бык, и спокойно, со смесью отвращения и любопытства, ждала, возьмет ли он ее. Он же, видя, что время идет, а ее никак не расшевелишь, разозлился. Конечно, девица должна сперва пожеманиться, а потом делать вид, будто обижена, так уж заведено. Но в конце концов чего-нибудь да стоит быть его, герцога Вюртембергского, дамой сердца. Ни одна еще так не церемонилась, как эта, с такой замороженной недотрогой ему не доводилось иметь дело. Он вспылил. Она посмотрела на него, не с укором и не надменно; но в ее взгляде было столько беспредельного, язвительного презрения, что он смешался и почувствовал себя проштрафившимся офицеришкой. Снова перешел на приветливый, ласковый тон. Она молчала. Наконец он ее взял. Она равнодушно подчинилась, и он не испытал наслаждения. Когда он провожал ее вниз по лестнице к экипажу, усмешка застыла на лицах у лакеев — Магдален-Сибилла была похожа на покойницу или на безумную.

В дальнейшем она тоже не противилась тому, что он поставил ее в положение своей официальной метрессы. Она являлась по его первому зову. Показывалась с ним публично. Народ радовался, что у его государя такая приличная, красивая и аккуратная любовница, к тому же местная уроженка и славится благочестием. То, что у Карла-Александра наряду с красавицей супругой была такая красивая и приличная любовница, да еще швабка, хотя и не вполне примиряло народ с его евреем, но сглаживало многое из того, что шло в ущерб популярности герцога. Горожане снимали шапки перед Магдален-Сибиллой, а иные даже приветствовали ее криками «ура».

Подобное настроение было весьма на руку самому Вейсензе. Его влияние возросло, даже в парламенте. И хоть в совете одиннадцати частенько ворчали против него, однако все, за очень малым исключением, не прочь были оказаться на его месте и от души завидовали его удаче. Нейфер, тот даже проявлял к нему своего рода угрюмую почтительность, как к герцогскому тестю с левой руки.

Медленно, постепенно приходила в себя Магдален-Сибилла. Точно замерзший человек, которого возвратили к жизни, болезненно чувствует, как наново начинает циркулировать по всему его телу кровь, она столь же болезненно ощущала, как ненависть и вождение волнами поднимаются в ней, наводняют ее, неудержимо заполняют все поры. Карл-Александр по-прежнему был для нее

безразличным, чуждым и непонятным животным, которое она терпела не без отвращения, но все ее помыслы и желания устремлялись к другому, вились вокруг другого. Герцог! Ну, что он знает! Что он понимает! Он—ее несчастье. Его нельзя ненавидеть, как нельзя ненавидеть яблочную кожуру, из-за которой случилось поскользнуться на улице. Но тот, другой, он за все ответствен, он все знал лучше и видел яснее, чем кто угодно, все взвесил и рассчитал, и он-то достоин ненависти, он поистине дьявол и воплощение зла. Недаром ее так жестоко потрясла встреча с ним тогда, в Гирсауском лесу, это было верное чутье, это было благодетельное предостережение. И он, этот дерзкий, скользкий, хитрый, нечестивый, как лед холодный дьявол, он знал не хуже ее, что за одно искреннее, теплое слово она блаженно предалась бы ему, что все ее ребячливые, таинственные, туманные мечты о божестве и дьяволе претворились бы в пылкое, человеческое чувство, если бы у него только хватило мужества отстоять свое чувство, не поступиться сердечным влечением ради улыбки герцога, ради денежной подачки, ради чина. Ведь он любил ее. Так не смотрят, не говорят и не склоняются перед женщиной, если нет настоящего чувства. Когда человек, следуя своим инстинктам, принудительно вербует солдат, разоряет своих подданных, насилует женщин—в этом сказывается его звериное начало, он за это не ответствен. Но тот, другой, торговал ведь своим чувством. Тьфу, тьфу! Вот где обнаружилась его еврейская, дьявольская сущность.

Она не знала, с каким смешанным чувством, примешанным к тысячам других, Зюсс думал о ней. Возможно, что на сотую долю мгновения для него действительно и совершенно искренне существовала она одна; но он слишком разбрасывался и разменивался на тысячи всевозможных желаний, был слишком человеком минуты, чтобы сохранить в целостности такое чувство, даже если бы ему этого и хотелось. А поставить из-за женщины на карту основной смысл своей жизни—близость к герцогу,—самая мысль об этом показалась бы ему несуразной.

Однажды она увидела его. Сердце у нее замерло: что он сделает? Вдруг он осмелится заговорить с ней! Но он не заговорил. Только низко поклонился и взглянул на нее спокойно, серьезно, почтительно. И она возненавидела его вдвойне.

Герцогиня с первого же вечера заинтересовалась Магдален-Сибиллой. Марии-Августе понравилась рослая девушка с лицом не по-женски смелым, и она искала сближения с ней. Она отлично видела, что та вполне равнодушна к герцогу, что он ее не понимает, а она через силу терпит его ласки и сама остается холодна. Этого

Мария-Августа не могла постичь и потому с удвоенным любопытством приглядывалась к девушке, чьи синие глаза так странно контрастировали с темными волосами. Магдален-Сибилла чувствовала благожелательство Марии-Августы, но оно явно не трогало ее. А герцогиня, точно одержимая, ластилась и льнула к ней, ища ее близости, держа себя с ней как младшая сестра, нежно обнимала за талию и, изменив своей привычке злословить насчет всех других женщин, в сознании собственного превосходства, открыто высказывала дружеские чувства прекрасной даме сердца своего супруга.

Она ребячилась, жеманничала, надувала губки. Ах, она ведь глупа, как малое дитя! Магдален-Сибилла должна все объяснять ей. Она такая ученая, она занималась всякими глубокомысленными вопросами, вроде бога, тысячелетнего царства и общества филаделффов. Как приятно иметь такую ученую подругу!

Конечно, сама Мария-Августа ходит, как все верующие, в церковь, и к исповеди. Но о боге она знает, собственно, лишь то, что учила в катехизисе, и по-настоящему сведуша только в светских делах и в модах. Кстати, Магдален-Сибилле лучше носить рукава покороче и попышнее, от этого выиграют ее красивые смуглые руки. Да и прическу ее она не вполне одобряет.

Она клала маленькую пухлую ручку на большую теплую руку Магдален-Сибиллы и улыбалась плутовской, шаловливой улыбкой.

— А кстати, дорогая, вчера, когда у лорда Сэффолка съехало набок жабо, вы заметили, что у него волосатая грудь? Совсем как у герцога.

Мария-Августа была в ту пору прекраснее, чем когда-либо. Черным атласом отливали ее волосы, матовым блеском драгоценной пастели сияло ее лицо и глаза с поволокой под ясным лбом. Походка была спокойным, радостным парением, и жизнь ее была полна и покойна; единственное, чего она желала,—всегда жить именно так. При ней состоял Ремхинген, вспыльчивый и мужественный, очень забавно и немного страшновато было его злить; однажды он чуть-чуть не прибил ее. И еще состоял при ней молодой, скупой на слова лорд Сэффолк: неотложные обязанности призывали его на родину, а он тратил свою жизнь на то, чтобы упорно, не отводя глаз, смотреть на нее. Может быть, она когда-нибудь и осчастливит его. Почему бы не смиростивиться над юношей, который дает такие серьезные доказательства своих чувств? Или лучше быть с ним жестокой, чтобы он застрелился,—это, пожалуй, даже интересней. А еще при ней состоял господин де Риоль, он был восхитительно уродлив и тихим тоненьким голоском отпускал преехид-

ные шутки, главным образом по адресу толстых женщин. И, держась на должном расстоянии, состоял при герцогине ее еврей, им она очень гордилась, он умел с величайшей почтительностью говорить ей самые циничные комплименты.

Она разжигала мужчин. И охотилась, и устраивала празднества, и смотрела представления, и сама участвовала в представлениях, и каталась по окрестностям, и ездила на воды, и в Регенсбург, и в Вену. И была очень счастлива.

А Магдален-Сибилла смотрела на нее как на шаловливую кошечку. Ах, хорошо так резвиться по жизни, хорошо, когда ничто не задевает глубоко, хорошо на все смотреть легко и беспечно улыбаться.

Когда посевы поднялись, когда поля, луга, цветочные клумбы приобрели краски и очертания, из почвы герцогства выросли письма. Произошло это дружно, словно по тайному сговору. На окраинах городов, вокруг деревень крестьяне посеяли на пашнях, лугах, в садах семена васильков, мака, клевера и семена более редких цветов, так чтобы они составили определенные письма. И вот они взошли, из темной почвы вышли на свет божий, кое-где неуклюжие, кое-где изящно очерченные и теперь кричали красными маками, синими васильками, желтым львиным зевом и грациозными белыми лилиями: «Зюсс — поганый жид», или: «Иозеф Зюсс — поганый жид и губитель».

Кое-где в дело вмешивались власти, но, вопреки обыкновению, вяло и не слишком строго. Люди подсмеивались, герцог хохотал. Мария-Августа нарочно поехала за город осмотреть особенно искусно сделанную куртину. То, что она увидела, она потом подробно описала Магдален-Сибилле, которая под каким-то предлогом отказалась сопровождать ее.

На большой поляне у опушки леса подле Гирсау, неподалеку от деревянного забора, которым был отгорожен дом среди цветочных клумб, какой-то крестьянин посеял ту же надпись. Это был молодой человек, принадлежавший к братской общине магистра Якоба Поликарпа Шобера. Здесь, в библейском обществе, после ухода Магдален-Сибиллы стало пусто и скучно. Правда, собирались здесь люди тихие, смиренные и скромные. Однако присутствием в своей среде дочери прелата они как-никак гордились, и теперь, без нее, их маленький кружок совсем приуныл. К тому же из резиденции доходили удивительнейшие слухи о Магдален-Сибилле, и хотя благочестивые души не смели помыслить дурное о своей бывшей сестре,

тем не менее эти слухи давали пищу ненависти и отвращению к ироду-герцогу и его телохранителю, еврею, который был явно сам сатана во плоти. Движимый истинно христианским возмущением, молодой крестьянин тщательно и добросовестно вывел на лесной поляне надпись из цветов: «Иозеф Зюсс — поганый жид и сатана».

Для самого магистра Якоба Поликарпа Шобера с отъездом Магдален-Сибиллы исчез благой, целительный свет. При всем своем смирении и приниженности он чувствовал, что их с Магдален-Сибиллой связывает сокровенное знание, возвышая его, Шобера, над остальными. Она, без сомнения, догадывалась о его великой, сладостной тайне, и потому кроткому, упитанному, толстощекому молодому человеку ее присутствие давало тихую возвышенную радость. Какая отрада сознавать, что рядом есть кто-то, проникший в твою заветную тайну, а если от этого чувствуешь себя выше других, то разве можно такое чувство считать неугодной богу гордыней? Магистр любил уединение в боге, но ему очень недоставало Магдален-Сибиллы, и лишь теперь он искренне подсадовал на то, что наградное ведомство потребовало слишком большую сумму за место герцогского библиотекаря, почему его кандидатура провалилась, и наряду с общим возмущением против Зюсса у него зародилась чисто личная ожесточенная ненависть, за которую он сам порою смиренно корил себя, почитая ее неподобающей христианину. Но избавиться от нее он не мог и во время своих задумчивых прогулок по лесу часто останавливался перед цветочной надписью и не без удовлетворения окидывал взглядом очертания букв: «Иозеф Зюсс — поганый жид и сатана».

Однажды неудержимая сила вновь привела его туда, и сердце остановилось у него в груди, когда он увидел подле надписи другого посетителя — черноволосую матово-бледную девушку, принцессу из небесного Иерусалима. Она лежала на земле, заливаясь слезами. Полная, добродушная на вид женщина растерянно и беспомощно хлопотала около распростертой почти без памяти девушки.

У мягкосердечного магистра все внутри перевернулось от жалости. Колебаний тут быть не могло: христианская заповедь любви повелевала ему поспешить на помощь ближнему. Однако немало времени прошло, пока он преодолел робость перед этим неземным видением, втайне дрожа от страха, как бы принцесса не оправилась прежде, чем он наберется храбрости заговорить с нею. Но в конце концов он взял себя в руки, спотыкаясь о корни, подошел ближе, снял шляпу и, отвешивая низкие церемонные поклоны, произнес:

— Сударыня, сударыня!

Толстуха в испуге обернулась, принцесса медленно обратила к нему взор, который блуждал где-то далеко и не замечал его. Он не был большим психологом, но понял, что расстройство девицы связано с цветочной надписью, и, обрадованный этой догадкой, поспешил осведомиться с нежнейшей и почтительнейшей интонацией:

— Разве и вас, сударыня, гнусный жид оскорбил чем-нибудь? Да, он в самом деле губитель и смердящий сатана.

Но его речь, подсказанная самыми благими побуждениями, вызвала ошеломляющую реакцию: нежная дева вскочила на ноги, испепелила его взглядом и с неожиданной силой закричала:

— Клеветник! Ехидный, трусливый, низкий клеветник!

Перепуганный магистр неуклюже отскочил назад; но тут у девицы вновь хлынули слезы, и она пролепетала совсем другим, полным нежной укоризны тоном:

— И цветы, невинные цветы замараны низкой клеветой.

При виде безудержных слез прелестной девы из небесного Иерусалима магистр Якоб Поликарп Шобер впал в смятение и великую растерянность.

— Ведь у меня не было злого умысла, сударыня,— неуверенно забормotal он.—Его уличают собственные его деяния, сударыня. Это известно по всей стране, сударыня.—Он заново начал отвешивать церемонные поклоны, черноволосая красавица плакала между тем беззвучно и безудержно, а полная особа утешала ее и пыталась увести. Поддерживая и успокаивая плачущую девушку, она наконец оторвала ее от злополучных цветов.

Однако магистр не мог примириться с клеймом злого клеветника. Он плелся следом за женщинами, продолжая взволнованно оправдываться тем, что это ведь известно по всей стране и у него не было злого умысла. Но девушка страстно возмутилась, а глаза ее казались при этом огромными и безумными на очень белом лице:

— Сатана! Он, он—сатана! Он бел и румян, лучше десяти тысяч других. Голова его—чистое золото, кудри его волнистые, черные как ворон, щеки его—цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его источают текучую мирру, руки его—золотые кругляки, посаженные топазами, живот его—как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами.

И когда она говорила, улыбка на ее устах и ясное чело излучали священный восторг и глубокую убежденность.

Якоб Поликарп, услышав библейские стихи, тотчас же почувствовал себя уверенней и спокойней. Теперь он начал понимать ее смятение. Ага! Она была одной из тех, кого еврей обольстил своим колдовством и бесовскими

чарами. Ведь любовными напитками, нечестивыми приемами, черной магией можно смутить и завлечь в объятия дьявола даже самую чистую душу. Против корня мандрагоры не могло устоять ни одно самое невинное сердце, тут он и за себя не поручился бы. Еврей весьма падок до женщин. Конечно, в рассказях про Магдален-Сибиллу нет и крупницы правды, однако можно не сомневаться, что еврей испытывал на ней силу колдовских чар. И она, эта принцесса из небесного Иерусалима, была, несомненно, одной из его жертв. Сколь она чиста и непорочна, явствует из того, что даже сейчас из глубин заблуждения и падения она цитирует Библию. Как пленительно сладостно звучат из ее уст слова священной книги! Должно быть, Вельзевул, когда соблазнял ее, принял чистое, ангельское обличье.

Толстоцкий магистр от этих размышлений чуть не воспарил к небесам. С отъездом Магдален-Сибиллы его жизнь, в сущности, стала крайне тоскливой и убогой. Теперь господь в милости своей ниспосылает ему благодетельную задачу вырвать эту нежную и прекрасную принцессу из когтей сластолюбивого и ненасытного сатаны. Он начал осторожно, издали, упомянул о радостях, которые ждут на небесах обратившихся к богу грешников, затем перешел к кающейся Магдалине и, наконец, заговорил о хитро и ловко расставленных сетях, от которых не уберечься самым чистым и нежным душам. Ибо враг, сатана и соблазнитель...

Но тут гнев девушки вторично и сильнее, чем в первый раз, обрушился на него.

— Мой отец не сатана и не соблазнитель, — вспыхнула она, между тем как толстуха испуганно и настойчиво старалась ее удержать. — Все это черная, низкая, подлая клевета.

Приветливое толстоцкое лицо магистра разом пожелтело и поблекло. Еврей — ее отец! Покрытая мхом почва заколебалась под ним, деревья повалились прямо на него, впились в него, придавили его. Еврей — ее отец! Весь его мир, бог, дьявол, откровение — все перевернулось вверх дном.

Когда к нему наконец вернулась способность мыслить и соображать, он подумал, что многое из того, о чем толкуют и шушукуются про еврея, не что иное, как выдумки и коварные наветы, раз у него такая дочь. Люди злы, и языки подобны отравленным кинжалам, из кого только не делали Ирода и Варраву, а потом оклеветанный оказывался не хуже любого из нас. Однако же нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что его, человека смиренного и богобоязненного, не взяли на место библиотекаря только за отсутствием у него денег. А ввел такой

порядок не кто иной, как еврей. И пусть обитающая здесь дева чиста и непорочна, многие другие плоды его дел пагубны и нечестивы, и на них тоже надо смотреть открытыми глазами, как на этот, спору нет, белоснежный ангельский лик.

От девушки не укрылось замешательство магистра.

— Ага,—воскликнула она,—теперь вы испугались, когда слышали, что он мой отец. Не бойтесь! Он слишком велик, чтобы хотя бы пальцем пошевелить ради своих ничтожных врагов и клеветников.

Но этого уже Якоб Поликарп Шобер не мог стерпеть. Он, конечно, человек смиренный и ничтожный, возразил он, но страх перед людьми ему неведом. И пусть господин еврей, отец барышни,—сам лютый Навуходоносор, могущий ввергнуть его в печь огненную, он все же не перестанет славить господа бога.

За этими разговорами они незаметно дошли до деревянного забора, и толстуха сказала, что ему пора уходить. Она отвела его в сторону и несвязно, запинаясь, выговаривая слова на иноземный лад, стала умолять его, чтобы он не верил девочке. Вовсе она не дочка финанцидиректора, она только себе это вообразила. Упаси его господь кому-нибудь заикнуться об этом. Магистр и вообще соображал довольно туго, а от всех перипетий голова у него совсем пошла кругом, однако он понял, что все блаженство через минуту кончится навсегда, и тут неожиданно принял отнюдь не робкое решение. Он считает своим христианским долгом, заявил он, убедить барышню, что он не подлый клеветник, и с этой целью ему необходимо еще раз обстоятельно побеседовать с ней. Только при этом условии он обязуется хранить тайну. Толстуха нерешительно обещала исполнить его просьбу через несколько дней и скрылась в доме вместе с принцессой, которая не переставала сетовать:

— Так испортить цветы, бедные, неповинные цветы!

А Якоб Поликарп Шобер с этого дня пребывал в особо торжественном и приподнятом состоянии духа. Бог поставил его у рычага великих и трудных свершений. Очевидно, принцесса все-таки дочь иудейского превосходительства, и толстуха попросту нагала ему, но он не так прост, его не проведешь глупой болтовней. Ему назначено спасти душу девственницы, а быть может, на этом пути он столкнется и с самым евреем и сподобится пробудить в нем совесть; ибо отнюдь не установлено, что у евреев совесть отсутствует вовсе. И если господь Саваоф ниспошлет силу его речам, то, может быть, через него все герцогство избавится от жестокого гнета.

В таком приподнятом и просветленном состоянии духа ожидал обещанной встречи толстощекий магистр. Настро-

ение его не омрачилось и после того, как он услышал, что место библиотекаря предоставлено кому-то совсем недостойному, у кого, кроме талеров, не было никаких соответствующих должности качеств. Милость божья теперь уже явно снизошла на него, речь легко и плавно текла с его уст, и случалось, что слова сами укладывались в рифмованные строки. Так, вскоре после известия о том, что место библиотекаря занято другим, он сочинил песню, которую озаглавил «Забота о хлебе насущном и упование на бога»; начиналась она такими стихами:

Доколь живет на свете ворон,
Доколе жив и воробей,
Доколе мир зверьми весь полон,
Себе твержу я: не робей.
Коль те насыщены вполне —
Ужель господь откажет мне?

А другая называлась «Иисус — лучший математик» и гласила:

Иисус все числа знает,
Слагает, умножает,
Хоть были б там одни нули.

Обе песни были встречены в библейском обществе умиленным восторгом. Братья и сестры выучили их наизусть и пели во всех случаях жизни, и когда пребывали в большой скорби, и когда с выгодой продавали товар, и когда умирали, и когда рожали детей. При всем смирении Якоба Поликарпа Шобера это очень льстило ему и утешало в его утрате Магдален-Сибиллы.

Янтье, толстуха служанка, сокрушенно доложила рабби Габриелю о злосчастном происшествии. Рабби молча, знаком, приказал ей удалиться.

После ухода служанки еще сильнее омрачилось и окаменело хмурое лицо, еще резче обозначились три борозды прямо над переносицей. Пресечь вопросы. Нельзя, чтобы девочка спрашивала. Да убережет его небо и все благие ангелы от ее вопросов. Лгать ей он не хотел. Разбить созданный ею сияющий образ отца он бы не побоялся, но тогда бы от него ускользнуло последнее... А чем пойти на это, лучше превратить свои цветочные клумбы в навозные кучи.

И серафимы и архангелы охранили скорбного угрюмого человека. Ноэми не спросила. Правда, он видел, как один раз с ее уст уже готов был сорваться вопрос, как уже затуманились ее глаза. Но она промолчала. Разве

вопрос не был бы сомнением? Нет, отец ее был прекрасен и стоял так высоко, что клевета язычников и филистимлян не марала даже его подошв. Массивные буквы древнееврейских книг слагались в краугольный камень его славы. Он был Самсоном, избивавшим филистимлян, он был Соломоном, самым мудрым среди людей, он был, и этот образ чаще всего посещал ее сны, он был Иосифом, кротким, разумным: фараон поставил его над всем народом, и он облагал народ податью в предвиденье голодных лет. Но люди были неразумны и не понимали его мудрости. Ах, хоть бы он приехал поскорее. Прильнуть бы к его груди! От взгляда его огненных очей превратится в пепел и развеется как дым болтовня толстощекого незнакомца.

А рабби Габриэль читал в писаниях учителя Исаака Лурия Ашкинази, каббалиста: «Бывает так, что в теле человеческом не одна душа должна совершать новое земное странствие, а две души и даже более соединяются с этим телом для нового странствия. Цель такого слияния в их взаимной поддержке для искупления вины, за которую осуждены они свершать новое странствие».

Подперев щеку рукой, сидел он, размышлял, воскрешал в памяти то, что видел и понял во время своих странствий. Перед ним вставал безграничный горный простор, пустыня, камень, потрескавшийся лед, над ними—нежный дразнящий блеск озаренных солнцем вершин, туча, что омрачила их, полет птицы, мрачное и дикое своеволие скалистых глыб, разбросанных по льду, отзвуки людей внизу и скота на пастбищах. Он силился понять, чему подобен лик человека, которому он был обречен. И комнату и книги перед ним словно заволокло туманом, так углубился он в созерцание того лица. Он изучал черту за чертой, видел выпуклые глаза, небольшой чувственный рот, густые каштановые волосы. Он видел кожу, мясо, волосы, и ничего больше. Тогда повел он плечами и поник, усталый, приземистый, тяжело дыша и хрипя, точно выжное животное, которому не под силу с такой ношей взобраться на кручу.

Неподалеку от Гейльбронна, посреди виноградников, уютно расположился замок Штетенфельз. Проживал в нем граф Иоганн Альбрехт Фуггер, питомец иезуитов, ревностный католик, друг вюрцбургского князя-епископа. Замок входил в число поместий швабского имперского рыцарства, и граф владел им, а также имением Группенбах и селеньем у подножья замка, как ленник герцога Вюртембергского. Еще при Эбергарде-Людвиге настойчивый вельможа многократно испрашивал разрешения от-

правлять у себя в замке католическую службу. Его просьбу всякий раз отклоняли. Теперь же, при герцогекатолике, он преспокойно приютил у себя в замке капуцинов и принялся строить на ближней горе обширный монастырь с церковью. Князь-епископ Вюрцбургский оказывал ему поддержку, при всех католических дворах собирали пожертвования в пользу его затеи, он снискал себе громкую славу как деятельный и отважный поборник святой церкви.

Открытое нарушение законов, буря в парламенте, грозный запрос кабинету с требованием воспрепятствовать дерзкому бесчинству. Герцог разъярен, но у него связаны руки. В своем пресловутом манифесте о свободе вероисповедания он обязывался ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в такого рода вопросы, возложил управление делами церкви на кабинет министров и по всей форме отказался от епископских прав над евангелической паствой и от личного участия в клерикальных спорах. Нигде в герцогстве—как торжественно заверил он—не будет разрешено возводить католические церкви, а католическое богослужение может совершаться только в дворцовой капелле для него и членов его семейства.

Случай вполне ясен. Юристу Гарпрехту предлагалось сделать доклад на заседании кабинета, содокладчиком выступал Бильфингер. Оба они, люди честные и прямолинейные, были искренне рады, что вопрос этот изъят из компетенции герцога. С глубоким сокрушением наблюдали они стремительное падение нравов в стране, продажность и беспринципность чиновников. Они не покинули своих постов лишь потому, что не хотели допустить, чтобы им на смену пришли зюссовские клеветы. Но вот наконец случай, где не властны вмешаться никакой герцог и никакой еврей; вот когда можно доказать евангелическим братьям, что страна, в каком бы упадке она ни находилась с виду, в делах совести, в религиозных вопросах, останется тверда, честна и незапятнанна.

Наперекор нерешительным и колеблющимся Шютцу и Шефферу, Гарпрехт и Бильфингер провели постановление о посылке к графу в Группенбах, с целью ревизии ленного владения, следственной комиссии во главе с советником Иоганном Якобом Мозером, известным публицистом, который совсем недавно в речах, делах и писаниях показал себя непреклонным протестантом. Ему были даны широкие полномочия.

Однако надменный и упрямый граф не обнаружил никакой склонности к подчинению. Он заставил правительственную комиссию долго дожидаться перед замком под ветром и непогодой и встретил ее сухо и неприветливо. Когда члены комиссии указали на возведенные вплоть

до башен стены монастыря и церкви и спросили, как он позволил себе, в нарушение закона и вопреки предупреждению кабинета министров, соорудить на герцогской земле католический монастырь и храм, подвижной, художавый, щуплый владделец замка смерил комиссию злобным, суровым, высокомерным взглядом, а затем небрежно и вызывающе бросил, что это новые хозяйственные постройки. Осмотра зданий вблизи он не допустил. Тут чинно парами вышли капуцины. Граф с прежней иронией пояснил, что это новая ливрея его штата, и высказал пожелание, чтобы эта мода как можно скорее распространилась на всю страну. Комиссия верилась в Гейльбронн с чем. Спустя некоторое время она все же добилась осмотра построек. С судебным приставом отправила графу составленный в крайне грубой форме решительный приказ снести до основания монастырь и церковь, к исполнению чего приступить не позднее трех дней. Граф собственноручно сбросил посланного с лестницы, а затем натравил на него собак. Тогда снова с целым отрядом солдат явился Мозер, представительный, важный фигляр, приказал скрыть церковь и монастырь и отбыл лишь после того, как граф, охрипнув от брани, оплатил до последнего гроша не только всю работу, но и расходы по карательной экспедиции. В камне, замурованном при закладке монастыря, найдена была грамота, гласящая, что сей штетенфельзский монастырь сооружен во имя распространения единой истинной католической веры через искоренение ереси на вюртембергской земле.

Ликование в стране и парламенте. В малом совете тяжеловесный, грубый бургомистр Бракенгейма гремел:

— Чего-нибудь мы еще стоим. Захотим — так заставим еретических пссы жрать собственное дерьмо.

А угрюмый Нейфер назидательно изрек:

— Много препон на пути государя, но они лишь разжигают вкус к власти, а преодоление их придает ей особую остроту.

В народе неприкрытое злорадное торжество. В трактире под вывеской «Синий козел» булочник Бенц, заказав лишний стаканчик вина, зубоскалил:

— Значит, бывают еще дела, в которые не смеет вмешаться никакая шлюха и никакой жид.

Искреннейшая радость среди людей типа Гарпрехта и Бильфингера. Тихое, смиренное благодарение, вознесенное ко господу, во всех филиалах библейского общества пиетистов.

Святая Беата Штурмин, слепая дева, все это знала заранее. Наугад раскрыв Священное писание, она прочла: «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред господом, произведение рук художника, и

поставит его в тайном месте!» В гирсауском библейском обществе благочестивый хор трижды пропел песню магистра Якоба Поликарпа Шобера «Иисус — лучший математик».

И далеко за пределами Швабии, по всей Германской империи штетенфельзская история сильно взволновала умы. Вюрцбургский князь-епископ через своих советников Фихтеля и Рааба подал герцогу официальную жалобу. Герцог не на шутку разгневался, решив, что его умышленно хотели опорочить и унижить в глазах его единоверцев. Однако мудрый вюрцбургский епископ не пожелал воспользоваться таким умонастроением. Он знал, что Карл-Александр озабочен другими вопросами, и приберег более решительное вмешательство на будущее.

А у Карла-Александра и правда была куча разных мелких щекотливых дел. Зюсс надумал во что бы то ни стало получить дворянство. Положение его достаточно упрочилось, и, обладая всей полнотой власти, он пожелал теперь добиться и внешних ее атрибутов, он лелеял мысль официально занять место первого министра. Стоило ему только креститься, как все уладилось бы в один день. Но для него было вопросом чести перед лицом императора и всей Германской империи получить самый высокий в герцогстве пост, оставаясь евреем. А герцог, после того как Зюсс у себя на маскараде свел его с Магдален-Сибиллой, поддержал ходатайство своего гоффактора через вюртембергского посланника в Вене, тайного советника Келлера, прося о возведении его в дворянство и предлагая за это тысячу дукатов. Однако не только вюртембергский парламент, но и коллеги Зюсса по кабинету министров интриговали против него при венском дворе, и решение этого вопроса все тормозилось. Желая показать, сколь он незаменим, и тем самым подхлестнуть герцога, Зюсс устранился от помощи Карлу-Александру, испросив себе заграничный отпуск под предлогом неотложных личных дел. И тотчас же разладилось дело с рекрутским набором, поступления денежных средств для армии прекратились, женщины стали менее сговорчивы, тысячи мелких забот, от которых избавляла герцога ловкость его финансоводиректора, встали теперь перед ним во всей своей неприглядности. Перестало хватать денег на покрытие его огромных личных расходов, искусственно раздутых Зюссом, а также на оплату военных поставок. Ко всему еще Карла-Александра раздражала упорная неподатливость Магдален-Сибиллы, да и дамы Гетц, как мать, так и дочь, ловко и незаметно руководимые издавна Зюссом, оказывали непредвиденное сопротивление. Ремхинген ему наскучил, Бильфингера он избегал, недовольный его ролью в штетенфельзском инциденте, фран-

цуз Риоль, на его взгляд, был слишком вертляв и остер на язык. Он вздыхал о своем еврее. Если бы тот был здесь, несомненно и штетенфельзская история приняла бы другой оборот; какой позор, что его министры не способны без помощи еврея достойно уладить христианские дела.

Путешественника встретили дома с распростертыми объятиями. Он успел побывать в Голландии, в Англии. Во Франкфурте его чествовали, в Дармштадте он поиздевался над братом, над бароном, над выкрестом: он, мол, достигнет того же и не таким презренным способом. К тому же в Нидерландах он познакомился с одной португальской дамой, сеньорой де Кастро, рыжеватой блондинкой, видной, моложавой, изящной, неприступной с виду и по манерам. Она была весьма состоятельной вдовой португальского резидента в Генеральных штатах. Зюсс хотел на ней жениться. Она не отвергла его; однако поставила условием получение им дворянства. А пока что обещала в ближайшем будущем посетить его в Штутгарте. Мария-Августа, услышав об этом проекте, звонко расхохоталась. Герцогу предполагаемое супружество его придворного еврея пришлось не по душе. Черт возьми, он ведь не препятствует ему иметь метресс.

— Ты, еврей, все равно лакомишься изо всех моих тарелок,— ворчал он.

Однако Зюсс, при всей своей улыбчивой подобострастности, не отказался от этого намерения и, сломив сопротивление герцога, добился посылки в Вену нового ходатайства о возведении его в дворянство. Карл-Александр собственноручно написал настойчивую просьбу. Он подчеркнул, что от одного своего придворного еврея видит больше пользы, нежели от всех прочих советников и чиновников, что в силу своих талантов и отменной деловитости еврей успешно справляется с любым важным начинанием, а посему он, герцог, почитает прямой своей обязанностью отблагодарить его единственным достойным княжеского престижа образом, а именно дворянской грамотой. После такого послания Зюсс решил, что дело слажено.

Он проезжал по улицам на своей белой кобыле Ассиаде и казался на десять лет моложе своего возраста. Он был первым кавалером во всей Швабии. Ловко, складно, легко сидел он верхом на лошади, ярко-пунцовые губы на белоснежном лице были полуоткрыты, каштановые волосы легкими волнами выбивались из-под широкополой шляпы, хлыст сверкал драгоценными камнями, из-под ясного лба глядели выпуклые крылатые глаза. Женские головы стремительно поворачивались ему вслед: «Он снова здесь!» Дамы Гетц высунулись в окно и, когда он, проезжая мимо, почтительно им поклонился, залепета-

ли с приторным восторгом: «Он снова здесь». «Снова он здесь!» — ворчал народ, невольно любуясь им. А дон Бартеlemi Панкорбо, увидев на руке, приветственно помахавшей ему, огромный сверкающий солитер, усмехнулся тонкими губами: «Снова он здесь!» — и поверх чопорных брыжей старомодной португальской придворной одежды жадно и настороженно скосил упрямые, бегающие щелочки-глазки вдогонку статному всаднику.

А кобыла Ассиада высоко вскидывала голову и звонким, горделивым ржанием возвещала насторожившимся горожанам, злобно завистливым кавалерам и замирающим от сладострастного волнения женщинам: «Он снова здесь!»

Пребывание герцогской четы в Людвигсбурге завершилось парадным представлением. В представлении участвовала сама герцогиня, а также молодой Гетц, успевший получить чин советника экспедиции, и тайный советник по финансовым делам Зюсс. Самые трудные и неблагодарные роли исполняли певцы и актеры придворной труппы.

Блистательное сборище. Согласно предписанию — мужчины в париках с буклями, дамы в низко декольтированных туалетах. Начиная с четвертого ряда из-за леса громадных пышных париков, в просвете над обнаженным женским плечом, можно было лишь с превеликим трудом увидеть кусочек сцены.

На подмостках — герцогиня. Как она хороша в испанском наряде! Золотой гребень выгодно оттеняет блестящие черные волосы над тонким профилем цвета старого, благородного мрамора. При виде ее у Ремхингена вырвалось что-то вроде звериного рычания, герцог еле удерживался, чтобы не прицелкнуть языком, а лорд Сэффолк смертельно побледнел.

Играют пьесу великого испанского драматурга былых времен. Вещь эта прошла через много рук, странствующие итальянские комедианты переиначили ее на свой лад, введя пение и танцы, а теперь над ней поусердствовал тюбингенский придворный пиита, переведя весь текст добросовестным, гладеньким александрийским стихом. Но миниатюрная смуглая неаполитанка, которой, понятно, была поручена самая ответственная и трудная роль, настояла на том, чтобы главные свои сцены играть и петь по-итальянски. Швабский стихотворец в досаде устранился, а вездесущий Зюсс спешно раздобыл среди знакомых своей матери другого поэта и режиссера, и теперь одни сцены исполнялись по-немецки, другие по-итальянски, что вносило разнообразие и заведомо избавляло зрителей от скуки. Впрочем, это и сама по себе была живая, увлека-

тельная комедия. На подмостках стоял герой — доблестный рыцарь и страстный любовник. Его ремесло — война и любовь. Только он отличался грустной особенностью — едва овладев женщиной, он уже был пресыщен ею.

Краса, что нас влечет,—
Пленительное чудо;
Доступная краса
Нам мерзостнее блуда,—

признавался он, и зрители прочувствованно кивали париками в знак согласия. Однако герой на подмостках и в поведении своем следовал этому правилу, предавался безудержному распутству, в каждом действии соблазнял и бросал женщин, закалывал их воздыхателей. Лишь герцогиня, по благородству своей натуры, не уступала соблазнителью и весьма решительным образом давала ему отпор, как оно и подобает столь возвышенной особе. Мария-Августа превосходно вошла в роль; но господин де Риоль, самый наблюдательный в таких делах зритель, подметил, что она потихоньку подсмеивается над своей ходульной и жеманной добродетелью. Едва уйдя за кулисы, она игриво толкнула в бок советника экспедиции Гетца:

— Недурно я его отделала, а?

Советник экспедиции вместо ответа принялся отвечать низкие, почтительные поклоны. По ходу действия он был уже мертв, так как играл одного из соперников героя, и тот заколол его в самом начале представления. Но актеру — исполнителю главной роли пришлось при этом очень несладко: господин Гетц не желал умирать без сопротивления, а, как приличествует молодому швабскому дворянину знатного рода, пустил в ход все свое фехтовальное искусство и едва всерьез не поранил актера, так что Гетца пришлось силком уволочь за кулисы, иначе пьеса затянулась бы до бесконечности.

Между тем представление продолжалось. Герой никак не мог добиться успеха у герцогини. Он решил похитить ее. Но миниатюрная, смуглая неаполитанка, покинутая им в неприступных горах, хоть и попала в плен к маврам, однако была своевременно освобождена, и драматург так искусно сплел интригу, что герой вместо герцогини по ошибке в темноте похитил ее и снова увез в горы. Там он обнаруживает обман и в ярости решает продать бедняжку маврам. Миниатюрная смуглянка на коленях, обливаясь слезами, умоляет его сжалиться над ней. Это была самая лучшая сцена в пьесе, великий испанец вложил в нее все свое мастерство, и, даже претерпев множество переделок, порядком засоренная и опошленная, она все-таки сохранила свою силу. Итак, упав на колени перед грубо загрими-

рованным актером, который со скучающей и презрительной миной принимал картинные позы, при свете масляных ламп, на фоне трех бурых зубцов, выпиленных из дерева и долженствующих изображать неприступные горы, неаполитанка произносила свой монолог:

— «Ты клялся взять меня в супруги, но ныне ты этого не хочешь, и я готова освободить тебя от клятвы. Заточи меня навеки в монастырь! Или возьми к себе служанкой: чтобы служить тебе, я рада стать рабыней. Лишь счастье буду я вымаливать тебе у бога. Пойдешь ты на войну, в твоей палатке я буду готовить тебе пищу, одежду чистить. А хочешь, поведи меня к своей любимой и заставь служить ей! Когда в твоём присутствии я стану расчесывать ей косы, не бойся—ни роптать, ни дергать ее за волосы не осмелюсь. А если ты начнешь ей говорить слова любви, те ласковые, нежные слова, что говорил когда-то мне, я только стисну зубы и молча претерплю горчайшую судьбу, какая может выпасть женщине,—рабыней буду счастливнице, любимой моим любимым. Лишь маврам не продавай меня! Не продавай!»

Произнося эти слова, она уже не была смуглой, вертлявой, распутной толстушкой, нет, роль увлекла ее и перевоплотила в несчастную, беспомощную, обиженную, плачущую женщину.

В зале стало очень тихо, слышно было, как масло из ламп каплет на просцениум да жужжат горящие свечи в жирандолях у стен.

Белокурые, лилейные, хрупкие дамы Гетц были глубоко растроганы, дочка громко всхлипывала, но плакать по-настоящему остерегалась, потому что, когда краснеет нос, сразу становишься дурнушкой.

А сеньора де Кастро, которая не знала, принять ли ей предложение Зюсса, но все же осуществила свое намерение посетить Штутгарт, и тут тоже сделала для себя практические выводы как особа с практическим складом ума, привыкшая извлекать пользу из всего, что видела, слышала и наблюдала: да, все мужчины таковы. Пока ухаживают, они сулят что угодно. А после первой ночи становятся нестерпимо грубы. Прежде чем выйти за него замуж, я на всякий случай сохранию за собой право единолично распоряжаться моим собственным состоянием, а за свои милости назначу такую высокую плату, что ни при каких обстоятельствах не буду внакладе. Впрочем, я еще как следует прикину все плюсы и минусы этого дела.

Что верно, то верно. Женский пол надо держать в узде, размышлял герцог. Однако этот молодчик уж очень бесчинствует. Я бы его попросту выпорол. А итальянка хороша. Она мне сразу приглянулась. Сам не пойму,

отчего я до сих пор не дал команды прислать ее ко мне в постель. Конечно, виновата Магдален-Сибилла. А я, осел, из-за одной недотроги ни на кого больше не смотрю. Сегодня же ночью надо наверстать упущенное.

Ремхинген уставился на актрису плотоядным взглядом. Он уже разок попользовался ею, но по скаредности мало заплатил, и она стала несговорчива. Придется раскошелиться еще на несколько дукатов, со вздохом подумал он. Ну, ничего. Заставлю еврея возместить убытки. Пусть возьмет меня в долю при поставке новой партии сапог. Ведь он, окаянный, во всем виноват. До того разбаловал бабье, что теперь ни одна не подчиняется сразу и заламывает невесть какую цену за то, что ей самой ничего не стоит.

А в самом дальнем углу стоял чернокожий. Он смотрел на сцену поверх париков и даже поднимался на носки, чтобы получше видеть. Своими большими звериными глазами он пожирал распростертую в бессильном отчаянии женскую фигуру. И не мог подавить глухой, хриплый, гортанный стон при заключительных словах актрисы.

— «Мой сладчайший повелитель! Мое блаженство! Божество мое! Опомнись! Стань самим собой! Обрети себя, пока еще есть время. Раскаяние не преступление, а заслуга! Ибо иначе небо, звезды, месяц, животные и люди, леса, деревья, горы и самые стихии откажутся служить тебе, восстанут, не стерпев такого святотатства! Внемли мне! Образумься! Сеньор Гомес Ариас! Сжался надо мной, простертой в прахе. Не продавай меня ты маврам в Бенамеги!»

Последние слова она произнесла нараспев тихим, трогательно слабым голоском. Ремхинген и некоторые другие господа связывали ее волнение со своей персоной; никто и не подозревал, что актриса думала при этом о неловком белокрысом советнике экспедиции Гетце.

Вслед за тем на сцене появился Зюсс. Он играл мавританского принца, которому негодяй испанец продал неаполитанку.

— Ну, конечно, если речь зашла о купле-продаже, еврей тут как тут,—буркнул Ремхинген своему соседу.

Но Зюсс проявил поистине рыцарское благородство. Страстно любя женщину, купленную им и ставшую его рабыней, он не притронулся к ней.

Презренна мне любовь,
Когда я ей не мил,
Когда восторг утех
Насильно я добыл,—

продекламировал он.

Весь он сверкал драгоценными камнями и вид имел весьма авантажный, правда, на его шелковые мавританские шаровары были нашиты фландрские кружева.

Чернокожий радовался, что мусульманин так благородно ведет себя на сцене.

— В жизни мой еврей не стал бы разводить такие церемонии,— смеялся герцог.

А дон Бартелеми Панкорбо думал: вон он стоит и распинается перед этой бабенкой и клянется, что ничего не пожалел бы для нее. Я на ее месте потребовал бы один только солитер, и, конечно, он стал бы отвиливать. При этом португалец вытягивал жилистую шею, и глубоко запавшие щелочки-глазки на костлявом сизо-багровом лице не отрывались от солитера.

На шертлинской фабрике, в Урахе, в свое время служил некий Каспар Дитерле, мужчина лет сорока; у него было одутловатое лицо, выцветшие голубые глаза, рыжеватые тюленьи усы, плоский затылок. Когда фабрика перешла к компании Фoa—Оппенгеймер, Дитерле был оставлен ткацким мастером. Внешне он держался подобострастно и смиренно, а втихомолку поносил еврейское хозяйничанье. При случае старался вызвать вспышки недовольства. Сам раболепствовал, а других подстрекал. С подчиненными был жесток и груб. В конце концов, когда его двурушническое поведение открылось, он был уволен.

Он не решался искать работы за пределами родины. Опускался все ниже и ниже. Еле существовал ничтожной торговлей вразнос и случайной продажей контрабандных товаров. Неоднократно попадал в тюрьму, однажды даже подвергся телесному наказанию.

Он взял к себе сиротку-родственницу, которая вместе со старым псом возила тележку с товарами и вообще помогала Дитерле как могла; это была пятнадцатилетняя девочка, низкорослая, широкостая дикарка, неопрятная, дерзкая, хитрая, упрямая, вороватая и на свой примитивный лад кокетливая. Он плохо обращался с ней, отчаянно колотил ее, так что иногда она, избитая до крови, не могла держаться на ногах. Однако, когда вмешались власти и хотели отнять у него девочку, она встала на его сторону, отрицая дурное обращение, и не пожелала расстаться с ним. Дело в том, что он жил с этим неряшливым, лохматым подростком как с женой. Девочка привязалась к нему, любила его по-своему, его грубость и бахромчатые тюленьи усы были для нее символом мужественности, она любила его, когда он бывал с нею нежен и когда бил ее. Мало-помалу она стала ему необходима, на

ярмарках и базарах он теперь только пьянствовал да горланил и бранился с прижимистыми покупателями и с теми, кто у него ничего не покупал, так что забота об их существовании легла целиком на ее плечи.

Когда она увидела, что ему без нее не обойтись, она стала перечить ему, издеваться над ним, особенно нравилось ей дразнить его, когда он был пьян. Все чаще случалось, что он избивал ее до полусмерти. Раза два она убегала; но всегда возвращалась обратно—ведь он был единственным человеком, над которым она имела некоторую власть и который был к ней привязан.

Таким вот образом бродяжничала по большим дорогам эта странная чета, кое-как перебиваясь воровством и торговлей. Каспар Дитерле умел отчаяннейшим образом браниться, второго такого сквернословя не сыскать было по всей стране. Это внушало девушке необыкновенное почтение и казалось ей признаком особой силы и мужественности. Но лучше всего у него выходило, когда он ругал евреев. Из-под рыжеватых усов изливались целые водопады яда и грязи, на испитом лице под выцветшими глазами набухали мешки, и девушка восхищенно внимала ему. Иногда, будучи в хорошем настроении, он, чтобы развлечь ее, изображал евреев, ходил сгорбившись, говорил с еврейским акцентом и, к великому восторгу благодарной зрительницы, пытался закручивать усы вокруг ушей наподобие пейсов. Но истинным праздником бывали его стычки с евреями на базарах и ярмарках. Правда, в областях, подвластных герцогу, стражники, под давлением Зюсса, хотя и весьма неохотно, брали евреев под свою защиту. Но в вольных городах он мог как угодно обижать незащитных, разыгрывать над ними самые злые шутки, какие только в состоянии был родить его убогий мозг.

Большие надежды возлагали оба на пасхальную ярмарку в Эслингене. Однако там появился еврей Иезекииль Зелигман, который прежде пользовался покровительством графини Гревениц, а ныне проживал в бывшем гревеницком поместье Фрейденталь, с молчаливого согласия властей. Он торговал изделиями мануфактуры Зюсс—Фоа и, имея гораздо больший выбор товаров, был непобедимым конкурентом для Каспара Дитерле, торговавшего всякой завалью. Иезекииль Зелигман из Фрейденталья был пожилой, сухощавый, сутулый, некрасивый человек. Каспар Дитерле изыскивал тысячи способов поизмываться над ним, мазал скамью его лавочки свиным салом, пачкавшим ему кафтан, натравливал на него детей, заставлял его прыгать и кричать: «Гоп, гоп»,—и досужие зеваки всегда были на стороне шутника. Еврей все сносил, только казался еще хуже, некрасивее, несчастнее, а когда ему наконец удавалось вздохнуть свободно в своей лавчонке,

он улыбался жалкой, вымученной улыбкой. Хотя люди и находили удовольствие в этих шутках и вместе с Каспаром Дитерле изрядно потешались над евреем, но покупали все же у него, ибо, несмотря на чрезвычайные налоги, товары его были дешевле и разнообразней, чем убогое тряпье конкурента. Каспар Дитерле разгорелся глухой, бешеной злобой на Иезекииля Зелигмана и решил ночью избить и изувечить его до полусмерти, но у него не хватило денег уплатить за ночлег хозяину постоялого двора при ярмарке, где наряду с другими евреями жил и Зелигман, и он вынужден был убраться из города до закрытия ворот. Им пришлось ночевать в чахлом лесу. Оба, мужчина и девушка, были страшно раздражены и озлоблены. К тому же пошел дождь, им стало холодно, захотелось есть. Он пообещал ей купить на ярмарке в Эслингене коралловое ожерелье, и она отложила для этой цели полученную ею ничтожную выручку, но он отнял у нее деньги и купил водки. Она потребовала, чтобы он по крайней мере дал отхлебнуть и ей. Он принялся издеваться над ней, обвинял в том, что из-за нее, вшивой потаскухи, они так мало заработали. Она огрызалась в ответ, грозила донести, что он ее изнасиловал, что он грабитель и вор и ему не миновать виселицы. Он ударил ее, она не унималась и кричала пуще прежнего; он ударил сильнее, она укусила его. Несмотря на побои, она все ожесточеннее впивалась в него зубами, пока он наконец, рассвирепев, не ударил ее бутылкой по голове. Она упала, вытянувшись, застыла в неподвижности. Это случилось и раньше, а потому он не обратил на нее внимания и с удовлетворением перевел дух. Высосал остатки из бутылки. Накрылся каким-то тряпьем и уснул как чурбан, громко храпя. Однако дождь промочил его насквозь, и он проснулся. Икая, потребовал, чтобы она пододвинулась к нему ближе и дала ему другое одеяло, согрела бы его. Ответа не последовало, он толкнул ее, выругался. Но так как она и тут не шевельнулась, он поднялся, окоченев от холода, и пихнул ее ногой. Наконец, после долгих тщетных попыток, он, вздыхая и икая, зажег тусклый, разбитый фонарь. Сверху донизу осветил неподвижное тело. Увидел ее, мокрую, застывшую, с отвисшей челюстью и широко раскрытыми глазами.

Долго стоял он под дождем, в чахлом лесу, озябший, растерянный, обезумевший, один с покойницей и с тихо воющей собакой. Ветер тотчас же загасил фонарь, было холодно и темно. С дерева, к которому он прислонился, капало ему на жалкий плоский затылок и за спину, а с его рыжеватых тюленьих усов тоже капало равномерно. Так стоял он долго и все не мог уразуметь, как и почему Бабетта, единственное близкое ему существо, ни с того ни

с сего умерла. Вдруг он завыл трусливо, отвратительно, пес принялся подвывать ему, он поднял ногу, чтобы ударить собаку, но остановился.

Немного погодя он опустился перед трупом на колени; не без труда раздел окоченевшее уродливое, грязное тело, торопливо и деловито надрезал во многих местах кожу. При этом пользовался он осколками бутылки, хотя ножом это было легче сделать. Затем, под проливным дождем, взвалил, голый, изувеченный труп на тележку, тщательно накрыл одеялами и всяким тряпьем и с помощью пса поволок тележку в город. Добрался туда к утру, когда открылись ворота. Стражнику у ворот он сказал, что у него остались дела с евреем Зелигманом. Его пропустили.

Он потащил тележку к корчме, где проживал еврей Иезекииль Зелигман из Фрейденталья. Все это он проделывал с какой-то бессознательной хладнокровной целеустремленностью. Оставил тележку во дворе корчмы. Продал за бесценок свой последний скарб. Выпил. От времени до времени наведывался к тележке. Наконец, улучив минуту, когда во дворе под проливным дождем остались одни поросята, кое-как закопал труп в мусорной яме. Затем снова вернулся в кабак. Выпил еще. Вытащил одежду девушки. Принялся рассказывать целую историю. Медленно, сбивчиво, отрывочно. Да ведь все слышали, как вчера он и Бабетта ссорились с евреем Иезекиилем Зелигманом из Фрейденталья. Под конец еврей обещал девочке коралловое ожерелье. Она потом все хотела уйти к еврею. Он, Каспар, не пускал ее. Отколотил. Ночью — еврей, должно быть, ее чем-нибудь опоил — она вдруг исчезла. Человеку надо же поспать, и тогда ему не уследить за другим, да-с. А теперь вот он нашел под товарами еврея, во дворе, узелок с одеждой, и оказалось, что одежда-то Бабетты. Теперь, верно, девчонка бегаёт голая, в одном коралловом ожерелье. Да, а теперь у евреев как раз пасха.

Вот что рассказывал Каспар Дитерле, пропивая свое последнее достояние. Он без конца повторял свой рассказ, и с каждым разом его слушало все больше людей. Слушали его затаив дыхание, и все напряженней, все испуганней впивались взглядом в рот человека с бахромчатыми рыжеватыми усами, с гнилыми почерневшими зубами, который слезливо и коварно вместе с винным перегаром изрыгал свой жуткий рассказ.

А потом в мусорной яме нашли искромсанный труп, свиньи уже начали объедать его. Разукрашенный фантастическими ужасами, словно на крыльях летучей мыши, облетел рассказ о преступлении весь город. Толпами сбегались люди, работа в домах и на улицах приостановилась, городские ворота закрылись, собрался муниципали-

тет. Ужас, безумие и ужас! Невинное христианское дитя гнусно замучено евреями, кровь его выпещена для пасхальной мацы, изувеченный труп отдан на съедение свиньям.

Вот до чего довело жидовское хозяйничанье вюртембергского герцога, если в свободном имперском городе Эслингене, к стыду и позору всего Швабского округа, могло совершиться столь мрачное злодейство!

Гнев и возмущение во всем городе. За последние сорок лет, нет, точнее, за последние сорок три года, такого жестокого злодеяния не знала Римская империя. Только в книгах приходилось читать об этом. В здешних местах со времен равенсбургского детоубийства ничего подобного не случалось. Поистине мудры были предки, изгнавшие евреев за пределы Эслингена! Со времени Соломона, гехингенского врача, никому из них с их отродьем не разрешалось портить благодатный воздух прекрасного города. Когда император требовал, чтоб ему вносили налог на евреев, можно было гордо и громогласно отвечать, что за последние два столетия ни один еврей не жил в здешних стенах. А нынешний герцог, ирод, еретик, напустил в страну этих мошенников, этих черномазых убийц, которые увлекают невинных христианских детей и выпещивают у них кровь. Всплывают все новые подробности, одна ужасней другой. Матери в страхе предостерегают детей. Что сегодня случилось с чужим ребенком, может завтра случиться и с моим собственным. Отныне напуганные малыши еще долгие годы будут убегать от всякого незнакомца, потому что им всюду будут мерещиться страшные бороды, кровь и ножи.

Еврей Иезекииль Зелигман из Фрейденталья обходил между тем предместье, заканчивая свои торговые дела. Его арестовали как раз в ту минуту, когда он кротко и настойчиво требовал свои деньги с очень неаккуратного должника. Он понятия не имел, в чем его вина, и все время клялся, что вчера не бранился ни с Каспаром Дитерле и ни с кем другим, да вообще не раскрывал рта. Ибо таков был излюбленный метод борьбы против еврейского конкурента: словом или действием вызвать у еврея возмущенный отпор, а затем засадить его в тюрьму по обвинению в дерзком поношении христиан и надругательстве над их верой. Но стражники не дали ему договорить, схватили и связали его. На улице хилым, дрожащим, перепуганным человеком завладела толпа, он увидел поднятые руки и неистово орущие рты, грязь и камни полетели в него, его повалили, топтали, плевали ему в лицо, вырывали волосы и бороду. А он по-прежнему силился оправдаться перед своими мучителями, едва дыша после всех истязаний, с выступившей в углах рта кровавой

пеной клялся, что не говорил никаких обидных слов и вообще не говорил ни слова. Только из выкриков какой-то женщины, которая все норовила ткнуть ему в пах острым веретеном, он понял, в чем его обвиняют, и потерял сознание. Так, беспмятным, его уволокли в тюрьму.

А среди ратманов царило великое злорадное торжество. В ужасном злодействе попались герцогские жидовские приспешники. Вот когда они им пропишут, вот когда отведут душу. Наконец-то можно будет утереть нос герцогу и еврею. Вечно из-за них приходится терпеть скандалы и неприятности! Когда герцогские дикие кабаны и олени и прочее зверье портят пашни, наглый еретик обвиняет эслингенских горожан в браконьерстве — а что же им остается? — и сажает их под арест. А разве не придирается он постоянно к эслингенским дорогам, которые якобы плохи, несмотря на договор? Ну-ка, высокие господа! Что значит выбоина на дороге по сравнению с таким ужасающим убийством? Да и по вопросу о Неккаре с ним никак не столковаться. А разве не наложил он лапу на доходы эслингенского госпиталя, поступающие из Вюртемберга? А чего стоит один его еврей, этот наглый злодей и шельмец! Ведь город только для проформы, чтобы добиться некоторых уступок, расторг покровительственный договор с герцогом. И что же? Этот вшивый поганый жид решил принять дело всерьез и распорядился поступать с эслингенцами, как с чужестранцами, словно покровительственного договора и не бывало! На каждом шагу чинит им преграды. Нет такого ратмана, который по его милости не поплатился бы несколькими тысячами талеров. Ну, подожди-ка, господин еврей! Теперь тебе отомстят! Все выместят на твоём черномазом нечестивом единоверце! В испанские сапожки втиснут его, выжмут из-под ногтей кровь, раскаленными клещами будут вырывать у него куски мяса. Уж и сейчас ратманы, живущие близ базарной площади, предвкушают, как его будут торжественно сжигать, и заранее оставляют за родными и друзьями места у окон. Жаль только, что придется ограничиться одним родом казни. Надо бы его одновременно и повесить, и колесовать, и четвертовать, и сжечь.

Старейшим из ратманов был Кристоф Адам Шертлин, который основал некогда урахскую мануфактуру, а теперь на старости лет вынужден был наблюдать из своего эслингенского патрицианского дворца, как неотвратимо приходит в упадок его дело, ускользая в руки еврея, как погибают и опускаются на дно его сыновья. Ему было далеко за семьдесят. Какую безмерную, негаданную радость послала ему судьба на краю могилы! Из глубины души черпал он жестокие слова против еврейского беззакония, перед всем муниципалитетом швырял их в лицо,

увы, отсутствующему недругу. Уверенным шагом ходил он по улицам, высоко подняв свою крупную дряхлеющую голову, с ожесточением, словно пронзая ею тело врага, ударял об землю бамбуковой тростью, крепко сжимал золотой набалдашник сухой, но недрожащей рукой.

А в корчме при ярмарке сидел между тем Каспар Дитерле. У него не было теперь нужды продавать что придется себе на водку. Его все время окружало кольцо людей, обмирающих от страха и любопытства. Тот, кого раньше не пускали на порог как проходимца и бродягу, стал теперь важной персоной и пользовался всеобщим вниманием. Он расцветчивал свой рассказ все новыми подробностями и давно уже уверовал сам, что гнусные жида злодейски прирезали его последнюю опору. В качестве наиболее веского аргумента он приводил то обстоятельство, что девочка родилась в сочельник, и все как зачарованные глубокомысленно смотрели ему в рот, когда он, многозначительно закатывая выпуклые глаза, приводил этот довод. Ибо давно доказано и прописано во многих книгах, что тот, кто родился в сочельник, подвергается особой опасности погибнуть от руки евреев.

Больше всего жалели Каспара Дитерле женщины. Недаром его печальный пример побудил их тщательнее оберегать своих деток. Они без конца пичкали его печеным и вареным, ветчиной и пышками в сале. Его одутловатые щеки зарумянились, рыжеватые тюленьи усы были расчесаны и подстрижены; только гнилые, почерневшие зубы остались прежними. И вдова булочника серьезно подумывала выйти замуж за осиротевшего горемыку, над которым так зло надругались евреи.

Лейб-медик доктор Венделин Брейер осмотрел герцога. Это был тощий, долговязый человек, невообразимо усердный, трусливый и предупредительный, с округлыми виноватыми жестами, с глухим, напряженным голосом, словно выходящим из недр груди. Он все время робко улыбался, без конца просил прощения, старался смягчить свой диагноз застенчивыми, беспомощными шуточками. Герцог был трудным пациентом; другого врача, Георга Буркхарда Зеегера, он однажды избил до полусмерти шпагой плашмя и, кроме того, имел привычку колотить бутылки с лекарствами о головы своих докторов.

— Ну как? — грубо спросил герцог.

Доктор Венделин Брейер суетливо и неловко ретировался от греха в дальний угол.

— *Goutte militaire*, — заякаясь, промямлил он своим напряженным голосом. — Совсем легкая, незначительная *goutte militaire*. — А так как герцог мрачно молчал, он

поспешил прибавить: — Вашей светлости не следует из-за этого впадать в меланхолию и настраиваться на мрачный лад. Подобная *goutte militaire* не имеет ничего общего с тяжким венерическим недугом, именуемым французской болезнью. Ибо в то время как вышеназванная болезнь происходит от яда, находящегося в женском влагалище и внедренного туда дьяволом, недомогание вашей светлости следует рассматривать как нечто преходящее, если можно так выразиться, вроде легкого насморка высочайшего мочевого пузыря. Вы, ваша светлость, с божьей помощью, избавитесь от этой болезни самое большее в три месяца. Я позволю себе еще почтительнейше добавить, что упомянутое легкое недомогание было присуще всем великим полководцам христианского мира. Согласно летописям великие герои древности Александр и Юлий Цезарь тоже страдали им.

Герцог мрачным жестом отпустил врача, и тот удалился с округлыми виноватыми поклонами.

По уходе лекаря Карл-Александр засопел и в гневе расколол маршальским жезлом фарфоровую статуэтку. В юношеские годы ему случалось дважды заполучить эту гадкую болезнь, но тогда он не знал от кого. На сей раз он знал. Этакая дрянь, этакая мерзавка! А со сцены казалась такой хорошенькой, аппетитной, так бойко стреляла глазками, так волнующе и похотливо водила по губам кончиком языка — словом, соблазнительная была бабенка. Вся порыв, миг, ароматное дуновение. А в теле скрывала мерзость и яд и дьявола. Шлюха, окайнная! Высечь ее надо, палками выгнать из страны!

Но удовольствовался он тем, что приказал запрячь ее в телегу с навозом, как это принято делать с женщинами, избалованными в распутстве. Миниатюрную, пухленькую, загорелую неаполитанку, одетую в грубый балахон, провели по всему городу; с трудом тащила она телегу с навозом, растерянно и запуганно глядели ее живые глазки, большой ярлык с надписью «шлюха» висел у нее на груди. Горожане прищелкивали языком, сожалея, что упустили свое; винцо было, наверно, превкусное, пока не скисло, каждый не отказался бы нацедить себе кружечку. Зато женщины плевали ей в лицо, закидывали отбросами. А затем ее, больную, без гроша денег, прогнали из города.

Кстати, той же болезнью, что герцог, страдали и генерал Ремхинген, и чернокожий.

Ремхинген и Карл-Александр дружно кляли женщин. Герцог изводил Зюсса грубыми остротами. Тот, надо полагать, первый попользовался ею, но счастливо отделался с помощью черт его знает каких еврейских колдовских чар.

А белобрысый советник экспедиции Гетц пребывал в безнадежном отчаянии. Ему одному был доподлинно известен весь ход событий. Он заполучил болезнь от служанки из «Синего козла», в свою очередь, передал ее по наследству неаполитанке, которую чистосердечно почитал своей возлюбленной повелительницей. Если бы дело обстояло иначе, он счел бы своим неременным долгом исправить зло, быть может, даже вступив в брак с неаполитанкой. Теперь же, когда при дворе с почтительной улыбкой шептались о легком секретном недуге герцога, когда ему наконец стало ясно, что именно он, смиреннейший и покорнейший верноподданный, навлек на своего государя эту докучливую и постыдную напасть,— весь его внутренний мир рухнул. Его сразило сознание, что он, при всей нелицемерной преданности, учинил своему монарху такую досаду, что вообще возможно без вины быть повинным в подобном деянии. Сперва он решил застрелиться. Затем надумал, что, собственно, всему причиной одна неаполитанка; из-за нее он так жестоко провинился перед особой своего богом данного господина, и он снял с себя всякую вину, взвалив ее на певицу, и с жестоким удовлетворением смотрел, как она тащила тележку с навозом.

А между тем неаполитанка искренне любила беспомощного белобрысого молодого человека. Она не выдала его, хотя этим могла бы, пожалуй, спасти себя. В то время как ее, поруганную и несчастную, вели по улицам, она думала только о нем. Она шевелила губами, народ думал, что она молится, а она беззвучно и почти бессознательно шептала те слова, которые декламировала со сцены: «Мой повелитель! Мое блаженство! Божество мое! Сжался надо мной, простертой в прахе! Не продавай меня ты маврам в Бенамеги!» Ей грезились старые сказки о принце, который женится на нищенке. Вот сейчас, сию минуту, он явится, и все страшное, тяжелое окажется кошмарным сном. Только когда ее переправили через границу, а он не замолвил за нее ни словечка, она окончательно пала духом.

Слухи о болезни герцога просочились повсюду. В библейских обществах шептались, что это божья кара, и поминали Навуходоносора, который перед жестоким концом своим осужден был жрать траву, точно бык. Но при дворе этот галантный недуг только увеличил уважение к герцогу. Тюбингенский придворный пиита преподнес ему поэму, в которой говорил, что за победы в царстве Амура иногда приходится расплачиваться царапинами, которые, однако, не менее почетны, чем раны, полученные на поле брани. В колчане Амура попадают отравленные стрелы. И так как стихотворец затаил на неаполитанку обиду за

то, что она не пожелала произносить со сцены его александрийские вирши, он не преминул уподобить ее всякой ползучей и летучей нечисти и присовокупить, что от иноземки, презревшей германскую музу, он с самого начала не ждал ничего хорошего. В заключение он восклицал, что победитель турок и французов победит и эту мелкую напасть, и швабский Александр скоро вновь станет швабским Парисом.

Герцогиня же усматривала в болезни своего супруга перст судьбы и предопределение свыше. При ней все еще состоял молодой лорд Сэффолк с выражением беззаветной влюбленности на своем красном, наивном лице. При отечественном дворе и у себя во владениях он в силу длительного отсутствия утратил всякий престиж, ее он обожал безмолвно, упорно и безнадежно, следовательно, ему ничего больше не оставалось, как покончить с собой. Не перст ли это судьбы, что ее супруг не может теперь приходить к ней? И она сжалилась над бедным, неизменно верным юношей, улыбаясь своей обычной игривой улыбкой.

Однако юный англичанин явно родился под несчастливой звездой. Карл-Александр вообще совсем не был склонен к ревности, ему и в голову не приходило, что можно обманывать его, его! Но либо болезнь сделала его недоверчивым, либо кто-нибудь вселил в него подозрение, только он неожиданно появился в покоях герцогини; молодому лорду едва удалось скрыться в довольно непрезентабельном виде, полуодетым. Герцог учинил грандиозный скандал, перебил зеркала и флаконы с духами, изорвал шпагой драгоценное кружево на белье, обозвал Марию-Августу непотребными именами и даже ударил по грациозному, тонкому, ящеричьему личику цвета старого, благородного мрамора. Герцогиня в слезах, негодуя, рассказала об этом Магдален-Сибилле, с театральным пафосом клялась в своей невинности, но очень скоро в ее негодование прокралась легкая игривая улыбка, она принялась шаловливо изображать бурный гнев герцога, очень веселилась, повторяя незнакомые ей неприличные слова и стараясь перевести их на французский или итальянский. В заключение она заметила, улыбаясь, что это очень странно, но если бы к ней пришел Риоль или Ремхинген, она не сомневается, что ни один из них не попался бы и в двадцать четвертый раз; а бедный, неловкий мальчик, конечно, попался в первый же раз, едва вкусив прелесть объятий и обнаружив полную неопытность.

Так как монарху не подобало драться с лордом, то англичанина на всякий случай, виновен он или нет, должен был вызвать на дуэль Ремхинген. Ремхинген ворчал про себя, что, в сущности, и у него есть для этого все

основания. Однако когда дело дошло до развязки, он особого рвения не обнаружил. В конце концов англичанин уехал, отнюдь не тайно, а вполне открыто, с полным комфортом, но усомнившись в божии, потеряв веру в себя и людей и оплакивая свой разбитый чистый идеал. Мимолетное наслаждение глубоко потрясло его, он ничего уже толком не помнил, единственно, что сохранилось у него в памяти, были несколько поношенные подвязки герцогини, из-за которых, право же, не стоило ставить на карту жизнь, доброе имя и положение на родине.

У Карла-Александра было множество улик, но ни одного прямого доказательства неверности Марии-Августы. При других условиях он, несомненно, скоро бы успокоился; теперь же вызванное болезнью воздержание сделало его сварливым и желчным. Мария-Августа, которой скоро прискучили подозрения и постоянный надзор, сперва разыграла из себя угнетенную невинность, но потом возмутилась и решила противопоставить грубостям мужа обидное спокойствие и колкую насмешку, а в конце концов пригрозила, что вернется к отцу. На это Карл-Александр нагло ответил, что прикажет ради такого дня звонить во все колокола, стрелять из мортир и каждому подданному поднести вина и жареного мяса.

Старому изящному князю Турн-и-Таксису эта размолвка была очень не по душе. Допустим, его дочь немного развлеклась с молодым англичанином. А почему нельзя развлечься с англичанином? Они неинтересны в разговоре, и фигуры у них деревянные, но перед французами у них то преимущество, что они здоровее, неискушеннее, а главное, умеют хранить секрет. Будь он женщиной, он непременно остановил бы свой выбор на англичанине. Незачем поднимать из-за этого такой конфузный скандал. Но, правда, его уважаемый зять — полководец, а посему привык к шуму и грому. Правда и то, что от стратега можно требовать побед, а не тонких манер. Так с сокрушением писал он своему другу, князю-епископу Вюрцбургскому, присовокупляя просьбу как можно скорее уладить эти ребяческие ссоры.

Умному, хитрому толстяку такая миссия была очень на руку. Он не забыл штетенфельзского инцидента, поражение церкви задело его за живое, он приютил графа Фуггера у себя при дворе и ждал только повода, как бы невзначай отправиться в Штутгарт и самолично подготовить почву для скорейшего подчинения страны римскому владычеству. Итак, его преосвященство не заставил себя долго упрашивать и в скорости целым цугом великолепных карет покойно, приятно и комфортабельно въехал в Штутгарт, сопровождаемый тайными советниками Фихтелем и Раабом.

С легкой усмешкой осведомился он у герцога о его недомогании — рад был услышать, что оно почти излечено, дружески посоветовал взамен токайского пока что употреблять столь любимый его советником Фихтелем кофейный напиток, отечески похлопал белую пухлую ручку герцогини, по-детски надувшей губки. Очень скоро ему удалось настолько примирить супругов, что они радостно согласились между собой тотчас же по исцелении герцога подарить стране, себе и церкви наследника.

Князь-епископ непременно желал поглядеть вблизи на знаменитого тайного советника по финансам и придворного еврея.

Карл-Александр крайне неохотно пошел на это. Он очень боялся, как бы кто-нибудь не сманил к себе его незаменимого еврея. Но не мог же он решительно отказать другу в такой скромной просьбе. Зюсс появился перед князем-епископом, с привычным ему выражением раболепной преданности поцеловал епископский перстень, рассыпался в тонких комплиментах всемирному оракулу, некоронованному государю, вдохновителю и кормчему европейской политики. Но вюрцбургское преосвященство не так-то легко шло на удочку. Оба лиса одобрительно обнюхивали друг друга, но взаимного доверия не было. Непринужденно, весело, простодушно шла беседа между лукавым тучным епископом и лукавым стройным евреем, но взаимной симпатии не было.

Князь-епископ и его советники с неутомимой энергией спешили провести в жизнь свои планы. Они неотступно разжигали герцога и Ремхингена. Вели открытые и тайные совещания с Вейсензе, с монахами всяческих орденов, которые тайно, вопреки конституции, под затаенный ропот страны обосновались в Вейле-городе и во всем герцогстве. Когда князь-епископ, вполне удовлетворенный, покинул герцогство, он смело мог считать, что расквитался за Штеттенфельз, успел наладить большие дела, а для больших заложить фундамент. Часовня в Людвигсбургском дворце была теперь приспособлена для католического богослужения, состав придворного католического духовенства значительно пополнен, монашеские ордена официально допущены в страну. Католические полковые священники открыто служили обедню, крестили детей. Кроме того, подробнейшим образом был разработан католический военный устав, придумано хитроумное, чисто юридическое, толкование пресловутых религиозных реверсалий, которое фактически сводило к нулю все парламентские свободы, и, наконец, подготовлено уравнивание в правах католической и лютеранской религий. Тридцать лет тому назад подобное равноправие привело в Курпфальце к полному подавлению протестантства.

Тайный советник Фихтель в письме к брату Ремхингена, камерарию при папском дворе в Риме, с радостным рвением повествовал на изящном латинском языке обо всем, чего удалось достигнуть благодаря посещению Штутгарта князем-епископом. Упомянув о поводе для поездки — болезни герцога, — он заключил: «Итак, ты видишь, высокочтимый господин и брат мой, что божье провидение часто пользуется странными средствами, дабы споспешествовать святой католической церкви в распространении истинной веры».

Зюсса снедала и томила тревога. Получение дворянства оказывалось сложнее и затягивалось дольше, чем он предполагал. Император задолжал венским Оппенгеймерам крупные суммы. Эммануил Оппенгеймер торопил, а императору нечем было платить. Неудивительно, что венская дворцовая канцелярия не спешила даровать баронский титул еще одному Оппенгеймеру. Да и уполномоченный вюртембергского парламента как мог тормозил дело. Сеньора де Кастро была по-прежнему холодна, и Зюссе никак не удавалось убедить умную, расчетливую женщину решиться на брак.

Замыслы князя-епископа Вюрцбургского тоже портили Зюссе настроение. Он, конечно, заметил, что ему не удалось снискать доверие его преосвященства и что в том грандиозном плане, который, в сущности, поставлен во главу угла швабской политики на ближайшее десятилетие, ему места не отведено. Правда, ему показывали тот или иной проект, иногда даже совещания происходили у него в доме. Но Ремхинген всегда грубо высмеивал его предложения, и вообще очевидно было, что католические вельможи намеревались пользоваться услугами Вейсензе как главного доверенного лица. Зюсс и сам не чувствовал себя столь сведущим и твердым в этой области, как во всех прочих. Он вообще неохотно занимался религиозными проблемами; вопросы, которые так серьезно обсуждались, с его точки зрения, были пустяками, недостойными взрослых людей. Своим явным, деловым умом он превосходно понимал, что за этим кроются в высшей степени реальные дела, как-то: уничтожение конституции и парламента и военная автократия герцога; для него только было непостижимо, почему даже в среде посвященных считалось обязательным прибегать к смехотворным уловкам, ограничиваться отвлеченными рассуждениями и намеками. Его средства и пути были много прямолинейнее, быстрее и проще, он не мог освоиться с осторожными, усыпляюще медлительными методами иезуитов. Он с удивлением отмечал, что эти господа и в

самом тесном кругу старались не называть вещи своими именами, что они, даже оставаясь с глазу на глаз, скромно и благочестиво пробавлялись всяческими смиренными и нравоучительными иносказаниями и бросали короткие неодобрительные взгляды, когда он или Ремхинген выражались прямо и точно, без экивоков.

Итак, еврей чувствовал, что ему не очень доверяют, и потому искал подтверждения своей власти.

Он добился от Карла-Александра, чтобы тот ему лично поручил отвезти Магдален-Сибилле особо ценный подарок от имени герцога. Накануне он послал предупредить мадемуазель Вейсензе о своем визите, прибыл весьма торжественным поездом, с пажам и скороходами и со всяческой помпой. Магдален-Сибилла обидела бы герцога, если бы обошлась неучтиво с таким важным посланцем. Она приняла его.

Магдален-Сибилла жила теперь в маленьком замке близ города. Золотые амурчики свешивали с потолков гирлянды, на драгоценных гобеленах скакали кавалькады великосветских охотников, сверкающие зеркала отражали богатые покои, наполненные предметами роскоши, подобающими знатной даме. Две кареты, сани, портшезы, верховые лошади были к ее услугам. В вестибюле сверкал многоцветными камнями сделанный из золота и серебра павлин — символ благосостояния. В коридорах праздно и чинно зевала многочисленная челядь. Карл-Александр был щедр в отношении своей дамы сердца; даже король Польский не мог бы окружить свою метрессу большим блеском и комфортом.

Магдален-Сибилла жила среди этого великолепия, ко всему безразличная, точно замороженная. Она выезжала, принимала гостей, смеялась и вела светскую беседу, но все это машинально, как марионетка. Пышность безжизненно повисла и застыла вокруг нее; замок был подобен мавзолею торжественно погребенной покойницы.

Она приняла Зюсса с холодной вежливостью. Величественное лиловато-коричневое парчовое платье, длинные, плотно облегающие рукава, небольшой вырез. Смуглому лицу с синими глазами придано выражение учливой важности, словно перед ней баден-дурлахский поверенный в делах, с правительством которого отношения сейчас натянутые; черные волосы чинно спрятаны под напудренным париком. Сперва Зюсс попытался преодолеть ее холодность непринужденной, светски игривой болтовней, изысканной галантностью. Она отвечала кратко и презрительно. Увидев, что так ему не удастся растопить ледяную броню бесстрастия, он переменял тактику. Сделал попытку вызвать в ней раздраженный протест, начав с жаром благодарить за то, что она сооблаговолила принять

его. Она ответила, что только послушалась приказания его светлости. Немного помолчала и, не сдержавшись, добавила, что после всего ею перенесенного она может вытерпеть и это.

Теперь Зюсс почувствовал под ногами почву. Перенесла! Вытерпела! Быть дамой сердца герцога Вюртембергского, скажите какое несчастье! Дочери всей швабской аристократии жаждут этого. Роскошный замок, сотня слуг, охоты, ассамблеи по первому ее желанию, бедняжка, ах, сколько ей приходится терпеть!

Магдален-Сибилла сбросила маску. Итак, он желает дать бой, он, по-видимому, думает, что она все позабыла, со всем свыклась и он, проклятый жид, торгаш, может начать прямо с того места, где остановился перед тем, как продал ее герцогу. Она резко поднялась и так небрежно смахнула на землю модную азиатскую собачонку, подаренную Карлом-Александром, что та затыкала. Нечего ему притворяться. Он отлично знает, о чем идет речь, какое зло он ей причинил.

— Один вы всему виной!—воскликнула Магдален-Сибилла, сверкая глазами, и к ее смуглым, не по-женски смело очерченным щекам прилила кровь, так что нежный пушок на них ожил.

Зюсс видел крепкую, гладкую шею, видел, как бурно поднимается и опускается ее грудь. Вот теперь он довел ее до того, до чего хотел. Почему она себя недооценивает, сказал он вкрадчивым, ласкающим, волнующим голосом. Она сама воспламенила его светлость, его помощь для этого не понадобилась. Но если даже предположить, что он и вправду всему причиной,—и он оглядел ее с ног до головы, дерзко и многозначительно усмехаясь,—чем он, собственно, ей повредил? Им ведь ни к чему пользоваться словарем мещанских моралистов, они могут изъясняться смело и открыто, как подобает людям высшего круга. Говоря откровенно, чем он так уж ей навредил?

Она тяжело дышала, делала резкие движения, мало соответствующие чопорно-торжественному платью, врожденная вспыльчивость прорвалась наружу. Чем навредил? Ах он лицемер и наглый жид! В ложь и притворство превратил он каждое ее слово, каждое движение! Задушил в ней живое дыхание божье!

— Кто виной тому, что слова Священного писания, заветные слова, поблекли для меня и потеряли всякий смысл? Вы, вы тому виной! Вы иссушили и убили их!—воскликнула она.

Но сказать ей хотелось вовсе не то. Почему же она лжет, почему боится обнажить его подлую низость и продажность его чувства? Почему, во имя всего святого, почему она лжет?

Зюсс сразу же уловил фальшь в ее словах. Зачем она так говорит? Уж с ним-то ей незачем так говорить. Все это пустые отговорки и самообман, сказал он. Гирсауское библейское общество, и дыханье божье, и сны, и видения—все это ведь притворство и маскарад, это годно для бессильных, бесплотных, немощных мужчин и для художочных уродливых старых дев. Он оглядывал ее с ног до головы наглым, настойчивым, оценивающим взглядом.

— Кто так сложен, как вы,—воскликнул он,—у кого такие глаза, сударыня, такие волосы, хотя вы их и скрываете,—тому не нужен бог. Будьте правдивы! Не лгите себе самой! Святость была только личиной, пока вы жили ожиданием.

Она оборонялась, она парировала удар.

— Вы могли украсть у меня то, чем я обладала,—сказала она.—Однако своими подлыми дьявольскими чарами вам не осквернить мое прошлое. Говорите же! Изрекайте свои жалкие кощунства и непристойности. Всей вашей болтовней вам не удастся низвести моего бога до бредовых фантазий похотливой дурочки.

Она вызвала в памяти вдохновенные часы за книгой Сведенборга, наивное благочестие братской общины, забытые картины вновь обретали краски, она попыталась ощутить молитвенную атмосферу, окружавшую слепую деву, на один миг стала, как прежде, ясна и тверда в своей вере, и в душе ее ожил бог.

— Пусть он даже отринул меня,—воскликнула она, и Зюсс был поражен молитвенным экстазом, звучащим в ее голосе,—бог жив! Бог жив!—повторила она, и он действительно воскрес для нее.

Но—увы!—только на миг. Еврей молчал, наслаждаясь ее рвением и пылом. А затем одним ударом спустил ее на землю.

— Если так,—произнес он небрежно,—почему же вы убежали от меня тогда в Гирсауском лесу? И почему ваш бог не уберег вас от герцога? Я не считаю себя очень верующим; но я верю, что нельзя приобрести власть над женщиной, которая принадлежит богу! Будь Беата Штурмин даже красавицей, никакой генерал, ни даже сам герцог не посмел бы подступить к ней. Но будь она красива,—усмехнулся он,—она не жила бы мыслями о боге!

И в то время как свет угасал в ее лице, в то время как она беспомощно глядела вслед своему отлетающему богу, он подошел к ней ближе и сказал то, чего она боялась, и говорил он мягко, самым своим вкрадчивым голосом:

— Вот что я скажу вам, Магдален-Сибилла. Я скажу вам, почему вы убежали от меня тогда в лесу. Потому что вы любили меня. И все, что с тех пор вы делали, что

чувствовали—ненависть, и отчаяние, и оцепенение, и скорбь,—все это оттого, что вы меня любили. И еще я скажу вам: у меня тоже с той поры не было дня, когда бы ваше лицо не стояло передо мной, точно живое.

Магдален-Сибилла думала, что сердце у нее разорвется, когда он произнесет эти слова. И вот он сорвал покровы с ее высоких чувств, дал настоящее название всему тому ничтожному и смешному, что скрывалось за ее ревностным стремлением вернуть сатану к престолу божью. И в самом деле, очень легко подвести все под простой и пошлый шаблон: глупенькая швабская провинциалка влюбилась в первого светского человека, который попался на ее пути, а видения и религиозный пыл были всего лишь вульгарной и жалкой чувственностью. Однако, как ни странно, она не умерла, когда он открыто высказал ей это. Нет, наоборот, она вся вспыхнула, она возмутилась против него, и вдруг нашла в себе силы заговорить, и обрушилась на него в искреннем гневном порыве: да, она, может быть, и таила свое чувство, но он совершил самое низкое, самое подлое, самое отвратительное, на что способны одни евреи,—он свое чувство продал.

Он же извлекал из ее слов лишь тот мед, которого жаждало его самолюбие, и с тщеславным удовлетворением видел только одно—что вся она полна им. Ему хотелось совсем приручить ее, чтобы еще горделивее покрасоваться перед ней. Как ловкий софист, к тому же заранее подготовленный к этой беседе, он сразу выдвинул те доводы, которые неминуемо должны были обезоружить и укротить ее. Лъстиво и умело повел он свою речь: как она к нему несправедлива. Да, конечно, ему легко было бы тогда завладеть ее чувством и она безропотно отдалась бы ему. Но он враг легких методов. Вскружить голову швабской провинциалке при его власти и блеске—слишком дешевая это была бы для него победа. И когда герцог пожелал ее, он увидел в этом волю providения. Теперь она вкусила власти, теперь они стоят, как равный перед равным, и он может честно помериться с ней силами. Он и сам был восхищен тем, с какой виртуозной ловкостью повернул дело в свою пользу.

В глубине души Магдален-Сибилла знала, что это фразы, пустая светская болтовня. Однако слова его ласкали ее, слишком долго она боролась и теперь блаженно отдавалась обману. Он же воодушевлялся все сильнее, опьяняясь собственными речами. Он не видел, или не хотел видеть, кричащего противоречия между искренней, безыскусной, прекрасной своей непосредственностью провинциальной девушкой и навязанным ей придворно-чопорным, изощренным великолепием. Не видел он и того, что вместе с упрятыми под парик темными

волосами исчезло нечто очень ценное в ней, что тесный корсаж и пышные фижмы из лиловато-коричневой парчи превратили живую, дышавшую полной грудью девушку в светскую куклу, что теперь, когда благонравно обузданы и умерены стройная гибкость движений и невинный, вольный пламень ее глаз, она сама уподобилась многим другим. Он хотел ее видеть такой, какой она была нужна ему, возвеличить себя перед ней и через нее утвердить себя в собственных глазах и в глазах всего мира. Он поднялся и, облокотясь на спинку кресла, перегнулся к ней, заговорил тихо, привычным ему, настойчивым, вкрадчивым голосом, не спуская с нее пылкового взгляда выпуклых глаз:

— Разве вы не поняли теперь, что значит обладать властью? Попробуйте-ка вернуться в свое библейское общество! Сушите на досуге груши, вяжите чулки! Ну, попробуйте-ка! Нет, вы уже на это не способны!— заключил он торжествующе.— Вы теперь вкусили того, в чем ваше назначение.

Она встала и, прерывисто дыша, словно обороняясь, подняла руку. Собачонка боязливо забила в угол. Противясь, не веря, а теперь, когда он умолк, страстно желая слушать дальше, вся дрожа, стояла Магдален-Сибилла напротив него в другом конце маленькой, заставленной безделушками комнаты, большую часть которой заполнила она своей пышной робой. Стройный, гибкий, неслышно ступая по пушистому ковру, приблизился он к ней.

— Отбросьте ваши наивные грезы, Магдален-Сибилла! Они были хороши для Гирсауского леса. Ваша действительность теперь—Людовигсбургский дворец. Взгляните же ей прямо в глаза! Крепче держитесь за нее! Это благодатная, прекрасная действительность. Я горд тем, что открыл вам ее.

Он подошел к ней вплотную, и она, словно ища спасения, отступила в угол.

— Магдален-Сибилла!—заклинал он ее и сам уже почти верил своим словам, а главное, видел, что она с самого начала только того и ждала, чтобы он убедил ее, что слова его падают на благодатную почву.—Магдален-Сибилла! Видит бог, не выгоды ради отдал я вас герцогу. Я поступил так вам во благо. Чтобы вывести вас на широкую дорогу. У нас с вами, Магдален-Сибилла, одна дорога; имя ей—власть.

И в то время как она, спрятав остатки недоверия в самые отдаленные уголки души, глядела на него боязливо и восторженно, как на канатного плясуна, он рисовался перед нею. Вызвать восхищение у матери, которая всегда верила в него, было не трудно, это не требовало усилий. А

завоевать эту недоверчивую, строптивую — вот что заманчиво, вот что будет настоящим торжеством, принесет желанное, необходимое самоутверждение. Как талантливый актер на залитой огнями сцене, раздраженный холодной, равнодушной публикой, из всех сил старается увлечь именно этих неподатливых зрителей, так и он воодушевлялся все сильнее, упиваясь своим собственным «я», неосторожно высказывая самые свои сокровенные желания, взгляды и суждения, которые лучше было бы таить про себя. Он шагал из угла в угол, опьяняясь собственными речами, наводя все больше блеска на свое зеркальное отражение, тщеславный комедиант, играющий самого себя.

Молча слушала она, как он говорил:

— И вот наконец мы как равные стоим друг перед другом, Магдален-Сибилла. И вы и я, каждый из нас держит руку на рычаге власти. Не герцог имеет на вас права. Кто он такой, этот герцог?

В пылу красноречия он обнаружил то пренебрежение к своему господину, в котором никогда не сознавался даже себе, а впоследствии, когда отрезвился, сам испугался такой откровенности:

— Да, уж этот герцог! Воображает, что можно управлять страной по военному артикулу. Ничего не смыслит в политических тонкостях. Не имеет ни собственных взглядов, ни мыслей, ни даже чувств. Меряет наслаждение количеством женщин, количеством бутылок. Считает дурацкий гогот своего Ремхингена вакхическим весельем. Ведь это счастливый случай, что он напал именно на вас. Он не замечает, не понимает вашего очарования. Я один имею на вас право, я один. Я добыл вам то положение, которое вы занимаете. Я с первой минуты отметил вас, я знаю вам цену. Я взбирался наверх самостоятельно пядь за пядью, шаг за шагом, я, еврей, презираемый, ничтожный, и возвышаюсь теперь над этими швабскими остолопами, как моя кобыла Ассиада над их тяжеловозами. И вас я тоже поставил выше других добродетельных, доморощенных, честных швабских девиц. Итак, я стою перед вами, равный перед равной. И предъявляю на вас права и требую вас. Если бы вы очутились в моей постели неопытной и бесчувственной, какой явились прямо из лесов Гирсау, такая победа была бы слишком легка и принесла бы одно разочарование. Теперь же, изведав жизнь и зная, кто я и кто вы, вы должны сделать решительный шаг. Теперь вы должны сказать мне: я твоя, я иду к тебе.

Она стояла, потрясенная до глубины души, и молчала. Он же, не желая повторением ослабить воздействие своих слов, мудро сменил страстную пылкость на холодный

светский тон. И не успела она прийти в себя, как он уже церемонно приложился к ее руке и оставил ее одну в растерянности и смятении.

Живой, веселый вернулся он вместе со свитой в город. Он получил то подтверждение своей власти, в котором нуждался, и вновь чувствовал себя сильнее и увереннее тех, кто угрожал ему. Ого! Пускай потягается с ним теперь неуклюжий Ремхинген или дородный князь-епископ. Их козырь — происхождение, его — женщины. И первое достигается меньшим трудом. Он сильнее их.

И кобыла Ассиада чувствовала, что он стал легче, окрыленное, нежели по дороге туда. Что за наслаждение нести его на себе. И она звонко заржала, возвещая городу его славу.

Эслингенское детоубийство вызвало много толков и волнений по всей империи. Нагроможда у нас ужас, молва разносила подробности о том, как еврей истязал девушку, выцеживал у нее кровь и запекал в мацу, чтобы таким путем приобрести власть над всеми христианами, с которыми у него были дела. Снова ожили старые рассказы, легенды о святом младенце Симоне, трирском мученике, также убитом евреями, и об отроке Людвиге Эттерлейне из Равенсбурга. Образ умершей девочки становился все лучезарней; что это была за кроткая, ангелоподобная юная девственница! Бродячие музыканты воспевали в кабаках ее мученический конец, а летучие листки и газеты живописали его в грозных стихах и кровожадных картинах.

В народе уже зародилась мысль отомстить евреям действием. У ворот гетто собирались толпы; кто осмеливался показаться, того встречали камнями, грязью и грубой бранью. Торговля затихла, должник-христианин издевался над заимодавцем-евреем, выщипывал ему бороду, плевал в лицо. Суды до бесконечности затягивали процессы. В Баварской земле, в окрестностях Розенгейма, на большом торговом тракте, ведущем из Вены на запад, какой-то перекупщик зерна, которому евреи стали поперек дороги, вместе с беглым писарем организовал шайку, подстерегавшую торговцев-евреев и грабившую их транспорты. Курфюрстское правительство относилось к этому равнодушно и даже благожелательно. Только гневные протесты из Швабии и решительные представления венских властей положили конец бесчинствам.

При дворах и в министерствах тоже с большим интересом следили за эслингенской историей. Ни для кого не было тайной, насколько слабы и шатки подобранные улики, всех забавляло, каким примитивным способом,

избрав орудием убитую девочку, имперский город собрался насолить вюртембергскому герцогу и его финансовому директору. Однако многие не без злорадства считали, что вся сила обвинения именно в его нелепости. Главным козырем обвинителей было народное поверье, согласно которому детям, родившимся в сочельник, угрожает особая опасность от евреев, а убитая девочка, по счастливой случайности, родилась в рождественскую ночь.

Тяжелые, гнетущие, свинцовые тучи собирались над евреями. Испуганные, приниженные, забились они по своим углам, вперив взоры в то неведомое, что надвигалось неотвратно. Ой! Ой! Всегда, когда одного из них забирали по такому гнусному и глупому обвинению, остальных вслед за ним тысячами убивали, тысячами жгли, вешали, десятками тысяч расшвыривали по всему свету. Объятые ужасом, притаились они в своих углах, вокруг них сгушалась тишина, жуткая, смертоносная, неотвратимая, неосязаемая, безыменная, словно из их улиц выкачан весь воздух и они тщетно силятся вздохнуть. Мучительнее всего была первая неделя. Ой, это ожидание, это страшное оцепенение, бездействие и неизвестность: кто? где? как? Самые почтенные обращались к властям. Обычно, когда в них была нужда, за ними ухаживали; теперь их даже не принимали. Ой, это пожимание плечами в прихожих, это злорадство при виде их страха, эта выжидающая усмешка, это вероломство, это безразличие к беззащитным. Ой, эти власти, которые раньше брали большие деньги за охранные грамоты, а теперь у них вдруг нет времени, когда их евреям грозит настоящая беда. Ой! Эти два невооруженных и нерадивых стражника у ворот гетто, какая они охрана от тысячной орды грабителей и убийц! Ой, кто ж не видит, что все начальство и все ратманы закрывают глаза и уши, а руки кладут за спину, чтобы чернь могла беспрепятственно напасть на беспомощных людей! Ой, какая ужасная беда! Одно спасение — всемогущий бог, да будет благословенно его имя! Ой ты, несчастный Израиль! Ой, беззащитные, отданные на растерзание шатры Иакова!

На черных крыльях хищного коршуна леденящая сердца весть облетела все еврейские общины от Польши до Эльзаса, от Мантуи до Амстердама. Сидит пленник в Швабской земле, в Эслингене, в злом городе, в питомнике злобы и низости. Говорят гои, будто убил он одного из их детей. Ополчается Эдом, хочет напасть на нас, сегодня, завтра, кто знает когда. Слушай, Израиль!

Поблуднели, поседели тут мужи, позабыли о делах, испуганно, с растерянными, обезумевшими глазами забились в углы их прекрасные, нарядные жены и с верой глядели на мужей, готовые слепо выполнить все, что

прикажут они. Затаило дух все еврейство Римской империи и далеко за ее пределами. У себя в молельнях собирались евреи, били себя в грудь, калялись в грехах, постились в понедельник, в четверг и потом опять в понедельник, с вечера до вечера. Не пили, не ели, не прикасались к женщинам. Тесной толпой стояли они в своих душных молельнях, завернувшись в молитвенные одеяния и саваны, с истовым рвением раскачивались всем телом. Взывали к богу, взывали к Адонаи Элохим, взывали пронзительными, исполненными отчаяния голосами, напоминавшими пронзительные, режущие слух звуки бараньего рога, в который они трубят под новогодний праздник. Они перебирали свои грехи, они взывали: «О господи, смилуйся над нами не ради нас, не ради нас! Смилуйся над нами во имя прародителей наших». Они перебирали нескончаемый перечень предков, умерщвленных за прославление имени господня, замученных сирийцами, затравленных римлянами, убитых, удушенных, изгнанных христианами, безвинно погибших в польских общинах и в общинах Трира, Шпейера и Вормса. Они стояли, завернувшись в белые саваны, посыпав головы пеплом, в молитвенном экстазе раскачиваясь до изнеможения всем телом, они спорили и торговались с богом, когда занимался день, и, когда день угасал и склонялся к ночи, они все стояли и кричали неблагозвучными, осипшими голосами: «Припомни союз твой с Авраамом и принесение в жертву Исаака!» Но через тысячи окольных путей все молитвы вновь и вновь сливались в один неистовый, пронзительный хор: «Един же велик Адонаи Элохим, един же велик бог Израиля, всевидящий, предвечный Иегова».

А женщины были отделены решеткой, не видимы мужчинами. Трепеща от страха, широко раскрыв глаза, точно птицы в клетке на этой жердочке, сидели они рядом, тихо, набожно и бессмысленно лепетали слова из своих молитвенников, в которых древнееврейскими буквами, на какой-то помеси немецкого и еврейского языков, были изложены библейские истории и другие священные легенды.

Во всех храмах и молельнях от Мантуи до Амстердама, от Польши до Эльзаса стояли так мужи, молились, постились. В одно и то же время, когда занимался день и когда он склонялся к ночи, все евреи, завернувшись в саваны, обратясь лицом к востоку, в сторону Сиона, с молитвенными ремнями на голове и на груди, стояли и молились: «Ничего не осталось нам, кроме Книги», стояли и взывали: «Един же велик бог Израиля, всевидящий, предвечный Иегова».

Однако когда миновали первые дни великого смятения, обнаружилось, что имперский город Эслинген медлит с

процессом еврея Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя. То ли по политическим причинам, ожидая подходящего случая с помощью процесса оказать нажим на герцогское правительство, то ли в надежде добыть еще какие-нибудь более веские улики, но так или иначе проходили месяцы, а еврей все еще томился в тюрьме и дело его не подвинулось дальше предварительного следствия и первой ступени пыток.

Евреи же, за тысячелетия привыкшие ко всяческим преследованиям, когда миновал первый ошеломивший их испуг, забегали, засуетились, в каждом уголке отыскивали себе тайники, куда бы укрыться, когда грянет беда. Добывали подтверждения своих охранных грамот, нанимали вооруженных людей и городских стражников для охраны, по всем дорогам мчались гонцы с предложениями объединиться для совместной защиты, при всех дворах, во всех магистратах их агенты старались склонить благорасположенных сановников к принятию нужных мер; большая часть капиталов в векселях и кредитных письмах для верности препровождалась за границу.

Однако над всем, что они думали и делали, тяготела свинцовая туча. Надвигавшийся ужас нарушал их сон, превращал их пищу в пресное, безвкусное крошево, вино — в воду, отнимал аромат у их пряностей, лишал жизни их острые, пылкие, страстные, увлекательные диспуты о Талмуде, так что они умолкали на полуслове, почуяв запах крови и бессмысленно вперяя взгляд в пространство. Да, свинцовая туча нависала и над великолепием субботнего дня, который обычно по-княжески справлял беднейший из их нищих, грезя о блеске разрушенного царства и о грядущем мессии.

Все меры безопасности были приняты, но они были ненадежны, как еловые и пальмовые ветви на крышах их куш. Туча не рассеивалась, от тучи не спасало ничто. Когда они занимались будничными делами и когда справляли праздники, из каждого угла глядел на них гнетущий страх.

Франкфуртский раввин рабби Иаков Иошуа Фальк сидел над Священным писанием. И худые, морщинистые руки его помимо воли развернули ту главу из Пятой Книги Моисея, что содержит самое ужасное проклятие, какое только мог измыслить человеческий разум. То проклятие, которое еврей боязливо старается пропустить в Книге, то проклятие, которое кантор во время ежегодного чтения Священного писания поспешно и пугливо бормочет вполголоса, дабы не накликать его. Но взор старого рабби не мог оторваться от грозных неуклюжих букв, и он читал:

«Пошлет господь на тебя проклятие, смятение и

несчастье во всяком деле рук твоих. С женой обручишься, и другой будет спать с нею; дом построишь, и не будешь жить в нем. Предаст тебя господь на поражение врагам твоим; одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них. Враг твой будет главою, а ты будешь хвостом. И он будет теснить тебя во всех жилищах твоих, и ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых господь бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына и на дочь свою. И не даст им последи, выходящего из среды ног ея, чтобы не съели его прежде нее при недостатке во всем, тайно в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. И рассеет тебя господь по всем народам: но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. И будешь трепетать ночью и днем и не будешь уверен в жизни твоей. Утром ты скажешь: о, если бы пришел вечер! А вечером скажешь: о, если бы наступило утро! От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими».

Так читал старик, и сердце его было исполнено темного страха, и покрыл он голову молитвенным одеянием, чтобы не видеть больших грозных букв, и плакал он и стонал. Жена его, которая не осмеливалась тревожить мужа во время чтения, стояла в испуге у дверей, и старое сердце ее билось от страха так сильно, что удары его отдавались в иссохшей шее. Но она не осмеливалась тревожить мужа.

А рабби Иаков Иошуа Фальк плакал, и все молитвенное одеяние его было мокро от слез, что лились из его впалых, престарелых глаз.

Председатель церковного совета Филипп Генрих Вейсензе, ныне фон Вейсензе, очень изменился с той самой ночи, когда герцог овладел Магдален-Сибиллой. Правда, и теперь не было во всей империи, а особенно в Швабской земле, ни одной политической комбинации, которая прошла бы мимо его сладострастно приносящегося носа и его тонких, ловких пальцев. Но к его живости примешалась теперь какая-то зыбкость и безучастная рассеянность. Случалось, что этот благовоспитанный светский человек и превосходный собеседник останавливался среди разговора и начинал говорить о чем-либо постороннем.

Или же вовсе замолкал на полуслове и тряс головой, бормоча что-то невнятное. А то еще бывало, что он, обычно одетый очень тщательно, по самой последней моде, вдруг появлялся без подвязок или вообще допускал какую-либо необъяснимую погрешность в туалете. Весьма примечательно было его обращение с женщинами. Он говорил и держал себя с ними в высшей степени галантно, но, при всей учтивости, мог сказать им такую непристойность, которая приводила в замешательство даже генерала Ремхингена. Кроме того, ему приписывались теперь амурные связи, о чем раньше не было слышно. И по странной случайности, он предпочитал тех дам, которые заведомо прошли через руки Зюсса.

К Зюссу он лънул теперь еще больше, нежели раньше. Это всех удивляло. Ибо среди приближенных герцога ни для кого не было тайной, что сейчас еврей не так уж всемогущ, как несколько месяцев назад. Да и при том доверии, которым пользовался Вейсензе в качестве руководителя католического проекта, он вовсе не нуждался в подобном прислуживании и подлаживании к финанцидиректору. Тем не менее он не упускал случая поговорить с ним, потереться возле него и настолько открыто проявлял свою симпатию, что подозрительный Зюсс усмотрел тут желание войти к нему в доверие, а затем свалить его, и потому был с Вейсензе сугубо настороже. А иногда председатель церковного совета позволял себе вдруг неподобающие выпады, связанные с еврейским происхождением Зюсса, от чего раньше решительно воздерживался; например, ни с того ни с сего спрашивал у Зюсса значение каких-нибудь еврейских слов, и хотя тот с явной досадой подчеркивал, что давно растерял свои скудные познания в древнееврейском языке, Вейсензе продолжал настаивать, особенно если разговор происходил в большом обществе.

Как-то вечером председатель церковного совета неожиданно и в очень настойчивой форме пригласил к себе Бильфингера и Гарпрехта, своих старых друзей. Они не замедлили явиться, озабоченно и услужливо осведомляясь, что случилось. Но оказалось, что не случилось ничего; Вейсензе придумал какую-то явно несостоятельную отговорку. Гости растерянно переглянулись, взглянули на него, поняли, как ему тоскливо, и остались. Так они сидели втроем, трое школьных товарищей, все трое много пожившие, все трое одаренные от природы и по своему времени широкообразованные, к тому же люди уважаемые, занимающие высокое положение. Они сидели, потягивая вино, и гости, широкоплечие, дородные, были немногословны, меж тем как стройный, изящный Вейсензе говорил много и остроумно на общие темы, всеми

силами избегая молчания. Бильфингер вдруг обратился к нему с вопросом, подвинулась ли его работа по составлению комментария к Библии. Труды на эту тему Андреаса Адама Гохштетера, Кристиана Эбергарда Вейсмана, Иоганна Рейнгарда Гедингера не идут, в лучшем случае, дальше добросовестной посредственности, и потому сочинение их друга было бы очень кстати. Жалко, растерянно усмехнувшись и безнадежно махнув рукой, Вейсензе ответил, что, пожалуй, лучше было бы ему не покидать никогда Гирсау и всю жизнь посвятить своей работе.

— Да,—сказал Гарпрехт, как будто совсем не по существу,—время грязное, и все пути грязны, и черт знает как трудно соблюсти себя в чистоте.

Политическое положение Вейсензе становилось все сложнее. Он совмещал несовместимое. Он заседал в парламентском совете одиннадцати, формулировал и направлял протесты демократов против деспотического правления герцога и вместе с тем был незаконным тестем и доверенным того же самого герцога. Он был в контакте с Зюссом, с иезуитами, с генералами и одновременно сочинял превыспренние хвалы конституции и протестантским свободам. Его горшки стояли на всех очагах, его силки были протянуты по всем лесам. Прежний Вейсензе был бы счастлив стать рычагом и средоточием такого количества комплотов, интриг, заговоров, сложных комбинаций, чувствовал бы себя как рыба в воде посреди этой суетливо-хлопотливой, безостановочной, многообразной и высокоответственной деятельности. Председатель церковного совета, правда, и теперь не выпускал из поля зрения ни одного начинания, но внезапно в самый разгар событий он, удивив всех, заявил, что нуждается в отдыхе, и засел в своем пустынном гирсауском доме за комментарий к Библии.

Работа его не подвигалась. С неприязнью глядел он на толстые труды всяких Вейсманов, Гедингеров, Гохштетеров, которые добросовестно и честно обрабатывали ту же пашню. Ах, студентам придется еще долго ломать себе зубы об эту неподатливую премудрость. Ах, много утечет воды, пока он сумеет вдохнуть в это гигантское тело живую душу.

Нет, работа все не подвигалась. Правда, лампа горела далеко за полночь, освещая книги, но глаза его не видели ни витиеватых греческих букв, ни острых немецких, ни массивных еврейских. Глаза его видели черты той, кого здесь не было,—смуглые, покрытые пушком, не поженски смело очерченные щеки, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными волосами. Видел ее в тихом свете лампы, замкнутую, с ребячески важным выражением лица. Днем он бродил по комнатам,—какие

они стали большие и пустынные! — бродил в домашних туфлях, без парика, небрежно одетый, обнюхивал все углы, нежно проводил тонкой, высохшей рукой по какой-нибудь скатерти, по спинке дивана, улыбаясь рассеянной, кривой усмешкой.

Как-то раз он приказал позвать к себе магистра Якоба Поликарпа Шобера. Тот страшно испугался. Председатель церковного совета, наверно, притянет его к ответу за его верования, обвинит в сектантстве, предаст суду, засадит в темницу, обречет на вечное скитание по миру. Теперь, когда его собственная дочь уже не состоит в библейском обществе, ему незачем церемониться. Толстощекого магистра прошиб пот, его смиренные детские глаза от испуга округлились; сопя от волнения, бегал он мелкими шажками взад и вперед по комнате. Но вскоре он совладал со страхом. Если господу угодно обречь его на мученичество, он будет благодарен за такой высокий удел. Итак, он отправился к прелату, хоть и потея заметно, но все же бодро и мужественно, и сразу вызывающим тоном заговорил «о трех отроках в пещи огненной». Однако Вейсензе, удивившись, скоро прервал его и приветливо пояснил, что вызвал его не по официальной надобности, а просто хотел повидаться и побеседовать со старым другом своей дочери. Магистр, вздохнув с облегчением, заговорил просто-душно, сердечно и почтительно о Магдален-Сибилле и о том, как всем членам кружка недостает благочестивой, благородной, отмеченной перстом божьим сестры. Вейсензе жадно слушал, а магистр совсем растаял и мысленно корил себя за то, что мог столь учтивого господина почитать за тирана и Олоферна. На председателя церковного совета весьма благотворно действовала бесхитростная болтовня магистра, они теперь встречались часто, даже совершали вместе прогулки по лесу. Однажды Шобер расхрабрился и заговорил о своих стихах, продекламировал свою поэму «Забота о хлебе насущном и упование на бога» и другую, об Иисусе — лучшем математике. После того как Вейсензе внимательно его выслушал и даже намекнул на возможность напечатать его творения, молодой человек был окончательно покорен благожелательством столь маститого ученого. В избытке чувств доверил он прелату свою тайну о принцессе из небесного Иерусалима и об ужасном еврее, ее отце.

Вот когда насторожился Вейсензе. Куда девалась его вялость, рассеянность. По целым дням бродил он теперь по лесу с магистром, который весь сиял от этой чести, подолгу простаивал у деревянного забора, без конца переспрашивая мельчайшие подробности. Интересовался стариком голландцем, мингером Габриелем Оппенгеймером ван Страатеном. Сопоставлял факты. Хотя ему ни разу не

удалось увидеть Ноэми, но из пестрой мозаики сведений он вывел довольно правильное представление о ней.

И теперь до поздней ночи горела у него лампа. Но прелат уже не бродил неверными, старческими шагами; упруго, как молодой, шагал он по своим большим белым покоем, и его возбужденная фантазия наполняла их людьми и грядущими событиями. Затаенная сладострастная улыбка скользила по его тонким и подвижным губам, и порой он сам, как персонаж своих фантазий, произносил вслух: «*Voilà donc*», господин тайный советник по финансовым делам! Ай, ай, ну кто бы это подумал, ваше превосходительство?»

Да, кто бы это подумал! Он ли не был старым лисом, своим тонким нюхом проникавшим в сущность жизни и людей! Он ли, казалось, не умел читать в человеческих лицах! И вдруг пришлось признать, что на гигантских подмостках жизни гораздо больше грима и фальши, чем мог бы предположить самый безнадежный скептик. Кто бы это угадал? Он вызвал образ еврея сюда, в ночную тишь своей одинокой комнаты. Он закрыл глаза и разглядывал черту за чертой: чувственный, очень красный рот, белые, твердые, тонко очерченные щеки, волевой, жесткий подбородок, зоркие, быстрые, крылатые глаза, гладкий, невозмутимый лоб, выпуклости над бровями — признак математического ума. Кому пришлось бы в голову за холодным, как лед, и, как лед, прозрачным обликом дельца и властолюбца заподозрить сентиментальную идиллию Гирсауского леса! Ай, ай, милейший господин финанцирдектор! Помните, как вы стояли передо мной в тот недобрый вечер у вас во дворце? Какая оживленная, надменно-циничная физиономия была у вас тогда! Ай, ай, милейший господин иудей, верно, что мне следовало лучше владеть собой. Верно, что я был в тот вечер несколько смешон и болтлив и держался не так, как подобало бы светскому кавалеру. Верно, что я сидел в кресле несчастный, совсем уничтоженный, вы же красовались передо мною бодрый и бравый, и судорога пробирала меня до мозга костей. Н-да, мне очень бы хотелось поглядеть, как вы, ваше превосходительство, стали бы вести себя при подобных обстоятельствах.

Председатель церковного совета Филипп Генрих фон Вейсензе прервал свои блуждания по комнате. Лампа мирно освещала просторный покой. Назойливо билась о стекло ночная бабочка. Безмолвно и невозмутимо стояли на своих местах бесчисленные книги, через открытое окно вливалось ароматное дыхание ночного леса. Неужели его увлекли мечты о мести? Неужели он замыслил отомстить?

¹ Посмотрим (*фр.*).

Et donc, он не унизится до таких пошлых, мещанских чувств. Ему просто... ну, просто любопытно, как будет вести себя еврей. Так же ли он опустится, постареет сразу, и вообще что он будет делать? Ну да, это будет крайне интересно, в высшей степени поучительно, много забавнее всего, что пишут в романах и разыгрывают на сцене.

«Vouyons donc, ваше превосходительство! Eh voilà¹, милейший господин тайный советник!» — промолвил про себя изысканный, изящный прелат, затаенно и сладострастно улыбаясь. Воодушевившись, уселся он за комментарий к Библии; насмешливо и пренебрежительно скользнул взором по обстоятельным трудам Гохштетеров, Вейсманов и Гедингеров, этих честных, добросовестных ученых мужей, и работа его пошла теперь быстро и ладно.

Между тем уполномоченные епископа Вюрцбургского исподтишка упорно продолжали свое дело в Штутгарте. На первом плане стояли теперь новые люди, по большей части военные, которые мало считались с Зюссом, внешне как будто ладили с евреем, но не скрывали своего презрения к нему. Был среди них генерал, обер-бургграф фон Редер, невоспитанный, грубый человек, затем комендант крепости Асперг, подполковник фон Бувиггаузен, затем целая орава шумливых офицеров в пестрых мундирах — полковники Торнака и Лаубски, ротмистр Буков. Они плотным кольцом окружали теперь герцога. Еще был один офицер, к которому Зюсс чувствовал особенную неприязнь, майор фон Редер, двоюродный брат бургграфа, командир штутгартской национальной конной гвардии — городского кавалерийского отряда, — человек с крикливым голосом, низким лбом, жестким ртом, грубыми лапами, особенно бесформенными в перчатках. Но больше всего ненависти и отвращения внушал еврею дон Бартеlemi Панкорбо, курпфальцский тайный советник, главноуправляющий табачными фабриками и табачной монополией, торговец драгоценными камнями, который снова выдвинулся на сцену, в неизменной старомодной чопорной португальской придворной одежде, правое плечо всегда комично вздернуто, над пышными брыжами сизобагровое, костлявое лицо с провалами вместо щек, с ястребиным носом и крашеными усами, упрямые щелчки-глазки из-под морщинистых век неотступно следят за Зюссом.

Все они, а вместе с ними и старые враги — Ремхинген, камердинер Нейфер — деятельно участвовали в католиче-

¹ Так вот (*фр.*).

ском проекте. Хотя Зюссу весь план был ясен в полном его объеме, много яснее, чем неотесанным, чванливым, недалеким офицерам, однако он чувствовал, что его всячески стараются оттереть. О самых важных обстоятельствах он узнавал случайно или вовсе не узнавал; только когда была нужда в его чисто деловом финансовом опыте, ему нехотя, свысока, мимоходом сообщали кое-какие данные. Однажды, когда он осторожно попытался нащупать суть плана, герцог грубо одернул его, приказав раз и навсегда оставить шпионские замашки. Когда приспест время, ему — и то не наверняка — сообщат, что нужно.

Карл-Александр, оправившись от болезни скорее, чем сам ожидал, был очень деятелен и превосходно настроен. Кстати, и примирение с Марией-Августой, достигнутое хлопотами вюрцбургского епископа, дало желанные последствия: герцогиня забеременела. Страна восприняла эту новость весьма холодно. Если бы герцог умер бездетным, к власти опять пришла бы протестантская ветвь; теперь же страна на долгие времена отдана на произвол Риму и иезуитам. Предписанные начальством молебствия о здравии герцогини посещались очень слабо; приходили те, кто не мог уклониться.

Но сам герцог неумеренно выражал свою радость. Он всем рассказывал об ожидаемом наследнике, причем его мясистое, полнокровное лицо расплывалось от восторга, он отпускал грубые шутки, окружал Марию-Августу неуклюжими заботами. Ей же самой беременность пришлась совсем не по душе. Она боялась, как бы не была обезображена ее фигура, боялась, что ребенок явится для нее помехой, с содроганием думала о родах; и материнство само по себе казалось ей чем-то до крайности докучным, плебейским, неподобающим аристократке. Она подумывала даже избавиться от беременности и делала подобного рода намеки доктору Венделину Брейеру. Но медик либо не понимал, либо не хотел понять. Глухим, напряженным голосом, подкрепляя слова широкими виноватыми жестами, он распространялся о радостях материнства, ссылаясь на античный мир, упомянул о матери Гракхов и о другой матери героя, той, что предпочитала увидеть сына на щите, нежели без щита. Вздохнув и вспомнив примитивную, чисто солдатскую точку зрения герцога, Мария-Августа смирилась.

Зато она жадно и со скрытым страхом выслушала рассказ Зюсса о повелительнице демонов Лилит, первой жене Адама. Она, эта длинноволосая, крылатая первая жена Адама, не поладила со своим супругом, плотская близость с ним не дала ей тех радостей, которых она желала. Тогда она с помощью колдовства, произнеся

запретное имя божье, улетела в Египет, страну злых чар. С той поры, возненавидя Еву и всякое здоровое супружество, она стала накликать на рожениц и на младенцев проклятия и злые напасти. Но в Египте ее настигли посланные богом ей вослед три ангела — Сеной, Сансеной и Семангелоф. Сначала они хотели ее утопить; но потом отпустили на свободу, заставив поклясться клятвой демонов, что она не станет приносить вред ни роженице, ни младенцу, охраняемым именами трех ангелов. Вот почему иудейские роженицы имеют при себе амулеты с именами трех ангелов.

Сладострастно содрогаясь, герцогиня по секрету спросила Зюсса, не может ли он достать ей такой амулет. Конечно, может, с почтительной готовностью ответил он. При случае она рассказала об этом своему духовнику, патеру Флориану. Тот принял резко и настойчиво отговаривать ее. Но она все же решила запастись амулетом. Лишняя предосторожность не помешает, а покаяться никогда не поздно.

В целом она воспринимала свою беременность, как и всё на свете, легко, чуть иронически. Она держала себя как человек, который, попав в легком летнем наряде под проливной дождь, сменяет промокшее платье на крестьянскую одежду и сам очень забавляется этим маскарадом.

Хрупкая, изящная, сидела она в канун рождества посреди тесного круга приближенных, вся в воздушных белых кружевах, над которыми нежно и шаловливо склонялась ее ящеричья головка с лицом цвета старого, благородного мрамора под блестящими черными волосами. Только избранное общество было приглашено на празднование сочельника. Герцог не хотел звать Зюсса. Но между Марией-Августой и ее галантным, занятым придворным евреем протянулись нити скрытой, молчаливой симпатии с того дня, как он рассказал историю об амулете против Лилит, и герцогиня не желала мириться с его отсутствием в этот вечер. При той отчужденности, какую он ощущал, это приглашение было для него настоящим бальзамом. В знак своей глубокой признательности он презентовал герцогине очень красивую гемму, на которой был вырезан спеленатый младенец, а также изящную китайскую погремушку из фарфора и слоновой кости, чрезвычайно тонкой работы; человечки с длинными косами и подвижными головками карабкались вверх по ее ручке, а крохотные пагоды позванивали и постукивали. Третьим подарком, который он подал ей с таинственной и почтительной улыбкой, был маленький золотой футляр; она поняла, что в нем находится амулет.

Остальные гости, недовольные тем, что Зюсс по-прежнему в фаворе, встретили его в этот вечер особенно

неприязненно и всячески изощрялись в грубых и злобных насмешках по его адресу. Герцог, подхватив какую-то шутку Ремхингена, убеждал Марию-Августу не заглядываться на еврея, чтобы у Вюртемберга не оказался горбоносый герцог. Мария-Августа только улыбалась.

Втихомолку поглаживала она золотой футлярчик; втихомолку, незаметно для других, вынула амулет, принялась разглядывать его — узкая полоска пергамента, испещренная красными массивными еврейскими письменами; между ними переплетались зловещие замысловатые фигуры, комично и грозно гнездились первобытные птицы.

Зюсс между тем с неизменной выдержкой терпеливо и вежливо сносил все шпильки и грубые выпады, направленные против него. А затем, обратившись к герцогу и Вейсензе, заметил, что слышал однажды, как они обсуждали вопрос о католическом и лютеранском тексте рождественского Евангелия, решая, какое толкование правильнее, лютеранское ли: «в человеках благоволение», или католическое: «людям доброй воли». Он радуется возможности в качестве скромного рождественского подарка внести свой вклад в дело разрешения этой проблемы. Герцог и председатель церковного совета растерянно воззрились на него, все остальные тоже притихли, недоверчиво и насмешливо прислушиваясь к словам Зюсса, который учтиво и хладнокровно продолжал: со времен профессора Баруха д'Эспинозы, который был всемилостивейше приглашен блаженной памяти курфюрстом Пфальцским в Гейдельбергский университет, его единовверцы прилежно занимались изучением также и Нового завета. Он, Зюсс, обратился по поводу вышеупомянутого текста к одному из своих амстердамских коллег и получил следующий ответ: «В греческом тексте стоит слово *eudokias*¹, что вульгата, принятая у католиков, правильно толкует как *bonae voluntatis* — доброй воли». Эразм же печатал свою Библию по рукописи, в которой по ошибке *eudokia* было написано без S, и, руководствуясь этим, Лютер перевел его словом «благоволение». Эразм, конечно, заметил бы ошибку, если бы не так торопился. Но для него вопросом чести было напечатать Библию раньше кардинала Хименеса. И посему, при всем уважении к учености господина председателя церковного совета, следует признать, что лютеранское рождественское Евангелие здесь несколько уклоняется от истины и правильный текст дан его светлостью.

Зюсс привел свои пояснения скромно, учтиво и обстоятельно. Все, что он говорил, было настолько вразумительно, что даже кое-кто из офицеров понял его; а

¹ Доброй воли, благоволения (греч.).

Мария-Августа пришла в восторг от образованности своего придворного еврея. Но все прочие были возмущены тем, как этот еврей позволяет себе в сочельник с таким апломбом разъяснять Евангелие, а Ремхинген горланил, что теперь, значит, евреи торгуют не только векселями и драгоценностями, но и словом божьим. Вейсензе принялся рассуждать о роли женщин в Ветхом и Новом завете. Под влиянием всего мучительно перечувствованного и пережитого за последнее время он со страстным упорством развивал эту тему в своем комментарии к Библии. В Новом завете — мадонна: в Ветхом — тысяча жен Соломона. Он говорил, как всегда, гладко, изящно, вкрадчиво, деликатно. Но в его голосе звучала такая затаенная враждебность, что Магдален-Сибилла побледнела как полотно и руки у нее похолодели.

Красивая и величавая, сидела она подле грациозной, капризной герцогини. Герцогиня держала и поглаживала ее руку, ей приятно было гладить своей холеной, пухлой ручкой крупную руку девушки. Магдален-Сибилла вновь всем существом мучительней прежнего стремилась к Зюссу. Политическая конъюнктура не была ей ясна, зато ей было ясно, что он очень одинок, что вокруг него одни враги, он представлялся ей стройной, гибкой пантерой среди неуклюжих, косматых медведей. И вместе с тем она улавливала какую-то таинственную зависимость между ним и герцогом и между ним и ее отцом.

Зюсс игриво заметил, что дамы как Ветхого, так и Нового завета не в его вкусе. Одни для него слишком героичны, другие не в меру сентиментальны. И он перевел красноречиво нежный взгляд с герцогини, чье благосклонное и похотливое любопытство его приятно волновало, на Магдален-Сибиллу, которая была ему нужна для уверенности в себе и самоутверждения, с рыжекудрой эффектной сеньоры де Кастро, умной, расчетливой особы, которая, явно к нему охладев, все же не вполне отказалась от мысли о браке с ним, на лилейных дам Гетц, на мать и дочь, которые все еще не сдавались герцогу.

Ремхинген ухватился за тему о Ветхом завете. С тягучим венским акцентом, который он, хоть и был уроженцем аугсбургской земли, выработал в себе, считая его более аристократическим, генерал заявил, что, судя по теперешнему еврейскому говору, Священное писание в подлиннике должно звучать мерзким и отвратительным кваканьем и карканьем.

— А как вы полагаете, ваше превосходительство, — с подчеркнутой учтивостью спросил его Зюсс, — на каком диалекте господь бог разговаривал в раю с Адамом, на венском или на еврейском?

Герцогиня рассмеялась, довольная острословием своего еврея и провалом Ремхингена, украдкой погладила футлярчик с амулетом и бросила в наступившее молчание тонкий и нежный звон колокольчиков на погремушке. Но бургграф Редер считал нужным поддержать Ремхингена. Обратившись к герцогине, он выразил удовлетворение, что ее светлости еще не приспела пора разрешиться от бремени. Детям, рождающимся в нынешнюю ночь, несладко придется. Наконец-то разговор перешел на ту тему, к которой давно уже стремились перейти все, и вот все принялись подробно, обстоятельно и сосредоточенно обсуждать эслингенское детоубийство, меж тем как Зюсс упорно молчал. Для офицеров самым убедительным был тот аргумент, что девушка родилась в рождественскую ночь. Один лишь господин де Риоль, слывший вольнодумцем, заметил, что если действительно евреи угрожают всем родившимся в рождественскую ночь, то Иисусу из Назарета следовало выбрать другую ночь для своего рождения; тогда он был бы избавлен от креста, а мы все — от христианства.

Тем временем тайный советник Панкорбо обратился к герцогине с просьбой разрешить ему полюбоваться на подарки Зюсса. Сухими сизо-багровыми, подагрическими пальцами ощупывал он их, подносил к ястребиному носу, к глубоко запавшим пытливым щелочкам-глазкам, затем деловито и обстоятельно объяснял, сколь малоценен материал, из которого сделаны гемма и погремушка, и добавил, что среди торговцев ювелирными изделиями существует обычай такие вещицы давать бесплатно, в виде премии. А в противовес тут же коварно подчеркнул ценность солитера на пальце у самого Зюсса, и, выглянув из глубоких орбит, алчно покосились на перстень узкие глазки, прикрытые морщинистыми веками. Но Мария-Августа встала на защиту своего еврея. Это далеко не все, что он ей подарил, заметила она своим небрежным, томным, слегка насмешливым голосом, вынула амулет и рассказала легенду о Лилит, повелительнице демонов. С щекочущим любопытством слушали присутствующие ее рассказ, разглядывали первобытных грозных птиц и массивные зловещие буквы пергамента. В конце концов Карл-Александр постарался рассеять всеобщее оцепенение, добродушно-грубовато пошутив с громким, несколько принужденным смехом: герцогиня, видно, собирается стать еврейкой; счастье ее, что ей не придется подвергнуться обрезанию.

Но после ужина он отвел Зюсса в сторону, хлопнул его по плечу и милостиво заговорил с ним. Вот молодчина, как это у него ловко вышло с двумя текстами, и откуда только ему удалось выкопать такое простое и

очевидное объяснение! И затем без всякого перехода припер польщенного Зюсса к стенке вопросом, нельзя ли как-нибудь опять раздобыть мага. Ясное дело — зачем: насчет того, о чем он тогда не пожелал говорить. Зюсс, явно растерявшись, уклонился от ответа. Карл-Александр не настаивал, сказал, что понимает, как трудно добиться мага, дядюшка его не из покладистых. Но пускай Зюсс достанет ему от мага хотя бы гороскоп, чтобы он знал, чего ему ожидать на будущее время от женщин — зла или добра. После камуфлета с неаполитанкой, после всех недоразумений с герцогиней, да еще когда мать и дочь Гетц разводят бесконечную дурацкую канитель, надо же ему добиться ясности на этот предмет. Зюсс по чести обязан раздобыть у каббалиста такой гороскоп. Раз он достал герцогине амулет, он и ему не может отказать в этом одолжении, а раз он сладил с такими трудностями, как толкование библейских текстов, это для него, уж конечно, суший пустяк. Зюсс не посмел уклониться, заколебался, согласился.

Скоро все разошлись. Высокопоставленные католики пожелали еще пойти в дворцовую часовню ко всенощной. Вейсензе попросил у Зюсса разрешения проводить его.

Они отослали кареты, а сами пошли пешком. Ночь была теплая, дул сильный, неприятный ветер. Вейсензе вернулся к своей теме, заговорил о том, как странно, что восточные легенды прочно укоренились во всем мире. Привел к примеру, как забавно, когда вдруг в германских лесах вырастает восточное строение. Какой-то голландец осуществил эту оригинальную затею в его местности, в Гирсауском лесу. Беседуя таким образом, они дошли до дворца на Зеегассе, и председатель церковного совета распрощался с Зюссом особенно церемонно и учтиво. Как только будет готов его комментарий к Библии, в котором особо почетное место займет любезно приведенное сегодня Зюссом сообщение, он почтет для себя честью прежде всего поднести экземпляр господину финансовому директору.

Зюсс пересек слабо освещенный вестибюль. В ушах его звучало: «О счастливые, о блаженные, благословенные дни рождества!» Мягко ступая, появился камердинер, спросил: можно ли помочь его превосходительству раздеться? Зюсс знаком велел слуге удалиться. Ему не хотелось спать. Неужели южный ветер так взбудоражил его? Ведь разговоры этого старого лиса о Гирсау как будто вполне безобидны, да и в домике дяди нет ничего восточного; а все-таки в словах Вейсензе слышался какой-то скрытый намек.

Он уселся за дела. Однако цифры не глядели на него, как обычно, с бесстрастной деловитостью. В них вполетались вьющиеся растения со стен белого домика в цветах.

Он отбросил прочь перо и зашагал по кабинету из угла в угол, растревоженный неприятными мыслями, а кругом раздавался звон церковных колоколов.

Исаак Ландауер в некрасивой, неудобной позе сидел в роскошном кресле у Зюсса. Деловой разговор был закончен, и Зюсса теперь явно тяготило присутствие неопрятного гостя. Однако Исаак Ландауер и не собирался уходить, он расчесал пальцами седеющую рыжеватую бородку и сказал:

— Ну вот, значит, через месяц начнется процесс Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя. Неприятная штука, реб Йозеф Зюсс. Для вас особенно неприятная. У вас тут и лакеи, и китайщина, и шитый золотом кафтан, и попугай. А эслингенцы плюют на все это и собираются прикончить реб Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя.— Так как Зюсс молчал, старик продолжал свою речь:— Когда я рассказывал вам о равенсбургском детоубийстве, у вас лицо было до того важное, прямо как у голя, и вы говорили: старые басни. А теперь вы видите, что это вовсе не старые басни, теперь и вас уже беда хватает за горло.

Но Йозеф Зюсс по-прежнему упорно молчал. Когда пришли первые вести об эслингенских кознях, он, конечно, сейчас же понял, что они направлены против него, только против него. Он собрался было заявить протест. Но усилием воли заставил себя образумиться и спокойно обдумать все плюсы и минусы вмешательства. Если он примет сторону Иезекииля Зелигмана, то поставит под угрозу свое дворянство и альянс с сеньорой де Кастро, вызовет бесконечные прения с парламентом, должен будет, в виде компенсации эслингенцам, пожертвовать целым рядом льгот. Эти соображения легли в основу его тактики. Он не знал еврея Иезекииля Зелигмана. Если эслингенцам угодно опорочить свою юстицию явно несправедливым приговором, лишь бы досадить ему,—пускай срамятся. Их дело. Он не станет вмешиваться, он предпочитает хранить строгий нейтралитет и молчать.

Соответственно этим решениям он и поступал. Ограничился необходимыми мерами безопасности для допущенных им в герцогство евреев и для охраны их несколько сомнительных прав. А во всем прочем никакие уколы и насмешки не могли вывести его из бездействия.

И на речи Исаака Ландауера, как они ни раздражали его, он не пожелал отвечать. Но тот упрямо твердил свое:

— Я, еще с некоторыми другими, скупил все долговые обязательства города Эслингена. Будут эслингенцы настаивать на процессе, я за неделю явлюсь к ним со своими документами. Уступят они—уступлю и я. Нажмут они—

нажму и я. Но что тут можно знать заранее,—заклучил он озабоченно и потер зябкие руки.—У этих гоев столько злобы и глупости. Когда дело касается еврея, им нужнее кровь, чем деньги. А что же вы, реб Йозеф Зюсс?—спросил он в конце концов напрямик, видя, что иначе из Зюсса слова не вытянешь.

У Зюсса ответ давно был готов.

— Я не знаю еврея Зелигмана. В своем округе я сумею себя защитить,—сухо промолвил он.

Тут Исаак Ландауер вспылil:

— Он не знает Зелигмана! Сумеет себя защитить! Что ж это такое? Сидит себе здесь со своими лакеями, со своим золотым кафтаном, с китайщиной—и не знает! Сумеет себя защитить! Послушайте, что вам скажет старый делец: нужен вам весь этот хлам, кого удивит этот хлам, кому вы им голову заморочите, если вы не можете спасти реба Иезекииля Зелигмана из Фрейденталья?—Он в запальчивости размахивал руками перед самым носом Зюсса, полы его кафтана гневно развевались.—Попугай, гобелены, каменные истуканы! Нужны вам каменные истуканы!—злобно язвил он.—Пророк Моисей и царь Соломон сроду не были похожи на ваших белых истуканов. И глаза у них не были закрыты. А то бы они не преуспели так.—Выведенный из себя невозмутимым молчанием собеседника, он сердито уставился в пространство.—Ни один честный еврей не захочет в будущем вести с вами дела,—ехидно попробовал он козырнуть напоследок.

Однако Зюсс только пожал плечами.

— Шантажом меня не проймешь.—И отвернулся с враждебно-надменным видом.

Исааку Ландауеру ничего не оставалось, как уйти. Он удалился, ворча себе под нос и ожесточенно теребя свою жидкую бородку.

Несколько недель спустя, перед самым эслингенским процессом, в приемной у Зюсса ожидали десять еврейских мужей. Возглавлял депутацию Якоб Иошуа Фальк, низенький, высохший, престарелый франкфуртский раввин с ввалившимися глазами, при нем—попечитель и трое наиболее почтенных членов франкфуртской общины, а также депутации фюртских евреев, в том же составе. Они съехались во Фрейденталь, где со времен Гревениц существовала небольшая еврейская община, посетили жену Иезекииля Зелигмана; однако она совсем отупела и не была доступна никаким утешениям. Затем, под злобный ропот народа, они направились в Штутгарт и остановились на еврейском постоялом дворе, где их весьма неохотно принял хозяин. Строго соблюдая устав, они молились утром, после полудня и вечером, ибо десять мужей уже

составляют общину, в которой может быть соблюден весь чин богослужения, вплоть до самых тонкостей. Они торжественно стояли перед свитком Священного писания, который возили с собой, они лобызали его; взволнованные и сосредоточенные, закутавшись в молитвенные одеяния, стояли они с ремнями на груди и на голове, обратив лица к востоку, к Сиону. Так молились они руками, устами, всем существом своим в великой трепетной скорби и уповании. И вот, измученные и взволнованные, с пейсами, в тяжелых кафтанах, в остроконечных еврейских шляпах, со знаком на рукаве, стояли они в приемной Зюсса среди бюстов, лепных украшений, гобеленов, позолоты и ляпис-лазури. Они обливались потом и только изредка приглушенными, хрипло-гортанными голосами переговаривались между собой. Часы с музыкой отбили полный час и отзвонили нежную, журчащую серебром мелодию, а они все ждали, пока господин тайный советник по финансовым вопросам соизволит их принять.

И в этот день по всей Германии постились все евреи, достигшие тринадцати лет, числом до восемнадцати тысяч.

Зюсс предпочел бы вовсе не допустить к себе депутацию. До чего безрассудны эти люди! Должны же они понять, что если бы он захотел вступить, то не стал бы ждать их совета. А таким путем они могут только скомпрометировать его. Парламент все решительнее напоминал о формально действующих, хоть и давным-давно не соблюдающихся законах, согласно которым пребывание в герцогстве разрешалось евреям в исключительных случаях и с бесконечным количеством оговорок. От герцога Зюссу удалось добиться лишь заявления, что коль скоро дело коснется самого финанциратора и евреев, допущенных им в страну, он, Карл-Александр, не позволит связывать себе руки; в остальном же закон менять незачем. Вслед за этим парламент, придравшись к эслингенской истории, поспешил заново настойчиво подтвердить прежние строгие предписания. Как ни странно, но наиболее деятельно добивался этого в парламенте Вейсензе. Может быть, он думал воспользоваться борьбой против евреев как ширмой для своих католических интриг?

Во всяком случае, при таком положении дел еврейская депутация была неуместна и даже вредна. С другой стороны, в состав ее входили и желали говорить с ним самые уважаемые мужи германского еврейства; принять их, конечно, было необходимо. Если бы он мог исполнить их просьбу, ему бы даже лестно было преклонить благосклонный слух к их мольбе о защите. Теперь же он

принял их неохотно, твердо решив ограничиться неопределенным обещанием.

Десять еврейских мужей вошли степенно, тяжеловесно, шаркая, покашливая, заполнив целиком маленький кабинет. Стройный, элегантный, невозмутимо строгий стоял Зюсс перед неуклюжими, сопящими, раскачивающимися на ходу людьми.

Первым заговорил Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин:

— Все еврейство, все мы объединились и пытались действовать деньгами и дарами. Но старания наши оказались бесплодны. Народ успели возбудить против нас, и эслингенский муниципалитет решил истребить своих евреев; многое, конечно, делается вам назло, ибо вы пользуетесь такой властью при своем герцоге. Велика ярость нечестивцев, коварный Эдом грозно подымается на детей Израиля. Он пожирает золото, но не смягчается.

И так как Зюсс, не отвечая, выжидательно молчал, заговорил фюртский раввин, обрюзгший, обросший бородой человек:

— Больше негде искать спасения, реб Иозеф Зюсс, как только у вас. Реб Иезекииль Зелигман из Фрейденталя—подданный Вюртемберга. Мы просим вас, чтобы вы потребовали выдачи его герцогу, дабы судили его по вюртембергским законам. Другого спасения нет,—настойчивым, повелительным, гортанным голосом заключил он, подступая вплотную к Зюссу.

Тот стоял, опираясь на письменный стол, вежливый, элегантный, невозмутимый.

— Еврей Иезекииль Зелигман,—ответил он деловым тоном,—не имеет от меня формального дозволения, его нет в моих списках; весьма сомнительно, чтобы он был вюртембергским подданным. Город Эслинген будет апеллировать к его величеству императору в Вену, парламент тоже возбудит протест. Мне невестно требовать его выдачи.

— Невестно!—горячился фюртский раввин.

Но низенький кроткий престарелый франкфуртский раввин перебил его:

— Вы много сделали для нас. А потому мы надеялись, что вы и на этот раз поможете нам, дабы не пролилась невинная кровь.

Однако толстый, вспыльчивый фюртский раввин не мог уговориться.

— Невестно!—волновался он.—Спасти человеческую жизнь, спасти еврея, повинного единственно в том, что он еврей,—невестно!

— Вам видна всегда только одна сторона, рабби, учитель наш,—отвечал Зюсс, оставаясь учтивым и спокой-

ным и называя его как положено по чину.— Я же должен смотреть глубже, дальше, предусматривать связь событий. Представим себе, что я мог бы спасти реб Иезекииля Зелигмана, но за это спасение мне пришлось бы заплатить уступками Эслингену, императору. Такое мягкосердечие я не могу себе позволить. Вы руководствуетесь простым и ясным принципом: вот еврей, который не должен умереть. Я же не смею рассуждать так прямолинейно, я должен рассчитывать, оценивать, взвешивать. У вас одни только ваши еврейские заботы, у меня тысяча других.

Кротким, дрожащим голосом ответил ему Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин:

— Сколько сынов Израиля отдали бы все свое достоинство и даже больше того, дабы предотвратить пролитие невинной крови. Вы же можете воспрепятствовать этому одним росчерком пера. Не замыкайте сердца своего, реб Иозеф Зюсс.

А дородный фюртский раввин присовокупил:

— Неужто же вы бросите на произвол судьбы все еврейство из страха перед словопрениями парламентариев?

Зюсс все еще стоял, опершись о письменный стол, стройный, учтивый, элегантный, и его спокойствие служило плотиной против возбуждения тех, что, сопя и волнуясь, запрудили весь его маленький кабинет. Его выпуклые карие глаза метнули быстрый надменный взгляд на дерзкого, несдержанного рабби; но тотчас же, обуздав себя, он ответил невозмутимо:

— Я достаточно сделал для германского еврейства, и каждому ясно, что в добрых намерениях у меня недостатка нет. Стоило мне креститься, стоило мне отвернуться от еврейства, я был бы ныне первым человеком в империи после римского императора. Но я не совершил этого малодушия, я остался щитом еврейства, о своем происхождении я никогда не кричал, но никогда и не отрицал, что я еврей.

— Так заявите об этом сейчас! Сейчас, сейчас!— гортанно вопил фюртский раввин, выставив вперед косматую голову и настойчиво наступая на него.

Но Зюсс ледяным тоном ответил:

— Обычно вы умеете взвешивать и мерить. Измерьте! Взвесьте же! Взгляните вперед, дальше настоящей минуты! Вытребовать реб Иезекииля Зелигмана? Я держу в правой руке его смерть, а в левой все неприятности, нападки, угрозы, осложнения, которые обрушатся на меня, если я его спасу.

Он остановился, спокойно оглядел десять лиц, которые взволнованно, напряженно уставились в его лицо. Затем небрежно добавил:

— Я сейчас ничего не решаю. Но весьма вероятно, что, взвесив все, я не стану наклеивать на свою голову бую из-за такой безделицы!

Вознегодовали десять мужей, яростно взметнулись кверху руки, раскрылись рты. Короткие возгласы: «Ой! Ой!» Возмущенная, отрывистая скороговорка. И, все покрывая, прозвучал гортанный, сердитый раскатистый пророческий голос фюртского раввина:

— Безделица! Такой же человек, как вы, еврей, ваш брат, терпит пытку ни за что ни про что, ждет мучительной, позорной казни. У меня сердце останавливается в груди, когда я подумаю, что бессилён ему помочь. А вы пожимаете плечами: безделица! — Гневно сопя, надвинулся дородный раввин на Зюсса.

Но низенький франкфуртский раввин отстранил его. Старческим, кротким голосом он произнес:

— Мы вас не принуждаем, реб Йозеф Зюсс, мы пришли только просить вас. Господь бог возвысил вас так, как не возвышал еще ни одного еврея в Германии. Он сделал так, чтобы сердце вашего герцога было точно воск у вас в руках: не давайте же собственному сердцу ожесточиться перед бедствием ваших братьев!

Все остальные притихли, в то время как старик негромким голосом произносил эти слова. Замолчал и фюртский раввин. Когда Зюсс после короткой паузы ответил старику, в его голосе не слышалось обычной твердости: он вовсе не отказывался вступить. Но в том случае, если по зрелом размышлении он решит, что не может вмешаться, они должны вникнуть в его доводы, а не приписывать их злой воле.

С этим они ушли, и он учтиво проводил их через приемную.

Когда он остался один, в нем поднялась досада. Он был несдержан, что не входило в его намерения. В запальчивости он частично открыл им свои истинные побуждения. Из-за чего? К чему? Надо было до конца сохранить сдержанность и учтивость, что сотни раз удавалось ему в более важных и трудных случаях. А здесь ведь каждое слово напрашивалось само собой. Надо было дать побольше безответственных обещаний. Им чужды тонкие аргументы. Они упрямо, в каком-то ослеплении, уперлись на одном: спаси им во что бы то ни стало их поганого Иезекииля Зелигмана.

Все больше и больше раздражаясь, шагал он взад и вперед по кабинету. И как это они ничего не смыслят! Разве он не посылал им во Франкфурт огромных пожертвований? Разве не поддерживал, как мог, их торговлю? Есюду и везде добивался для них послаблений. Если теперь, вопреки законам страны, несколько сотен евреев

проживают в герцогстве, за это они должны благодарить его одного. Тогда, во Франкфурте, как они лебезили перед ним, чуть не молились на него! А теперь все это забыто, обесценено, они не признают его заслуг только потому, что в одном каком-то случае он не может исполнить их волю. Вот уж неблагодарные! Они не понимают и никогда не поймут, какую жертву он приносит им, не отрекаясь от еврейства. Право же, право, стоило бы креститься, хотя бы им назло.

Спору нет, приятно было бы лишний раз щегольнуть перед ними своим могуществом. Как глупо, что нельзя без долгих слов вырвать у эслингенцев их еврея. Совершенно ясно, что отныне он будет меньше импонировать всему еврейству. Эта мысль не давала ему покоя.

Он твердо решил больше об этом не думать. С головой окунулся в работу. Закружился в вихре новых любовных авантур. Однако ночи его не были спокойны. Ему снилось, что мимо медленно и торжественно движется процессия: это ведут на казнь еврея Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя. Он, Зюсс, скачет вслед на своей белой кобыле Ассиаде, хочет остановить процессию. Но хотя она движется медленно и непосредственно перед ним и хотя он прищипывает свою резвую кобылу, настичь процессию ему никак не удастся. Он кричит, бешено размахивает ходатайством о помиловании. Но дует сильный ветер, и процессия движется и движется вперед. Вдруг появляется дон Бартелеми Панкорбо. Высунув костлявое лицо из пышных старомодных брыжей, вздернув одно плечо, стоит он перед ним и говорит, что остановит процессию, если Зюсс отдаст ему свой солитер; Зюсс соглашается, весь вспотев от волнения. Но когда он делает попытку снять кольцо, оно не снимается, оно словноросло в палец, и дон Бартелеми говорит, что нужно отрубить руку.

На этом Зюсс проснулся, разбитый и с головной болью. Как бы он ни был утомлен, он боялся теперь ложиться спать. Ибо реб Иезекииль Зелигман из Фрейденталя, который не тревожил его в дневные часы, заполненные работой и женщинами, прокрадывался в его краткие, безрадостные ночи.

Перед испуганным, затаившимся в себе самом Зюссом сидел, нахмурившись, рабби Габриель. Сидел приземистый, скорбный, на лбу — три резких отвесных борозды. Рассказывал скупое, пугающее многозначительно, употребляя старинные обороты.

Итак, значит, до девочки дошли слухи, злые, тягостные слухи о Зюссе. Девочка ничего не говорит, но

покой ее нарушен, смущен. Что же он может сделать, испуганно, робко спросил Зюсс. А рабби Габриель отвечал хмуро и сурово: ни словами, ни тем паче оправданиями делу не поможешь. Пусть он предстанет на суд девочки. Пусть она все прочтет в его лице. Быть может, прибавил он насмешливо, девочке откроется больше, чем ему, рабби. Быть может, она увидит в лице своего отца больше, нежели плоть, кожу и кости.

По уходе рабби Зюсс то возносился ввысь, то падал в бездну. Взбудораженный до глубины души, он метался из стороны в сторону. При этом, в сущности, решение его было принято с самого начала. И угрожающий, презрительный вызов рабби был для него, в сущности, желанным знаком и озарением.

Предстать перед судом девочки, явить девочке лик, чистый и сияющий внутренним светом! Хотя для него, закоренелого скептика, существовало лишь то, что можно видеть и осязать, но подобный призыв и именно в такую минуту должен и самому неверующему послужить знаком и указанием. Он не подлец, отнюдь нет, он может держать ответ перед кем угодно и когда угодно, и если действительно существует бог, который проверяет и ведет счет и выдает векселя, то ему нечего беспокоиться и нечего бояться ни итогов, ни расплаты. И все же не так-то легко предстать сейчас перед судом девочки—ведь у нее глаза особенные, они видят одни лишь цветы да ясное небо, им неведома сложность людских дел, и они, быть может, увидят позор и грязь там, где, на наш взгляд, и сердце и руки почти что без пятнышка. И если к девочке уже дошли слухи, если она уже заранее трепещет и боится, тогда, конечно, надо еще раз как следует очиститься, прежде чем явиться к ней.

Он шагает, опустив голову, закусив чувственные губы, напрягая мускулы рук. Он, черт побери, не таков, чтобы приносить жертвы. Он задаривает всех направо и налево, он сыплет деньгами, ибо он щедр, как подобает настоящему вельможе и кавалеру. Но жертвы? Ему тоже еще никто не приносил жертв, в жизни всегда идет борьба не на живот, а на смерть, а кто робеет, кто мягок сердцем, тот остается внизу и сносит обиды и плевки. Он же не робсет ни перед ропщущим плебсом, ни перед наглыми вельможами, ни перед парламентом, ни перед господом богом, если таковой существует. И все-таки принести жертву в этом одном случае—вот что дало бы мучительно сладостное наслаждение, вот когда можно было бы предстать перед девочкой белым как снег, и даже глаза, привыкшие лишь к цветам да к ясному небу, не усмотрели бы на тебе ни малейшей пылинки.

Но сколько всего обратится в прах, если он принесет

эту жертву! Как бессмысленно, а с точки зрения политической просто безумно спасать Иезекииля Зелигмана только затем, чтобы рассеять какие-то нелепые девичьи фантазии. В прах обратится альянс с сеньорой де Кастро, в прах обратится дворянство, в прах обратится добрая половина того фундамента, на котором он стоит. Нет! Нет! Пусть это даже указание свыше и знак — он не уступит и ради детской причуды не отмахнется от всего того, что завоевано кровавым потом.

Но в глубине души он знал, что уступит. В глубине души он знал это с того мгновения, как увидел рабби Габриеля. В то время как он себя жалел и слезливо сокрушался над тем, какой от него требуют жертвы, где-то в самом заповедном тайнике он ощущал величайшее облегчение. И ему надо было крепко держать себя в узде, чтобы те смутные мечты, которые непрерывно зарождались в нем, не превратились в определенные ясные представления: как популярен он будет впредь во всем еврейском мире, как его будут превозносить и восхвалять по всей Европе, называя первым из евреев Римской империи, как он, еврей, добьется небывалого и невообразимого — один вырвет обреченного на смерть человека у целого христианского города.

И в то время как эти кичливо-суетные мысли захлестывали его, он сам с трудом представлял себе все тяжкое величие такого жертвенного решения.

На следующий день он отправился к герцогу. Он подошел к вопросу без обычных околичностей, был менее подобострастен, требовал настойчивее. Он подчеркнул, что герцогу по его сану не пристало отдать своего еврея на произвол эслингенцам: кроме того, и его, Зюсса, авторитет страдает от насмешек и уколов, какие непрерывно позволяют себе продерзкие эслингенцы. Карл-Александр грубо прервал его, заявив, что просит не докучать ему дурацкими еврейскими делами, у него уж довольно из-за этого дрязг с парламентом, он и без того на всю империю прослыл еврейским приспешником, так что Зюссу лучше попридержать свой наглый язык. Однако Зюсс, вопреки обыкновению, не сдавался, настаивал на своем и приводил, несмотря на повторный окрик герцога, все новые доводы. Он требовал, чтобы, на худой конец, Иоганн Даниэль Гарпрехт, лучший в стране юрист, дал свое заключение по поводу подсудности данного дела эслингенскому суду, если герцогу угодно, чтобы он, Зюсс, продолжал свою многотрудную, чреватую опасностями работу на пользу его светлости. Ибо, если эслингенцам и впредь будет дозволено подрывать его авторитет, ему придется всепокорнейше просить об освобождении его от исполняемых им обязанностей. Карл-Александр,

побагровев и засопев, рывкнул, чтобы он убирался вон.

Зюсс удалился, удовлетворенно посмеиваясь. Он знал, что это пустые фразы; завтра герцог сделает вид, словно ничего и не было. Карл-Александр не может обойтись без него и принужден будет уступить, принужден будет исполнить его просьбу. Посему он на следующий же день сообщил рабби Габриелю, что ему почти наверняка удалось добиться освобождения Иезекииля Зелигмана, и при этом чванился и похвалялся, какую непомерную тяжесть взвалил тем самым на себя. В то время как он пространно и напыщенно разглагольствовал на эту тему перед застывшим в молчании рабби Габриелем, в кабинет шумливо и бесцеремонно ввалился герцог, прямо с парада, в мундире с лентами и орденами. Случайно ли столкнулся он здесь с магом? Или прослышал о его приезде и хотел, как тогда в Вильбаве, встретиться будто невзначай? Так или иначе, он явился и наполнил кабинет гамом, громом и блеском. Ах, какой он недоступный, с напускной веселостью крикнул он каббалисту. А может, он вообще отказывается составлять гороскопы для необрезанных? Зюсс вмешался, стараясь все сгладить. Дело идет о гороскопе по поводу женщин, он ведь уж много раз настойчиво писал об этом дяде. В действительности же он написал лишь один раз, и то осторожно, полунамеками; но рабби Габриель понял, о чем идет речь. Однако он безмолвствовал. Смотрел в лицо нетерпеливо насупившемуся герцогу и молчал. Тогда Карл-Александр с прежней нарочитой, самоуверенной шутливостью спросил, имеют ли связь его амурные приключения с тем роковым концом, о котором маг упомянул или, вернее, умолчал при их встрече. Герцог не ожидал ответа на этот вопрос, да и Зюсс был уверен, что дядя постарается отмолчаться. Однако рабби Габриель, не сводя окаменелых глаз с герцога, ответил одним сердитым, скрипучим, недвусмысленным: «Да». Карл-Александр не ожидал, что услышит столь ясный приговор, он схватился за сердце, ловя воздух, в комнате повисла душная, гнетущая тишина. Отдышавшись и все еще силясь шутить, Карл-Александр заметил, что наконец-то приговор ему произнесен, и тотчас же заговорил о другом. Он обратился к Зюссу: да, вот он для чего, собственно, зашел — он поручил Гарпрехту дать заключение по делу этого поганого эслингенского еврея. Черт знает сколько неприятностей и пакостей приходится терпеть из-за него! Приказал подать карету и удалился, расстроенный, бросив на прощание неудачную, злобную остроту по поводу бюста Моисея.

После ухода герцога Зюсс опять стал бахвалиться. Итак, значит, он счастливо избавил еврея Иезекииля

Зелигмана из Фрейденталя от рук Эдома. Ему, Зюссу, посчастливилось достичь того, чему не было еще примера в Римской империи. Неужто и теперь дядя считает, что жизнь его и тяжкие труды—суета и томление духа?

Нехотя ответил рабби Габриель ненасытному честолюбцу: его, Зюсса, жизнь вовсе и не жизнь, а нелепая суетня в чаянии убежать от себя и собственной пустоты.

Сперва Зюсс обиделся, по-детски надулся и не ответил ни слова. Избегая встречаться взглядом с упорно молчавшим рабби Габриелем, он так же молча шагал по комнате и выкапывал из всех закоулков своего сознания убедительные доводы. Ах, так? А кто же, как не он, только что принял великодушное решение и осуществил его ценой огромных жертв? Его насыщенная трудами, плодотворная жизнь—всего лишь нелепая суетня? И ему осмеливаются сказать это перед лицом богоугодного деяния, только что совершенного им? Да разве такое деяние не может наполнить смыслом целую жизнь? А что, если это деяние—лишь одна из жемчужин целого ожерелья? И если посмотреть на его жизнь с этой точки зрения, то, быть может, вся она—лишь самопожертвование и достижение предуказанной свыше святой цели?

Он вдруг остановился и ухватился за эту мысль. Ему, человеку минуты, великому актеру в жизни, пришлось по вкусу поглядеть на себя в таком сентиментальном плане. Ему показалось соблазнительным истолковать свое повседневное существование не как возню впустую, а как возвышенное житие великого праведника. Ах так, его жизнь столь бессмысленна, что можно с презрением отмахнуться от нее? Все его тщеславие возмутилось в нем. Огромным усилием воли вырвался он из того гнетущего заколдованного круга, в котором держало его присутствие рабби Габриеля. Он принудил самого себя поверить в глубокий, predetermined, священный смысл своей жизни, усмотреть в своем возвышении назидание и символ. По-прежнему стремительно шагая взад и вперед, он таинственным шепотом вкрадчиво убеждал своего молчаливого слушателя. Со всем присущим ему увлекательным, убедительным адвокатским красноречием, с тем рвением, с каким обычно выступал в защиту дел государственной важности, сжигал он перед рабби блестящий фейерверк благочестивой гордыни.

Если бы он старался только сделать карьеру, зачем бы ему было оставаться евреем? Почему он не крестился, как его брат? Нет, дядя несправедлив к нему, считая его жизнь такой ничтожной и достойной презрения. Отнюдь не из жадности денег или власти стоит он на своем высоком посту, окруженный завистью и опасностями.

Он цеплялся за эту мысль, она лестила ему, он внушал ее себе, чтобы получше внушить ее рабби Габриелю. Он нашептывал ее каббалисту как великую тайну и, пожалуй, даже больше, чем для него, играл для самого себя в предопределение, в наитие, в призвание. А что, если он избран отомстить Эдому за Израиля? Ведь не слепым случаем вознесен он, точно Иосиф, которого отличил фараон? Если он теперь поднялся так высоко и пребывает в таком блеске, что те, кто обычно оплевывает и попирает ногами сынов Израиля и брезгливо отряхивается, когда им случится задеть еврея, они принуждены гнуть перед ним спину и лизать прах от ног его,— разве это уже не месть? Вот теперь он, еврей, царит над страной, сосет ее кровь и жиреет от ее соков. И если кого-нибудь из его братьев притесняют, стоит ему простереть над ним руку, как Эдом уползет, поджав хвост, как побитый пес. Разве этого недостаточно, чтобы стать смыслом, сутью и основой целой жизни?

Но рабби Габриель молчал, и, когда Зюсс поглядел на молчавшего рабби, его крылатые слова повисли в воздухе и наконец упали наземь. Он притих и стоял, точно школьник, плохо выучивший урок и не знающий, чем ему пахнувшие румяна, которые быстро засыхают и облупливаются.

Каббалист ни словом не ответил на длинную, пылкую и чувствительную речь Зюсса. Он поднялся и сказал:

— Прежде чем показаться на глаза девочке, поезжай во Франкфурт к матери.

С этими словами он ушел. Когда Зюсс остался один, в душе его бушевала глухая ярость. Ну, вот он переломил себя и принес жертву. Чего же еще хочет от него старик? Что еще должен он сделать? Почему замалчивал он его жертву своим высокомерным и уничтожающим молчанием? А как понять его слова о Франкфурте? Ну, конечно, он поедет во Франкфурт, к матери. Франкфуртцы лучше оценят все, что он сделал. Мать будет благоговейно прислушиваться к его словам. А франкфуртские евреи — мудрый рабби Якоб Иошуа Фальк, и попечитель, и все другие — как будет он взыскан их славословием, благословением, хвалой и восторгом. Пусть рабби Габриель молчит, тем громче заговорят десятки тысяч других уст, свидетельствуя о нем и о его деянии.

В кабинете профессора Иоганна Даниэля Гарпрехта хозяин дома поверх кипы актов и документов с мягким и мудрым сокрушением улыбался своему другу, тайному советнику Бильфингеру. Просторную, солидно меблиро-

ванную комнату пересекал столб солнечных лучей, сотканный из бесчисленных пылинок.

И профессор, и тайный советник, оба люди положительные, внимательно обсудили вюртембергские дела; особо остановились они на подробно и старательно изложенном прелатом Вейсензе решении парламентского совета, постановившего ни при каких условиях не вмешиваться в эслингенский конфликт.

— Вы, друг и брат мой, должны понять,— сказал Гарпрехт и положил руку на широкие плечи Бильфингера,—насколько самому мне приятнее было бы бросить еврея Иезекииля на произвол судьбы, насолить Зюссу и тем самым доставить торжество Вейсензе. А как я подумаю, какой куш придется нам отвалить за выдачу этого вонючего жида, сколько побочных доходов и законных прибылей придется швырнуть в жадную пасть несговорчивых эслингенских лавочников и взамен прослыть по всей империи еврейскими приспешниками, вам, друг и брат мой, разумеется, понятно, что при мысли об этом горечь и досада поднимаются во мне. Но герцог потребовал у меня заключения юридического, а не политического. И хотя мне это крайне прискорбно, и хотя я с радостью отхлестал бы еврея по его наглой роже всеми компендиями и комментариями—тем не менее Иезекииль подсуден нам; а когда поставлен вопрос о праве и законе, тогда отпадают всякие мелкие формальности, которые с помощью юридических уловок можно толковать в обратном смысле. Как юрист, я обязан дать такое заключение: Иезекииль подсуден вюртембергскому суду и должен быть выдан герцогским властям.

Бильфингер склонил массивную голову. Он знал это, все это знали; знал это, несомненно, и герцог, и когда он затребовал суждение Гарпрехта, дело было уже, в сущности, решено. И все-таки как было бы хорошо, если бы Гарпрехт сделал другой вывод! Герцог, надо думать, все равно потребовал бы выдачи арестованного, но Зюсс получил бы чувствительный щелчок.

— А теперь он стоит себе спокойно,—проворчал Бильфингер,—и посмеивается, глядя сверху вниз, как мы надрываемся, чтобы ему угодить.

Но больше он не делал попыток повлиять на Гарпрехта, он знал, что юрист скорее даст себе руку отрубить, нежели решится вставить в юридическое заключение хоть слово, на волосок уклоняющееся от буквы закона. Он простился с другом уныло и безнадежно, но с крепким и теплым рукопожатием.

Оставшись один, Гарпрехт не нашел в себе сил приняться за дела. Он вновь наполнил стакан вином, посмотрел на танцующие в косом столбе света пылинки.

Задумался. Он привык к широкому охвату происходящего. Он определил место этого случая в цепи фактов, он раздвинул границы герцогства, и дело ничтожного еврей-разносчика предстало перед ним как одна из волн в потоке явлений и событий общеевропейского масштаба.

Ибо ничтожный еврей-разносчик, замученный пытками, ложно обвиненный в убийстве, и Зюсс, окруженный завистью, всемогущий финанцир-директор, видная фигура, входящая в расчеты всех европейских дворов, качаются на гребне одной волны. Как странно переплелись судьбы этих двух людей! Если бы Зюсс не стоял так высоко, в таком великом блеске, эслингенцы, несомненно, отпустили бы бедняка еврея на все четыре стороны. А если бы Зюсс не стоял так высоко, в таком великом блеске, он не мог бы спасти бедняка еврея. Что же связало финанцир-директора с мелким разносчиком? Общность крови? Глупости! Общность веры? Пустая болтовня! Ничего между ними не было общего, кроме одного: ненависти, которая отовсюду захлестывала и могущественного еврея, и его ничтожного собрата.

Задумчиво перелистывал Гарпрехт хроники, исторические работы Габельковера, Магнуса Гессенталера, Иоганна Ульриха Прегницера, приказы, рескрипты, решения ландтагов, которые горами лежали перед ним. Там можно было прочесть, как в стране обращались с евреями до сих пор, там были постановления швабских герцогов и парламентов касательно евреев, там была вся история швабских евреев и их прав.

С давних времен расселились они в стране. Их бесконечное множество раз обвиняли в убийстве, в отравлении колодцев, в оскорблении святынь, а пуще всего в несносном зловредном лихоимстве. Их бесконечное множество раз избивали, а все их иски объявляли недействительными и в Кальве, и в Вейле-городе, и в Булахе, Тюбингене, Кирхгейме, Горбе, Нагольде, Эрингене, Каннштате, Штутгарте. Но бесконечное множество раз их призывали вновь. Один из императорских приказов гласил: повсюду в империи надлежит отнимать у них имущество, а также и жизнь, истребляя их всех, за исключением малого числа, кое оставить в живых, дабы сохранилась память о них. В другой раз в резолюции консистории указывалось, что у христиан, после дьявола, нет злее врагов, нежели евреи. В соглашении между германским государем и Ульрихом Многолюбимым были оговорены строжайшие меры, во внимание к разнообразным жалобам на евреев, кои, по свойственному им жестокосердию, лихоимством своим бессовестно и несносно угнетают имперских подданных, как лиц духовного звания, так и мирян, и в других делах держат себя так грубо и непотребно, что отсюда проистека-

ют рознь, войны и несогласия. А в завещании графа Эбергарда Бородатого евреи именовались отверженными и мерзкими творениями, враждебными всемогущему богу, природе и христианскому духу, гложущими червями, пагубными и несносными для простолюдина и подданного, а посему, во славу господя всемогущего и всеобщего блага ради, им строго и решительно воспрещалось пребывание в стране.

Но отчего же, судя о них так, их снова впускали и даже часто призывали обратно в герцогство? Отчего защищал их Эбергард Сварливый и граф Ульрих? Отчего же, если Эбергард Бородатый, герцоги Ульрих, Кристоф, Людвиг их изгоняли, Фридрих Первый и Эбергард-Людвиг звали их назад в страну? Заклеймить именем проклятого, богом отринутого народа очень просто, но почему нельзя оставаться к ним равнодушными, как к другим чужеземцам, скажем, к французам-эмигрантам? Почему они либо отталкивают, либо притягивают—а то бывают одновременно и омерзительны и привлекательны?

Оторвавшись от бумаг, Иоганн Даниэль Гарпрехт поднял голову. В косом столбе солнечных лучей, где танцевали бессчетные пылинки, ему примерещился образ герцога и образ еврея, один в другом, один таинственно переходящий в другой. Оба были бедствием. Против герцога существовала защита—конституция; но защита была худая и прок от нее небольшой. Против евреев существовали законы, рескрипты; но они были бесполезны. Гложущие черви—так говорилось в резолюциях, в запретах. Страна приходила в упадок, росла бедность, нужда, озлобление, обнищание, отчаяние. Гложущие черви сидели в стране, питались мозгом ее костей. Глодали, жирели. Вверху, свившись в один клубок, герцог и еврей, кичливые в своей наглой, сытой наготе, лоснящиеся, раздобревшие.

Мысли путались в голове положительного, трезвого, деловитого человека. Так трудно встать здесь на твердую почву; евреи и все, что с ними связано, так сбивает с толку, задает столько загадок. Изгонять их бесполезно, раз их снова приходится призывать обратно, даже самое простое средство—истребление их—вопроса не решало. Загадка продолжала мучить и задним числом; да и сами они внезапно всплывали на поверхность там, где их меньше всего можно было ожидать.

Вот, скажем, еврей-разносчик: бродит он по дорогам, колченогий, уродливый, грязный, запуганный, приниженный, жукавый, неприглядный телом и духом, ты испытываешь к нему отвращение, остерегаешься прикоснуться к его засаленному кафтану; но вдруг из глаз его благостно глянет на тебя и смутит твой покой древний мир с его

вековой мудростью, и вшивый еврей, который, казалось тебе, недостоин того, чтобы, топча его в грязь, ты замарал новые башмаки, поднимается как облако, парит над тобой, улыбаясь с недостижимой высоты.

Тягостно и неприятно думать, что такой вот грязный еврей-тряпичник произошел от семени Авраама. Досадно и неловко, что прославленный на весь мир мудрец Бенедикт д'Эспиноза принадлежал к этому же проклятому племени. Казалось, будто природа хочет на примере этого племени наглядно показать, на какую звездную высь может подняться человек и в каких низинах может он погрязнуть.

Гложущие черви. Гложущие вредоносные черви. Профессор Иоганн Даниэль Гарпрехт принудил себя вернуться к архивным документам, но что это? К нему, рассудительному, спокойному человеку, точно к какому-нибудь мечтателю, слетели видения. Самые буквы превратились в червей с головами герцога и Зюсса, и черви эти ползали, гнусно увертливые, влажные, липкие. Гложущие черви, гложущие черви. Он скривил рот. Сплюнул.

Сделал попытку перенестись мыслями в ту область, где легче всего обуздать фантазии и видения, в самую близкую ему область, в политическую экономию. Евреи продолжают существовать в силу экономической необходимости. Мир перестроился заново. Раньше вес человека определялся его званием и происхождением, теперь он определяется деньгами. Когда евреям—презренным и ненавистным—дано было монопольное право распоряжаться деньгами, им тем самым был брошен канат, по которому они взобрались вверх. Теперь деньги стали живой кровью государства и общества, а еврей—важнейшим колесом в мудреном механизме денежного оборота, его осью и главным рычагом. Стоит изъять их оттуда, как рухнет общество и государство. Герцог—эмблема и символ старой власти, власти звания и происхождения, и еврей—эмблема и символ новой власти, власти денег,—протягивали друг другу руку, были нерасторжимо связаны между собой, дружно тяготели над народом, высасывали мозг его костей, один для другого.

Гложущие черви, гложущие черви. Со вздохом вернулся Гарпрехт к своей работе. Взял себя в руки, и омерзительная нечисть обратилась в ясные, четкие буквы, и он деловито, старательно, добросовестно и подробно изложил свое заключение.

Эслингенцы, выторговав себе крупную компенсацию и для вида отчаянно бранясь, а в душе ликуя, передали в руки герцогского правосудия еврея Иезекииля Зелигмана.

Вюртембергский суд спустя несколько дней освободил его. Разбитый, потерянный, невменяемый, обезумев от ужаса, от страха смерти, от пыток, Иезекииль вернулся во Фрейденталь, навсегда до мозга костей потрясенный всем пережитым. С ним часто случались нервные припадки, его трясло, сводило плечи, руки смешно дергались в разные стороны, лицо искажалось, часто он неожиданно принимался стонать, тихо, по-звериному завывал. Другие евреи заботились о нем и в конце концов переправили его за границу, в Амстердам.

Перед тем как выехать за пределы Германии, он обратился с письмом к финансирующему, прося разрешения явиться к нему, чтобы поблагодарить его. Зюсс подумал, заколебался. Конечно, торжество немалое — показать штутгартцам добычу, которую он вырвал у эслингенцев. Но, с другой стороны, у добычи был настолько жалкий и общипанный вид, что штутгартцы хоть и поостереглись бы громко поносить его, но грубые шутки, конечно, себе бы позволили, а кроме того, он не решился, показывая Иезекииля, еще пуще разозлить герцога, которому вся эта канитель и без того нестерпимо надоела. Итак, он великодушно уклонился от личной благодарности освобожденного. Однако, по теперешнему своему обыкновению, не сознался себе самому в истинной причине отказа и только полюбовался сам собой. Уж теперь все увидят, что совершил он этот поступок не благодарности ради, а единственно из чистых и благородных побуждений.

Зато он сполна удовлетворил свое тщеславие во Франкфурте. Ой, как толпились на улицах гетто евреи, чтобы только увидеть его, гортанными возгласами выражали свой восторг, призывали на его голову благословения, высоко поднимали детей, чтобы в их своеобразно прекрасных, удлинённых глазах запечатлелся его священный благодатный образ. Точно по ковру шествовал он по их беспредельным восторгам и добрым пожеланиям. Ой, какого спасителя и великого праведника господь, да будет благословенно имя его, послал Израилю в его великом бедствии. Он стоял в синагоге, и его вызвали читать Священное писание, и тогда жужжание, которое обычно раздавалось в переполненном зале, сразу стихло, так что напряженная тишина, воцарившаяся среди избавленных от безумного страха людей, казалось, готова взорвать стены, и престарелый раввин дрожащим голосом излил на его голову слова прекрасных, сладостных, древних благословений, как теплую благовонную воду из драгоценной чаши.

Но та, от кого он ждал самых больших восторгов, менее ревностно и раболепно слагала их к его ногам. Его

мать, самая покорная и смиренная его поклонница, на сей раз была сдержанна, боязлива, словно скована. Правда, у нее и теперь не иссякли хвалы и славословия его величию и блеску, стройности, богатству, благородству, изяществу, уму, учености, могуществу и тому, как щедро одарен он всеми благами мира, и деньгами, и талантами, и красотой осанки, и добротой, и женскими ласками. Однако она не растворялась в нем целиком, как обычно. Ее большие бездумные глаза на белом прекрасном лице порой пугливо отрывались от него; руки, ласкавшие умного, изящного, могущественного сына, вдруг беспричинно застывали. Красивая, веселая, болтливая, ветреная пожилая дама, против обыкновения, была чем-то явно обеспокоена, растерянна, угнетена.

В то время как они сидели вдвоем, тяготясь этой напряженной атмосферой, рабби Габриель неожиданным своим приходом прервал их разговор. Микаэла вскочила с громким криком и, точно умоляя и обороняясь, подняла к нему руки.

— Ты ему дала их?—спросил каббалист.

Микаэла, помертвев и широко раскрыв глаза, отступила на шаг.

— Отдай сейчас же!—сказал рабби, не повышая голоса, но так, что сопротивление тотчас замерло. Микаэла вышла, вся поникнув, тихонько всхлипывая.

— Что это значит?—спросил озадаченный и раздосадованный Зюсс.—Зачем вы ее мучаете? Чего вы хотите от нее?

— Ты мне сказал,—отвечал рабби,—на чем покоится смысл и оправдание твоей жизни, с которым ты хочешь предстать перед девочкой. Я же возьму в руки твое оправдание и покажу его тебе таким, каково оно есть.

Едва волоча ноги, словно через силу вошла Микаэла. Принесла связку бумаг, по-видимому, писем. Робко положила их перед недоумевающим сыном.

— Остаться мне здесь?—произнесла с трудом, в чуть слышном голосе ее звучал страх.

— Можешь идти,—почти ласково сказал рабби.

После того как она поспешно удалилась, Зюсс неторопливо потянулся за письмами, поддержал их в руке и нерешительно начал читать. Любовные письма, несколько устарелые по форме, не слишком увлекательная материя. Он удивлялся и недоумевал. Что это значит? Наконец уловил какую-то связующую нить, стал торопливо сопоставлять факты, и вдруг, ошеломленный внезапным, потрясающим открытием, поднял глаза от писем, поднял их на рабби Габриеля. Но того не оказалось, он был в комнате один.

Тогда он вострепнулся, вскочил, тяжело ступая, принялся шагать по комнате. Глаза его то загорались, то темнели, то снова загорались. Налетевшие тучи, и снова солнце, потом снова мрак застилает лицо. Беспорядочные, неритмичные взмахи рук, шаткие, как у пьяного, шаги. Обрывки слов, лепет, затем, когда все тело напрягается,— отчетливая фраза. И вот он уже опять поник, невнятно что-то бормоча, ноги и руки словно перебиты. Человек, всегда полный самообладания, превратился вдруг в актера, когда тот работает над ролью, то возносясь к звездам, то низвергаясь в пропасть. Наконец он точно мешок свалился в кресло, внутри все кипит и бурлит, а лицо и тело неподвижны. Долгий, как вечность, миг он недвижим, точно мертв.

Вот, значит, как одно сплетается с другим. Вот как сразу освещаются таинственные, мрачные закоулки. Значит, проклятый колдун рабби заодно с матерью подло, низко, бессовестно обманывали его, так долго скрывая и утаивая правду. Что за скверная шутка, что за коварная, чисто еврейская плутня—так долго связывать его с этой мерзкой, низкой, подлой, смешной и презираемой нацией! Впрочем, благодарение богу, его талант и благородство крови не дали ему остаться в тени. Его природные способности расцвели пышным цветом, несмотря на чинимые ему подлые преграды и препоны. Каких нестерпимых, отравляющих душу обид не знал бы он, какими унижительными окольными путями не плутал бы, сколько нелепых, ненужных граней и углов было бы для него выровнено и сглажено, если бы преступная воля незаконно не привязывала его к этому низменному плебейскому положению и вероисповеданию.

Но как же это? Потихе! Только не горячиться! Потихоньку все взвесить и обдумать! Разве теперь его путь так уж прям и ясен?

Итак, отцом его был не скромный кантор и комедиант Иссахар Зюсс. Можно без труда неопровержимо доказать, что Георг Эбергард фон Гейдерсдорф, барон и фельдмаршал, был его отцом. Он не плохого рода, его манеры, его стать, его темперамент не были нарочито усвоены им, не были искусственными и заученными. Его аристократические наклонности, его возвышение, его барственное благородство вполне понятны, они естественно прорвались сквозь все препятствия; ибо их источником была порода, внутренняя сущность. Он по рождению христианин и вельможа.

Незаконнорожденный? Ну что ж, самыми способными и удачными были дети, зачатые на ложе запретной, необузданной страсти, где между цветом и плодом не возникали охлаждающие и отрезвляющие практические

соображения. Повсюду в Европе если не на престоле, то на самых его высоких ступенях сидят незаконнорожденные. Честь и хвала его отцу, что он пожелал иметь сына не от какой-нибудь затхлой аристократической девы, а от красавицы еврейки.

Гейдерсдорф — его отец, Георг Эбергард фон Гейдерсдорф. Громкое имя. Беспокойное имя. Кровавое, истерзанное, несчастливое имя. Он видел портреты этого человека. В отважном бесстыдстве мать оставила на стене своей спальни его портрет, даже когда сам он был обесславлен и обездолен. Как часто в детстве стоял он перед портретом блестящего генерала, на этом имени мать учила его говорить, сложное имя Георг Эбергард фон Гейдерсдорф было первое, что не по летам развитой ребенок научился произносить без запинки; когда мальчику в первый раз удалось это, мать сунула ему в рот конфетку. Ага, значит, от него унаследовал он и каштановые волосы, и величавую барственную осанку, значит, это отцовский горделивый красный мундир всегда грезился ему и увлекал дальше вверх по тому пути, по которому он поднялся так баснословно быстро и легко.

Георг Эбергард Гейдерсдорф — вот кого судьба триумфально вознесла ввысь и еще стремительней сбросила вниз. Фельдмаршал, блистательно отличившийся в турецких войнах, комтур Тевтонского рыцарского ордена в Гейльбронне, комендант Гейдельбергской крепости во время войны с Францией. Завистливые клеветники подвели его после падения крепости под военный суд. Он якобы по трусости поспешил сдать крепость, меж тем как должен был продержаться, пока не подоспеет Людвиг Баденский. Смертный приговор. Император милует его. Но как! Мальчиком Зюсс видел на картинках, как было осуществлено это помилование. Он и посейчас ясно видит все подробности в изображении летучих листков. Мстительный маркиз построил войска вдоль всего правого берега Неккара. Как истукан высится он на своем поджаром коне. А это, значит, его отец, которого везут вдоль всего фронта императорских войск. Бесконечный фронт; шеренги солдат тянутся через весь листок. А отец его сидит в телеге смертников, с позором изгнанный из Тевтонского рыцарского ордена, лишенный чинов и отличий, и везет его гейльброннский палач с подручными.

Видел он и другие гравюры, картинки и листки. Но те меньше запечатлелись у него в памяти. Он помнит довольно ясно, как на одной из них кто-то переламинает шпагу. Это, надо полагать, тот момент, когда фельдмаршалу перед полком, носящим его имя, читают смертный приговор и замену казни изгнанием. Как подлый изменник, осужден он на изгнание из Австрии и Швабии. Палач

срывает висящую у него на боку шпагу, трижды ударяет ею по лицу приговоренного и ломает ее. А затем громко стонающего изгнанника в лодке перевозят через Неккар.

Дальнейшее известно только по слухам. Говорят, что он бежал к капуцинам в Неккарсульм и умер капуцином в Гильдесгейме. Мать, конечно, знает все точнее. Во всяком случае, теперь уже позор снят с его имени. Теперь известно, что приговор был продиктован завистью и несправедливостью. Гейдерсдорф-солдат слывет героем, Гейдерсдорф-монах — мучеником.

Вот каков, следовательно, его отец. Беспокойное имя, беспокойная судьба. По неверной звезде его отца каббалист, должно быть, узнал многое из того, что сулит рок ему самому. Что ни говори, а тут во всем, вплоть до мелочей, тянутся таинственные нити. Отец его — капуцин, а он участвует в католическом проекте Карла-Александра. Отец его — солдат, значит, он неспроста таинственными узами связан с герцогом-солдатом.

Ну, довольно мечтаний! Надо действовать. Что дальше? Что будет дальше? Как ему теперь поступить?

Взять документы. Пойти к герцогу, потребовать, чтобы его христианское происхождение было узаконено. Может быть, самому поехать в Вену. Теперь ему легко добиться дворянства и вполне официально получить звание обер-гофмейстера, а также председателя кабинета министров. Все это так. Хорошо, а потом? Разве сам он изменится потом? Ну да, ему будет легче вмешиваться в осуществление католического проекта. Князь-епископ Вюрцбургский не станет больше таиться от него, наглецы офицеры рта не посмеют разинуть. К фактической власти присоединится соответствующий сан и почет. Хорошо, ну а потом?

Разве он потом будет значить больше, чем сейчас? Нет, меньше. Таких государственных деятелей, каким он станет тогда, в империи наберется с полсотни. Тот ореол исключительности, неповторимости, необычайности, что окружает его теперь, улетучится. Теперь он министр-еврей. Это не шутка. Над этим смеются, издеваются, прикрывая смехом удивление и даже восхищение. Когда аристократ становится министром, чему тут удивляться? А вот еврей, который одиноко взбирается на самый верх, — это будет позначительней, чем целая свора аристократов. И этим пренебречь? Зачем? Для чего? В конце концов, он ведь давно мог креститься. И пожалуй, достиг бы большего, чем достигнет теперь, заявив о своем христианском происхождении. Быть христианином — значит быть одним из многих. Но на шестьсот христиан приходится один еврей. Быть евреем — значит быть презируемым, преследуемым, гонимым, но вместе с тем быть единственным,

сознавать, что все взоры обращены на тебя, быть всегда собранным, натянутым точно струна, всегда настороже, в полном обладании всех чувств.

Почему рабби показал ему эти документы ни с того ни с сего теперь, когда он давно уже перевалил за первую половину жизни? Чтобы не дать ему насладиться триумфом, который принесло ему дело Иезекииля Зелигмана? Чтобы вероломно лишить его законной доли священного достояния? Чтобы лукаво, издевательски посягнуть на высшую его ценность — единство со своим народом?

Искусный делец почувствовал, что его вовлекли в такую комбинацию, где с цифрами и выкладками далеко не уйдешь, где даже его испытанное знание людей отказывается ему служить. На какого дьявола понадобилось рабби именно теперь подсунуть ему эти письма? Что за цель он преследовал? Допустим, он, Зюсс, объявит себя христианином, какая же в этом будет выгода для рабби Габриеля? Он не мог отрешиться от привычной деловой точки зрения, согласно которой человек из каждого начинания стремится извлечь выгоду для себя и нанести ущерб партнеру.

Когда польские евреи, даже самые что ни на есть ничтожные и поганые, соглашались креститься, они получали дворянство. Почему же они не шли на это? Почему они, эти хитрые торгаши, отвергали выгоду, которая давалась им так легко? Что побуждало их предпочесть ей смерть? Благочестие? Вера? Убеждения? Значит, эти слова имеют какой-то смысл? И возможно ли, чтобы такому вот поганому польскому еврею было ведомо то, что скрыто за этими глубокими, гулкими словами? Возможно ли, чтобы такое низшее существо было умнее в своем примитивном разумении, было лучше подготовлено к неведомому потустороннему миру, нежели он в своей многообразной премудрости? Он почувствовал себя ребенком, неустойчивым, беспомощным и одиноким.

Ныне он первый среди германских евреев. На его пути детей поднимали вверх, чтобы они увидели его, ревностно и выразительно жестикулируя, призывали на его голову все блага небес. Он вспомнил, как стоял в синагоге посреди трепетного молчания по природе шумливых и подвижных людей, а раввин кротким, дрожащим голосом изливал на него благословения, и умиленная, сладостная истома овладела им при этом воспоминании. Много потребуется решимости, крепко придется стиснуть зубы, чтобы от всего этого отказаться. Когда он добивался какого-нибудь успеха, конечно, приятно было красивым жестом швырнуть его в искаженное злобой лицо врага, приятно было порисоваться им перед женщинами, перед Магдален-Сибиллой, но полнее не было торжества, как предстать

победителем перед Исааком Ландауером, посреди еврейского гетто, перед матерью. Здесь можно, не опасаясь язвительных слов и взглядов, спокойно насладиться своим успехом, просмаковать его до конца, зная, что и другие искренне радуются заодно с тобой. Здесь чувствуешь себя дома, здесь можно дать себе волю, не контролировать ни игры лица, ни жестов, ни слов. Здесь — мир и покой.

Да, мать. Значит, она — как это говорится? — преступила закон. Странно, что он из-за этого ни на волос не изменился к ней. Презирать, пожалуй, следовало того, кого он считал своим отцом — добродушного, деликатного, живого, приветливого, обходительного певца и актера. Удивительно, что и к нему Зюсс не испытывал иного чувства, кроме нежности. Как должен был этот человек любить его мать, чтобы ни разу не попрекнуть ее незаконным младенцем. Никогда не слышал он в детстве, чтобы тот сказал матери хоть одно грубое слово. А как нежно, внимательно, по-отечески обращался он всю жизнь с ним самим. Иначе как отцом Зюсс не мог даже и теперь мысленно называть его.

А благородные побуждения в истории с Иезекиилем Зелигманом, а жертва — неужели все это лишь выдумка, самообман? Комедия, которую он разыграл перед самим собой? В нем вспыхнул протест. Неужели же подъем, который он ощутил, одержав победу, то блаженное самозабвенное упоение, размягченность, жертвенность — все это только ложь и тщеславие? А злоба на Эдом, месть Эдому — пустая болтовня, пышные фразы, рассчитанные на то, чтобы поразить рабби Габриеля? Но ведь все это возвысило его, вывело из обычных узких пределов, подняло над самим собой! Ведь он верил, он знал, что в этом правда. А дитя? Значит, если бы ему не показали писем, он предстал бы с этой ложью на устах перед дочерью, веря в эту ложь, и тем самым вовлек бы в ложь и дитя! Нет, нет, это было бы невозможно. Так, значит, когда он решился выступить представителем Иудей, ее мстителем и защитником против Эдома, это было неподдельным, искренним чувством. Уж и тогда оно было подлинным смыслом и рычагом его жизни. Он сын своей матери, а не отца.

Но как объяснить, что блеск и власть — поистине его стихия? Что ж, это вполне законно, это от рождения заложено у него в крови — все должно быть покорно ему! По праву наследства золото и блеск и власть достались ему так просто, пришлось ему точно платье, пригнанное по мерке. Потому-то герцога и влекло к нему, что он по наитию с полным доверием отдавал ему свое сердце. Он сын своего отца. Его право и долг выйти из рядов униженных и презренных, гордо стать на самом виду и

предъявить свои законные притязания на имя, наследие и положение.

Мысли его путались. Как быть? Чего держаться? Золотыми нитями притягивала к себе власть; однако соблазн стоять в рядах презренных манил к себе ласково, но упорно. Заманчиво совсем сбросить броню, но и красоваться в золотых латах — тоже великое искушение и утеха.

Тот сон, что часто грезился ему наяву, возник снова. Ему привиделось, будто он скользит все в том же призрачном танце, герцог держит одну его руку, рабби — другую. А там, впереди, разве то не отец его, фельдмаршал с сорванными эполетами, позвякивает в такт сломанной шпагой и размахивает родовыми грамотами? А тот монах позади, тот капуцин, ведь тоже его отец! Странно, что никак не распознать — сломанная ли шпага или четки висят у него сбоку? Но кто это там впереди с жиденькой бородкой кланяется ему, так смешно подпрыгивая в долгополом кафтане? Должно быть, Исаак Ландауер. Нет, это не Исаак Ландауер, а Иезекииль Зелигман. Он пришел поблагодарить, он отвечает шутовские поклоны, низко приседает и целует полу его кафтана, у него такой комичный и жуткий вид, когда он улыбается изувеченным пыткой лицом и, приседая, метет кафтаном землю.

Усилием воли Зюсс стряхнул с себя сумеречное оцепенение. Надо увидеть мать. Решать сразу нельзя; цифры и расчеты здесь ни при чем. Надо отдохнуть от этих мыслей, опомниться от этих глупых снов, надо поглядеть в лицо матери.

Он направляется к ней, но на пороге его встречает рабби Габриель. Широкое лицо кажется не таким каменным, как обычно, не так глубоко врезаны над приплюснутым носом три борозды, даже суровость его кажется мягче, теплей, человечней.

— Ты, должно быть, собираешься донести на меня? — спрашивает он насмешливо. — Твоя карьера только выигрывает, если ты предашь меня церковному суду за то, что я так долго удерживал в ложной вере христианина по рождению. — И, видя, что Зюсс сделал решительный шаг вперед: — Или ты собираешься свести счеты с матерью? Побранить за то, что она так долго молчала? Поблагодарить за отца-аристократа?

Дикая, безумная ярость закипает в душе Зюсса. Как смеет этот человек предполагать, что он поспешит шмыгнуть под крылышко христианства?

Сколько иронии в его блекло-серых глазах, вззирающих с недоступной высоты, — так смотрит наставник, уличивший своего глупого питомца в нелепой, неискusной лжи. Уж не думает ли он оспаривать его еврейское происхож-

дение, отмести, точно суетный обман, его жертву, его великие чаяния, коварно лишить его священного достоинства?

Его возмущение против рабби, хоть и смутное, было искренне. Впервые он чувствовал, что прав перед ним без всяких уловок, впервые тот издевался над ним без оснований. Исчезла гнетущая скованность, которую обычно он ощущал в присутствии каббалиста, и вот внезапно появилось решение — долго неосознанным таившееся во мраке, возникло ясно и точно как нечто должное, непререкаемое.

Ровным, деловым тоном он сказал:

— Я еду в Гирсау. К Ноэми.

Старик в изумлении рванулся к Зюссу. Лицо прояснилось, и с недоверчивой, но почти добродушной насмешкой он спросил:

— Мстителем Эдому?

Зюсс был невозмутим. Без горячности, убежденно и твердо он ответил:

— Она хочет меня видеть. Я предстану на ее суд.

Рабби Габриель взял его руку. Увидел его лицо. Увидел нечистое, несправедливое, суетное. Но под этим увидел иное. Под кожей, мясом, костями впервые увидел иное, увидел свет.

— Да будет так! — сказал он, и голос его снова звучал сердито. — Поедем, пусть увидит тебя дитя!

Книга четвертая

ГЕРЦОГ

По берегу Тивериадского озера прогуливался с любимым учеником своим, Хаимом Виталем, калабрийцем, учитель Каббалы, рабби Исаак Лурия. Из Мариамского источника напились мужи и выехали на озеро. Рабби говорил о своем учении. Умы их витали над озером, челн не шевелился. Воистину чудо, что он не тонул, ибо тяжесть жизни миллионов лежала на учителе и его слове.

Назад к источнику Мариам возвратились мужи. И напились снова. Тут вдруг струя изменила течение. Она взлетела в воздух дугой из двух отвесных лучей и одного поперечного. Внутрь дуги вступил рабби третьим отвесным лучом. Так из него, вкупе с источником, образовалась буква Шин, зачинающая имя бога всевышнего — Шаддаи. И буква все росла и простиралась над озером и простиралась над миром. Когда ученик Хаим Виталь опомнился от смятения, струя была по-прежнему, но рабби Исаака Лурия не было.

И это среднее звено священнейшей буквы было единственное, что он запечатлел из своего учения. Ибо слова его учения падали с уст его и были точно снег. Вот он здесь, он бел, он сверкает и дает прохладу; но удержать его нельзя. Так падали с уст его слова учения, и удержать их было нельзя. Рабби их не запечатлевал и не потерпел бы, чтобы другой запечатлел их. Ибо запечатленное есть искажение и смерть изреченного. Так и Писание не есть слово божие, а личина и извращение, оно подобно валежнику перед живым деревом. Лишь в устах мудреца оно восстает и оживает.

Однако после исчезновения рабби ученик не мог устоять от соблазна и начертал слова его на бумаге болтливymi лживыми письменами. И так написал он книгу о древе жизни и еще написал книгу о превращениях души.

О, сколь мудр был учитель, что не осквернил познания своего письменами, что не исказил слова свои злыми

чарами букв. Видения его посещал Илия-пророк, сны его — Симон Бен Иохан. И явствен был ему язык птиц и деревьев, и огня и камня. Души тех, кто покоится в гробах, мог видеть он, и души живых, когда они в вечер субботний возносятся к небесам; и еще мог он видеть душу человека по лицу его, брать ее и говорить с ней, а потом отпускать ее к хозяину. Каббала раскрылась ему, ясна стала ему суть вещей, в одном теле видел он и разум и душу; воздух, вода и земля были полны голосов и образов, он видел в мире промысел божий, ангелы являлись ему и вели с ним беседу. Он знал, что все исполнено тайны, но перед ним тайна открывалась и ластилась к нему, как послушный пес. Чудеса цвели на пути его. Дерево Каббалы проросло сквозь него, корни его уходили в недра земли, а крона оведала в небесах лик божий.

Увы, как исказилась эта мудрость в книгах ученика! Дикой порослью сплетались в них глупость и познание. Лжепророки и мессии вырастали из букв, колдовство и сумятица, молитвенный восторг и чудеса, и блуд и дурман власти, и подвижничество изливались из них в мир. Бледный лик Симона бен Иохан глядел из этих букв, и в чаще его серебристой бороды укрывались и спасались мириады праведников и святых, и на письменах тех же книг бесстыдно расцветали голые груди Лилит, и от сосков ее питались, хмелея и лепеча и теряя разум, дети похоти и власти.

А вот слова тайного учения рабби Исаака Лурия Ашкинази:

«Бывает так, что в одном теле человеческом не одна душа осуждена свершать новое странствие, но что две души и даже более соединяются с этим телом для нового земного странствия. Может быть, что одна из них бальзам, другая же — яд; может быть, что одна жила в звере, другая же в священнике и ревнителе веры. И вот они обречены быть едины, принадлежать одному телу, как правая и левая рука. Они проникают и впиваются друг в друга, они взаимно оплодотворяются, они слиты, точно струи воды. И все равно, будут ли они крушить или укреплять друг друга, но, соединившись, души находят помощь себе для искупления вины, за которую осуждены они свершать новое странствие».

Вот слова из тайного учения рабби Исаака Лурия, орла среди каббалистов, что был рожден в Иерусалиме, семь лет отшельником предавался умерщвлению плоти на берегах Нила, принес мудрость свою в Галилею и творил чудеса меж людей, ни разу не осквернив учение свое письмом и бумагой, и тайнственно исчез у Тивериадского озера на тридцать восьмом году жизни.

Князь-епископ Вюрцбургский с приятностью путешествовал по благодатной стране. Откинувшись на мягкие подушки рессорного экипажа, толстяк блаженно вдыхал легкий аромат первого плодового цвета; все вокруг купалось в весеннем солнце, точно нежный пушок покрывала молодая зелень землю, лес, кустарник. Епископ ехал в Штутгарт на крестины наследного принца. Он был в превосходном расположении духа. Что за дивная страна! Богатая, благодатная страна! Теперь она прочно закреплена за католической церковью и Римом.

Фридрих Карл фон Шенборн, князь-епископ Вюрцбургский и Бамбергский, первый из клерикальных дипломатов, превозносимый католиками как величайший в мире оратор, как германский Улисс, поносимый и хулимый протестантами, как коварный змей, как Аман и Ирод, был веселый упитанный мужчина. Отличаясь живостью и светскостью манер, он был как дома при венском и папском дворе, объездил много стран, в силу многообразного опыта питал гуманное презрение к людям, видал благо мира в гуманном абсолютизме, в жизнерадостном католицизме. Чернь тупа, глупа и скучна, так угодно богу, такой создал ее господь, житейская мудрость гласит, что с этим нужно мириться. Очень прискорбно, что на свете столько горя—как же не оплакивать его? Впрочем, достаточно кое-когда вздохнуть над ним; вечно напускать на себя по сему случаю печаль либо в мрачной сосредоточенности помышлять об изменении естественного порядка вещей пристало глупцам и сомнительным мечтателям. Он же, Шенборн, провел лучшие свои годы в Италии, обучался дипломатическим навыкам в Венеции, он любил ясный южный воздух и у себя в Вюрцбурге, по счастью, тоже мог наслаждаться им. Католицизм его был глубоко органичен, он пил и ел, стоял и ходил по-католически. Он видел церковь такой, какой впитал ее всеми своими порами в Италии. Коллекции Ватикана были частицей ее, венецианская дипломатия была частицей ее, даже Альбанские горы были частицей ее. Все, что было прекрасно в мире, а такого, слава богу, немало,—мессы, и храмы, и вино, и произведения искусства, и государственные перевороты, и удачная проповедь, и хорошо сложенная женщина,—все красочное и радостное в мире шло от Рима и католичества. А все тусклое и смутное, туманное и пыльно-серое было евангелическим, саксонским, прусским. Не то чтобы он ненавидел протестантизм, ибо не было ничего в мире, что бы он ненавидел. Но протестантизм откровенно претил ему. Эта скучная, трезвая церковная служба, это бледное, путаное, затхлое вероучение было дурно пахнущей простонародной мудростью и бесплодной болтовней. Сами апостолы, сойди они

нынче на землю, ничего бы не поняли в той материи, о которой спорили так называемые богословы. Дышать было трудно в этой затхлой, пыльной атмосфере. Но—*gloria in excelsis!*¹—веселые швабские доли ныне освобождались от туманной пелены, и он, Фридрих Карл, немало потрудился, чтобы впустить в страну свежий, католический воздух, столь соответствующий ее природе. А сейчас он ехал крестить будущего герцога по обряду истинной веры. Эх, хорошо все-таки устроен мир! Эх, хорошо в нем живет! И он радостно вдыхал теплый воздух, и шутил со своими мудрыми советниками, и раздавал ребятишкам монеты из окна экипажа, и благо-склонно щурился на смазливую служанку трактира. Его тучный живот ублаготворенно колыхался, а от круглого умного лица шло окрест веселое сияние.

Но над страной он всходил, точно кроваво-красный зловеющий диск месяца. Увы, победа, одержанная во время штетенфельзского инцидента, оказалась кратковременным просветом. Теперь стало ясно, что страна окружена кольцом, что плотно пригнаны петли сети. Чего стоили всяческие ограничения и рачительные реверсалии перед дьявольски хитрыми уловками вюрцбургских советников! И даже если бы удалось одолеть их, тщательно, пункт за пунктом опровергнуть их толкование герцогских обязательств, прок вышел бы небольшой; ибо за вюрцбуржцев стояла военщина, стояли штыки герцогской армии. После того как еврей отнял живот и добро, явился католик пожрать душу. Католичество означало отказ от собственной воли, отказ от всех личных и политических свобод. Оно означало военный абсолютизм, удар по всем гражданским доблестям и добродетелям, оно означало разнузданный произвол кучки растленных царедворцев над огромной безответной массой рабов. Католичество означало власть Вельзевула, бессовестный разгул, самовластие, непотребство, бражничество. Страна была подобна гусенице, пытающейся пробить кокон. Но билась она бесплодно. Еврей хорошо подготовил почву, католику оставалось пожать плоды. Запуганные наглым хозяйничаньем чиновников, пинками офицеров-католиков, покорно и тупо жалась по кабакам обыватели, и единственным их откликом на предстоящий приезд вюрцбуржца было бессильное тупое зубоскальство. Дождались! Допрыгались! Но больше ни во что не выливался их гнев, и все они трусливым злопыхательством уподобились теперь свинорылому булочнику Бенцу.

Тайные советники Гарпрехт и Бильфингер оказывали веское и внушительное противодействие замыслам герцо-

¹ Слава в вышних богу! (лат.)

га. Но если им и удавалось кое-что отстоять в делах управления—это мало чего стоило. Они и сами понимали, что главная опасность надвигается с другой стороны—армия последовательно обращается в католичество. И эту угрозу они не властны отвести. Немудрено, что вюрцбургские советники, господа Фихтель и Рааб, невозмутимо и насмешливо проницательным оком следили за тщетными усилиями вюртембержцев и, случалось, даже с иронически учтивым благожелательством делали им некоторые поблажки. Право же, забавно наблюдать, как напрасно выбиваются из сил честные тугодумы протестанты, меж тем как сами господа католики выжидают, чтобы время помогло созреть их планам. Как за апрелем идет май, так за их замыслом неотвратимо должно последовать его осуществление.

Лишь один чувствительный афронт потерпели католики. Парламентский совет одиннадцати воспользовался легким недомоганием Вейсензе, чтобы заменить двоедушного хитреца стойким протестантом и демократом, государственным советником и публицистом Мозером, который столь примерно отличился при штетенфельзском инциденте. И вот теперь эти одиннадцать мужей сидели, злобствовали, неистовствовали, кляли. Бесстрашно и продуманно защищал интересы страны председатель совета Штурм, непотребно и грубо бранясь, ярились бургомистры Бракенгейма и Вейнсберга, патетически разглагольствовал Мозер, и с презрительно мизантропической усмешкой в уголках губ мрачно давал свои заключения законовед Нейфер. Да, Нейфер уже не сидел на ступенях трона. Он увидел, что жестоко заблуждался—власть не мчится ураганом с громом и молниями, все сметая на своем пути; нет, она действует мелкими каверзами, ее орудия—недостойные увертки и убогие лазейки, словом, с ней дело обстоит отнюдь не лучше, чем со свободой. И здесь и там от смрада не продохнуть, и будь то тирания или свобода, самодержавие или демократия—то и другое лишь лоскутное одеяло, мишурная мантия, которой драпируются подленькие, мелкие, ничтожные страстишки и чувства. Так уж лучше вернуться туда, откуда пришел, где твое место по праву рождения. Мрачно, с презрительно-мизантропической усмешкой отвернулся Нейфер от придворных интриг и вновь отдал весь свой вымученный напыщенный фанатизм на служение народу, парламенту и протестантам.

Но был ли протест деловитым, продуманно-веским, как у Штурма, или исполненным мрачного пыла, как у Нейфера, или выливался в площадную ругань, как у бургомистров Егера и Беллона,—плодов он почти не приносил. На многократные обстоятельные претензии,

жалобы, петиции, всеподданнейшие представления парламента из герцогской канцелярии либо отвечали высокомерно краткой отпиской, либо не отвечали вовсе. Зато до парламентариев доходили грубые речи герцога, в которых он грозился послать к ландтагу батальон гренадер, дабы вразумить парламентских каналов, как уже однажды вразумил их один из его предшественников. Неоднократно выражался он в таком духе, что вскоре разmozжит голову этой вероломной и мятежной гидре. Одна из претензий парламентского совета касательно вопроса об опеке была составлена особенно заносчиво и неумно. Получив ее, Карл-Александр пожелал, чтобы тайный советник Фихтель, признанный лучшим знатоком конституционных законов, своим авторитетным словом подтвердил, что никакому ландтагу не дозволено заявлять протесты и возражения в столь оскорбительной для особы государя форме, составитель подобного документа заслуживает того, чтобы ему сняли голову с плеч. Аудиенции представителей ландтага у герцога приводили к таким же плачевным результатам. Грубиянские выпады бургомистра города Бракенгейма однажды довели Карла-Александра до такого бешенства, что он ринулся на невежу, дабы шпагой плашмя поучить его, как подобает вести себя верноподданному; насмерть перепуганному депутату едва удалось улепетнуть.

Так обстояли дела, когда Иоганна Якоба Мозера избрали в совет одиннадцати на место Вейсензе. Он был самым молодым членом совета, но, хотя ему едва перевалило за тридцать, он немало насмотрелся на своем веку; вспыльчивый, самонадеянный, обуреваемый авантюрной жаждой перемен, любитель трескучих фраз и патетических жестов, бойкий писака и страстный полемист, этот неутомимый человек с юных лет набивал себе голову множеством разнообразных знаний. Семнадцати лет от роду он уже печатал полемические статьи, в девятнадцать умудрился так поразить герцога Эбергарда-Людвига своей бойкой, самоуверенной сметливостью, что был назначен экстраординарным профессором в Тюбингенский университет. Двадцати лет пристроился к венскому двору, получил звание государственного советника и успел втереться к самому императору. Во избежание сплетен его отозвали в Вюртемберг. Но с этим твердолобым честолюбцем не было никакого сладу, вскоре он уже очутился в Пруссии, стал ректором провинциального захудалого университета во Франкфурте-на-Одере, очень быстро оставил эту неблагодарную должность и при Карле-Александре возвратился в Штутгарт. Все эти годы он строчил и говорил беспрерывно целыми каскадами, не было темы, злободневной или всемирно-исторической, на

которой он не испробовал бы свое красноречие и перо. При этом у него, поначалу скептика, а затем деиста, хватило досуга предаться пиетизму и встать в ряды Лютеров, Арндтов, Шпенеров и Франке.

Своим стремительным и дерзким вмешательством в штетенфельзский инцидент он привлек к себе всеобщее внимание и отныне считал себя призванным спасти Вюртемберг. Полагаясь на свой ораторский дар, он решил прямым путем пойти к герцогу, как пророк Натан к Давиду, и настойчиво, убедительно воззвать к совести государя, к его человеческим чувствам. Уверенный в могущественном воздействии своей личности, он испросил себе аудиенцию и в превосходном расположении духа, вооруженный всеми своими публицистическими, юридическими и пророческими навыками, отправился к герцогу, взвинтив и настроив себя на высокий лад, как актер перед выступлением в удачной роли.

Но аудиенция обернулась самым неожиданным образом. Карл-Александр принял его в присутствии Зюсса. Мозер не смутился этим обстоятельством. Он говорил с воодушевлением, научно обоснованно, приводил нравоучительно-богословские аргументы, примеры из священной, а также древней и новой истории, сочетал доводы государственной законности с доводами житейской справедливости, черпал сравнения из мира природы—словом, сам находил себя неотразимым. Герцог и еврей слушали внимательно; более того, когда Мозеру, в пылу красноречия шагавшему взад и вперед, попало на дороге кресло, герцог собственноручно отодвинул его, чтобы тот не споткнулся. Но когда оратор после двадцатиминутной речи остановился, поднял картинным жестом руку, герцог похлопал его по плечу и сказал одобрительно:

— Если ребенок, которого ждет герцогиня, будет мальчик, преподавать ему риторику придется тебе.

Зюсс же сделал ряд замечаний по поводу различия между принципами немецкой и французской декламации. И когда Карл-Александр, ухмыляясь, отпустил вспотевшего, огорошенного оратора, тому оставалось только мысленно возопить: «Несчастливая страна! Несчастное отечество! Даже я бессилен помочь тебе».

Таким образом, у вюрцбургского князя-епископа были все данные для наилучшего настроения, когда он въезжал в Штутгарт. Обстоятельства складывались столь благоприятно, что крестины швабского наследника означали победу католического дела не только в пределах Вюртемберга. В связи с этим обряд крещения был совершен весьма торжественно при большом стечении представителей католических династий и аристократических родов. Сам папа по этому случаю послал герцогине через своего

легата рыцарский крест Мальтийского ордена. Только две дамы, кроме нее, имели этот крест — испанская королева и римская княгиня Учелла.

Мария-Августа грациозно покоилась на гигантской парадной кровати, тонкое личико ее стало совсем прозрачным. Амулет Зюсса с первобытными грозными птицами и массивными зловещими буквами лежал у нее под подушкой, невзирая на запрет духовника; она лукаво улыбалась, представляя себе, как бы злобствовал патер, знай он об этом. Она была твердо убеждена, что спас ее только амулет, ибо разрешение от бремени было длительным и тягостным. Теперь, когда роды прошли, она очень боялась, как бы фигура ее не была испорчена надолго, и медикам, доктору Венделину Брейеру и доктору Буркхарду Зеегеру, приходилось без конца заверять ее, что ни единая отметина или складка не будут порочить тело ее светлости. Но скорее чем врачам верила она уговорам бабки Барбары Гольц, которая с крайним апломбом подтверждала слова врачей, ссылаясь на свой богатый опыт. Вообще же Мария-Августа находила положение весьма комичным. Она с любопытством разглядывала человечка, которого произвела на свет. Итак, она — да! да! она — подарила стране наследника, и она с не меньшим любопытством созерцала самое себя в зеркале, оправленном в раму чеканного золота: значит, теперь она в полном смысле слова мать отечества. Курьезно, очень курьезно.

Карл-Александр еще толком не знал, как себя вести; он засыпал жену подарками без особого разбора, проявляя больше добрых намерений, чем хорошего вкуса. Когда герцогине разрешили принимать посетителей, она переводила томный взгляд с Ремхингена на Риоля, наслаждаясь замешательством мужчин, непривычных к детям и с трудом выжимавших из себя восторженные замечания по поводу августейшего младенца.

А князь-епископ Вюрцбургский совершил обряд крещения над наследным принцем Вюртембергским и Текским, наследным графом Мемпельгардским, наследным графом Урахским, наследным сеньором Гейденгеймским и Форбахским и прочая и прочая, и нарек его именем Карл-Евгений.

Пушечная пальба, колокольный звон. Парадный банкет, фейерверк. За поздравление потчуют жарким, за благие пожелания — вином. И как ни клял народ наследного принца-католика, к середине дня от жаркого не осталось ни кусочка, а в бесчисленных бочонках — ни глоточка вина.

Зюсс держался совсем в тени все время празднеств. Прежде он любыми способами подлаживался к вюрцбургскому епископу и его свите, теперь же как будто

намеренно избегал их. Бюрцбургские дипломаты и военные всецело завладели католическим проектом, лежавшим отныне в основе швабской политики. И если раньше господа католики готовились всеми возможными хитростями и уловками отстранить финансоводиректора, то теперь им пришлось убедиться, что он сам, как это ни странно, уклоняется от всего связанного с этим вопросом.

Теряясь в догадках, они искали тут подвоха и подозревали, что еврей воздействует прямо на герцога. Но и у Карла-Александра Зюсс не показывался без зова. Герцог все еще не мог простить еврею, что, вмешавшись по его милости в эслингенскую историю, навлек на себя насмешки всей империи, и при встречах либо вовсе не замечал Зюсса, либо всячески показывал свое раздражение и досаду, а тот, против обыкновения, держался невозмутимо и независимо и даже не пытался вновь завоевать доверие государи.

В своей деятельности он строго ограничивался управлением финансами.

Прежде он, на правах финансоводиректора, проверял каждый винтик правительственного механизма, ибо все так или иначе связано с деньгами; теперь же он отклонял почти все, что предлагали ему на рассмотрение, как непричастное к его ведомству. Государственные мужи поглядывали на него с недоверием, стараясь разнюхать его скрытые коварные побуждения, и ежились в страхе, как бы такое подчеркнутое бездействие не оказалось подготовкой к неожиданному наскоку.

На сей раз, правда, уход еврея от дел не сказался, как было однажды, задержкой притока денег, и за это герцог мог благодарить курпфальцского советника, дона Бартелеми Панкорбо, которого теперь почти не отпускал от себя. Тощий португалец с сизо-багровым костлявым лицом звериной хваткой впивался во все, что выпускал из рук Зюсс, неумолимо, будто до скончания веков, завладевал каждым местечком, которое освобождал тот, жадно пожирал все, что не успел поглотить Зюсс. Трудным, крайне сложным и разветвленным финансированием католического проекта он ведал почти единолично; а в связи с этим к нему перешел и верховный надзор за государственными делами.

Да, он вторгся в сферу, непосредственно подлежащую ведению Зюсса. Так, например, обстояло дело с табачной монополией. После ряда неудачных попыток некая еврейская компания открыла наконец в Людвигсбурге табачную фабрику. Предприятие это пользовалось особым покровительством Зюсса и было поставлено на широкую ногу, филиалы его имелись не только в Штутгарте, Тюбингене, Теппингене и Бракенгейме, но и за

пределами страны. А в Курпфальце табачная монополия принадлежала дону Бартелеми Панкорбо, и он, как знаток этого дела, нашептал герцогу, что с евреев слишком мало взимают в казну за монополию, и предложил вносить больше. Зюсс уступил без боя при первом же нажиме, с большим для себя уроном удовлетворил притязания еврейских компаньонов и отдал образцово налаженную фабрику озадаченному и злорадствующему португальцу.

Зюсс усмирил и светский вихрь, который вился вокруг него. Теперь случалось, что он затевал любовную интригу и обрывал ее, соскучившись и утомившись прежде, чем достигнуть цели. Среди бесчисленных женщин, деливших его ложе, покинутых и в большинстве своем позабытых им, иные подхватывали любую клевету, марававшую его; иные хранили пережитое в памяти как нечто запретное, щекочуще-сладостное, точно украшение, которым — увы! — можно любоваться перед зеркалом, лишь запершись на ключ, и эти молчали, если заходила речь о нем; иные стояли на его дороге, когда он проезжал мимо, улыбались, не отводя глаз, стояли, пока он не исчезал из виду, не пеняли на него за то, что он так скоро бросил их, не уставали мысленно благодарить его за краткие часы счастья и, как драгоценный дар, берегли в памяти слова, которые он говорил бог весть скольким из них и которые сам давно успел позабыть.

В ту пору у Зюсса раскрылись глаза на его слугу и секретаря Никласа Пфевле. Он всегда хорошо относился к медлительному, неустоимому, хладнокровному толстяку, как относятся обычно к таким исключительно полезным, надежным слугам. Но что у этого слуги, помимо полезности и надежности, есть и другие свойства, что у него есть побуждения и переживания, независимые от его господина, это теперь впервые стало понятно Зюссу.

Он почти не изменил своего обращения с Никласом Пфевле. Совершенно невозможно и даже невыносимо было бы заговорить с бледнолицым толстяком о чем-либо, не относящемся к делу. Но тон его стал другим, взгляд стал другим, отношение стало теплее, человечнее.

И кобыла Ассиада чуяла, что господин ее другим человеком сидит на ней. Быть может, не гарцевал он теперь так величаво, как прежде, быть может, в народе проводали, что его рука не одна держит кормило власти; но только кобыла Ассиада чуяла, что она для него теперь не просто вещь, как его кафтаны, украшения, домашняя утварь; нет, теперь он видит ее глаза и сознает, что единая жизнь струится в нем и в ней.

Вскоре после происшествия с табачной монополией, в то время как в Штутгарте и Людвигсбурге велась лихорадочная подготовка к осуществлению католического проек-

та, шел сговор с другими католическими дворами и государями, заключались военные соглашения и делалось все возможное, чтобы очернить парламент перед императором и всей Германией, а также умиротворить протестантские дворы, в то время как Панкорбо, в поисках новых денежных источников, все глубже внедрялся в области, подвластные Зюссу, он — этот непостижимый человек — внезапно совсем устранился от дел, испросил себе отпуск, поручил хранение всех ценностей Никласу Пфевле и один, без провожатых, покинул столицу с неизвестными намерениями.

Он поехал в Гирсау. В этом непривычно одиноком путешествии он самому себе рисовался необычайно благородным и возвышенным. Подумать только, что единственным словом, одним признанием он мог окончательно привлечь на свою сторону герцога, самому стать центром католического проекта, а злобных, радостно зубоскаливших соперников отшвырнуть в сторону. Подумать только, что он просто разжал руки и точно мусор выбросил великими трудами завоеванную, ни с чем не сравнимую, для всех на свете вождеденную цель. До чего он благороден, до чего далек от мирской суеты, до чего бескорыстен! Он постарался придать лицу выражение суровой отрешенности и жреческого бесстрастия, он приневолил свое ловкое, изящное тело к величавой медлительности, а крылатые, беспокойные глаза к задумчивой грусти.

Если прежде он для своих посещений выбирал время, когда каббалист отсутствовал, то теперь он стремился встретиться с ним. Самозабвенная преданность девочки казалась ему естественным, почти заслуженным ответным даром судьбы. Хотя лицо, голос, повадки отца уже при первом его посещении показали Нозми, сколь пусты и шатки наветы магистра, она была теперь несколько смущена его новым обликом. Она видела в отце Самсона, сокрушающего филистимлян, Давида, сокрушающего Голиафа. Новый его облик не совсем подходил к этим представлениям, и пусть мимолетно, но назойливо на передний план, дразня и угнетая, выступало другое лицо, лицо Авессалома, чьи пышные волосы запутались в ветвях, а черты сливаются с чертами отца.

Зюсс был глубоко уязвлен, что каббалист не оказывает ему того уважения и почтения, какого он теперь, казалось бы, заслуживал.

— Ты понял, что должен искать правильный путь, — сказал ему однажды рабби Габриель. — Это уже немало. Но пути ты пока что не нашел.

В тиши белого домика с цветочными клумбами Зюсс вернулся мыслями к судьбе своего отца, обдумывал ее,

разглядывал со всех сторон. Прежние сомнения осаждали на досуге его беспокойную душу. Если он объявит себя христианином по отцу, кто посмеет его осудить? Разве он не убедительно доказал, что умеет смиряться? И разве этот искус не дал ему права восстать из смирения к величию, подобающему ему? Что, если он перережет веревку, которая тянула его вниз, к отверженным, едва он поднимался хотя бы на одну ступень? Что, если он стряхнет с себя грязь и брезгливое презрение толпы, которые облепляли его, потому что он был евреем? Что, если он возьмет за руку свое прекрасное дитя, как арабский калиф откинет маскарадные лохмотья и во всем блеске, так что врагам его будет не до зубоскальства, предстанет перед ними не только первым среди них по дарованиям, нет, равным им, как христианин и аристократ от рождения?

Тюльпаны величаво обступали его мечты, как ослепительно белый кубик стоял дом. Мимолетной тенью мелькали за его мыслями замысловатые очертания магических фигур, массивные еврейские буквы, схематическим силуэтом вырастал небесный человек, цвело каббалистическое дерево.

Его отец... Жил в славе, докатился до позора, умер в монастыре. Да, счастье покинуло его, жизнь оттолкнула от себя, удача изменила. Что оставалось ему, как не погнаться за спасением души? Кому не было удачи, тому приходилось прятаться от мира, углубляться в себя. У него, Зюсса, дело обстоит по-иному. Удача ему благоприятствует. Жизнь покорно ластится к нему.

Он встрепнулся. Перед ним стоял дядя. Неужто он накрыл его? Вот соглядатай, вот шпион, который ловит каждую мысль, чтобы потом корить ею человека. Увы, так беспечно, как прежде, ему больше не жить. Осуществи он то, на что имеет полное законное право, объяви себя христианином, он всегда, как озноб по спине, будет ощущать леденящее презрение этого смешного, дурно одетого старика. Ах, хорошо бы жить по-прежнему! Принимать каждый день таким, каков он есть! К чему эти нелепые, ненужные колебания? Только бы вытравить из жил ядовито-приторный гнилостный соблазн, гнездящийся в этом доме, соблазн потустороннего мира, смирения и отречения.

Пришла Ноэми. И он сразу укрылся под личиной умиротворенности и бесстрастия.

Пока он метался между вымученным, кичливым смирением и лихорадочной жаждой деятельности и почестей, неожиданно явился Никлас Пфевле. Сообщил, что назначенная герцогом комиссия опечатала счетные книги и наличность Зюсса, чтобы произвести ревизию. Финанцди-

ректор заподозрен в грандиозных жульнических аферах, как частных, так и по службе; отдан приказ начать уголовное следствие.

Враги Зюсса воспользовались его отсутствием для решительного натиска. Друзей, на которых он мог бы положиться, у него почти не осталось. Начальник дворцовой канцелярии Шеффер и тайный советник Пфау открыто примкнули к военно-католической партии и публично нападали на него. Управляющий коронным имуществом Лампрехтс забрал своих мальчиков, состоявших у него пажам, под предлогом, что они уже вышли из такого возраста. Ремхинген, оба Редера — генерал и майор, полковники Лаубски и Торнака, камердинер Нейфер непрерывно наговаривали герцогу на еврея. Из приближенных герцога только Бильфингер и Гарпрехт не участвовали в травле. Посланцы иезуитов претили им еще больше, чем еврей.

А дон Бартелеми Панкорбо с давних пор пристально следил за зюссовской торговлей драгоценностями. Он доложил герцогу, что все покупки на ювелирном рынке еврей делает от имени герцога. Но дело в том, что цены на драгоценные камни весьма неустойчивы; когда они дешевеют, Зюсс, случается, год спустя объявляет скупленные по дорогой цене камни собственностью герцога; когда они дорожают, он мигом делает их своей собственностью. Таким образом весь риск и все убытки еврей сваливает на государя, а весь профит прикарманивает сам. Однако, к великой досаде португальца, Карл-Александр оставил его разоблачения без внимания; лишь равнодушно заметил, что Зюсс на то и еврей; впрочем, в дальнейшем надо будет последить за ним. Делать отсюда какие-либо серьезные выводы он отнюдь не собирался.

Как ни странно, но самое безобидное мероприятие Зюсса помогло его врагам подкопаться под него. Финанц-директор издал приказ, согласно которому чистку печных труб берет на себя городское управление и за это со всех обывателей взимается соответствующий налог. Это распоряжение вызвало смех и недовольство, а камердинер Нейфер подсунил Карлу-Александру живо состряпанный пасквиль — листок с мерзкими иллюстрациями и заголовком: «Всепогоднейший благодарственный адрес всех вкупе ведьм и чертей его иудейскому сатаничеству еврею Иозефу Зюссу Оппенгеймеру, составлен и вручен прабабкой всеобщей полуночной компании, Эндорской цыганкой». В то время как герцог читал этот листок, старые видения встали перед ним. Ему привиделось, будто он скользит все в том же таинственном, подневольном танце, он слышал скрипучий, сердитый голос мага, он слышал, да, физически слышал его молчание, видел, как невыска-

занное надвигается на него многоруким, безликим чудовищем. Он хотел вырваться из окаянных колдовских пут. Зачем он держит при себе еврея? Сколько он терпит из-за него насмешек и неприятностей! Побагровев, пыхтя, сильно припадая на одну ногу, зашагал он взад и вперед по кабинету. Он с ним разделается, с шельмой, с жуликом, и с его плутовскими и колдовскими фокусами. Охрипнув от бешенства, продиктовал он приказ о ревизии и точной проверке книг и счетов финансов директора.

И засуетился начальник канцелярии, и засуетились генералы, и засуетился португалец, высовывая из брыжей сизо-багровое лицо и словно нацелясь клонуть ястребиным носом. Ревностно засели за дело ревизоры, потели, корпели, приглядывались, нацепив очки, скрипели перьями по бумаге. Вычисляли, выискивали, вынюхивали. Возводили колонны цифр, целые чащи цифр. Рассыпали их и снова собирали. Корпели, глазели, потели.

А между тем, загоняя и меняя на каждой станции коней, мчался в Штутгарт финансов директор. Это следствие против него, этот подкол и удар были ему знамением. Счастие, рок хочет, чтобы его ловили, брали силой. Надо держаться за него всем существом, надо неотступно стремиться к нему всеми чувствами, всей волей, а не то оно отступится и отлетит. Если бы штутгартская шатия не почуяла его усталости, никогда бы она не отважилась на такое дерзкое и открытое нападение.

Поэтому он, под непосредственным впечатлением от вестей Никласа Пфевле, стремительно пустился в путь. Уже он не видел широкого окаменелого лица дяди, уже не помышлял о том, насмешка или скорбь глядит на него из блекло-серых глаз, торопливо и небрежно стер из памяти грусть дочери. Об одном лишь помышлял он, поспешая верхом, в экипаже, одно лишь обдумывал со всех сторон: как быть? как теперь быть?

То, что проделали его противники, было вопиюще глупо. Каким же ослом надо его считать, чтобы надеяться найти хоть малейшую неисправность в его счетах. Что за чурбаны эти гои—ни нюха, ни чутья! Зюсс невольно усмехнулся: ну нет, он им не сродни.

Он быстро прикинул. Найти им ничего не удастся. Как же они тогда поступят? Признаются, что были к нему неправы? Ни за что! Скорее ухватятся за какую-нибудь дурацкую формальность и мягко поставят ему на вид высосанную из пальца погрешность в делопроизводстве. Более крутые меры, надо полагать, не входили в планы и самого Карла-Александра. Решено было проучить его, чтобы он не слишком зазнавался. Итак, дело ограничится легким порицанием. Пожалуй, разумнее всего будет с виду признать правоту герцога, который и не думает

гневаться всерьез, молча выслушать его отеческое наставление, зато потом крепко прибрать к рукам все дела, сторицей отплатить противникам и любыми способами вмешаться в осуществление католического проекта.

И вот уже опять встал роковой вопрос: почему бы сразу не козырнуть своим происхождением? Нет, нет, все это было бы к лицу прежнему Зюссу. Теперешний, преисполненный смирения и отрешенный от мира, должен вести себя по-иному. Конечно, наглое вторжение противников в его дела было знамением и указанием свыше. Но он не из таких, чтобы позволить судьбе испытывать себя. Не тут-то было! Он сам вырвет у рока его загадку, заставит поднять плотно сомкнутые веки.

Решение твердо сложилось у него, когда загнанные лошади были уже в виду столицы. Каждый шаг его пути, каждое слово, которое он произнесет, лежали перед ним как на ладони. Не умом возьмет он, не деловитостью, не дипломатией. Он примет вызов судьбы. Пойдет к герцогу просить отставки. Даст ее государь—что ж, такова воля рока. Он смирится, поселится в уединении, уйдет от мира, как его отец. Если же герцог его не отпустит, тогда—о, тогда—мстителем, врагом будет он жить отселе. Дорогой ценой заставит заплатить за свое унижение. Схватить врагов за горло! Зажать! Сдавить! Придушить!

При дворе ожидали, что Зюсс будет защищаться увертливо, речисто, по-адвокатски; либо начнет припоминать свои заслуги, патетически отстаивать свою невинность; либо разъярится, разбушует. Ничего похожего. Спокойно отправился он к герцогу. Ни словом не возразил на бешеные выкрики и град попреков. Лишь когда герцог остановился перевести дух, он в сдержанных, продуманных выражениях попросил об отставке. В возмещение случайных просчетов он оставляет все свое недвижимое и движимое имущество. Когда герцог, сперва онемев, а затем, заикаясь от злости, разразился неистовой бранью, он вежливо и невозмутимо повторил свои слова.

Видя, что Карл-Александр, хромя, с занесенной рукой устремляется на него, он ретировался, но напоследок повторил, что просит возможно скорее удовлетворить его тщательно продуманное всепокорнейшее ходатайство.

Тут призвал к себе Карл-Александр обвинителей. Сдавленным от бешенства голосом спросил, могут ли они предъявить доказательства. Хрипя, излил на запинающихся, отпирающихся дрожащих людей потоки нецензурной, грязной, площадной ругани. У еврея больше ума в заднице, чем в их напичканных дрянью головах. Ему самому непонятно, как он мог поддаться на их нелепые наговоры, подсказанные бессильной завистью и оголтелой злобой. Еврей ему куда милее, чем они—безмозглые

христианские плуты. Серdito, без единого слова отослал он Зюссу его бумаги вместе с богатым презентом и дарственной на обширные поместья. Слияв от страха, забились по углам враги. Почти без борьбы вернул себе Зюсс утраченные позиции. От католического проекта он по-прежнему держался в стороне, зато мертвой хваткой впивался там, где дело касалось его интересов.

И вот он восседал, облеченный прежней властью, натягивал поводья, и всякий в герцогстве чувствовал его руку. Все происшедшее за время его отсутствия было пересмотрено, исправлено. Распоряжение об очистке дымовых труб, которое успели отменить, теперь было окончательно узаконено. Летучие листки исчезли, только булочник Бенц в нужнике «Синего козла» показывал своим приятелям благодарственный адрес полуночной компании его иудейскому сатаничеству. А управляющий коронным имуществом Лампрехтс снова отправил сыновей на службу к еврею; он одумался — они еще не слишком велики, чтобы быть пажам.

Таким образом, с виду положение Зюсса в Штутгарте было прежним. И снова он погрузился в шумную суету светской жизни. Только сам он держался более властно, не так предупредительно. Он позволял себе ядовитые, злые шутки и не давал спуска, когда потешались на его счет. Генерала Ремхингена, который принялся как-то по своему обычаю грубо издеваться над его происхождением, он оглядел с ног до головы и с головы до ног, и, когда у генерала под его загадочным, пристальным, угрожающим взглядом пропала охота зубоскалить, еврей, в свою очередь, рассмеялся в лицо генералу жестоким и жутким смехом.

Мария-Августа с огорчением отметила, что ее придворный еврей уже далеко не так мил и забавен. Увы, и многое другое стало менее забавным!

Отношения между герцогом и Зюссом тоже изменились. Карл-Александр очень много времени проводил с ним, щедро расточая ему свое благоволение, дабы искупить недавнюю несправедливость. Однако про себя он часто думал, что хорошо бы избавиться от еврея. Но ничего не предпринимал в этом направлении, оправдываясь тем, что еврей слишком много знает и может ему порядком насолить; да и глупо выпускать его из страны, когда он до такой степени отъелся и разжирел на ней. Он сам себе не признавался, что его связывает с евреем и одновременно отталкивает от него более властный и таинственный внутренний голос.

И теперь случалось, что у Зюсса внезапно опускались руки, он погружался в себя, застывал, точно скованный, чуждый всему. И тогда из угла, куда его загнали,

высовывал обтянутый кожей череп дон Бартелеми Панкорбо и острым взглядом из-под морщинистых век впивался в солитер на руке еврея. Шурился, протягивал к добыче крючковатые пальцы, точно когти хищника. Но теперь он стал очень осторожен и довольствовался тем, что высматривал и нащупывал.

Мария-Августа, обнаженная, стояла перед зеркалом, потягивалась и озидала себя. Тревожно, тщательно, черту за чертой, одну часть тела за другой. Вздохнула с облегчением, улыбнулась. Нет, нет, она не изменилась, она не изуродована. Она по-прежнему свежа, гибка и стройна. Маленькими пухлыми ручками она трогала, ощупывала свое тело. Оно было по-прежнему мягким и все же упругим. Томными с поволокой глазами пристально и беспристрастно разглядывала она в зеркале свое пастельное личико. Тяготы долгой беременности, адские муки родов не оставили по себе ни единой отметинки, ни единой морщинки. Ясный, безупречно гладкий лоб покато выступал из-под блестящих черных волос, ни единая складка не прорезала щек и не спускалась к ярко-красным губам. И обнаженная женщина обрядовым жестом не то жрицы, не то вакханки подняла руки под углом к голове, так что обнаружились темные завитки под мышками, и, улыбнувшись влажным ртом, изгибаясь, точно в пляске, прошлась по комнате. О, она еще струится по земле легким ручейком, тело еще покорно ей, а движения непринужденны и гармоничны. И она плавно потянулась, улыбка обозначилась явственнее. И день открывался перед ней лучезарный и беспечный.

Но в следующую ночь тревога вновь подкралась к ней, навалилась, сдавила, перехватила дыхание. И на другой день она еще дольше стояла перед зеркалом, еще дольше изучала каждый изгиб своего тела, упругость мышц и гладкость кожи. Болезненный, панический страх перед старостью томил ее. Страшно подумать, что волосы ее поседеют, кожа сморщится, мышцы станут дряблыми. И она будет ковылять через силу, кашлять, харкать. Мужчины будут рады поскорее отделаться от обязательного поцелуя руки и официальной беседы, женщины перестанут ей завидовать. Глаза ее туманились, когда она думала об этом, она была отравлена этими мыслями.

Едва ей приходило на ум, что ребенок ускорил ее увядание, как она начинала злиться на младенца. Он был ей чужд, он совсем не был частью ее, непостижимо, как могло это существо вырасти в ее чреве. А ребенок родился крупный, здоровый, от отца он унаследовал большой нос, оттопыренную нижнюю губу; и при этом

казался миловидным и смущенным. По общим уверениям, ребенок был очень к лицу Марии-Августе и она в роли матери весьма авантажна и умилительна, но сама она не находила в себе более глубокого чувства к младенцу, чем к экзотическому карликовому пинчеру, который, как она знала, являет премилое зрелище, когда выглядывает из-под подола ее широкой робы.

День ее по-прежнему был до краев полон пестрым, шумливым весельем. Но сама она стала беспокойней и раздражительней. Господин де Риоль понемногу прискучил ей, его едкое острословие уже не находило в ней отклика, еврей тоже стал менее забавен и не так покорно следовал любой ее причуде. Ремхинген и его неуклюжие сальности просто опротивели ей. Зато она теперь привлекла к своему кружку депутата Иоганна Якоба Мозера и всеми силами пыталась стать Омфалой этого видного мужчины и самовлюбленного оратора.

Для государственного советника это было большой удачей. Хотя у герцога и Зюсса достало благородства, не делясь с посторонними, про себя насладиться его поражением, однако его честолюбие потерпело тяжкий афронт. Теперь, в лучах милости и благоволения герцогини, он воспрянул, точно поникший колос в ясную погоду. Черт подери! Какой же он молодчина, если сама Мария-Августа, чья красота славится по всей Европе, первая дама в Германии, ему, противнику, так откровенно показывает свое расположение. Мелкие парламентские душонки, должно быть, негодуют, как это он, демократ, великий тираноненавистник, столь охотно бывает при дворе. Но пускай тупицы думают что хотят: он чувствует себя подлинным Улиссом, способным устоять против швабской Цирцеи.

Итак, он, великолепный, самонадеянный гордец, боялся упустить каждый час, который ему было дозволено провести у герцогини. Он присутствовал на утреннем приеме, в то время как она принимала ванну, он сидел на деревянной крышке, над которой выступала только ее голова. Он разглагольствовал бойко, с неизменным пафосом. Большие глаза его сверкали на тяжелом лице цезаревского типа, шпага ритмично раскачивалась, слова непрерывным потоком лились с уст. И в пылу красноречия этот швабский Демосфен так потрясал своей крупной головой, что пудра осыпалась с парика. Он ораторствовал перед герцогиней на любые темы, читал ей статьи, предназначенные для газет, и более объемистые опусы и брошюры по теологии, юриспруденции и политической экономии, трактаты по вопросам дня, а также по эстетике, ботанике, минералогии; ибо Иоганн Якоб Мозер был большой эрудит. И все он излагал с одинаковым жаром и

с глубоким выражением. Обычно Мария-Августа слушала не очень внимательно; пока он говорил, она была поглощена своей куафюрой или маникюром и даже читала «*Mercure galant*», часто она не могла бы сказать, читал ли он по-немецки или по-латыни. Но равномерный шум, который столь виртуозно производил новый Цицерон, ласкал ей слух, кроме того, ее забавляло созерцание статной, подвижной фигуры этого самозабвенного фигляра и приятно щекотала мысль, что такой демократ и враг государей, наперекор своей воле, с юношеским пылом и скрежетом зубным влюблен в нее. Порой, когда он устремлял на нее восхищенный и настойчивый взгляд своих больших туповатых глаз, она отвечала ему долгим, уклончивым взглядом и смеялась, видя, как он краснеет и прерывисто дышит. Он же, возвратясь домой, обстоятельно и многословно рассказывал жене о красоте герцогини и ее явном благоволении к нему, меж тем как его сердце прикрито тройной броней. И, упав на колени, он вместе с женой пламенно и весьма складно молился богу о ниспослании ему силы в случае чего бежать, оставив одежду свою в руках герцогини.

Из женщин Мария-Августа по-прежнему отличала своей дружбой одну Магдален-Сибиллу. Ей она льстила и, ластясь, обращалась к ней, как глупенькая младшая сестренка к всезнающей старшей сестре. Ах, какая Магдален-Сибилла умная и рассудительная, какое у нее знание жизни и чуткая совесть! В ее собственной головке мысли порхали пестро и сумбурно, точно яркие мотыльки, и все пережитое мигом улетучивалось, не оставляя следов. А Магдален-Сибилла бережно хранила в памяти все слова и события, обдумывала и усваивала их, проникалась ими. Потому и была она богата опытом и знанием, а сама герцогиня казалась перед ней несмышленным ребенком, хоть и носила корону и с полным правом звалась матерью отечества и даже была пожалована мальтийским крестом.

Магдален-Сибилла относилась к ней со сдержанным дружелюбием, силясь, насколько возможно, вникнуть в это неуловимое, непостоянное создание. Правда, порой ей становилось страшно при виде такой порхающей беспечности. Существует ли эта непостижимая женщина, живущая лишь во имя своего обожаемого тела, которую ничто не трогает, ни муж, ни ребенок, ни страна, существует ли она в действительности или она призрак, сотканный из воздуха, мираж, бездушная, красочная тень?

Рослая девушка со смелым очерком смуглых щек вдруг ощутила усталость. Померк глубокий блеск синих глаз, неправдоподобно необычных при темных волосах, по-женски плавными и вялыми стали движения крепкого

тела. Она утомилась борьбой, перегорела, утихла и уже не склонна была яростно возмущаться и негодовать.

Она прошла через самоотречение и экстаз евангелического братства, ей были вняты слова и смысл Писания, она зрела бога, апостолы садились у ее постели и вели с ней беседу. А потом она увидала в лесу дьявола и, вспыхнув священным огнем, пустилась в путь, дабы одолеть лукавого. А тут явились герцог и еврей, затопили потоками грязи и опустошили ее сад. Все цветы и плоды, деревья и побеги заглохли и прогнили, а когда вода сошла, не осталось ничего, кроме мокрого бесплодного ила.

А затем подоспело объяснение с Зюссом. Несмотря на первое разочарование, она смотрела на него как на великое животворящее светило и всем существом раскрывалась ему навстречу, каждой клеточкой тела и души, с безоговорочной, беспредельной преданностью тянулась к нему. Но он был тем светилom, которое не греет, которое сурово, безжалостно и неприступно свершает свой путь. Все силы душевные она положила на то, чтобы его постичь, и, покоренная им, лучше чем кто-либо разгадала сложность его натуры, увидела, как он одинок, почувствовала его борьбу, поражение, временное бессилие и новый подъем. Но страсть ее, как затаенная, так и открытая, не встретила отклика; он держался с ней учтиво, доверчиво и дружелюбно, только сладострастный пыл в нем угас.

На этот раз она не впала в отчаяние: она примирилась. И продолжала идти своим унылым, безрадостным путем. Она рассуждала ясно, трезво и хладнокровно; ей бы следовало стать хозяйкой крупного поместья; дворянин-землевладелец, не чуждающийся света, но проще и уверенней чувствующий себя в деревне среди своих крестьян, был бы ей подходящей парой. Но злая звезда увлекла ее на ложную стезю. И сама она тут не без вины: Вельзевул не является незванным. Если бы она не томила по нем в потаенных глубинах души, он бы ей не привиделся тогда в лесу. Как бы то ни было, поздно помышлять об этом. Она обречена участвовать в придворной жизни, которая представляется ей бессмысленной суетливой возней пестрых зверей, а единственный человек среди них, к кому ее влечет тысячью нитей, теперь из-за своей доверчивой дружелюбной учтивости стал ей, увы, куда более чужд, чем был когда-то дьявол в Гирсауском лесу.

Теперь она чаще ходила к слепой Беате Штурмин. Святая уж не была в ее глазах глупой старой девой; собственное одиночество и тишина, в которой замкнулась она сама, казались ей менее гнетущими в присутствии умиротворенной, благочестивой и по-своему мудрой жен-

щины. Здесь она порой почти физически ощущала эту тишину, как мягкий и теплый плащ.

У Беаты Штурминя она нередко встречалась с городским деканом Иоганном Конрадом Ригером, лучшим проповедником в Штутгарте, и с его младшим братом, Эмануэлем Ригером, советником экспедиции. Иоганн Конрад, проповедник, не мог сдержать свое необузданное красноречие даже в мирной обители слепой. Человек он был незлобивый и честный, но к чему зарывать в землю талант, дарованный ему милостью божьей? И он расстилал перед слушателями, дабы усладить их, красивые, полнозвучные слова, точно драгоценный бархат. Магдален-Сибилле словоохотливый пастор напомнил Иоганна Якоба Мозера, которого она иногда встречала у Марии-Августы, и однажды она простодушно и без всякой похвалы упомянула о публицисте и его ораторском искусстве. Но тут обычно незлобивый пастор запылал гневом и стал громить сатанинскую гордыню этого говоруна, понеже вообще светская риторика есть измышление и наваждение дьявола; слепая с трудом укротила его гнев против мирского конкурента, и он наконец, поворчав, смирился.

Эмануэль Ригер, советник экспедиции, почтительно и благоговейно слушал речи своего прославленного брата. Это был невысокий, худощавый, невзрачный человек; чтобы придать своему юношески застенчивому лицу немного мужественности, он, вопреки моде, носил усы. По натуре своей он был склонен видеть в каждом человеке одно добро и очень огорчился, что брат его столь отрицательно отзывается о всеми уважаемом публицисте, но, по скромности своей, не осмелился выразить несогласие иначе, как еле заметным протестующим жестом. У него, усердного и добросовестного чиновника, была глубокая внутренняя потребность чтить великих людей, в этом был его отдых и единственная отрада, и прослыть в его глазах великим человеком не составляло труда. На свете встречалось немало людей, которых господь щедро наделил высокими дарами, а ему выпала доля с благоговением и непритворным восторгом смотреть на них снизу вверх и радоваться, что в доме святой ему доводится встречать столько поистине замечательных мужчин и женщин.

На Магдален-Сибиллу он взирал с раболепным обожанием, мысленно преклоняя колена. Вот это женщина! Вот это страстотерпица! Сколько ей, чистейшей из жен Швабской земли, пришлось выстрадать, сколько смертной муки принять, когда еретический монарх обратил на нее взор. Обратил на нее взор, другое выражение он не осмелился бы употребить в самых дерзновенных мыслях. И с каким

достоинством носила святая жена, одаренная всеми телесными и душевными прелестями, свой терновый венец!

Изредка решался невзрачный робкий человечек сказать ей несколько слов. Он не говорил о своем беспредельном обожании, на это он бы никогда не отважился, он говорил об одном общем знакомом, магистре Якобе Поликарпе Шобере из Гирсау. Магдален-Сибилла усмехалась легкой двусмысленной усмешкой. Ах, Гирсау! Ах, добродушный, толстощекий, упитанный магистр! Запах печеных яблок и благочестиво унылые песнопения о небесном Иерусалиме сливались в ее памяти. А советник экспедиции Ригер продолжал говорить о магистре; смиренно, обстоятельно и с великим почтением рассказывал он о его стихах, о песне «Забота о хлебе насущном и упование на бога», а также о второй — «Иисус — лучший математик», и Магдален-Сибилла тихо и мирно внимала степенным речам советника экспедиции.

На нее целительно действовало безграничное, благоговейное обожание, которым непритворно дышало его существо. Придворная жизнь, хотя Магдален-Сибилла и старалась ограничиться обязательными визитами, все же сталкивала ее со множеством людей, которые чопорно и судорожно замыкались перед ней, держали себя неестественно, не умея найти верный тон ввиду ее особого положения. Она была одновременно метрессой герцога, и пиетисткой, и подругой герцогини-католички — все это никак не вязалось между собой, сбивало с толку. А потому в каждом, с кем ей приходилось сталкиваться, она вызывала смутное сочетание насмешки, смущения, неловкости, наглого любопытства и подобоострастия, так что простых, искренних человеческих слов она почти не слыхала. Вот отчего наивное, непритворное обожание Ригера было ей отрадно.

Она все сильнее тосковала о покое и скромной жизни. Буйной и бесплодной суею двора, блеску и тяготам власти приписывала она то, что око души Зюсса было закрыто для нее, и придворные нравы становились ей все более противны. В ней смутно бродила исконная глухая ненависть ее предков к блистательным и беспокойным повелителям; в роду ее матери был один из вождей восстания Бедного Конрада, преданный позорной казни. Все проще становился обиход ее дома близ городских ворот, сама она одевалась все солиднее и скромнее, когда только было возможно — не носила пудренного парика. Карл-Александр с самого начала не знал, о чем с ней говорить, и не порывал этой связи только потому, что считал ее полезной для себя и популярной в народе; теперь же он был в полном недоумении, но ограничивался

тем, что растерянно покачивал головой, так как и герцогиня все это скорее забавляло, чем шокировало.

Но один человек с глубокой, бессильной горечью и скорбью следил за тем, как омещанивается Магдален-Сибилла,—ее отец, Вейсензе. Он никогда не искал доверия дочери, наоборот, в гирсаускую пору он даже тяготился строгим, задумчивой девушкой. И все же она была его идеалом и тайной гордостью. Она была не той породы, что остальные люди. Она была выше, тоньше их. Ее окружала ей одной присущая атмосфера, и даже скептик, говоря с ней, хотя и улыбался, но становился невольно мягче и почтительней. Вейсензе, человек большого ума и трезвого суждения, сам знал, что у него, при всех дарованиях, нет подлинной внутренней силы, зидительного ядра; а у Магдален-Сибиллы это ядро было, ее походка, дыхание, голос свидетельствовали о природной душевной полноценности, и он видел в ней свое завершение, усматривал оправдание себе в том, что она дитя его чресел. Он даже мысленно, про себя не осмеливался критиковать ее. Кем бы она ни была: светской дамой или святой,—она все равно была недостижимо далека от обыкновенных людей, она была другой, как смысл и цель более возвышенного, недоступного мира. Когда же явился герцог и растоптал ее, как ни потрясло, ни подкосило это отца, ее образ у него в душе остался нетронутым. Она была Афина Паллада, в обличье швабской девушки сошедшая к смертным, или по меньшей мере полубогиня.

Но когда она стала все более омещаниваться в одежде, речах и образе жизни, рухнул и этот его заветный идеал, самый крепкий оплот и верный аргумент против укоров совести и гложащей неудовлетворенности. Да, она, эта женщина, не только представлялась мещанкой, она по сути своей была мещанка. А остальное все только личины: и фанатичка братства филадельфов, и мраморно холодная герцогская метресса, пренебрегающая своим всемогуществом, ибо душой она обитает на другой планете. Рассудительная мещанка, живущая буднями и свыкшаяся с ними,—вот что оказалось окончательным ее образом, пошлой и смешной действительностью. Сделайся она актрисой, побродяжкой, герцогиней, девкой, святой—ничто бы не поколебало его веру в нее. Только это ей не годилось, до уровня рядовых, честных, пошлых, скучных обывателей она опуститься не смела, это убожество, эта душная, затхлая атмосфера ей не годилась.

Тонким чутьем уловил он, что и в этом окончательном будничном воплощении Магдален-Сибиллы повинен еврей. Но и теперь он не поддался жажде дешевой мести. В нем лишь усилилось любопытство: как бы в подобном случае поступил Зюсс? Как бы изменилось его лицо, его поза,

его руки? Это любопытство кололо Вейсензе точно иглой, захлестывало его, когда он засыпал, свербя и жая всползало от крестца по позвоночнику, всецело завладевало им.

С верой в дочь рухнули и последние внутренние препоны. Он давно знал, что его положение при дворе и содействие католическому проекту в конце концов окажутся несовместимыми с участием в малом парламентском совете. Но все же, когда, придравшись к временному недомоганию прелата, его в очень деликатной форме исключили из совета одиннадцати, он был больно уязвлен. Теперь он, ни с чем не считаясь, открыто перешел на сторону герцогского правительства. Будучи умнее и принципиальнее грубоватого Ремхингена и алчного Панкорбо, он не принял участия в кознях против Зюсса, не поверив в мнимое безразличье и бессилье еврея. Зато теперь ему легко было стать связующим звеном между творцами католического проекта и финансов директором, без которого, очевидно, ни одно дело не могло сладиться.

На дому у Зюсса он встретился с капуцинами из Вейля-города, а также с одним итальянским патером и с уполномоченным князя-аббата Эйнзидельнского. Правда, отправляясь на такие встречи, Вейсензе порядка ради входил во дворец Зюсса с заднего крыльца, но происходило это среди бела дня и на виду у всех, так что самая таинственность носила характер вызова. От старых друзей — Бильфингера и Гарпрехта — он все более удалялся; и они серьезно, скорбно, но без ненависти следили за тем, как он погружается в омут нечестия и бесчестия.

С каждым днем Вейсензе все более вкрадывался в доверие к герцогу, без стеснения пользуясь щекотливым положением незаконного тестя. Пускал в ход все свое знание людей, чтобы угодить нраву Карла-Александра, и герцог, не простивший еще своим ближайшим советникам козней против Зюсса, с которым теперь тоже чувствовал себя неловко и беспокойно, благосклонно принимал льстивую угодливость Вейсензе. Те мелкие услуги, которые ранее были на обязанности еврея, как, например, оплата личных расходов, поставка и отставка женщин, незаметно и ловко взял на себя председатель церковного совета.

Вюрцбургский тайный советник Фихтель не мог нарадоваться, что его досточтимый друг стал подлиннейшим царедворцем: куда приятнее видеть, что доверенным и приближенным лицом при герцоге состоит милейший Вейсензе, а не двуличный еврей, с которым так трудно найти общий язык. Тайный советник считал, что председателю церковного совета вполне подобает пользоваться влиянием и властью, и, частенько посиживая вместе с ним и попивая горячий кофейный напиток, он осторожно,

обиньяками подавал своему другу советы, как поощрить и упрочить доверие к нему государя.

Чтобы крепче привязать к себе Карла-Александра, Вейсензе толкал его на путь извращенного утонченного распутства, и тот, сам по себе человек нормальный, хоть и не находил вкуса в такого рода наслаждениях и предпочитал пищу попроще, однако для своей репутации монарха и светского человека считал обязательным отведать и этих пикантных блюд. Прелат добывал ему женщин, которые ему, в сущности, не нравились, но зато были апробированы в пресыщенном Париже, добывал также французские секретные возбуждающие снадобья; все глубже заводил его в сад с отравленными плодами, и вскоре герцог не мог уже обойтись без своего ментора. Как ни странно, но герцогиня не одобряла этой дружбы. Она отнюдь не была строга в вопросах морали, она любила слушать рассказы на скользкие темы, и лицо у нее при этом принимало сосредоточенно задумчивое, мечтательное выражение; ей было по-своему дорого лицо ее отца, лицо многоопытного эпикурейца, покрытое сеткой порочных морщинок. Но физиономия Вейсензе, быть может оттого, что порочность его была не органической, а надуманной, принадлежала к тем немногим, которые отталкивали ее.

Карл-Александр имел обыкновение устраивать многочелюдные, блестящие охоты и тратить на них огромные деньги. Так, он приказал вырыть в одном из своих лесов большой пруд, чтобы загонять в него дичь. Во время одной из таких охот Вейсензе предложил поехать поохотиться совсем маленькой компанией. Ведь охота вроде нынешней—это скорее повод для представительства, нежели увеселение. Герцог согласился с ним. Немного погодя председатель церковного совета как бы вскользь упомянул о превосходных, изобилующих дичью лесах вокруг Гирсау; пожалуй, не худо бы для разнообразия побыть там инкогнито несколько деньков, без удобств охотничьего замка, без свиты, отдохнуть от бремени власти, словно простому сельскому дворянину, насладиться радостями охоты в обществе двух-трех кавалеров. А уж какая для него честь принять его светлость в качестве гостя в своем доме—об этом и говорить не приходится. Карл-Александр с готовностью ухватился за эту мысль. Вейсензе выбрал удачную минуту для своего предложения: вдобавок оказалось, что герцог всего два раза был в знаменитом монастыре. Поездку назначили на ближайшее время и для сохранения инкогнито решили держать ее в большом секрете.

Начиная с этого дня у Вейсензе обнаружилась необычайная предприимчивость и воодушевление. Он помолодел, походка сделалась гибче и живее, умные глаза его

глубоким блеском взгляда проникали все окружающее. Он усиленно искал общества Зюсса, старался быть поближе к нему и с легкой циничной усмешкой на тонких похотливых губах, наклонив узкую породистую голову, словно принохиваясь, внимательно слушал, когда тот говорил. Незаметно для Зюсса окидывал его пристальным взглядом, жадно вбирал в себя его облик, и тот вздрагивал как в ознобе, не понимая, что с ним, терял нить рассказа и наконец умолкал.

Рабби Габриель покинул дом с цветочными клумбами — отправился в одну из своих одиноких поездок. С запада на восток пересек Швабию, побродил по торжественным старинным улицам Аугсбурга, сопровождаемый пугливым любопытством. Приехал, встреченный тупым недоверием, в живописную резиденцию баварского курфюрста. Свернул на юг в горы. У реки широко раскинулся пестрый, шумный базар. Дальше долина сжималась, шла зигзагами, и дорога следовала за бесконечными извивами быстрой пенисто-зеленой реки. Вверху на лужайке между большими бурыми громадами камня виднелся охотничий замок курфюрста.

Дорога разветвлялась. Рабби Габриель вступил в густой, нескончаемый лес. Стал подниматься вдоль русла бурливой реки, которая становилась все уже и, звонко, весело журча, пробивала себе путь сквозь темную чащу. Каббалист перешел границу и вступил в императорские владения. Местность была пустынна, полна великого молчания; после двухдневного странствия он увидел там, где долина реки вновь расширялась, кучку убогих домишек вокруг маленькой церкви и заночевал в этом селении.

Несколькими милями дальше высокая гряда гор перегораживала долину, параллельно которой шла до тех пор. Немного раньше в стороны отходили три боковые долины, образованные горными ручьями, которые впадали в главный поток. Путник свернул в первую из этих долин. Она поднималась довольно отлого, манила уютом и покоем, лесистые склоны окружали ее. Он пошел второй. Она была очень коротка, поднималась вверх неприступной кручей и упиралась в полукруг гигантских, сурово обнаженных бурых скал. Он пошел третьей долиной. Эта была длиннее и шире остальных. Ручей, образовавший ее, падал менее отвесно, местами терялся совсем, уходил под землю. Рабби Габриель добрал до болота, поросшего ивняком. Выше виднелся заброшенный шалаш — должно быть, последнее жилье в здешней местности.

День был облачный, нежаркий, но душный. Полный старик дышал тяжело, с трудом пробирался без дороги.

Позади шалаша долина внезапно расширялась. И тут рос клен, необычный для такой высоты. Дальше еще клены. Целая роща. Стройные старые деревья стояли очень тихо, не было ни ветерка, ни единый листик не шевелился. Сквозь сетку ветвей неясно проступали, широким охватом неумолимо замыкая долину, гигантские белые стены гор, таких высоких, что сквозь сетку ветвей не видно было их вершин. Душной пеленой нависал воздух, роща старых, величавых блекло-зеленых деревьев, казалось, волшебством была перенесена сюда, в горы, из южных краев; почти осязаемо стлалась глубокая, гнетущая тишина, вся недвижная долина была зачарована, человеку отсюда не бывает выхода, точно он дошел до края света.

Рабби грузно, с легким стоном утомления опустился на землю под деревом. Он вынул письмо Зюсса, написанное древнееврейскими буквами и выдержанное в тоне оскорбленной невинности. Старик вглядывался в начертания букв, впитывал их в себя. Потом склонил голову к коленям, силясь вызвать перед собой образ человека, который гнался за его душой, человека, к которому он был прикован. Надо помочь ему! Помочь заблудшей душе обрести свет, чтобы собственной связанной с ней душе легче дышалось.

Но в этой долине трудно было углубиться в себя. Ох, как тяжело давит грудь недвижимый воздух! Быть может, Самаил, отец зла, наслал сюда своих могущественных духов удручить его, отклонить от его задачи? Избави душу мою от меча и живот мой от власти нечестивого!

Зловеще недвижимо, точно мертвецы, стояли непривычные для здешних мест деревья. Повсюду демоны, бесформенные и в мириадах форм, окружают человека и смущают того, кто стремится к вышнему миру. Души умерших обречены во искупление грехов обитать в мире вещей, обречены обитать в звере, растении и камне. В жужжащей пчеле воплощена душа болтуна, во зло употребляющего слово, в полыхающем пламени — душа преступившего против целомудрия, в немом камне — душа злоречивого и клеветника. Рабби Исаак Лурия, мудрейший среди людей, видел души, что отлетели от тел, а также души живых, когда они в субботний вечер возносились к райским кущам.

О, если бы ему дано было увидеть душу того человека! Обратиться к ней, обратить ее, спасти ее. Душа человека, мнящегося на земле в погоне за одними земными благами, по смерти растекается водой. Не зная покоя, волнуется она в воде, распадаясь, дробясь, распыляясь каждое мгновение на тысячи частиц. Знали бы люди, каковы эти муки, они бы плакали, не осушая глаз.

Человек, беспокойный, мятущийся, одержимый. Думай, думай об этом, человек!

Тяжелее навалился на него гнет, стеснил дыхание, заставил встряхнуться. Отовсюду из листвы тысячи глаз смотрели на него, то были золотисто-карие проникновенные глаза, то были — и сердце замерло у него — глаза Ноэми. И они зывали, молили настойчиво, жалобно заклинали его: «Спаси!»

«Спаси!» — зывали они все настойчивее, в смертной тоске молили его, не переставая ни на миг. Он провел рукой по лбу, чтобы прогнать видение, откинув голову, взглянул ввысь. Там обрывки облаков застыли, не уплывая, причудливыми очертаниями. И вдруг он увидел, что они образуют буквы, две еврейские буквы, гласящие: «Спаси!» Прочь отвел он лицо и увидел, что ветви дерева, под которым он сидит, образуют те же буквы: «Спаси!» То же и корни: «Спаси!» Тогда вскочил он, тяжело дыша, обливаясь потом, небо пересохло, по спине прошел мороз, все внутренности и грудь сдавило точно обручем. Он пошел назад. Ручейки по горным склонам, извивы потока повторяли те же буквы, вся безмолвная долина была точно одни уста, ее склоны, камни, воды молили, заклинали его, кричали в тоске и страхе: «Спаси!»

И полный старик в тяжелой одежде бегом стал спускаться из долины, едва переводя дух, спотыкался, падал и бежал дальше. Добрался до людского жилья, стремительно свершил обратный путь верхом на муле, на лошадях, в экипаже. За спиной он ощущал испуганный, молящий взгляд золотисто-карих глаз, и подгоняя, заклиная, зывая, в мозг вшивались буквы: «Спаси!»

В Гирсау, у Вейсензе, в тихих просторных покоях с пышными занавесями вместе с хозяином сидели герцог, увертливый тайный советник Шютц с крючковатым носом и крикливый майор фон Редер с бесформенными, почти всегда затянутыми в перчатки лапами. Здесь еще витали детские мечты и видения Магдален-Сибиллы, отцу еще представлялось, как она сидит за книгой в мирном свете лампы, с детски сосредоточенным, замкнутым выражением лица. Она представлялась ему прежней: не по-женски смелый очерк смуглых, покрытых пушком щек, яркосиние глаза, странно контрастирующие с темными волосами. Каким светом и упованием когда-то сияло ему это лицо! И увы! Как леденяще уныло оно померкло.

В покое, еще полном его надежд, его трудов над комментарием к Библии, еще полном девичьих грез, теперь бражничал и горланил в пьяной компании разошедшийся герцог.

Карл-Александр чувствовал себя молодым, свежим, несокрушимо здоровым. Зеленый мундир был широко распахнут, жилет расстегнут, белокурые с проседью волосы не покрыты париком. Гениальная мысль — приехать сюда поохотиться! В Людвигсбурге и Штутгарте дела превосходны, у католического проекта все шансы на успех. А в опере новая актриса, Илонка, которая ему весьма по вкусу: пожалуй, следовало прихватить ее с собой. Впрочем, нет, так лучше. Днем — только ветер в лицо, вечером — вино да добрая, сочная мужская беседа. Никаких баб! Никакой политики! Никакой парламентской сволочи! До чего же молодо себя чувствуешь! Совсем не замечаешь, *mille tonnerre!* своих пятидесяти лет. Еще можешь смеяться да радоваться клочку леса и удачному выстрелу.

Нейфер сутился, разливая вино. В полумраке, вдали от светового круга лампы, молча примостился чернокожий. Карл-Александр сидел, вытянув ноги, много пил, гулко хохотал над грубыми сальностями Редера и тонкими остроумиями Вейсензе, над скабрёзными анекдотами господина фон Шютца, которые тот преподносил с достойным видом, сильно гнусая и пересыпая рассказ французскими словечками. Затем сам принялся рассказывать солдатские истории и приключения своей венецианской поры.

С угрюмым злорадством слушал Вейсензе. Ведь, в сущности, еврей виноват и в том, что ему приходится марать свои чистые покои этой похабщиной и несносным вздором. Ничего не поделаешь, раз хочешь что-то узнать, раз тебя донимает любопытство, так и плати за него. Оно стоит того, оно того стоит!

Когда гости, отяжелев от вина, собрались спать, Вейсензе сказал герцогу, что приготовил к завтрашнему дню сюрприз. Он всепокорнейше предлагает выпасться завтра как следует, потом со вкусом отобедать, а потом он поведет его светлость в лес и покажет свой сюрприз.

— Вейсензе! — захохотал герцог. — Старый лис! Превосходительный председатель! Я тобой доволен. Каждый день умудряешься откопать что-нибудь новенькое. Ты прелат хоть куда. — Он похлопал Вейсензе по плечу и, пошатываясь, отправился в опочивальню.

На следующий день, пытая от изобилия яств, дыша испарениями старых вин из погребов большого знатока Вейсензе, компания тронулась в путь. Сперва проезжей дорогой, затем в сторону — узкой колеей. Тут оставили экипажи, отправились пешеходной тропинкой и очутились перед крепким, очень высоким забором. Деревья мешали взгляду проникнуть дальше.

Итак, они стояли перед забором. Дул теплый ветер.

Винные пары еще не совсем улетучились. Мужчины пыхтели, потели, острили. Значит, вот где запрятан сюрприз; а стоящий ли? Пусть бы Вейсензе хоть намекнул слегка. Тот убеждал не жалеть усилий и первым полез через забор. Остальные последовали за ним, кряхтя и отдуваясь. Пошли дальше, раззадоренные, возбужденные, заинтригованные.

Добрались до цветочных клумб, до белого кубика дома. Стояли, смотрели. Смутные представления вспыхивали в мозгу Карла-Александра: Венеция, Белград. В растерянности глазели все на эту странную белую штуку посреди швабского леса.

— Дом принадлежит магу,— сказал Вейсензе,— дядюшке господина финансирующего.

Озадаченные, тупо недоумевающие лица. У герцога поднялась легкая тошнота от вина, он почувствовал себя вдруг отяжелевшим, хромая нога давала себя знать после скверной, кочковатой лесной тропинки. С неосознанным смутением глядел он на дом, ему смутно почудилось, будто оттуда на него смотрят окаменевшие, блекло-серые глаза.

— Магу? Вот как?— сказал он хриплым, сдавленным голосом.— Верно! Сюрприз хоть куда.

— Это еще не все,— усмехнулся Вейсензе, растягивая тонкий, чувственный рот.— Не угодно ли вашей милости подойти поближе?

Карл-Александр встряхнулся, откашлялся.

— Кстати, старый колдун кой-чего не договорил мне,— загромычал он.— Вспугнем-ка филина в его гнезде!

Еще ближе подошли кавалеры, постучали и, так как никто не отозвался, ввалились в дом. Старый, дряхлый слуга вышел им навстречу: чего им надобно?

— Твоего хозяина.

— Он в отъезде. И все равно он никого не принимает,— хмуро добавил старик. Тогда они только осмотрят дом, заметил Вейсензе. Что это им взбрело на ум, сварливо заворчал слуга. Пускай убираются. Тут посторонним делать нечего.

— Заткни глотку!— рявкнул несдержанный майор Редер.

Но старик твердил упрямо и сердито:

— Тут посторонним делать нечего. Тут никто не может распоряжаться, кроме моего господина.

— И герцога Вюртембергского,— сказал Карл-Александр. И все проследовали мимо огороженного слуги в дом. Пугливо и насмешливо оглядели фолианты, рисунки каббалистического древа, небесного человека, невиданные письма. Обменялись ироническими замечаниями насчет всей этой ахинеи. Но таинственность комнаты

сдерживала привычную шумливость, они невольно робели и говорили приглушенными голосами.

— Черт побери! — заорал вдруг Карл-Александр, пытаясь спугнуть смущение. — Ведь мы же не в церкви. Подай вина, Нейфер! Раз старого чародея нет дома, мы попробуем чарами доброго вина привлечь в свою компанию его духов.

— А не лучше ли будет сперва осмотреть другие комнаты? — предложил Вейсензе. — Может быть, набредем еще на что-нибудь. — И он принялся тонким длинным носом и шарил по углам умным беспокойным взглядом.

Пока Нейфер откупоривал вино, они осмотрели остальные несколько комнат маленького домика. Перед одной из дверей стояла Янтье, толстая болтливая служанка, она старалась удержать посетителей. Но они оттолкнули ее и втиснулись в комнату. Там в дальнем углу сидела девушка в восточном уборе. Ее огромные глаза выражали испуг, возмущение, протест. И посетители отпрянули перед прелестью матово-белого лица, иссиня-черных волос, красноречивых, проникновенных глаз.

— Ну тебя к дьяволу, — вполголоса выругался герцог. — Вот что припас себе мой еврей! Вот что он прячет от меня, шельмец! Один желает лакомиться таким деликатесом.

Между девушкой и посетителями по-прежнему было несколько шагов расстояния. Ноэми вскочила и стала позади кресла, забившись в самый угол. Мужчины, ошеломленные необычайностью этого явления, застыли подле дверей.

Молчание прервал учтивый, мягкий голос председателя консистории:

— Барышня — дочка господина финансоводиректора. — И в ответ на изумление разинувших рты кавалеров любезно усмехнулся: — Да, это и был мой сюрприз.

— Черт подери! Черт подери! — раскатисто повторил несколько раз кряду майор Редер, других слов он не находил. Но герцог, оправившись от удивления, загорелся энтузиазмом и, пожирая ее большими голубыми глазами, рассыпался в восторженно-галантных, новомодных комплиментах:

— Чудо что за девочка! Головка будто вырезана из эбенового дерева и слоновой кости. Точно легенда полу-денных стран.

Тайный советник Шютц находчиво подхватил:

— Финансдиректор — несомненный гений; но порождение его чресел еще совершеннее всех плодов его ума.

Вейсензе молчал. А мог бы он, тонкий знаток, живописать красоту девушки на потребу герцогу куда ярче, чем

сам Карл-Александр вкупе с холодным Шютцем и грубым Редером, который не успел подобрать иных похвал, кроме похожего на икоту: «Черт подери! Черт подери!» Но Вейсензе безмолствовал. Он лишь глядел на девушку, оглядывал ее с головы до ног, и улыбка на его чувственных губах расплывалась все шире. Н-да, почтеннейший господин тайный советник по финансовым делам, это в самом деле сокровище, которое стоит беречь как зеницу ока. Восьмое чудо света! Иудейская Венера! Глаза прямо из Ветхого завета. И на вид такая, что на нее приятно не только смотреть. Магдален-Сибилле являлись апостолы и вели с ней беседы. А к этой, пожалуй, являются пророки. Вы были хитрее меня, господин финанцирентор, и все-таки оказались недостаточно хитры. Вам следовало припрятать ее подальше и понадежнее. Voilà! А теперь посмотрим, какую курьезную мину состроите вы.

Тем временем остальные продолжали восхвалять красоту девушки. Даже господин фон Редер обрел красноречие и сказал:

— Кто бы подумал, что у старого лиса такой детеныш?

А Ноэми, натянутая как струна от ужаса и возмущения, по-прежнему стояла в углу и смотрела на мужчин.

— Как же ваше имя, мадемуазель?—спросил герцог. И, не получив ответа:—Суламифь? Саломея? Прикажете положить чью-нибудь голову к вашим ногам?

Но Ноэми молчала, извиваясь от острого до боли ужаса и отвращения.

— Застенчивость она унаследовала не от отца,—изрек господин фон Шютц.

А майор фон Редер грубо и нетерпеливо рывкнул на нее:

— Отвечай, жидовское отродье, когда тебя спрашивает твой государь.

— Заткни глотку, Редер!—приказал Карл-Александр. И ласково, как с ребенком, заговорил с прижавшейся в угол, запуганной девушкой:—Я ничего тебе не сделаю, я тебя не съем. Ах ты, пугливая газель! Мимоза! Что ж ты так жеманишься?

Янтье, служанка, тем временем пробралась к девушке; толстая, добродушная, стояла она рядом с ней в отчаянном страхе и растерянности.

— Я ведь в самом деле твой повелитель,—продолжал, теряя терпение, Карл-Александр,—твой и твоего отца благорасположенный герцог и государь. Скажи же наконец, как тебя зовут?

— Барышню зовут Ноэми,—отвечала вместо нее служанка.

— Добились-таки! — удовлетворенно проворчал Редер. — Ноэми — потешное имя! — И фыркнул при этом.

Но герцог потребовал:

— Подойди сюда, Ноэми! Поцелуй руку своему государю!

Служанка принялась нежно убеждать девушку, слегка подталкивая ее вперед. Медленно, опустив глаза в землю, шла она, словно ее тащили силой, и жадным взглядом в радостном возбуждении следил за ней Вейсензе.

Потом все отправились в кабинет выпить. Требовали, чтобы девушка чокалась с ними. На стенах цвело каббалистическое древо, переплетались массивные буквы и непонятные фигуры, застыл в созерцании небесный человек. Девочка пригубила. Но дольше удержать ее не удалось. Она убежала, заперлась у себя в комнате, трепеща, дрожа всем телом, холодея от страха.

А в кабинете, за выпивкой, господин фон Шютц, указывая на магические знаки, отметил:

— Раньше здесь пахло хедером и кладбищем. Теперь здесь пахнет Парижем, парфюмерией и «*Mercure galant*», а весь мистический дух выветрился. Удивительное дело: стоит появиться такому свеженькому созданию — и от чар самого премудрого мага не остается ни следа.

Затем компания тронулась в обратный путь. Редер и Шютц впереди, дальше герцог и Вейсензе, за ними Нейфер. Грузный герцог доверчиво опирался на тонкого, стройного Вейсензе.

— Это ты ловко подстроил, — одобрил он, — тут мы еще немало повеселимся. Что за хитрец и тихоня мой еврей! Ну, мы его так допечем, что он у нас будет краснеть и бледнеть.

Но не таковы были намерения Вейсензе. Уйти сейчас, а потом немножко подтрунить над евреем, только и всего? Не для того он старался. Еврей хитер, еврей знает, что за сокровище его дитя. Он отошлет ее за пределы страны, куда-нибудь подальше, и уж во всяком случае не привезет ко двору, как сделал он, Вейсензе. У еврея перед глазами назидательный пример, а если бы у него и явилось такое поползновение, старик маг удержал бы его. И если герцог сейчас уйдет, второй раз его в Гирсау не заманишь. И снедающее Вейсензе великое любопытство навсегда останется неудовлетворенным.

Председатель церковного совета представил себе девочку, как она забилась в угол, какой ужас и отвращение выражали ее большие глаза на матово-белом лице, и ласковое, нежное чувство поднялось в нем. Но это чувство расплылось в пожирающем его страстном любопытстве, которое, захватывая дух, поднялось откуда-то из самых недр и заполонило его всего.

Он замедлил шаг, посоветовал герцогу не утомляться, предложил сделать небольшой привал. У Нейфера оставалось еще вино. Вейсензе услужливо подливал герцогу. Тот пил. Вейсензе упорно переводил разговор на девушку: всегдашним своим учтивым, вкрадчивым голосом он, как тонкий знаток, полунамеками восхвалял ее прелести, юные и все же созревшие для любви. В цвете лет еврейки прекрасны, никакие другие женщины не сравнятся с ними, это холодный пламень, подобный южному вину. Но их цвет недолговечен, они увядают и становятся отвратительны. Поэтому надо их брать такими робкими и страстными, как эта; кто первым отведает этого пенистого напитка, получит редкостное наслаждение, о котором не забудет до конца дней.

Так каплю за каплей вливал он в герцога свою тонкую отраву. Карл-Александр пил и чувствовал, как волнуется, бурлит и замирает в нем кровь. Вечерело, южный ветер обдувал его теплыми порывами, между деревьев клубился образ девушки, ее нежное, стыдливое тело; он тихо сопел.

— Такими, наверно, были те женщины, — грезил вслух Вейсензе, своими грезами разжигая герцога, — те женщины, которых держал у себя царь Соломон. Тысячу женщин держал он у себя. Вот каковы были цари из Ветхого завета. Из завета господина финансового директора. — И он засмеялся коротким тихим смехом.

Карл-Александр внезапно поднялся, отряхнул с мундира сучья и палую листву, хриплым голосом сказал Вейсензе, что хочет один немного погулять по лесу; пусть Вейсензе извинится за него перед остальными спутниками; им нечего дожидаться его, пусть едут домой, а ему пришлют экипаж; Нейфера он оставляет при себе. Председатель церковного совета поклонился и пошел прочь. Лишь очутившись один, он перевел дух, распростер руки, искривил в гримасу свое подвижное лицо, издавая странные мурлыкающие, кудахтающие звуки.

Между тем Карл-Александр в сопровождении камерди-нера шел назад по вечеряющему лесу так скоро, как только позволяла хромая нога. Когда он приблизился к дому с цветочными клумбами, сумерки совсем сгустились, темными клочьями неслись быстрые облака, луны не было, резкие порывы теплого ветра захватывали дух. Славное приключение! Молодым чувствуешь себя, совсем молодым! Перелезаешь через заборы, крадешься ночью по лесу. Эх, до чего славно, куда лучше, чем спорить с вшивой парламентской сволочью о каких-то там параграфах. Будь на лице маска, прямо можно подумать, что вернулась молодая венецианская пора.

Что это — не собака ли залаяла? А может быть, старик начертал магические круги и заколдовал порог, чтобы всякий, кто ступит на него, застыл на месте?

Он оставил Нейфера позади, а сам, крадучись и приглядываясь, обошел вокруг дома. Он без труда запомнил его несложный план. Вон комната девушки, там темно. Свет горел в комнате с каббалистическими фигурами. Значит, она там? По шпалернику нетрудно взобраться вверх. А ну-ка, надо попробовать.

Кряхтя, полез он в окно. Да, она сидит там, опутив руки, притихнув, а глаза большие, испуганные, растерянные.

— Пст! — окликнул он ее вполголоса, лукаво ухмыляясь и подмигивая.

Она вздрогнула, увидела красное, одутловатое лицо, голубые, жадно выпученные глаза. Судорожно откинулась она назад и в ужас уставилась на сопящего человека. Он засмеялся.

— Я тебя напугал? Глупенькая! Не бойся! — Он прыгнул в комнату и, весь потный, пыхтя, надвинулся на нее. — Что, ловко твой государь лазит в окна?

Она едва успела отбежать в дальний угол и вся сжалась, беззвучно бормоча несвязные молитвы. Он бросился за ней следом, ласково уговаривая ее, словно малолетнего ребенка; но от его зловещей вкрадчивости ей стало еще страшнее. Губы у нее побелели, глаза, точно оледеневшие озера, глядели на него: и вдруг он нетерпеливо, грубо рванул ее к себе, осыпал поцелуями похолодевшее лицо, нащупал груди. Но она выскользнула у него из под рук, слабым, беззвучным, детским голоском стала звать дядю, вырвалась, бросилась к двери и помчалась вверх по лестнице. Лестница вела на крышу.

Очутившись наверху, она жадно, судорожно вдохнула ночной воздух. Теплый влажный ветер принял ее в объятия, помчал вперед. Она прислушалась — позади все было тихо. Она распростерла руки, почувствовала себя свободной, дядя помог ей, а влажный благодатный ветер развеял смрадное дыхание зверя. Легкими шагами, точно порхая, приблизилась она к краю пологой крыши. Что это — голоса из лесу? Глубокий, бархатный, ласкающий голос отца и скрипучий, сердитый и все же — ах, такой отрадный голос дяди. И она улыбнулась во тьму ночи.

Тут по лестнице раздался топот, сопение, приглушенные проклятия. Это он, зверь. Но теперь у нее не было страха. Оттуда, из лесу неслась колесница, запряженная воздушными конями, вот она остановилась у края крыши. Улыбаясь, скользящими шагами вошла в нее Ноэми.

Карл-Александр, добравшись до верху, не увидел ничего. А ведь она помчалась по лестнице вверх, и

другого хода отсюда нет. Вот дьявольщина! Уж не обернулась ли она вон той ночной птицей, набравшись у старика колдовской премудрости? И не она ли это плывет обрывком черного облака и смеется над ним? Окаянная девчонка! Он стоял разочарованный и злой, резкий порыв ветра откинул полы его мундира и слипшиеся от пота волосы. Старый осел, вот он кто! Внизу надо было ему завладеть этим жидовским отродьем, этой кривлякой, швырнуть ее прямо на стол, невзирая ни на какие ужимки и увертки. На то он и монарх. А теперь к черту пошла вся ночь, и правы будут гирсауские приятели, если поднимут его на смех.

Серdito поплелся он вниз. Нога у него болела, и устал он как пес. С трудом, осторожно выбрался он через окно из дома. И тут услышал испуганный, трусливый, хриплый шепот камердинера:

— Она лежит в цветах!

Он подумал, что она там спряталась, и засмеялся.

— Ах плутовка!

Спотыкаясь, поспешил он сквозь неверную ночную полумглу в том направлении, куда указывал Нейфер.

Да, она лежала там среди цветов. Цветы раскачивались под ветром, взмахивали сотнями рук, она же лежала совсем неподвижно.

— Как ты сюда улизнула, плутовка? — игриво окликнул он ее. Не слыша ответа, он бережно взял ее руку, откинул ей голову, торопливо, испуганно ощупал ее. Понял, что она мертва, и совсем растерялся.

Ключья облаков мчались по небу. Почти не давая света, кривился медно-красный рог молодого месяца. Оробевший слуга держался в сторонке. А герцог Вюртембергский стоял, коленопреклоненный, перед трупом молодой еврейки, среди цветов, в глухой, беспомощной тоске, жалкий человечек, в ночи, на ветру.

Что, собственно, произошло? Оступилась она? Или умышленно бросилась вниз? Так или иначе, он был связан с умершей, был причиной ее смерти.

Ба! Он побаловался малость. Кто мог думать, что девица окажется такой недотрогой? С другими девицами ее возраста он еще не так расправлялся. И с какими! С дочерьми знатнейших швабских фамилий! Чего же было еврейке так церемониться и жеманиться? Бывает, что дети от одного недоброго слова бросаются в воду, накладывают на себя руки. Да, бывает. Из этого явствует, что они не в своем уме и непригодны для жизни. А значит, на том, кто был невольной причиной, вины нет.

И все же от гнетущей, давящей тоски он отделаться не мог. Еврей укрыв ее, далеко и надежно укрыв, а все же она лежит теперь немая, окоченевшая, и еврею при всей

его хитрости не удалось уберечь ее. Подует бог весть откуда ветерок—и угас человек. Чудно это и очень сложно. Вот ведь сидела она недавно на свету, и глаза у нее горели жизнью, а теперь лежит в темноте ночи, и никакой теплый ветер не помешает смертному холоду сковать ее.

Кругом враждебной, полной тайны громадой чернел лес. Оттуда доносились голоса, пугающие и насмешливые. Человек, окутанный теплым дуновением, содрогнулся. Детские сказки всплыли в памяти, видениями зачарованного леса, наполненного отринутыми духами, повеяло на него, длинные призрачные руки тянулись к нему, теребили его за ворот, за волосы. И вот уж он снова скользит все в том же безмолвном, таинственном танце; впереди маг держит его за правую руку, Зюсс—позади—за левую. А там, изгибаясь и склоняясь, разве то не девушка скользит в хороводе? И он слышал скрипучий, сердитый голос мага. Он явственно слышал каждый звук, силился понять слова, но понять ничего не мог. Это мучало его. И все вокруг было так тускло, туманно, бесцветно.

С гневным рычаньем вырвался он из сковавших его пут. Он устал как пес, он пойдет спать. Тут на ветру лежит покойница. Так что ж! Мало он видел покойников? Когда он командовал в атаку, потом повсюду тоже лежали покойники, и он, в сущности, был тому причиной. Нелепость и заумная чушь так долго размышлять над этим. С какой стати больше задумываться над мертвой еврейкой, чем над доблестными христианскими офицерами и солдатами, которые тысячами умирали вокруг него и ради него? На то он и герцог. Богу так угодно, чтобы всюду, куда бы он ни ступил, расцветала жизнь или налетала смерть.

Итак, он пойдет спать. А девушка? Оставить ее тут? Ей, правда, никакой ветер и дождь не могут повредить. Уйдет он сейчас, и кончено с этим, *finito*¹. Завтра утром прислуга найдет девушку, известит Зюсса. Тот голову себе ломает, почему и отчего она умерла. Но разнюхивать вряд ли станет. Поостережется. Зароет потихоньку свою девочку и словом не обмолвится. А те, что здесь с ним, Вейсензе и прочие *item*². Кончено дело. Умерло, забыто, похоронено. Баста!

Итак, он пойдет... Нет, не пойдет. Ему—бежать? Ну, нет! Это значит показать, что он боится еврея. Прислугу он сейчас разбудит, к Зюссу пошлет верхового, дождется его здесь, скажет ему: славные истории затеваешь ты, шельмец! Твою девчонку находят тут мертвой, на ветру.

¹ Кончено (*ит.*).

² То же самое (*лат.*).

Не запрячь ты ее, хитрец, ханжа этакий, привези ты ее в Штутгарт, никогда бы такого камуфлета не получилось.

Большим ударом будет это для еврея, тяжким потрясением. Окаянная, жуткая, загадочная порода! То делает из тебя всеобщее посмешище, вовлекая в проклятую эслингенскую историю. А то вдруг у него оказывается эта странная девочка, не успел к ней притронуться, глядь — она умерла. И не мог бы он на этом деле поставить точку, даже если бы попросту ушел сейчас и вернулся в Штутгарт и никогда никому не заикнулся о происшедшем. Лицо этой девочки забыть труднее, чем тысячи мертвых, искаженных, изувеченных солдатских лиц. Он представил себе лицо еврея, очень белое, с маленьким пунцовым ртом, с крылатыми, выпуклыми глазами. Оно было таким же матово-белым, как и лицо девочки. Как он, подлец, с самого начала подбирался к нему, проник ему в душу своим окаянным, восточным, рабским, собачьим взглядом. Правду сказать, тогда из него почти нечего было извлечь. Захудалый принц, которому даже парламент отказал в грошовой субсидии, невеликие капиталы и барыши можно было из него выжать. А если в результате все обернулось иначе и Зюсс с лихвой вознаградил себя за свое доверие, то на пользу ему это предприятие не пошло. Если ему так дорог был какой-то еврей Изекииль, насколько же дороже ему собственное, бережно взлелеянное дитя. А теперь оно лежит на земле пищей для червей, мертвое, лежит на ветру.

Избавиться! Избавиться от еврея. Он устранил его. Пусть беспрепятственно возьмет с собой весь свой капитал, и золото, и драгоценные камни, и дарственные, и все, что выжал из страны. Он пошлет ему в придачу пышный презент. Только пусть убирается! Пусть уезжает!

Нет, лучше пусть останется. А не то подумают, что ему, герцогу, неприятно, тягостно видеть его. Нет, он не устранил его.

Но теперь довольно! Все это можно обдумать потом. А теперь провалиться ему на этом месте, если он не пойдет спать. Он направился к дверям, постучал громко и резко. Указал открывшему дверь заспанному, угрюмому слуге на труп, без всяких объяснений прошел мимо окаменевшего от ужаса старика. Вслед ему донесся звериный вой старого слуги, вопль, визг, выкрики обезумевшей служанки. Карл-Александр, ни на что не глядя, прошел в дом, гневно насупился на робкие возражения Нейфера, который боялся ночевать в заколдованном доме рядом с покойницей. Как был, одетый, бросился на тахту. Спал мертвецким сном, храпя и посапывая.

Когда он проснулся, в комнату глядел ясный день. Он чувствовал себя разбитым, неопрятным. Примостившись в углу, дремал Нейфер. Карл-Александр потянулся. Ух, надо поскорей убраться из этого жуткого дома, вернуться в Гирсау, в уютные покои Вейсензе, искупаться, хорошо подкрепиться. Потом подождать еврея, похлопать его по плечу, сказать несколько княжески милостивых слов утешения. И тем вопрос об этой охотничьей прогулке будет исчерпан; обидно только, что кончилась она не так приятно, как началась. Он затоптал так громко, что Нейфер подскочил со сна. И пока тот одевался, Карл-Александр прошел в кабинет. Там лежала покойница, окна были завешены, горели высокие светильники, каббалистическое изображение небесного человека тоже было завешено. А у изголовья девушки стоял рабби Габриель. Блекло-серые глаза над приплюснутым носом не поднялись на герцога. Рабби ничего не стал спрашивать, выведывать. Скрипучим, сердитым голосом сказал только:

— Уходите, господин герцог!

И герцог в смущении ушел. В нем не было гнева, одно лишь великое смятение и тоска, он покинул дом, не замечая, как праздничны и радостны цветы при свете дня, не разговаривая с Нейфером, который торопливо следовал за ним в жажде услышать звук человеческого голоса, он быстро шагал по лесу и до самой проезжей дороги, где дожидался экипаж, не проронил ни слова.

Рабби Габриель возвратился ночью, никем не извещенный. Он, по-видимому, не очень поразился, лишь сдвинулись густые брови и три отвесные борозды еще глубже врезались в широкий невысокий лоб. Он произнес благословение, которое полагается произносить при виде умершего: «Слава тебе, Иегова, господь бог наш, судья праведный». Он уложил девушку, скрестил на груди окоченевшие руки, согнул указательный, средний и безымянный пальцы так, чтобы они образовали букву Шин, начинающую священнейшее имя божие—Шаддаи. Он завесил окна, возжег светильники, завесил изображение небесного человека. Полил воды через плечо, вступив в комнату покойницы, полил воды в головы и в ноги девушки. Ибо вода отгоняет демонов, коих привлекает смерть. Лишь Самаил, дух зла, ангел смерти, не страшится воды. И рабби Габриель остался наедине с покойницей и с Самаилом, духом зла.

Меж колен склонил он голову, обратившись к земле, прочитал три гимна—гимн великого посвящения, гимн вознесения на третье небо, гимн воинства мертвых. И душа девушки была тут, и дух зла не мог похитить ее. Ах, рабби Габриель знал, что она еще тут, не может она

прямо воспарить в вышний мир, ибо не выполнено еще ее назначение в мире низшем, потому-то дитя и призывало его. Он же был далеко, и она умерла, прежде чем он пришел к ней на помощь.

Маленьким, ничтожным комочком сжался полный старик в комнате, где властвовал Самаил, дух зла, и витала трепетная душа девушки. И он заговорил с ней своим скрипучим, неблагозвучным голосом; но сказать ей он не мог ничего, ибо она перешагнула уже за порог третьего мира, и удержать ее он не мог, как бы она ни жаждала этого.

И, почувствовав, что ее уносит все дальше и что дух зла заслоняет ее, он напутствовал ускользящую тень теми словами Писания, которые так любила она: «Как была ты сладостна мне, Ноэми, дочь моя! Возлюбленная! Прекрасная моя! Лилия долины! Роза Сарона!» Тут ощутил он последний трепетный привет. Но Самаил был сильнее его и уносил ее все дальше. Тогда пал он на лицо свое, никогда не был он так отягощен плотью, как сейчас, и пролежал долгие часы, обессиленный горем. А светильники горели, и пальцы покойницы были сложены знаком Шин; но никакой знак не имел уже власти, комната была пуста, и он остался без опоры, в душераздирающей скорби, один с Самаилом, духом зла.

Герцог полунамеками, с недомолвками, рассказал Вейсензе о происшедшем. Верховой к Зюссу был давно в пути. Карл-Александр в ожидании еврея проявлял шумную веселость, много ел, пил, сквернословил.

Вейсензе понял одно — девочка умерла. В присутствии герцога ему удалось соблюсти учтивость и выдержку. Наедине он сломился окончательно. Еврей взял верх. Еврей победил снова. Девочка умерла. Она не была осквернена, оплевана, сломлена, она просто умерла; отлещена и непорочной тенью сладостно улыбалась с высот, и еврей не был смешным, приниженным, грязным сводником, как он, еврей был почти трагичен, он был мученик, его сокровище не потускнело, оно осталось незамазанным; когда нечистая рука протянулась за ним, оно растворилось в ясном горнем воздухе. Теперь уже неоткуда быть щекочущему любопытству, теперь его совсем не тянет заглянуть в лицо еврею. Поникнув, сгорбившись, сидел он в кресле, весь опустошенный, и почти бессознательно, непрерывно бормотал про себя: «*Nenikekas, Iudaie! Nenikekas, Iudaie!*»¹

Зюсс между тем мчался в Гирсау. Когда он получил сообщение, что герцог в Гирсау и приказывает ему, не

¹ Ты победил, иудей! (греч.)

мешкая ни минуты, ехать туда, у него от испуга похолодело внутри. Для него сомнений не было — над девочкой нависла угроза или с ней уже стряслась беда.

Но в Гирсау, у Вейсензе, ему сказали, что герцог выехал на прогулку в лес и не угодно ли ему побеседовать с господином председателем консистории. Но Зюсс не стал дожидаться медлившего в беспомощном смятении Вейсензе и поспешил дальше, в лес. Пешеходная тропинка, деревянный забор, купы деревьев. Цветочные клумбы. Белый дом. Ни слуг. Ни герцога. Ни рабби. Словно влекомый какой-то силой, без малейших колебаний, сомнений и остановок, прямым путем направился он в обширный кабинет. Завешенные окна. Высокие светильники. Покойница — руки сложены на груди, указательный, средний, безымянный пальцы согнуты знаком Шин. Зюсс упал навзничь. Долгие часы пролежал без сознания.

Рабби стоял перед ним, когда он раскрыл глаза. Рабби увидел состарившегося, поседевшего человека. Гибкая, упругая спина сгорбилась и согнулась, гладкие белые щеки опали и обросли, некрасивыми, тусклыми стали каштановые волосы. Рабби еще раньше набальзамировал покойницу. Теперь он ходил по комнате, возжигая новые свечи, лил воду, отгоняющую демонов.

После долгого как вечность молчания Зюсс спросил:

— Она умерла из-за герцога?

— Она умерла из-за тебя, — сказал рабби Габриель.

— Если бы я удалился с ней, — спросил Зюсс, — давно бы удалился в глушь, на покой, она бы не умерла?

— Она умерла из-за тебя, — сказал рабби Габриель.

— Можно говорить с мертвыми? — спросил Зюсс.

Рабби Габриель содрогнулся. Потом сказал:

— В книге о воинстве мертвых говорится: «Устремите мысль к умершему, и он явится вам. Умолите его в душе своей, и он придет, удержите его, и он пребудет. Если вы помышляете о нем с любовью или ненавистью — он чувствует это. Чем сильнее любовь, чем сильнее ненависть — тем сильнее он чувствует это. На каждом празднике, которым вы чтите умершего, присутствует он, вокруг каждого изображения, которым вы запечатлеваете его, реет он, внемлет каждому слову, которое раздается о нем».

— Могу я говорить с ней? — спросил Зюсс.

Еще сильнее содрогнулся рабби Габриель. Потом сказал:

— Будь чист, и она пребудет в покое. Если вольешься ты в третий мир, вместе с тобой и она погрузится в волны третьего мира.

Тогда Зюсс умолк. Он ничего не ел, ничего не пил. Спустилась ночь, занялся день, он не шевелился.

Рабби сказал:

— Герцог хочет видеть тебя.

Зюсс не отвечал. Вошел Карл-Александр. Отпрянул назад. Он еле узнал Зюсса. Этот человек, с темной, грязной щетиной вокруг рта и на щеках, с некрасивыми, тусклыми волосами, с ввалившимися, покрасневшими, неподвижными, слезящимися глазами,—это ли Зюсс, его еврей и финансовый директор, блистательный кавалер, сладострастный идеал множества женщин?

Хриплым, осипшим голосом, то и дело откашливаясь и запинаясь, Карл-Александр сказал:

— Надо быть мужчиной, Зюсс! Нельзя зарываться в свое горе! Я видел девочку, я знаю, какова она была. Мне понятно, чего стоит потерять ее. Но вспомни, сколько тебе еще осталось в жизни. Тебе осталась милость и любовь твоего герцога. Пусть она послужит тебе утешением.

С тихим, равнодушным, как бы замороженным смирением некрасивый, неряшливый человек ответил:

— Да, господин герцог.

Карлу-Александру стало не по себе от этой тихой покорности. Он предпочел бы, чтобы Зюсс высказал свою обиду, а он сам, герцог, вспылит бы слегка, и потом бы все уладилось. Такой монашеский тон был ему совсем не по нутру. Как выразился Шютц, это пахло хедером и кладбищем. Смутным напоминанием о скрипучем голосе мага, о том, чего он не сказал, повеяло на него. Довольно недомолвок, он будет действовать напрямик. С грубоватой, по-своему сердечной прямоотой он сказал:

— Глупо, что это приключилось как раз при мне. Как произошло несчастье, не докопается никогда и никто, будь он еврей, христианин и даже маг. Я нашел ее, когда она лежала мертвая среди цветов. Ты, конечно, заподозришь, что я виновник этого прискорбного случая. Но, по моему разумению, ты пойдешь по фальшивому следу.

Так как Зюсс молчал, он добавил:

— Я искренне огорчен, еврей, поверь мне. Не следует почитать меня распутником, который *coûte que coûte*¹ добивается своего. Понятно, я немного приволокнулся за ней. Но предугадай я это, духу моего бы тут не было. Даже руки бы не велел ей поцеловать. *Parole d'honneur!*² Ну, в самом деле, кто мог думать, что девочка совсем не понимает шуток.

С тем же тихим, замороженным смирением Зюсс сказал:

¹ Чего бы то ни стоило (фр.).

² Честное слово (фр.).

— Да, ваша светлость, кто мог так думать.

Карл-Александр растерянно умолк. Затем, собравшись с мыслями, начал вновь:

— На мой взгляд, я ничем не прощтрафился перед тобой. Если ж да, прошу у тебя по всей форме прощения. Мне не хочется, чтобы между нами что-нибудь встало. Не затаи против меня зла! Служи мне так же верно, как доселе! Дай мне руку!

И Зюсс вложил свою руку, которая была холодна как лед, в большую руку герцога. Некоторое время они стояли так рука в руке, без пожатия, тяжкая, гнетущая скованность охватила обоих. Окна были завешены, в мерцании светильников шевелились и ширились каббалистические фигуры. Самаил, дух зла, присутствовал здесь. Так стояли они, воплощая одну из фигур того призрачного хора, который обоим являлся в туманных видениях.

Усилием воли вырвался герцог из оцепенения.

— *Bien*¹,—сказал он.—Похорони свою покойницу! А потом поспеши в Людвигсбург! Дела много.

И с тем удалился. Выполнив такую деликатную задачу, радостно вдохнул утреннюю свежесть. Видит бог, он вел себя, как подобает государю с широкими взглядами и добрым сердцем. Веселый, довольный собой, сорвал он празднично нарядный цветок с клумбы. Оставил позади белый дом, насвистывая и радуясь солнечным бликам, зашагал по лесу и в превосходном настроении отбыл в свою столицу.

Подле покойницы примостился Зюсс. На бледных губах под уродливой щетиной застыла непонятная, лукавая усмешка. Без слов позвал он дитя, и дитя услышало его. Он рассказал умершей, как был он хитер, рассказал о своей грядущей мести. Разве он не показал себя мужчиной? Разве он не обуздал себя и не был невозмутим? Не только не вцепился он в горло врагу, но говорил с ним дружелюбно, и язык не отнялся у него. Протянул ему руку и не удавил его, вдыхал его смрад и не задохнулся. Как растерян был тот, не мог взять в толк, никак не мог постичь, почему дитя ускользнуло, недолго думая скрылось, прежде чем он утолил свою августейшую похоть.

Что это он сказал напоследок? В Людвигсбурге много дела? Откупиться хочет от него делами, аферами оплатить смерть его ребенка! Вот глупец, семикратно ослепленный! Но ведь он-то остался спокоен, отвечал дружелюбно и смиренно и остался спокоен. А тот, верно, радовался, что отделался так дешево. Вот лежит дитя, комочек мертвой плоти, горсточка праха и улика преступления. Ну, верно,

¹ Ладно (*фр.*).

думал тот, раз уж он над телом умершей не вцепился мне в глотку, значит, и впредь нечего опасаться такого ничтожества. Ошибаетесь, господин герцог! Ошибаетесь, светлейший убийца! Не так примитивно прост ваш Зюсс, он не ландскнехт, не крестьянин и простак, чтобы удовлетвориться такой грубо шаблонной местью. Его месть будет куда утонченней. Он сперва даст ей как следует навариться и отстояться.

Улыбка на бледных губах стала явственнее, так что обнажились зубы, обычно белые и блестящие, а теперь пожелтевшие, мертвенно-тусклые.

Рабби Габриель прошел по комнате тяжелыми, неспешными шагами.

— Ты на ложном пути, Иозеф,—неожиданно сказал он обычным своим скрипучим, сердитым голосом.

Зюсс взглянул на него враждебным взглядом. А! Опять он тут? Опять он станет перечить ему? Что другого осталось ему, кроме мести? Уж не своими ли возвышенными речениями поможет он ему? Брось человека в пропасть и прикажи ему: не падай! И он злобно взглянул на старика усталыми, воспаленными глазами. Но не вымолвил ни слова.

Молчал и рабби Габриель. Тихо сидели оба подле умершей. Мысли их шли разными путями. Но Самаил, дух зла, присутствовал здесь, и где бы ни витали их мысли, они неизменно возвращались к Самаилу, духу зла.

Все еврейские общины Римской империи облетела весть: у реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера, министра и большого вельможи при герцоге Вюртембергском, спасителя Израиля в годину страшных, великих бедствий, умерло дитя. Была у него дочь, единственное его дитя. И умерло у него дитя. И возьмет он его и погребет во Франкфурте. Слава тебе, Иегова, господь бог наш, судия праведный.

И собрались мужи из всех общин с востока и запада, с юга и севера на погребение дочери реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера, спасителя Израиля от великих бедствий. Прибыли раввины из Фюрта, из Праги, из Вормса, и даже прибыл из Гамбурга учитель, рабби Ионатан Эйбешютц, внушавший людям вражду и страх, тайный последователь и потомок каббалистического мессии Саббата Цеви.

В Гирсау, в белый домик с цветочными клумбами, прибыли франкфуртский раввин и с ним Исаак Ландауер, знаменитый финансист. Он крепко, без слов, сжал руку Зюсса. Собственно, ему следовало радоваться, что вюртембергский финансиер утратил франтоватый вид и

перестал быть похожим на гою и светского кавалера; наоборот, небритый, с уродливой щетиной на щеках, в неопрятной, помятой одежде он был в точности похож на еврея из гетто, и пахло от него, как пахнет в гетто. Но Исаак Ландауер, как ни велико было искушение, воздержался от всякого намека в этом смысле, он потер зябкие руки, покачал головой, расчесал рыжеватую, поседевшую бородку, кашлянул и промолчал.

А потом девочку положили в гроб. Рабби Габриель надел ей на шею маленький золотой амулет, где слово Шаддаи было окружено щитом Давидовым. Он позвал Зюсса, желтоватой бескровной рукой приподнял голову покойницы и под блестящие черные волосы, которые все еще не застыли и не померкли, насыпал госточку земли, тучной, черной, рыхлой земли, земли из Палестины, земли Сиона. Потом гроб заколотили; на своих плечах вынесли гроб четверо мужей — тучный рабби Габриель, исхудавший, обросший неопрятной бородой Зюсс, кроткий, ветхий Иаков Иошуа Фальк — франкфуртский раввин, и утонувший в широком кафтане Исаак Ландауер на своих плечах понесли покойницу из белого домика, мимо празднично радостных цветов, через лес, к деревянному забору. Там ждали другие еврейские мужи, они приняли у них легкую ношу и на своих плечах понесли ее дальше, а через полмили ждали другие мужи и еще через полмили другие. Так несли они дитя Иозефа Зюсса Оппенгеймера по всей стране и дальше, за ее пределы, в город Франкфурт. И маленький гробик не касался земли, и его не ставили на дроги, с одного человеческого плеча на другое человеческое плечо скользил он вплоть до города Франкфурта. Но за гробом ехала большая повозка. А на пути стояли толпами евреи, и, когда безмолвная немногочисленная процессия проходила мимо них, они говорили:

— Слава тебе Иегова, господь бог наш, судия праведный! — И каждый сыпал в повозку горсть земли, тучной, черной, рыхлой земли, земли из Палестины, земли Сиона. Она назначалась для собственной главы и для собственного гроба, но они сыпали ее в повозку и с охотой отдавали ее. Дабы покоилось только в родной священной земле дитя учителя нашего и господина, реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера, который спас Израиль от великого страшного бедствия.

В городе Франкфурте место упокоения евреев было черно от народа, и эти суетливые, крикливые люди замерли в молчании, когда Иозеф Зюсс произнес над гробом: «Слава тебе, Иегова, господь бог наш, судия праведный». И в один голос ответили: «Суетен и многолик мир, и все в нем тлен и прах; един же и велик бог Израиля предвечный, всевидящий Иегова». А потом опустили

маленький гробик в землю Сиона, и земля Сиона покрыла маленький гробик. И посреди безмолвной тысячной толпы Зюсс иссушенным, беззвучным голосом прочитал молитву, прославляющую имя божие. И все вырывали траву и бросали ее через плечо. И говорили: «Как трава, увядаем мы в сем мире». И еще говорили: «Памятуем мы, что прах мы!» А потом омыли руки в проточной, отгоняющей демонов воде и покинули кладбище.

И тридцать дней во всех еврейских общинах Римской империи читали прославляющую имя господне молитву по девице Ноэми, дочери Иозефа Зюсса Оппенгеймера, учителя нашего и господина.

Возвратясь в Штутгарт, Зюсс с неистовым ожесточением окунулся в работу. Без церемоний вмешивался он теперь в католический проект, урывал себе все, что хоть отдаленно соприкасалось со сферой его деятельности. Он уже не выезжал на низкопоклонстве и угодничестве, а с безмерным, угрюмым, саркастическим высокомерием третируя окружающих, гонял министров, как лакеев. От него исходило мрачное, злобное презрение ко всему, что у людей принято звать честью, свободой и долгом. Издевательски жестоком задоре вынуждал он подчиненных к новым, ненужным унижениям, а когда они оказывались перед ним нагие, лишенные последних остатков человеческого достоинства, тогда он разил их молчаливой наглой насмешкой и тешил свое безмерное презрение к людям их терпеливым раболепством.

Совершенно открыто, в чудовищных размерах грабил он герцогскую казну. Он начислял себе огромные суммы за комиссию, по неслыханным ценам продавал герцогу ничего не стоящие ювелирные изделия. Новые тяготы взвалил он на стонущую, изнемогающую страну, и все выжатое таким путем цинично направлял в свою, а не в герцогскую сокровищницу. Раньше он угнетал страну планомерно, с определенной целью — выжать побольше денег, теперь же он душил и теснил ее лишь потому, что это доставляло ему утонченную радость. И творил он свое дело с беззастенчивой откровенностью, явно желая привлечь внимание Карла-Александра, всячески стараясь вывести его из терпения своим самоуправством. Но тот молчал.

И наружность еврея изменилась. Скользящая, пружинистая походка стала тверже, он теперь по-военному печатал шаг. Тверже, определеннее стали очертания щек, а пышные каштановые волосы, которые он раньше любил при каждой возможности выставлять напоказ, теперь были скрыты под гладким париком. Старше, суровее стал

он весь. Глубокий голос утратил ласкающую вкрадчивость, часто слышался в нем гортанный, властный, неприятный призыв; «чисто еврейский акцент», — говорили враги. Выпуклые глаза остались живыми и зоркими, обычно даже светились раболепным усердием; но временами в них непроизвольно мелькало что-то желчное, колющее — с трудом подавляемый зловещий багровый пламень.

Тяжелее ступала под своим наездником кобыла Ассиада. Уж не блистательного, возбуждавшего вражду и невольное восхищение, светски непринужденного кавалера носила она, бремя носила она, беспощадного притеснителя, который самому себе в тягость, всех ненавидит и всем ненавистен.

Пышные пиры он задавал по-прежнему. Но пиры эти были отравлены и нерадостны гостям. Он любил при этом публично, по ходу разыгрываемого представления или как-нибудь иначе, язвить людей меткими оскорбительными шутками, вскрывать семейные или общественные незадачи гостя и всегда без промаха попадал в самое больное место, так что многие из приглашенных весь вечер не помнили себя от мучительной тревоги — пощадит ли их хозяйское острословие.

С женщинами он был пренебрежительно и дерзко галантен. Была на свете одна женщина: лицо матово-белое, в глазах светились тайны тысячелетий; когда говорила она — голос соловья казался хриплым перед ее нежным голоском. Теперь она покоилась во Франкфурте: земля под нею и над нею — земля. Зачем же существовали другие? Они дышали, болтали, хихикали и раздвигали ляжки, стоило только их попросить. Да, эти все были таковы, а ее, единственной, уже не было среди живых.

Вейсензе оправился от жестокого потрясения и теперь приглядывался и принимался к Зюссу. Что-то зрело в этом непостижимом, неукротимом человеке, который был не таким, как все, что-то нарастало, какая-то чудовищная, ослепительная и оглушительная катастрофа. Тот не был таким, как он, тот не умел терзаться и терпеть. Сладострастно вдыхал председатель церковного совета серный запах близкого взрыва, и лишь жажда быть его свидетелем поддерживала жизнь в опустошенном человеке.

А вызывающий задор Зюсса все рос. Он открыто держал себя властелином страны, не зная преград своему самоуправству. С этим периодом совпало и дело юного Михаэля Коппенгефера. Вот в чем оно заключалось.

После двухлетней поездки с образовательной целью по Франции, Фландрии и Англии юноша, племянник профессора Иоганна Даниэля Гарпрехта, а также родня Филиппа Генриха Вейсензе, воротился на родину, в Швабию, и поступил на службу к герцогу Вюртембергскому в каче-

стве актуария. Очень рослый, с лицом смуглым, смелым, с ярко-синими глазами при темных волосах, двадцатитрех-летний юноша казался братом Магдален-Сибиллы. Из путешествия он вывез пылкие мечты о человеческом достоинстве и ярую ненависть ко всякому деспотизму: все эти юные, по-весеннему незрелые, бесхитростные мечты о более справедливом и гуманном общественном порядке и обновленном государственном строе неудержимо бурлили в пламенном юноше, чуть не разрывая ему грудь.

Жил он у Гарпрехта. Пожилой ученый, потерявший жену в молодых годах после нескольких месяцев брака, воспитал племянника, очень тосковал о нем во время его двухлетней заграничной поездки и теперь отдал юноше весь свой запас скупой на слова любви.

Путешествие научило Михаэля Коппенгефера вдвойне гордиться отечественной конституцией, такой либеральной по сравнению с государственным строем других германских княжеств. Правда, он был наслышан о военной автократии герцога, католической — вюрцбургца и хозяйственной — еврея. Но одно дело читать об этом в письмах и брошюрах, а другое — самому вариться в этом котле, собственными глазами видеть наглое порабощение, откровенный издевательский произвол. Юноша наблюдал торговлю местами и должностями, сделки с правосудием, выжимание соков из народа. Ограблены и лишены крова урахские Шертлины, изгнан за пределы страны его двоюродный брат и друг — исключительно даровитый юноша Фридрих Кристоф Коппенгефер; доведены до отчаяния и гибели начальник податного ведомства Вольф и управляющий казенным имуществом Георги. Разорена, выпотрошена изобильная, прекрасная, благодатная страна, под знамена согнаны тысячи, доведены до голода и нищеты десятки тысяч, растлены телом и духом сотни тысяч. Обнаглевший двор погряз в кутежах и распутстве, дерзкое насилие кичится пестротой мундиров, постыдное крючкотворство ехидно торжествует над ясными и благородными параграфами конституции. На подкупках зиждется власть, продажным стало правосудие, а свобода — драгоценная, прославленная свобода — негодная ветошь, которой герцог, иезуит и еврей утирают себе задницы.

Священное, жгучее негодование наполняло юношу, придавало мужественную твердость его смелому смуглому лицу, воспламеняло синеву глаз. Сколько логики в его юном красноречии! Сколько благородства в его гневе и возмущении! Снедающая скорбь по поводу нравственного упадка родины сильно подточила и сокрушила Иоганна Даниэля Гарпрехта. Теперь стойкий, прямолинейный старик все свои надежды возложил на юношу, и его скучные,

одинокие вечера зазеленели и расцвели освежающим и бодрящим присутствием молодости.

Зюсс с самого начала невзлюбил молодого актуария. Его раздражал высокий рост, мускулистая, чуть угловатая фигура юноши, в которой, однако, не было ничего от деревенской неотесанности. Искренность и прямота политических убеждений Коппенгефера тоже злили его. Обычно за политической оппозицией скрывалась простая корысть или же недостаточная даровитость. В том, что этот юнец, идя по стопам дядюшки, объявляет себя демократом, ничего удивительного нет; но когда молодой человек, щедро наделенный умом и всеми качествами, нужными для преуспевания, с таким пылом нападает на существующий строй в ущерб своей карьере—это уже свидетельствует о том, что в стране не изжиты самостоятельные политические взгляды—обстоятельство весьма малоутешительное. Однако до гирсауского несчастья Зюсс не обращал внимания на юную непримиримость актуария Михаэля Коппенгефера, опасаясь ее не больше, чем заученного пафоса публициста Мозера, и мятежный духом чиновник ни в малейшей мере не подвергался преследованиям.

Теперь же, после Гирсау, его отравленная душа сильнее разгорелась гневом при виде стойкой, вольнолюбивой молодой отваги. Остановив на юноше мрачный взор, Зюсс с коварством хищника приготовился к прыжку. Молодой человек держал себя столь неосторожно, что повод для сурового взыскания нашелся очень скоро.

Старик Иоганн Даниэль Гарпрехт давно предвидел возможность подобных столкновений; однако у него не хватало духа остудить прекрасный пыл Михаэля. Законное право юности—быть неразумной, воевать с кривдой и выпрямлять ее, даже калеча себе на этом руки. Но сердце у него сжималось и к горлу подкатывал ком при мысли, что снова придется ему проводить тоскливые вечера в одиночестве без согревающего присутствия юноши. И все же он надеялся, что ради того уважения, каким пользуется он, Гарпрехт, Зюсс не посмеет принять против Михаэля слишком крутые меры.

Среди мерзости, в которой погрязло отечество, среди всеобщего падения нравов актуарию Михаэлю Коппенгеферу брезжила властная и нежная заря. То была девица Элизабет-Саломея из семейства Гетц. Ее белокурая лилейная прелесть глубоко запала в душу мечтательного энтузиаста. Когда он узнал, что она мягко, но упрямо противостоит домогательствам Карла-Александра, она стала для него символом человеческой свободы. Их образы сливались у него воедино, и, говоря о любезной

свободе и прелестной девице Элизабет-Саломее Гетц, он пользовался одинаковой терминологией.

Однако Зюсс теперь не находил нужным считаться и с Гарпрехтом. Юный Михаэль Коппенгефер был отставлен от должности за то, что, невзирая на предостережение, не проявлял к герцогу должного пиетета и вел против него неподобающие, кощунственные и поносительные речи. Лишь из особой милости и снисхождения его не предали суду. Тем не менее ему было предписано в двухнедельный срок покинуть страну и до конца жизни не переступать ее пределов.

Эта угроза давно висела в воздухе. Но удар все же оказался неожиданным и совсем сломил старика Гарпрехта. Неужели же ему опять сидеть одиноко и уныло в большой, опустелой комнате только с книгами да манускриптами! А единственное общество—это тени по темным углам. Сгущаясь, они превращаются в отощавших, согбенных переселенцев и обездоленных нищих или тянутся к тебе костлявыми, алчными пальцами еврея. И хватают за горло и душат тебя. А был бы здесь мальчик, задорный и живой, и стоило бы ему только вздернуть густые темные брови, как рассеялись бы тени, а яркосиние глаза его прогнали бы из углов пугающий, леденящий сумрак. Но нет его. Еврей изгнал его из страны. Еврей не пускает его сюда.

Поборов себя, строптивый старик решился пойти к герцогу. Никогда еще он не просил, он всегда требовал правого решения, он привык, чтобы с просьбами приходили к нему. Тяжко было ему, человеку прямолинейному, являться в роли просителя, и слова туго и нерешительно шли с его уст. Приговор справедлив и не слишком суров. Но да соблаговолит его светлость принять в соображение, что в стране действительно не все благополучно и что лучше молодому человеку открыто высказать недовольство, нежели, подобно другим, исподтишка затевать недоброе. Карл-Александр слушал мрачно, крепко пожал руку удрученному старику, нерешительно пообещал пересмотреть дело.

Сурово потребовал он отчета. Зюсс сам явился с докладом. Да, все было так, как изложил профессор. Только он, Зюсс, расходится с профессором во взгляде на ограждение княжеского престижа. Герцог досадливо прекнул Зюсса, что тот поставил его в щекотливое положение—ему приходится либо идти на попятный, либо отказать достойнейшему, почтенному человеку в первой и единственной просьбе. Он понимает, нагло и ехидно отвечал Зюсс, что его светлости труднее отклонить претензию швабского профессора, нежели еврея—тайного советника по финансам. А у него, у Зюсса, были

еще другие, весьма веские основания устранить актуария. Ибо причиной тому, что шансы герцога у дам семейства Гетц невысоки, с дерзкой фамильярностью добавил он, в первую очередь является молодой Коппенгефер, который стоит поперек дороги его светлости и мешает добиться успеха у девицы Элизабет-Саломеи. Герцог сердито поворчал себе под нос и умолк.

Оставшись один, он решил теперь уж ни за что не отправлять актуария в изгнание. Еврей беспардонно поглупел и обнаглел. Что же это! Прикажете ему, Карлу-Александру, бояться, как бы ничтожный демократ и смутьян раньше его не добился благосклонности девицы? Или еврей воображает, будто теперь, после Гирсау, он, герцог, робеет перед каждой девчонкой, будто он изверился в своей мужественности? Яростная похоть овладела им. *Mille tonnette!* Недаром он зовется Карлом-Александром, герцогом Вюртембергским и Текским,—уж он сумеет укротить и усмирить девицу наперекор любым крамольным молокососам. Во всяком случае, конкуренции он не боится—и тотчас же отменит приговор.

Но когда он уже совсем собрался продиктовать указ, его взяло сомнение, и он решил подумать до завтра. На другой день он уехал в Людвигсбург. Спектакли, празднества, политические дела отвлекли его. Настал день, когда приговор должен был вступить в законную силу, а приказа об отмене так и не последовало. Юному Михаэлю Коппенгеферу пришлось, по примеру его кузена Фридриха Кристофа, покинуть пределы страны, и вечера профессора Иоганна Даниэля Гарпрехта стали унылы и безрадостны.

Карл-Александр не мог сразу же что-либо изменить в произошедшем. При мысли о дамах Гетц он даже радовался этому. Но сознаться себе в таких чувствах не желал. И кипел глухим бешенством против еврея. Тот всему виною; тот поставил его перед выбором: либо Гарпрехт, либо он, еврей.

Зюсс знал, что Карл-Александр, в сущности, никогда не шел на сознательную подлость; верно, и тут он утаивает от самого себя истинные мотивы изгнания Коппенгефера. Потому-то Зюссу и не терпелось показать этот приговор в таком свете, чтобы герцог непрестанно терзался им.

— Теперь авантюра с дамами Гетц пойдет как по маслу, недаром мы убрали молодого Коппенгефера,—как бы вскользь заметил он.

Герцог собрался было накинуться на него, но ограничился тем, что пробурчал довольно нерешительно:

— Мы? Мы?

Зюсс улыбнулся и не ответил ни слова.

Но до врагов его дошел слух, будто герцог счел меры еврея против молодого Коппенгефера чересчур крутыми и нежелательными. Они не могли понять долготерпения герцога и воспользовались предложением, чтобы ополчиться на такую непостижимую снисходительность. Они явились рассказать ему, как Зюсс высасывает и выжимает из страны все соки лишь в свою пользу, ничего не уделяя в герцогскую казну, как он на каждом деле обманывает и обворовывает герцога. Все их обвинения были подкреплены множеством цифр.

Они проговорили целых два часа, и Карл-Александр не прерывал их; он не только выслушал их до конца, но даже просил разъяснить кое-какие подробности, которые были ему непонятны: больше всего заинтересовали его показания дона Бартелеми Панкорбо о том, как бессовестно Зюсс обжужливает его на бракованных камнях. Когда доклад был окончен, он вежливо отпустил посетителей, однако воздержался от каких-либо суждений.

На другой день Зюсс, незванный, явился в резиденцию. Ему стало известно, сказал он, что против него затевают новые интриги. Он хотел бы оградить себя от вторичного унижительного для него копания в его бумагах. А посему он покорнейше и настоятельно просит об отставке.

— Слушай, еврей!—сказал Карл-Александр.—В октябре ты мне продал камень за пять с лишним тысяч дукатов. Что стоит этот камень?

— В настоящее время он и пяти сот не стоит,—сказал еврей. И, глядя на герцога в упор, добавил с вызывающей, зловещей улыбкой:—Да, цена на такие камни зависит от спроса, и стоимость их непостоянна.

— Так,—сказал Карл-Александр. И оба замолчали.

Герцог позвонил и приказал незамедлительно явиться гофканцлеру Шефферу. Но прошло двадцать минут, пока канцлер явился, и за эти двадцать минут ни один из них не произнес ни слова. Они и не думали друг о друге. Глубокая, насыщенная тайной тишина царила в светлом, обширном, пышном покое. Образы и видения пронеслись от герцога к Зюссу и от Зюсса к герцогу. Скрипучий голос мага звучал в этих видениях, и мертвая девочка была в них, с пальцами, согнутыми знаком Шин.

Наконец явился господин фон Шеффер. Он считался теперь в числе врагов Зюсса, пот прошиб его при виде еврея, он подумал, что герцог хочет устроить ему очную ставку с евреем, а дьявольской ловкости этого хитреца противостоять нелегко.

Однако дело обернулось иначе. Не успел канцлер войти, как герцог приосанился и резко, холодно, тоном военной команды, заявил огорошенному сановнику:

— Господин финансовый директор, здесь присутствующий, жалуется, что его деятельность взята под подозрение, и ходатайствует об отставке. Во внимание к верной его службе, снискавшей наше полное и благосклонное одобрение, угодно нам, чтобы приняты были все меры, дабы удержать его. Соболаговолите, ваше превосходительство, немедленно составить документ, законодательный акт или разрешительную грамоту, называйте как хотите,— словом, герцогский рескрипт, согласно которому все действия господина финансового директора, как прошедшие так и будущие, не подлежат контролю. Никому, кто бы он ни был, не разрешается требовать у него ответа за его поступки. Соболаговолите немедленно составить в надлежащей форме таковой документ и подать его нам на подпись, дабы он мог быть опубликован на ближайшей неделе в «Правительственном еженедельнике». Мы ждем.

Голос Карла-Александра во время этой речи звучал так холодно и размеренно, что перепуганный канцлер не посмел возражать. Ни герцог, ни еврей не вымолвили ни слова, пока Шеффер составлял документ. Так же безмолвно подписал его Карл-Александр. И лишь затем, едва владея собой, крикнул канцлеру:

— В «Правительственный еженедельник» немедленно! — Дрожа, удалился министр.

Зюсс рассыпался в раболепных, смиренных изъявлениях благодарности за великую, незаслуженную милость и необычайное доверие. Но в глазах его не было признательности, в них был дерзкий вызов и насмешка. Молча, враждебно померялись они взглядом, и Карл-Александр понял, что откупиться ему не удалось.

— Уходи, еврей! — яростно крикнул он наконец. И Зюсс пошел. Но не так, как Шеффер. Медленно, с поднятой головой и с победоносной, злой, загадочной усмешкой шел он.

А герцог наедине бушевал и кипел. Из сил выбивался, до крови раздирая себя, пытаясь разорвать, расторгнуть незримые, несокрушимые узы, связующие его с евреем.

Белобрысый советник экспедиции Гетц, который, несмотря на крайнюю молодость, был выдвинут на пост особоуполномоченного тайной канцелярии, с беспокойством наблюдал, как герцог увивается за матерью его, тайной советницей Иоганной Ульрикой Гетц, и сестрой, девицей Элизабет-Саломеей. Он и сам не знал, как ему держать себя при этом. С одной стороны, ухаживания монарха лестны для дамы и долг каждой подданной телом и душой принадлежать богом данному государю; и для его собственной карьеры каприз монарха мог быть только

полезен. Но, с другой стороны, путь от герцога и к герцогу фатальным образом шел через еврея: ему даже казалось, что Элизабет-Саломея чуть не больше благоволит к еврею, чем к герцогу. Конечно, у Зюсса от пребывания при дворе несколько выветрилась еврейская вонь, однако для его, Гетца, амбиции довольно тягостно видеть сестру и мать в амурной связи с вышеупомянутым евреем. Вероятно, советник экспедиции не замедлил бы пресечь внутренние противоречия, подать в отставку и удалиться с матерью и сестрой в свое поместье под Гейльбронном. Но история с неаполитанкой и болезнь Карла-Александра внесли смуту в его душу, он считал себя неоплатным должником своего государя, и совесть не позволяла ему избрать такой выход. В беспомощной тоске он молча предоставил событиям развиваться своим путем.

Подвигались они пока что туго, рывками. Зюсс то и дело нажимал на тормоз и придерживал герцога. Тот, правда, тешился замыслом сорвать плод силой, как ему уже случалось не раз; но ему хотелось доказать еврею, что он одним только куртуазным орудием способен проложить себе дорогу в заповедник. Поэтому он выжидал, и длительное ожидание лишь сильнее разжигало его похоть.

Он посылал богатые подарки обеим дамам попеременно. Приносил их чернокожий, тот самый мамелюк, который всегда молчал и слыл в народе немым. Гибкий, с глянцеви́то-темной кожей, он нравился дамам, в нем было что-то чуждое, какая-то звериная печаль, он пользовался большим успехом у дворцовых служанок, а также у особ, стоящих много выше. Нежные, белокурые, лилейные дамы Гетц действовали на него очень возбуждающе; принося им подарки, он молча пожирал их лилейную прелесть своими глубокими глазами, из которых глядела вся тоска пустыни. Но девица Элизабет-Саломея, заметив его неподобающе настойчивые взгляды, только рассмеялась ему в лицо, по-ребячьи звонко и бесчувственно.

Зюсс вертел обеими женщинами как хотел. Они были самозабвенно и безгрешно влюблены в него, не питая при этом ревности друг к другу. Напротив, они даже подстрекали друг друга, восторгаясь его разносторонними достоинствами. В то время как мать превозносила его гениальность—она давно поняла, что он, а не Карл-Александр правит герцогством, и не переставала дивиться, как он могуществен, грозен и при всей грозности полон такого обаяния,—дочь находила его мужественным, сильным, но отнюдь не грубым и неотесанным. Как не похож он на несдержанного Михаэля Коппенгефера, не похож и на шумливых, наглых офицеров. И, прижавшись друг к

другу, точно сестры, они пели ему хвалы и упивались сознанием, что первые люди государства, герцог и еврей, волочатся за ними, а советник экспедиции хмуро молчал.

Захоти Зюсс, он мог бы овладеть обеими женщинами раньше герцога. Но он загадочно улыбался при мысли об этом, делал вид, будто недостоин коснуться их, не замечал их авансов и только, пользуясь своим влиянием на них, не подпускал к ним герцога.

Вышло так, что именно в это время какой-то голландский торговец драгоценными камнями продавал особенно редкостный камень, именуемый «райский глаз». Он был вывезен из Индии неким англичанином, искателем приключений, и приобретен, по-видимому, не совсем честным путем. Так или иначе, «райский глаз» был самым красивым и безупречным экземпляром этого рода во всей Европе. Великий визирь давал за него несметные деньги; но, прежде чем возратить Востоку его сокровище, амстердамский купец решил узнать у властелинов христианского мира, не заплатит ли кто-нибудь из них больше язычника.

И вот однажды, когда дамы Гетц расхваливали подарки Карла-Александра, Зюсс упомянул о «райском глазе» и о том, что он теперь как раз продается. Кто сделает даме такой презент, тот докажет, что любит ее по-настоящему; перед такой щедростью не устоит ни одна дама.

Все случилось, как предвидел Зюсс. Кокетливо и будто вскользь девица Элизабет-Саломея в разговоре с герцогом упомянула о «райском глазе». Карл-Александр спросил у донна Бартелеми Панкорбо, что это за камень и сколько он может стоить. О, это алмаз, и притом большой ценности, загробным голосом объявил португалец и жадно вытянул потную шею из огромных брыжей. Да и стоит же он! И он назвал сумму, которую предлагал великий визирь. Пять поместий с окрестными деревнями можно купить на эти деньги. Карл-Александр опешил, услышав цифру, и воздержался от покупки.

Он догадывался, он понимал, кто заронил в изящную белокурую головку такую корыстную причуду. Но он-то не последний дурак, чтобы этакую уйму денег — сколько угодий и солдат можно приобрести на нее! — выбрасывать на бабенку, которую он и без того может швырнуть на постель; и кто посмеет пенять ему после того, как он столько времени, столько комплиментов и подарков ухлопал на это бабье. Вот только еврей будет почитать его скрягой и скопидомом. Будет, по своему ехидному, подлому обычаю, незаметно вдалбливать в их куриные мозги представление о нем как о скряге и Гарпагоне. А сладострастный пыл его разгорался еще пуще. Вот дьявольщина! Разве может женщина с охотой покориться

тому, кого выставляют перед ней мерзким скопидомом! Он вызвал дону Бартелеми и отдал приказ просиявшему от восторга португальцу приобрести камень.

Однако когда Панкорбо впопыхах, обуреваемый жадностью, явился к торговцу, «райский глаз» был продан. Кому? Торговец не знал. Камень куплен через посредника, который, не торгуясь, согласился на цену, намного превышавшую ту, что давал великий визирь.

— Тем лучше! — ухмыльнулся герцог, рассказал о задаче мадам Гетц и выразил сожаление, что лишен возможности побаловать их.

Два дня спустя Зюсс преподнес «райский глаз» девице Элизабет-Саломее. Это был непомерно дорогой презент, молва о нем пошла по всей западной Германии, а молодой советник экспедиции теперь уж совсем не знал, как ему быть.

Незванный предстал Зюсс перед мрачным как туча герцогом. В манере, привычной Карлу-Александру, принялся бесстыдно, смачно, обстоятельно, со всеми подробностями расписывать приятные качества девицы.

Взбешенный Карл-Александр грозной махиной надвинулся на еврея и занес кулак. Тот стоял, не шевелясь, и лишь смотрел на него.

И Карл-Александр остановился. Засопел, задыхаясь.

— Теперь мы квиты, еврей? — хрипло выдавил он.

Но еврей молчал. И герцог понял, что это еще не расплата.

Между тем во дворце князя-епископа Вюрцбургского состряпали особенно хитроумный, каверзный план. По образу управления Австрийскими Нидерландами, предполагалось разделить Вюртемберг на двенадцать военных округов. В распоряжении начальника каждого округа должен находиться полк солдат, все ведомства подчиняются непосредственно ему. Это означало введение чисто военной власти в стране, окончательно узаконенную военную автократию.

Чтобы отнять у парламента последние остатки самостоятельности, был заготовлен указ, согласно которому в каждом заседании совета одиннадцати должен участвовать особо для этого отряженный герцогом тайный советник. Этот чиновник обязан отстаивать предложения, выдвинутые герцогом, и, кроме того, брать на заметку тех лиц, которые высказываются против его проектов; ежели их мнение окажется толковым, можно и согласиться с ним, если же они возражают единственно из духа противоречия и по злобредности, придется кое-кого из смутьянов упечь в крепость.

Поглощая одну чашку кофе за другой, невзрачный тайный советник Фихтель при участии председателя церковного совета разработал тщательно продуманное, дьявольски хитрое заключение, долженствующее оправдать эти незаконные действия в глазах императора, рейхстага и всего *Corpus Evangelicorum*. В тоне наивнейшего чистосердечия там был придан обратный смысл всем статьям конституции, а главное, с помощью артистического адвокатского приема в желательном духе истолкован следующий пункт: касательно договоров между государем и ландтагом следует придавать сугубое значение тому, в какие времена данный договор заключен, ибо то, что признавалось разумным когда-то, может сейчас оказаться непригодным. Тысячи рук действовали заодно. Император и папа давали благосклонно ободряющие указания, а давнишние гуманные соглашения, подписанные венскими советниками и Карлом-Александром при его восшествии на престол, по которым он обязывался военной силой поддерживать императора в войне с Францией, а император обязывался оказывать ему помощь в борьбе за его суверенные права — и тоже военной силой, — эти соглашения приобрели вдруг весьма грозный характер для юртембергской конституционной партии. Старый князь Турн-и-Таксис перебрался в Австрийские Нидерланды и оттуда руководил реорганизацией государственного управления в столице Вюртемберга. Военной реформой на свой сугубо прямолинейный лад заправлял Ремхинген, финансовой — Зюсс, дипломатической — Фихтель; до конца разложить парламент и подорвать последние остатки его авторитета было поручено Вейсензе.

Карл-Александр развил неутомимую, лихорадочную деятельность: созывал конференции, собственноручно строчил бесчисленные письма, устраивал смотры войскам. Он целиком окунулся в католический проект, словно в целительный источник. Никакие пиявки, никакие кровососные банки докторов Брейера и Зеегера не помогали ему, когда от скрытой злобы на еврея кровь густой и тяжелой волной прилиwała ему к голове. Теперь же у него было смутное чувство, что только католический проект избавит его от несносной зависимости. Герцог отнюдь не отличался благочестием. Богу известно, что не ради небесной девы Марии обратился он в католичество, а ради Марии-Августы Турн-и-Таксис и мешка дукатов в придачу.

Но хотя он и позволял себе время от времени вольнодумные шутки, однако был далек от новомодного убежденного и безоговорочного атеизма.

Обряды католической церкви пришлись ему по вкусу, он считал, что во многих смыслах военачальнику и

монарху куда более пристала эта религия, тем паче что ее пышность соответствует богатству и великолепию столь любезных ему мундиров. Удобно также время от времени исповедаться перед кротким, покладистым патером Каспаром, хотя самые свои тайные греховные помыслы трудно высказать другому, когда и до собственного сознания их боишься допустить второй раз.

Теперь его нерадивая вера стала устойчивее, приобрела внутреннюю опору. Если прежде религиозные убеждения были для него политическим средством, обязательной формальностью, без которой император и папа не согласились бы поддержать швабскую военную автократию, или, в лучшем случае, пустым ритуалом, то теперь единодержавие приобрело для него некий мистический смысл, сделалось своего рода религией. Он считал, что призван послужить великой божественной идее; власть, за которую он боролся, превратилась в священный символ, а борьба за нее — в служение богу. На радость своему духовнику, отцу Каспару, и приятелям своим, князьям церкви, он стал заметно набожнее и тщательнее соблюдал обряды.

В действительности же, сам себе не сознаваясь, он таким ревностным служением богу как бы искупал свою загадочную, несносную, нерасторжимую связь с евреем. При помощи казуистических уловок, которым научили его иезуиты, он пытался доказать себе, что нуждается в евреях по чисто политическим причинам и лишь потому терпит его ненавистное присутствие. Но, едва достигнув цели, он схватит подлеца за шиворот и посадит в каземат. Иногда же он уговаривал себя, что, в награду за утверждение владычества церкви в Швабии, господь непременно расторгнет его мучительную зависимость от еврея.

Эх, не следовало ему домогаться предсказаний еврейского мага, не следовало их выслушивать! Второе он выслушал охотно, но ему по-прежнему не давали покоя слова: «Первого я вам не скажу». Он написал своему другу князю-аббату Эйнзидельнскому в Швейцарию с настоятельной просьбой прислать ему прорицателя и звездочета-католика, ибо и сам князь-аббат был знаменитейший астролог. Вскоре в самом деле явился присланный им маг. Он совсем не был похож на еврея-каббалиста. Тот обличьем и поведением ничем не отличался от обыкновенных людей, и все же каждому при встрече с ним становилось как-то не по себе. Зато маг, рекомендованный князем-аббатом, пожаловал с внушительным арсеналом опытного чернокнижника. Он привез сложные сооружения: треножники, подзорные трубы, реторты, чудодейственные подковы, потребовал, чтобы ему отвели уединенный покой в башне; еженощно, облачась в расписан-

ный таинственными знаками балахон и творя загадочные заклинания, поднимался на крышу замка, приказывал принести ему земли с погоста, в полнолуние собирал влагу с запотевших окон, жег осиновые дрова, дожидаясь, чтобы они превратились в уголь, и проделывал еще множество столь же странных манипуляций. Часто около полуночи в его комнате раздавался дикий шум, и лакеям, которые, поборов страх, подслушивали у дверей, казалось, будто в окно, звеня колокольцами, врывается запряженная в тяжелую колымагу лошадь. Астролог обещал герцогу точнейшим образом определить по звездам самый благоприятный день и даже час для замышленного им предприятия. Герцог вынужден был признать, что, несмотря на свои волшебные действия, этот черно-книжник производит на него гораздо меньше впечатления и внушает меньше доверия, нежели скромный, незаметный каббалист — одним своим присутствием; и когда Зюсс, открыто осмеивавший астролога, указал Карлу-Александрю на пушку, присовокупив: «Ваша светлость, вот вам лучший прорицатель и звездочет», — герцог разразился громким хохотом. Однако совесть его успокоилась оттого, что он призвал к себе мудреца-христианина; да, кроме того, у еврейского колдуна нельзя было больше ничего выудить.

Хоть Зюсс и опередил его, Карл-Александр не устоял от соблазна, в свою очередь, попользоваться дамами Гетц, которых еврей предоставил ему теперь с обидной небрежностью. Но ожидаемого наслаждения он не получил — отчасти, должно быть, помешала мысль о евреях. С остервенением зарывшись в католический проект, он вскоре совсем покинул мать и дочь. И вот они сидели теперь униженные, и на лилейно-нежных личиках явственно проступала скорбь; особенно заметно увяла и постарела мать. Советник экспедиции скрежетал зубами, мысленно твердил стихи из той комедии, в которой впервые увидел неаполитанку: «Продажная краса нам мерзостнее блуда», — и не знал, как себя держать. Он негодовал и теперь уже всерьез подумывал удалиться в свое поместье под Гейльбронном, и, даже когда ему дали повышение, гнев не совсем улегся в нем.

Но больше всего печалился горестям белокурой лилейной дам чернокожий Отман, мамелюк. Он, как всегда, лежал на пороге и в ту ночь, когда Иоганна Ульрика пришла к герцогу, и в ту, еще горшую, когда к нему пришла Элизабет-Саломея. В ту вторую ночь он не спал, он примостился у порога и чутко прислушивался к малейшему звуку, а когда Элизабет-Саломея уходила из дворца, непроницаемое лицо его внезапно исказилось, и он поглядел в спину шумливо провожавшему ее Карлу-

Александру с такой дикой, звериной ненавистью, что тот невольно пригнулся, как бы обороняясь.

Чернокожему ясны были все хитросплетения. Он знал, от кого Элизабет-Саломея получила «райский глаз», он понимал, что означает этот дар. Как ни странно, но к Зюссу он за это не питал ненависти—наоборот, он испытывал своего рода удовлетворение, что тот, а не христианин овладел ею впервые. Но тем сильнее снедала его ненависть к герцогу.

Карл-Александр обращался со своим мамелюком как с добродушным псом. Он и в самом деле думал, что чернокожий понимает в его делах не лучше животного, и ничего не таил от него. Где бы ни был Карл-Александр, всегда, прислонившись, примостившись, скорчившись в каком-нибудь углу, стоял, сидел или лежал Отман; по ночам он даже спал на полу опочивальни или у порога. И был гораздо сметливее, чем предполагал герцог,—он все видел и слышал и отлично умел сопоставлять, казалось бы, ничем не связанные между собой факты. По своему обыкновению таинственно и бесшумно, он теперь время от времени являлся к Зюссу и, по своему обыкновению таинственно и негромко, как бы невзначай, сообщал ему секреты герцога, которые еврей не мог и не должен был знать. А потом оба смотрели друг на друга: выпуклые, теперь менее крылатые глаза одного проникали взглядом в непроницаемые, звериные глаза другого, и в глазах обоих была одинаковая дикая, несокрушимая ненависть.

Зюсс воспользовался несколькими днями затишья, чтобы съездить в Гирсау. В белом домике теперь стояла тишина. При встрече рабби Габриель не произнес ни слова; оба лишь поздоровались и больше почти не видались. Наконец, много дней спустя, рабби вымолвил:

— Я вижу под мясом и костями лицо твое, Иозеф.

— Разве я стал другой?—спросил Зюсс. И добавил, нахмурясь:—Теперь я, должно быть, похож на самого настоящего еврея. Или же я все еще сын своего отца?

— Горе стирает подкраску с лица,—сказал рабби Габриель.—У тебя изгоревавшееся лицо, у тебя лицо еврея. Ты на ложном пути, Иозеф,—добавил он немного погодя,—тебе придется свернуть с него.—Но Зюсс промолчал, ни одна черта не дрогнула у него, так что нельзя было сказать, слышал он или нет. О девочке они не говорили.

Зюсс бродил вдоль празднично радостных цветочных клумб, которые любила девочка, вглядывался в изображения каббалистического древа и небесного человека, которыми она насыщала взор, вглядывался в крупные, массив-

ные буквы на страницах Песни Песней, которую она предпочитала всем другим книгам Библии, но нежные слова любви не звучали ему пленительным перезвоном, они опалили его таким жгучим, страстным призывом, что он поспешил отвернуться от книги.

Случайно в лесу повстречался он с председателем церковного совета. Вейсензе вновь занялся своим комментарием к Библии, бродил по своим просторным покоям с белыми занавесями, вел глубокомысленные беседы с магистром Шобером. Он попросил у Зюсса разрешения сопутствовать ему. Так как еврей не ответил, он счел это за согласие и пошел с ним. Медленно, бережно, молчаливо шагал он с ним по окропленному солнцем лесу, последовал за ним, не встретив возражения, вдоль цветочных клумб в белый домик. Безмолвно, в непривычном смущении сидел с ним в комнате, расписанной каббалистическими фигурами. Немного погодя к ним присоединился рабби Габриель. И так, сгорбившись, задумавшись, сидели трое усталых людей. Они чувствовали себя старыми, они ощущали, как жизнь ускользает от них, уходит в прошедшее миг за мигом, они ощущали это явственно, почти плотски, с горестным сладострастием, как расправляет утомленный человек наболевшие ноги, они ощущали, как тягота одного гнетет другого, они ощущали друг друга сквозь эту сладостно-томительную усталость.

На другой день рабби Габриель простился с Зюссом. Он намеревался навсегда покинуть страну. Зюсс был мягче, человечнее обычного. Хоть он и восставал против рабби, хоть и отрицал требование свернуть с ложного пути, глумливо обозвав это мягкосердечным вздором, однако ему было отраднo сознaвать близость рабби. На лице толстого некрасивого старика лежал отблеск Нозми, грезы девочки гнездились за широким, невысоким выпуклым лбом, где тремя бороздами врезалась буква Шин. Когда рабби Габриель уедет, Зюссу будет очень одиноко, но в этом он не хотел себе признаться, он старался уверить себя, будто ему досадно, что не станет свидетеля, которому можно доказать, насколько правилен избранный им путь, что его изощренная месть — единственное средство вновь обрести свое дитя.

Он стоял перед каббалистом, растерзанный внутренним разладом, готовый услышать и произнести примиряющее слово. Но рабби был суров и сердит, как обычно. Все его книги и каббалистические принадлежности были уже отправлены. Скрипучим голосом он отдал старому слуге последние краткие распоряжения. Затем, обратясь на восток, к Сиону, он произнес молитву, которую полагается читать перед дальним путешествием, трижды в трех различных выражениях утверждающую упование на

помощь Иеговы. Вновь обратил блекло-серые окаменевшие глаза к Зюссу, скрипучим голосом проворчал последний краткий привет: «Мир тебе». И ушел в сопровождении Янтье, толстой, переваливающейся с боку на бок служанки, которую собирался отвезти к ней на родину. Зюсс видел, как его широкая, коренастая, чуть согбенная фигура в старинной одежде, мелькнув между цветочными клумбами, исчезла в лесу. В тайниках души он желал, чтобы рабби обернулся. Но тот шагал своей тяжелой, твердой, уверенной поступью, уходя все дальше, прочь.

Несколько дней спустя Зюсс со старым слугой тоже покинули белый домик. И маленькое диковинное строение замерло в безмолвном, солнцем озаренном одиночестве. Комнаты были оголены, белые ставни угрожающе и зловеще заколочены, празднично радостные цветы увяли, и некому было обновить их. Слухи рождались вокруг покинутого надменного строения; ребячески кровожадные вымыслы сплетались над ним и ползли в столицу. В трактире под вывеской «Голубой козел» булочник Бенц, многозначительно выпучив свиные глазки, шепотом передавал приятно содрогающимся собутельникам последнюю новость: где-то в лесу у его иудейского сатаничества запрятана колдовская кухня. Из крови христианских дев, которых он после всяких мучительств связанными свергает с крыши, так что они накальваются внизу на железные цветы, он варит дьявольское зелье, коим непрерывно подогревает расположение герцога. Сам сатана то и дело навевается в это обиталище ведьм, приняв образ коренастого мужчины с хвостом, рогами и лошадиным копытом.

У служанки Янтье была старая кошка, самая обыкновенная кошка темно-серой масти. Рабби Габриель ее терпеть не мог, и Янтье не решилась взять ее с собой в далекое путешествие. Размышляя, у кого кошке будет лучше всего житься, она вспомнила магистра Якоба Поликарпа Шобера. Магистр при всяком удобном случае попадался на пути Ноэми, обращался к ней с кроткими, благоговейными речами и даже делал неоднократные робкие попытки обратить ее в свою бесхитростную, мечтательную веру, а главное, пытался спасти ее душу вдохновенной декламацией своих стихов. После того как она горячо и гневно отклонила его поползновения, он притих и довольствовался смиренным и радостным созерцанием ее ангельского лика. Когда же смерть столь внезапно похитила ее, толстощекий юноша долгое время места себе не находил от глубокой мучительной тоски, детские глаза его выражали детскую растерянность, он побледнел и мучился угрызениями совести оттого, что недостаточно ревностно старался направить ложное, па-

губное течение ее жизни в море божественной благодати. Он стоял на дороге с венком полевых цветов, когда выносили маленький гроб из белого домика, и был до глубины души оскорблен, когда четверо суровых мужчин, несших гроб и похожих на темных лжепророков, отклонили его искренний дар. Мрачно поплелся он домой, взял в руки перо и бумагу и сочинил «Надгробный плач, или нэнию, на смерть мадемуазель Нозми Зюсс, еврейки, однако же достойной девицы», которая начиналась следующими строками: «И ныне злая смерть, сей брэнной жизни цель, // Похитила тебя, иудейска мадмазель». Поэму свою он продекламировал служанке Янтье, причем оба проливали горькие слезы.

Вот этому честному добряку и оставила Янтье свою серую кошку, тот охотно согласился взять ее с самыми успокоительными обещаниями. В связи с этим Зюсс увидал магистра. Перед тем как покинуть дом с цветочными клумбами и отдать его во власть белого безмолвия и забвения, еврей бродил вокруг, обуреваемый великим беспокойством. Подолгу простаивал среди тюльпанов, перед стеной, где был нарисован небесный человек и каббалистическое древо. Завидев магистра, он властным жестом подозвал его и задал ему несколько вопросов в резком и высокомерном тоне. Якоб Поликарп Шобер, державший себя несмело и кротко с теми, кто был с ним приветлив, усмотрел в мрачной суровости еврея некое испытание, искушение, перед лицом которого счел нужным запрятать подальше свою прирожденную робость. Ввиду этого толстощекий юноша, несмотря на сильное сердцебиение, засопел, принял задорный вид и выпрямился, прижав к себе кошку, готовясь одним только метким и надежным орудием своей веры одолеть и вывести на праведную стезю сатанинского финанциратора. Зюсс, слыхавший о магистре от Магдален-Сибиллы, а также осведомленный о его встречах с Нозми, некоторое время молча слушал его, без обычной насмешки, а скорее задумчиво, и тот, обнадеженный, удвоил свое усердие, но вследствие бурной жестикуляции упустил кошку. Пока он, не прекращая своей пылкой речи, силился поймать животное, финанциратор успел принять какое-то решение, он круто, но благодушно остановил магистра и перевел разговор на другую тему. Без труда удалось ему приручить юношу и вызвать его на откровенность. Немного погодя ему уже были известны многие обстоятельства личной жизни магистра, а также его желания, включая и должность библиотекаря, несправедливо предоставленную кому-то другому.

К изумлению Шобера, он показал себя отнюдь не свирепым Олоферном, каким его ославили повсеместно.

Терпеливо выслушал он до конца многоречивого магистра, проявил интерес к его стихам, твердо обещал осчастливленному юноше напечатать его опусы, если только Вейсензе одобрительно выскажется о них. Хотя должность библиотекаря занята, однако можно найти другой выход, чем-то заменив ее. На следующий же день он вызвал Шобера к себе и предложил ему место своего личного секретаря; для исполнения этой обязанности требуется добросовестность и дар слова; как тем, так и другим качеством магистр наделен в превосходной степени. Якоб Поликарп Шобер увидел в этом предложении чудесный промысел божий, который приведет его в столицу, где он будет дышать одним воздухом с сестрой Магдален-Сибиллой, посещать штутгартское библейское общество, святую Беату Штурмин, славного, благожелательного Эмануэля Ригера. Он увидел возможность убедительными и благочестивыми речами наставить на путь истины еврея и даже самого заблудшего герцога; он услышал славословия ангелов в небесах и, сияя, дал согласие. Затем отыскал кошку, о которой в блаженном замешательстве позабыл вчера, и, бережно прижав к себе серую некрасивую тварь, понес ее домой.

Но в Штутгарте, в пышном дворце на Зеегассе, вместо ожидаемого блаженства он узнал только смятение и гнет. Правда, в Магдален-Сибилле он не обнаружил ни малейшего высокомерия, все попытки оболгать и очернить ее оказались злыми наветами; но вместе с тем не осталось и следа от прежней непорочной и блаженной близости, от того ореола исключительности, который и его, Шобера, возвышал в собственных глазах. В ее присутствии он уже не расцветал душой, но оставался холоден и сир. А между тем она была безупречно чиста, исполнена достоинства и благочестия. Он не хотел сознаться себе в том, что именно отсюда и проистекает его разочарование. Но служба у Зюсса принесла ему несказанную муку и смятение. Досуга у магистра было достаточно; помимо него и Никласа Пфевфле, финансовый директор держал для своей обширной личной переписки еще двух секретарей. Поэтому он очень редко вызывал к себе Шобера. Но, вызвав, диктовал ему письма крайне вредоносного содержания, в которых даже самому неискушенному простаку наглядно открывались черные замыслы на гибель евангелической и парламентской свободы. Каждая строка этих писаний служила тяжким обвинением против герцога и финансового директора, давала в руки магистру ключи к самым секретным и важным подробностям католического проекта.

Голова шла кругом, все нутро переворачивалось у злосчастного Якоба Поликарпа Шобера. Зюсс диктовал

свои черные, нечестивые тайны, а голос и глаза его были ясны и невозмутимы: очевидно, он питал неограниченное доверие к своему секретарю. Шобер обязался служить еврею. Как же ему теперь быть — нарушить слово и пойти разглашать свои сведения, хладнокровно обманывать доверие еврея? Правда, он всего лишь еврей, и все же любой негодяй и подлец будет тогда вправе обозвать его, Шобера, предателем и двоедушным прохвостом. Однако, если он будет молча смотреть, как вероломно и позорно удушают религию и свободу родины, как ввергают многие сотни тысяч евангелических душ в геенну огненную, в бездну адскую, разве не окажется он тогда еще бóльшим подлецом и нечестивцем?

Сомнения, точно лютые псы, раздирали и терзали магистра. Тогда, в Гирсау, он вообразил себя истинным избранником божим оттого, что у него зародилась чахлая надежда быть поставленным от бога к рычагу великих судеб и свершений. А теперь его дерзостная, суетная мечта сбылась, но каким жестоким и коварным образом! Лишь ценой собственной души может он спасти сотни тысяч швабских евангелических братьев. Жалостный, дрожащий, он напоминал только что остриженного пса. Он стал худеть; днем его то бросало в жар, то обдавало холодным потом, ночью он не находил покоя, вставал, спотыкаясь о старую уродливую кошку, и, стenea, бегал по комнате. Он отправился к Беате Штурмин и попросил загадать для него на Библии. Слепая дева наугад раскрыла книгу. «И сыны Израиля вышли из Рифмы и расположились на ночлег в Римон-Переце». Магистр долго ломал себе голову, что подразумевается под этим, и наконец понял: Рифма означает то, чего ему делать не следует, а Римон-Перец то, что он должен сделать. Но он никак не мог додуматься, надо ли под Рифмой понимать предательство против еврея, а под Римон-Перецом избавление евангелических братьев, — или наоборот. И он по-прежнему терпел лютую муку, обливаясь потом и терзаясь сомнениями, днем и ночью взвешивая спасение души многих тысяч соотечественников в своих бестолковых, нескладных и нерешительных руках.

Сухо, едва скрывая свое недовольство, отпустил Карл-Александр руководителей католического проекта, которых созвал на секретное совещание. Еврея он задержал нетерпеливым жестом.

— Отчего ты ни слова не сказал, еврей? — напустился он на почтительно выжидавшего Зюсса.

— Не стоило труда отвечать, — возразил тот, легким

пожатием плеч отмахиваясь от всего, что говорилось на совещании.

Карл-Александр тихо сопел и постукивал костяшками пальцев по столу. Черт возьми! Вот свинство, что еврей опять прав. А тот, как всегда, ловил на лету его мысли и облекал их в слова.

— Господа политики крохоборничают,—говорил он обычным своим вкрадчивым насмешливым голосом.— Вымеряют мельчайшие паутинные нити, а целого охватить не могут. Что они смыслят вообще!—В его тоне явно чувствовалось, как низко он ставит их ум и способности.—Будто суть в том, чтобы избитыми адвокатскими приемами изымать из конституции где запятую, где точку над «и». Что за жалкие, убогие, мелочные методы! Достаточно одного рескрипта, одного-единственного: «Мы, Карл-Александр, герцог Вюртембергский и Текский, возвращаем себе права, данные нам от бога и похищенные у нас подлым, коварным и изменническим способом. Отныне мы воистину будем хозяином страны. Вюртемберг—это мы!» Но перед таким шагом господа политики трусливо и беспомощно пятятся назад. Им это не по плечу, их заедают сомнения и колебания, они только и могут, что качать головой, прищелкивать языком да охать и ахать. Эта идея для них чересчур проста, по-княжески величественна, царственна.

При всей своей глухой ненависти к еврею Карл-Александр еще раз убедился, что тот один понимает его, один знает, в чем суть дела. Нехотя, с досадой дивясь его уму, он принужден был признаться себе, что только благодаря еврею и вместе с ним сможет он осуществить католический проект. Что бы ни попадало в сильные, чудодейственно ловкие руки Зюсса, все он лепил по своему произволу, точно податливую глину. Перед его фанатически пылким одушевлением смешным казалась кропотливо-добросовестная старательность, с какой другие из кожи вон лезли, а добивались половинчатых результатов. Да что они смыслили, эти другие? Для них католический проект был просто делом, задачей—может стать, очень важной задачей. Но что в действительности это нечто большее, что в таком государственном перевороте для него, Карла-Александра, смысл и цель жизни, это знали и понимали только он сам да еврей.

Ибо так мало-помалу видоизменялся для него проект, таким он, при умелом подстрекательстве, под властным воздействием Зюсса, вьелся ему в плоть и кровь. Сперва это был для него вопрос политики, ступень к власти, декорум, и ничего больше; потом проект превратился в мистический символ, в надежду на освобождение от пут, в религию, а теперь стал самой его жизнью и дыханием. Он

должен быть одно со своей страной, и в этом смысл и венец его стремлений. Не слуга страны или ее властитель, не законодатель или полководец—это все жалкая безделица и вздор. Он так впитает в себя страну и так внедрится в страну, что он и страна будут одно. Страна сможет дышать, только когда дышит он, шагать вперед, когда шагает он, когда он остановится, остановится и она. Живой, осязаемой реальностью стало для него это представление. Штутгарт—его сердце, Неккар—сонная артерия, швабское плоскогорье—его грудь, швабский лес—его волосы. Он—Вюртемберг во плоти. Вюртемберг—это он, только он.

Но нельзя нечто столь грандиозное, сладостно и полнокровно живое сколотить мелочными адвокатскими приемами. Он ли это подумал? Еврей ли это высказал? Как бы то ни было, вот что говорил сейчас еврей:

— Один гениальный жест—и все готово. Надо, чтобы страна, проснувшись однажды утром, оказалась воплощенной в герцоге, в своем богом данном государе, оказалась бы государевой оболочкой, плотью его и кровью. Не надо мелких стычек, тайных козней и нелепых унижительных шатаний. Нет, все должно свершиться самым естественным путем, как распускается почка, когда приходит ее пора.

Да, да, да! Прав еврей. Немыслимо и дико оспаривать и опровергать это. Если ж нет, значит, он попросту шут гороховый и пустомеля и вся его жизнь—мышинная возня, которая выеденного яйца не стоит. Но всяким Ремхингенам, Фихтелям, Панкорбо не понять этого. Они верные слуги, хорошие офицеры и ловкие ландскнехты; но они не одарены гениально живым воображением, чтобы воспринять этот замечательный акт как великое и неотвратимое таинство природы, им одарен—как там ни бесись, а против рока не пойдешь,—одарен им только еврей. Все это не претворялось в слова ни у герцога, ни у Зюсса. Но оно током проходило между ними, невысказанным пульсировало и в том и в другом. Так было все последние недели. Одна жизнь билась в них, безмолвно, делом отвечал еврей на безмолвный настойчивый вопрос Карла-Александра; казалось, герцог дышит тлетворным воздухом, который выдыхает Зюсс, они были частями одного тела, нерасторжимо связанными между собой.

Все яростнее разжигал еврей в своем господине страстное, томительное ожидание того дня, когда страна претворится в него и будет нерасторжима с ним, коварно поощрял его веру в свое богоподобие и его необузданно властолюбивые мечты, распаляя ему кровь своим ярим, фанатическим пылом. Вкусивший отравы государь жадно

искал поддержки и все нового поощрения в лукаво одобрительном взгляде еврея.

Порой он на мгновение опоминался от угара и задумывался над тем, куда же приведет его это дьявольское сообщество. Невыразимо страшно до конца дней иметь при себе такого зловещего соглядатая своих заветных помыслов и своих сокровеннейших тайн. Сам ведь не знаешь, сколько мути, сколько недоброго хранишь на дне души, стараешься подавить, когда оно просится наружу, таишь от самого себя.

Как же перенести, чтобы другой, в ком взошло столько семян твоего зла, смотрел на белый свет, жил, дышал. Пока что он нужен, без него проект не может быть осуществлен; вот и сегодняшнее заседание доказало это. Но едва проект осуществится, он зажмет ему рот, он заточит его куда-нибудь в крепость, навсегда погребет в неприступном каземате, как прячешь от мира непокорное, пагубное, первобытное злое начало собственной души.

Он бросил на еврея подозрительный, ненавидящий взгляд. Уж не угадал ли тот и сейчас его мысли?

— Можешь составить рескрипт по твоему усмотрению,— резко сказал он.

Зюсс учтиво, почтительно поклонился перед тяжело дышавшим от возбуждения герцогом. Но в глазах его мерцало темное, злорадное, волчье, уверенное в победе торжество.

Страна металась, стеноя, в томительном, напряженном ожидании. Всем было ясно, что католическая партия почти закончила приготовления и собирается в ближайшее время нанести удар.

Повсюду назревала угроза, не оставляя места для беспочвенных гаданий и убеждая даже самых беспечных людей в неотвратимости роковых событий. К границам стягивались чужеземные полки—баварские, вюрцбургские. Совет одиннадцати получил верные сведения, что герцогу из одного только Вюрцбурга обещано девятнадцать тысяч человек вспомогательного войска; их передовой отряд стоял уже в Мергентхайме, резиденции гроссмейстера Тевтонского ордена, ожидая приказа о выступлении. И в самом герцогстве появилось множество солдат, говоривших на чужеземных диалектах—баварском, франконском. По ночам они маршировали мелкими отрядами. Герцогские замки и форты были переполнены войсками. Все крепости: Асперг, Нейфен, Урах, Гогентвиль, укрепленный замок Тюбинген—приведены в боевую готовность всеми средствами современной стратегии; плохую дорогу на Асперг исправляли

дневные и ночные смены рабочих, согнанных на барщину. Превосходно налаженная служба связи поддерживала с помощью особых курьеров и скороходов сношения между отдельными крепостями. Пороховые мельницы по всей стране, а в особенности крупный завод Ганса Земмингера, работали день и ночь, изготавливая затравочный и огнестрельный порох. Бесконечным обозом тянулись пушки и снаряжение; народ при виде таинственных повозок утверждал, что они сплошь нагружены четками ввиду предстоящего обращения; но наполняли их менее невинные ядрышки.

Один из таких скороходов, некий Бильгрубер, затеял близ Нютрингена драку с Иоганнесом Краусом, сыном штутгартского мясника. Во время потасовки Краус отнял у курьера депешу с донесением о прибытии иноземных вспомогательных войск, явно уличавшие католиков в заговоре против государственной власти. Герцог отдал приказ арестовать Крауса. Но тот успел бежать в вольный имперский город Рейтлинген, а через несколько дней перебрался оттуда в имперский город Эслинген, где обосновалась довольно большая колония беглецов из Вюртемберга, подвергшихся преследованиям за верность конституции.

Перед бегством Краус отдал эти письменные улики штутгартскому бургомистру, а малый парламентский совет позаботился о том, чтобы их размножили и распространили среди населения. Это доказательство непосредственной угрозы вывело из равновесия самых миролюбивых граждан. Повсюду создавались религиозные общества и тайные союзы для ограждения веры, горожане и крестьяне потихоньку запасались оружием, славные цехи столичных башмачников и бондарей заимствовали пищали и дробовики у цеховых собратьев из свободного города Эслингена; даже из штутгартского арсенала неоднократно загадочным образом исчезали большие партии оружия, а наименее воинственные обыватели, ухмыляясь, с боязливой гордостью неожиданно показывали друзьям припрятанные ружья.

Так сильно было возмущение в народе, что герцогу пришлось усилить свою личную охрану и отослать наследного принца за пределы страны к деду его, князю Турн-и-Таксису, в имперские Нидерланды. Естественно, что при подобных обстоятельствах Карл-Александр счел необходимым произвести последовательное и принудительное изъятие оружия у всего населения страны; он заготовил соответствующий указ под предлогом борьбы с браконьерством. Однако ношение оружия входило в исконные права вюртембержцев и было оговорено в конституции; во избежание гражданской войны пришлось воз-

держаться от оглашения указа впредь до того, как будет осуществлен государственный переворот.

Пока что герцог потребовал, чтобы было прекращено военное обучение штутгартской конной национальной гвардии. Этим сильнейшим в герцогстве отрядом земского ополчения командовал майор фон Редер, один из ближайших друзей Карла-Александра. Он был добрым протестантом и одновременно вернейшим сподвижником Ремхингена по военной подготовке католического проекта. Для него, человека тупого и ограниченного, замышлявшийся государственный переворот был вполне в порядке вещей, он не понимал, чем вызвано такое возмущение, и повсюду видел подстрекательство и злонамеренность. Герцогу хочется дать больше простора католикам, почему бы и нет? Страна велика, места для церквей хватит. Конституция? Парламент? Свобода? Чушь! Зазнайство и леность крамольной черни, которая хочет побольше жрать и поменьше работать. Чего они там горланят? Ведь он-то, черт подери, добрый протестант, а ему никто не чинит помех. Всякий может ходить в церковь когда и как угодно, а господа святоши — так именовал он прелатов и пасторов — достаточно, слава богу, дают волю языку, без каких-либо придиорок и препон со стороны герцога и кабинета министров. Мир так просторно устроен. Надо только быть мало-мальски добросовестным, честным, храбрым, а превыше всего покорным своему богом данному государю. Как ни странно, но господин фон Редер, несмотря на такие убеждения, на близкую дружбу с герцогом и руководящую роль в католическом проекте, приобрел большую популярность в народе. Его неуклюжие плоские шуточки передавались из уст в уста, случаи, свидетельствующие о его грубоватом добродушии, вызывали одобрительный смех. Как бывает нередко, народ, без всяких видимых оснований, явно симпатизировал грузному человеку с низким лбом, жестким ртом, нескладными, неизменно затянутыми в перчатки руками и резким, хриплым голосом; из всех военных штутгартцы бесспорно предпочитали его. Лишь ввиду его популярности приказ прекратить военное обучение городских конников прошел безболезненно.

А между тем в каждом закоулке города царила глухая, напряженная тревога. Высший орган церковной власти объявил неделю поста и покаяния. Многие писали завещание. В пятое воскресенье великого поста нахлынули такие толпы жаждущих принять причастие, что церкви были освещены до глубокой ночи.

Парламент озаботился бесперебойным получением известий, рассылая верховых по всей стране разведать, не вступают ли в ее пределы иноземные войска. И в самом

деле, из Вимпфена вскоре пришло известие, что епископский передовой отряд, расквартированный в Мергентхейме, выступил из владений Тевтонского ордена в направлении Эльвангена; такие же вести пришли из Гогенлойского округа.

В то воскресенье великого поста городской декан Иоганн Конрад Ригер страстностью своей проповеди превзошел самого себя. Уподобясь пророкам, он громил нечестие тех, что покушаются разбить скрижали евангелической веры и христианской свободы, внушительными, проникающими в душу словами показал он верующим, какую страшную ответственность перед богом, людьми и Римской империей берут на себя те, кто злоумышляет подобное. Раскатисто и мощно прозвучала из его уст угроза, что и ничтожное оружие в руках слабейшего становится смертоносной силой, коль скоро его направляет господь. Под конец же, обволакивая благоговейно внимающую паству мягким, бархатным звучанием своего глубокого голоса, он в таких патетических, прочувствованных выражениях призвал ее углубиться в себя и покаяться, что изо всех концов огромного собора послышались рыдания потрясенных богомольцев. В городе эта проповедь получила широкую огласку. Успех конкурента больно уязвил государственного советника Иоганна Якоба Мозера, и в бессонную ночь он твердо решил в свой черед обратиться с речью к народу; но он не подумает избрать такой легкий и удобный путь, как пастор Ригер, не станет пользоваться благолепием храма как выгодным фоном; нет, он будет говорить прямо на площади, не страшась герцогских соглядатаев. Сочиняя речь, он шагал по своему кабинету из угла в угол, выразительно жестикулировал, округлял патетические периоды, сам себе представлялся по меньшей мере Гракхом, Гармодием или Аристогитоном, а то и Марком Юнием Брутом, и жестом древнего римлянина откидывал складки воображаемой тоги.

Он до того разгорячился, что кровь бросилась ему в голову и пот прошиб его. Он приписал этот прилив крови несварению желудка; может статься, он за обедом злоупотребил черничной настойкой, желудок же у него и без того вялый, а теперь и вовсе откажется работать. Он пожаловался на недомогание жене, ибо привык печься о своем здоровье, и озабоченная супруга дала ему выпить раствор глауберовой соли. Затем он вновь занялся подготовкой речи, и связанные с этим бурные телодвижения помогли лекарству оказать желаемое действие.

Назавтра он с многозначительно загадочной миной собрал вокруг себя толпу людей. За последние дни страже неоднократно приходилось разгонять скопища недоволь-

ных и крамольников; и тут на собравшихся тоже грозно надвинулись офицеры герцогской охраны, пешие и конные стражники. Оратор уже представлял себе, как его хватают за шиворот и ввергают в вечный мрак темницы. Тем не менее он собрал все свое мужество и, судорожно борясь со страхом смерти, начал заготовленную речь, как вдруг почувствовал томление, резь и колики в животе. То ли вчерашнее лекарство оказало запоздалое действие, то ли истинная его натура прорвалась сквозь натужную отвагу,—так или иначе, ему пришлось покинуть площадь под насмешливыми взглядами герцогских приверженцев и без лавров, пожатых соперником. Назавтра, в фиолетовом будуаре Марии-Августы, он все же произнес свою речь перед ней и Магдален-Сибиллой, чтобы не пропало даром столько тщательно скопленного огня. Магдален-Сибилла сидела в кресле спокойная, умиротворенная, немного расплывшаяся, а Мария-Августа, в белом воздушном пеньюаре, перелистывала «*Mercure galant*» и время от времени, шаловливо улыбаясь, исподтишка науськивала свою китайскую собачонку на оратора; но тот мужественно договорил до конца, только весь взмок от усердия.

Не видя исхода гнетущей тоске и тревоге, граждане решили вновь послать депутацию к герцогу, дабы твердо, но с верноподданническим смирением заявить свои претензии. Чтоб не раздражать Карла-Александра, к нему послали не членов совета одиннадцати, один вид которых приводил его в бешенство, а трех достойных, степенных бюргеров спокойного нрава и обхождения. Они поехали в Людвигсбург, где герцог заканчивал свои приготовления. Прежде чем отправиться во дворец, они подкрепились закуской и стаканом вина в трактире.

— Слабое подкрепление перед столь трудным шагом,—сказал один.

— Если герцог столь же мрачен, как нынешний день,—сказал второй,—то нам не дожидаться солнца.

— Да поможет нам господь!—сказал третий.

У дверей зала, где Карл-Александр принимал их, примостился Отман, чернокожий. До него глухо донесся хриплый от бешенства голос герцога: «Убийцы, изменники!»—затем неистовый топот, мало-помалу затихший. Несколько минут спустя он увидел возвращающихся делегатов, сперва двоих, а затем третьего. Он ясно видел, как они растерянны и запуганны, он поглядел им вслед большими, звериными, карими глазами с чуть заметной, загадочной усмешкой. Торопливо сбежали они с лестницы, вскочили в ожидавшую их карету, не задержались даже, чтобы поднять слетевший у кого-то из них берет. Весь путь они сидели молча, лишь старший один раз в своей великой тоске обратился к богу:

— Господь Саваоф, из бездны взываем к тебе, ниспосли нам спасение с высот твоих.

В Штутгарте толпы народа дожидались возвращения делегатов. Увидав их лица, горожане разошлись по домам угнетенные, повесив головы.

Совсем по-иному, чем области, подвластные герцогу, отнеслись к проискам католиков вольные города. Особенно в Эслингене Карла-Александра теперь из дня в день открыто порочили и поносили. Здесь была значительная колония эмигрантов из герцогских владений, людей преследуемых, незаконно ограбленных, изгнанных. Сюда бежал Иоганнес Краус, здесь обосновался молодой Михаэль Коппенгефер, а также старик Кристоф Адам Шертлин, в ком жизнь поддерживалась только ненавистью. Сколько жгучего, разъедающего душу презрения в их язвительных, пламенных, страстных речах! Пугливо забились по своим углам малочисленные приверженцы герцога; католики, попавшие в город проездом, были избиты. Над советником экспедиции Фишером, бывшим начальником фискального ведомства и отцом Софьи Фишер, отставной метрессы Зюсса, приехавшим в город по делам, эслингенская молодежь собралась учинить расправу, предварительно устроив перед окнами его гостиницы кошачий концерт; с великим трудом удалось городской страже отстоять вскочившего со сна, полуодетого, смертельно напуганного толстяка и выпроводить его за черту города.

Открытый вызов был брошен герцогу в последний воскресный день недели поста и покаяния. В предшествующую ночь несколько подростков, при попустительстве городской стражи, привязали к позорному столбу два соломенных чучела с лицами герцога и его еврея и налепили на них оскорбительные, непристойные надписи. Весь воскресный день город Эслинген от мала до велика созерцал позорное изображение, зубоскалил, горланил, насмехался, улюлюкал, свистел и хлопал себя от восторга по ляжкам. Под вечер был сложен костер, пугала торжественно водружены на него, вокруг разложены вымазанные в грязи картины, где герцог с семьей сотнями алебардчиков штурмует Белград, и все вместе подожжено по строго выдержанному шутовскому церемониалу. Ярко пылали чучела, а ликующие зрители пронзительно орал, кружились, толкали друг друга в бок, извивались, захлебывались, визжали от восторга.

Среди народа стоял и молодой Михаэль Коппенгефер, ярко-синие глаза его на смуглом лице горели воодушевлением, он глубоко вздыхал:

— Ах, если бы всем тиранам такой конец!

Стоял среди народа и престарелый Кристоф Адам Шертлин, глухо клокотало у него в тощей груди, бамбуко-

вой тростью постукивал он оземь в такт незримой пляске, его высохшее, потемневшее, выщербленное лицо пылало дикой ненавистью. Стояла среди народа и красавица чужестранка, жена Иоганна Ульриха Шертлина. Одета она была убого, муж ее совсем опустился, спился, стал бродягой, но голову она держала так же высоко и так же надменно была вздернута ее короткая пунцовая верхняя губа. Продолговатые глаза бросали высокомерные взгляды на шумливую, орущую толпу, которая жжет чучела, а перед теми, кого они изображают, исправно гнет спину; соседка заговорила с ней; она посмотрела сверху вниз отчужденным, презрительным взглядом, не вымолвила ни слова и медленно, чопорной, величавой походкой удалилась с площади.

В большой строгой, неудобной комнате Беаты Штурмин подле слепой девы сидели Магдален-Сибилла, пастор Иоганн Конрад Ригер, его брат, советник экспедиции Эмануэль Ригер, и магистр Шобер. На Магдален-Сибилле было голубовато-серое платье из дорогой ткани, но очень скромное по покрою и отделке. Она расплылась, яркосиние глаза потускнели, смуглые щеки опали, движения стали ленивыми. Она сидела, раздобревшая, с виду удовлетворенная, истая добропорядочная женщина-мещанка, и внимательно слушала соборного декана, который рассказывал о своей вчерашней проповеди, об оказанном ею сильном благодетельном воздействии на паству и приводил из нее выдержки особо звучным голосом, пустив в ход все свое ораторское мастерство.

В укромном углу сидел Якоб Поликарп Шобер. Несчастный, затравленный, исстрадавшийся от своей двусмысленной роли при Зюссе и от необходимости сделать выбор, он искал здесь покоя растревоженной душе. Он сочинял стихи, в которых сравнивал себя с умершим супругом Иоганны Безумной. Королева возила его в гробу по стране, в грудь ему были вложены часы, чтобы их тиканье заменяло биение живого сердца. Так и у него, Шобера, непрестанно тикала совесть; лишь в кругу смиренных, благочестивых братьев и сестер обретал он хоть на время покой. Из своего укромного угла он поглядывал на проповедника, который шагал по комнате, напыщенно декламируя; поглядывал на слепую деву, которая сидела и слушала, кроткая, серая, бесцветная, поглядывал на советника экспедиции Эмануэля Ригера, который благоговейно ловил слова своего важного, прославленного брата. Но из того же укромного угла магистр видел, как при всем почтении к брату тощий робкий молодой человек, невзрачный, несмотря на пышные усы, то и дело отрывал

от него взор и с преданностью домашнего животного смотрел на Магдален-Сибиллу, которая восседала степенно, настоящей матроной, лениво сложа крупные, ожиревшие и все же детские руки на мощных коленях, в складках серебристо-голубого платья. Он видел этот робко вождедеющий красноречивый взор, и постепенно перед ним открывалась возможность нелегкой, но угодной богу жертвой несколько утишить муки своей совести. Разве своим скромным и почтительным поклонением в течение долгих гирсауских лет он не приобрел известных прав на Магдален-Сибиллу? И вот теперь он готов отказаться от них, готов скрепя сердце наложить узду на свои желания, готов смириться и безропотно уступить дорогу брату и другу своему Эмануэлю Ригеру.

Между тем соборный декан покончил с рассказом и проповедью, и тут произошло нечто неожиданное. А именно — Магдален-Сибилла с большим апломбом, без колебания и жеманства, объявила, что пример возлюбленного брата Якоба Поликарпа Шобера побудил и ее сочинить стихи. Не угодно ли благочестивой сестре и братьям выслушать ее произведение. То, что она затем прочла, были прозаические, унылые, шаблонные, скудные и нудные, морализирующие вирши. Но слушатели не замечали убожества поэмы, они были искренне и бесхитростно восхищены, а у советника экспедиции Эмануэля Ригера даже слезы потекли по усам от умиленного благоговения.

На обратном пути магистр вызвался проводить советника экспедиции. Тот, в привычных ему серых и скучных выражениях, восторгался Магдален-Сибиллой. Тогда Шобер собрался с духом, откашлялся и растроганно объявил другу о своем решении принести себя в жертву. Белесые глаза советника экспедиции увлажнились, тонким, от волнения совсем беззвучным голосом он спросил друга, неужто он может надеяться. Если он осмелится поднять глаза на столь величавую, почтенную, достославную особу, не отвернется ли она от него, возмущившись такой непростительной дерзостью? Но Шобер счел возможным ободрить его, и он расцвел.

Магдален-Сибилла серьезно, но без неудовольствия выслушала его косноязычное от робости предложение. Она попросила дать ей время на раздумье, а затем села за стол, чтобы ответить в стихах. Лучшие часы проводила она теперь, сидя вот так, за письменным столом, и прислушиваясь к ритму и рифмам. Это увлекательно, это возвышенно, и получается весьма складно. Иногда у нее мелькала смутная мысль: вначале было слово, и слово было богом. Какая отрада чувствовать, как несут тебя плавно текущие слова, и в непрерывных грезах, качаясь

на волнах ритма и рифм, погружаться в бога! На свете нет порядка, меры и лада, в нем одно одичание, глупость, бессмыслица, грязь. Здесь же и смысл, и лад, и чистота. Здесь можно мягко скользить над мутой, над тиной, над зловещими глубинами, тихо плескаясь и грезя. Мерное, плавное покачивание остужает жар, отравлявший прежде кровь, превращает его в безобидное тепло. Вершины и бездны мирские сглаживаются, равняясь по плоским и гладким александрийским стихам.

Так сидела она и сегодня, сочиняя ответ Эмануэлю Ригеру. Ее мысли и ленивые желания мягко раскачивались вверх и вниз, постепенно закругляясь многосложными, обстоятельными, бездарными, глубокомысленными строфами в робкое поначалу, а затем более твердое «да». Рифмы скрепляли пространные и подробные аргументы «за» и «против», рассуждения о свободе и долге, славословия закону, порядку, покою и твердому самообузданию.

Правда, была минута, когда посреди всех этих несокрушимо здравых и честных доводов разума рифма и ритм отказались служить ей. Мышцы ослабели в безмерной истоме, она ощутила на себе жаркий взор выпуклых, крылатых глаз, настойчивый, вкрадчивый голос ласкающе заструился по ней благодатно-теплой волной, и на мгновение ей стало ясно, какая убого скудная замена — все ее глупое рифмоплетство. Но она поспешно, как от дурного соблазна, отмахнулась от этого сознания и с мрачной решимостью, с неудержимой фанатической тягой к трезвому спокойствию дописала стихи до конца.

Подобный альянс девицы Вейсензе, невзирая на ее явное опрощение, всех немало поразил. Герцогу было досадно, что отныне эдакий глупый школяр и чинуша на законном основании будет лакомиться его объедками. Однако скупостью он никогда не страдал и подарил ей к помолвке поместье Вюртинггейм, знаменитое своими великолепными плодовыми деревьями. Даже Зюсс очнулся от своей страстной одержимости. Вот каков мир: глупо, мелко, скудно, безвкусно и убого в самой своей сути все, что на первый взгляд манит сочностью и силой. Впрочем, ведь и она втоптана в грязь и тину будней Карлом-Александром. Ну что ж! Пусть это и не входит в его намерения, пусть он следует лишь собственному внутреннему велению и закону — так или иначе, но он избавит мир от зловредного и опасного зверя. Ни на миг не явилась у него мысль, что в падении Магдален-Сибиллы виновен он. Он велел оседлать кобылу Ассиаду и с великим блеском отправился в замок Магдален-Сибиллы. Загадочная неукротимая мощь была в этом мужчине, истерзанном ненавистью и душевным разладом, когда он в последний раз испытывал силу своих чар на женщине. Магдален-Сибилла

в течение многих дней не могла опомниться от глубокого смятения, в которое поверг ее этот поздравительный визит.

— Вашему превосходительству как будто не по душе выбор Магдален-Сибиллы? — чуть насмешливо спросила герцогиня у Вейсензе; слова, как всегда, резво слетали с ее пухлых губ. Внезапно повернувшись к нему грациозным ящеричьим личиком, которое под блестящими волосами сияло цветом старого, благородного мрамора, она лукаво усмехнулась: — Неужели ей лучше было бы выйти за нашего придворного еврея?

— Да, ваша светлость, — отвечал Вейсензе. — Во сто раз лучше. — Это прозвучало из уст изысканного, любезного кавалера таким воплем горечи и злобы, что герцогиня с любопытством и некоторым смущением взглянула на него и, помолчав немного, перевела разговор.

В аванзале камердинер Нейфер затворил дверь за вошедшим в кабинет герцога Зюссом. Тут же за спиной финансоводиректора вся чопорная важность слетела с него, лакейская физиономия завистника исказилась грубой, жестокой, бессильной яростью. Еврей! Вечно еврей! Правда, как-то раз, пока Нейфер раздевал его, герцог, не помня себя от бешенства, грозился засадить еврея в крепость, три года продержать в кандалах, а потом повесить. Но какой в этом прок! Правителем государства все-таки был и оставался еврей. Герцог бранил его советы, хвалил советы других; когда же доходило до дела, он неизменно поступал по указке еврея.

В другом углу аванзалы на ковре примостился чернокожий. Он отлично видел, как с лица камердинера на миг сползла лакейская маска, и в глубине души посмеялся наивной откровенности христианского собрата. Но вслух не вымолвил ни звука, по-звериному застыв в ленивой позе, с непроницаемым лицом.

Тем временем Зюсс делал доклад герцогу. Через два дня, считая от нынешнего, заговорщики думают выступить; все приготовления закончены. По официальной версии, герцог сперва уезжает проинспектировать, в качестве имперского фельдмаршала, крепости Кель и Филиппсбург, а затем думает посоветоваться насчет больной ноги с данцигским медиком Гульдеропом, знаменитым ортопедом. На время своего отсутствия Карл-Александр назначает временное правительство во главе с герцогиней — которая очень гордилась такой важной ролью — и в составе министров Шефера, Пфау, государственного советника Лауца, генералов Ремхингена и Редера. Это правительство во время отсутствия Карла-Александра

совершит государственный переворот: по занятии всех стратегических пунктов оно опубликует приказ об уравнивании в правах католического и лютеранского вероисповедания, об изъятии оружия у населения, об отмене целого ряда параграфов конституции, о взимании платы за исповедь, об обязательной сдаче серебра в герцогскую казну и прочее.

Зюсс еще раз вкратце изложил главные положения: проект должен быть осуществлен в одну ночь, без каких-либо заминок и препятствий. Карл-Александр покидает страну конституционным государем и спустя несколько часов возвращается абсолютным монархом. Стоит осуществлению проекта затянуться, возникнуть задержкам, препятствиям, кровопролитиям, как все пойдет прахом и малодушные малoverы окажутся правы. Ибо при всем искусстве иезуитов дальше уже немыслимо извращать конституцию. Единственный выход — уничтожить ее, это же делается не постепенно, а одним решительным натиском. Стоит чему-нибудь не заладиться, и уже самый факт применения силы будет истолкован как сознание герцогом и его сподвижниками собственной неправоты. *Cognus Evangelicorum* накинется на них, и рамки конституции станут еще теснее и несокрушимее. Если дело дойдет до прямой борьбы, у конституционной партии окажется много сильных приверженцев по всей империи. Лишь перед молниеносным успешным переворотом склонятся все: одни с усмешкой, другие со скрежетом зубным. До сих пор, когда остальные рвались выступить открыто, лично он всякий раз стоял за осторожность и осмотрительность; в данном случае нужно только прямое, стремительное нападение, несущее в одном лоне торжество или гибель.

С несокрушимой логикой и четкостью Зюсс вновь привел герцогу все доводы, давая им научное обоснование. А затем еще вдохновенней и красноречивей стал доказывать, что, оставив в стороне практические соображения, он даже помыслить не может, как будет поругана Идея, прекрасная Идея, утверждающая, что княжеская власть дарована от бога, если ее затреплют и затаскают тяжбами, юридическими уловками, мелкими стычками с национальной гвардией и жалкой, мизерной борьбой. Здесь воистину стоит вопрос — всё или ничего. Герцогство естественным путем должно возвратиться в лоно своего государя, если же нет — значит, вместилище недостойно столь великой идеи.

Задыхаясь, захлебываясь от скрытого гнева, внимал ему Карл-Александр. Еврей прав как всегда, и до чего же хорошо выразил он свою мысль! Но в какие глубины умеет он заглядывать! Прочь, прочь его, уничтожить

навек, ввергнуть во мрак! Как это он выразился: вместилище недостойно столь великой идеи? Какое вместилище? Конечно, быть не может, чтобы проект потерпел крах; но тем не менее—какое такое недостойное вместилище? Страна? Или же,—и еврей посмел это вымолвить!—или же он сам, государь? Ну да, он все смеет! Под учтивой, раболопной образиной прячется измывательски наглое, презрительное, подзадоривающее сомнение. Долой бессовестно дерзкого мятежника! Он во сто раз хуже меднолобых, тупоумных парламентских смутьянов! Те просто завязтые ослы. Этот же ухмыляется, лебезит, а сам все видит, все понимает, его насмешливые, беззастенчивые сомнения отравляют душу. Прочь его! Уничтожить! Навек ввергнуть во мрак!

— Ваша светлость уже изволили избрать пароль?—спросил невозмутимый, деловитый голос еврея.

— Да,—сказал Карл-Александр по-военному кратко и резко.—Наш пароль: «Attempto!»

Удивленно, с легкой одобрительной усмешкой взглянул на него Зюсс. Attempto! Дерзаю! То была смелая, наглая, почти гениальная шутка. «Attempto! Дерзаю!»—сказал Эбергард Бородатый и первым из германских государей даровал своему народу конституцию. «Attempto! Дерзаю!»—гласила надпись на кедровом древе, привезенном им из крестового похода. Не было дома во всем герцогстве, где бы не висел его портрет с этим атрибутом. Под эти отважным лозунгом он отрекся от большей части своих прав и возвратил их народу. И не было в стране человека, кто бы, даже не зная по-латыни, не понимал слова «attempto», ибо оно было основой конституции и всех гражданских свобод.

И это самое «Attempto! Дерзаю!» избирал теперь Карл-Александр паролем к уничтожению установленной его предком конституции, к захвату власти и водворению открытого абсолютизма на место широкой демократии. Черт побери! Тут мало было мужества, тут потребовалось и остроумие. Молодец Карл-Александр!

Торжествующий и окрыленный отправился Зюсс домой. Он, он сделал этого человека таким, каким он стал теперь, он зажег в нем огонь, он превратил порывистое, похотливое, грубое животное в истинного государя. О да, он избрал правильный путь. Как недостойно и глупо было бы тогда прямо вцепиться ему в горло. Теперь же он выпестовал свою жертву, поднял ее достоинство и ценность. Священнослужителю и богу не угодно отощавшее животное. Жертва, чью кровь он готовится принести в дар, достаточно упитанна.

Он шагал у себя по кабинету радостно возбужденный: все свечи были зажжены, даже в прилегающих комнатах.

Как это говорил рабби Габриель? На каждом празднике, которым вы чтите умершего, присутствует он, вокруг каждого изображения, которым вы запечатлеваете его, реет он, внемлет каждому слову, которое раздается о нем. Всеми помыслами, всей кровью, всеми силами души призывал он умершую; но она не шла, лишь в туманной мгле она смутно виделась ему. Теперь же он уготовил ей праздник жертвоприношения, на который должна же она, должна прийти. Не только телесно принесет он ей в жертву герцога, но и душу его он так обработал, чтобы она рассталась с телом в самый тот миг, когда ее честолюбие распустится пышным цветом. А душа честолюбца воплощается в пламя, разметавшись пламенем, тысячекратно раздирается каждую секунду на протяжении новой вечности. Приди, Ноэми! Приди, дитя, прекраснейшая, чистейшая лилия долины. Приди ко мне! Из обломков разрушенного королевства готовлю я тебе пир, настоящего монарха приношу тебе в жертву и душу его превращаю навеки в разметавшееся пламя! И вот я зову тебя, Ноэми, дитя мое! Приди! Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса! Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо приятно.

Он остановился, опомнился. Ах да, он позабыл еще об одном. Он не хотел, ни в коем случае не хотел, чтобы кому-нибудь могло показаться, будто он сочетает свою месть Карлу-Александру с заботой о личной своей безопасности или даже прибыли. Ни в других, ни в самом себе не должен он допустить и тени подобного подозрения. Если из его замысла неожиданно возникнет польза для страны, то это дело второстепенное, которого он не думал ни добиваться, ни избегать, но для себя лично он заранее хочет уничтожить всякую возможность выгоды. Он существует для того, чтобы напитать соком и туком душу князя Вюртембергского, Карла-Александра, а когда она набухнет от соков, раздавить ее. Ради этого искупительного жертвоприношения он существует. А что будет потом, ах, как это безразлично и ничтожно!

Он призвал к себе магистра Шобера. Тот явился перепуганный, заспанный, в страхе, что финансовый директор подвергнет его совесть новым испытаниям. Жалкий, в длинном до пят шлафроке, впопыхах не успев одеться, стоял он и глядел на своего господина круглыми, боязливыми ребячьими глазами. Зюсс был на редкость бодр, весел и добродушен. Он осведомился, почему медлит появлением в свет сборник стихов магистра, раз деньги уже давным-давно посланы в печатню. «Как изволили почивать, ваша светлость?» — закричал попугай Акиба. Магистр пробормотал, что он уже правит корректуру и

недели через две-три поэмы его выйдут в свет. Зюсс, без всякого перехода, положил ему руку на плечо, лукаво ухмыляясь, скривил рот, сказал фамильярно, игриво:

— Плохой ты протестант, магистр, черт меня побери!— Тот дрожа пролепетал что-то невнятное, а он продолжал:— Я по своей расчетливой еврейской морали на твоём месте решил бы так: если я предам еврея, то предам одного-единственного, и притом еврея; если же я не предам еврея, то предам целый миллион евангелических христиан. А потом пошел бы и все до мельчайших подробностей рассказал Штурму, или Егеру, или еще кому-нибудь из совета одиннадцати. Я нахожу твою верность и скрытность прямо-таки вопиющими, магистр.

Якоб Поликарп Шобер весь дрожа стоял на ярком свете, не решаясь отереть холодный пот, который струился по бледным пухлым ребячьим щекам, и уставясь пугливыми растерянными глазами на еврея.

— А теперь ты, верно, считаешь меня сумасшедшим?— после паузы добродушно спросил тот.— Нет, магистр, я совсем не сумасшедший,— сухо продолжал он, немного помолчав.— Во всяком случае, не больше, чем всякий другой.

В ярко освещенной комнате воцарилась мёртвая тишина. Снаружи донесся тяжелый шаг ночного дозора. Зюсс сел, съежился, точно в ознобе, хотя комната была жарко натоплена, и, казалось, совсем позабыл о замершем в странной, неестественной позе Шобере. Внезапно заговорил вновь:

— Я помогу тебе разрешить твои колебания. Ступай к господам и скажи им: время—ночь на вторник. Пароль—«Attempto!». И если они хотят обойтись без кровопролития, да так, чтобы весь проект попросту рухнул, точно марионетка на перерезанной проволоке, пускай пошлют в понедельник вечером депутацию в Людвигсбург. Мамелюк будет ждать их у бокового входа в левое дворцовое крыло и проведет к герцогу.

Пока Зюсс все это излагал обстоятельно и деловито, у Шобера глаза на лоб полезли от напряженного внимания, недоумения и растерянности.

— Одного я требую от тебя,— продолжал Зюсс прежним деловито бесстрастным тоном,— ты должен клятвенно обещать мне, что никогда ни единая душа не узнает, что я сказал тебе об этом, а тем паче что я тебя послал.

— Ваше превосходительство,— пролепетал наконец Шобер,— я не понимаю вас, я ничего решительно не понимаю. Я так счастлив, что господь подвигнул вас на спасение евангелической веры. Но коль скоро еретический проект постыдно рухнет, а никто не узнает, что его провалили вы, тогда ведь, с позволения вашей милости,

ландтаг прежде всего привлечет к ответу вас. Я, конечно, не силен in politicis¹, но даже сам герцог не защитит вас тогда.

— Нет, герцог не защитит меня,— сухо сказал Зюсс.— Не надо тревожиться об этом, магистр,—добавил он мягко, приветливо, чуть не по-отечески.— Уж очень потешный получается камуфлет. Герцог-католик хочет обратиться в католичество протестантскую страну, а еврей скорее готов идти на виселицу, нежели допустить это. Этому не придашь ладу, каким ни будь поэтом.

Колени подгибались у Якоба Поликарпа Шобера, когда он после этой беседы, шатаясь и волоча полы шлафрока, брел по темным коридорам дома. А у себя в комнате он метался из угла в угол до самого утра. Все для него было неясно, смутно и туманно. Одно он осмыслил твердо: господь все-таки избрал и отличил его. Без устали шагал он по комнате, подол и кисти шлафрока подметали пол. Старая серая кошка проснулась и поплелась за ним следом. Это была избалованная старая кошка, она желала, чтобы он взял ее на руки или, как обычно, положил с собой в постель, и потому мяукала. Но он шагал взад и вперед и не слышал ее.

А еврей, когда ушел магистр, потянулся, обнажил крепкие зубы. Перед висевшим над письменным столом портретом герцога, на котором Карл-Александр собственноручно, своим размашистым почерком, сделал очень милостивую надпись, он остановился, промолвил тихо: «Adieu, Louis Quatorze!»² Прощай, германский Ахилл!—И еще раз, резче:—Прощай, германский Ахилл! Adieu, Louis Quatorze!»

Уже не дитя владело его мыслями. Это было сведение счетов между ним и герцогом, дитя тут было ни при чем. Зюсса несло по волнам темного, дымно-красного моря заполнившей ум и душу ненависти. Как оно бурлило! Как шумом своим проникало в уши и сердце! Какой у него был одуряюще сладостный запах! Он слышал вопль ярости насмерть обманувшегося герцога, видел налитый кровью взгляд человека, у которого он вырывал из рук цель всей его волевой, дерзновенной жизни, как раз когда тот со вздохом радости собрался впиться в нее пальцами. Какое торжество прижать коленом грудь врага, какое торжество и отрада сдавить пальцами горло врага, чтобы рот его ловил воздух, точно дар божий, стискивать все крепче, не спеша, вперив насмешливо-победный взгляд в угасающий взор врага! Вот это жизнь! Вот ради чего стоит жить!

¹ В делах политических (лат.).

² Прощай, Людовик Четырнадцатый! (фр.)

В его безумные сладостные мечты внезапно пугающе беззвучно проскользнул живой человек. То был Отман, чернокожий. Он поклонился, доложил, что герцог отдал приказ генералу Ремхингену.

— Какой приказ?

— Список.

Ах, да, список подлежащих аресту, который был составлен самим Зюссом для герцога; но вряд ли Карл-Александр станет сообщать ему среди ночи такую несущественную весть. Маловероятно. Скорее у самого чернокожего есть более важные секретные донесения. Внимательно вгляделся Зюсс в его непроницаемое лицо. И вот уже тот начал перечислять имена: Иоганн Георг Андрэ, Иоганн Фридрих Беллон. Ага, список подлежащих аресту в строго алфавитном порядке. Но к чему это? Он и так все знает, ведь он же сам составлял список. Чернокожий перечислял дальше: Иозеф Зюсс Оппенгеймер. Зюсс не дрогнул. Фридрих Людвиг Штофлен, Иоганн Генрих Штурм. Дойдя до конца списка, чернокожий не произнес ни слова, поклонился, ушел.

Оставшись один, Зюсс почти весело засвистал сквозь зубы, улыбнулся. Приятно иметь еще одно подтверждение. Его это искренне позабавило. Бог свидетель, и шутник же этот Карл-Александр! Хоть бы он дал Ремхингену особый приказ о его аресте. А то так просто внести его в общий список, в его собственный, им составленный список—это... это поистине княжеская шутка. Он представил себе, как они оба, герцог и Ремхинген, сидят, нагнувшись над списком, как герцог неуклюжим размашистым почерком выводит: «Иозеф Зюсс Оппенгеймер, финансовый директор». И как потом они, государь и генерал, безмолвно переглядываются, герцог—злобно усмехаясь, Ремхинген—широко осклабясь. Гуманный Карл-Александр! Благожелательный, великодушный государь! Вот сидишь ты и потешаешься над своим глупым евреем, который исправно добудет тебе прямо с неба корону, а ты в награду засадишь его в крепость. Эге! Поздно спохватились, ваша светлость! Твой еврей взобрался на ступень выше, успел накинуть тебе на шею петлю и потешается над твоей наивной утехой. Эх ты, монарх! Великий государь и герой! Эх ты, похотливый, тупой глупец и насильник, убийца и негодяй!

Без усталости шагнул он по кабинету и лихорадочно думал. Припомнил, как однажды он играл с собакой, отнимая у нее пищу всякий раз, как голодный пес пытался схватить ее; и наконец тот пребольно укусил ему руку. Он ясно видел жгучую ненависть и кровавое бешенство в глазах животного, которое раздражил, всякий раз обманывая его ожидания. С тобой, Карл-Александр, я играю более

жестокою игру. У тебя я отнимаю более сочный кусок. Готовься к прыжку, как зверь, учуявший добычу! Пожирай ее алчным взором! Пиль, герцог! Пиль, государь мой и повелитель!

Двое суток, еще неполных двое суток; всего сорок пять часов. Улыбка явственнее обозначилась на его губах, одиноко шагал он по горящей свечами анфиладе зал. Вдоль стен белели мраморные бюсты Гомера, Аристотеля, Моисея и Соломона, под миниатюрными пагодами прогуливались китайцы с длинными косами, на потолке раскинулся многофигурный триумф Меркурия, витрины сияли драгоценными безделушками, а у себя в позолоченной клетке попугай Акиба кричал: «*Bonjour, madame*» и «*Ma vie pour mon souverain!*» Но одинокий человек, без усталости бродивший по освещенным залам, не слышал, не видел ничего, до краев переполненный своими мыслями, видениями, мечтами.

А в тот же час мамелюк, воротясь во дворец и растянувшись на коврике в углу герцогской опочивальни, слышал, как в тяжелом сне стонет, мечется и хрипит Карл-Александр.

Был уже поздний вечер, когда учитель наш рабби Габриель Оппенгеймер ван Страатен прибыл в Гамбург в дом своего друга, учителя нашего рабби Ионатана Эйбешютца. Дом был полон посетителей и почитателей, пришедших за советом, и, хотя ученики непрестанно втолковывали им, что рабби погружен в книги, в размышления и нет надежды, чтобы он принял их, они не отступали, в чаянии хотя бы лицезреть его. Многие издалека явились повидать его, из прежних его общин, Кракова, Меца, Праги, из еще более отдаленных мест, из Прованса и даже с берегов Черного моря. Ибо имя рабби Ионатана Эйбешютца, гамбургского раввина, благоговейно чтили вплоть до самых дальних краев.

Но и поносили и жестоко ненавидели его вплоть до самых дальних краев. Ой, как издевался над ним учитель наш рабби Якоб Гершель Эмден, амстердамский раввин, как раздирали его в клочья холодной насмешкой, раз и навсегда заклеив его как врага Израиля, Талмуда, раввинов и слова истинного. Рабби Ионатан Эйбешютц — это имя раскалывало пополам все иудейство; во всех школах, молельнях, на всех соборах имя это вызывало распри, благословения и славословия, насмешки и проклятия. Что же это был за человек? Был ли он из числа тех ученых талмудистов, которые рьяно, придирчиво, крикливо защищают обрядность, ожесточенно торгуются за каждую букву, в яростно упорных спорах пядь за пядью

отстаивают высокую твердыню закона? Может быть, познания в философии, истории, математике, астрономии источили в нем подлинную, словом и делом освященную веру, научили презирать и осмеивать раввинские навыки? Действительно ли он верит в учение Каббалы, следует ему, признает себя тайным последователем и преемником мессии Саббатая Цеви, благословляя, кляня и творя чудеса именем этого спасителя? Зачем же он тогда публично проклинает последователей Саббатая и торжественно предаёт их отлучению? И тут же посылает сыновей своих в Польшу к франкистам, фанатичным последователям этого сомнительного мессии? Правда ли, что этот ревностный, правоверный учитель-талмудист шлет письма французским кардиналам, отцам иезуитам в Рим, прося их сделать его цензором древнееврейских книг? Если не в насмешку, то для чего же поручает он защищать от всяческих нападков свою строго раввинскую ортодоксальность не кому иному, как гельмштедтскому профессору Карлу Антону, бывшему своему ученику, ныне ставшему христианином и ревнителем христианского вероучения?

Низко склонились ученики рабби Ионатана перед рабби Габриелем. «Мир тебе!» — сказали они, и замкнутая дверь учителя распахнулась перед ним. Благостно сидел под светом лампы в своей рабочей комнате рабби Ионатан Эйбешютц, мудрейший и хитроумнейший из людей. Ласково, кокетливо, слегка иронизируя над самим собой, улыбнулся он из-за огромной, белой как кипень бороды, разросшейся скорее вширь, чем в длину, чуть заметно раздвоенной по обычаю каббалистов, и радостно приветствовал безбородого, окаменевшего в угрюмой тоске пришельца. Все в рабби Ионатане, несмотря на подчеркнутую величавость, было округлым и располагающим. Длиннополый кафтан тяжелого драгоценного шелка мягко облегал его; из широкого рукава высунулась для приветствия очень маленькая белая холеная рука. Из-за пышной белой волнистой бороды ласково улыбалось румяное, совсем не морщинистое лицо. Лишь над кругленьким носом и приветливыми, проницательными и все же глубокими, карими глазами отвесно врезались в белый, мясистый, выпуклый лоб три борозды, образуя букву Шин, зачинающую священнейшее имя божье — Шаддаи.

— Да не посетует и не прогневается на меня брат мой и господин! — приветствовал он гостя на древнееврейском языке. Он улыбнулся, и в улыбке его была мудрость, и безволие, и кокетство, и сознание вины, и даже капелька лукавства. Но все покрывала чарующая, умиротворяющая любезность.

Однако на рабби Габриеля эти чары не действовали. Чересчур большие блекло-серые глаза над маленьким приплюснутым носом излучали беспредельную печаль, а от тяжелого, широкого и невысокого лба, нависшего над густыми бровями, исходила гнетущая скорбь. Но рабби Ионатану Эйбешютцу хотелось оградить себя от этой скорби.

— Читал ты,—спросил он беспечно, почти ласково,—читал ты, Габриель, новый памфлет этого, как бишь его, ну этого красnobая?

Речь шла о главном труде Якоба Гершеля Эмдена, амстердамского раввина, его яростнейшего противника.

— Вот уже двенадцатый пасквиль—по одному на каждое колено Израилево,—которым разразился против меня этот милейший человек,—продолжал он, и карие, мудрые, лукавые глаза его засветились веселой насмешкой.—Якоб Гершель из Амстердама стал почитателем двенадцатиконечной звезды.—Маленькой холеной рукой перелистал он большие страницы памфлета.—Жалкий пошляк!—сказал он с сочувственной иронией.—Все-то ему должно быть понятно, просто и ясно как день! Ему, скудоумному, холодному насмешнику, не понять, что засушенный цветок становится сеном на потребу мулу! Строчит послания! Доказывает, что «Зогар»—апокриф, что рабби Симон Бен Иохан никак не мог его написать! Вопит: «Подделка!»—как будто важно, чья рука писала, а не чья душа направляла руку.—Он покачал головой, и хитрая усмешка мелькнула на благостном лице с белой как кипень волнистой бородой.

Но тон его не встретил отклика у рабби Габриеля.

— Почему ты отринул учеников Саббатая?—спросил он скрипучим голосом.—Почему ты петляешь, увиливаешь, отпираешься? Почему ты поручил гою защищать тебя глупыми, нелепыми софизмами? Почему не сложишь с себя свое звание? Неужто тебе так важно быть гамбургским раввином и видеть свой дом полным людей? Почему ты,—и в голосе у него было сожаление и угроза,—почему ты отринул самого себя?

Ионатан Эйбешютц засмеялся коротким, располагающим смешком из недр своей благостной бороды.

— Брось, Габриель,—сказал он,—за два года ты не стал мягче, а я не стал суровее. Я мог бы возразить тебе: «Не все ли равно, кто он будет, еврей ли, или гой, или мусульманин, если ему открыт вышний мир?» Я мог бы возразить тебе: «Хорошо, Карл Антон, мой ученик, крестился; но разве не больше общности и близости у меня с ним, чем с реб Якобом Гершелем Эмденом, хоть он и правоверный еврей и хитроумная ученая голова, но при этом, к сожалению, ограниченный, скучный человек,

слепой к видению высшего мира и глухой к голосам его?» Я мог бы возразить тебе: «Мессия Саббатай Цеви сам перешел в мусульманство во имя спасения идеи и принципа, а его ученик, Франк, крестился; почему же мне не позволено принять обличие неумолимого рабби, с угрозой на устах и улыбкой в сердце изрыгающего против самого себя бесплодные проклятия?» Я мог бы возразить тебе: «Быть мучеником легко, куда труднее, идеи ради, выстав-лять себя перед людьми в сомнительном свете». Вот что я мог бы возразить тебе. Но лучше я ничего не скажу.— Он встал, приветливый, величавый, в длиннополом шелковом кафтане, подошел к приземистому, хмурому, старомодно, по-чиновничьи одетому старику.— Я признаю, я слаб, я безрассуден и суетен,—очень ласково и как-то по-детски простодушно сказал он.—Рок был ко мне благосклонен, сделав меня сосудом великой мудрости, я мог бы стать тем руслом, по которому струятся могучие потоки от мира высшего к миру низшему и веет дыхание божие. Но я оказался негодным, бранным сосудом. Никто глубже меня не сознает и всем своим нутром не ощущает, какой блаженный покой обретаем мы в боге, сколь суетны, обманчивы и тленны блага низшего мира. Но я неустанно вновь и вновь стремлюсь назад, в этот низший мир. Знание прекрасно, знание по ту сторону от дел мирских; кто обрел знание и покой, тот огражден от новых тягостных воплощений души. Дела мирские безрассудны, дела мирские глупы, грязны, животны и оставляют по себе горечь и пустоту. Но я неустанно стремлюсь к делам мирским, к суетности и тщете. Позволь мне быть глупым, дорогой мой друг. Позволь мне быть грязным и уподоб-ляться животному! Позволь мне больше заботиться о бороде своей, нежели о душе!—И закончил дерзновенной шуткой:—Душу свою я найду и отмою от скверны через мириады лет; но кто поручится мне, что я второй раз найду такую великолепную бороду?

Плавнo текли эти кошунства с ласковых, елейных, красноречивых уст мудрого, легкомысленного, заблудше-го рабби. Собеседник слушал их, хмурый, окаменелый, невозмутимый. И вдруг перед ним встала картина: камень, пустыня, потрескавшиеся льдины; нежный, дразнящий блеск вверху, нависшая туча, полет коршуна, мрачное и дикое своеволие гигантских, низвергнутых на льдины глыб. Ошеломленный видением, он понял: то же рассто-яние здесь и там. Недаром предчувствие погнало его от человека, которому он был обречен, к этому, другому человеку. У голых бесстыдных грудей Лилит покоился тот; но стремился он и тянулся к миру высшему; среди святых и праведников в серебристой бороде Симона Бен Иохан покоился этот, но алкал он сосцов Лилит. Та же

картина, то же подобие. Но тот человек был ближе к совершенству, чем этот.

Он не стал отвечать, когда Ионатан Эйбешютц наконец умолк.

— Мир тебе, брат мой и господин! — сказал он только и ушел в отведенный ему покой.

Ионатан Эйбешютц поглядел вслед его плотной, круглой, чуть согбенной спине, благодатная, беспечная улыбка постепенно исчезла, и, несмотря на белую как кипень бороду, вид у него был менее величавый и самоуверенный, когда он вновь сел за свои книги и пергаменты.

Усталый и возбужденный Карл-Александр откинулся на подушки кареты. Он ехал в Людвигсбург, чтобы оттуда отправиться за границу и лишь по завершении переворота возвратиться домой. Он провел два утомительных дня в сплошных карнавальных празднествах, которые, невзирая на великий пост, были устроены двором в честь имперского графа Пальфи; граф прибыл в качестве особоуполномоченного венского двора; это было весьма милостивым вниманием со стороны императора, желавшего тем самым показать, что он закрывает глаза на предстоящий государственный переворот и заранее санкционирует его. На рассвете Карл-Александр простился с герцогиней. Эту ночь он провел с ней, безудержно похваляясь своими грандиозными замыслами и уверяя ее, что она последнюю ночь проводит незначительной немецкой княгиней: отныне она займет подобающее место среди европейских монархинь, и вскоре, надо полагать, ее будут именовать иначе, нежели незавидным титулом светлости. Жарким возбужденным шепотом внушал он прекрасной нагой женщине свои мечты, она слушала его чуть насмешливо, но все же была захвачена его пылом, и на жаркие объятия откликалась жарче, чем обычно. Усталый от насыщенного, многозначительного прощания, чуть осовев, но дрожа от возбуждения, откинулся он на подушки кареты. Обычно он с полным хладнокровием шел навстречу любой авантюре, даже не вздрагивал, когда под ним падал подстреленный конь. А нынче, что за чертовщина! По всему телу пробегает озноб, точно муравьи завелись у него под кожей. Хорошо еще, что графа Пальфи он отправил вперед и можно хоть немного побыть одному. И проклятая нога упорно и надоедливо ноет. Чему удивляться? Погода на редкость гнусная. То солнце, то снег, то снова слепит яркое солнце: все попеременно. Дул сильный сырой ветер, обрывки облаков бешено мчались по небу. К тому же впереди, в Эглосгейме, был пожар, и отблеск огня раздражал лошадей. Смутное воспоминание мелькнуло у

Карла-Александра; медно-красный, как сейчас зарево пожара, кривился рог молодого месяца, а из темного враждебного леса веяло потусторонним ужасом, мертвая девочка белела на земле среди цветов, на резком ветру. Глупое воспоминание. К чему оно? У него сейчас, видит бог, найдутся мысли поинтересней.

Вот и Людвигсбург. Но и тут ни минуты покоя. Курьеры, донесения из дальних крепостей, разговоры с Шефером, Ремжингеном, Пфау, заботы, суета. Хоть бы замолчала эта окаянная музыка! А ведь он сам распорядился, чтобы перед апартаментами меломана-графа играл оркестр придворного театра. Он вдруг почувствовал голод, потребовал бульону, хотел выпить его залпом, но обжегся, швырнул чашку об стену. А тут еще жалобный стон набата над пожарищем в Эглосгейме. Порывистый ветер, дымящие камины. По всему дворцу дребезжат оконные стекла, хлопают двери. А в придачу ко всему — оркестр. Герцог места себе не находил. Музыканты и актеры хихикали исподтишка — лихорадка его треплет, как перед премьерой. Так наконец подошел вечер.

В Штутгарте в этот вечер было очень тихо. Нигде не зажигали огня. Но в темноте слышался топот многих ног, заглушенное бряцание и стук, шепот, беготня. Все горожане знали, что настал решительный час. Сообщение Шобера возымело действие. Все были вооружены, насторожены, полны глухого, гнетущего ожидания. Хоть и робели, но готовы были дать бой. Никто в Штутгарте не спал в эту ночь, кроме малых ребят. Люди в сотый раз повторяли одно и то же на ухо соседу, кляли, желали, боязливо, но храбрясь перед другими, пробовали оружие. И ночь была исполнена настороженной готовности.

Между тем в Людвигсбургском дворце зажгли все свечи. Перед отъездом за границу герцог давал придворным бал в честь чрезвычайного посла императора графа Пальфи и вюрцбургских советников. Общество собралось немногочисленное, приглашены были исключительно лица, осведомленные о предстоящем государственном перевороте. Очень много военных, среди них оба Редера — генерал и майор. Ухмыляясь, пригласил Карл-Александр шумливого узколобого вояку в Людвигсбург; конная национальная гвардия нынче ночью обойдется без командира. Не откликаясь на шутку — он очень серьезно относился к своим обязанностям, — выпучив глаза и застыв с поднятой под козырек уродливой, затянутой в перчатку лапой, майор поблагодарил за лестное приглашение. Высовывая из гигантских допотопных брыжей сине-багровое костлявое лицо с ястребиным носом, дон Бартеlemi Панкорбо озира́л залу; одряхлевший Вейсензе держался все время поближе к Зюссу, умные глаза его шурились,

он принохивался, он чуял адский пламень, бурю, катастрофу. Сам Зюсс был блистателен, как в лучшие свои времена, выпуклые, крылатые глаза его поспевали всюду, он был галантен, остер, горделив, его уверенное, победоносное настроение шло вразрез с тревожной неуравновешенностью Карла-Александра. Минутами в глаза Зюсса погружался темный звериный взор мамелюка, который ранее, склонясь в низком поклоне, выслушал его краткие, данные шепотом распоряжения, и теперь взгляд одного подтверждал торжествующее ожидание другого.

Поздним вечером в Штутгарте должны были начаться аресты главарей конституционной партии и одновременно в пределы герцогства должны были вступить вюрцбургские и баварские вспомогательные войска. До прибытия курьера с известием о благополучном выполнении этой части плана Карл-Александр думал пробить с гостями, а затем, успокоившись, пойти спать. Он отдал приказ, чтобы в опочивальне его ждала новая певица, мадемуазель Тереза, бойкая особа с огненными глазами и горячим телом. За последние два года он приучился перед первым свиданием с новой любовницей прибегать к возбуждающим средствам, он непременно желал поразить каждую новую любовницу своей необычайной мужской доблестью; сегодня, после прощальной ночи с Марией-Августой, он велел чернокожему увеличить дозу.

А курьера с радостной вестью все не было да не было. Тревожное ожидание герцога дрожью отзывалось в гостях, трепетало по всему залу. Снаружи буря бушевала с прежней силой, дождь, временами с градом, барабанил в окна; запах дыма от неисправных труб так и не удалось выветрить. Как ни ярко горели мириады свечей, как ни гремела музыка, как ни усердно разливали отменные вина из самых старых бочек, как ни сияли параднейшие наряды и нарочито праздничные улыбки, но, кроме лихорадочной, судорожной веселости, ничего не получалось.

Карл-Александр в кругу гостей громогласно задавал милостивые вопросы и тут же, не дослушав ответа, оборвав на полуслове, задумывался. Мамелюк неслышно приблизился, доложил, что мадемуазель Тереза уже в будуаре. Герцог бесцеремонно заявил:

— Ничего, девка подождет,—и сел с Зюссом за игорный стол. Мамелюк принес ему в серебряном кубке возбуждающий напиток и застыл перед ним в смиренной позе.

— Крепко ты его заварил? — спросил Карл-Александр.

— Да, ваша светлость,—хриловатым, бесстрастным голосом отвечал мамелюк.

Карл-Александр залпом проглотил питье. Продолжал играть. Много выиграл. Но оставался безучастным, отсут-

ствующим. Распахнув парадный зеленый мундир, то опираясь рукой на обтянутое желтыми рейтузами колено, то теребя золотую цепочку, он делал большие паузы между взяткой и ходом.

— Что это курьер не едет? — волновался он.

— Буря, бездорожье, — успокаивал Зюсс.

Чернокожий приблизился вновь своими неслышными скользящими шагами. Доложил, что девица дожидается.

— Пускай пока разденется! — рявкнул герцог. — Не могу же я с чертями притащить сюда курьера.

Кружок почтительных зрителей сопровождал игру несколько натянутыми, принужденными островами. Герцог побил карту противника, снова сгреб кучку дукатов.

— Придется тебе вернуть сегодня часть того, что ты у меня нагабил, еврей, — смеялся он.

— Сегодня мне это доставит особое удовольствие, — отвечал Зюсс.

Неблагозвучный голос майора Редера прорычал:

— Еще бы, лицом к лицу с противником еврею не так-то легко его надуть! Издалека, бумажками да уловками, не глядя человеку в глаза, орудовать куда удобнее.

Следующую партию Зюсс проиграл снова. Увидев в кружке придворных архитектора Ретти, герцог заметил ему:

— Если мне и дальше так будет везти, можно, пожалуй, перестроить галерею, как ты проектировал.

Архитектор громко и подобострастно захохотал.

— А камня-то еврей все равно не отдаст, — неожиданно заявил дон Бартеlemi Панкорбо своим глухим, замогильным голосом. Все с вожделением уставились на солитер, украшавший палец финансов директора, и точно зачарованные смотрели, как сверкает и переливается всеми цветами радуги изумительный камень.

Снова за спиной герцога очутился мамелюк, доложил:

— Прибыли.

Карл-Александр с притворной небрежностью швырнул карты, подвинул к Зюссу внушительную кучку выигранных денег:

— Получай, еврей! Галерею перестроим потом. А это я дарю тебе.

Зюсс, почти добродушно иронизируя, думал: «Вот как! Даром он ничего не принимает. Платит мне, и даже с процентами, полагая, что я помог ему достигнуть цели. А потом упрячет меня в каземат и заберет обратно плату вместе с процентами». Он поглядел на герцога в упор, и тот, подчиняясь его настойчивому взгляду, сказал небрежно:

— Можешь сопровождать меня.

Чернокожий впереди, затем, хромая, отдуваясь, весь

красный, Карл-Александр, позади упругой походкой, матово-бледный, окрыленный, помолодевший Зюсс.

Сперва по авансалам, сквозь шеренги почтительно склоненных лакеев, дальше пустынными коридорами, по которым проносилось лишь порывистое дыхание бури, в противоположное крыло дворца, где были расположены личные апартаменты герцога. Рабочий кабинет, маленький будуар, опочивальня с ожидающей женщиной. Мамелюк распахнул дверь рабочего кабинета. Не курьер, которого ждал Карл-Александр, находился там, а четверо незнакомых ему мужчин. Двое из них—старые, седовласые, тощие, длинные, как очиненные гусиные перья, двое других—коренастые, с грубоватой, простонародной повадкой. Все четверо молча поклонились, младшие тяжело-весно и неуклюже, старшие суетливо, по многу раз кряду, и мерцающие на сквозном ветру свечи то бросали на них причудливые блики, то погружали их во тьму.

Разъяренный, обманутый в своих ожиданиях, герцог заорал на мамелюка срывающимся от бешенства голосом:

— Спят ты, что ли? Пускаешь ко мне ночью, да еще нынешней ночью, какой-то сброд?—Пинком отшвырнул его в угол.—Где курьер? Куда запропастился курьер?—ревел он.

— Мы вовсе не сброд,—не спеша, враждебно вымолвил один из мужчин.—Мы представители ландтага.

Карл-Александр ринулся на него, схватил грубияна за дюжие плечи, принялся трясти:

— Напасть на меня собрались? Убить исподтишка! Предатели! Убийцы!

Он так кричал и бушевал, что певица, голой поджидавшая его в соседней комнате, крестясь, забила под одеяло.

— А теперь вам крышка,—ревел не помня себя герцог.—Заживо сгною вас, сволочи, смутьяны! Изменники! Псы! Вместе с вашими погаными собратьями из малого совета в самые крепкие казематы запрячу вас!

— Вы заблуждаетесь, господин герцог,—произнес тут вежливо, негромко один из стариков.—Вы глубоко заблуждаетесь,—повторил он, кланяясь много раз кряду.—С милостивейшего дозволения вашей светлости, нынче ночью никто не будет арестован в Штутгарте. И войска баварские и вюрцбургские перейдут границу в очень небольшом количестве; из тех же, что явились с паролем «Attempto!»—половина, с милостивого дозволения вашей светлости,—наши евангелические братья. И хотя господин Редер находится тут, отряд городской конной гвардии и без командира пребывает в боевой готовности и отстоит город во что бы то ни стало.

Сам Зюсс не мог бы деловитее, точнее и короче сообщить о полном и окончательном провале переворота, чем щуплый, тощий парламентарий, который весьма учтиво, с бесконечными расшаркиваниями и просьбами о «милостивом дозволении» продолжал излагать подробности. Но заключить свою речь ему не удалось: герцог выслушал только первые фразы; потом с ним произошла страшная перемена. Рука, все еще державшая за плечо коренастого депутата с простонародным обличем, мало-помалу ослабела, лицо налилось кровью и перекошилось, из груди вырывался странный, мучительный, звериный хрип, рот беспомощно ловил воздух, и вдруг, судорожно содрогнувшись, Карл-Александр грузно рухнул на землю. Четверо бюргеров, увидев это зрелище, испугались, что вину возложат на них: дворец полон врагов, мамелюк ввел их сюда без доклада, подозрительным, таинственным образом, через какую-то заднюю дверь; и вот теперь, боясь, что их избыют или даже, чего доброго, прикончат, они пустились бежать и были рады-радешеньки, когда отыскали свою карету, стоящую поодаль под дождем и ветром, и, дрожа от холода и волнения, благополучно тронулись в обратный путь.

Карл-Александр лежал между тем на полу, с ним остались только Зюсс и чернокожий. На мощной волосатой груди одежда была разорвана. Из соседней комнаты, испуганно сжавшись, прислушивалась голая девушка к его страшному звериному хрипу. С неимоверным усилием водил он по комнате стекленеющим взглядом, в котором был написан полный дикой, необузданной ярости вопрос.

— Да, господин герцог,— ответил Зюсс на этот немой вопрос. Еврей и сам не знал, хотелось ли ему, чтобы герцог принял весть о предательском провале переворота именно так или как-нибудь иначе. Не задумывался он также, усталость ли от празднества и возбуждающее снадобье частично повинны в катастрофе, или он один, своей волей привел к ней. Словно по наитию он так все подготовил, а потом, когда события развернулись, так ловко их направил, что лихорадочно возбужденный герцог, вместо ожидаемого вестника радости, натолкнулся на зловещих глашатаев бед. Он не сомневался, что поразит врага в самое сердце, навеки парализует и сокрушит его разум и волю. Физической гибели он хоть и не желал заранее, но и не возражал против нее.

Напрягши все силы, усадил он грузное тело в кресло и обратился к чернокожему:

— Ступай приведи патера Каспара.— Неохотно удался Отман, оставив еврея наедине с умирающим.

Леденя, слушала из соседней комнаты певица, как негромкий, до предела напряженный, добела раскаленный

внутренним жаром голос обращался к затихшему герцогу; слов она не могла разобрать, ее ужасало звучащее в этом страстном шепоте жестокое, насыщенное ненавистью торжество.

А говорил еврей вот что:

— Герцог! Грубый, бездарный герцог! Глупый, тупоголовый Карл-Александр! Как тебе, верно, хочется заткнуть сейчас уши, а? Хочется уйти и не слушать меня? Хочется молиться, принимать от духовника елей утешения и отпущения грехов? Но этим я тебя не порадую. Я не дам тебе умереть, пока ты не выслушаешь меня. Заводи глаза, надсаживай хрипом грудь: все равно ты должен выслушать меня. Я говорю совсем тихо, я не повышаю голоса, но слух твой и твоя бессовестная душа наполнены моими словами. И тебе придется сидеть смирно и не умирать и слушать меня.

Да, дитя умерло иначе. Ты мчался за ней с гиканьем и ревом, твое окаянное, смердящее дыхание обдавало ее; но ей дано было улыбаться и парить, и тысячи благих ангелов протягивали ей навстречу руки. И ты стоял перед покойницей, как растерянное тупое животное, и раз я не плюнул тебе в лицо, ты решил, что все улажено и забыто. Слушай, Карл-Александр, слушай, глупый, тупоголовый герцог, я не вцепился тогда в твое похотливое лицо, я не был так прост, потому что я хотел сперва обработать тебя, сделать тебя похожим не только на человека—на государя. Что ж ты не кидаешься на меня, не сопишь и не фыркаешь? Нет, ты лежишь смирно, жалкой, уродливой тушей, достойной осмеяния в собственных и в чужих глазах. Знаешь ли ты, злосчастный глупец, что твой великий замысел подняться до швабского Louis Quatorze, твои цезаристские грезы внушены мною. Ты был всю жизнь лишь ничтожным самодуром, герцогом по случайной случайности, а я вертел тобой, как марионеткой. Да, да, смотри на меня, выпучив глаза! Я тебе не закрою их, пока не доскажу до конца. Знай же, все самое дурное, что было во мне, каплю за каплей, внедрил я в тебя, семена зла и порока посеял в твоей душе. А мог бы сделать так, чтобы ты перед целым светом обнял меня и назвал братом; мне стоило для этого лишь показать тебе бумаги, из которых явствует, что я—сын Гейерсдорфа, да, сын христианина, барона и маршала. Но я счел христианскую кровь худшим своим наследием, этим худшим оделил тебя, заставил плясать под мою дудку и откормил тебя на убой.

Он оставил умирающего в покое, задумался; потом начал снова, по-иному, мягче:

— Да, меня влекло к тебе, я мог бы стать тебе другом. Но ты, едва почуяв это, сопротивлялся и ворчал, и лишь дурное воспринял ты от меня и взрастил и взлелеял его.

Эх ты, великий государь и герой. Эх ты, германский Louis Quatorze! Эх ты, злосчастный фанфарон и глупец!

Взволнованные, торопливые голоса за дверью, в коридоре. Вошли доктор Венделин и камердинер Нейфер; за ними патер Каспар, духовник; его едва удалось сыскать, он сидел в кондитерской с невзрачным мудролицым вюрцбургским тайным советником Фихтелем, который, не поддаваясь всеобщей тревоге и заранее смакуя торжество нынешней ночи, благодушно попивал свой излюбленный кофе. Теперь все и вся ринулись сюда, беспомощно, бессмысленно, лихорадочно суетясь вокруг изуродованного агонией герцога, расспрашивая Зюсса, который бегло и поверхностно рассказал о случившемся и вскоре, воспользовавшись возней вокруг умирающего, незаметно удалился. В соседнем покое одевалась певица. Негромкий, жаркий, жалящий, торжествующий, полный ненависти голос все еще звучал у нее в ушах, приводя ее в содрогание; бледная, вся дрожа, она кое-как натянула платье и, широко раскрыв от ужаса глаза, съезжившись, побежала, преследуемая зловещим голосом, по коридорам, вздохнула с облегчением, когда очутилась у ворот на порывистом ветру, а дворец остался позади.

Доктор Венделин Брейер собрался пустить герцогу кровь. Но не успел. Мамелюк, воротившийся вместе со всеми, неслышно приблизился к человеку в кресле; внимательно, с жестокой невозмутимостью оглядел судорожно стиснутые руки, отекавшее почерневшее лицо, высушенный язык, открытые, застывшие, выкатившиеся глаза. Затем низким своим, хрипловатым голосом произнес так неожиданно, что все вздрогнули—многие никогда не слыхали от него ни звука: «Он скончался». Доктору Венделину Брейеру осталось лишь констатировать то же самое.

Пока врач, выдавливая слова из недр груди, глухо бормотал какие-то туманные объяснения: внезапный резкий *spasmus diaphragmatis*¹, удушье, *stagnatio sanguinis plenaria*², а чернокожий безмолвно и насмешливо созерцал растерянного медика, выбивающегося из сил, чтобы сохранить свой апломб,—шепотом понеслось по коридорам, облетело передние, прозвучало в бальной зале из уст церемониймейстера: «Герцог скончался». Музыка оборвалась. Невыразимый, парализующий испуг, побелевшие, перекошенные физиономии. Полная сумятица, бестолковая беготня, у всех одна мысль—как бы ступешаться. Среди венских, баварских и вюрцбургских гостей—явное замешательство и стремление показать свою непричаст-

¹ Спазм диафрагмы (лат.).

² Застой крови вследствие ее излишка (лат.).

ность. Офицеры топтались, точно большие, глупые, злобные, хищные звери, попавшие в капкан. Этот роковой случай, именно в такую минуту, мог каждому стоить не только чинов и состояния, но и жизни. Даже тайный советник Фихтель вышел из равновесия; десятилетиями носил он маску перед самим собой и целым миром; теперь же лицо у него разом сделалось простонародно-грубым, злобным, сварливым, он непотребно выругался вполголоса. Только через десять минут он настолько овладел собой, что мог размышлять здраво и спокойно. Завещание, написанное по его наущению покойным герцогом, теперь вряд ли чему-нибудь поможет; значит, остается один выход — поскорее остановить пущенный в ход механизм заговора, замести следы, ведущие сюда из Вюрцбурга, и с достоинством, без ущерба для своей репутации, выйти из игры.

Тем временем Зюсс укрылся в далеком, уединенном покое. Его ничто не трогало, прибой всеобщего возбуждения не достигал сюда. Буря несколько стихла. Еврей ничего не видел, не слышал, не замечал. Окружающее исчезло для него. Он ждал. Вот теперь, сейчас, дитя будет здесь, овеет его сладостным дуновением, сладостно вольется в него, сделает его невесомо легким. Он сидел, не шевелясь, с блаженной, глуповатой улыбкой, и ждал. А ее все не было. Ничего не было. С каждым ускользающим мгновением он чувствовал себя все холоднее, тяжелее, опустошеннее. И вдруг понял — она не придет никогда. Ему представился герцог — почерневшее искаженное лицо, высунувшийся язык, выкаченные глаза. Он ощутил гадливость. Испугался. Он не понимал уже, что же тут могло заполнить, окрылить его. Во имя всего святого, какое отношение имело к этому дитя? Дитя было белоснежным, умиротворяющим, точно лунное сияние. А его счеты с герцогом — это дымно-красное бурлящее море с запахом серы. В каких сумасбродных мечтах пригрезилось ему, будто, переплыв это море, он увидит дитя? Задыхаясь от страха, искал он внутренней связи между событиями, сам не понимая себя. Его последний разговор с Карлом-Александром был ведь спазматическим, малопомалу затихающим содроганием, как совокупление с женщиной, а вовсе не окрыленным парением. А теперь он придавлен тоской, полон гадливости, и дитя от него дальше, чем когда-нибудь.

Влажным холодом обдало его. Точно обороняясь, как в ознобе, передернул он плечами. Из-за спины его выглядывало лицо. Его собственное лицо.

Он встряхнулся, поднялся. Буря снова разыгралась, он

плотнее прикрыл окно. Чей-то голос звучал в ветре, в комнате, у него в ушах, некрасивый, скорбный голос, голос дяди. Звучал он негромко, но заполнял всю комнату, весь дворец, весь мир был полон этим голосом. И тут ему стало ясно: он избрал ложный путь. Все, что он думал, делал, предпринимал, его счеты с герцогом, искусно возведенное здание мести и торжества—все было ложью и заблуждением.

Но странно—это сознание не разочаровало и не раздосадовало его. Нет, все к лучшему. Вновь привиделось ему, что он скользит в той же бесшумной, призрачной кадрили, рабби Габриель держит его правую руку, герцог—левую. Они изгибаются, склоняются в причудливых фигурах. Но сегодня туманное, бесцветное видение не было тягостным. Ибо танцующие вдруг разжали руки, поглядели друг на друга и разошлись.

Беспредельная усталость овладела им. Никогда в жизни не был он так, до самого дна, опустошен телесной слабостью и усталостью. То же, должно быть, ощущаешь, сидя в теплой ванне, когда жизнь вместе с кровью медленно уходит из вскрытых вен. Что-то в нем таяло, размягчалось, исчезало без следа. Какая блаженная, тягучая, сладострастная, щемящая все тело, освободительная боль! Какое самозабвенное падение и парение. Какое безразличие, какая небывалая покорность судьбе, какое благодатное, безвольное истаивание и уничтожение. словно вся кровь вытекала из него, а с нею все порывы и страсти, и он погружался в безграничную радостную, горестную истому.

Таким немного погодя нашел его старый, дряхлый слуга, надзирающий за свечами, когда явился потушить огни. Увидав бледного, поникшего в кресле человека и узнав его, он с перепуга уронил светильник, пролепетал:

— Господи Иисусе, господин финанцдиректор!

Но тот вяло поднялся и велел принести чего-нибудь поесть, безразлично чего, а то он от голода совсем ослабел. Ошеломленный старик, крестясь, поспешно ушел и вернулся с едой. Зюсс принялся есть жадно, прямо руками, а старику велел продолжать свое дело. Тот пробормотал, что это не годится, как же можно, чтобы господин финанцдиректор в темноте...

— Гаси свечи и не заботься обо мне,—перебил его Зюсс.

Растерянно принялся старик за работу. Буря снова ревела и бушевала вовсю. Зюсс ел, жевал, глотал. Старик торопился, лазил на лесенку, гасил, искоса поглядывая на финанцдиректора. Тот все еще торопливо ел, жевал, чавкал. Потом каким-то необычно веселым тоном произнес:

— Не прилепляйся душой своей к людям! Так ведь сказано в Новом завете, верно?

— Мне невдомек, ваше превосходительство,— испуганно пролепетал старик.

— Ну, все равно,— сказал Зюсс, дожевывая последний кусок.— Лучше посвети мне!

Комната погрузилась во мрак: следуя за слабым светом фонаря, шагал Зюсс по темной анфиладе зал в главное дворцовое здание.

Тут, в одном из боковых покоев, заседали главари католического заговора, генералы, министры. Были тут только свои люди, вюртембержцы. Вюрцбургские и баварские гости, посол его апостолического величества, все, несмотря на бурю и непогоду, поспешили убраться, да еще как прытко! Даже астролог князя-аббата Эйнзидельнского улепетнул со своей оконной влагой, с колбами, треножниками и разукрашенным таинственными знаками балахоном, не успев свериться по звездам, благопритствуют ли они его отбытию.

А швабские сановники сидели тут, бледные, потные, тщетно сисясь побороть отчаянную растерянность. Облегченно вздохнули при появлении Зюсса, с упованием воззрились на него как на спасителя.

Еврей приветливо, спокойно, почти весело обвел своими карими глазами перепуганную компанию. Затем обратился к тучному майору Редеру, у которого был особенно тупой и беспомощный вид.

— Вам не ясно, господин майор, как найти выход из этой сложной ситуации?— Он вплотную подошел к обалдевшему, недоумевающему вояке и сказал любезным тоном:— Арестуйте меня: тогда, кто бы ни взял верх, ваша безопасность гарантирована.— Сказал он это самым беспечным, учтивым тоном, словно вел салонную беседу.

Присутствующие в полном смятении уставились на него, но потом откуда-то из глубины поднялось и зажглось у них в глазах жестокое, злобное пламя. Трудно понять, куда гнет еврей; одно только ясно: если схватить его, если его засадить, то тем самым он окажется мишенью, на которой разрядится первый гнев, будет сорвана самая ярая злоба. В комнате настала мертвая тишина. Все одинаковыми словами, почти в одинаковой последовательности думали те же думы. И все пришли к одному выводу: «Да! Схватить еврея! Повесить еврея! В этом все спасение!»

И таким образом что-то будет сделано. Таким образом не придется сидеть сложа руки и терпеть этот гнетущий нелепый унижительный страх. Черт побери, ведь в баталиях каждый из них держал себя браво. Как же можно было допустить это глупое, гнусное, по-собачьи подлое

чувство, от которого мараешь штаны, от которого щемит сердце и сосет под ложечкой. Какое счастье, что можно выбраться из этого свинского состояния таким удачным маневром. Минута—и вся мерзкая, жалкая, конфузная тяжесть будет сброшена и забыта.

Вот поднялся майор Редер—перед собой и перед людьми воплощенный патриотизм, отвага, благочестие. Мощно, внушительно, убежденный в своей правоте и честности, надвинулся он на Зюсса, положил ему на стройное, элегантное плечо уродливую, затянутую в перчатку лапу, через силу раскрыл жесткий рот:

— Именем герцогини и конституции, ты арестован, еврей.

В одно мгновение гнетущая тишина разрешилась бешеным, победоносным звериным ревом. Еврей улыбался тихо, отчужденно, откуда-то издалека. Грязной бранью, пинками и толчками старались господа сановники не пустить эту улыбку к себе в душу.

Книга пятая

ЗЮСС

Там, где сходятся восток с западом, лежит малой крупницей земля Ханаанская. И полуденная страна, древний Мицраим, языком вонзается в сочленение. Там, где пути востока встречаются с путями запада, лежит город Иерусалим, твердыня Сион. И, воссылая хвалу богу Израиля, единому предвечному Иегове, на восходе солнца и на закате солнца стоят евреи, сомкнув ноги, и смотрят в сторону города Иерусалима, в сторону твердыни Сиона, те, что на западе, смотрят на восток, те, что на востоке, смотрят на запад, и все в один час и все в сторону города Иерусалима.

От стран заката стремится к земле Ханаанской неукротимая извечная волна: алкание жизни, самоутверждения, воля к созиданию, к радости, к власти. Урвать, удержать — знание, радость, богатство, побольше радости, побольше богатства, жить, бороться, созидать. Вот что звучит с запада. Но на юге, под остроконечными пирамидами, в золоте и бальзаме покоятся мертвые цари, горделиво оберегая плоть свою от разрушения; их изваяния, выстроившиеся в пустыне гигантскими аллеями, бросают вызов смерти. И неукротимая, извечная волна стремится к земле Ханаанской: раскаленное, как пустыня, упорство в бытии, жгучая жажда уцелеть, не утратить образа и строения, не утратить телесной оболочки. Но с востока звучит кроткий голос мудрости: спать лучше, нежели бодрствовать, мертвыми быть лучше, нежели живыми. Не бороться, не созидать, влиться в небытие, в нирвану. И благая извечная волна катится с востока к Ханаанской земле.

От века до века набегают на маленькую страну три волны, сливаясь воедино: светлая, кипучая волна воли к жизни и созиданию, жаркая, раскаленная волна горделивого вызова смерти, благая темная волна, зовущая к небытию, к нирване. Тихо, настороженно лежит земля Ханаанская, малая крупница, принимая и соединяя потоки трех волн.

А в малой, как крупица, стране, жил народ Израиля с ясным взглядом, с чутким слухом. Присматривался к востоку, прислушивался к западу, поглядывал на юг. Народ такой маленький, а живет между колоссов: Ассирия-Вавилонии, Мицраима, Римской Сирии. Зорко приходится ему следить, чтобы не быть раздавленным или не раствориться в гигантах. Но он не хочет растворяться, он хочет существовать, потому что он храбрый, мудрый, маленький народ, он не позволит раздавить себя. А три волны набегают все вновь, извечные, неизменные. Однако маленький народ противостоит им. Он не глуп, он не сражается с несоизмеримым; он пригибается, если какая-нибудь волна встает слишком высоко и захлестывает его с головой. Но затем он выплывает вновь, отряхивается и живет как ни в чем не бывало. Он стоек, но не бессмысленно упрям. Он отдается всем волнам, но до конца—ни одной из них. Берет от трех потоков все, что ему годится, и приспособляет на свой лад.

Ввиду постоянной опасности маленький народ старается не упускать ни одного движения соседей-гигантов, непрестанно потихоньку нащупывает, замечает, созерцает, познает. Созерцание, расчленение, познание мира становится его сущностью. В нем вырастает великое пристрастие к средству такого познания, к слову. Священными законами карает он неграмотного, знание письменности становится божьей заповедью. Он запечатлевает все, что несет ему три волны. Выражает собственными, ему присущими, словами ясное, полнозвучное учение о созидании, и второе, томительно-жгучее, о воле к бессмертию, и третье, умиротворяющее, сокровенное о блаженстве бездействия и безволия. И маленький народ пишет те две книги, что больше всяких других изменили облик мира, великую книгу созидания—Ветхий завет и великую книгу отречения—Новый завет. А воля к бессмертию звучит основным тоном его жизни и слова.

Сыны маленького народа разбрелись по миру и живут учением Запада. Творят, добиваются, стяжают. Но, несмотря на все, им чуждо созидание, их место на полпути между созиданием и отречением. И неизменно обращают они взоры назад к Сиону. И часто, в упоении победы, в унижении неудачи, посреди стремительного порыва, они останавливаются, содрогаясь, и сквозь тысячи звуков различают тихий, затаенный голос: не желать, не созидать, отречься от своего «я».

И многие из них проходят весь путь до конца: от буйства созидания ради власти, радости, богатства, через бунт против смерти, к блаженному разрешению от пут, к внутренней свободе, к нирване безволия и отречения.

Сквозь ночь, тучи, бурю мчались курьеры в Штутгарт. К членам парламента, к Ремхингену, к герцогине. Они обогнали карету с делегацией, ездившей к герцогу. И, опередив делегатов, проникла в городские ворота весть о смерти Карла-Александра, робко затеплилась над темным, притихшим городом, наполненным шепотом и тревогой. На улицы, к соседям поспешили бюргеры. Неужто правда? Кара божья, явный перст господень. Чересчур поразительно и неправдоподобно столь неожиданное избавление. Но правда ли это? Не ловушка ли? Пугливые огоньки зажглись в окнах. Громче стал шепот, слышались первые приглушенные возгласы радости. Вдруг, все вновь омрачая, возник слух—это был только припадок, герцог очнулся. И, сразу притихнув, поплелись домой обыватели, стали гасить огни. Наконец-то, наконец явилась уверенность, с балкона ратуши возвещена не оставляющая сомнений весть: герцог скончался. Вот когда разразилось давно сдерживаемое ликование. Объятия, благодарственные молитвы. Радость на всех лицах, как после спасения от гибели. Повсюду праздничные огни. Свинорылый булочник Бенц с помощью приятелей из «Синего козла» намалевал транспарант, на котором черт нес человека над церковью с двумя башнями. Внизу булочник огромными буквами подписал стишок: «Кто продал родину, как ренегат, того уносят черти в ад». Дрожащими от радости, потными руками поставил он транспарант на освещенное окошко и торжествовал, когда прохожие останавливались перед ним, а потом разносил стишок по городу. Вскоре всюду пошли толки, что герцога унес черт. Сказывали вам, какое почерневшее, искаженное лицо у трупа? Когтями задушил Вельзевул еретика-государя.

В ребяческой растерянности сидела Мария-Августа у себя в будуаре. Подле нее—гофканцлер Шефер, генерал Ремхинген и духовник ее, капуцинский патер Флориан. Она сидела в восхитительном неглиже, нынче утром привезенном из Парижа специальным курьером, и невольно жалела, что неглиже не прибыло на день раньше, а то бы она надела его в прощальную ночь, и Карл-Александр успел бы им полюбоваться. А теперь он—отвратительный покойник, и больше никогда не будет любоваться ни неглиже, ни женщинами. Она засчитывала себе в добрые дела свою благосклонность к Карлу-Александру, хотя бы в эту последнюю ночь. Снизу доносился гул народного ликования по поводу смерти герцога.

Громоздкий Ремхинген, при всем страхе и смятении, по привычке, почти машинально пожирал глазами голые плечи Марии-Августы и в бессильной ярости рычал: крушить! разить! Ни на что не глядя, привести в исполнение проект. Военная сила под рукой. Он всегда стоял за

военную силу. Допустим, несколько полков взбунтуется. Он прикажет расстрелять их. Недаром он присягал герцогине. Семирамида, Елизавета, Екатерина. Разить! Крушить!

Боязливо возражал хлипкий гофканцлер. Теперь только, ради бога, без кровопролития. С переворотом благополучно покончено. Надо действовать осторожно и легально. Строго легально. Завещание дает повод к благоприятным толкованиям. Такие же доводы привел и патер Флориан, только тверже и увереннее. Резвое воображение капуцина плело фантастическую паутину. Он, мудрый политик, занимает самый, пожалуй, важный в государстве и многообещающий пост духовника герцогини-регентши. Произнося рассудительные, умиротворяющие слова, он уже представлялся себе германским Ришелье или Мазарини. Но Мария-Августа хоть и склоняла с внимательным видом ящеричью головку и сосредоточенно хмурила пастельно-нежное личико, однако была рассеянна; она думала о Карле-Александре, о новом неглиже, о том, что надо заказать вдове покрывало — его можно приладить очень изящно и авантажно, даже уродливой герцогине Ангулемской оно было к лицу — и в ответ на строго деловые предложения своих советников она неожиданно произнесла тоненьким, озабоченным голоском: «Que faire messieurs? Que faire?»¹

Малый совет парламента собрался в ту же ночь; остальные депутаты тоже пожелали присутствовать на заседании. Что за чванливое торжество, что за бахвальство собственным могуществом! Господа парламентарии делали вид, будто смерть герцога — их личная заслуга, будто они предусмотрительно и дипломатично подготовили это простейшее разрешение кризиса. Член совета Нейфер был искренне убежден, что честь чудесного спасения принадлежит ему. Произвольно освещая и видоизменяя факты и слухи, он с помощью своего мрачного воображения сочинил целый приключенческий роман, в котором сам, как паук, сидел посередине и плел нити сложной интриги. Разве не он настойчивыми речами так сумел убедить своего двоюродного брата, камердинера Нейфера, в пагубности деспотизма, что тот хоть и не открыто, а все же примкнул к поборникам конституции? Доверенный слуга, разумеется, умышленно увеличил дозу возбуждающего снадобья, что, принимая во внимание распущенный образ жизни и апоплексическое телосложение герцога, неминуемо должно было привести к удару. Нейфер успел расспросить медиков; все они в один голос подтвердили, что при такой совокупности условий печаль-

¹ Что делать, господа? Что делать? (фр.)

ный исход был неизбежен, тем паче если под рукой не оказалось необходимых лечебных средств. А их под рукой не оказалось — в силу ли случая или же — как знать? — чьего-то мудрого попечения? Карл-Александр умер в полном одиночестве. Даже духовник не подоспел вовремя, чтобы препроводить его еретическую душу в еретический рай; в коридорах не было ни одного лакея, весь штат — по моему разумению, тоже неспроста — отправился в другое дворцовое крыло смотреть на танцы. Словно одинокий пес, издох тиран. Вот какую абракадабру, несостоятельную для всякого осведомленного человека, хотя бы потому, что чернокожий, а не Нейфер готовил снадобье, законвед Нейфер с мрачной, дьявольски злорадной усмешкой нашептал своим собратьям по парламенту. Смерть герцога в самую критическую минуту была такой невероятной удачей, что многим нелепый рассказ ожесточенного фанатика показался правдоподобным, и слушатели, при всем своем восхищении, уже спешили отстраниться на всякий случай, так что штутгартский Брут одиноко красовался в ореоле мрачного величия.

Остальные петушились, строя обширные планы. Чувство радости уже заслонилось настойчивой жаждой наживы, власти и мщения. Ага! Наконец-то наша взяла! Ага! Наконец-то можно рассчитаться с жидом, с еретиками, со всеми, перед кем приходилось лебезить. Ясно, что герцог Рудольф Нейенштадтский должен стать главным опекуном малолетнего наследника престола, что бы там ни стояло в завещании Карла-Александра. На него положиться можно. Он добрый протестант и с ними заодно. Завтра же утром оповестить его. А пока что нынче ночью запляшут у них все еретики, предатели родины, жидовские приспешники! К военным подступиться было боязно; но все штатские из зюссовской партии, находившиеся в Штутгарте, а не в Людвигсбурге, были захвачены в ту же ночь. Повторилось то, что происходило с клеветами Гревениц после смерти Эбергарда-Людвига. Полицейские и судебные пристава ходили по домам, арестовывали и под насмешливые, радостные возгласы глазеющей толпы тащили на гауптвахту низвергнутых вельмож, а те, злобно потупясь, изрыгали ругательства и проклятья, усовещевали свысока и плакались на свою судьбу. В тюрьму Бюлеров, Мецев, Гальваксов, в тюрьму Лампрехтсов, Кнабов и даже самого гофканцлера Шефера.

Со скрежетом зубовным смотрел на происходящее Ремхинген. Безоговорочным приказом герцогини ему было воспрещено вмешательство. Но пускай только они посмеют коснуться военных! Пускай только притронутся своими вонючими плебейскими лапами хоть к одному из его офицеров! Тогда уж ему удержу не будет, он все

сокрушит! Но уполномоченные ландтага тщательно обходили военных.

Об одном лишь человеке, странным образом, в Штутгарте либо вовсе не говорили, либо говорили шепотом, вскользь, не называя имени. И все же он один был подоплекой всех помыслов, тайным упованием герцогини и военщины, тайным страхом парламента и бюргеров. Что делает Зюсс? Что он затевает? Будет он нападать? Или попробует защищаться, скользкий, как угорь, дьявольский ловкач? Он находился в Людвигсбурге, от него не было ни звука, ни весточки, ничего. Забрехала первая заря теплого, дождливого мартовского утра. Все были до смерти утомлены и разбиты тревожными беспокойной ночи и легли отдохнуть. А от еврея все не было известий. Что за коварство, неуважение и низость! В первый сон злобствующих приближенных герцогини, и торжествующих парламентариев, и арестованных сановников прокрадывался глухой страх и упование: что делает Зюсс?

А в Людвигсбурге доктор Венделин Брейер диктовал протокол вскрытия. Совместно с коллегами Георгом Буркхардом Зеегером и Людвигом Фридрихом Бильфингером он произвел вскрытие тела. У всех трех лейб-медиков, когда они резали труп, мелькала одна и та же мысль: «Ну что! Лежишь теперь смиренхонько, не даешь пинков, не швыряешь склянками в голову». Но на физиономиях у них выражалась важность и торжественная скорбь, как то подобает людям науки. И вот доктор Венделин Брейер принялся глухим своим голосом, размашисто и неловко жестикулируя, диктовать обстоятельный и добросовестный *iudicium medicochirurgicum*¹, заключение медицинской коллегии: «Из настоящего *visu reperto*²,— диктовал он,— и с достоверностью явствует, что кончина его княжеской светлости приключилась не вследствие апоплексии, а также воспаления или гангрены, ниже вследствие кровоизлияния или *polipo etc.*³, а вследствие астматического припадка, причинившего удушение кровью. К сему неожиданному исходу, без сомнения, поводом послужили, с одной стороны, прежде неоднократно пресекаемый, но под конец с чрезвычайной силой разразившийся *spasmus diaphragmatis etc.*⁴, а также сильно увеличенный, нажимавший на диафрагму, раздутый ветрами желудок, с другой же стороны, *ad stagnationem*

¹ Медико-хирургическое заключение (лат.).

² Осмотра обнаружено (лат.).

³ Поляна и т. д. (лат.).

⁴ Спазм диафрагмы (лат.).

sanguinis plenariam, ob atoniam et debilitatem connatam¹ (тем паче что многократный прискорбный опыт наглядно показывает, сколь многие светлейшие государи Вюртембергского дома умирают от грудных болезней) предрасположенные *pulmones*»².

Между тем в Штутгарте, на другой день после смерти Карла-Александра, было вскрыто его завещание. В первоначальной редакции завещания опекунами назначались герцогиня совместно с герцогом Карлом-Рудольфом Нейенштадтским. В приписанном позднее, под давлением тайных советников Фихтеля и Рааба, дополнительном пункте архиепископ Вюрцбургский объявлялся соопекуном, во втором добавлении, которое Карл-Александр внес незадолго до смерти, князь-епископ облакался особыми полномочиями. Тотчас же в тихий Нейенштадт выехала депутация совета одиннадцати всеподданнейше просить герцога Карла-Рудольфа о немедленном принятии на себя регентства. Карл-Рудольф был прижимистый престарелый господин. Он прошел курс наук в Тюбингене, смолоду изрядно пожил, побывал в Швейцарии, во Франции, в Англии, в Нидерландах. Затем поступил на службу к Венецианской республике, воевал в Море, блестяще отличился при осаде Негропонта. Добровольцем сражался в Ирландии, в войне за испанское наследство командовал двенадцатью тысячами датских наемников, кровавая победа при Рамилье решена была им, принц Евгений и Мальборо высоко ценили его, имя его блистало наряду с именами первых полководцев Европы. Но, получив, по смерти брата вюртембергско-нейенштадтские коронные владения, он, пятидесяти лет от роду, неожиданно сложил с себя все военные звания, удалился в городок Нейенштадт и жил там по-крестьянски, как строгий и справедливый отец своего маленького народа.

С Карлом-Александром он не поддерживал отношений. Блистательный государь со своим пышным двором и наглым плутом-евреем был ему очень не по душе. Он был строгий, скуповатый старик, теперь уже ему перевалило за семьдесят. Он любил свой тихий, цветущий городок; когда речь заходила о Марии-Августе, еретичке, ветреной любительнице мишуры и комедиантов, он сердито и брезгливо кривил жесткий рот. Он был невелик ростом, сухощав, немного кособок, по-военному лаконичен, в одежде и содержании двора соблюдал порядок, точный расчет, экономию. Он говорил: долг! Он говорил: справедливость! Он говорил: авторитет! Невзирая на возраст, он был усердным тружеником.

¹ Вследствие врожденной атонии и слабости к застою крови (лат.).

² Легкие (лат.).

Молча выслушал он штутгартских господ, дал им досказать до конца и снова повторить их обстоятельную речь, а сам все молчал. Он был очень стар, он охотно прожил бы остаток дней в своем цветущем городке заправским крестьянином, надзирал бы за своими полями и виноградниками и следил, хорошо ли его немногочисленные подданные обращаются с ребятами и скотиной. А тут господь бог налагает на него, старика, тяжкий труд очистить от скверны погрязшую в нечестии страну, на пороге смерти препираться с императором и имперским правительством, пресекать козни жирного, хитрого вюрцбургского иезуита. Но так повелел бог; а он, как солдат, знал субординацию, соблюдал дисциплину, он подчинился. Он сказал штутгартцам, что берет на себя бразды правления, но при условии, что он один будет опекуном, без герцогини — католички, регенсбуржанки — и, уж конечно, без иезуита-вюрцбуржца. Он пообещал завтра же прибыть в столицу.

Довольные возвратились домой штутгартцы. Вот какой человек им нужен! Он-то уж справится и с Ремхингеном и с евреем, о котором, как ни странно, все еще не было ни слуху ни духу.

Ремхинген разбушевался. Он с давних пор ненавидел тощего нейенштадтца, не раз потешался над скрягой и скопидомом. Теперь же, опираясь на дополнительный пункт завещания о полномочиях князя-епископа Вюрцбургского и на преданные ему войска, он отказался присягать герцогу-регенту и повиноваться его приказам и потребовал от своих подчиненных, чтобы они последовали этому примеру, заставил их присягнуть завещанию Карла-Александра, без ведома и согласия герцога-регента усилил штутгартский гарнизон, отдал распоряжение комендантам крепостей и начальникам гарнизонов по всей стране слушаться лишь тех приказов, которые исходят непосредственно от него или от герцогини. Чтобы восстановить военных против Карла-Рудольфа, он пустил слух, будто новый правитель, совместно с парламентом, намерен сократить армию, а потому предстоят многочисленные увольнения.

Так обстояли дела, когда Карл-Рудольф тихо и незаметно въехал в Штутгарт, поселился в боковом крыле дворца и собрался нанести визит вдовствующей герцогине, но та его не приняла. Он нисколько не огорчился и на другое утро, невзирая на свои семьдесят лет, как обычно в шесть часов сидел уже за работой. Прежде всего он принялся беспощадно очищать столицу — все неблагонадежные чиновники были уволены, их бумаги опечатаны, многие из них арестованы. Большинство главарей католической партии успело бежать.

В народе повсеместно вслух поносили покойного герцога, который не был еще погребен, и вдовствующую герцогиню, которая, бессильно злобствуя и капризничая, заперлась у себя в апартаментах. Герцог-регент издал строгие приказы, воспреещающие подобные неприличные выпады. Он говорил: долг! Он говорил: справедливость! Он говорил: авторитет!

В числе прочих и булочник Бенц, смастеривший транспарант с герцогом, с чертом и стишками, был во исполнение приказа на трое суток посажен в караульню. Там свинорылый остряк заполучил сильнейшую инфлюэнцу. Воротясь домой, он слег,пил всякие настои, но вскоре стало ясно, что ему уже не подняться. У ложа болящего собрались его приятели из «Синего козла» и кисло острили: «При предпоследнем герцоге правила шлюха, при последнем — жид, при нынешнем — дурак». Перед смертью он страшно буйствовал и отчаянно сквернословил. А в «Синем козле» потом говорили, что еретик-герцог и его еврей повинны в смерти и этого честного бюргера.

Мария-Августа вместе с Ремхингеном вела беспрерывную лихорадочную борьбу против Карла-Рудольфа и парламента. Ей льстило выслушивать себе похвалы как великой государыне. Довольно уж она была первой дамой Германии, теперь ее соблазняло стать антиподом женского пола молодому прусскому королю, недавно вступившему на престол. Ну что же, она будет великой защитницей католичества в противовес тому великому протестанту. Разве император, курфюрст Баварский, ее отец и даже Франция не на ее стороне? Как же ей, опытной светской женщине, не сладить со старым брюзгой, мужланом, заплесневелым слабоумным вахлаком, с дерзким узурпатором, Карлом-Рудольфом? Совместно с Ремхингеном, с капуцинским патером Флорианом и своим библиотекарем Гофаном, которого она почитала мудрым политиком, она затевала нескончаемые ребяческие, наивные интриги и капризно дулась, когда что-нибудь не ладилось сразу. Тысячи депеш летели в Вену, в Вюрцбург, в Брюссель, к ее отцу. Двору и народу она являлась скорбящей вдовой, бледное личико и большие глаза с поволокой грациозно выглядывали из-под траурной вуали. Она велела привезти из Брюсселя своего сыночка, герцога, и показала растроганному народу царственного сиротку — дитя с огромными сияющими глазами.

Но Карла-Рудольфа, старого солдата, провести было трудно. Он опубликовал разъяснение, что отнюдь не намерен сокращать армию, предложил и парламенту высказаться в том же смысле. Вслед за тем он назначил командующим войсками генерала фон Гайсберга, посадил разъяренного Ремхингена под домашний арест и поставил

у его дверей стражу. Шаг был смелый, он мог привести к войне, к кровопролитию, к вооруженному сопротивлению изнутри и извне, все погубить или все спасти. Он ничего не погубил. Армия, а с ней и вся страна радостно подчинилась герцогу-правителю.

Император не решался санкционировать такую крутую расправу. Иезуиты, состоявшие при герцогине, настаивали, чтобы при венском дворе признали законной последнюю редакцию завещания Карла-Александра и утвердили опекунами князя-епископа и герцогиню. Сам князь-епископ в собственноручных письмах взывал к императору, требовал защиты своих прав. По его приказу состоявший при нем советником профессор Икштат сочинил солидное заключение, озаглавленное: «Основы вюртембергского права», где с помощью хитроумных доводов отстаивал законность последнего, спорного завещания. Даже противники вынуждены были признать тонкость его аргументации. Но никаких положительных результатов все эти старания не дали. После устранения Ремхингена Карл-Рудольф прочно забрал в руки власть, и без войны, которой никто не хотел, убрать его было невозможно. Протесты и апелляции остались без последствий.

Умный вюрцбуржец, очевидно, ничего иного и не ожидал. Хоть он и пустил в ход весь механизм ловкой дипломатии, но действовал без настоящего подъема, лишь бы не уронить своего достоинства. Он выслушал доклад хитрого как бес, невзрачного советника Фихтеля. И безоговорочно одобрил его линию поведения. Силой тут уже ничего не поделаешь. Церкви спешить некуда, церковь работает на будущее. Весь расчет надо строить на малолетнем герцоге, воспитывать его в твердой католической вере; сам он, епископ, не увидит, правда, как созреет этот плод его трудов. А жаль Карла-Александра! Это был добрый, верный и славный друг! *Requiescas in pace*¹. Он сам будет служить по нем мессы. А пока что остается лишь пристойным образом выбраться из вюртембергской истории, не скомпрометировав себя.

Все, что могло показать в истинном свете роль Вюрцбурга и католиков, было тщательно изъято и увезено из Штутгарта. Самые изобличающие документы хранились у Ремхингена. После того как генерал был посажен под домашний арест, а попытки подкупить часовых потерпели неудачу, по крышам соседних домов пробрался к дому Ремхингена трубочист, через дымоход спустился в ту комнату, где хранились опасные бумаги, и благополучно доставил их духовнику герцогини, после чего они были сплавлены в Вюрцбурге.

¹ Покойся с миром (лат.).

Тем временем престарелый регент, прочно завоевав расположение армии своей солдатской повадкой, решил подвергнуть генерала Ремхингена более строгому заключению и отправил его вместе с адъютантом, капитаном Герхардом, в крепость Асперг.

Такое обращение с ее любимцем и главным защитником вынудило Марию-Августу изменить своей высокомерной сдержанности в отношении герцога-опекуна. Она снизошла до того, чтобы просить Карла-Рудольфа об аудиенции. Старик сам явился к ней без всяких церемоний. Бедно, неряшливо одетый, по-деревенски нескладный, кособокий, стоял он перед разубранной, вооруженной всеми ухищрениями косметики, благоухающей дамой. Он был один; при ней же находились патер Флориан — ее духовник, и библиотекарь ее — Франц Иозеф Гофан, присяжный политик, по-кошачьи вкрадчивый, наряженный по самой последней моде молодой человек с литературными претензиями; после падения Ремхингена он, наряду с капуцином, стал ее ближайшим советником. Карл-Рудольф холодно и недоверчиво оглядел зловредный трилистник, к несчастью прискорбно засоряющий благодатные вюртембергские доли. Мария-Августа, в свою очередь, высокомерно и без игривого любопытства смотрела на убогого, неряшливого невзрачного солдата, который, без сомнения, не мог оценить изящный покррой ее траурной робы. Молча слушал Карл-Рудольф ее бесконечные жалобы. Его молчание раздражало ее, она вышла из себя, стала, наряду с существенным, перечислять пустячные мелочи, под конец совсем запуталась; ее приспешникам пришлось выгораживать ее. Презрительно и досадливо слушал Карл-Рудольф, как она, обычно невпопад, но с важной миной употребляла юридические термины. Священный смысл таких слов, как реверсалии, гражданские свободы, казалось ему, был осквернен этим маленьким пошлым развратным ртом. Он отвечал кратко, осмотрительно, грубовато, ловко пользуясь высказанными ею несуразностями — доводы и поправки капуцина и тонкого библиотекаря он пренебрежительно и сурово пропустил мимо ушей; он, государь, желал иметь дело только с государыней. Он поставил Марии-Августе на вид, что у нее плохие советники и что ее сану не подобает защищать Ремхингена, дурного человека и государственного преступника. По всем мелким вопросам этикета, о которых она говорила с большой важностью, он обещал безотлагательно удовлетворить ее, но тем тверже отстаивал по-настоящему важные политические позиции. Капуцин и библиотекарь в отчаянии ломали руки, когда герцогиня торжествовала по поводу этих мелких подачек, уступая лукавому и грубому узурпатору во всем существенном.

Наконец разговор коснулся денежных дел. В этом Мария-Августа уж решительно ничего не понимала; она была наследницей одного из самых богатых в Европе княжеских родов, швырялась поместьями, как простые смертные пфеннигами, и почитала унижительным мещанством даже упоминать о деньгах. А Карл-Рудольф, хоть и старался постоянно неукоснительно защищать финансовые интересы страны, сам был крайне скромен в своих потребностях. Много ли нужно ему, старому бездетному человеку! Таким образом, обоим собеседникам нетрудно было проявить широту натуры, по этому вопросу они сговорились очень быстро и распрощались в добром согласии. Герцог с изумлением и удовольствием убедился в том, что Мария-Августа вовсе не вавилонская блудница, а самая обыкновенная гусыня, а герцогиня с изумлением и удовольствием заметила, что Карл-Рудольф, пожалуй, вовсе не меднолобый, по-крестьянски упрямый узурпатор, а просто-напросто осел. На основе такого убеждения они расстались с неким взаимным пренебрежительным доброжелательством.

Разумеется, и в дальнейшем между ними не обходилось без многократных мелких стычек. Но герцог-регенту после этого единственного визита стало вполне ясно, какой политики держаться. Желая добиться от Марии-Августы серьезной уступки в деле управления страной, он притеснял ее в вопросах церемониала. То оспаривал у нее какой-нибудь титул, то посылал к ней нести караул младшего офицера вместо положенного ей по сану штаб-офицера, придирался к ее новому любимцу, тонному, элегантному библиотекарю. Когда она заявляла протест, он, в награду за исправление подобного промаха, без труда добивался уступок в политических вопросах.

Серьезный спор возгорелся по поводу приготовлений к похоронам Карла-Александра. Мария-Августа целых два месяца предвкушала, как она по этому случаю предстанет перед целой Европой в роли самой прекрасной и элегантной в империи вдовы, великой государыни, а также средоточием разноречивых толков, упованием Рима и всего католического мира. Однако герцог-регент воспретил совершать погребение по католическому обряду, дабы не раздражать народ; католические государи и вельможи ответили на это отказом присутствовать на похоронах. Мария-Августа заболела и постарела от бешенства.

Императору пришлось собственноручным посланием склонить Карла-Рудольфа к уступчивости. В конце концов погребение было обставлено с невероятной помпой — бесконечная процессия траурных карет, факельщиков, капуцинов, парадные черные одежды государей и вельмож, чиновников, слуг. Многочасовое прохождение войск.

Гул колоколов, речей, песнопений, салютов в честь усопшего. Много тысяч восхищенных, вожделеющих, пламенных взглядов устремлено на красавицу — вдовствующую герцогиню. Тонок и гибок, точно стебель, ее стан над черной парчой широкой робы; неправдоподобно белы и аристократичны пальчики, выступающие из-под черного кружева рукавов; ни единого украшения, кроме звезды и креста папского ордена и ожерелья из шестнадцати редкостных черных жемчужин. Вдове покрывало наколото так, что его черный цвет меркнет перед черными как вороново крыло волосами, тонкое личико сияет, точно изваянное из старого, благородного мрамора. Ящеричья головка, при всей неприступной осанке своей обладательницы, склоняется кокетливо и сладострастно. Так красовалась Мария-Августа во вдовьей скорби и великом блеске.

А парадный гроб, в честь которого звонили колокола, звучали речи, торжественно неслись ввысь песнопения и грохотали залпы орудий, был пуст. Покойный Карл-Александр за время распрей своей вдовы с герцогом-регентом так разложился и провонялся, несмотря на все искусство бальзамировавших его врачей, что труп задолго до официального погребения потихоньку схоронили в новом людвигсбургском склепе.

Дипломаты и военные, которых смерть Карла-Александра застигла в Людвигсбурге, держались поначалу тихо и выжидательно. В лице арестованного Зюсса они заручились на всякий случай доказательством своей политической благонамеренности. Уже через несколько дней даже самым несообразительным стало ясно, что конституционная партия естественным образом возьмет верх и что о военном бунте и осуществлении католического проекта даже думать не приходится. Лишь отдельные заядлые приверженцы католической партии под водительством некоего князя Вальдека не желали считаться с обстоятельствами. Остальные никогда якобы и не помышляли произвести переворот силой оружия и намерены были действовать в строгих рамках конституционной законности, предварительно испросив на то согласие парламента.

Один только был преступник и угнетатель, зачинщик всей смуты, причина всех бед, вдохновитель всего дурного, совративший доброго государя с пути истинного и обративший во зло его благородные замыслы, один губитель, подлец и плут, — еврей. О том же, сколь сами они чисты и непорочны перед законом и конституцией, свидетельствовало то, что они не дали улизнуть вышenezванному еврею, а сейчас же схватили его.

В действительности арест Зюсса оказался очень несложным делом, не потребовал большой доблести и не послужил к чести осуществивших его господ. А посему пришлось несколько приукрасить, облагородить те конфузные обстоятельства, при которых еврей был заключен под стражу, придать им романтическую окраску. По Штутгарту пустили слух, который повторяли сперва шепотом, потом громче и, наконец, с полной уверенностью, что Зюсс, тотчас после смерти герцога, тайком выбрался из Людвигсбурга и укрылся у себя в доме в столице, а затем сделал попытку убежать за границу, захватив ценности и письменные улики. Но храбрецы офицеры, во главе с бравым майором Редером, человеком прямодушным и добрым протестантом, любимцем всего города, вовремя проведали о местопребывании шельмеца и его побеге. Из уст в уста передавали точнейшие подробности. Зюсс выбрался через виноградники и успел уже проехать порядочное расстояние по нижней Кригсбергской дороге. Но тут майор Редер взял лучших конников городской гвардии — назывались даже их имена: Гукенбергер, Трефтс, Вейс, Манн, Мейер, — и так, сам-шест, пустился за ним следом. На Корнвестгеймском холме они нагнали беглеца. Взведя курок, бравый майор Редер крикнул ему громовым голосом: стой! Ни наглое отпирательство, ни вопли, ни угрозы не помогли еврею. Храбрые кавалеристы повернули назад его карету и вот-вот повезут его по Тунценгофскому холму через Людвигсбургские ворота.

Восторженно горлая, поджидала толпа карету с арестантом. Веселый гогот, насмешки, радостное возбуждение. Уличные мальчишки успели пристроиться на деревьях и на выступах ворот. В трактире под вывеской «Зеленый куст», у самой заставы, вместе с другими сынками состоятельных бюргеров бражничал юный Лангефас, веселый, толстый, краснощекий, белобрысый малый с маленькими голубыми глазками. Он угощал всю компанию старым ульбахским, громко шутил с девушками — словом, кутеж шел не хуже, чем во время карнавала. Когда наконец карета с Зюссом, эскортируемая Редером и его кавалеристами, под неистовые крики, подъезжала к воротам, собутыльники юного Лангефаса бросились из трактира, вытащили пленника, принялись бить его, толкать, трепать, швырять из стороны в сторону. Юный Лангефас провозгласил здравие майора Редера, тот взял предложенный стакан, ухмыляясь, чокнулся и выпил, а народ между тем избил еврея. Зюсс, впрочем, вел себя отнюдь не приниженно и пугливо, на удары он отвечал полновесными ударами; какому-то мальчугану, который зубами вцепился ему в ногу, он дал такую затрещину, что тот покатился под ноги толпы; так же энергично отвечал

он на проклятия и ругательства нападающих. Словом, это было не фанатическое избиение, а заправская потасовка. В конце концов еврея наверняка бы прикончили из чистого озорства, хотя, по существу, толпа была настроена довольно благодушно; но тут подоспела городская стража и с помощью городской конницы отбила его у толпы. В изнеможении, еле переводя дух, сидел он в карете, растрепанный, растерзанный, весь в грязи и крови. Юный Лангефас, который слыл шутником, и потому пользовался большим успехом у женщин, смеху ради подобрал парик, свалившийся с еврея во время драки, и ко всеобщему восторгу нес его впереди кареты, нацепив на свою тросточку. Так под улюлюканье и ликование обывателей подъехал Зюсс к зданию палаты на базарной площади.

После того как у нее отняли одного еврея, чернь под предводительством молодого господина Лангефаса изловила других и принялась потешаться над ними. Особенно забавно было выпщивать бороду и волосы у одного старика еврея, который отчаянно сопротивлялся, меж тем как Лангефас, под громкое одобрение, отпускал шуточки касательно вишей. Молоденькую, некрасивую, дрожавшую от стыда и страха девушку, некую Ентель Гириш, под дружное ржание раздели донага, чтобы поискать на ней блох. Все штутгартские евреи, от старца до грудного младенца, были на такой манер изловлены предприимчивой чернью и под эскортом уличных мальчишек, под дождем камней и грязи, доставлены к фогту. Как раз в это время из Праги экстренной почтой прибыли двое евреев урегулировать кое-какие банковские дела с всемогущим финанси́ректором. Они не были сильны в вопросах швабской политики, а главное, понятия не имели о том, что может быть общего между католическим проектом и операциями их земельного банка; они знали только, что Зюсс — могущественнейший еврей во всей Европе и что евреи Вюртемберга находятся под особой защитой. Тем более были они ошеломлены, когда, едва успев выйти из почтовой кареты, были грубо схвачены, избиты и посажены под арест, а главное, когда узнали, в каком плачевном положении очутился всесильный финанси́ректор. Во время этой расправы многие евреи заплатились жизнью, и среди них трое евреев, пользующихся протекторатом Франкфурта, вследствие чего вольный имперский город заявил решительный протест вюртембергскому правителю. Герцог-регент, исходя из девиза: «Долг! Авторитет! Справедливость!» — посадил трех зачинщиков на два дня на гауптвахту.

Некий скороспелый поэт изложил пленение Зюсса в стихотворной форме. Вскоре его вирши облетели весь

Штутгарт и всю страну. Особенно по вкусу пришлись две строки, так что их навсегда затвердили стар и млад: «Воскликнул сам фон Редер тут: «Стой иль умри, презренный плут!» Вообще майор Редер стал еще популярней в народе за ту распорядительность, с какой он пресек покушение к бегству вероломного и злокозненного преступника еврея. Едва завидев бравого вояку с жестким ртом и узким лбом и услышав его крикливый голос, восторженные бюргеры устраивали овацию.

В тот день, когда Зюсса доставили в Штутгарт, была также сделана попытка разгромить его дворец на Зеештрассе. Вдохновительницей этой затеи оказалась Софи Фишер, дочь советника экспедиции, бывшая метресса Зюсса. Красивая, пышнотелая, ленивая матрона была неузнаваема. Она орала, кипела, выбивалась из сил, густые белокурые волосы свисали космами, пот катился с лица. Дома остальных евреев никем не охранялись, и немало ценного добра, золота и звонкой монеты разошлось вследствие этого по рукам. Но дом Зюсса охранялся внушительным военным отрядом. Никлас Пфевле успел своевременно принять меры. И еще другой человек по-своему деятельно позаботился об охране дома — то был дон Бартелеми Панкорбо. Он явился в качестве правительственного комиссара с полицией и солдатами и конфисковал дом и все имущество. В сопровождении Никласа Пфевле медленно обходил он обширные, сверкающие, безукоризненно убранные покои, высовывал из брыжей костлявое сизо-багровое лицо, заглядывал во все закоулки. Презрительно прошел мимо роскошных ковров, мебели, картин, безделушек. Но из драгоценных камней, к которым особенно тянулось его сердце и алчные пальцы, ничего видно не было. Осторожно и недоверчиво расспрашивал он Никласа Пфевле; невозмутимо, флегматично отвечал бледнолицый толстяк. Португалец стал грозить, но его замогильный голос скользил мимо ушей бесстрастного секретаря. В конце концов Никласа Пфевле арестовали, учинили ему допрос с пристрастием, перерыли его корреспонденцию, но ничего не нашли и вскоре принуждены были отпустить на свободу медлительного, молчаливого, хладнокровного толстяка.

Зюсса сперва перевезли в крепость Гогеннейфен и содержали там совсем не строго. Довольствие он получал за свой счет в достаточном количестве и по собственному вкусу, ему разрешалось принимать посетителей и выписывать себе что угодно из одежды и домашней утвари. Он не злоупотреблял этими льготами и охотно подолгу бывал один. Тогда он шагал из угла в угол с довольным видом, а

иногда даже и с улыбкой, неблагозвучно напевая себе под нос, лукаво и мерно покачивая головой, точно старый правверный еврей.

Ах, как хорошо и отрадно жить в покое и со стороны смотреть на происходящее. Кругом все суетятся. Одни суетятся, чтобы окончательно смешать с грязью и потопить его. Он сам суетится, чтобы ускользнуть от них, выбраться на волю. Ну что ж! Пускай хватают, пускай держат! Вот дурачье! Ведь они не знают, что тот, кто суетится, кого они ловят и кто пытается от них ускользнуть — вовсе не он сам. То приезжий Зюсс, неразумный, неискушенный Зюсс, который ничему не научился, ничего не познал. Истинный Зюсс, новый Зюсс, — хо-хо! (он расхохотался злорадно и торжествующе) — тот теперь вне житейской суеты, тот недосягаем ни для каких герцогов, императоров, судей.

Ввиду этого нелегко приходилось комиссии, созданной для расследования многочисленных злокозненных, вероломных, пагубных проступков и деяний Иозефа Зюсса Оппенгеймера, еврея и бывшего советника по финансам, с присными его. Состав следственной комиссии был в высшей степени солидный. Во главе ее стоял тайный советник фон Гайсберг, брат генерала, по натуре человек ленивый, подходивший ко всему на свете с грубоватым цинизмом. Членами ее были тайный советник фон Пфлуг, выдохший, желчный, чванливый господин, исполненный ненависти и отвращения к евреям, профессора Гарпрехт и Шепф, государственные советники Фабер, Данн, Ренц, Егер — усердные, честолюбивые чиновники среднего возраста; секретарями состояли ассессор Бардили и актуарий Габлер. Для комиссии не было вопроса о том, что Зюсс совершил целый ряд преступлений, караемых смертью. Но вскоре выяснилось, что с чисто юридической точки зрения к нему придраться трудно. Главное осложнение заключалось в том, что он был неподсуден законам страны, ибо не состоял в ней на действительной службе и не был ее подданным. Исключительно в качестве частного лица, нося звание тайного советника по финансам, помогал он герцогу советом. Если же состоявшие на действительной службе министры и советники выполняли его пагубные замыслы, то государственными преступниками были они, а не он. Таким образом, комиссия погрязла в раскапывании бесчисленных мелочей, в надежде сколотить из них настоящее обвинение.

Со следствием не торопились, растягивали его до бесконечности. Да и зачем бы судьи стали спешить? Так приятно было чувствовать себя членами столь ответственной комиссии. Все знакомые спрашивали:

— Ну, что нового вывели вы у еврея?

Ведь на них были обращены взоры всей швабской округи. А кроме того, участие в комиссии оплачивалось очень высоко, сверх положенного жалованья,— разумеется, из конфискованного имущества обвиняемого. Усердным чиновникам среднего возраста эти дополнительные доходы были особенно кстати.

Господа члены комиссии допрашивали Зюсса то в одиночку, то на коллегиальных заседаниях. Ему было предъявлено обвинение в чеканке неполноценной монеты, в оскорблении величества и государственной измене. Профессору Гарпрехту, человеку честному и строго справедливому, убежденному в том, что Зюсс хоть и прохвост, но не виновен с точки зрения законности, претило стремление возложить на еврея ответственность за проступки, за которые по справедливости должны платиться другие, а потому он вскоре отстранился от работы в комиссии, ограничиваясь экспертизой документов; профессор Шепф не замедлил последовать его примеру. Председатель комиссии, тайный советник Гайсберг, явился один к Зюссу, похлопал его по плечу, сказал с привычным своим грубоватым цинизмом:

— Чего ты портишь жизнь себе и людям, еврей? Так или иначе, а придется тебе отправиться на повозке смертника прямо в ад. К чему же брать с собой такой груз? Лучше по-честному сознаться во всем.

Зюсс улыбнулся, ответил в тон, что выше виселицы все равно его не вздернут. Он дразнил неповоротливого, простодушного грубияна, бросал ему приманку, а когда тот нацеливался ее схватить, отступался, учтиво усмехаясь, и в конце концов довел его до полного изнеможения.

Остальные, каждый на свой риск, тоже пытались счастье на увертливом грешнике. Они то и дело наведывались к нему, улещали, убеждали, грозили. Зюсс, сильный своей отрешенностью от всего мирского, играл ими ради игры, покачивая головой с добродушно-насмешливым превосходством.

Словно с другого полушария, из другой, позднейшей эпохи созерцал он свой процесс, втихомолку потешаясь над господами судьями, над их слабостями, их наивными, неловкими попытками поймать его. Несчастные! Как они трудились, выбивались из сил, потели! Как они принюхивались, стараясь напасть на след, и, точно в трансе, не спускали глаз с дороги, которая, казалось им, ведет вверх. Карьера! Карьера! А как они все были любопытны, как близоруки, без искры проницательности вглядываясь в него, как они были лишены осязания, ощупывая его, как они были лишены чутья, обнюхивая его! При этом кое-кто из них питал самые благие намерения и в ходе дознания проникся даже своего рода расположением к человеку,

который, несомненно, был мошенником, но по бойкости языка и остроте ума представлял собой незаурядное, поразительное явление.

А когда и секретари, два юных, глупых, хитрых честолюбца, решили попытать на нем свою удачу и свое умение, Зюсса это даже умилило и насмешило. Несчастные тупицы! Он смотрел, как они прыгают вокруг него, точно глупые щенки, а потом ласково и небрежно отгонял их.

Все это были люди ограниченные. Ограничен от природы был и тайный советник Иоганн Кристоф Пфлуг, главный нерв и двигатель следственной комиссии. Но его ум и проницательность обострялись лютой ненавистью к евреям. Если бы в тюремной камере сидел прежний Зюсс, у него бы душа переворачивалась от тех тончайших ехиднейших булавочных уколов, которыми желчный советник старался показать ему свою гадливость и презрение. Господину фон Пфлугу трудно было дышать одним воздухом с евреем; входя к нему в камеру, он ощущал физическое отвращение и тошноту. Но он считал своим долгом все вновь и вновь унижать этого отпетого негодоя, этого гнуснейшего из людей, измываться над его человеческим достоинством, растравлять его позор. Он страдал оттого, что ему это не удается, и всякий раз без сил покидал камеру, чтобы снова туда возвратиться. Зюсс с насмешкой и жалостью наблюдал за ним. Узнай этот кичливый аристократ, что отверженный жид и проходимец—сын Гейдерсдорфа, фельдмаршала и барона,—весь внутренний мир его рухнул бы.

Ни один адвокат не брался добровольно защищать еврея. Осуждение его было предreshено. Единственное, чего при этом можно было добиться,—ущерба собственной карьере. Таким образом, суду пришлось дать обвиняемому защитника по назначению. Комиссия определила очень щедрое вознаграждение за этот труд, опять-таки из конфискованного имущества финанцдиректора, и возложила защиту на одного из членов господствующих парламентских династий, адвоката при верховном суде, лицензиата Михаэля Андреса Меглинга. Ему пришлось обосноваться в Штутгарте и составлять защитительную записку, за что ему причитались неслыханно высокие суточные. Адвокату внушили, что незачем особенно напрягать силы, ведь всем на свете известно, что защита в данном случае—пустая формальность. Но лицензиат Меглинг, простодушный блондин с румяным, приятно округлым юношеским лицом, был человек добросовестный, он ничего не хотел брать даром и отнесся к делу невообразимо серьезно, хлопотал, потел, писал. Члены следственной комиссии улыбались, улыбался и сам еврей. Славному

юноше чинили всякие препятствия. Важнейших документов ему в руки не давали и в протоколы некоторых допросов просто не разрешали заглядывать. В то время как Зюссу вообще не возбранялось принимать посетителей, злополучного лиценциата всячески притесняли в его желании письменно или устно сообщаться со своим клиентом. Он же ничем не смущался и добросовестно, усердно и бездарно выполнял свой адвокатский долг.

Зюсса все еще содержали в Гогеннейфене, относительно нестрого. Члены следственной комиссии не отступались от него, питая за его счет тело, душу и кошелек. Он же сидел тихо и мирно, в каком-то блаженном и мудром покое, сидел точно в вате, и никто не мог добраться до него.

Больше всего это уязвляло тощего, желчного господина фон Пфлуга. Следствие не двигалось с места, этот выродок-еврей просто издевался над людьми. Тайный советник попросил господина фон Гайсберга созвать пленарное заседание, так как он желает внести предложение. Все десять членов собрались и внимательно смотрели на господина фон Пфлуга. Тот поднялся, угловатый, поджарый, горбоносый, тонкогубый, с черствым, алчным, жестоким взглядом. Начал он с того, что до сих пор следствие велось по линии обвинения в оскорблении величества, государственной измене, чеканке неполноценной монеты; пора перейти к преступлениям, наказуемым смертью, которые еврей совершил в другой области. Государственный уголовный кодекс карает смертью плотскую связь еврея с христианкой. А всем доподлинно известно, каким скотским образом обвиняемый растлевал христианских девиц и бесчестил как знатных дам, так и особ низкого звания. Настало время провести расследование и в этом направлении.

Смущенно молчали присутствующие. Очень уж щекотливое дело. Если начать в нем копать, к чему это приведет? Мало ли кого можно скомпрометировать, затеяв такую историю. Конечно, очень заманчиво откидывать пологи и покрывала, выведывать, когда и где и как, так ли или эдак; на некоторых лицах появилось уже сконфуженно похотливое выражение. Но позволить, чтобы вся Римская империя запустила глаза в это болото,—такой отважный жест надо сперва тщательно продумать. И откуда можно предугадать, сколько семейств тут замешано, сколько врагов придется нажить по ходу следствия. Весьма, весьма щекотливое дело.

Далекий от подобных соображений, Иоганн Даниэль Гарпрехт все же первым возразил, что столь почтенной комиссии, на его взгляд, незачем совать нос в такую грязь и пакость. Конечно, весьма прискорбно, что столько

христианских девушек и женщин предавались распутству с евреем. Но из-за плотских грехов бывшего финанцидиректора ни герцог-регент, ни кабинет министров, ни парламент, несомненно, не стали бы наряжать специальное судебное расследование. Эти проступки Зюсса не причинили никакого вреда ни государю, ни стране. Да и закон, карающий смертью плотское сожительство иудеев с христианками, хоть и не отменен официально, в течение двухсот лет не применялся на практике, а посему фактически вышел из употребления. Далее следует подумать, что согласно этому закону не только еврей, но и замешанные в деле христианки подлежат сожжению. Поэтому он рекомендует тщательно обсудить возможные последствия, прежде чем начать действовать в этом направлении.

Тайный советник Пфлуг все с той же бесстрастной жестокостью возразил—не ему, мол, поучать своих мудрых и строгих сочленов, что их обязанность—не заниматься политикой, а придерживаться строжайшей справедливости. Тут нужно быть не тонким дипломатом, а только нелюбезным судьей.

Остальные тем временем успели продумать все доводы «за» и «против». Они переглядывались, испытующе проникая в скрытые мысли друг друга, втайне вступая между собой в сговор. Если следствие распространится на любовные похождения еврея, репутацию и участь скольких женщин, скольких семей можно будет заполучить тогда в руки! Имена назывались всеми, то были имена больших и родовитых семей. Кто мешает им, судьям, ограничиться одним только дознанием, а дальнейший ход дела предоставить на усмотрение герцога-правителя и кабинета министров? И вовсе нет необходимости расследовать все без изъятия: обладая такими обширными полномочиями, можно по своему выбору одних вовлечь в дело, а других оставить в покое. Так или иначе, такой оборот следствия каждому из них сулил грандиозное расширение пределов власти, веса и влияния. Грозовой тучей нависнут они над страной, поражая и милуя по собственному произволу.

А сколько доведется им услышать секретов, которыми не обязательно воспользоваться сейчас же. Зато потом из них можно будет извлечь немалую выгоду. Отныне они, члены комиссии, зловещим могуществом уподобятся испанскому инквизиционному суду, тайному совету Венецианской республики. Это было соблазнительно, это дразнило и манило. Какой загадочный, многозначительный вид можно будет напускать на себя! Сколько людей будет боязливо и приниженно ожидать, притянут их к ответу или помилуют из снисхождения. А сколько можно будет узнать пикантных подробностей, чтобы потом доверитель-

но поделиться ими с приятелем или братом, женой или любовницей, а также удивить и распотешить веселых собутыльников. Циничная усмешка скользнула по грубоватой физиономии тайного советника Гайсберга, господу помоложе на миг скинули маску бесстрастия и, прищурясь, подмигнули друг другу. Предложение господина фон Пфлуга было принято.

Сперва Зюсса допрашивали по этому пункту на пленарном заседании. Профессора Шепф и Гарпрехт отказались при сем присутствовать. Зюсс располнел, обрюзг, сгорбился. Лицо сделалось шире, карие глаза были уж не такими выпуклыми и быстрыми, смягчились. На лбу, над переносицей, появились поперечные борозды. Движения стали медлительнее. Печать мудрого, лукавого спокойствия лежала на нем.

Когда его спросили, имел ли он плотские сношения с христианками, он сперва удивленно взглянул на судей. Он и думать забыл о законе, карающем смертью подобное сожительство,— настолько давно не применялся этот закон. Он объяснил вопрос злобным любопытством, желанием во что бы то ни стало унизить его и, не понимая, куда клонят судьи, промолчал. Тайный советник фон Гайсберг заорал, вспыхив, чтобы он перестал ломаться и сию же минуту перечислил всех баб, с которыми спал. Еврей внимательно посмотрел на господ судей, переводя вдумчивый взгляд с одного на другого, затем сказал сухо, без иронии, что ему непонятно, какую это может иметь связь с государственной изменой и чеканкой неполноценной монеты. Господин фон Пфлуг прикрикнул на него, что это их, судей, дело, а ему не мешает обуздать свое жидовское нахальство.

Зюсс стоял, покачивая головой, размышлял. И вдруг вспомнил ту статью государственного уголовного кодекса, которую давным-давно не принимал всерьез, а ему привели однажды, должно быть в шутку. Ах так? Таким устарелым, заржавевшим бутафорским оружием решено его прикончить, из-за такой нелепицы должен он умирать? Разом воскрес прежний, блистательный Зюсс. Он выпрямился, метнул быстрый, крылатый взор судьям, произнес четко, насмешливо:

— Отрицать, что я спал с христианскими женщинами, я не стану. Господа судьи могут, если пожелают, приговорить меня за это к смерти. Вся Римская империя будет смеяться. И не надо мной.

Разъяренные судьи накинулись на него, наперебой крича, вопя, негодуя на его наглость, а он стоял и слушал, холодный, невозмутимый. Он видел их всех насквозь. Видел их звериную злобу, жестокость, сластолюбие, напыщенное тщеславие. Видел, какой наглый, холодный

шантаж замыслили они в отношении тех женщин. Он видел, как упали человеческие маски, обнажив волчьи и свиные хари. Но, не дав воли накипевшему гневу, он овладел собой, и жалость к этим злобным ничтожествам поднялась в нем. С прежней мудрой, лукавой усмешкой на устах он произнес:

— Имен я не назову. Вам, господа, придется самим отыскивать всех этих дам.

Тут даже самые добродушные и благожелательные из судей распалились против него гневом. Они не хотели допустить мысль, что еврей из уважения к женщинам не открывает имен. Нелепо даже вообразить себе, чтобы они, высокопоставленные кавалеры, оказались менее благородными, чем еврей, чтобы у еврея оказалось больше рыцарских чувств, чем у вюртембергского тайного советника. Нет, он, прохвост, из чистой злобности и упрямства, из какой-то еврейской жадности не желает назвать им имена, поделиться с ними своими альковными радостями, хотя они имеют на то законное право. А они-то уж наперед смаковали переполох, любопытство, пикантные положения, и вот теперь он все портит из чистой злобности. Но они все равно сладят с шельмецом, они принудят поганого жида уважать швабскую юстицию.

Его стали содержать строже, изъяли из-под начала добродушного гогеннейфенского коменданта. Перевели на суровый режим в Асперг. Здесь властвовал майор Глазер, человек педантичный, для которого дисциплина была превыше всего. Зюсса заточили в тесный, сырой каземат. День здесь почти не отличался от ночи, платье смердило в сыром, затхлом воздухе, сгнивало на теле. Спать ему было не на чем, кроме голого, холодного, неровного, сырого пола. Его посадили на хлеб и на воду и по несколько часов держали скованным крест-накрест. Жирные, мерзкие крысы бегали по его скрюченному телу, и он не мог отогнать их.

Каштановые волосы его побелели, гладкая, натянутая кожа поблекла и сморщилась, а на щеках, раньше глянцевитых и упругих, выросла уродливая седая щетина. Сторожа его слышали от него немало недобрых слов, проклятий и ругательств, он отчаянно сопротивлялся, когда его сковывали по рукам и по ногам. Но когда он сидел один, голодный, весь скорченный от надетых на него оков, кашлял, замерзал, тогда сторожа, заглядывая в дверную щель, видели, как он с непонятным удовлетворением покачивает головой, и слышали, как он что-то про себя бормочет нараспев неблагозвучным голосом. Иногда казалось, будто он обращается к кому-то, выслушивает ответы, возражает. Но в камере никого не было, кроме

крыс. Сторожа толкали друг друга в бок, ухмылялись, фыркали и под конец решили: помешался.

Но он отнюдь не был помешан. Это было нечто совсем иное. У него выпадали часы такого покоя, что он оказывался недоступен голоду и холоду, недоступен тянущей, рвущей боли в насильственно согнутом теле. И крысиный шорох превращался для него в нежный, сладостный голосок, и он говорил и получал ответы и блаженно улыбался.

Упорная борьба завязалась между ним и майором Глазером. Майору сказали, что необходимо вынудить у еврея признание, с какими женщинами он был в плотской связи, после чего можно на законном основании предать его смерти, у всех на глазах раздавить этого клопа. И вот майор стал допрашивать еврея ежедневно между девятью и десятью часами. Зюсс сознавался, что пользовался милостями дам как высокого, так и низкого звания. Майор говорил, что этого недостаточно, ему нужны имена. Зюсс: должно быть ему, офицеру, понятно, что имен он не назовет никогда. Майор: что подобает офицеру-христианину, то не пристало вонючему жиду; и все больше притеснял упорствующего преступника.

Зюсс вовсе не стремился выставлять себя героем. Периоды улыбчивой покорности судьбе сменялись вспышками бешенства и подавленностью. На него временами нападало такое отвращение к своей дурно пахнущей, прогнившей одежде, что он сбрасывал ее и оставался голым; комендант приказывал силой надеть на него ту же одежду. О каждом движении арестанта майор педантично, усердствуя и злобствуя, докладывал господину фон Пфлогу. Сообщал, что эта бестия, иудей, поелику ему не удалось раздобыть яду у сторожа Гофмана, обкусал себе ногти, почитая их ядовитыми, и проглотил обгрызки ногтей, каковой глупости все немало смеялись. А то еще иудей, эта бестия, за целых четыре дня не принял ни на грош пищи, чем причинил ему, майору, беспокойство, как бы он не подох с голоду. Нынче он начал есть, так что имеется надежда живым отправить его на виселицу.

Когда Зюсс совсем падал духом, ему случалось сетовать на то, что у него не только отобрали состояние, а хотят в придачу подлым образом лишить его жизни. В другой раз он лукаво заявлял, что тронуть его никто не посмеет, все это лишь дурацкая комедия и он готов биться об заклад на пятьдесят тысяч гульденов, что скоро будет на свободе. Однажды он стал даже требовать, чтобы его освободили, грозил, буйствовал, утверждая, что имеет полное право поехать в Штутгарт и заняться домашними делами, чем вызвал шумную веселость у своих сторожей, от восторга хлопавших себя по ляжкам. Комендант

нимало этим не интересовался, он только доносил господину фон Пфлогу о каждом слове арестанта и ежедневно между девятью и десятью часами допрашивал его, требуя назвать имена принадлежавших ему женщин, на одни и те же вопросы получал одни и те же ответы и каждый раз наново убеждался в злом упорстве этого негодяя и государственного преступника.

А потом снова наступали недели, когда Зюсс был спокоен и доволен и в одиночестве тесной камеры что-то говорил, обращаясь к сырым стенам и затхлomu воздуху. Он видел своего отца точно живого. Тот стоял в камере в одежде капуцина, стройная, изящная фигура ожирела и обрюзгла, но в глазах была тишина и покой. И он говорил с ним, и они понимали друг друга и ходили рука об руку — низложенный маршал с низложенным министром, нищенствующий монах с замученным арестантом в вонючих отрепьях, и они улыбались друг другу и в добром согласии шагали взад и вперед по сырой конуре, и крысы шелестели у них по ногам.

А господа члены комиссии продолжали следствие, неуклонно и очень неторопливо, и получали огромные суточные.

Мария-Августа, вдовствующая герцогиня, так увлеклась политическими интригами, что ради политики даже забросила туалеты. Грაციозной, кокетливой заговорщицей сидела она в Штутгартском замке или в своем нарядном вдовьем поместье Тейнах и, по наущению своего духовника, патера Флориана, и библиотекаря Франца Иозефа Гофана, затевала бесчетные интриги, козни, каверзы, чиня постоянные неприятности Карлу-Рудольфу. Покошачьи ласковый, одетый согласно последней моде, молодой библиотекарь с литературными претензиями набрасывал у себя за письменным столом фантастические проекты, более настойчивый патер Флориан пытался осуществлять их, а Мария-Августа любезно, хлопотливо, наобум хваталась за все и всему мешала. Изломанный, изысканный, претенциозный библиотекарь весь растворялся в благоговейных многословных восторгах перед герцогиней, сочинил даже целый пухлый роман, в котором главная роль была отведена ей, современной Семирамиде, мудрой и доблестной правительнице, а также добродетельнейшей и прекраснейшей из женщин; в бесчисленных новомодных поэмах сравнивал ее со всем, что есть прекрасного между небом и землей. Она нежилась в его красноречии и галантном обожании и со временем восприняла многие из его выражений и жестов. Трудно сказать, потому ли она не была с ним близка, что он занимался ее

политическими делами, или же она занималась политикой, потому что он не был близок с ней. Одно тесно переплеталось с другим. Расчетливого, по-солдатски решительного герцога-регента раздражала постоянная трата времени на борьбу с ее глупыми кознями. Он решил раз и навсегда избавиться от этой докучливой интриганки. По всей стране внезапно распространились слухи, что вдовствующая герцогиня все-таки решила силой осуществить проект своего вовремя убравшегося супруга и даже уже приспособила тейнахскую церковь под католическое богослужение. Вся каверза заключалась в том, что герцогиня затевала тысячи других интриг, но в этой была совершенно неповинна. Какая злая ирония — подстроить так, чтобы споткнулась она именно на этом. Во всяком случае, народ безоговорочно поверил слухам.

Гневные речи, летучие листки, на улицах при ее проезде гробовое молчание, явное и дерзкое нежелание приветствовать ее. После того как вмешалась полиция и арестовала тех, кто уклонялся от приветствия, улицы пустели при появлении кареты, все разбегались по домам и соседним переулкам, лишь бы не приветствовать герцогиню. Мария-Августа не могла с этим примириться, патер Флориан вместе с изысканным библиотекарем тратили огромные деньги, чтобы усеять ее путь верноподданными, которые исправно кричали бы «ура». Но она заметила, что энтузиазм был покупой, и страдала вдвойне. Патер Флориан написал герцогу-регенту негодующий протест, в котором с жаром отстаивал полнейшую невинность Марии-Августы именно в тейнахском деле, резкими словами клеймил наглую непочтительность подстрекаемого к тому населения, запальчиво и заносчиво требовал помощи. Карл-Рудольф не ответил. Кипя возмущением, Мария-Августа отправилась к нему. Он заявил, что у него нет времени отвечать на письма всяким монахам. Согласно уставу своего ордена патер Флориан подписался «недостойный капуцин». «Зачем я стану отвечать человеку, который даже недостойн быть капуцином?» — грубо отрезал нескладный, кособокий Карл-Рудольф. В заключение он сказал, что может запретить подданным вести себя непочтительно по отношению к герцогине, но заставить их проявлять при виде нее радость и любовь никак не может. Он по-дружески советует ее светлости брать в поведении пример с него, тогда подданные без особых указов и без всякой платы будут подобающим образом ее приветствовать.

После такого афронта герцогиня решила покинуть тупую и неблагодарную Швабию, поселиться с двором в Брюсселе, Регенсбурге или Вене и, капризно негодую, в

роли Кориолана женского пола ждать, пока ее призовут назад.

Она пригласила к себе Магдален-Сибиллу, чтобы проститься с ней. Супруга советника экспедиции Магдален-Сибилла Ригер сидела, степенная и положительная, перед герцогиней, которая грациозно изгибалась, лепетала и стреляла глазками, настроенная, ввиду предстоящего путешествия, на особо шаловливый и по-юному резвый лад. Магдален-Сибилла раздобрела и расплылась: она носила под сердцем ребенка — маленького Ригера.

Приятельнице она поднесла бесталанную, риторично-чувствительную прощальную оду. Мария-Августа выслушала ее с подобающим умилением и признательностью. Но затем, поспешив покончить с торжественной частью свидания, она принялась иронизировать над невежественной, грубой Швабией, которую она, слава богу, скоро покинет; над кособоком скаредным старым ослом Карлом-Рудольфом, над Иоганном Якобом Мозером, смехотворно пылким оратором, надо всей дерзкой, неотесанной чернью. Об одном только человеке она сожалеет: о добром верном силаче Ремхингене, который сидит в Асперге. Ах! И еще о своем славном, элегантном, занятом придворном еврее. Его мучают, сковывают по рукам и по ногам, а она, Мария-Августа, ничем не может помочь ему. Дело в том — и она напустила на себя важный вид, — дело в том, что это подорвало бы ее авторитет, а ее милый библиотекарь никогда бы этого не допустил из политических соображений. Ведь еврей, наверно, убивал младенцев и занимался бог весть каким чародейством. Но зато он был галантный, статный мужчина и, уж конечно, самый занимательный в этом пресном Штутгарте; во всяком случае, очень обидно, что эти грубые бестии так терзают и увечат его.

— *Hélas, hélas!*¹ — проронила она, складывая губки бантиком, точь-в-точь как ее изысканный библиотекарь.

Между женщинами воцарилось минутное молчание. Обе думали о Зюссе. Марии-Августе виделись его пламенные, крылатые глаза, его раболепно преданный вид и манеры, его напористая, волнующая, дерзкая галантность. И она томно потянулась, улыбаясь в приятном возбуждении. Магдален-Сибилла сидела неподвижно, сложив крупные прекрасные женственные руки на коленях. В Гирсау-ском лесу повстречался он ей, и тогда он был дьяволом; потом здесь, в Штутгарте, он не взял ее, а отдал на растерзание зверю, герцогу, потом он развернул перед ней фантастическую грезу власти и блеска и взял ее; а потом

¹ Увы, увыв! (фр.)

стал другим, чуждым, черствым и подчеркнуто вежливым с ней. Теперь он сидит в Асперге, и его мучают и выворачивают ему суставы. Она же носит под сердцем ребенка, и ребенок будет, наверно, хороший, потому что отец его хороший человек, который боготворит ее. Он будет расти в мирных, уютных покоях Вюртинггейма, на лугах, где пасется холеный скот, в плодовых садах. Ему никогда не придется сидеть в Асперге, и дьявол ему, наверно, никогда не повстречается. Зато он, быть может, станет сочинять стихи, хорошие, добросовестные стихи, которые всякому понятны и многим дают отраду. Но дьявол ему, наверно, никогда не повстречается.

Мария-Августа прервала сосредоточенное молчание. Как бы ей не забыть, сказала она с легкой, лукавой усмешкой, ведь у нее есть прощальный подарочек для Магдален-Сибиллы, ее милой приятельницы и доброй наперсницы, удачно выбранный, как она надеется, и оригинальный презент.

— *Cara mia!*— сказала она.— *Cara mia Maddalena Sibilla!*¹— Это поможет ей в трудный час, таинственно прошептала она, подвинулась поближе, погладила величавую женщину. Ей самой оно помогло. Если у нее сошло все так легко и сама она осталась молода и стройна, то обязана она этим подарку, который собирается преподнести своей милой приятельнице. Ей-то уж, хоть она и не предполагает поступать в монастырь, это средство вряд ли понадобится. И нежным, шаловливым, сладострастным движением она вынула футляр с амулетом еврея, который сидел теперь в сырой вонючей камере, скованный крест-накрест. Вынула полоску пергамента с красными массивными еврейскими буквами, с именами ангелов: Сеной, Сансеной и Семангелоф, с непонятными, замысловатыми фигурами, с комичными и грозными первобытными птицами. Хихикая, рассказала она, как получила амулет от Зюсса, и поведала неприличную историю о Лилит, первой жене Адама, который не дал ей тех плотских радостей, каких она желала. Магдален-Сибилла протянула руку за амулетом, опустила вновь, наконец взяла его нерешительно, с легким содроганием.

Вслед за тем Мария-Августа покинула Штутгарт. Сопровождала ее большая свита, а непосредственно при ней состояли патер Флориан и одетый в модный дорожный костюм, по-кошачьи ласковый библиотечарь. Ее гардероб был погружен на великое множество подвод и отправлен заранее. Вдоль всего ее пути стояли толпы зевак. Теперь, когда герцогиня уезжала, настроение смягчилось, и ей вслед неслись добродушные шутки. Ее

¹ Дорогая моя! Дорогая моя Магдален-Сибилла! (*ит.*)

казначей и раздатчики милостыни не поскупились, и приветственные возгласы звучали почти что сердечно.

И Иоганн Якоб Мозер стоял на ее пути вместе с женой. Он расчувствовался.

— Итак, она уезжает,— сказал он жене.— Боится, что не устоит от соблазна. И предпочитает бежать. Великий боже, благодарю тебя, что ты дал мне силу и крепость и обуздал мою кровь.— И он крепче сжал руку жены.

Перед тем как ее карета тронулась, к дверце подошел проститься кособокий, невзрачный, неряшливый герцог-регент. «Я-то думал, что мне придется изгонять дьявола,— усмехнулся он про себя,— на деле же оказывается, что у меня из дому вылетает гогочущая гусыня». А Мария-Августа думала с насмешливым превосходством: «Все те, что остаются, друг друга стоят. Осел осла погоняет». И пастельно-нежное личико из-под гигантской черной шляпы с любезной насмешкой улыбалось старому вояке, который захлопнул дверцу, отдал честь и ухмыльнулся с непривычной для себя приветливостью.

Следственная комиссия, несмотря на все пытки, не добилась от Зюсса ничего, кроме сделанного в общей форме признания, что он имел связи с христианками. Тогда стали вызывать лакеев, камеристок, с пристрастием допрашивали их о мельчайших подробностях. Некоторые подглядывали в замочные скважины, другие слышали взвизгивания и сладострастные стоны. Все эти сведения: где, когда и подолгу ли,— взвешивались, обсуждались на все лады, разжевывались, заносились в протоколы. Обнюхивались простыни, рубашки, ночные горшки, а выводы излагались письменно. Таким образом, мало-помалу был составлен длинный список женщин, высокого и низкого звания, незамужних и состоящих в браке. У всех их судьи жадно и обстоятельно, не упуская ни малейшей детали, выпрашивали, когда, сколько раз, подолгу ли и каким образом обладал ими еврей. Все показания записывали черным по белому в трех экземплярах для сохранения в архиве в качестве исторических материалов государственной важности.

В числе прочих суд вызвал и обеих дам Гетц, и снова молодой тайный советник Гетц оказался в крайне затруднительном положении. Он счел нужным на время отправить мать и сестру в свое поместье близ Гейльбронна. Они могли бы попросту переселиться в имперский город Гейльбронн и тем самым оказались бы недоступными герцогской юстиции; но тогда и ему пришлось бы подать в отставку.

А если они явятся на суд, надо быть настороже и, прежде чем кто-нибудь осмелится бросить косой взгляд, надо, в свою очередь, сразить наглеца смелым и грозным

взглядом, чтобы у него пропала охота шутить. А это занятие нелегкое, придется грозно смотреть на многих, почти на всех. Но он был отважен и решился действовать именно так.

В ясный летний день предстали обе дамы перед судом. Вдоволь насладились члены комиссии пикантностью положения, допрашивая сперва мать, а затем дочь. Они еле скрывали алчное любопытство и похотливое удовольствие под торжественными масками беспристрастных судей. Элизабет-Саломея в черном, гладком платье, подчеркивающим лилейную прелесть нежного личика с затравленными серо-голубыми глазами, стояла перед ними растерянная и дрожащая. К общему удивлению, на ней не было никаких драгоценностей, кроме кольца с «райским глазом», она надела его, несмотря на строгий запрет брата, и присутствующие не могли оторвать взгляд от камня. Она корчилась от непристойно любопытствующих вопросов, которые с беспощадной, дотошной деловитостью задавали ей эти мужчины, находя себе полное оправдание в дразнящем блеске бесценного камня. Дрожа, как в ознобе, несмотря на яркое июньское солнце, она мучительно извивалась, выслушивая эти грубо откровенные вопросы, которые не всегда были ей даже понятны, вся съеживалась, отворачиваясь от бесстыдных взглядов, лихорадочно сжимала и разжимала тонкие, худенькие пальцы. Ответы ее звучали тихо, еле внятно, судорога перехватывала ей горло; но пощадить ей не давали, многое заставляли повторять еще раз, глуховатый государственный советник Егер твердил: как? как?—и кое-что требовал повторять трижды. Затем перешли к ее связи с герцогом и расспрашивали так же подробно. Особенно настойчив был тайный советник Пфлуг, он хотел возвести в оскорбление величества то обстоятельство, что еврей опередил герцога. Так терзалась юная, белокурая, прелестная девушка у незримого позорного столба, и никто ее не жалел, все напирало на нее, измывались над ней. Тон задавал чванливый, черствый господин фон Пфлуг: в пылу ненависти, морщась, как от дурного запаха, он все спрашивал ее, неужели же ей не претила вонь обрезанного; за ним государственные советники Фабер, Ренц, Егер, Данн, усердные, честолюбивые чиновники среднего возраста, возбужденные таким небывало пикантным служебным делом, старались выведать побольше подробностей, сперва выражаясь иносказательно и по-любительски смакуя их, а затем напрямик, называя вещи своими именами; секретари — ассессор Бардили и актуарий Габлер с галантностью дурного тона и с нагло снисходительным видом, с каким мужчины оказывают покровительство проститутке, пытались привести смягчающие доводы; председатель,

тайный советник Гайсберг, орал громовым голосом, чтобы она не жеманилась и не хныкала, грешить и развлекаться она могла, так незачем корчить из себя подростка; надо говорить голую правду; черт побери, сама-то она ведь не стыдилась оголяться. Вся разбитая, со стиснутыми висками, полумертвая от стыда и усталости, лежала она в полутемной комнате у себя дома; а брат ее шагал из угла в угол, гневно разглагольствуя; его слова терзали ее слух, но не доходили до сознания.

Хотя члены следственной комиссии скрытничали и напускали на себя неприступную таинственность, многие подробности допросов просачивались в город, в страну. Снова дом на Зеегассе, парадная кровать, Леда с лебедем занимали все умы. Имена женщин стали известны, и как ни старались несчастные спрятаться, стушеваться, их поносили, им вслед кричали бранные слова, плевали на них, обстригали им волосы. Просачивались все новые подробности. Волна сладострастия прокатилась от давно канувших в вечность любовных ночей Зюсса через всю страну. Мужчины сквернословили по трактирам, служанки едва отбивались от их грубых ласк, проститутки процветали. Женщины и девушки хихикали, ужасались, у многих лица становились злыми, завистливыми, обиженными, другие прерывисто дышали и млели от истомы. Какой-то английский коллекционер давал огромные деньги за пресловутую парадную кровать Зюсса.

Разумеется, до молодого Михаэля Коппенгефера дошли слухи о позоре девицы Элизабет-Саломеи Гетц. Времена изменились, и юноша вернулся назад в Штутгарт. Он возмужал в изгнании, слыл мучеником как пострадавший за убеждения и для многих из молодежи был примером и идеалом; быть может, некоторые из его приятелей даже знали, что он равнодушен к девице Гетц, и тем не менее не стеснялись резкими словами поносить и хулить девушку, всячески изощряясь, чтобы навеки заклеить ее гневным презрением. Никто и не думал, что склонность Михаэля Коппенгефера, молодого, стойкого, добродетельного демократа, устоит против таких разоблачений. И Михаэль Коппенгефер действительно не произносил ни слова в ее защиту. Не произносил и ни слова хулы, вопреки общему ожиданию. Он молчал и страдал. Не в его натуре было прощать по малодушию. Но ему виделось чистое, ясное лицо, белокурые волосы Элизабет-Саломеи, и он страдал. Он попросил своего дядю Гарпрехта показать ему протоколы. Для старика юриста с возвращением юноши наступили хорошие времена. Книги, право, демократия, отечество, все то, чем и ради чего он жил, ожило теперь, дышало и пульсировало в юноше со смело очерченными смуглыми щеками и

ярко-синими глазами. Когда рассказы о допросе девицы Гетц просочились в город, старик стал озабоченно наблюдать за юношей, он знал, что тот от природы меланхолик и что рана, нанесенная Элизабет-Саломеей, не могла зажить так скоро. Он увидел мучительную тревогу на лице юноши, подумал и дал ему документы. Михаэль начал читать и не выдержал, бросил, смертельная злоба закипела в нем против герцога, против еврея, против судей, против всех этих мужчин. Из протокола с полной достоверностью явствовало, что Зюссу не пришлось прилагать большие усилия. Но Михаэлю хотелось видеть в девушке жертву, и он видел в ней жертву. Он видел ее, светлую, нежную, лилейную, перед грубыми, жестокими судьями. Он не мог совладать с собой, пусть это была сентиментальность, но сердце у него замирало, когда он думал о ней, он не мог вырвать ее из души и пройти мимо твердым мужским шагом. Он пытался побороть себя, а когда старик Гарпрехт задавал ему бережные и ласковые вопросы, он отмалчивался. Он старался припомнить все смелые, вольнодумные суждения о том, как мала цена девственности, но принимал их лишь в теории, они были мертвы для него, вся его внутренняя сущность восставала против них. Наконец он осилил себя. Он откажется от политического поприща и, как бы ни издевались над ним, мужем гулящей девки, он возвысит до себя Элизабет-Саломею, женится на ней, снимет с нее позор и будет жить в деревне, вдали от мира, скромным ученым, наедине с книгами и с ней, находя опору в ее раскаянии и благодарности.

Без ведома старика Гарпрехта он отправился в поместье Гетцев, поблизости от Гейльбронна, куда после допроса возвратились обе дамы. Его сперва долго не принимали. Когда наконец он увидел Элизабет-Саломею, она была занята спешными приготовлениями к отъезду. Ему не удалось выступить со своим великодушным предложением. В девице Гетц произошла разительная перемена. Она лихорадочно суежилась между ворохами нарядов, белья, книг, изящных мелочей, складывала, связывала, упаковывала и с горькой, иронической веселостью вела салонную беседу, высказывала ужасающе легкомысленные взгляды. Мораль — понятие весьма относительное. Год назад в Штутгарте считалось хорошим тоном быть светски фривольным, а сейчас в принцип возведено обратное. На ее взгляд, еврей — лучший человек во всей Швабской земле и настоящий кавалер. Что до нее, так она едет сейчас за границу, сперва в Дрезден и Варшаву, а затем в Неаполь и Париж.

Итак, счастливо оставаться! Она помахала ему рукой, на которой волнующим пламенем горел «райский глаз».

В полном смятении, крепко сжав губы, воротился домой Михаэль Коппенгефер. Впоследствии до него дошли вести, что Элизабет-Саломея ведет жизнь блестящей модной куртизанки при европейских дворах. При ней, в качестве лейб-егеря и доверенного лица, состоит Отман, чернокожий.

В камеру Зюсса вошел магистр Якоб Поликарп Шобер. Темно и сыро было в тесном каземате, воздух был затхлый и зловонный. Зюсс сидел скорчившись, тяжело дыша, он ожирел и одряхлел, лицо обросло густой щетиной. Магистр был потрясен до глубины души, когда, после некоторого колебания, узнал в этом оборванце своего прежнего столь блистательного и великолепного господина. Ему самому тоже не сладко жилось. Он терзался сознанием, что по его вине финансовый директор попал в беду, когда ведь он-то, собственно, и спас евангелическую веру в герцогстве; магистра угнетала клятва, данная еврею, ему хотелось нарушить молчание, обелить невинно обвиненного, освободить его. Покачивая головой, слушал Зюсс его нескладные, бессвязные сожаления, мольбы, уговоры и под конец произнес:

— Хороший ты человек, магистр. Такие редко встречаются.— И, помолчав, добавил с загадочной улыбкой:— Если тебе уж так непременно хочется, теперь ты можешь говорить.— Магистр поцеловал ему руку и ушел ошарашенный.

Побежал к членам парламента, которым тогда, с разрешения Зюсса, открыл замыслы католиков. Принялся объяснять, растолковывать, уверять. Его выслушали, дивясь и недоумевая. Решили, что он хочет получить запоздалую награду за раскрытие заговора, за содействие полному его разоблачению. Довольно сдержанно обещали похлопотать о нем, если случится подходящая государственная служба. Когда же он с жаром запротестовал, упорно настаивая на том, что он раскрыл еретические планы с ведома и даже по поручению Зюсса, ему нетерпеливо отвечали, что шутки его неуместны, и приняли его выступление за попытку к шантажу, за ловкие происки еврея. Тайный советник Пфлуг в первую голову усмотрел в этом дьявольский план защиты, выработанный Зюссом, и потребовал, чтобы магистра, неотвязно досаждавшего судьям своими рассказами, посадили в тюрьму. Но так как еврей и не думал воспользоваться шоберовскими признаниями для своей защиты, то магистра в конце концов сочли сумасшедшим, тихо помешанным, объяснили его умственное расстройство пиетистскими и мистическими бреднями и отпустили на все четыре стороны со

строгим предостережением. Вне себя от ужаса перед мирскими соблазнами и слепотой, магистр удалился в Гирсау, где посвятил себя служению добродетели, старой кошке и поэзии.

Вскоре за ним в Гирсау последовал Филипп Генрих Вейсензе. Вейсензе пришлось покинуть пост председателя церковного совета. Будь он прежним, возможно, ему удалось бы удержаться на этом месте. Тайный советник Генрих Андреас Шютц, к примеру, был куда теснее связан с католическим проектом, однако с присущей ему увертливостью ужился при герцоге-регенте не хуже, чем при любом предшествующем правительстве, а Вейсензе в гибкости никак не уступал ему. Но он был утомлен и опустошен и сам устранился раньше, чем его удалили. Магдален-Сибилла совсем разошлась с отцом. Теперь, в своем унижении, он стал ей дороже, она попыталась сблизиться с ним, считая, что его несправедливо обидели, и даже написала стихи, в которых изобразила его отрешенным от власти не по собственной вине, а по вине случая и людской зависти. Но старик Вейсензе не захотел подпустить ее к себе, он ожесточился против нее, ее мещанство было ему глубоко противно, а беременность ее внушала ему чисто физическое омерзение. Что общего было у него с этой толстухой? Он ничего не испытывал к ней, и никакого духовного родства не было между ними. Что ему внук, происшедший от нее и семени Эмануэля Ригера, тощего, усатого, бесцветного, безличного ученого педанта. Нет, нет! Все это нимало его не трогало! Голос сердца и крови тут был ни при чем. Кроме того, он стыдился бездарного стихоплетства дочери. Один из ее друзей, медик и поэт, доктор Даниэль Вильгельм Триллер недавно издал ее стихи, а геттингенское общество пиетистов добилось того, что проректор тамошнего университета, профессор Зельднер, в качестве имперского пфальцграфа увенчал Магдален-Сибиллу лаврами поэтессы. Бедный ганноверский курфюрст и английский король, своим авторитетом покрывавший такой университет, такую эстетику, такого горе-критика и знатока искусств! И вот пошли скучные, глупые рифмованные поздравления с одной стороны, благодарственные вирши — с другой, а зачинщицей всей этой шумихи, смехотворной poeta laureata была его дочь, носившая под сердцем дитя! Вся его жизнь по праву могла считаться образцом такта, светской утонченности и дипломатичности, а теперь на старости лет ему приходилось сгорать от стыда. Обедневший, оскудевший, полный отвращения, возвратился он в Гирсау и погрузился в комментарий к Библии.

А страна между тем расцвела. Вздохнула, расправилась, сбросив иго душившей ее руки. Цены упали ниже,

чем в первые, счастливые годы правления Карла-Александра. Шесть фунтов хлеба стоили теперь девять крейцеров, кружка выдержанного вина в кабаке—шесть крейцеров. Фунт говядины или свинины—пять крейцеров, жбан пива—два крейцера три геллера, сажень буковых дров—десять гульденов, еловых—пять гульденов. И хотя внутривластическое положение вообще-то было незавидное, долг!—говорил Карл-Рудольф,—справедливость! авторитет!—и даже не собирался уступить хоть малую толику своих княжеских прав парламенту,—зато он привлек в кабинет министров умного, честного, толкового Бильфингера, что служило порукой обеспечения религиозных и гражданских свобод и в сочетании с экономическим благодеянием способствовало всеобщему удовлетворению. Откуда-то откопали стародавние картинки, на которых Карл-Рудольф во главе войска, облаченного в дедовские мундиры, бился с турками в шароварах и с сарацинами, которые размахивали кривыми саблями, и где бы ни появился нескладный, неряшливый вояка, люди кричали «ура».

Прямолинейная деловитость бравого старика регента внушала особое уважение советнику ландтага по юридическим вопросам Фейту Людвигу Нейферу. Его мрачная, фанатическая приверженность к самодержавию превратилась в столь же мрачную и пламенную ненависть к тирании. Теперь ему стало ясно, что и то и другое—лишь символ, лишь эмблема, а не главная суть. Долг! Справедливость! Авторитет!—вот смысл и основа истинно мудрого управления страной. Карлу-Рудольфу понравился иссушенный суровым фанатизмом законовед, подчеркнуто скромный в одежде и обращении. Вдобавок он, хоть и неясно как, был причастен к избавлению страны от последнего зловредного герцога и столь же зловредного еврея. Карл-Рудольф назначил и его в кабинет министров. И теперь этот мрачный фанатик участвовал в управлении страной, был неукоснительно верен долгу и справедливости и во главу угла ставил авторитет.

Так миновала сперва облачная и ветреная, а потом лучезарная весна, гнетущее грозное лето, ясная осень клонилась к концу, начинались первые заморозки, а Зюсс все сидел между сырых тесных стен своего каземата. Теперь он был подавлен и впал в уныние. Не трудно переносить пытки, не трудно, должно быть, и умирать, но с каждым днем становилось все труднее вдыхать зловонный воздух заточения, есть мерзкий хлеб неволи. Спина его сторбилась, руки и ноги были скрючены и до крови растерты кандалами. А на воле был воздух, на воле было солнце и ветер, на воле были деревья и поля, дома и звонкие голоса, мужчины с важным видом вершили дела,

дети резвились, девушки покачивали бедрами. Ах, хоть бы разок наполнить грудь легким вольным воздухом, разок бы сделать семь шагов вместо пяти с половиной из конца в конец своей камеры. Он писал. Писал герцогу-регенту. Тот человек пожилой; быть может, он выслушает его. Он писал деловито, почтительно, но не подобострастно. По-деловому, без злобы, указывал, что законов герцогства он ничем не преступал. А впрочем, если он чем-либо и согрешил против правового порядка страны, то его охраняет рескрипт Карла-Александра, согласно коему ему предоставлена полная свобода действия. И тем не менее он готов возместить любые убытки, причиненные его деятельностью. Он уже девять месяцев содержится в заключении, большую часть времени скованный по рукам и по ногам. За свое пребывание в крепости он стал стариком. А посему, припадая к стопам герцога-регента, он просит его светлость смиростивиться над ним.

С непривычным ему теперь волнением ждал он ответа. Наступило утро и вечер, прошел один день и еще один, прошла неделя, за ней вторая. Наконец, во время каждодневного допроса между девятью и десятью часами, после того, как майор Глазер торжественно назвал ему еще несколько женских имен, выведенных комиссией, Зюсс напрямик спросил, не прибыл ли ответ от герцога-регента. Майор, в свою очередь, с холодной насмешкой спросил, неужто он всерьез думает, что правителю станут докучать его наглыми жидовскими домогательствами; само собой ясно, что его, закоренелого негодяя и жида, lamentации направлены не герцогу, а судьям. В своем ежедневном отчете тайному советнику Пфлугу он доложил, что после такого ответа эта бестия, иудей, совсем присмирел.

Но Зюсс вновь пустил в ход былую настойчивость и энергию. Он хотел дышать, он хотел видеть белый свет. После незадачливой попытки магистра Шобера свидания были ему воспрещены, и к нему не допускали даже его добросовестного защитника, лиценциата Меглинга. Но в больном, сломленном человеке пробудилась былая хитрость. Он выразил законное желание видеть священника. В этом ему отказать не могли. Он же хотел воспользоваться им как ходатаем перед стариком регентом. Однако эта надежда мигом улетучилась, когда к нему прислали городского vikария Гофмана, старого приверженца конституционной партии и его яркого противника. Викарий, разумеется, решил, что Зюсса в теперешнем его положении легко будет обратить в христианство, и тотчас принялся ехидно и елейно увещевать его. Поняв, что с неудачным выбором духовного пастыря уплывают последние его упования, Зюсс только пожал плечами и возразил, что не собирается менять веру, а потом признался просто

и откровенно, что позвал его в надежде добиться через его посредство аудиенции у герцога-регента. Викарий фыркнул, что это не входит в его обязанности, тогда Зюсс сухо поблагодарил его за посещение.

Однако городской викарий пришел второй раз. Он был ревностный служитель церкви и, подметив, как плох еврей телесно, решил, что в слабом теле и душа должна быть слаба. Зюсс усмехнулся, увидев его снова. Выслушал его спокойно и внимательно. Под конец сказал, покачивая головой:

— Менять религию подобает человеку свободному и не пристало арестанту.

Но городской викарий не сдавался. Он замыслил во что бы то ни стало просветить истинами аугсбургского исповедания человека, чье имя облетело всю Римскую империю. Он даже привел с собой, в качестве помощника, соборного священника Иоганна Конрада Ригера. Оба духовных лица из сил выбивались, Иоганн Конрад Ригер расстилал перед ним весь бархат своего прославленного красноречия, городской викарий вторил и поддакивал, целое миссионерское общество не могло бы представить большее количество веских аргументов. Но Зюсс, будучи закоренелым иудеем, упорствовал в своем заблуждении.

С остальными заключенными — Шеферами, Гальваксами, Бюлерами, Мецами — обращались куда гуманнее. Они были связаны родством с членами парламента; их дела велись очень снисходительно; на многое судьи закрывали глаза, многое обходили, смазывали. Деяния их, государственных чиновников, подходившие под рубрики оскорбления величества и государственной измены, мало-помалу свелись к незначительным проступкам. Судебное разбирательство вылилось в пустую формальность. Первым был освобожден гофканцлер фон Шефер, на него возложили только уплату судебных издержек, сохранив за ним чин тайного советника и пенсию в полном ее объеме, после чего он выехал в Тюбинген. Затем на свободу выпустили Бюлера и Меца, а последним Гальвакса. Всех их приговорили к высылке за пределы страны. Они предусмотрительно успели перевести за границу большую часть крупных сумм, заработанных ими на финансовых операциях Зюсса. Но предосторожность оказалась излишней; даже их имущество в самом герцогстве оставили неприкосновенным. Совместно с другими прежними соратниками Зюсса они переселились в отстоящий на полторы мили от Штутгарта вольный имперский город Эслинген, проживали в приветливом, нарядном городе на доходы со своих капиталов, ежедневно принимали гостей из Штутгарта и, в качестве благодушных зрителей, следи-

ли за процессом Зюсса. Правда, в Эслингене поначалу брюзжали против новых пришельцев. Но после перемен, происшедших в Вюртемберге, многие прежние эмигранты возвратились туда, и в Эслингене уменьшился приток денег, а так как новые беглецы, сторонники противоположной партии, широко тратили на свои нужды, с их пребыванием в стенах города скоро примирились. Таким образом, сподвижники Зюсса чувствовали себя совсем неплохо и спокойно, выжидали, чтобы правительство опять сменилось и всех их призвали назад; не вечно же юный герцог будет несовершеннолетним, а Карл-Рудольф — человек старый.

На все имущество Зюсса, находившееся в пределах досягаемого, а также на дворец его был пока что наложен арест. Ликвидация многообразных, необозримых предприятий финансирующего была весьма затруднительна. Дону Бартелими Панкорбо пришлось со скрежетом зубовным обратиться за помощью к Никласу Пфевле. Бледнолицый толстяк подчинился, но с обычным своим невозмутимым видом поставил условия. Прежде всего он не позволил посторонним касаться предметов, находившихся в личном пользовании его господина. При малейшем посягательстве португальца Никлас Пфевле проявлял строптивость, путал все карты сложных финансовых дел, оказывал пассивное сопротивление, и дону Бартелими приходилось отводить свои цепкие пальцы от тех предметов, к которым молчаливый секретарь не подпускал его.

Кобыла Ассиада, как ни ухаживали за ней, захирела, не чувствуя руки хозяина. Ее добивался майор Редер, и португалец решил уступить лошадь ему. Но Никлас Пфевле этому воспрепятствовал. Неожиданно кто-то назначил большую цену, чем майор; прежде нежели майор успел сделать надбавку, благородное животное было уступлено неизвестному покупателю, а господин фон Редер, вдохновитель песни «Стой иль умри, презренный плут!», все еще имевшей успех у обывателей, принужден был по-прежнему показываться восторженному народу на своей старой рыжей лошади. Прекрасная кобыла, по прозвищу Восточная, обнаружилась затем у мадемуазель Элизабет-Саломеи Гетц, где за ней ходил чернокожий. Впоследствии, очутившись в бедственном положении, мадемуазель Гетц продала ее богатому мусульманину, и кобыла Ассиада вновь скрылась на востоке, откуда была вывезена.

И попугая Акибу, который говорил: «*Ma vie roue mon souverain!*» и «Как изволили почивать, ваша светлость?» — Никлас Пфевле вырвал из рук алчного победителя. Он сам отвез клетку с птицей во Франкфурт, к Исааку Ландауеру, который нашел приятного Никласу Пфевле

покупателя. Знаменитый финансист принял секретаря в душной, непроветренной частной конторе своего уродливого, покосившегося, разделенного на комнатухи дома в гетто. Одетый в засаленный лапсердак, сидел он в некрасивой, неудобной позе перед толстым бледнолицым секретарем и злобно поглядывал на говорящую птицу, а затем сказал: «Говорил я ему в свое время: нужен еврею попугай?» При этом он суетливо расчесывал сухощавыми пальцами рыжеватую, седеющую козлиную бородку и бросал по сторонам косые, сердитые взгляды. Никлас Пфевле молчал. Тем не менее они провели вместе несколько часов, обсуждая многое, один односложно и хладнокровно, другой — суетливо, слезливо, угрожающе, возмущенно, запальчиво, настойчиво.

В результате этой беседы оба — Исаак Ландауер и Никлас Пфевле — совершили ряд поездок. Еврейский мир с самого начала попытался вступить за свергнутого финансов директора. Теперь в эти начинания был внесен порядок. К министрам и власти имущим различных европейских дворов то и дело наведывались банкиры-евреи, чтобы поговорить о вюртембергском процессе. Они делали упор не на личности Зюсса, не на дурном с ним обращении, а старались подчеркнуть, какой произвол, какое попрание римского и германского права, да и законов самой страны, представляет собой этот процесс. Состоящих на действительной службе, связанных присягой чиновников отпускают на все четыре стороны, а частному лицу, подданному другого государства, предъявляют обвинение в измене конституции. К тому же существует герцогский рескрипт, на законном основании охраняющий его от всяких преследований, и этим постановлением, скрепленным высочайшей священной подписью, судьи позволяют себе пренебречь, а сами возбуждают дело об оскорблении величества. Где же тут правосудие? Какие же гражданские права, какие гарантии существуют в таком государстве? Возможно ли заключать договоры с таким правительством, вести с ним дела? Против одного-единственного параграфа закона погрешил Зюсс. Он спал с христианскими женщинами — вот так уголовное преступление! А за это у него конфисковали имущество. И это справедливость? И это правосудие? И такому государству можно доверять?

Такие разговоры шли при всех дворах. Над вюртембергскими посланниками подтрунивали, а всего больше издевались над расчетливой государственной моралью, пользующейся любовными идиллиями частного лица для пополнения государственного бюджета. Ни для кого не было тайной и то обстоятельство, что судьи затягивают следствие, дабы сохранить свои суточные. Господа

судьи—так говорилось повсюду—до тех пор роются в каждой амурной связи еврея, пока не заработают на ней по тысяче талеров.

Иоганн Даниэль Гарпрехт явился к герцогу-регенту доложить о ходе следствия. Он высказался откровенно и прямо. Если такое положение продлится, швабская юстиция утратит всякий престиж. Довольно уж тянется эта скандальная история. Нечего и говорить, что он тоже считает еврея зловредным клопом. Но позволительно ли в современном правовом государстве так истязать человека? Пора уже свести воедино все аргументы и поспешить с выводами и приговором. Какой позор, что все остальные завзятые мошенники выпущены на волю. Ему ясна политическая необходимость подобных послаблений, но зачем же срамиться, допуская ни с чем не сообразное варварское обращение с евреем? В частности, вся канитель, которую разводит комиссия по поводу его амурных дел, действует развращающе на страну. Старый законник разгорячился и говорил, не выбирая выражений. Ведь если следовать голой букве давно отжившего закона, надо и женщин сжечь на костре. А об этом никто и не помышляет. Чего же тогда, черт побери, затевать такую историю? Каждую ночь в герцогстве происходит не меньше сотни тысяч совокуплений. Лежа в постели с женщиной, никакой еврей и никакой еретик не угрожает безопасности государства, религии и конституции. Хорошо было бы, если бы еврей ничем другим не занимался ни днем, ни ночью. Кстати, на его взгляд, еврей, несмотря на все пытки не назвавший ни одного имени, много благороднее своих ретивых судей. Пора наконец вытащить носы и руки из этой грязи. Мрачно слушал его старый регент. Ведь Гарпрехт прямо и резко выложил все то, что сам он смутно ощущал. Долг! Справедливость! И он дал приказ прекратить дознание касательно женщин. Некоторые из них были, по его распоряжению, наказаны розгами и присуждены провезти по городу телегу с навозом.

С Зюссом он велел обращаться не слишком мягко, но по-человечески. С педантичной точностью выполнил майор Глазер эти указания: «Не слишком мягко». В камере еврея по-прежнему было пять с половиной шагов, заковывали его каждые два дня, мясо ему давали только по воскресеньям, одежду разрешали носить самую грубую. «Но по-человечески». Допросы между девятью и десятью часами отпали. Через день ему приносили воды умыться, в камере его настлали деревянный пол и поставили нары для сна.

На членов комиссии указ регента произвел большое впечатление. Да и несмотря на все громкие слова, им

становилось не по себе от непрерывно возрастающего, умело разжигаемого возмущения иностранных дворов. Оказалось, что не так-то просто подвести под осуждение законную базу. Что Гарпрехт и Шепф ни в коем случае не подпишутся под ним, было совершенно ясно; но и остальные, особенно те, что помоложе, заколебались, испугались, как бы не скомпрометировать себя. Лиценциат Меглинг, добросовестный защитник, расцвел. Он был уверен, что более мягкое обращение с Зюссом и перемена в настроении некоторых судей—дело его рук. Правда, доступа к своему подзащитному он все еще добивался с трудом, а протоколы допросов ему попросту не желали показывать, так что для защитительной записки у него материала не прибавилось, но тем тщательнее он отшлифовывал ее, округлял и отделявал фразы, и совесть у него была спокойна,—он честно, в поте лица, зарабатывал свой гонорар.

С тревогой и злобой наблюдал тайный советник Пфлуг, как из-за еврейских махинаций осуждение и уничтожение Зюсса повисает в воздухе. Его холодный фанатизм не мирился с этим, терзал ему душу, не давал покоя. Цель была так близка; он не перенес бы, если бы она совсем ускользнула от него. Тощий, желчный, одержимый одним стремлением, недоступный никаким доводам, он зачастил к членам парламента, которые были известны ему как непримиримые враги Зюсса. Неустанно совещался с доном Бартелеми Панкорбо. Не щадил ни средств, ни трудов. Появились летучие листки, отвлекавшие на Зюсса весь народный гнев по поводу того, что разные Мецы, Бюлеры, Гальваксы гуляют на свободе. Был пущен слух, что скоро освободят и еврея. Тех судей, от которых ожидали снисхождения, включая сюда и всеми почитаемого Гарпрехта, всячески обрабатывали и даже спаивали в трактирах. Дело дошло до демонстраций и бунтов. «На виселицу еврея!»—провозгласили господин фон Пфлуг и дон Бартелеми. «На виселицу еврея!»—гремело в парламенте и с церковных амвонов. «На виселицу еврея!»—орала толпа, распевали на бойкий хоровой мотив уличные мальчишки, подтверждали крестьяне на отдаленных дворах, натужно шевеля мозгами. Подобным нажимом господин фон Пфлуг достиг того, что некоторые из судей вышли из состава комиссии. Их места заступили личные враги Зюсса, чьи голоса, несомненно, будут поданы согласно его, Пфлуга, желанию,—бывшие министры Форстнер и Негенданк, в свое время отставленные по милости Зюсса, холодный, увертливый честолюбец Андреас Генрих Щютц, которому при Карле-Александрe Зюсс постоянно ставил палки в колеса; кроме того, происками господина фон Пфлуга и молодой тайный

советник фон Гетц был включен в комиссию, дабы он мог сорвать свой мстительный гнев на погубителе матери и сестры. Таковы были люди, которых теперь назначили судить Зюсса. В них ненависть пылала жарче, чем алчность к деньгам, народ настаивал на смертном приговоре, и они рады были уступить его настояниям. Прежде всего, они поспешили закончить следствие. Обвинительный акт, составленный государственным советником Филиппом Генрихом Егером, возлагал на Зюсса вину чуть ли не за все, что случилось плохого при Карле-Алексаднре, даже за то, о чем он никоим образом не мог знать; признавал его ответственным за служебную деятельность всех решительно государственных чиновников, начиная от членов кабинета министров и кончая всякой мелкотой. Добросовестную защитительную записку честного адвоката Меглинга еле прочитали. Ослепленные ненавистью, судьи отмахнулись от совершенно ясного существа дела, едва коснулись в мотивировке приговора многочисленных доводов, оспаривавших их правомочность и совершенно исключавших законность осуждения Зюсса.

Они признали еврея виновным в бесчисленных преступлениях: во-первых, против герцога, во-вторых, против его верных соратников, министров и всей нации, ибо он очернил их в глазах государя и тем самым навлек на них немилость и недоверие; в-третьих, и особливо, против парламента и конституции—в доказательство чему было приведено множество распоряжений Зюсса, и в первую очередь указ насчет трубочистов; и в-четвертых, против целых общин и отдельных подданных. Они объявили его повинным в оскорблении величества, в государственных преступлениях, в чеканке фальшивой монеты, в изменнических и вредоносных действиях.

На основании сего особое судебное присутствие, назначенное для расследования преступлений Иозефа Зюсса Опленгеймера, иудея и бывшего финансовдиректора, приговорило его к смерти через повешение. Этот род казни был определен подсудимому прежде всего потому, что он был обычной карой для совокупности преступлений, в которых тот был обвинен, в частности же потому, что повешение представляло собой нечто среднее между четвертованием, которому подвергают виновных в оскорблении величества, сожжением заживо, к которому присуждают фальшивомонетчиков, и более почетной казнью через отсечение головы.

Члены комиссии ходили с гордым видом. Они облекли приговор в относительно пристойную форму. Пускай педантичные законники придираются сколько угодно, им же довольно сознания, что народ здоровым чутьем своим поддерживает их.

Ежась и ерзая, сидел дармштадтский советник по финансам и министерский фактор барон Тауфенбергер в своем кабинете, заполненном кипами документов. Напротив него, беспомощная, красивая и глупая, сидела его мать, Микаэла Зюсс. Целых семь лет, с тех пор как он перестал прозываться Натаном Зюссом Оппенгеймером, а принял в крещении имя барона Людвиг Филиппа Тауфенбергера, она не посещала его. Красивая, пожилая дама, заполнявшая свою пустую жизнь заботами о туалетах, обширной перепиской, театром, покровительством юным талантам, путешествиями, светскими приемами, всегда пугливо избегала Дармштадта, местожительства своего старшего сына. Она бы поняла, если бы младший, Иозеф, принял веру своего отца, и, пожалуй, даже обрадовалась бы этому, она с виноватой нежностью искала в его чертах сходство с отцом. А что Натан, сын кантора Иссахара Зюсскинда, перешел в христианство, это она считала величайшим кощунством, за которое рано или поздно придет расплата. Недоверчиво смотрела она на его счастье и успех. Но чтобы Иозефа, правоверного, благородного Иозефа, который спас Иезекииля Зелигмана из Фрейден-таля и, несмотря на соблазн и неслыханное искушение, остался евреем, чтобы его так жестоко низвергли, меж тем как выкрест и вероотступник продолжает пышно процветать, это совершенно выводило ее из равновесия.

Микаэла Зюсс по-своему любила мужа, кантора Иссахара. Он был славный, работающий человек, большой певец и актер, а главное, кроткий и покладистый муж, который подолгу отсутствовал и, не слушая злых наветов на свою жену, был всегда одинаково нежен и полон благодарного восхищения перед ее красотой. За свою долгую, богатую радостями, привольную жизнь она увлекалась многими мужчинами. Но месяцы, проведенные с блистательным Георгом Эбергардом Гейдерсдорфом, были венцом ее бытия. Его падение, поругание и позор принесли ей самое большое горе, как ее она испытала на своем веку. Позднее в сыне Иозефе для нее воскрес его отец; затаив дух, замирая от восторга, следила она за его счастливой судьбой, всю молодость и сладость, весь блеск и хмель жизни любила она в сыне, блаженно растворяясь в молитвенном преклонении перед его гениальностью, его звездой, его славой. И вот теперь для него еще страшнее повторяется превратность жестокой отцовской судьбы.

Сперва она думала, что арест сына лишь хитрость, маскировка, из которой он восстанет в удесятенном блеске. Но теперь ей пришлось убедиться, что это чудовищная действительность. Приговор, правда, еще не

был оглашен, но по всей империи носились все более угрожающие слухи, утверждавшие, что вюртембергцы порешили в ближайшее время вздернуть своего бывшего финансирующего директора. Припев: «На виселицу еврея!» — звучал не только по берегам Неккара, но и на всем Рейне вверх и вниз по течению.

Микаэла не могла отделаться от этого гнусного, пошлого мотива, совсем терялась и трепетала. Делала неловкие попытки помочь сыну, писала глупые прошения куда-то в пространство. Хоть бы рабби Габриель подал о себе весточку! Она послала ему настойчивое, растерянное письмо; но не знала, получит ли он его; она только предполагала, но не была уверена, что он в Голландии. Она написала в Вену замужней дочери, своим неровным, безличным почерком писала венским Оппенгеймерам и, наконец, решилась на крайний шаг — приехала к старшему сыну, выкресту. И вот она сидела здесь, трепетно и выжидательно приоткрыв рот, и запуганными, глупыми глазами смотрела на него.

— Что делать? Что делать? — причитала она.

Барон Тауфенбергер беспокойно ерзал в кресле, машинально и лихорадочно листал бумаги, изворачивался так и сяк. Это был толстоватый, невысокий, даже низенький господин, одетый изысканно и богато, но не элегантный на вид; его живые глаза казались чересчур выпуклыми на белом холеном лице, толстые белые пальцы непрерывно сгибались и разгибались. При всем наигранном вольнодумстве он стыдился своего перехода в христианство. Он любил подтрунить над еврейскими нравами и обычаями, вел знакомство с гельмштедтским профессором Карлом Антоном и с бывшим денкендорфским пробстом Иоганном Фридрихом Паулусом, ныне назначенным пастором в Штутгарт. Оба они, в прошлом евреи, крестившись, стали яркими пропагандистами христианского вероучения. Но в глубине души барон завидовал младшему брату, который пошел много дальше его, оставаясь евреем. Кроме того, Иозеф относился к нему, к выкресту, с явной иронией и презрением и однажды, когда они встретились при курпфальцском дворе, попросту повернулся к нему спиной. Стоило им столкнуться на деловой почве, как они, без малейшей попытки к соглашению, затевали тяжбу, и выкреста мучительно задевало пренебрежительно-гадливое нежелание брата договориться лично, так что даже самые важные вопросы он, рискуя убытками, препоручал разрешать своим агентам. Падение и позор брата глубоко поразили барона, да и на его долю пришлось немало насмешек и нападок; и тем не менее теперь, когда мать сидела перед ним в растерянности и молила его за того сына, который был ее любимцем и

гордостью, он не мог подавить чувство затаенного торжества.

— Дождались, дождались!—повторил он несколько раз кряду тонким, визгливым голосом.—Разве мыслимо подняться так высоко, оставаясь евреем? Это ни на что не похоже,—горячился он, размахивая руками,—этого не должно быть, это противно божьей воле и человеческим законам.

Но Микаэла не слушала его.

— Что делать? Что делать?—причитала она однотононо.

Толстяк вскочил, беспокойно забегал по комнате, переложил пачку бумаг с одной стороны стола на другую.

— Есть только одно средство,—сказал он наконец. И так как Микаэла с трепетом и надеждой глядела на него, он расхрабрился и безапелляционно заявил:—Он должен креститься.

Микаэла задумалась. Потом сказала робко:

— Он не согласится.—И, помолчав немного:—Рабби Габриель не позволит.

Сын подхватил насмешливо:

— Не позволит! Мне он тоже не позволял. Если бы я его послушался, со мной теперь, наверное, было бы то же, что с Иозефом. Не позволит! Не позволит!—выкрикивал он визгливым голосом, размахивая руками.—Ничего другого я придумать не могу,—сказал он, резко переменяя тон и остановившись. Увидев, что мать вся поникла и помертвела, он добавил:—Я все сделаю, что в моих силах, спасу из его состояния, что только можно спасти. Хоть, правду сказать, он этого не заслужил. Я наложу руку на все, что можно сохранить для него в Гейдельберге, Франкфурте и Маннгейме. И денег не пожалею, постараюсь добиться чего-нибудь в Штутгарте у правительства, у судей, в тюрьме. Но если Иозеф не захочет креститься,—заклучил он, пожимая плечами,—вряд ли удастся отвести от него беду.

Уходя, Микаэла ступала тяжелее, чем по дороге сюда.

Между тем в Штутгарте Никлас Пфевле упорно и хладнокровно действовал в пользу своего господина. Крупные суммы текли к разным сановникам и судейским чинам. Так как герцог-регент отдал приказ точно установить, какое имущество является бесспорной, законно приобретенной собственностью Зюсса, и это имущество сохранить в неприкосновенности, то секретарь мог распоряжаться большими средствами.

Драгоценные камни, вазы, ковры перешли в виде подарков из дома Зюсса к влиятельным членам парламента, к придворным и государственным чинам, которые

официально не имели ничего общего с процессом, но тем большее давление могли оказать косвенным путем.

А среди еврейства, нарастая, распространяясь, шла молва: «Он спас реб Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя, он протянул руку свою и охранил евреев на берегах Неккара и на берегах Рейна. А ныне объединились сыны Эдома и все богоотступники и напали на него. Слишком велик был он, по их разумению, слишком ярким блеском озарял еврейство. И вот они напали на него, как Аман-богоотступник, и хотят убить его. Выручайте и спасайте реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера, что был добрым евреем и во времена блеска своего простирал руку над всем еврейством, дабы защитить его».

И молились и постились в молельнях, и хлопотали в канцеляриях и кабинетах министров, и собирали деньги, много денег, все больше денег, огромное количество денег отдавали в руки реб Исаака Симона Ландауера, гоффактора и доброго еврея, который был назначен от раввинов и общины всеми силами, средствами и хитростями защитить впавшего в несчастье реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера, спасителя Израиля от великих бед. А у Исаака Ландауера, на тот случай, если вюртембержцы осмелятся осудить Зюсса, был в запасе план, не то чтобы очень хитрый, но смелый. Для этого плана ему требовалось много денег, несметное количество денег. И несметное количество денег текло в его кассы, звонкой монетой, векселями, обязательствами, от малоимущих по малу, от многоимущих по многу, из всех стран, из всех общин, от евреев со всего света.

Иоганн Даниэль Гарпрехт сидел у себя в библиотеке и работал. Герцог-референт не утвердил приговора комиссии, приказал пока что держать его в тайне и послал ему, Гарпрехту, на рассмотрение приговор вместе со всем относящимся к делу огромным следственным материалом.

Угрюмо сидел старик. Наступила четвертая зима с тех пор, как он дал заключение по делу Иезекииля Зелигмана и против воли спас вонючего жида. Гложущие черви отвалились и попрятались, самые жирные, откормленные, что клубком свивались наверху, обезврежены: один — герцог — мертв, а другой — еврей — лежит поверженный, и от него, Гарпрехта, зависит раздавить червя. Он, Гарпрехт, был тогда крепким мужчиной, а теперь он по их милости стал стариком, много земель, лесов и пашен и человеческих жизней и человеческих душ источено и загублено по их милости, и мальчик его, Михаэль, тронут червоточиной, и чистая, нежная Элизабет-Саломея Гетц

по их милости пошла по рукам. И хоть теперь гадов вспугнули и они попрятались, все равно они воротятся, как возвращались всегда, и старое здание рухнет окончательно. А он тут сидит и судит, правое ли дело раздавить этого гложущего вредоносного червя.

Пришел Бильфингер. Он теперь, по существу, был правителем государства, честным, неподкупным правителем, он трудился как вол, и небезуспешно. Работа шла ему на пользу: грузный, полнокровный мужчина с виду был на десять лет моложе Гарпрехта, своего сверстника.

— Как дела, друг и брат мой?—спросил он, бросив взгляд на грудку документов.—Похоже это на историю с евреем Иезекииелем?—медленно и неохотно добавил он.

За окном густыми хлопьями падал снег. В комнате было очень тихо, рядом слышались шаги молодого Михазля Коппенгефера.

— Да, друг и брат мой,—сказал Гарпрехт,—очень похоже. Формально, с точки зрения уголовного права, обвинение недостаточно обоснованно.

Бильфингер перелистал бумаги, разделил на стопки, сложил вновь.

— А нельзя ли, друг и брат мой,—сказал он, немного погодя,—нельзя ли принять во внимание, что в конституционном государстве Вюртемберг он разрешал себе немало отступлений от законов конституции? Так пусть не посетует, если ради него отступят от законов правосудия.

— Это можно принять во внимание,—отвечал Гарпрехт.—Только не мне. А герцогу.

Тем временем подошло к концу и следствие по делу генерала Ремхингена. С ним, дворянином, иезуитом и полковником австрийской службы, обошлись отнюдь не так гуманно, как с местными уроженцами Гальваксом, Мецем, Бюлером, Лампрехтсом и Шефером, у него не было родни в правительственной канцелярии, штатских он именовал щелкоперами, всех, у кого не было дворянского титула, в особенности же парламентариев, обзывал не иначе как плебеями, канальями, черныш и заслужил дружную ненависть. Поэтому и расследование велось весьма строго, и материал был подобран достаточный для того, чтобы приготовить его если не к смертной казни, то во всяком случае к пожизненному заключению в крепости. Но как раз об эту пору был до мельчайших деталей разработан договор об опеке между Карлом-Рудольфом и вдовствующей герцогиней; договор этот, составленный на весьма выгодных для регента условиях, вместе со статутом управления на время регентства, подлежал рассмотрению и

утверждению императорской канцелярии. Восстанавливать против себя венский двор строгим наказанием австрийского католика представлялось герцогу весьма неуместным. Поэтому решено было не спешить с приговором, а пока что отпустить генерала под честное слово на поруки. Ремхинген, как и следовало ожидать, не замедлил нарушить слово, бежал за границу и поступил на венецианскую службу под начальство генерала Шуленбурга. В дальнейшем был осужден заочно, заявлял возмущенный протест в бесчисленных жалобах императору и имперскому правительству. Особенно в «*Innocentia Remichingiana vindicata*¹, или Вынужденной реабилитации». На протяжении многих лет не переставал изрыгать хулу, яд и желчь против Вюртемберга.

Народ был вне себя от бегства Ремхингена. Итак, значит, все кровопийцы увильнули от наказания. Сидели в Эслингене, на расстоянии полутора миль, надрывали животы от смеха или, еще того хуже, чинили, как Ремхинген, досаду и устраивали всякие пакости. Одного лишь еврея удалось удержать. Но тому уж не миновать расплаты. Снова на первый план выступили тайные советники Пфлуг и Панкорбо, подстрекали, оплачивали народные демонстрации. Яростней, резче, громче, грознее зазывало по стране: «На виселицу еврея!»

Так обстояли дела, когда Гарпрехт доложил герцог-регенту свои выводы. Как человек справедливый и правдивый, он нашел в себе силы дать заключение вне зависимости от неприязни к Зюссу, от неистовства толпы, громко, в один голос, требовавшей смерти еврея, и не сообразуясь с тем, что угодно или негодно кабинету министров и парламенту. Вот какое заключение дал ученый юрист: суду и наказанию подлежат присягавшие конституции и правительству советники и министры, которые подписывались под незаконными приказами и распоряжениями, а не иностранец, не связанный присягой и не состоявший на государственной службе. Согласно римскому и германскому праву смерти повинны они, а не он. Исключение составляет пункт о плотских связях с христианками. Но на этом пункте по многим причинам нельзя основываться всерьез, да и сама комиссия не включила его в мотивировку приговора. А посему, на основании существующих законов Римской империи и герцогства, обвиняемый не может быть присужден к смертной казни; у него надлежит отобрать то, что им награблено, поскольку факт грабежа подтверждается, а затем изгнать его из пределов страны.

Низкорослый, кособокий, неряшливый престарелый

¹ Восстановленная невиновность Ремхингена (лат.).

седой герцог внимательно слушал дородного, положительного, солидного юриста.

— Итак, ты полагаешь,— сказал он в заключение,— что комиссии важно было осудить не мошенника, а еврея?

— Да,— ответил Гарпрехт.

С улицы доносился бойкий мотив: «На виселицу еврея!»

Старик регент плотно сжал губы.

— Я рад бы последовать твоему совету,— сказал он под конец. И с тем отпустил юриста.

На следующий день он подписал смертный приговор.

— Лучше, чтоб еврей был незаконно повешен,— сказал он,— чем по закону оставлен в живых и по-прежнему будоражил страну.— И еще сказал:— Редкий случай, чтоб еврей расплачивался за мошенников-христиан.

По пустынным узким коридорам крепости Гогенасперг, по витым лестницам, за ворчливым капралом с объемистой связкой ключей неверными шагами следовала Микаэла Зюсс. Сердце билось сильнее у изнеженной пожилой дамы; куда ни погляди— всюду стены да громоздкие пушки, огромный, угнетающий, грозный механизм. Капрал грузно и поспешно шагал впереди, она с трудом поспевала за ним, задыхалась, но не смела ничего сказать. Наконец со скрипом и лязгом растворилась низенькая, безобразная дверца. Запыхавшись, заглянула она в тесную конуру; там на убогих нарах сидел старик, сгорбленный, обрюзгший, заплывший нездоровым жиром, с нечесаной седой бородой и в полудреме напевал себе под нос, рассеянно и бессмысленно улыбаясь. Она робко сказала капралу:

— Мне не сюда, милейший, мне к Иозефу Зюссу.

Капрал ответил сердито:

— Это, госпожа, и есть еврей.

Холодея от неизъяснимого ужаса, смотрела Микаэла Зюсс на арестанта, который медленно обратил к ней лицо и карие, сощуренные, немного воспаленные глаза. Капрал с внушительным лязгом запер дверцу снаружи. Это—ее сын! Уродливый, опустившийся человек, на вид много старше ее—ее блистательный сын! Ничего, ни малейшего следа не осталось в нем от Гейдерсдорфа, гораздо больше, несмотря на бороду,—с любопытством и содроганием заметила она,—было в нем сходства с рабби Габриелем. Она разглядывала его робко, с дрожью ужаса, она не ощущала прежней терзающей, мучительной жалости, она чувствовала, как тает в ней любовь к сыну, оставляя внутри пустоту, перед ней был чужой, грязный,

опустившийся человек; которого — ну конечно же! — надо жалеть, ведь он в заточении, и ему трудно приходится, да к тому же он еврей. Но она уже замкнулась в себе, и душа ее покрылась корой. Смущенно стояла она, чужая элегантная дама, перед неопрятным, скатившимся в грязь человеком.

Когда они заговорили, у нее не нашлось настоящих слов. Он обращался к ней ласково, с мягкой, покровительственной, чуть шутливой добротой и гладил ее белоснежные руки. Она немножко всплакнула. Но ни одно его слово не проникало ей в душу. Она думала все время: этот старый человек — ее сын! И кора все плотней покрывала ее душу. Микаэла даже обрадовалась, когда истек час и ворчливый капрал пришел за ней. С порога она, содрогаюсь от ужаса, еще раз оглянулась на старого человека, который был ее сыном. На обратном пути она сама ускорила шаг.

Вскоре после этого в камере появился кроткий, тихий, печальный господин и поздоровался весьма учтиво. У него были большие белые медлительные руки, меланхолические, с поволокой глаза на мясистом, синеватом от бритья лице. Говорил он негромко, убедительным, печальным голосом. Это был Иоганн Фридрих Паулус, бывший денкендорфский пробст, а ныне пастор в Штутгарте, крещенный еврей. Его прислал городской викарий Гофман. Городской викарий предпочел бы сам привести в лоно церкви такого закоренелого грешника, но он видел, что надежды у него мало и лучше другому завершить дело, чем совсем упустить его. Бывшему еврею, пожалуй, легче будет вкрасься, втереться в зачерствелую душу, размягчить ее.

Тихо и учтиво сидел крещенный еврей у стены, странным образом, несмотря на свою корпулентность, похожий на призрак. Печальными миндалевидными глазами оглядывал он камеру. Негромко повел беседу.

— Все это лишь мишура и личина, — сказал он, — и ваш дворец, и эта камера, и ваше иудейство, и мое христианство: мишура и личина. Одно лишь истинно — дух божий внутри нас. Одно лишь истинно — что мы тень от тени, слово от слова. Я видел возвышение ваше, господин финансиер, я видел вас в великом блеске, на большой высоте. Я друг и ученик рабби Ионатана Эйбешютца, а он друг дяди вашего, рабби Габриеля. Мне часто хотелось побеседовать с вами, господин финансиер. Не потому, что вы, наверное, презирали меня за переход в христианство, приверженность христианству, и мне непременно хотелось оправдаться перед вами, отнюдь нет. Но теперь, увидев вас, — заключил он, и его ласкающий голос стал еще тише, а сам он был почти растроган, — я увидел,

что пришел ради нас обоих, ради себя не меньше, чем ради вас.

— Ведь вы пришли, чтобы обратить меня в христианство? — сказал Зюсс. — Ведь вас прислал городской викарий Гофман? Разве это не так, ваше преподобие? Или мне величать вас — рабби учитель наш? — улыбнулся он.

Человек, смиренно сидевший у стены, сказал:

— Не большой труд и малая доблесть упорствовать и быть мучеником. Многие презирают меня за то, что я стал христианином. Но комья грязи не причиняют ран. Я пальцем не шевельну, чтобы стереть их. Ибо сделал я это не ради хлеба и одежды и почестей, а ради идеи, ради моего закона. У вас свой закон, своя идея. Разве не правильнее до конца изжить этот закон, не дать угаснуть этому светочу, даже если для того потребуется облечься в мишуру христианства вместо мишуры иудейства? Жить в такой камере, — и мягкий взгляд с поволокой скользнул по голым стенам, — конечно, очень тяжело. Но кто сказал вам, ваше превосходительство, что всякая тяжесть есть заслуга?

— У вас, ваше преподобие, весьма приятная манера обертывать душеспасительное учение вашей религии в приманчивую оболочку. Мягкая постель, теплая комната, жареная оленина, выдержанное мадерское вино — бесспорно доступные и отрадные истины; и то, что вы говорите о тени от тени и слове от слова, звучит складно и красиво. Но видите ли, я променял свой дворец в Зеегассе на эту камеру. Меня подозревали в чем угодно; но никто никогда не заподозрил меня в том, что я плохой коммерсант. Значит, у меня были веские причины для такой мены, — усмехнулся он лукаво. — Внушите же господину городскому викарию, — закончил он весело и учтиво, — а попутно и себе самому: вы сделали и сказали все, что в силах человеческих. Вся вина во мне, право же, во мне одном.

Оставшись один, он улыбнулся, покачал головой, что-то бормоча нараспев. Вспомнил Микаэлу. Милая, глупая старушка! Он ощущал слабость, бездумную, приятную усталость. Так чувствует себя выздоравливающий, нежась в постели. В полудреме сидел он на своих нарах. И тут неожиданно явилось к нему дитя, явилась его девочка, заговорила с ним. Она стала еще меньше и моложе, она была теперь совсем маленькая, точно кукла, и глядь — она села к нему на плечо, нежно потрепала его бороду и сказала: «Глупенький папа! Глупенький папа!» Она пробыла около получаса. Она говорила еще, но совсем поребячески, с детской важностью и серьезностью говорила о тюльпанах, о толковании какого-то места в Песни Песней, о подкладке его нового кафтана. Когда она

исчезла, Зюсс, точно спящий, дышал глубоко и радостно, полуоткрыв рот. Как звал он ее раньше, а она не пришла, сколько отчаянных, неистовых, нелепых деяний совершил он ради нее, яркий, огромный, жертвенный костер возжег он ей, и она не пришла. Какой он был глупец! Ведь она так мала, она такой нежный, миролюбивый, маленький человечек. На что ей его яркие, великие, громогласные деяния и жертвы. Но теперь, когда он совсем притих и уже примирился с тем, что больше не увидит ее, она вдруг пришла, и то был великий, полновесный дар. Он ходил по камере пять с половиной шагов туда, пять с половиной шагов назад, и камера была богата и изобильна, она была—целый мир, и он простер руки и засмеялся так молодо, звонко и счастливо, что сторож в коридоре, испугавшись, подозрительно заглянул в дверь.

Майор Глазер объявил Зюссу, чтобы он был готов завтра поутру ехать в Штутгарт. Майор знал, что еврей едет в Штутгарт выслушать себе смертный приговор, но он не получил распоряжения осведомить его и не видел в том нужды. Зюсс, под благодостным впечатлением от слов Нозми, решил, что его везут домой, на свободу. Он мысли не допускал, что его могут, вопреки точной букве закона, лишить жизни. Он был в самом беззаботном настроении, добродушно шутил, радовался благоприятной для путешествия погоде, спросил коменданта, большого охотника нюхать табак, разрешит ли он прислать ему на память табакерку. Майор сухо отказался, однако позволил, с трудом сдерживая злорадную ухмылку, чтобы Зюсс надел в дорогу парадный кафтан. Сторожу Зюсс тоже радостно и возбужденно говорил о возвращении, о свободе и подарил удивленному, озадаченному служаке чек на порядочную сумму, в виде наградных.

Ложась вечером на свои нары, он был совершенно счастлив и спокоен. Он поедет куда-нибудь за границу, поселится на берегу моря или озера в маленьком тихом местечке и будет жить уединенно и незаметно, согретый кротким сиянием душевного покоя. Две, три книги, а то и совсем ни одной. И вскоре он тихо и мирно отойдет в вечность, а среди людей останется громкий, гулкий отзвук его жизни и деяний, отзвук неверный, искаженный, как в хорошем, так и в дурном: а вскоре даже имя его ничего не будет выражать, сохранится простым сочетанием букв без всякого смысла; под конец заглохнет и оно, и наступит великая ясная тишина и парение и кроткое сияние в вышнем мире.

Следующий день был морозный, солнечный. Зюсс выехал ранним утром, невзирая на холод, в открытом

экипаже. Он сидел, ослабевший и довольный, на заднем сиденье, один караульный рядом с ним, другой — напротив. По бокам, впереди и позади экипажа, — сильный конвой. Зюсс пытался заговаривать со своими спутниками, но им был дан строгий приказ не отвечать. Он не огорчился. Прислонившись к спинке экипажа, он, после долгих месяцев, проведенных в духоте, вдыхал, впивал, глотал, видел, осязал чистый, вольный, благодетельный воздух. Взгляд не упирается в стену, какое блаженство! Деревья, на них легкий, удивительно чистый снег. Необозримое снежное поле мягко и плавно сливается с небом. Божий мир, дивный, чудесный, чистый божий мир! Воздух, вольный, сладостный воздух с непривычки опьянил узника, и он откинулся на спинку коляски, совсем ослабев и обессилев; но он был счастлив. Он распахнул красный, шитый золотом атласный кафтан на пушистой бархатной подкладке и даже расстегнул навстречу ветру зеленый камзол, окаймленный золотым галуном. Ноги в коричневых панталонах дрожали от слабости. Бархатную шляпу и плохо сидевший на косматой голове парик он снял и с наслаждением ощущал, как струя воздуха при быстрой езде обвеивает седые пряди его волос.

Но в Штутгарте, у городских ворот, в ожидании сгрудилась чернь. Завопила, заорала при виде коляски, принялась бросать камни, комья грязи. На еврея набросились, выволокли его, швыряли из стороны в сторону, трепали за седую бороду. Поднимали вверх детей: «Глядите, глядите! Вот он, живодер, иуда, убийца, поганый жид!» Плевали, топтали. В клочья изодран нарядный красный кафтан, в грязь затоптана изящная бархатная шляпа. Завсегдатаи «Синего козла» говорили с удовлетворением и лирической грустью:

— Не дожил до этого покойный булочник Бенц.

С трудом удалось конвою отбить пленника. Едва дыша, сидел от теперь в экипаже, посеревшее лицо в ссадинах, струйки кровавой слюны на всклокоченной бороде; солдаты, тесным кольцом сомкнувшись вокруг него, грозили толпе оружием.

Вопли и вой проникли также в просторную комнату, где лежала Магдален-Сибилла, рожая ребенка Эмануэлю Ригеру. Советнику экспедиции хотелось, чтобы она произвела ребенка на свет в деревне, в их прекрасном поместье Вюртингхейм: но когда она по необъяснимым причинам непременно пожелала остаться в городе, ему пришлось подчиниться. И вот она лежала в родовых муках; болтливая, заботливая повивальная бабка хлопотливо топталась вокруг, советник экспедиции, бледный, потный, смиренно и услужливо бегал взад и вперед. Хотя сложение у нее было могучее и, казалось, вполне приспособленное к

деторождению, однако роды протекали не так легко, как можно было ожидать. Она лежала, кричала, упиралась, напрягалась, тяжело переводя дух. Вот настала минута облегчения, откинувшись, побледнев, обливаясь потом, трепетала она от беспрерывно набегавшей судороги. В тишину ворвался рев толпы, отчетливо прозвучали слова разудалой песенки: «На виселицу еврея!» Советник экспедиции потер руки.

— Доброе предзнаменование, что дитя рождается под знаком правосудия,—изрек он. Но она с ненавистью поглядела на щуплого, невзрачного мужа и начала молиться беззвучно, без рифм и выкрутасов, настойчиво и страстно: «Боже, отец небесный! Не допусти, чтобы он был похож на этого слизняка! Боже, отец небесный! Ты достаточно испоганил мне жизнь. Так хоть это одно даруй мне, чтобы ребенок мой не был похож на него!»

Зюсса тем временем доставили в ратушу. Огромная зала была набита зрителями, судебная коллегия в торжественных черных мантиях была в сборе. Еврей увидел грубовато жизнерадостную широкую физиономию Гайсберга, тонкое насмешливое лицо Шютца с крючковатым носом, надменное, жестокое — Пфлуга, даже физиономия молодого Гетца, обычно тупая, пошлая, румяная, была одушевлена ненавистью, мстостью и злорадством. Тут он понял, что ему суждена не свобода, а смерть. И председатель, тайный советник Гайсберг, своим резким, гулким, негибким голосом с сильным швабским акцентом как раз начал зачитывать приговор. Зюсс слушал монотонный перечень: злостный ущерб стране, хищения, грабеж, государственная измена, оскорбление величества, политические преступления, а затем вывод, что он приговорен к смерти через повешение.

Он увидел в жарко натопленной зале сплошную толпу сановников, министров, членов парламента, генералов, пыхтящих, потеющих, исполненных торжества. Он видел, как мелкое подлое зверье набрасывается на большого зверя, беззащитного по доброй воле, и вгрызается в него, и копошится, и оттесняет друг дружку, чтобы каждый успел напоследок запустить зубы в распростертое тело, в котором еще теплится жизнь. И вдруг воскрес в нем прежний Зюсс. Он встрепенулся, он заговорил, старый, разбитый человек, покрытый кровью и грязью надругательств, вдруг воспрянул и дал ответ своим судьям, с невозмутимой, язвительной логикой соскреб налет патетики с приговора. Безмолвно были выслушаны первые его фразы. Но потом, побагровев от такой дерзости, накинулись на него знатные вельможи, по примеру черни рычали, колотили его саблями, и, как у черни, конвой с трудом вырвал у них осужденного. Но когда его уводили

сквозь бушующую толпу, вдогонку ему донесся голос тайного советника Пфлуга, который с жестокой издевкой произнес:

— Еврей сказал, что выше виселицы его все равно не вздернут. Это мы ему еще покажем.

Экстра-почтой спешили из Гамбурга рабби Габриель Оппенгеймер ван Страатен и рабби Ионатан Эйбешютц. В пути они обменивались лишь самыми необходимыми замечаниями. Они видели вздрагивающие крупы часто сменяемых лошадей, гнедых, белых, вороных; они видели скользящий мимо ландшафт, ровные поля, горы, леса, реки, виноградники. Но видели они лишь глазами, мысли их были далеко. Один за другим мелькали придорожные камни. Перед ними же неотступно стоял тот лик, который они стремились увидеть, пока он еще не угас.

На широком лице рабби Габриеля, как всегда, сердитое выражение, плотное тело облегает добротная бюргерская старомодная одежда. Рабби Ионатан в шелковом кафтане, из-за белой как кипень волнистой бороды кротко светится хитрое молодежавое лицо; после долгих недель мирских искушений он вновь погрузился в созерцание, в познание, в бога. Последний период жизни и перемена в судьбе Зюсса манили его жестоким соблазном. Но не как зрелище гибели человека. И он и рабби Габриель, не сговариваясь, угадывали, понимали странное сплетение добровольного и насильственного в этом конце. Подобие, тайная зависимость, загадочный ток, шедший от того человека к ним, затрагивал и рабби Ионатана, окрылял и угнетал его. Он чувствовал, что врос в того человека, сильный мощный корень его души отмирал с тем человеком. Так ехали мужи, глядя вперед, навстречу смерти Иозефа Зюсса, и тяжелой тучей оседало на них сознание их связи с ним.

И по другим дорогам тянулись люди в Штутгарт к Зюссу, ради Зюсса. Под большой охраной и прикрытием спешил гоффактор Исаак Симон Ландауер; при нем, хотя обычно он ездил без всякой помпы, находились три кассира-еврея и, кроме наемной стражи, еще несколько сильных, надежных молодцов. Спешил и низкорослый, дряхлый Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин, и тучный вспыльчивый фюртский раввин. Все три мужа встретились поблизости от Штутгарта, им предстояло явиться на аудиенцию к герцогу-регенту, и было сделано все возможное, чтобы их не беспокоили при въезде.

Карл-Рудольф принял их в присутствии Бильфингера и Панкорбо. И сказал фюртский раввин:

— Ваша светлость прославлены на весь мир своею справедливостью. Но справедливо ли, чтобы разбойники сидели тут рядом, в Рейтлингене, Эслингене, и смеялись бы и пожирали добычу, а чтобы еврей, менее повинный перед законом, расплачивался за них? Ваша светлость справедливы к высшим и низшим, к швабам и австрийцам, к католикам и протестантам. Будьте же справедливы и к вашему еврею.

И сказал франкфуртский раввин:

— Реб Иозеф Зюсс Оппенгеймер был первым среди евреев, он родился в старой почтенной еврейской семье. Что бы он ни сделал, скажут, что это сделало все еврейство. Если его повесят, а христиане, соучастники его, будут гулять на свободе, то скажут, что еврейство повинно во всем, и ненависть, преследование и злоба вновь обрушатся на все еврейство. Ваша светлость — милостивый монарх и государь, вашей светлости известно, что еврей виновен не меньше и не больше, чем сотоварищи его — христиане. Мир будет повергнут в соблазн, а на удрученных и угнетенных обрушатся новые испытания, если его будут судить не так, как других. Из глубины скорбящих и смиренных сердец просим мы вашу светлость смилостивиться над одним евреем и над всем еврейством.

И сказал Исаак Ландауер:

— Что сделал реб Иозеф Зюсс Оппенгеймер, так это причинил убытки деньгами и добром отдельным людям и всему Вюртембергскому герцогству. Но денежный урон может быть возмещен теми же деньгами. Все еврейство, все мы соединились и собрали деньги, большие деньги, огромные деньги. И вот мы пришли и просим вашу светлость: отпустите на свободу реб Иозефа Зюсса Оппенгеймера. Мы же согласны возместить все, в чем он когда-нибудь нанес урон, согласны возместить щедро, чтобы Вюртембергское герцогство отныне и впредь цвело и благоденствовало. Если вы отпустите на свободу еврея Иозефа Зюсса Оппенгеймера, мы внесем добровольный штраф в пятьсот тысяч дублонов.

Молча выслушали евреев герцог-регент и оба министра. Предложение Исаака Ландауера ошеломило их. Предложение было вызовом. Но сумма была так грандиозна, настолько выше самых крупных цифр, когда-либо стоявших в бюджете герцогства, что такими словами, как наглость и дерзость, нельзя было попросту отделаться от этого предложения. Пятьсот тысяч дублонов. Пятьсот тысяч золотых дукатов! Мысль выкупить Иозефа Зюсса дерзка и глупа. Но мысль выкупить Иозефа Зюсса за такую громадную сумму — проста и смела до гениальности и способна потрясти своим грандиозным размахом. Вот на

это и рассчитывал Исаак Ландауер, на этом он и строил свой план. Он с самого начала не сомневался, что хитростями и логическими доводами, призывами к справедливости, мольбами о пощаде здесь ничего не добьешься. Быть может, больше действия окажет такая неуклюжая, наивная прямолинейность. За деньги можно купить все на свете: землю и скот, горы, реки, леса, императора и папу, кабинеты министров и парламенты. Почему же нельзя откупить у этих швабских гоев их жажду мести и нелепую болтовню о правосудии? Этому герцогу дорога его глупая, неправая справедливость. Хорошо, так и плата за нее дорогая. Пятьдесят тысяч золотых дукатов! За такие деньги в случае чего можно купить целое небольшое герцогство: неплохая цена за малую толику так называемого правосудия.

Прежде чем герцог и министры успели прийти в себя, Исаак Ландауер продолжал:

— Мы платим не векселями, мы платим не обязательствами, мы платим золотом, чистым золотом. Золотыми дукатами, круглыми, полновесными.— Не спеша подошел он к двери и с невозмутимой, на диво независимой улыбкой сделал знак своим людям. Безмолвно, точно замороженные, смотрели регент и его министры на вошедших молодцов. Они втащили мешки, небольшие, очень тяжелые мешки, и по знаку старика в засаленном кафтане стали высыпать их содержимое. И потекло золото, испанское, африканское, турецкое, золото всех стран света. Сыпалось, скопилось, не иссякая, громоздилось в человеческий рост, разрасталось многолетним дубом, горой золота. Сосредоточенно смотрели кособокий старый скупой герцог и тучный Бильфингер. Дон Бартеlemi Панкорбо высунул костлявое сизо-багровое лицо из допотопных брыжей, тощие пальцы протянулись, словно когти хищника, не могли устоять, прильнули к золоту, к милому золоту, окунулись в безбрежный поток. Исаак Ландауер стоял рядом в засаленном кафтане с нечесаными пейсами, в некрасивой, неестественной позе и загадочно улыбался, локоть одной руки он прижал к туловищу, а ладонь выставил вперед, другой рукой он расчесывал рыжеватую седеющую козлиную бородку.

Предложение Исаака Ландауера было отклонено. Но речи престарелых мужей оставили отклик в сердце герцога. Он несправедлив! На пороге смерти ему пришлось стать несправедливым. Не только к Зюссу, но и к другим евреям. Алчность не владела им, золото не трогало его. Но эти-то люди дорожили своим золотом. Золото, золото было их жизнью и целью. И все-таки они добровольно принесли такую неслыханную дань, дабы отвратить его, герцога, неправоту. Долг его ясен: прежде всего он обязан

быть справедлив к своим швабам, а потому несправедлив к еврею. Но эта гора золота давила его, ранила до крови.

Он отправил письмо к герцогу Карлу-Фридриху Бюртембергскому с настоятельной просьбой посетить его. Он намеревался передать ему опекунство и регентские права. Он сделал все возможное, чтобы вытащить страну из болота, в котором она погрязла, и, пожалуй, добился своего. «Справедливость! — говаривал он. — Долг, авторитет!» Но, видно, немыслимо в нынешние времена править страной, руководствуясь такими принципами. Ему пришлось смотреть, как выпускают на волю достойных казни плутов, как незаконно вешают еврея. Ему стукнул семьдесят один год, он устал. Он чувствовал, как слабеют его душевные и телесные силы. Ему трудно, писал он императору и заявлял вюртембергским тайным советникам, самолично вникать в столь сложные и важные дела правления. Ему, этому кособокому, прижимистому честному солдату, хотелось деревенского покоя в его маленьком цветущем Нейенштадте, хотелось мирной кончины.

Ввиду того, что Зюсс при объявлении приговора проявил такую дерзость и строптивость, его тут же, в здании палаты, где ему надлежало пробить до того, как приговор будет приведен в исполнение, заковали крестнакрест и, оставив на целые сутки без пищи, заперли в мрачном, совершенно пустом чулане. После гневного выпада перед судьями он тотчас стих и, улыбаясь, покачивая головой, оглядывал свою одежду, покрытую кровью и грязью. Скорчившись, сидел он в кандалах на полу, у стены пустой, но не совсем темной комнатухи. Аман, министр Артаксеркса, посетил его; у него был крючковатый нос и жестокий, надменный голос господина фон Пфлуга. Явился и Голиаф, жестом господина фон Гайсберга неловко, игриво и больно хлопнул его по плечу. Приходили и другие, те, что поприветливей, беседовали наполовину на швабском, наполовину на древнееврейском наречии. Явился верный Елеазар — Пфефле, Авраам в образе Иоганна Даниэля Гарпрехта спорил с богом о справедливости. Приходили и те, что являлись Ноэми, Исайя-пророк хулил и умиротворял сердитым голосом дяди. Запутавшись пышными волосами в ветвях, висел Авессалом; только волосы были седые, а лицо под ним — его собственное.

Но вот на пороге кто-то затыкал, заскулил, зарычал. Ах, опять это городской викарий Гофман, восхваляющий благодать аугсбургского исповедания. Да, ревностный духовный пастырь пожаловал вновь, полагая, что теперь-то жаркое распарилось и размягчилось в самый раз.

Однако Зюсс отнюдь не был расположен нынче вести с ним дискуссию. Грубый голос викария вспугнул другие, более нежные голоса, звучавшие в нем. Мягко, без тени иронии, попросил он оставить его в покое; он готов завещать евангелической церкви десять тысяч талеров за труды, только бы его оставили в покое. В гневе удалился обескураженный пастырь.

На смену явился другой неожиданный посетитель. Изящный пожилой господин, одетый очень скромно, но в высшей степени элегантно; у него узкий, вытянутый как у борзой череп, он поводит носом, принюхивается. Это отец вдовствующей герцогини, старый князь Турн-и-Таксис. Он не мог успокоиться, не мог усидеть в Голландии. Это не годится, нельзя допустить, чтобы казнили Зюсса. Человека, которого посещала его дочь, которому сам он подавал руку. Человека, от которого католическая церковь хоть и не официально, но на виду у всех дворов принимала услуги. Нет, нет, это несовместимо с его взглядами на куртуазность, он слишком тонко воспитан, чтобы позволить нечто подобное. Человек, которого так приближаешь к себе, становится в некотором роде аристократом. Такт, приличия, правила света требуют, чтобы его не допустили до соприкосновения с виселицей. Старый князь сам, инкогнито, под именем барона Нейгофа отправился в Штутгарт. Он всегда терпеть не мог еврея, он так и не простил ему, что желтая гостиная в Монбизу убила его желтый фрак, а темно-малиновая ливрея слуг во дворце на Зеегассе—его темно-малиновый кафтан. Но хороший тон не позволяет радоваться чужому несчастью; и, уж во всяком случае, ему больше нечего опасаться, что антураж Зюсса затмит его.

Он явился с определенным планом. Он поможет Зюссу бежать, как помог бегству Ремхингена. С евреем дело будет сложнее; но он твердо решил не щадить ни средств, ни стараний. Быть может, этому антипатичному старому мужлану и простофиле регенту в конце концов даже приятнее на такой манер избавиться от еврея. Как бы то ни было, ехать надо. Только он поставит одно условие. Тратить столько стараний на еврея опять-таки не годится. Значит, Зюсс не может оставаться евреем. Он должен,—и при таких плачевных обстоятельствах он вряд ли будет упрямыться,—он непременно должен креститься. Какая удача, какой триумф для католической церкви принять в свое лоно этого ловкого финансиста и прожженного политика; кстати, он много благовоспитаннее, нежели большинство швабских горе-аристократов.

С отвращением отшатнулся элегантный князь, после того как, улыбаясь и радуясь приготовленному сюрпризу, переступил порог. Что ж это такое? На полу сидел старый

сгорбленный жид. И это финанщидиректор? И это знаменитый селадон? Ему стало не по себе, как будто сам он тоже выпачкался в грязи. Зюсс увидел лицо посетителя.

— Да,— сказал он с еле уловимой усмешкой,— да, это я, ваша светлость.

В чулан поставили нары, стул и стол. Князь присел осторожно, ему было очень не по себе. Он не мог найти ничего общего между человеком, который, скорчившись, сидел на полу, и элегантным кавалером, сохранившимся у него в памяти. Быть может, еврей опять собрался одурачить всех? Быть может, это только ловкий фортель? У него было такое же неприятное чувство, как тогда в желтой гостиной и перед темно-малиновыми ливреями. Неужто же еврей достиг невозможного и затмил его здесь, в этой камере, при таких обстоятельствах? Но пусть все другие идут на удочку: он не из таких. Его-то уж еврей не поймает в ловушку. Он, владетельный князь Турн-и-Таксис, многоопытный скептик, не поддастся обману.

— Передо мной вам нечего прибегать к симуляции, ваше превосходительство,— начал он вкрадчиво и учтиво, как в светском салоне.— Ведь не думаете же вы, что я способен поверить в подобный маскарад. Это, конечно, фортель. Под виселицей вы внезапно скинете мерзкую бороду и явитесь рассудительным, светским кавалером со всем своим прежним апломбом. А это просто маневр,— заключил он торжествующе.— Просто-напросто маневр. Милейший господин экс-финанщидиректор, в такую комедию могут поверить разве что господа члены парламента. Но не я. Меня вы не проведете.

Зюсс молчал.

— У вас, наверное, имеются еще козыри на руках,— продолжал допытываться князь.— И вы думаете козырнуть в последнюю минуту. Сейчас вы, должно быть, хотите разыграть великомученика, чтобы потом воскреснуть в сугубом ореоле. Будьте осторожны! Настроение здесь опасное. Возможно, что вам не дадут опомниться. Возможно, что вас—прошу прощения—повесят, а козыри так и останутся у вас на руках.

Но Зюсс молчал по-прежнему, и князь потерял терпение.

— Ваше превосходительство! Почтеннейший! Сударь! Поймите же вы! Отвечайте же! Я вам добра желаю. Вряд ли вам когда-нибудь снилось, что германский владетельный князь будет так стараться для вас. Послушайте! Говорите же!—Раздосадованный поведением Зюсса, старый князь без всякого подъема изложил ему свой план и свое условие. Когда он кончил, Зюсс не шевельнулся и не раскрыл рта. Сильнее чем когда-либо чувствовал себя

униженным изящный старый князь. Он-то побеспокоился приехать сюда, а еврей сидит себе и даже не возражает с пафосом, а просто молчит. Князь вдруг почувствовал себя старым и усталым, это молчание было ему нестерпимо.

— Вы в тюрьме разучились хорошим манерам,— с насильственной иронией вымолвил он.— Когда о вас так хлопочут, вы могли бы хоть сказать *mille merci*.

— *Mille merci*,— повторил Зюсс.

Князь поднялся. Тот факт, что еврей не желает принять из его рук спасение, а предпочитает идти на виселицу, он воспринял как личную обиду.

— Вы круглый дурак, милейший,— сказал он, и любезный голос его стал неожиданно резким.— Ваш стоицизм порядком устарел. Теперь уж не умирают, чтобы заслужить похвальный отзыв в школьных учебниках истории. Лучше быть живым псом, чем мертвым львом, справедливо заметил ваш царь Соломон.— Он отряхнул пыль с кафтана и закончил, стоя уже в дверях:— По крайней мере, сбейте бороду и оденьтесь поприличней, если вам уж так не терпится,— он поморщился,— очутиться в поднебесье. Хотя бы этого можно требовать от человека, который был любезно принят в интимном светском кругу. Вы собрали многочисленную изысканную публику. До сих пор вы с достоинством играли свою роль. Не бросайте же тени на свою светскую репутацию, уходя с подмостков жизни.— С этими словами он удалился.

Виселица, на которой намеревались повесить Зюсса, была сооружена сто сорок лет назад. Устройство ее стоило очень дорого, при тогдашней дешевизне она обошлась в три тысячи оберландских гульденов и представляла собой нечто совершенно особенное, совсем не похожее на обыкновенную деревянную виселицу. Вышинной она была с башню и достигала тридцати пяти футов. Вся она была построена из железа, из тридцати шести центнеров и восемнадцати фунтов железа, отобранных алхимиком Георгом Гонауером для того, чтобы превратить их в золото для герцога Фридриха; попытка эта стоила герцогу двух бочонков золота. В честь злополучного Георга Гонауера виселицу и воздвигли, окрасили в красный цвет, отделали позолотой и повесили на ней Гонауера.

За ним подряд последовало еще несколько алхимиков, водивших за нос герцога Фридриха. Первый был итальянец Петрус Монтанус. Через год после него Ганс Генрих Нейшелер из Цюриха, прозванный слепым алхимиком.

Еще через год-другой Ганс Генрих, по прозванию Мюленфельз. Ему везло дольше; он часто потешался над тремя братьями, парящими в поднебесье; а теперь воспарил и он. Потом виселица долго стояла без дела. Но вот какой-то кузнец из графства Эттинген надумал разобрать ее и унести по частям. Он уже отвернул три бруса и в ночное время успел стащить свыше семи центнеров железа, когда его схватили и наказали орудием его преступления.

Свыше столетия бездействовала виселица. Теперь господин фон Пфлуг, которому было поручено организовать казнь, назначил еврею, шестому по счету, такой же род смерти. С самого начала процесса жестокий и надменный тайный советник предвкушал это торжество своей ненависти. Теперь же он готовился так отпраздновать его, чтобы помнила вся Европа.

С изощренным издевательством обдумывал он подробности казни. Сластолюбие еврея, его плотские грехи, растление обрезанным псом христианских немецких женщин не было, к его великому сожалению и против его воли, включено в мотивировку приговора. Зато теперь, когда дело дошло до казни, у него руки развязаны. Уж он припомнит еврею его похотливость и наглое распутство.

Он решил вздернуть его не просто на виселице, а в птичьей клетке, намекая на его гнусные развратные петушинные похождения.

Следственная комиссия не скупилась на расходы, чтобы поторжественнее обставить экзекуцию. На месте казни, на так называемом Тунценгофском холме, или, иначе, лобном месте, были построены комфортабельные ложи для кавалеров и дам. Военный отряд, назначенный эскортировать осужденного и поддерживать порядок, репетировал свою роль. Железную виселицу тщательно отремонтировали, повозку смертников снабдили более высокими колесами, колокол, возвещающий о казни, — новой веревкой, палача и его помощников — новой формой.

Много внимания было уделено точному выполнению хитроумной затеи господина фон Пфлуга. Еврей острил, что выше виселицы его все равно не могут вздернуть. Вот ему и покажут, могут ли. Захотят, так поднимут птичью клетку над виселицей.

Постройка клетки и всего сложного подъемного механизма была поручена мастерам Иоганну Кристофу Фаусту и Фейту Людвигу Риглеру. Клетка разбиралась на две части, высотой была в восемь футов, шириной в четыре фута, по окружности ее шло четырнадцать обручей, а в высоту семнадцать брусьев. С помощью остроумного

механизма ее можно было поднять много выше виселицы. Сооружение ее стоило огромных денег. Под конец к ней пришлось приложить руку всему цеху слесарей. За два дня до казни шестерка лошадей втащила эту махину вверх по круче на Тунценгофский холм. Школьники столицы бажали следом. Весь Штутгарт побывал за эти дни на лобном месте. В наскоро сколоченных лавчонках продавали вино и пиво. Разносчики навязывали летучие листки с изображением еврея и сатирическими стишками. Толпа весело прогуливалась по морозцу, с любопытством смотрела, как сколачивают логи, любовалась лоском виселицы, замысловатым устройством клетки.

Впечатление, произведенное на обывателей птичьей клеткой, превзошло ожидания господина фон Пфлуга. Неистовый гогот и хохот разносился по городу, по всей стране. Бесчисленные куплеты о птичнике облетели все герцогство, распевались ребятишками на улицах. Но никто не желал верить, что автор этой удачной шутки — господин фон Пфлуг; народ единогласно приписал блестящую выдумку своему любимцу, всеми почитаемому майору фон Редеру. А потому куплеты о птичнике распевались обычно с известным припевом: «Воскликнул сам фон Редер тут: «Стой иль умри, презренный плут!»

В камере Зюсса сидели рабби Габриель и рабби Ионатан Эйбешютц. Внушительный паспорт на имя подданного Генеральных штатов без всяких разговоров открыл перед мингером Габриелем Оппенгеймером ван Страатеном двери тюрьмы. Теперь они сидели все трое и завтракали. Рабби Габриель привез фруктов, фиников, фиг, апельсинов, а также печенья и крепкого южного вина. На Зюссе был пунцовый кафтан, седые волосы покрывал берет, над переносицей у него, так же как у обоих раввинов, врезались в лоб три борозды, образуя букву Шин, зачинающую имя господне — Шаддаи. Он омакал фиги в вино. Это была его последняя трапеза. Рабби Габриель толстыми пальцами делил на дольки апельсин. Они сидели все трое и ели фрукты, молча, сосредоточенно. Но мысли их мощным потоком струились от одного к другому. Рабби Габриель и Зюсс были теперь одно, и впервые рабби Габриель воспринимал эту зависимость не как неволю и злой рок, а как дар. Третий из них, рабби Ионатан Эйбешютц, тоже ощущал связующий их ток, только он был вне его, он стоял на берегу, и волна не несла его. Он сидел с ними, он пил с ними, он был, как и они, отмечен знаком Шин, он был доступен познанию и откровению, как и они; но волна не несла его. Рабби Габриель не спеша посыпал апельсин сахаром и разделял

на дольки. Разливал густое, черное южное вино. В камере невысказанным витало слово, мысль, образ, бог. Но рабби Ионатан терзался горько, мучительно, жестоко. Он пытался успокоить себя циничной шуткой: легко парить над землей, когда тебя вешают. Но это злое утешение не имело силы, он, богатый мудростью и всеми благами мира, чувствовал себя неприкрытым завистником и почти предателем. И, повторяя за теми двумя слова застольной молитвы, он, во всем великолепии шелкового кафтана и белой как кипень волнистой бороды, величавый, всезнающий, всеми почитаемый, был попросту жалкий, печальный, конченный человек.

Пока Зюссу наверху вторично зачитывали приговор и переламывали над его головой палку, в вестибюле ратуши его ждали кроткий, сморщенный франкфуртский раввин, дородный сангвиник — фюртский раввин, а с ними, зябко потирая руки и дрожа от волнения, — Исаак Ландауер. Крупными хлопьями падал мокрый снег, сквозь унылую, туманную пелену проглядывало, то и дело исчезая, бледное солнце. На улице перед входом в необозримом количестве теснилась толпа любопытных, перед усиленным военным конвоем гарцевал на своей старой рыжей кобыле господин фон Редер. На высоких колесах стояла пустая повозка смертников, палач и подручные, одетые в яркие цвета, окружали ее.

Наконец Зюсса привели вниз. Евреям разрешили в последний раз поговорить с ним здесь. Он преклонил голову. Низенький рабби Якоб Иошуа Фальк возложил ему на голову сморщенные кроткие руки и сказал:

— Да благословит и да сохранит тебя Иегова. Да воссияет ликом своим на тебя Иегова и да помилует тебя. Да обратит лик свой на тебя Иегова и дарует тебе мир.

— Во веки веков аминь, — сказали фюртский раввин и Исаак Ландауер.

Хлопотливо усадили еврея на высокую повозку смертников и связали его. Несмотря на холод и сырость, народ густой толпой запрудил базарную площадь. В окнах палаты, ратуши, аптеки, трактира под вывеской «Солнце» белели человеческие лица. На кровле колодца, даже на дыбе и на деревянном осле висели мальчишки. Молча глядел народ. Господин фон Редер крикливым голосом отдал приказ своим кавалеристам. Конвой тронулся, отряд конной гвардии впереди, затем два барабанщика, дальше рота пеших гренадеров. Один из подручных палача вскочил на лошадь, запряженную в повозку, прищелкнул языком, кляча дернула. Низенький рабби Якоб Иошуа Фальк повторил бледными губами: «И дарует тебе мир». Но вспыльчивый фюртский раввин не мог

сдержаться, гортанным голосом изрыгал он вслед повозке дикие проклятия. Эдому и Амалеку, врагам и богохульникам. А Исаак Ландауер разразился пронзительным, безудержным, звериным воем. Странно было видеть, как могущественный финансист бился головой о колонны портала и безостановочно выл. Тут зазвонил колокольчик, возвещающий о казни. Резкий, пронзительный, назойливый звон вторил вою еврея, понижывал плотную снежную пелену, впивался в мозг.

Проник он и в комнату Магдален-Сибиллы. Роды прошли благополучно, но она еще не вставала. Она смотрела на младенца, обыкновенного младенца, не большого и не маленького, не красивого и не уродливого. Она слышала надрывный стон колокола и вся содрогалась, она смотрела на младенца—своего и Эмануэля Ригера,—и он не был ей люб.

Звон колокола проник и во дворец, где сидел старый регент с Бильфингером и Гарпрехтом. Все трое молчали. Наконец Гарпрехт сказал:

— Не сладок мне этот звон.

А Карл-Рудольф сказал:

— Мне пришлось пойти на это. Мне стыдно, господа.

Между тем Зюсса везли через весь город к лобному месту. Он сидел на повозке смертников, возвышаясь, точно идол, в пунцовом кафтане, солитер сверкал у него на пальце; герцог-регент не разрешил отнять у него кольцо. Вдоль всего пути стоял народ, сыпал снег, процессия двигалась удивительно беззвучно, и беззвучно смотрела толпа. Едва проезжала повозка с осужденным, как десятки тысяч людей, пешие, в экипажах, верхом, спешили ей вслед, позади конвоя или рядом с ним. Белесый туманный воздух и грязный, талый снег создавали какую-то неправдоподобную гнетущую тишину. Еврея везли не прямой дорогой, а медленно, с прохладцей, кружным путем. Многие зрители явились издалека, вся страна хотела быть при этом, даже из-за границы явились многие, так надо же было всем показать столь интересное зрелище.

Зюсс восседал на повозке, связанный, неподвижный, снег падал ему на одежду, на седую бороду.

На пути его стоял лицензиат Меглинг. Он был опечален и удручен тем, что его защитительная записка не оказала никакого действия. Правда, он смело мог сказать, что не пожалел стараний, но что *po-de-la-esh*, если и *voх roruli*¹ единодушно и властно высказался против осужден-

¹ Глас народа (лат.).

ного. Тем не менее обидно и горько, когда твоего подзащитного вешают без достаточного юридического обоснования. Ему было не по себе, его знобило. Он попросил одного из помощников палача подать Зюссу стакан вина. Тот, правда, отказался, даже не поблагодарил и не шевельнулся, но лицензиату стало теплее и легче на душе.

На пути еврея стояла также жена Шертлина, француженка. Она видела связанного, странно притихшего Зюсса, неподвижного, точно статуя святого, которую несут в процессии по городу, снег был у него на одежде, снег на бороде. Она, быть может единственная в толпе зрителей, угадывала внутреннюю связь событий, угадывала, сколько добровольного в этом позоре. Жадно, со злорадным, мучительно двойственным чувством смотрела она на него, ее маленький ярко-пунцовый рот был полуоткрыт, продолговатые глаза пылали. Какая-то женщина подле нее сказала вполголоса с сильным швабским акцентом:

— Хотел всегда забраться повыше. Теперь попадет так, что выше некуда.

— Sale bête!¹ — проронила француженка в оснеженное пространство.

На следующем повороте пути стоял публицист Иоганн Якоб Мозер. Когда показалось шествие, он обратился к народу с краткой выразительной патриотической речью. Но пламенные слова его никого не зажигали, снег гасил и глушил их, толпа безмолвствовала, тогда и он умолк, не договорив до конца. Близко от цели шествия стоял на пути Никлас Пфефле, бледнолицый невозмутимый секретарь. Когда господин его в последний раз проезжал мимо, он низко поклонился. Зюсс увидел его, кивнул ему два раза. После того как повозка проехала, Никлас Пфефле не последовал за ней на место казни, а свернул в сторону, давась от рыданий.

Когда шествие приблизилось к своей цели, снег перестал, прояснилось. В морозном воздухе, под светлым, белесоватым небом, очень четко вырисовывались виноградники. Вверху, между уступами холмов, еврей увидел сторожку, внизу увидел водонапорную башню, Андреанский дом, винное заведение, он обернулся и увидел Штутгарт. Собор, церковь святого Леонарда, старый дворец и новое дворцовое здание, деньги на постройку которого добывал он. Слева от него одиноко высилась деревянная виселица. Но она казалась совсем невзрачной перед фантастическим, замысловатым железным сооружением, предназначенным для него. Двойная лестница с многочисленными ступенями, с бесконечными подпорками

¹ Гадина! (фр.)

шла вверх, целая система колес, цепей и шарниров стояла наготове, чтобы втащить наверх клетку. Обширное поле было целиком заполнено людьми. Все это в жадном ожидании лепилось на выступах, заборах, деревьях. Глазело издали в чересчур неуклюжие, громоздкие подзорные трубы. На кафтане Зюсса замерз снег, замерзшие кристаллики сверкали на его берете, на седой бороде.

На трех больших трибунах, вмещавших по шестьсот человек, разместились дамы и кавалеры, придворные чины, сановники и военные, иностранные послы, члены суда и ландтага. Тайный советник фон Пфлуг впереди всех. Он до последней минуты боялся, что эта бестия иудей с помощью какого-нибудь чисто еврейского подлого фортеля умудрится улизнуть. Но теперь час настал, теперь цель его жизни достигнута. Теперь уж, сейчас, ненавистный взлетит наверх, удушенный. Жестокие глаза тайного советника жадно искали под воротом Зюсса шею, которую обовьет веревка. Какое наслаждение созерцать смерть врага, истинная отрада для глаз! Как приятно и сладостна дробь возвещающих смерть барабанов, назойливое дребезжанье колокольчика!

Среди дам было немало таких, что очень интимно знавали Зюсса и все же по тем или иным причинам избегли дознания. И сейчас они, дивясь и содрогаясь, смотрели на мужчину, с которым были близки. Он был очень моложав и, видит бог, умел доказать, что силы у него юношеские, ему и было-то самое большее сорок лет, а теперь у него седые волосы и вид старого раввина. Собственно, им надо бы самих себя стыдиться, что с этим человеком они лежали в постели. Но, как ни странно, они не стыдились, а жадным, замороженным взглядом смотрели на удивительного человека. Вот сейчас, сию минуту, он умрет, сейчас, сию минуту, он замолкнет навсегда, и всякая опасность минует, неумолимая, страшная сила навеки развеет чары. Они ждали этого, сладострастно трепеща, жаждали этого, содрогались перед этим. Очень многие согласились бы до конца дней жить под угрозой разоблачения, только бы он остался жив.

На одной из трибун находился и молодой Михаэль Коппенгефер. Наконец-то будет раздроблен жернов, столько времени висевший на шее у народа, наконец-то губитель понесет позорную кару. Да, но ему девица Элизабет-Саломея не дала бы отставки, озабоченно суетясь между грудями книг и стопками белья, ему она отдалась без особых с его стороны усилий. Старый, сгорбленный еврей, что в нем особенного? В чем его сила? С завистью и горечью смотрел он на человека, сидевшего на повозке смертников. Зато на лице молодого тайного

советника Гетца, находившегося среди судей, было написано тупое и глупое удовлетворение. Теперь наконец позор будет снят с его матери и сестры. Пусть теперь какой-нибудь наглец посмеет посмотреть на него косо. Тут-то он сразит его взглядом. Тут-то он будет знать, как ему поступить!

На одной из трибун сидел Вейсензе — хилый и дряхлый старик. «Nenikekas, Iudaie! Nenikekas, Iudaie!» Увы, еврей снова одержал победу! Он отведал от всех трапез, глазами, чувствами, мозгом вкусил всех тончайших услад жизни, до дна испил каждую победу и каждое поражение, обогатил свою душу трагической гибелью дочери, замыслил и осуществил ослепительную, изощренную, опаленную адским пламенем жесточайшую месть, а теперь он умирает на глазах у всего мира фантастической и, вероятно, добровольной смертью, в которой больше героизма, чем в смерти на поле брани. Опаленный ненавистью, обласканный любовью, загадочный, величавый. Что останется от него самого, от Вейсензе? Плохонькие стихи его пошлой мещанки-дочери. А тот будет жить вечно. Все вновь и вновь будут позднейшие поколения вникать, вдумываться, вчувствоваться в его судьбу, стараясь понять, кем он был, что думал, видел, как жил и умер.

Зюсса отвязали от повозки. Он стоял, весь одеревеневший, и щурился. Он видел людей в ложах, парики, нарумяненные лица женщин. Он видел войска, оцепившие площадь. Ого, и постарались же его враги; вокруг одной только виселицы собрано по меньшей мере пять рот. Военное командование, разумеется, было в руках майора фон Редера, который красовался на виду у всех. Да, да, тонкая нужна стратегия, чтобы доконать его, Зюсса. Он видел сотни тысяч лиц, любопытные бабьи — рты у них раскрыты, чтобы завизжать, — мужские, готовые не то ослабиться, не то оскалить зубы, детские лица, толстощечие, большеглазые, предназначенные стать такими же тупыми и злобными, как хари родителей. Он видел дыхание толпы, сгущенное в белый пар на ярой стуже, алчные глаза, вытянутые шеи, прежде так раболепно изгибавшиеся перед ним. Он увидел птичью клетку, сложное и постыдное орудие его убийства. И когда он увидел все это, до слуха его донесся скулящий, сварливый голос. Городской викарий Гофман не преминул дожидаться его у подножия виселицы и завести с ним речь о небесах и земле, о прощении божьем и человеческом, об искуплении и вере. Зюсс увидел и услышал его, медленно оглядел викария с головы до ног, отвернулся и сплюнул. Вытаращенные глаза, тихий, негодующий, быстро смолкший ропот толпы.

Тут к нему подступили помощники палача в яркой новой форме, расстегнули на нем кафтан. Он ощутил грубые, неловкие руки, отвращение поднялось в нем, он потянулся, скованности как не бывало, он отбивался, отчаянно сопротивляясь. Шеи вытянулись еще больше. Забавно было смотреть, как седобородый человек, в нарядной одежде, со сверкающим алмазом на пальце, вырывается из рук помощников палача. Дети смеялись, веселились, хлопали в ладоши; какая-то накрашенная женщина на трибунах принялась пронзительно кричать, ее пришлось увести. Берет Зюсса упал на мокрую землю, его затоптали в грязь. Палачи крепко ухватили еврея, распахнули на нем кафтан, втиснули его в клетку, накиннули ему на шею петлю. Так стоял он. Слышал шелест ветра, дыхание толпы, топот копыт, сварливый голос пастора. Неужто это последнее, что он услышит на земле? Он алкал другого, он широко раскрыл сердце и слух навстречу другому. Но слышал он только это, да еще собственное дыхание и гудение собственной крови. Вот уже клетка качнулась, начала подниматься. И тут сквозь бессмысленные, жестокие шумы прорвался другой звук, крик громких гортанных голосов: «Един же и велик всевидящий предвечный бог Израиля, Иегова Адонаи». Это евреи, низенький Иошуа Фальк, толстый фюртский раввин, неопрятный Исаак Ландауер. Они стоят, закутанные в молитвенные одеяния, и с ними еще семеро других, всего десять мужей, как полагается по закону, им дела нет до народа, который отвернулся от виселицы и смотрит на них, они стоят, раскачиваясь, и громко, гортанно, на всю обширную площадь выкрикивают отходные молитвы: «Слушай, Израиль, един же и велик Иегова Адонаи». Белыми облачками на сильном морозе тянутся слова с их уст к человеку в клетке, и сын маршала Гейдерсдорфа открывает рот и выкрикивает в ответ: «Един же и велик Иегова Адонаи».

Проворно копошатся, карабкаются пестрые подручные вверх по лестницам. Клетка поднимается, петля затягивается. Снизу городской викарий шлет проклятия умирающему: «Отправляйся в ад, закоренелый негодяй и жид!» Громкое «Адонаи» евреев пронизывает воздух и слух. Отклик его несется из клетки, пока петля не душит звук.

В первом ряду трибуны поднялся тайный советник Панкорбо, он опирается тощими высохшими руками на барьер, высовывает из гигантских брыжей сине-багровое, костлявое лицо. Из-под морщинистых век алчно глядит он вслед поднимающейся клетке и человеку в нарядном ярко-пунцовом кафтане, на пальце у человека — солитер, который переливается тысячами огней на ясном морозном воздухе.

После того как заградительный кордон рассыпался, толпа принялась вблизи разглядывать виселицу, несколько мальчуганов забралось до половины лестницы, вверху на прутьях клетки сидели густые стаи черных птиц.

Медленно потянулась толпа назад в город. День был все равно что праздничный, все пили, ели всласть, бражничали, плясали и буянили по кабакам. Молодой бюргер Лангефас, известный шутник и весельчак, извлек из грязи берет Зюсса; он напяливал берет на себя, напяливал его на девушек и служанок, которые в ужасе визжали под беретом повешенного еврея. Но все-таки настоящего веселья не получалось. Людям казалось, что в этот день они будут чувствовать себя как-то иначе — веселее, привольнее. Пробовали петь «На виселицу еврея!», пробовали петь «Воскликнул сам фон Редер тут: «Стой иль умри, презренный плут!» Но «Адонай» евреев назойливо звучало в ушах. Дети играли в повешенье; игра заключалась в том, что один стоял наверху и кричал «Адонай», а другие стояли внизу и кричали, орали, вопили, визжали: «Адонай».

В ночь после казни, часов около трех, тощий высокий господин поднимался по Тунценгофскому холму к железной виселице. Дорога представляла собой отвратительное месиво из грязи и тающего снега, идти было трудно. Тощий господин, пожимаясь от холода, кутался в широкий плащ старомодного, допотопного покроя. При нем были двое молодцов, спившихся бюргерских сыновей, известных на весь Штутгарт тем, что за деньги они были способны на любое отчаянное предприятие. Оба молодца, не мешкая, взобрались по лестнице на виселицу. Карабкаться по обмерзшим, обледенелым ступенькам было нелегко, они бранились про себя. Вокруг них летали птицы, которые ночью и днем в великом множестве лепились на виселице. Наверху молодцы задержались непредвиденно долго. Тощий господин, поджидающий внизу, нетерпеливо поеживался, переступая с ноги на ногу, приглушенно и гневно ворчал себе под нос.

— Ну что — достали? — окликнул он их тихо, когда они наконец спустились с лестницы.

— Его там нет! — растерянно пролепетали молодцы.

— Вы украли его, вы украли камень! — стараясь не повышать голоса, рявкнул португалец. — Я вас к суду притяну, я вас колесую!

Но молодцы повторяли в испуге:

— Самого еврея нет. В клетке висит другой. Его черт унес.

Дон Бартеlemi долго не верил, а потом тут же ночью

официально вызвал лейб-гусар обследовать клетку. Да, труп был выкраден, заменен другим. Рано утром, вне себя от бешенства и разочарования, сеньор Панкорбо явился к герцогу-регенту. Вот к чему привела доброта его светлости. Евреи взяли да и похитили солитер. Солитер? Карл-Рудольф вспомнил гору золота, не поверил. Труп, это другое дело,—его они могли похитить. Он подумал, повеселел, даже улыбнулся. Ну и отчаянные головы эти евреи! Недолго думая крадут труп с виселицы; прямо под стать христианам и солдатам. Он охотно дарит им солитер, в виде компенсации, и не собирается их преследовать. Багровея, клопоча от злобы, замогильным голосом рыча себе под нос чудовищные проклятия, удалился тощий португалец в допотопной придворной одежде.

А между тем труп, завернутый в лохмотья, спрятанный в подводе под грудями товаров и хлама, с великой поспешностью переправлялся в Фюрт. Его сопровождали еврей-разносчики, сменявшиеся в определенных местах. На пальце покойника был надет солитер. Никто из сопровождающих не боялся, что следующий похитит его.

В Фюрте труп обмыли, облекли в длинный белый саван, положили в гроб. Указательный, средний и безымянный пальцы согнули так, что они образовали букву Шин, зачинающую имя божие—Шаддаи; под голову насыпали горсточку земли, черной рыхлой земли, земли Сиона. Властям сообщили, что хоронят никому не известного еврея из Франкфурта, умершего на проезжей дороге. Членам общины тоже ничего не сказали. Но молва передавалась из уст в уста.

Так лежал неизвестный, почерневшее лицо давленника было причудливо окаймлено грязной белой бородой; глаза, выпуклые, карие, потускневшие, не закрывались, и между ними, над переносицей, глубоко врезались в лоб три борозды знака Шин. На простом белом покрывале сверкал гигантский ослепительный солитер. Десять почтеннейших мужей общины сидели возле тела между высокими светильниками и завешенными окнами.

К ним присоединился незнакомец, коренастый, плотный, широкое безбородое лицо, глаза блекло-серые, окаменевшие, старомодная одежда. Вступив в комнату покойника, он полил воды через плечо, полил воды в головах и в ногах мертвеца. Мужики узнали каббалиста, пошептались, расступились.

Рабби Габриель подошел к телу умершего, своим скрипучим, сердитым голосом произнес благословение: «Слава тебе, Иегова, господь бог наш, судия праведный». Толстыми пальцами бережно коснулся век мертвеца, и сомкнулись веки. Тогда сел он на землю, меж колен

склонил голову. Десять мужей отступили до самой стены. Бесконечно одинокий, несмотря на их присутствие, маленьким ничтожным комочком сжался рабби Габриель подле умершего.

Все фюртские евреи собрались на кладбище, когда хоронили неизвестного. Они опустили гроб в землю. Солитер был на пальце умершего, под головой его — горсточка земли от земли Сиона. Хором отвечали они кантору: «Многолик мир, и все в нем суета и томление духа, един же и велик бог Израиля, предвечный всевидящий Иегова.— И вырывали они траву и бросали ее через плечо. И говорили:— Как трава, увядаем мы в сем мире.— И еще говорили:— Памятуем мы, что прах мы». А потом омыли руки в проточной, отгоняющей демонов воде и покинули кладбище.

КОММЕНТАРИИ

БЕЗОБРАЗНАЯ ГЕРЦОГИНЯ МАРГАРИТА МАУЛЬТАШ

«Безобразная герцогиня» (1923) не является первым историческим романом Фейхтвангера. До этого произведения был уже написан роман «Еврей Зюсс» (май 1922 г.), но Фейхтвангер не смог из-за «непопулярности исторического романа» и «двусмысленности сюжета» найти для него издателя в тогдашней Германии. Однако некоторым издателям опыт Фейхтвангера в области исторического романа все же показался интересным и многообещающим. Так, представители популярного тогда берлинского клуба «Союз друзей книги» просили Фейхтвангера написать для них другой исторический роман в том же роде. В издательстве этого клуба и появилась впервые «Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ», имевшая огромный успех. В 1926 г. книга была напечатана в издательстве «Кипенхойер» (Потсдам) и уже в 1930 г. потребовала переиздания. В дальнейшем книга выходила вне Германии (Амстердам, изд-во «Кверидо»). В основу настоящего перевода положен текст издания: Фейхтвангер Л. Собр. соч. в отдельных книгах, т. 1 (изд-во «Ауфбау», Берлин, 1959). Для этого издания была проведена большая текстологическая работа по указаниям и при участии самого автора.

Действие романа Фейхтвангера происходит в первой половине XIV в. в центре тогдашней Европы—в немецких княжествах Тироле и Баварии.

Начало XIV в. было началом конца феодального мира. Даже в отсталой Германии в это время растут и богатеют города, развивается торговля, все большую роль в жизни начинают играть деньги, золото.

В отличие от Франции в Германии начала XIV в. происходит не усиление, а резкое ослабление императорской власти. Императорский титул, переходящий из рук в руки, только помогает князьям захватывать новые земли и укреплять свои наследственные владения.

Три главных хозяина тогдашней германской империи, три сильнейшие княжеские династии—Виттельсбахи (герцоги Баварские), Габсбурги (герцоги Австрийские) и Люксембурги. Горная страна Тироль—для них особенно лакомый кусок, так как через

нее проходят главные торговые пути из Германии в Австрию и Италию. Поэтому, когда в 1335 г. после смерти Генриха, герцога Каринтского и графа Тирольского, не осталось мужских наследников, началась целая цепь дипломатических махинаций и прямых разбойничьих нападений с целью завладеть землями «в долинах рек Инна и Эча». Уже до этого объектом интриг стала Маргарита — законная наследница Тироля.

Об исторической Маргарите, сделанной Л. Фейхтвангером главной героиней романа, известно следующее:

Маргарита, графиня Тирольская (1318—1369) — старшая дочь и наследница графа Генриха Тирольского. Известна в истории под прозвищем Маульташ (Губастая). Целый ряд историков считают, что это прозвище возникло от названия ее замка в горах Южного Тироля. Тем не менее издавна существует и другая версия — о том, что это прозвище отражает характерную черту внешности Маргариты. Описывая ужасающее безобразие Маргариты, Фейхтвангер во всех деталях опирался на картину фламандского художника XVI в. Квинтена Массейса, издавна, хотя и без достаточных оснований, считавшуюся портретом Маргариты.

Жизненный путь Маргариты в общих чертах соответствует описанному в романе. В 1330 г., двенадцати лет от роду, ее выдали замуж за девятилетнего Иоганна-Генриха — младшего сына богемского короля Иоганна Люксембургского. В 1335 г., после смерти своего отца, она совместно с Иоганном-Генрихом стала правительницей Тироля. В 1341 г. она развелась с Иоганном-Генрихом Люксембургом и с позором прогнала его из Тироля при поддержке сословий и императора Людвига Баварского, после чего вторично вышла замуж за старшего сына императора — Людвига Бранденбургского (1342), совместно с которым правила до его смерти (1361).

Скандалный развод Маргариты, совершенный императором Людвигом против воли папы и осужденный церковью, вызвал многочисленные толки. Она при жизни стала героиней легенд; некоторые из них включены в сборник сказок братьев Гримм.

Маргарита пережила не только своего второго мужа, но и своего единственного сына Мейнгарда (умер в 1363 г.). После смерти Мейнгарда она отреклась от престола и передала Тироль в управление Габсбургам — «вследствие особых обстоятельств и слабости женского пола», как написано в историческом документе. После отречения она окончательно удалилась от политических дел. Умерла она в 1369 г. в Вене, где поселилась по приглашению Габсбурга и провела свои последние годы.

Стр. 7. *Генрих, герцог Каринтский, граф Тирольский, король Богемский* — старший сын графа Мейнгарда II Тирольского, правил с 1295 по 1335 г. Каринтией, Тиролем и Крайной.

...вся Европа... оставила за ним королевский титул, хотя он давно уже лишился своего королевства Богемия... — Генрих

Тирольский лишился Богемии в 1310 г., когда ею завладели Люксембурги. История этого эпизода, на который Фейхтвангер намекает и несколько ниже (см. с. 8: «...Иоганн с позором выгнал его из Богемии...»), такова: в XIV в. королевство Богемия (Чехия) входило в состав германской империи. Когда в 1306 г. там прекратилась местная династия Пшемисловичей, началась борьба за богемский престол между крупнейшими германскими князьями. Тогдашний император Альбрехт I Австрийский из дома Габсбургов (правил с 1298 по 1308 г.) прочил на престол своего сына Рудольфа. Чешские феодалы противопоставили ему кандидатуру Генриха Тирольского, женатого на сестре покойного богемского короля Вацлава III. С помощью угроз и подкупа Габсбург добился избрания сына, но внезапная смерть Рудольфа снова лишила его Богемии, где королем был избран все-таки Генрих Тирольский (в 1307 г.). Однако когда Альбрехт умер и на императорском престоле Габсбургов сменили Люксембурги, новый император Генрих VII (1308—1313) захватил Богемию и отдал ее своему сыну Иоганну, которого женил на Елизавете Богемской (другой сестре покойного Вацлава III). Графу Генриху Тирольскому был тем не менее пожизненно оставлен титул короля Богемского.

Стр. 8. *Иоганн Люксембуржец* (1296—1346)—старший сын императора Генриха VII Люксембургского и принцессы Маргариты Брабантской. Получил воспитание при французском дворе и впоследствии в своей политике неоднократно ориентировался на Францию. В 1310 г., женившись на Елизавете Богемской, стал королем Богемии, а в 1313 г. унаследовал от отца графство Люксембург.

Стр. 9. *Аббат Иоанн Виктрингский*—с 1314 по 1347 г. настоятель монастыря Виктринг близ Клагенфурта в Каринтии, известный средневековый историк. Был тайным летописцем и домашним капелланом при дворе Генриха Каринтского и Тирольского, впоследствии перешел на службу к Альбрехту II Австрийскому (Габсбург). Оставил хронику в шести частях под названием «Книга истинной истории», охватывающую события с 1217 по 1343 г. и содержащую ценные сведения о тирольских, австрийских, а также общегерманских делах.

...*бургграф Фолькмар, любезные и умные господа фон Вилландерс, фон Шенна*...—Все эти имена тирольских вельмож известны из истории, но более подробные их характеристики сочинены Фейхтвангером (Фолькмар, фон Шенна). Из исторических документов известно только, что они участвовали в заговоре против Люксембургов в союзе с императором Людвигом Баварским и сватали Маргариту его сыну, за что были соответствующим образом награждены императором.

...*в Инсбруке он встретится с Австрийцем, с герцогом, с хромым Альбрехтом*...—Альбрехт II Австрийский, по прозвищу Хромой или Мудрый, правил Австрией с 1330 по 1359 г. (до 1339 г. совместно со своим братом Отто).

Стр. 10. *Людвиг Виттельсбах*—Людвиг IV Баварский, германский император с 1314 по 1347 г. из дома баварских герцогов Виттельсбахов. Людвиг вел в течение всей своей жизни ожесточенную борьбу с римскими папами, которые отказались признать законным его избрание императором. Папа Иоанн XXII потребовал от Людвига сложить корону. Император не подчинился, за что был в 1324 г. отлучен папой от церкви. В 1327—1328 гг. Людвиг совершил поход в Италию, где в Риме против воли папы был коронован императором Священной Римской империи. Во время своего правления Людвиг мало занимался общегерманскими делами, хлопоча лишь об укреплении своей власти в Баварии и о расширении своих наследственных владений. В 1323—1324 гг. ему удалось приобрести Бранденбург, в 1341-м—Нижнюю Баварию и ряд других областей, в 1342-м—Тироль через сына, в 1345-м Голландию и Фландрию.

Эта горная страна... служила мостом между австрийскими и швабскими владениями Габсбургов...—Габсбурги происходили из Эльзаса и до второй половины XIII в. владели сравнительно небольшими землями. Когда в 1273 г. Рудольф Габсбург из Швабии был избран императором под именем Рудольфа I, ему удалось значительно увеличить владения Габсбургов. Главным из его приобретений была Австрия, которую он отнял у восставшего против него чешского короля Пшемисла II и которая с тех пор стала основным ядром всех владений Габсбургов. В эпоху, описываемую в романе, Каринтия и Тироль были главным препятствием на пути соединения земель Габсбургов в Швабии и Австрии.

Стр. 17. *...Елизаветы Богемской, которая принесла Люксембургцу королевство...*—См. коммент. к с. 7.

...вдову покойного короля Рудольфа, королеву из Граца, непристойная связь которой с Иоганном вызвала гражданскую войну и обнищание.—Речь идет о Елизавете, вдове двух богемских королей—Вацлава II и Рудольфа Габсбурга (короля Богемии в 1306—1307 гг.). Связь Елизаветы с Иоганном послужила поводом для одного из многочисленных восстаний чехов против Люксембурга.

Стр. 26. *Гибеллины*—политическая партия в Италии XII—XV вв., поддерживавшая германских императоров и враждебная папской партии (гвельфам). Основу этой партии составляла феодальная знать, видевшая в императоре защитника своих привилегий. Иоганн пользовался большим влиянием среди гибеллинов.

В Авиньоне забеспокоился папа Иоанн XXII...—С 1309 по 1377 г. (то есть во все время действия романа Фейхтвангера) продолжалось так называемое «авиньонское пленение пап»—длительное пребывание римских пап во французском городе Авиньоне, знаменовавшее собой зависимость папства от складывающейся французской монархии.

...Иоганн тронулся в путь.—Итальянский поход Иоганна

Люксембургского состоялся в 1330—1335 гг. по приглашению ряда североитальянских городов. Фейхтвангер правильно освещает основные этапы похода.

Стр. 31. *Рыцарь со львом*—Ивен, или Рыцарь льва, герой одноименного произведения Кретьена де Труа (вторая половина XII в.), создателя знаменитого цикла так называемых артуровских романов. Эти романы описывали приключения легендарного короля Артура и его рыцарей «круглого стола». Один из них, Ивен, получил свое прозвище в результате следующего приключения: однажды во время скитаний он встретил льва, у которого в лапе торчала огромная заноза. Ивен вытащил занозу, и лев так к нему привязался, что с тех пор повсюду следовал за ним.

...*Тристан плыл на своем корабле*...—Тристан—один из любимейших героев средневековой литературы. Первую литературную обработку сказание о Тристане и его возлюбленной Изольде получило во Франции в XII в. В Германии наиболее известна была переработка этого романа поэтом Готфридом Страсбургским (начало XIII в.). На фреске в замке Шенна был, очевидно, изображен тот эпизод, когда смертельно раненный Тристан попросил положить себя на корабль без руля и весел и поплыл по воле волн в незнакомую страну, играя на арфе, чтобы успокоить боль.

Гарель из Цветущей долины—один из рыцарей короля Артура, герой стихотворного романа того же названия немецкого писателя Плейера (2-я пол. XIII в.).

Парцифаль—герой одноименного романа немецкого поэта-миннезингера Вольфрама фон Эшенбаха (ок. 1170—1220). Простодушный рыцарь Парцифаль в этом романе становится после многих испытаний и побед хранителем таинственного сокровища Грааля и главой рыцарского братства, оберегающего замок Грааля.

Стр. 58. *Ланцелот и Джиневра*—персонажи артуровских романов; рыцарь Ланцелот был влюблен в королеву Джиневру и любим ею.

...*Дидона бросалась в пламя*.—Дидона—легендарная финикийская царица, основательница Карфагена; Вергилий в «Энеиде» рассказывает о ее любви к троянскому беглецу Энею и о ее самоубийстве в пламени костра после отъезда возлюбленного.

Стр. 63. ...*помочь отцу в польской войне*.—Иоганн Люксембургский считал себя наследником богемской династии Пшемисловичей и присвоил себе принадлежавший им титул польского короля. Он неоднократно воевал против Польши на стороне Тевтонского ордена, добываясь короны и новых земель, и действительно приобрел Силезию.

Стр. 78. ...*ему всю жизнь пришлось нести бремя отлучения и интердикта*...—Отлучение от церкви—исключение из религиозной общины. Интердикт—запрещение церковного богослужения и отправления прочих религиозных обрядов, налагавшееся римскими папами в виде наказания на отдельные города, области,

страны или на отдельных лиц. Отлучение и интердикт широко использовались в XI—XIV вв. как средство подчинения отдельных государей папской власти.

Стр. 79. *Вильгельм Оккам* (XIV в.)—английский прогрессивный философ и богослов. Он являлся теоретиком и активным участником борьбы против папы и против католической иерархии за светскую власть императоров, за что был осужден папской инквизицией как еретик.

Марсилий Падуанский (ок. 1280—1343)—итальянский ученый и политический деятель, идеолог поднимающейся буржуазии. В известном произведении «Защитник мира» (написанном им в 1324 г. совместно с Дж. ди Джандоне) Марсилий также горячо выступил против притязания папства на светскую власть. Активно помогал Людвигу Баварскому в его борьбе с папой, за что в 1327 г. был отлучен от церкви и заочно приговорен к смерти. Написал специальное теоретическое сочинение о праве императора давать развод в связи с разводом Маргариты Тирольской в 1341 г.

Стр. 80. *Этталльский рыцарский орден*.—Имеется в виду основанный в 1330 г. на месте теперешнего Этталского аббатства (в Верхней Баварии) своеобразный рыцарский приют или нечто вроде дворянского клуба—один из центров рыцарской идеологии и культуры.

...по образцу *Вольфрамова «Парцифалья»*.—См. коммент. к с. 31.

Стр. 82. *Климент Шестой*—папа, правивший в Авиньоне с 1342 по 1352 г. Был воспитателем и другом Карла Люксембургского (императора Карла IV).

Стр. 88. ...*коллегии курфюрстов*...—Курфюрсты—крупнейшие князья германской империи, за которыми с XIII в. было закреплено право избрания императора. В состав коллегии курфюрстов входили архиепископы Трира, Кельна и Майнца, князья Саксонии, Бранденбурга и Пфальца и король Богемии. Курфюрсты обладали почти полной политической самостоятельностью внутри империи.

Стр. 89. *И несколько дней спустя курфюрсты действительно отдали большинство голосов Люксембуржцу*.—В июле 1346 г. пятеро курфюрстов, подкупленные Люксембургами и соблазненные посулами папы, тайно встретились в г. Рензе на Рейне (ставшем к тому времени традиционным местом заседаний коллегии курфюрстов), объявили низложенным императора Людвигу Баварского и избрали на германский престол Карла Люксембурга—императора Карла IV (годы жизни 1316—1378, годы правления 1346—1378).

Стр. 94. ...*в великую ссору между Англией и Францией*...—Имеется в виду Столетняя война между Англией и Францией, продолжавшаяся с перерывами с 1337 по 1453 г. Ослепший Иоганн Богемский выступил во время этой войны вместе со своим сыном Карлом и небольшим войском на помощь француз-

скому королю Филиппу VI Валуа и погиб в битве при Креси в 1346 г. именно так, как это описано Фейхтвангером.

Стр. 96. *...ввиду того, что Аахен запер свои ворота, короновался в Бонне как германский король, в Праге как Богемский.*—С начала IX в. Аахен был традиционным городом венчания на царство германских императоров и королей. Когда в 1346 г. коллегия курфюрстов выбрала императором Карла Люксембургского, целый ряд рейнских городов остался верным императору Людвигу IV Баварскому. В результате этого Аахен запер свои ворота перед Карлом и отказал ему в коронации. Его короновали как германского императора в Бонне в ноябре 1346 г. и лишь в 1349 г., после смерти Людвигу IV, повторно в Аахене.

Стр. 97. *Маркграф Людвиг сражался далеко на севере, в Пруссии.*—В XIV в. продолжается грабительское движение немцев на Востоке и их захваты в Прибалтике. Прибалтийские племена храбро сопротивлялись захватчикам. Несмотря на то что территория Пруссии (на которой обитало литовское племя пруссов) была оккупирована с помощью Тевтонского ордена еще в сер. XIII в., в XIV в. здесь было все еще неспокойно.

Стр. 106. *Чума пришла с востока.*—Речь идет о знаменитой эпидемии чумы, пришедшей из Малой Азии и бушевавшей в Европе в 1347—1352 гг. Она описана в «Декамероне» Боккаччо и в ряде других литературных произведений. От чумы, или «черной смерти», как ее называли, погибло около двадцати четырех миллионов человек, то есть почти четвертая часть населения тогдашней Европы.

Стр. 122. *Рудольф.*—Рудольф IV Австрийский (годы правления 1358—1365) унаследовал Австрию у своего отца Альбрехта II Австрийского. Был одним из могущественнейших государей своего времени, хотя и не был императором, и вел в Австрии типичную абсолютистскую политику.

Стр. 145. *...общество любителей охоты и турниров на основе строгого устава старинных рыцарских объединений...*—Баварский Артуров Круг придуман Фейхтвангером, но подобные рыцарские союзы под другими названиями действительно возникали в ту эпоху (Бранденбург, Швабия, Саксония), главным образом с целью взаимной поддержки и грабежа.

Стр. 150. *И вдруг появились те самые документы.*—Фальшивые привилегии Габсбургов были изготовлены в 1358—1359 гг. Пять документов были подписаны именами самых могущественных германских императоров прошлого—Генрихом IV, Фридрихом I, Генрихом XII, Фридрихом II и Рудольфом I. Были привлечены даже Юлий Цезарь и Нерон. В грамотах утверждалось, что австрийским правителям, которым Золотая булла 1356 г. отказывала даже в правах курфюрста, даровано верховное положение в империи над всеми остальными князьями и исключительные права и привилегии: абсолютная свобода от всяких обязательств перед империей, неограниченная

власть в своих землях, неделимость Австрии и т. п. Некоторые из этих документов и привилегий были впоследствии официально признаны, хотя все грамоты являлись грубой подделкой.

Стр. 176. *Мейнгард, совсем обессиленный...*—Герцог Мейнгард III Тирольский—единственный сын Маргариты—правил с 1361 по 1363 г. Его внезапная смерть через два года после смерти отца вызвала слухи о злоумышленном отравлении их обеих Маргаритой. Вероятность этих слухов сомнительна.

ЕВРЕЙ ЗЮСС

«Еврей Зюсс»—первый исторический роман Фейхтвангера—был написан в 1920—1922 гг., а опубликован только в 1925 г. До этого, зимой 1916/17 г., Фейхтвангер написал пьесу на ту же тему, которая называлась «Зюсс». Она готовилась к постановке в Мюнхене, но была запрещена после генеральной репетиции. Пьеса не удовлетворяла и самого автора; «она была только фасадом того, что я хотел сказать»,—писал он позже в послесловии к «Еврею Зюссу», вышедшему в издательстве «Ауфбау» в 1959 г. Лишь после выхода в свет завоевавшего широкое признание второго исторического романа Фейхтвангера «Безобразная герцогиня» мюнхенское издательство «Драй маскен ферлаг» решилось опубликовать «Еврея Зюсса». Роман имел шумный успех, очень скоро был переведен на большинство европейских языков и положил начало всемирной известности писателя.

Впоследствии текст «Еврея Зюсса» был дополнен автором (1931). В основу настоящего перевода положен этот дополненный текст, подготовленный издательством «Ауфбау» (Берлин, 1959).

Фейхтвангер обращается в «Еврее Зюссе» к событиям первой половины XVIII в.—периоду величайшей раздробленности и упадка Германии. Страна все еще не могла окончательно оправиться от опустошений и потерь, понесенных более чем за столетие до этого—во время Тридцатилетней войны 1618—1648 гг. Порвались экономические связи, нарушилась торговля, захирели города. «Раздробленности интересов соответствовала и раздробленность политических организаций—мелкие княжества и вольные имперские города. Откуда могла взяться политическая концентрация в стране, в которой отсутствовали все экономические условия этой концентрации?»—говорится в «Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса (Сочинения, т. 3, с. 183).

В официальных документах того времени совершенно исчезло слово «Германия». Страна состояла из множества мелких владений, число суверенных князей доходило до трехсот шестидесяти. Формально они подчинялись власти императора, но фактически значение ее было ничтожно, так как у империи не

было ни армии, ни чиновничьего аппарата, ни финансов. Права императора ограничивались дарованием некоторых титулов и привилегий. Австрийские Габсбурги, в течение многих поколений сохранявшие за собой титул императоров Священной Римской империи, были лишь крупными суверенами среди других суверенных князей. По Вестфальскому миру 1648 г. за всеми германскими князьями были признаны права не только на самостоятельную внутреннюю, но и на внешнюю политику.

Германия XVIII в.— глухая провинция Европы. Скудость интересов, убогость мысли характерны для дворов мелких государей— ничтожных тиранов и самодуров, постоянно злоупотребляющих властью над своими подданными. Непомерность претензий и показная роскошь сочетаются здесь с вечными нехватками в княжеских финансах.

По словам Фридриха II Прусского— одного из сильнейших немецких государей XVIII в.,— «даже среди младших членов владетельных домов не было никого, кто не воображал бы себя похожим на Людовика XIV; каждый строил свой Версаль, имел своих метресс и держал свои армии». При этом «крестьяне, ремесленники, предприниматели страдали вдвойне— от паразитического правительства и от плохого состояния дел» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 2, с. 561).

Все это было чрезвычайно характерно для правящей династии герцогов Вюртембергских. Феодальная раздробленность там была особенно велика. Вюртемберг насчитывал не более полумиллиона жителей, но для Швабии являлся очень значительным государством, так как, кроме него, в так называемом Швабском имперском округе было еще четыре духовных и тринадцать светских княжеств, тридцать вольных городов, двадцать аббатств и изрядное количество графств, не считая владений имперских рыцарей. Имперскими, или вольными, назывались тогда города, подчиненные непосредственно императору, в отличие от городов, подчиненных князьям. В XVIII в. они большей частью обеднели и утратили свое значение, но все же формально сохранили свои вольности, особенно в Швабии (вольные города Эслинген, Гейльбронн и др.). Не менее упорно держалось за свои старинные права и швабское имперское рыцарство, по существовавшим законам подчинявшееся империи, а не князьям и сохранившее известную самостоятельность.

Вюртемберг выделялся среди других немецких княжеств своей конституцией, согласно которой власть герцога была ограничена в пользу сословий. Герцог не мог издать ни одного закона и не имел права решиться ни на одно серьезное мероприятие без согласия ландтага, а в перерывах между его редкими заседаниями— большого и малого совета (так называемого совета одиннадцати). В сущности, вся действительная власть, дарованная конституцией, давно сосредоточилась в руках малого совета— представителей узкой патрицианской верхушки. Как ни ничтожны и ни зависимы были эти люди, привыкшие во

всем угождать прихотям своего государя, вюртембергские герцоги постоянно ощущали конституцию как досадное препятствие на пути к абсолютной власти. Ландтаг ограничивал их в деньгах. Согласно конституции сословия должны были сохранять все преимущества протестантской религии в Вюртемберге—этом оплоте протестантизма среди сильного католического окружения,—особенно в том случае, если правитель страны почему-либо изменял свою религию. Из вюртембергских законов следовало даже, что, если князь нарушит конституцию, подданные имеют полное право восстать.

Главный герой романа Фейхтвангера—придворный финансист вюртембергского герцога Карла-Александра (годы правления 1733—1737) еврей Зюсс является историческим лицом. Благодаря документам процесса против Зюсса сохранилось довольно много сведений об этой любопытной и незаурядной личности. Несколько раз она привлекала внимание биографов и писателей; в частности, известно, что сам Фейхтвангер пользовался биографией Зюсса, написанной М. Циммерманом в 1874 г.

Исторический Иозеф Зюсс Оппенгеймер родился в 1692 г. в Гейдельберге. Его мать—красавица Микаэла—была женой Исахара Зюскинда Оппенгеймера—мелкого торговца и директора странствующей труппы актеров. Целый ряд свидетельств, однако, говорит о том, что Зюсс—плод связи молодой Микаэлы с имперским фельдмаршалом фон Гейдерсдорфом. Во всяком случае, протокол предварительного следствия неоднократно называет Зюсса «бастардом фон Гейдерсдорфа».

Известно, что Зюсс получил хорошее для своего времени воспитание и согласно традициям влиятельной еврейской семьи Оппенгеймеров стал подвизаться в качестве финансиста при различных немецких дворах.

Его знали во Франкфурте, Амстердаме, Праге, Вене, при курпфальцском дворе и в Гессен-Дармштадте. Он приобрел уже очень значительное состояние и располагал кредитом в сто тысяч гульденов, когда летом 1732 г. был представлен принцу Карлу-Александру Вюртембергскому—тогдашнему правителю Сербии и имперскому генерал-фельдмаршалу. Зюсс приобрел его доверие настолько, что в том же году стал его управляющим по финансовым делам.

Вскоре после этого правящий вюртембергский герцог Эбергард-Людвиг объявил своего родственника по боковой линии Карла-Александра официальным наследником, а затем, хотя и с большими колебаниями, его признали сословия. Дело в том, что на австрийской имперской службе Карл-Александр принял католичество, и это вызвало опасения у представителей вюртембергского ландтага. Однако Карл-Александр в том же 1732 г. обязался свято сохранять все привилегии протестантизма в Вюртемберге и свободы, дарованные конституцией. В 1733 г., после смерти Эбергарда-Людвига, новый герцог торжественно въехал в столицу страны Штутгарт.

Очень скоро герцогу стали мешать принятые им на себя обязательства. Честолюбивый Карл-Александр стремился набрать большую постоянную армию и расширить границы страны. Сословия давали ему на это средства очень туго и всячески препятствовали нарушению мира. Герцог мог осуществить свои планы и мечты о власти только вопреки конституции.

Зюсс скоро стал придворным финансистом и первым доверенным лицом герцога, а в сущности некоронованным правителем страны. В добывании средств на герцогские затеи и планы он творил поистине чудеса. По его рекомендации в стране вводились все новые налоги, шла бессовестная торговля должностями и титулами, велись разорительные процессы против граждан. Советники, верные конституции, постепенно удалялись из парламента и заменялись креатурами Зюсса, который все больше раздувал честолюбие герцога. В стране против Зюсса поднималась волна народной ненависти.

Мечты герцога о военной диктатуре шли навстречу проискам иезуитов. Вокруг герцога возникла католическая партия, стремившаяся к государственному перевороту, с целью уничтожить конституцию и открыть Вюртемберг католическому влиянию. Нити интриг плелись в Вене и сосредоточивались в руках ловкого дипломата князя-епископа Вюрцбургского. Точно неизвестно, в каких отношениях находились Зюсс и католическая партия, однако несомненно, что всемогущий финансист знал о ее планах.

В начале 1737 г., незадолго до переворота, отношения Зюсса и герцога, все больше попадавшего под влияние иезуитов, ухудшились. Партия иезуитов отыскивала Зюссу католического конкурента — португальца Панкорбо. Известно, что в это время Зюсс, опасаясь готовящегося переворота, потребовал отставки. До него дошли высказывания герцога, что в случае неудачи его сделают козлом отпущения. Карл-Александр не хотел выпускать Зюсса из страны, потому что тот слишком много знал, и имеются данные, что Зюсс сделал отчаянную попытку спастись и тайно уведомил представителей ландтага о предстоящем перевороте.

12 марта 1737 г. в герцогской резиденции Людвигсбург Карл-Александр ждал известия о счастливом исходе событий в Штутгарте. В два часа дня он принял депутацию сословий, которые настойчиво просили его воздержаться от захвата единоличной власти. В девять часов вечера вторично прибыла депутация, угрожая возмущением граждан в случае переворота. Через пятнадцать минут после этого герцог умер от удара.

В эту же ночь совет в Штутгарте арестовал Зюсса. Его поместили под охраной в его собственный дом на Зеештрассе, откуда ему вскоре удалось бежать. Он был вторично схвачен недалеко от Штутгарта майором фон Редером, главой бюргерского ополчения, и заключен в крепость.

13 декабря 1737 г., после длительного и чрезвычайно необъективного расследования, специальная комиссия приговорила Зюсса к смерти через повешение за государственную измену. На Зюсса свалили все грехи старого режима, а прочие обвиняемые отделались легкими штрафами. С юридической стороны приговор не выдерживал никакой критики, ибо Зюсс не занимал никакой официальной должности, не присягал конституции и по законам страны не был виновен. Исчерпав другие юридические возможности, комиссия одно время даже начала расследование о его связях с женщинами-христианками (по старому, уже не применявшемуся закону, обе стороны наказывались за это сожжением), но впоследствии этот вариант обвинения был отставлен. Профессор Гарпрехт (старший) — крупнейший юрист страны — отказался утвердить приговор, написав в своем заключении: «По существующим законам Германской империи и Вюртемберга обвиняемого нельзя приговорить к смерти. У него следует отобрать награбленное, поскольку грабеж будет доказан, и изгнать за пределы герцогства».

Опекун малолетнего правителя Вюртемберга — Карл-Рудольф Нейенштадтский — санкционировал приговор лишь под давлением всеобщего возмущения. Перед смертью Зюссу несколько раз предлагали помилование, если он примет христианство, но он отказался. Казнь Зюсса произошла 4 февраля 1738 г. в Штутгарте на Тунценгофском холме именно так, как это описано у Фейхтвангера.

Хотя Фейхтвангер точно изображает ход событий, однако вся драматическая линия, связанная с дочерью Зюсса — Ноэми, — вымышлена писателем. Кроме того, Фейхтвангер часто нарочито изменяет исторические подробности. Так, он относит к началу действия романа — к 1732 г. — два события в жизни Карла-Александра, которые произошли раньше: его женитьбу и переход в католичество. Желая лучше раскрыть образ Марии-Августы, супруги Карла-Александра, которую современники называли «первой куртизанкой Европы», он делает ее матерью единственного ребенка, совершенно равнодушной к материнству, тогда как в действительности она родила герцогу нескольких детей. Писатель изменяет также историю ареста Зюсса, желая сделать своего героя более значительным. Зато в целом ряде частных — история с дамами фон Гетц, описание внешности Зюсса, его отношения с женщинами — Фейхтвангер необычайно точно сохранил все имена и детали. Почти с протокольной точностью он описывает также ход обвинительного процесса против главного героя.

Стр. 205. ...*почтальоны Турн-и-Таксиса*. — Турн-и-Таксис — старинный дворянский род, происходивший из Северной Италии. Еще в конце XV в. император поручил представителю этого рода наладить регулярное почтовое сообщение между Нидерландами

и Австрией. С 1615 г. организация имперской почты стала постоянной привилегией и монополией Турн-и-Таксисов, благодаря чему, несмотря на малые земельные владения, этот род стал необычайно богатым и влиятельным. С 1624 г. Турн-и-Таксисы стали имперскими графами, с 1695 г.—князьями. Их княжеская резиденция помещалась в Регенсбурге.

Стр. 206. *Эбергард-Людвиг* (1676—1733)—герцог Вюртембергский с 1677 г. (до 1693 г. правил под опекой), известный своею расточительностью и жестоко разорявший страну. Настоящей правительницей государства была его фаворитка Христиана Вильгельмина Гревениц, с 1710 г. получившая титул графини фон Вюрбен. В 1709 г. герцог построил новую столицу государства—город Людвигсбург с пышной княжеской резиденцией, в которой царила графиня. Только в 1731 г. графиня и ее сторонники попали в опалу, и герцог торжественно примирился со своей супругой, но через два года после этого умер.

Стр. 207. Маркиза де *Ментенон* (1635—1719)—фаворитка французского короля Людовика XIV.

Стр. 212. *Исаак Симон Ландауер*—историческое лицо, придворный банкир герцога Эбергарда-Людвига и его фаворитки Гревениц. В 1732 г. он действительно познакомил Зюсса с принцем Карлом-Александром.

Стр. 213. «*Аугсбургское исповедание*»—сочинение, содержащее основы лютеранства. Оно было составлено соратником Лютера Меланктоном и в 1530 г. представлено на Аугсбургском имперском сейме императору Карлу V. «Аугсбургское исповедание» было отклонено, и это послужило поводом для начала длительной борьбы между протестантскими и католическими князьями Германии. «Аугсбургское исповедание» устанавливало главным образом внешнюю, обрядовую сторону лютеранства.

Стр. 215. ...*в теперешней победе императорского оружия над турками*...—Речь идет об австро-турецкой войне 1716—1718 гг., закончившейся поражением Турции и присоединением к Австрии ряда бывших турецких владений, в том числе части Сербии с Белградом и части Боснии.

Принц Евгений Савойский (1663—1736)—известный австрийский полководец и дипломат. Выдвинулся в войнах с Турцией и Францией. С 1698 г. фельдмаршал, с 1703-го—президент Высшего военного совета Австрийской империи Габсбургов.

Стр. 217. *Апанаж*—содержание, которое выдавалось во Франции и в германских княжествах некоронованным членам правящей фамилии в виде земель и ренты. В данном случае речь идет о незаконном даровании апанажа фаворитке герцога.

Стр. 220. ...*рыцарей ордена святого Губерта*...—охотников, так как св. Губерт считался покровителем охоты.

Стр. 225. *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716)—немецкий ученый, выдающийся математик, философ-идеалист.

Стр. 226. *Каббалист*—последователь учения каббалы (кабала—древнеевр.—предание, традиция). Так называлось в средние века религиозно-мистическое учение, получившее распространение главным образом в среде наиболее фанатичных представителей иудейской религии. По этому учению, Священное писание является собранием тайных откровений божества, а весь мир продуктом «эманации», то есть истечения божественного начала. Каббалисты выдвинули метод символического толкования священных текстов, по которому каждому слову и числу придавалось особое мистическое значение. Согласно учению каббалы, человек должен выполнить в мире то, что предначертано его душе, существующей извечно. Душа накладывает отпечаток на внешний облик человека, поэтому по некоторым его чертам каббалисты считали возможным предсказать будущее. Нравственное или порочное поведение человека влияет на божественное начало, приближая или отдаляя день всеобщего искупления. На этом элементе каббалистической мистики Фейхтвангер строит отношения рабби Габриеля к Зюссу.

Стр. 229. *«Mercure galant»*—один из старейших французских журналов. Основан в 1672 г. Первоначально содержал главным образом придворную хронику и моды.

Стр. 230. *Генеральные штаты*—верховный правительственный орган Соединенных провинций (Голландии).

Стр. 240. *Принц Карл-Александр Вюртембергский, имперский фельдмаршал и губернатор Белграда (1684—1737)*—представитель боковой линии правящего дома герцогов Вюртембергских. Начал свою службу при австрийском дворе и очень рано приобрел славу блестящего военачальника и полководца. Участвовал в австро-турецких войнах и в войне за испанское наследство (1701—1713 гг.) под командованием принца Евгения Савойского. Во время последней кампании в битве при Кассано (1705 г.) получил опасную рану в ногу, которая причиняла ему боль и беспокойство до конца его дней. В 1712 г. принял католичество. Особенно громкую славу принц Карл-Александр завоевал во время австро-турецкой войны 1716—1718 гг. В августе 1716 г. он одержал под началом принца Евгения блестящую победу над турками при Петервардейне. В 1717 г. получил чин имперского генерал-фельдмаршала, и в том же году его смелая атака во главе семисот алебардчиков решила успех битвы при Белграде.

После мира 1719 г. Карл-Александр стал правителем Сербии и Белграда. Он удалился туда вместе со своей женой Марией-Августиной Турн-и-Таксис, с которой сочетался браком в 1727 г. В 1733 г. Карл-Александр занял вюртембергский престол.

Стр. 241. *...кавалер Золотого руна.*—Орден Золотого руна—высшее отличие при дворе Габсбургов—был основан в 1429 г. в Бургундии.

Стр. 242. *...в Вюрцбурге у князя-епископа.*—Фридрих Карл фон Шенборн, князь-епископ Бамбергский и Вюрцбургский

(1674—1746),—известный дипломат того времени, сторонник Габсбургов. С 1705 г. являлся имперским вице-канцлером.

Стр. 244. *Фихтель*—историческое лицо, тайный советник епископа Вюрцбургского, один из активнейших деятелей католической партии в Вюртемберге, готовившей переворот в пользу Карла-Александра. По заданию последнего Фихтель сочинял специальный документ, в котором объявлялись недействительными старые договоры об ограничении герцогской власти в Вюртемберге.

Стр. 257. *Георг Бернард Бильфингер* (1693—1750)—немецкий ученый-физик и философ школы Лейбница. Был профессором сначала в Санкт-Петербургском, затем в Тюбингенском университете.

...чтение книг *Сведенборга* вовлекли одинокую девушку в *пиетистские* круги.—Пиетизм—возникшее в Германии в XVII в. течение в лютеранской церкви, вызванное стремлением укрепить пошатнувшийся авторитет религии. Пиетисты стремились повысить интерес к эмоциональной и этической стороне христианства, овладеть настроением верующих с помощью мистики. Отвергая церковную обрядность, пиетисты проповедовали благочестие и нравственное самоусовершенствование, все светские развлечения объявляли грехом, требовали, чтобы жизнь христианина проходила в постоянном покаянии. Общины пиетистов были широко распространены в XVIII в. в Вюртемберге.

Сведенборг Эммануил (1688—1772)—шведский мистик и богослов. До 1745 г. занимался естественными науками, являлся представителем рационализма в философии, был избран почетным членом Петербургской академии наук. После 1745 г. увлекся мистикой и объявил себя «духовидцем», призванным самим Христом дать истинное толкование Библии. Говоря о мистических книгах Сведенборга в 30-е гг. XVIII в., Фейхтвангер допускает анахронизм. *Пуаре* Пьер (1646—1719)—французский богослов, мистик, много лет преподававший в университетах Голландии и западной Германии. *Бёме* Якоб (1575—1624)—немецкий философ-самоучка, сапожник по профессии. Свою оригинальную натурфилософскую систему, содержащую уже начатки диалектики, изложил на единственно знакомом ему языке библейских и мистических символов. Энгельс назвал Бёме «темной, но глубокой головой». Его последователи, воспринявшие лишь мистическую сторону его учения, создали религиозное «ангельское братство», по образцу которого *Джен Лид* (1623—1704) организовала в Англии *Общество филаделффов* (греч. «братолюбец»). Эти общества оказали влияние на немецких пиетистов. *Буриньон* Антуаннета (1616—1680)—французская «ясновидящая», многочисленные мистические «видения» которой отличались крайней нелепостью. *Арнольд* Готфрид (1666—1714)—протестантский теолог, историк церкви и автор религиозных стихотворений.

Стр. 262. *Калхас* — прорицатель в «Илиаде». Калхас предсказал продолжительность Троянской войны, гибель Трои и другие события. *Даниил* — один из библейских пророков. Согласно Библии еще юношей он разгадывал сны царя Навуходоносора и предсказывал ему будущее.

Стр. 271. *Эбергард Бородатый* (1450—1496) — первый вюртембергский герцог. В молодости совершил поход в Палестину. Объединил под своей властью разделенный на два графства Вюртемберг. В 1495 г. на Вормском имперском сейме Вюртемберг был превращен в герцогство. В том же году Эбергард отблагодарил сословия за поддержку дарованием конституции. В правление Эбергарда Бородатого был основан старейший в Вюртемберге Тюбингенский университет.

Стр. 274. *Corpus Evangelicorum* (Евангелическая уния) — союз протестантских земель и княжеств; возник в период обострения религиозных разногласий в Германии в 1608 г. В 1609 г. в противоположность этому союзу возникла Католическая лига. Вестфальский мир 1648 г. закрепил существование в Германии двух враждебных объединений: *Corpus Evangelicorum* и *Corpus Catholicorum*.

Франц Иозеф Ремхинген — австрийский генерал, друг и доверенное лицо герцога Карла-Александра и один из главарей военно-католической партии в Вюртемберге. Его характер и судьба описаны Фейхтвангером совершенно достоверно.

Стр. 282. *Религиозные реверсалии*. — Так назывались обязательства от 16 декабря 1732 г., 28 февраля и 17 декабря 1733 г., данные принцем Карлом-Александром представителям сословий Вюртемберга. В них Карл-Александр давал клятву, несмотря на свой переход в католичество, поддерживать привилегированное положение лютеранства в стране. Католическое богослужение в Вюртемберге должно быть согласно договору запрещено повсюду, кроме придворной часовни. Все дела евангелической церкви должны быть переданы Высшему церковному совету — хранителю религии в стране, наделенному очень важными полномочиями.

Тюбингенское соглашение — между герцогом и сословиями Вюртемберга было заключено в 1514 г. Оно предусматривало дальнейшее расширение прав сословий, дарованных конституцией 1495 г. Согласно новому договору герцог и сословия считались равными сторонами и их голоса — одинаково решающими.

Стр. 287. ...*Нозми смотрела на них собственными глазами*. — Нозми представляет себе героев из Ветхого завета: *Амнон и Фамарь* — брат и сестра, дети царя Давида от разных матерей. Не в силах совладать со своей страстной любовью к Фамари, Амнон ее обесчестил. *Рахиль* — любимая жена патриарха Иакова, бежала вместе с ним и всем семейством из страны своего отца в землю Ханаанскую — родину своего мужа. *Ревекка*, посланная отцом, чтобы сделаться женой Исаака, встретила его

впервые у колодца и поразила своей красотой и скромностью. *Мириам*—старшая сестра Моисея, который вывел евреев из Египта. После чудесного перехода евреев через Чермное море и спасения от погони египтян, потонувших в волнах, Мириам возглавила победный танец израильских жен. *Иаиль*—израильтянка, убившая вражеского военачальника *Сисару*, спрятавшегося в ее доме. Сисара поручил ей сторожить у двери и уснул, после чего Иаиль пронзила ему голову колом. *Дебора*—мудрая пророчица, удостоившаяся судить народ Израиля. Она руководила борьбой израильтян против ига Хананейского царя и его военачальника Сисары. *Агарь*—египтянка, рабыня Сарры—жены Авраама. Будучи долгое время бесплодной, Сарра послала Агарь к Аврааму, чтобы доставить ему потомство. Агарь родила Аврааму сына. Впоследствии, после рождения сына Сарры—Исаака, Агарь вместе с сыном была изгнана в пустыню. *Авессалом*—один из сыновей царя Давида, родной брат Фамари. Убил Амнона, обесчестившего сестру, после чего бежал из Иерусалима. Через несколько лет он получил прощение отца и ему разрешили вернуться. Авессалом завоевал доверие народа и поднял восстание против Давида. Во время решающей схватки с воинами царя Авессалом, разъезжавший на муле, случайно зацепился своими пышными кудрями за ветки дуба и остался висеть на дереве. В таком беспомощном положении его убил военачальник царя Давида.

Стр. 301. *Мориц Давид Гарпрехт*—как и упоминаемый далее Иоганн Даниэль Гарпрехт—представители известной в Швабии династии юристов, специалистов по государственному и гражданскому праву. Заключение по делу Зюсса давал профессор Иоганн Генрих Гарпрехт (род. 1702); но Фейхтвангер превратил молодого в те годы ученого в маститого старца и потому счел нужным изменить имя.

Стр. 304. ...*швабские Фермопилы, о которые каждый галльский Ксеркс неминуемо разобьет себе голову.*—Фермопилы—горный проход из северной в среднюю Грецию. Здесь в 480 г. до н. э. триста спартанцев стояли насмерть, не пропуская армию персидского царя Ксеркса. Персы сумели обойти греков по горным тропам.

Стр. 316. *Иуда Маккавей* (ум. 160 г. до н. э.)—древнееврейский герой и полководец, вождь иудейского восстания против сирийского царя Антиоха IV, который стремился насильственно ввести в Иудее греческую религию и обычаи. Подвиги Маккавея описаны в Ветхом завете в Первой Книге Маккавеев.

Стр. 334. ...*из эмигрантской колонии Пинаш, основанной вальденсами в конце прошлого столетия в Маульброннском округе.*—Вальденсы—приверженцы ереси, возникшей в конце XII в. Названы так по имени инициатора этого движения—Пьера Вальда. Их общины возникли во многих областях Южной Франции и Северной Италии. В 1699 г. около шести тысяч

вальденсов бежали из владений преследовавшего их герцога Савойского и поселились в Маульбронне (Вюртемберг).

Стр. 356. *Совет Десяти*—важнейший политический орган Венецианской республики, осуществлявший тайный надзор над правительством и всеми гражданами и охранявший незыблемость существующего строя посредством системы шпионажа и убийств исподтишка.

Стр. 375. *Исаак Лурия Ашкинази* (1536—1572)—один из наиболее ревностных последователей учений каббалы. Познакомившись с каббалистической книгой «Зогар», опубликованной незадолго до того, Ашкинази под впечатлением от нее совершенно изменил образ жизни. Семь лет он прожил отшельником на берегу Нила, уверял людей, что стал ясновидящим и ведет беседы с самим пророком Илией, который посвящает его в тайны мироздания. В 1569 г. Ашкинази снова переселился в Палестину, где вокруг него образовался кружок каббалистов—его учеников и почитателей. Самым известным из них был некий *Хаим Виталь из Калабрии*, который собрал записи бесед Ашкинази со своими учениками и опубликовал книгу, содержащую его учение. Она называлась «Древо жизни» и была напечатана в Европе в 1772 г. (отрывки из нее приводятся в романе). Фейхтвангер взял из этого сочинения понравившуюся ему мысль о мучительном соединении в одном существе разных душ: высшей и низшей, что казалось ему удачным аллегорическим выражением противоречивости человеческого характера.

Стр. 376. *Мозер Иоганн Якоб* (1707—1785)—профессор государственного права и публицист в Вюртемберге. Преподавал в Тюбингенском университете с 1727 по 1736 г. Был яростным противником княжеского абсолютизма и защитником прав сословий, за что в 1758 г. был арестован, посажен в тюрьму и просидел там более десяти лет (до 1769 г.). Фейхтвангер представляет образ этого вюртембергского поборника свободы тенденциозно, в нарочито сниженном, карикатурном виде.

Стр. 403. ...о святом младенце Симоне, трирском мученике...—Фейхтвангер вспоминает здесь процесс по обвинению евреев в ритуальном детоубийстве в Триенте, спутав его с Триром. У решетки одного из еврейских домов, выходящих к реке Эч, был найден убитый ребенок по имени Симон. В его убийстве обвинили евреев, и все еврейское население в городе и окрестностях было перебито. По инициативе местных церковников младенец Симон был объявлен святым мучеником, хотя впоследствии папа не признал его святости.

Стр. 415. *Барух д'Эспиноза* (Бенедикт Спиноза; 1632—1677)—выдающийся голландский философ-материалист. Спиноза родился в семье испанских евреев в Амстердаме и получил первоначальное образование в еврейской религиозной школе. Способного юношу, однако, влекло к науке. Он стал прилежно посещать светскую латинскую школу, открыл для себя филосо-

фию Декарта и сам начал писать философские работы. Между 1654 и 1656 гг. Спинозу за религиозное свободомыслие исключили из еврейской общины и по ходатайству последней изгнали из Амстердама.

Стр. 438. *Георг Эбергард фон Гейдерсдорф* — предполагаемый отец Зюсса, имперский генерал-фельдмаршал, рыцарь Тевтонского ордена, известный своими победами во время австро-турецких войн. В начале 90-х гг., во время войны с Францией, являлся комендантом крепости Гейдельберг и сдал ее неприятелю. Приговор и помилование Гейдерсдорфа, очень точно описанные Фейхтвангером, относятся к 1693 г.

Стр. 444. *Хаим Виталь, Исаак Лурия* — см. коммент. к с. 375.

Стр. 445. *Симон бен Иохан* — один из родоначальников каббалистики, предполагаемый автор книги «Зогар». Жил в Галилее во II в.

Стр. 450. ...*встать в ряды Лютеров, Арндтов, Шпенеров и Франке*. — Арндт Иоганн (1555—1621), Шпенер Филипп Якоб (1635—1705), Франке Август Герман (1663—1727) — лютеранские писатели, теологи и мистики, выступавшие против ортодоксального лютеранства. Шпенер был одним из основателей пиелизма.

Стр. 451. *Рыцарский крест Мальтийского ордена* — папский орден «*Ordre le mérite*» (фр. «За заслуги»), имевший форму восьмиконечного креста; такой крест служил также отличительным знаком Мальтийского рыцарского ордена и потому назывался мальтийским.

Стр. 456. «*Всеподданнейший благодарственный адрес...*» — подлинное анонимное сочинение, один из многочисленных памфлетов против Зюсса, напечатанный в Вюртемберге в виде «летучего листка». *Эндорская цыганка* — иронически-пародийное переименование упоминаемой в Библии эндорской колдуньи.

Стр. 461. *Омфала* — легендарная царица Лидии. Согласно мифам ей был продан в рабство Геракл, который скоро был очарован Омфалой. Ради нее он сбросил свою львиную шкуру и доспехи, облекся в женское платье, прятался в кругу рабынь и угождал всем прихотям своей госпожи. *Улисс* (Одиссей) — герой древнегреческого эпоса. Возвращаясь домой с Троянской войны, Одиссей попал к волшебнице *Цирcee*. Желая задержать Одиссея, Цирцея превратила его спутников в свиней. Одиссей, однако, сумел не поддаваться чарам волшебницы и в конце концов убедил ее отпустить его вместе со спутниками, снова получившими человеческий облик, на родину.

Стр. 465. *Бедный Конрад* — название крестьянского союза, возглавившего антифеодалное движение в Германии накануне Великой крестьянской войны 1525 г. Союз Бедного Конрада возник в 1503 г. в Вюртемберге и в 1514 г. организовал большое восстание. Оно было жестоко подавлено вследствие коварной

политики герцога Ульриха Вюртембергского и измены представителей городской буржуазии.

Стр. 470. *Самаил* (древнеевр. «яд бога») — по талмудическим представлениям, верховный демон или ангел смерти.

Стр. 483. «*Nenikekas, Judaie!*» («Ты победил, иудей!») — перифраз слов «Ты победил, галилеянин!», по преданию, произнесенных перед смертью римским императором Юлианом Отступником (331—363), пытавшимся вернуть Рим от христианства к прежней языческой религии. Христианство к тому времени стало мощной идеологической силой, и Юлиан сам осознал безнадежность своей попытки бороться против нового бога — Христа, или Галилеянина.

Стр. 496. *...герцогский рескрипт, согласно которому все действия господина финанцидиректора... не подлежат контролю.* — Этот документ, так называемый «абсолюторий», существовал на самом деле и фигурировал в процессе против Зюсса.

Стр. 514. *Гракх, Гармодий и Аристогитон, Марк Юний Брут* — имена древнегреческих и римских борцов против тиранов. Гракхи Тиберий и Гай возглавляли в Древнем Риме во II в. до н. э. борьбу за демократическую реформу. Гармодий и Аристогитон — граждане Афин, составили в 514 г. до н. э. заговор с целью убийства тиранов Гиппия и Гиппарха. Марк Юний Брут (85—42 гг. до н. э.) — римский политический деятель, борец за республику; участник заговора против Юлия Цезаря и один из его убийц.

Стр. 527. *Ионатан Эйбешютц* (1690—1764) — известный талмудист, каббалист и еврейский общественный деятель. Славился разносторонней образованностью. Его враги обвинили его в различных отступлениях от правоверной иудейской религии, в увлечении каббалистикой и в тайном признании проклятого раввинами лжемессии Саббатая Цеви (см. коммент. к с. 528). Эйбешютцу в течение шести лет грозило отлучение, хотя его так и не решились предать анафеме. Борьба вокруг дела Эйбешютца расколола на два враждебных лагеря евреев большинства европейских стран. Вся эта полемика происходила уже после событий, описанных в романе.

Якоб Гершель Эмден (1696—1776) — амстердамский раввин, один из вождей ортодоксального еврейства и главный противник Ионатана Эйбешютца. Именно Эмден обвинил Эйбешютца в связях с преследуемой раввинами сектой саббатянцев.

Стр. 528. *Саббатай Цеви* (1626—1676) — фанатик, объявивший себя мессией, пришедшим спасти еврейский народ и восстановить его былое величие. У Саббатая Цеви нашлось множество сторонников среди евреев, и саббатянское движение охватило разные страны Европы и Малой Азии, несмотря на осуждение и проклятие раввинов. В 1666 г. Саббатай со своими последователями отправился в Константинополь, чтобы свергнуть турецкого султана и стать царем Палестины. Там он был

схвачен и посажен в тюрьму. Султан угрожал ему расстрелом, но Саббатай, потерявший все свое мужество, согласился перейти в магометанство и был помилован. После этого большинство сторонников от него отреклись. Однако в отдельных странах продолжала существовать секта саббатянцев, культивировавшая различные каббалистические теории и придававшая переходу Саббатая в ислам особый мистический смысл. По примеру своего учителя многие саббатяницы переходили в магометанство.

Франкисты — последователи польского еврея Якова Франка (1726—1791), ревностного последователя саббатянского движения. Франк стал во главе секты саббатянцев в Турции и начал утверждать, что душа Саббатая переселилась в него. С 1755 г. он перенес центр саббатянского движения в Польшу, где его последователи стали называться франкистами. Столкнувшись с двойным преследованием со стороны властей и представителей еврейских общин, франкисты во главе с самим Франком перешли в католичество и зачастую помогали гонителям евреев.

Стр. 529. *«Зогар»* (древнеевр. «сияние») — главный литературный памятник каббалистического учения. Возник в XIII в. По форме представляет собой особые мистические комментарии к Пятикнижию Моисея (Ветхий завет). Главная идея *«Зогара»* — непостижимость божества и рассмотрение всего сущего как проявления божественного начала (абсолютное тождество мира и бога).

Стр. 543. *Мицраим* — библейское название Египта.

Стр. 546. *Семирамида* — легендарная царица Ассирии, образ богатой и могущественной правительницы. *Елизавета* (1709—1761; правила с 1741 г.) и *Екатерина II* (1729—1796; правила с 1762 г.) — российские императрицы. Употребление этих имен — явный анахронизм Фейхтвангера.

Стр. 547. *Герцог Рудольф Нейенштадтский* (1667—1742) — с 1737 по 1738 г. был опекуном малолетнего герцога Карла-Евгения, старшего сына Карла-Александра. Его биография и события его опекунства изображены Фейхтвангером в полном соответствии с историческими фактами.

Стр. 549. *Мальборо*, герцог (1650—1722) — английский полководец и политический деятель. Командовал английскими войсками в Европе во время войны за испанское наследство (1702—1711).

Стр. 551. *...молодому прусскому королю...* — Имеется в виду Фридрих II, прозванный Великим (1712—1768; правил с 1740 г.).

Стр. 576. *...ганноверский курфюрст и английский король...* — Имеется в виду Георг II (1686—1760; правил с 1727 г.); его отец, ганноверский курфюрст Георг-Людвиг, будучи последним отпрыском английской династии Стюартов (и то по женской линии), в 1714 г. занял престол Великобритании.

Ганноверы были всегда послушными игрушками в руках парламента.

Стр. 588. *Аман* — библейский персонаж, любимец и министр персидского царя Артаксеркса и заклятый враг евреев.

Стр. 600. *Елеазар* — библейский персонаж, верный слуга Авраама, которому он поручил выбор супруги для своего сына.

Стр. 603. *Виселица, на которой намеревались повесить Зюсса, была сооружена сто сорок лет назад.* — Описание виселицы и всей процедуры казни Зюсса в романе точно соответствует историческим фактам.

Е. Маркович

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОБРАЗНАЯ ГЕРЦОГИНЯ МАРГАРИТА МАУЛЬТАШ

Перевод В. Станевич

Книга первая	7
Книга вторая	77
Книга третья	140

ЕВРЕЙ ЗЮСС

Перевод Н. Касаткиной

Книга первая. Государи	205
Книга вторая. Народ	277
Книга третья. Евреи	361
Книга четвертая. Герцог	444
Книга пятая. Зюсс	543
<i>Комментарии Е. Маркович</i>	<i>617</i>

Фейхтвангер Л.

Ф36 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 3: Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ. Еврей Зюсс: Романы: Пер. с нем./ Редкол.: А. Дмитриев, Д. Затонский, Н. Литвинец и др.; Коммент. Е. Маркович.— М.: Худож. лит., 1989.— 639 с.

ISBN 5—280—00811—7 (Т. 3)

ISBN 5—280—00307—7

В 3-й том Собрания сочинений Лиона Фейхтвангера входят его известные исторические романы «Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ» (1923) и «Еврей Зюсс» (1925).

Ф 4703010100—049 подписное
028(01)—89

ББК 84.4Г

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 6-ТИ ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ

Оформление переплета И. Сальниковой

Редакторы Е. Маркович и И. Солодунина

Художественный редактор Л. Калитовская

Технический редактор Л. Витушкина

Корректор Г. Киселева

ИБ № 5499

Сдано в набор 26.05.88. Подписано к печати 21.12.88. Формат 84×108¹/₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 33,6. Усл. кр.-отт. 34,02. Уч.-изд. л. 39,49. Тираж 400 000 (2-й з-д 200 001—400 000) экз. Изд. № VI—3222. Заказ № 79. Цена 5 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП, Москва, Б-78. Ново-Басманная, 19. Диапозитивы изготовлены в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валуевая, 28. Отпечатано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

